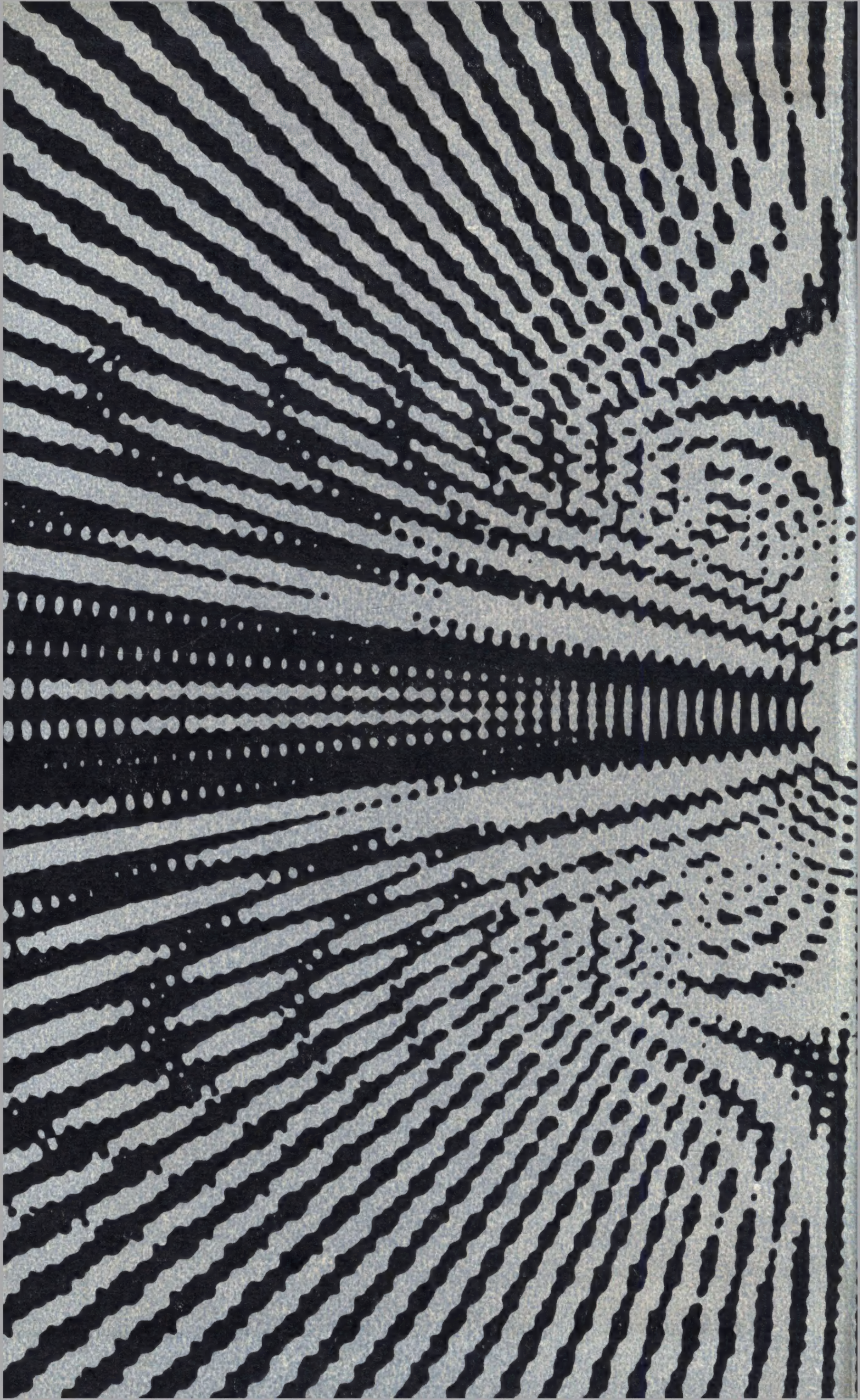
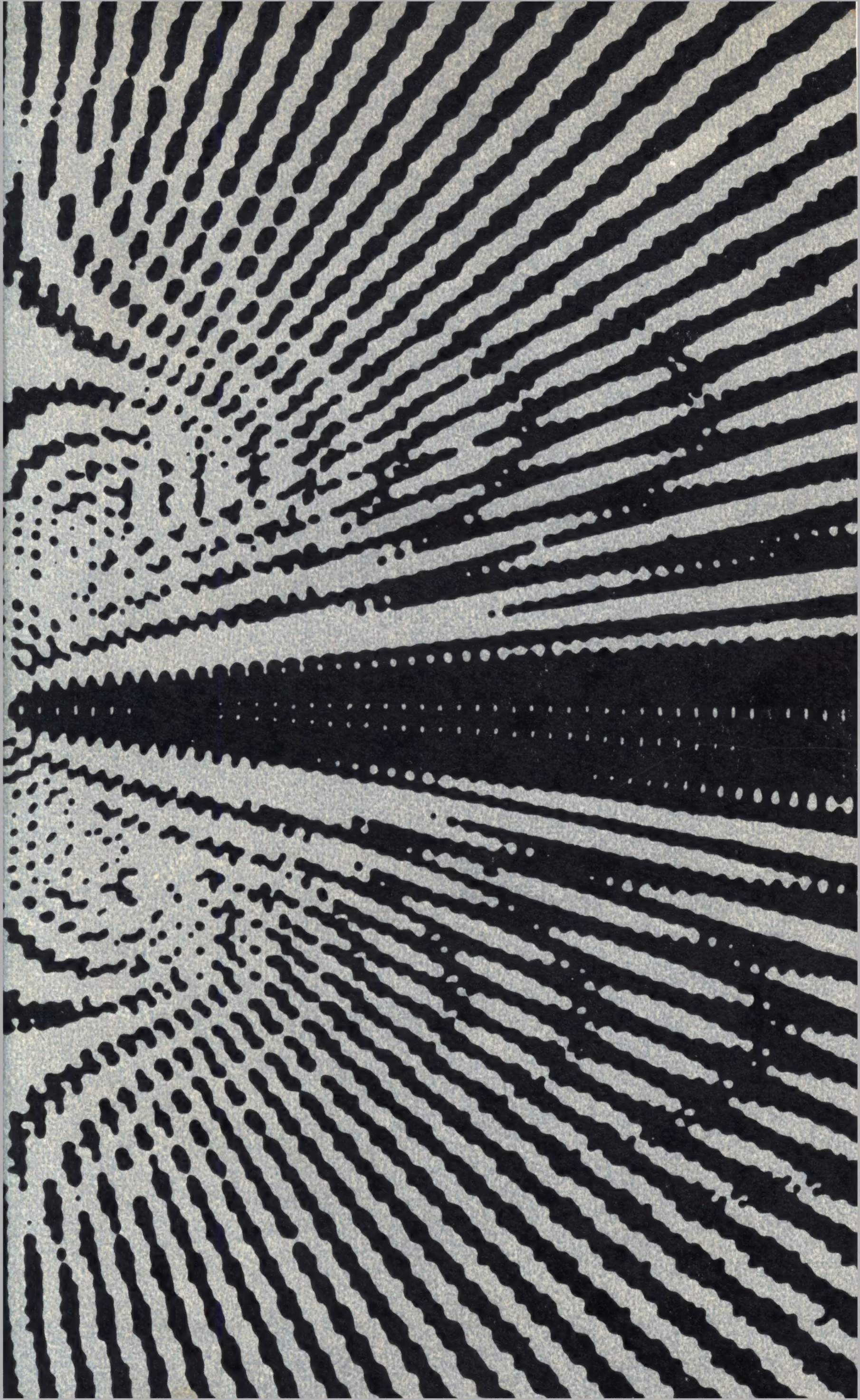
Геннадий Семенихин

ИЗБРАННОЕ







Г. Семенихин

Геннадий Семенихин

ИЗБРАННОЕ

В ТРЕХ ТОМАХ

ТОМ ПЕРВЫЙ

Ордена Трудового Красного Знамени
Военное издательство
Министерства обороны СССР
Москва — 1981

Р2
С30

Семенихин Г. А.

С30 Избранное. Т. 1. — М.: Воениздат, 1981. — 496 с. с портр.

В пер.: 2 р. 10 к.

В первый том трехтомника лауреата премии Министерства обороны Геннадия Семенихина вошли роман «Над Москвою небо чистое», повесть «Пани Ирена» и рассказ «Хмурый лейтенант». Все произведения посвящены героическим подвигам летчиков как в годы Великой Отечественной войны, так и в мирное время. Автор, участник войны, увлекательно рисует образы советских воинов, жизнь и быт наших авиаторов.

Книга рассчитана на массового читателя.

С $\frac{70302\text{-}053}{068(02)\text{-}81}$ 145.81.4702010200.

ББК 84Р7
Р2

ГЕРОИ НЕБА И ЗЕМЛИ

Писать о людях нашей замечательной авиации может лишь тот, кто хорошо знает и любит своих героев. Эту истину убедительно подтверждают десять книг Геннадия Семенихина, широко известных миллионному читателю. В том, что писатель сделал в своем творчестве эту тему основной, есть своя закономерность. В литературу человек почти никогда не приходит без собственного жизненного опыта. Четверть века Г. Семенихин прослужил в рядах наших Военно-Воздушных Сил. В годы Великой Отечественной войны был младшим авиаспециалистом, в качестве воздушного стрелка участвовал в боевых действиях нашей штурмовой авиации, работал фронтовым журналистом. Именно то обстоятельство, что войну будущий писатель не однажды видел из кабины самолета, выполняющего боевое задание, придает достоверность его произведениям, посвященным людям авиации.

Уже в первых своих книгах — романах «Летчики», «Над Москвою небо чистое», в повести «Пани Ирена» автор обнаружил умение широко изображать судьбы людей пятого океана, не обходя острых, а порою и драматических конфликтов.

Отдельно стоит остановиться на романе «Над Москвою небо чистое». Здесь нет замысловатых сюжетных хитросплетений. Собственно говоря, все содержание романа—это рассказ о судьбе одного истребительного полка, который с боями отступал от нашей западной границы к Москве, а потом при трудных условиях и соотношении в воздушных боях один к трем, а то и один к пяти в пользу противника, достойно защищал небо нашей столицы. За краткостью повествования встает яркая и правдивая картина сурового 1941 года. И не случайно автор в одном из своих публицистических отступлений говорит: «Сорок первый! Ты войдешь в нашу память, и войдешь навечно. Может, появится когда-нибудь писатель или историк, который скажет, что был ты годом сплошных страданий

и мук, черным от дыма и несчастий годом. Но если, вспоминая тебя, увидит он только обожженные стремительным ветром войны города и села, матерей, выплакавших свои глаза над детьми, погибшими от фашистских авиабомб, скорбную пыль отступления от Бреста до пригородов Москвы, людей, с муками и боями пробивающихся из окружения, беспощадную поступь танковых колонн Гудериана и холодную жестокую расчетливость воздушных пиратов Рихтгофена, неудачи отдельных наших штабов и генералов, — жестоко ошибется такой писатель. Лишь половину правды, горькую половину скажет он поколению.

Нет, не только таким был сорок первый! Был он годом, разбудившим могучие народные силы, вызвавшим к жизни великое мужество и героизм».

Этот отрывок с полным основанием можно считать эпиграфом ко всему роману. За внешним лаконизмом повествования в этом произведении встает яркая и правдивая картина сурового 1941 года, небывалый героизм, проявленный нашими советскими людьми в решительной схватке с врагом. У читателей надолго остались в памяти герои этой книги, такие разные и неповторимые, как генерал Комаров, блестящий ас и творчески мыслящий военачальник, который уже тогда стал применять тактическую новинку — ведение воздушного боя парами, а не звеньями в три самолета, сковывающими маневр, как командиры эскадрилий бесстрашный порывистый горец Султан-хан и уравновешенный решительный добряк Василий Боркун, комиссар полка Румянцев и командир Демидов. Читатель закрывает книгу с чувством глубокого гордого убеждения в том, что летчикам, похожим на этих героев, оказалась по силам защита неба Москвы в то жестокое время.

В поступках и размышлениях своих персонажей писателю удалось передать их мужество и благородство, непоколебимую уверенность в победе, огромную сыновнюю любовь к своему социалистическому Отечеству. И все это сделано без ненужной декларативности.

Роман «Над Москвою небо чистое» завершается сценой начала разгрома немецко-фашистской армии под Москвой. С пафосом пишет автор о вылете демидовского полка на боевое задание. Комиссар полка Румянцев должен дать зеленую ракету на взлет. И вот заключительные строки, которые как бы подводят итог всему повествованию.

«Знамя вынесли на старт, чтобы каждый летчик, уходя в бой, видел его под своим крылом... Рука с ракетницей тянется вверх. Хлопок — и зеленый огонь взмывает в низко нависшее небо, еще одна ракета — и уже отрываются с гулом от земли остроносые истребители, склонившись на крыло, проносятся над центром аэродрома, потом над горбатой штабной землянкой и, выстраиваясь, ложатся на курс. А знамя, багряное полковое знамя, колышется на ветру, и кажется, что и оно порывается взлететь вслед за ними».

Большой популярностью у читателей пользуется дилогия Геннадия Семенихина «Космонавты живут на Земле». Это первое произведение о жизни представителей самой молодой из всех героических профессий — летчиков-космонавтов. Роман создавался по горячим следам событий, когда было совершено лишь несколько первых космических полетов, и прав был Герман Титов, написавший в своем отзыве, опубликованном в журнале «Огонек», следующие слова: «В художественной литературе особенный интерес вызывают произведения, где есть попытка раскрыть новое, заглянуть в будущее. Этим, в частности, привлек внимание роман Геннадия Семенихина «Лунный вариант» (вторая книга дилогии «Космонавты живут на Земле»).

Автору действительно приходилось заглядывать в будущее, но характеры действующих лиц романа — это характеры наших современников, тех молодых летчиков, на долю которых выпало сделать первые шаги на трудном и тернистом космическом пути. Создать эту книгу писателю помогло общение с нашими первыми героями космоса: Юрием Гагариным, Германом Титовым, Андрияном Николаевым, Алексеем Леоновым, Павлом Беляевым, Евгением Хруновым и другими. И хотя главные герои вымышленные, за этим вымыслом без труда угадываются их прототипы, подлинные события и факты, имевшие место в жизни обитателей «звездного городка». Не случайно книга завоевала прежде всего симпатии молодежи, мечтающей о совершении подвига, о воспитании волевых качеств, необходимых для этого. Герои своими поступками и рассуждениями часто зовут читателя к этому. Вспомним хотя бы беседу Главного конструктора Тимофея Тимофеевича с Алексеем Гореловым накануне дальнего старта, когда тот говорит: «С человека на Земле многое спрашивается, но ему многое и дано. Человек недолгий

пришелец на нашей Земле. Однако важно не то, когда он пришел и когда ушел, а что он после себя оставил».

Георгий Тимофеевич Береговой в одном из своих интервью, отмечая документальные книги, авторами которых стали исполнители первых звездных стартов, сказал: ...«Но вряд ли сами космонавты могут решать проблемы литературные. Без художников слова, настоящих мастеров литературы мы не в состоянии утолить огромный человеческий голод на космическую тему. В нашей литературе пока есть один интересный роман писателя Геннадия Семенихина «Космонавты живут на Земле», получивший премию Министерства обороны СССР».

Главная удача романа — это образ молодого провинциального паренька Алексея Горелова, сына погибшего на фронте танкиста и простой сельской женщины, который проходит сложный тернистый путь, прежде чем стать космонавтом.

За этот роман, выдержавший несколько изданий, автору была присуждена литературная премия Министерства обороны СССР.

Одной из интересных работ писателя была повесть «Взлет против ветра». Она посвящена теме воспитания молодых летчиков, смене поколений в авиации, ответственности советских воинов за охрану наших воздушных рубежей.

В романе или повести на авиационную тему можно с предельной точностью описать один или несколько учебных или боевых вылетов, начиная с того, как летчик запускает двигатель перед взлетом, и завершая тем, как он заруливает на стоянку после посадки. Но разве в этом главное? Главное в том, чтобы в художественном произведении прежде всего интересно был изображен внутренний мир героев, их чувства и переживания, отношение к обществу и проблемам, стоящим перед ним. Только тогда книга будет волновать читателя, заставляя после ее прочтения задумываться над поступками и делами героев. Ведь это же не секрет, если после прочитанной книги у читателей никаких вопросов, волнений и сомнений не возникает, ее можно было бы и не читать. В одной из глав этой повести Геннадий Семенихин довольно четко сформулировал свою авторскую концепцию.

«Взлет против ветра» — это не только дань аэродинамическим законам. Это та особая сопротивляемость, без которой не живет и не побеждает авиатор. Не только в

воздухе, но и на земле, потому что очень важно, чтобы высокой была у летчика сопротивляемость в жизни во время любых, самых сложных и самых тяжелых потрясений. И человек, обладающий настоящей летной закалкой, обязательно побеждает в этих случаях, и победа его похожа на гордый взлет истребителя против ветра.

Своими делами герои повести подтверждают эту мысль. Очень поучительна, например, главная сюжетная линия, рассказывающая о прославленном асе Великой Отечественной войны генерале Баталове и его сыне Аркадии, который пошел по стопам отца и, окончив авиационное училище, был направлен служить в то самое соединение, которым командует отец.

В изображении автора генерал Баталов — это человек, отдающий всю свою жизнь без остатка защите Отечества. В конце повести, уже окрепший и повзрослевший, лейтенант Баталов предстает перед нами как достойный продолжатель дела своего отца. Чувствуя, что по состоянию здоровья он уже не может продолжать службу, генерал Баталов подает рапорт об уходе в отставку, приезжает в полк и прощается с летчиками. А в эту самую минуту с широкой бетонированной полосы взлетает сын. Этой волнующей символической сценой завершается повесть.

В Избранные произведения Г. Семенихина включены такие широко известные повести, как «Пани Ирена» и «Послесловие к подвигу».

Отдельно следует сказать об историческом романе «Новочеркасск». Он обращен в героическое прошлое русского народа и повествует об основании в начале восемнадцатого века новой столицы Области Войска Донского города Новочеркасска, об атамане Платове и участии донских казаков в Отечественной войне 1812 года.

Может показаться на первый взгляд, что эта книга стоит особняком в творчестве писателя. Однако это не совсем так. Геннадий Семенихин родился в донском краю, все предки его по материнской линии — казаки, и роман «Новочеркасск», что называется, «выстраданный» роман, потому что повествует он о родном городе, его истории. За эту книгу автору было присвоено земляками звание почетного гражданина Новочеркасска.

Если в своих произведениях Г. Семенихин писал о наших современниках, которых он хорошо знал, то последний его роман говорит о возросшей зрелости, большом труде с историческими, архивными материалами, о требователь-

ности к себе, как к писателю. Судите сами: герои его романа, отделенные от нас почти двумя веками, — живые и понятные современному читателю люди с сильными, впечатляющими характерами.

Мне думается, что последний роман Семенихина «Новочеркасск» — первая ласточка, за которой последуют другие, в новом для него жанре, в котором Геннадий Александрович так удачно дебютировал.

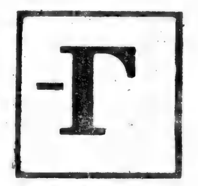
И. Н. КОЖЕДУБ

генерал-полковник авиации,
трижды Герой Советского Союза

НАД МОСКВОЮ НЕБО ЧИСТОЕ

РОМАН

ГЛАВА ПЕРВАЯ



Где здесь командный пункт девяносто пятого истребительного полка?

Пожилой ефрейтор в выликявшей от солнца и пота гимнастерке бросил неторопливый взгляд на двух незнакомых лейтенантов. Ефрейтор стоял на самой середине укатанной автомашинами профилированной дороги, утопая по щиколотку в пыли, стоял на том месте, где полагалось быть контрольно-пропускному пункту, полосатому шлагбауму и будочке. Все это заменял небольшой столбик, врытый на левой обочине. С прибитой к нему доски расплывчато смотрели черные, крупно, но неряшливо написанные буквы: «Стой! Предъяви пропуск! Здесь хозяйство Демидова».

За столбом ширилось выгоревшее на сентябрьском ветру желтое поле аэродрома. Над чахлой, вымершей травкой бугрились капониры. Под сетками можно было разглядеть упругие тела лобастых зеленых истребителей И-16 и тонкие острые носы «яковлевых». Над взлетной полосой клубилась пыль, оставленная только что взлетевшей шестеркой самолетов. Поблескивая на солнце остекленными пилотскими кабинами, машины с гулом пронеслись над аэродромом и, описав полукруг, улетели на запад. Часовой-ефрейтор посмотрел им вслед из-под дремуче-рыжих бровей и опять перевел глаза на лейтенантов. Мимо ефрейтора то и дело сновали люди. Шли мотористы в промасленных комбинезонах, летчики в надвинутых на глаза синих пилотках, солдаты технического батальона с котелками в руках, и ни одного из них ефрейтор не остановил, ни у кого не проверил документы.

А вот два молодых лейтенанта вызвали у него глухое раздражение. Слишком необычными казались они в этой обстановке. На обоих безукоризненно выглаженные темно-синие гимнастерки с нашитыми на рукавах тонкими золочеными уголками. Оба были перепоясаны такими новенькими скрипучими портупеями, что не могли не отличаться от тех мятых, пропыленных людей, которые ежеминутно проходили мимо часового. Даже легкий слой пыли не затмил блеска начищенных со старанием сапог лейтенантов. У каждого в левой руке было по аккуратному чемоданчику.

«С такими чемоданчиками им бы в дом отдыха или на футбольную тренировку», — неприязненно подумал ефрейтор и ладонью потер небритую проседь на щеке. Потом прищурился, словно желая рассмотреть лейтенантов получше.

Нет, они не были похожи друг на друга. Один из них был невысок. Обласканные теплым ветром светлые волосы выбивались из-под пилотки. Глаза смотрели доверчиво, даже оробело, и никакой холодной решительности, которая, по мнению ефрейтора, предполагалась во взгляде каждого летчика-истребителя, в них не было. Правда, лицо этого паренька, смуглое то ли от природы, то ли загорелое, придавало ему мужественность, но мягкие, нежно, совсем по-девичьи очерченные губы сразу же это впечатление рушили. Так и казалось — рассмеется этот синеглазый паренек и, несмотря на свои два кубика в петлицах, станет сразу похожим на десятиклассника.

Его напарник был высоким и угловатым. Острые лопатки выпирали под габардиновой гимнастеркой. Длинным рукам было неспокойно, они постоянно находились в движении: то бриджи гладили, то дергали ремешок портупеи. Густые соломенные волосы небрежным чубчиком свисали на рыжую бровь, глаза смотрели на окружающее с дерзинкой. И усмешка на лице, осыпанном мелкими веснушками, была самоуверенной. Правую ногу он держал чуть согнутой в колене, острым носком буравил дорожную пыль. Эта вольная поза еще больше не понравилась часовому, и он сухо спросил:

— Так вам, стало быть, кого?

— КП девяносто пятого, — повторил рыжеватый лейтенант.

Ефрейтор, уловивший в его голосе нетерпение, нахмурился.

— А документы есть? — пробасил с неожиданной строгостью, желая показать, что хозяин положения все-таки он. Это произвело впечатление. Лейтенанты переглянулись и торопливо извлекли из нагрудных карманов сложенные вчетверо листочки с печатями. Ефрейтор сначала взял листок у рыжеватого, растягивая слова, прочел:

— Лейтенант Во-ро-нов. Для дальнейшего прохождения службы. Так. А ваш документик?.. Лей-те-нант Стрельцов. Хорошо.

Он поправил на плече ремень автомата и рукой показал на земляной курганчик, возвышавшийся над летным полем:

— Видите, товарищи командиры? Там и есть КП девяносто пятого.

Лейтенанты кивнули головами, и один из них, тот, что был пониже ростом, сказал «спасибо». Ефрейтор проводил взглядом их удаляющиеся фигуры. Лейтенанты шли неторопливо, с интересом осматривая аэродром.

На половине пути высокий остановился и глубоко вздохнул:

— Вот мы и прибыли, Леша.

— Даже не верится, что так быстро, — подхватил второй лейтенант, и его доброе лицо осветилось неуверенной, удивленной улыбкой. — Только подумать: еще вчера Сибирь... курсантская казарма с белыми полотенчиками, никакого тебе затемнения.

— О белых полотенчиках придется, пожалуй, забыть, — усмешливо протянул высокий.

Над их головами в иссиня-ярком небе послышался гул моторов. На большой высоте целым косяком тянулись в сторону города бомбардировщики. Надрывно, с перебоями выли моторы, и этот вибрирующий звук, временами переходивший в вой, неприятно резал слух.

— Это не СБ, — уверенно сказал один из лейтенантов.

— И не «пешки», — прибавил другой.

— «Юнкерсы», по-моему, — произнес рыжеватый, как ему казалось, беспечным, а на самом деле дрогнувшим от напряжения голосом.

Запрокинув голову, он смотрел вверх.

— Как думаешь, Леша, на аэродром развернутся или на город?

— Кажется, на город пошли, — тихо ответил второй.

— Почему же с аэродрома истребителей не подняли?

...Девятка за девяткой наплывали бомбардировщики на город, отстоявший от летного поля всего на несколько километров. В предзакатном солнце купались колокольни древних церквей, устремлялся ввысь острый шпиль пожарной каланчи. Из речной поймы взбегали на холм ровные строчки кварталов и улиц. Преобладавший в городских постройках белый цвет радовал глаз. Именно белый цвет делал город привлекательным даже издалека.

Отсюда, с аэродрома, не было слышно ни гудков автомобилей, ни грохота повозок. Древний этот город, прославившийся своими пряниками и церквами, казался безмятежно мирным, дремлющим на закате.

И вдруг раздирающий вой сирен поплыл над ним. Нестройно и хлопотливо забухали зенитки, пятная чистое, безоблачное небо. Сначала зенитные снаряды рвались редко и в стороне от бомбардировщиков. Но с каждой секундой в обстрел включались все новые и новые батареи. Черные шапки разрывов вспухали совсем близко от самолетов. Девятка вражеских бомбардировщиков перестала кружиться и понеслась вниз. Даже здесь, на аэродроме, лейтенанты услышали нарастающий свист. Стрельцов сдавил руку своего товарища:

— Коля... Они сериями бомбят, а там, под крышами, женщины, дети...

— Тихо, тихо, — прошептал Воронов, не отрывая взгляда от городских зданий.

От сильного одновременного взрыва нескольких бомб вздрогнул воздух. Раскаленными волнами хлынул он в уши. Над белыми домиками, мирно гревшимися на солнце, вздыбились дымные столбы. Потом в небо взвилось пламя, словно вырвавшись из самой земли.

— Это он в бензосклад угодил, — услышали лейтенанты хрипловатый голос. Рядом, засунув руки в карманы поношенных бриджей, стоял загорелый узколицый летчик. Во рту, сдавленная зубами, торчала незажженная папироса. Летчик так и говорил, не вынимая ее изо рта. Воронов разглядел в петлицах три кубика.

— Товарищ старший лейтенант, — спросил Николай,— почему же с аэродрома никто не поднялся?

Незнакомый летчик выплюнул папиросу и презрительно посмотрел на носки его хромовых сапог.

— Ты бы, наверное, поднялся, желторотик! — выго-

ворил он, молча повернулся к ним спиной и, не вынимая рук из карманов, зашагал прочь. Воронов обиженно посмотрел ему вслед, но тут же сделал вид, что не обратил внимания на грубую выходку старшего лейтенанта, и обернулся в сторону города.

Три высоких черных столба колыхались на ветру. Под одним из них бушевало оранжевое пламя. Фашистские бомбардировщики, сбросив груз, уходили от города, пересекая небо, рябое от зенитных разрывов. Ни один из них не загорелся, не упал на землю, не начал терять высоту. Плавно, с короткими перебоями, выли моторы. Когда последняя девятка стала скрываться из виду, ей вдогонку откуда-то из-за леса со звоном поднялись две тройки тупоносых истребителей. Синеву воздуха разорвали красные трассы: стреляли истребители. В ответ огрызались с немецких бомбардировщиков стрелки-радисты. Воздушный бой отдалялся и затихал. Скрылись из глаз самолеты, только эхо от выстрелов еще с минуту стояло над землей.

— Интересно, сбили хоть один? — тихо сказал Стрельцов.

Воронов пожал плечами:

— Слишком поздно их подняли, «юнкерсы» уже сделали свое дело. Видишь, как горит.

— Ладно, Коля, пошли, — мрачно предложил Стрельцов, и они зашагали по аэродрому. На летном поле было затишье. Ни один самолет не взлетал и не садился. Лишь у некоторых капониров кучками стояли летчики и техники и, показывая в сторону города, обсуждали последствия налета. Наезженная автостартерами и бензозаправщиками дорога вела мимо капониров к командному пункту истребительного полка, находившемуся на опушке перелеска. Рыжие толстостволые сосны шумели над землянкой. Чуть поодаль, в редколесье, стояла машина радиостанции. Землянка высилась над ровным полем аэродрома большим холмом. Был этот холм старательно выложен дерном и совершенно сливался с цветом пожухлой травы. Дверь из желтых неотесанных досок, ведущая на КП, открыта. В низком проходе, широко расставив ноги, стоял тот самый неприветливый старший лейтенант, который только что повстречался им на аэродроме. Воронову не хотелось с ним заговаривать, он с удовольствием прошел бы мимо него молча. Но старший лейтенант загораживал вход. И Воронову, как младшему в

звании, полагалось попросить разрешения пройти. Он четко откозырял:

— Товарищ старший лейтенант, здесь КП девяносто пятого?

Зеленые глаза обдали его холодом.

— Ну здесь. А тебе кого надо? — спросил летчик грубо.

— Командира полка.

— Командира? Так ты его в госпитале ищи. У него вчера семнадцать осколков из ноги вытащили.

— Тогда заместителя, — после небольшой паузы сказал смутившийся Воронов.

— Ну проходи, — неохотно отодвинулся в сторону летчик.

Воронов первым переступил порог и спустился по крутым деревянным ступенькам. В самом низу лесенки он споткнулся и, удерживая равновесие, ударил о стенку чемоданом. Войдя, оба с удивлением осмотрелись.

Эта землянка была такой же тесной, сыроватой и темной, как и тысячи других землянок, разбросанных на всем протяжении огромного фронта от Белого до Черного моря. В ее подслеповатое оконце, застекленное желтоватым куском плексигласа, нехотя вползали рассветы, а в непогодь уныло стучали осенние дожди. Тонкая дощатая перегородка делила землянку на две половины: в первой размещался штаб полка, во второй на низких нарах находили себе приют летчики, коротая небольшие интервалы между боевыми вылетами. Так же как и во многих других землянках, в штабной половине колыхался скупой свет подвешенных к потолку «летучих мышей», на стенках висели карты, и в углу, возле телефонов, подремывал оперативный дежурный. Было здесь скученно и шумно, наружная дверь непрерывно хлопала, впуская и выпуская людей.

На большом столе лейтенанты увидели пеструю карту района боевых действий, исчерченную красными и синими стрелками, скобками, кружками, заключавшими в себе мелкие цифры. Синие стрелы, обозначавшие продвижение противника, зловеще нависали справа и слева. Аэродром был на одном уровне с их остриями. Трое склонились над этой картой. Что-то показывал тонко отточенным карандашом молоденький небритый лейтенант седому худощавому капитану с косым шрамом на правой щеке и хрящеватым носом. Рядом, заложив за спину руки, в

черном реглане внакидку, стоял средних лет старший политрук. У него было усталое широкое лицо и синие тени бессонницы под глазами. Густые нерасчесанные волосы падали то и дело на лоб, и, задумавшись, он машинально откидывал их. От всей его полной, даже несколько грузной фигуры веяло уравновешенностью. Острый карандаш лейтенанта обводил контуры большого селения.

— По данным оперативного отдела, Подлипки еще у нас, — докладывал лейтенант. — Бой идет на северной окраине села. А вот здесь противник вышел гораздо восточнее. До левого берега реки допер, — сказал и осекся, видимо устыдившись, что это вольное «допер» ворвалось в скупые точные фразы, которыми полагалось докладывать оперативную обстановку.

Пожилой капитан молча взъерошил жесткую седину на висках, а старший политрук без всякой интонации повторил:

— Действительно прет...

И трудно было понять, осуждает ли он немцев, настолько усталым был голос.

Длинным приглушенным звонком захлебнулся полевой телефон. Капитан с седыми висками снял трубку:

— «Ракета» слушает. Да. Петельников. Докладываю, товарищ Третий. Майор Хатнянский по вашему приказанию находится в готовности номер один. Поднимать в воздух? Есть, разведать движение на участке Лазарево — Большие Развилки.

Капитан положил трубку, посмотрел на старшего политрука:

— Пойду выпускать майора.

— Один полетит? — недовольно нахмурился старший политрук. — Без прикрытия?

— Откуда же взять прикрытие? — горестно развел руками капитан. — Сами знаете, товарищ комиссар. Не от хорошей жизни одну машину в такое пекло посылаем. Все на задании, кроме капитана Боркуна. А его звено приказано держать в резерве.

— Плохо, — негромко сказал старший политрук. — Район разведки очень сложный... Пожелайте удачи Хатнянскому, начальник штаба.

Гремя сапогами, капитан Петельников пробежал мимо застывших в ожидании Стрельцова и Воронова. Он даже не взглянул на них. Он попросту их не заметил. Старший политрук молча присел на табурет и, опустив голову на

широкие ладони, всматривался воспаленными от бессонницы глазами в пестрые контуры карты. Синие стрелки росли и двоились в глазах, и уже не карту, а землю, окутанную пожарами, видел перед собой старший политрук. Видел он дороги, какими совсем недавно отступал, города и села, где приходилось останавливаться, лесные массивы Белоруссии — над ними еще несколько дней назад дрался истребительный полк. Мысленно представлял он, как идут теперь по этим дорогам фашистские танки, вгрызаясь тяжелыми гусеницами в живое тело земли, как горят города и села и на некошеных пашнях в сивой осыпающейся пшенице лежат убитые. Сорок первый! А он-то мечтал в этом году поехать вместе с Софой в Гагры, загорать на Кавказском побережье. Жена, уютная комната с тюлевыми занавесками, размеренная жизнь учебного аэродрома с подъемами и отбоями — где все это?

Старший политрук поднял голову, и тяжелая дрема попятилась, отступила. Усталые глаза остановились на незнакомых лейтенантах, с минуту, если не больше, удивленно смотрели на свежие ремни, опоясывающие их гимнастерки, на новые сапоги и петлицы. Все их чистое, ладно пригнанное обмундирование так не вязалось с окружающей обстановкой, с полутемным сводом землянки — оттуда время от времени падали тугие смолистые капли, — с темным окошком, выходящим на чистое поле, и с близкими чиханиями мотора — его, очевидно, запускал на своем истребителе майор Хатнянский.

Эти два свеженьких чистеньких лейтенанта болезненно напомнили старшему политруку ту жизнь, что кончилась двадцать второго июня, — мирную жизнь военных аэродромов и авиационных городков, жизнь, включавшую в себя и отпуска, и выходные дни, и товарищеские вечеринки, и часы, проходившие в семье.

Было в этом неожиданном появлении лейтенантов что-то теплое, внесшее на мгновение покой и порядок в суматошную фронтовую жизнь. И голос старшего политрука обрадованно дрогнул, когда он спросил у стоявшего к нему поближе Стрельцова:

— Да вы откуда такие здесь взялись, товарищи?

Стрельцов быстро взглянул на Воронова. Так уж было у друзей заведено: если одному требовалось говорить за двоих — отвечал всегда Воронов. Он и в этот раз картинно подбросил ладонь к виску и отрапортовал:

— Товарищ старший политрук, лейтенанты Воронов

и Стрельцов после окончания авиационной школы направлены в девяносто пятый истребительный авиационный полк для дальнейшего прохождения службы.

Старший политрук встал, подошел к ним и протянул каждому руку.

— Будем знакомиться. Комиссар полка старший политрук Румянцев. — Он вскинул голову и не удержался от улыбки. — Экие вы нарядные, право, ребята.

— Так ведь мы же прямо из школы, — смутился Воронов, — из далекого тыла.

— Долго к нам пробирались?

— Нет, товарищ старший политрук. Мы же авиация. До Волоколамска нас на Ли-2 подбросили, а оттуда на попутной машине.

Стекла землянки задребезжали от рева мотора. Румянцев, а следом за ним и оба лейтенанта посмотрели в высокое оконце, но так ничего и не увидели. Лишь по окрепшему гулу определили, что это пошел на взлет истребитель.

Румянцев кивнул лейтенантам:

— Садитесь, товарищи, за стол. Чувствуйте себя здесь как дома. Это ваш дом, товарищи лейтенанты. Да, ваш дом. И неизвестно насколько.

Стрельцов и Воронов, присев на узкую скамью, напряженно молчали под внимательным, чуть насмешливым взглядом комиссара. Румянцев полез в карман, достал пачку «Казбека», небрежно ее распахнул. На карту просыпались щепотки душистого табака.

— Закуривайте. Московские. Нас столица не забывает. Слишком уж мы от нее теперь близко... Ну, берите.

— Вот за это спасибо, — оживился Воронов. — За весь день ни одной затяжки не сделал.

— А ваш товарищ почему не берет?

— Он у меня одними леденцами питается, — усмехнулся Воронов.

— Что ж, — одобрил комиссар, — леденцы тоже дело не зряшное. — Он достал зажигалку, поднес ее к папиросе. Затяжку сделал глубокую, жадную. Потом внимательно прочитал их командировочные предписания и на уголке каждого сделал косую пометку: «Капитану Петельникову. Зачислить в штат». — Формальности, как говорится, соблюдены, — улыбнулся он. — Вернется со старта начальник штаба, вас разместит и поставит на довольствие, а теперь поговорим по существу.

Однако вновь затрезвонил телефон, и комиссар снял трубку:

— Старший политрук Румянцев у аппарата. — Его полное лицо с глубокими складками в углах рта сделалось напряженным. — Слушаю вас, товарищ Второй. Майор Хатнянский уже более десяти минут в воздухе. Вероятно, подходит к линии фронта. Что, что? Какие американцы? Да, понимаю. Нет, не приходилось. Никогда еще не приходилось. Не беспокойтесь, товарищ Второй. Лицом в грязь не ударим.

Румянцев отошел от телефона и растворил дверь во вторую половину землянки, отделенную от первой перегородкой из неотесанных досок. Там были устроены двухэтажные нары, и на них в полумраке дремало несколько человек. Стояла невесть как попавшая сюда школьная парта, за ней четыре летчика в легких темно-синих комбинезонах ожесточенно резались в домино. Неярко горела «летучая мышь». Полосы бледно-желтого света вырывали из темноты кусок стены с наклеенным на него плакатом: простоволосая женщина с сухими от горя глазами прижимала к груди беззащитного ребенка и рукой указывала вперед. «Воин, отомсти!» — требовала она.

— А ну-ка, гренадеры, — повелительно, хотя и с добродушным смешком, произнес Румянцев, — всем до единого подъем. Срочно причесаться, застегнуться на все пуговицы, заправиться.

— Что за парад предстоит, товарищ комиссар? — сонно спросил с верхних нар большой, грузный летчик.

— Берите выше, капитан Боркун! Не парад, а целый дипломатический прием. Только что звонили из штаба. К нам выехали американские журналисты.

— Забавно, — усмехнулся грузный летчик и стал медленно и неуклюже сползать с нар. — А коктейль по этому поводу какой-нибудь выдадут?

Капитан встал на ноги и неожиданно оказался крепким мускулистым парнем. Широченные плечи и тяжелые, непропорционально туловищу длинные руки делали его огромным и нескладным. В полумраке казалось, что он едва-едва умещается под низким сводом землянки. У него были крупные черты лица: мясистый нос, большие уши, лохматые брови — и та неторопливость в движениях, какая свойственна очень сильным людям.

— На капитана Боркуна можете рассчитывать, товарищ комиссар, — сказал летчик, подтягивая к подбородку

блестящую «молнию», — личный состав моей эскадрильи любую дипломатическую миссию выполнит.

— Верю, Боркун, — дружелюбно откликнулся Румянцев, — на вас, как на каменную гору, можно положиться. Об одном прошу, покорректнее, пожалуйста, с американцами.

— Учту, товарищ комиссар, — улыбнулся Боркун.

Летчики собрали домино. Кто-то прибавил огонь в лампе, кто-то вынул дешевое дорожное зеркальце, кто-то схватился за расческу. А у входа уже гудела штабная «эмка», доставившая в полк неожиданных гостей. Румянцев повесил реглан на вбитый в деревянную стену гвоздь и спокойно, осанисто пошел к выходу. Ему навстречу по узким ступенькам спускались приехавшие. В проходе стало темно. Приподнявшись на цыпочки, Алеша Стрельцов увидел несколько пилоток и в их окружении шляпы.

Первым вошел в землянку батальонный комиссар с красным рябоватым лицом.

— Это заместитель начальника политотдела дивизии, — шепнул Стрельцову кто-то из летчиков.

За батальонным комиссаром появился худощавый седой капитан Петельников, успевший, как видно, встретить гостей при въезде на аэродром, а дальше шли американцы. Лейтенант Воронов удивленно подтолкнул Стрельцова локтем:

— Леша, глянь, с ними и дамочка.

С большим блокнотом в руке, чуть боком спускалась в землянку молодая женщина, придерживая рукой подол юбки. Стрельцов внимательно ее рассматривал. Американке лет тридцать, не больше. Расстегнутый пыльник с откинутым на плечи капюшоном, на ногах коричневые туфли на толстой резиновой подошве. Светлые, коротко остриженные волосы, чуть подкрашенный рот, очки в позолоте, а за их стеклами молодые голубоватые глаза. Честное слово, если бы встретил ее Алеша Стрельцов в родном Новосибирске на Красном проспекте, ничего бы не нашел ни в лице, ни в одежде примечательного. Осторожно поддерживая ее под локоть, шел пожилой мужчина с брюшком под полосатым джемпером. И замыкал шествие моложавый смуглый американец в сдвинутой с шиком на правую бровь серой шляпе.

Старший политрук Румянцев шагнул навстречу гостям, коротким кивком головы их приветствовал. Его уста-

лое лицо несколько оживилось. Батальонный комиссар сказал, обращаясь к моложавому американцу:

— Мистер Грей, прошу знакомиться. Комиссар полка Румянцев. В данное время он исполняет и обязанности командира полка.

— О! — воскликнул американец, энергично пожимая Румянцеву руку. — Разве у вас комиссары командуют авиационными полками? Парадокс! Комиссар, как бы это выразиться... — американец замялся, подыскивая нужные русские слова, — политический воспи-та-тель... Это — пропаганда! — И он, прищелкнув пальцами, поднял вверх руку, с явным самодовольством поглядев на своих коллег.

— Вы не совсем точны, мистер Грей, — улыбнулся батальонный комиссар. — Действительно, наши комиссары чаще занимаются именно тем, что вы именуете пропагандой. Однако бывают случаи, когда им и командовать полками приходится.

Американец стремительно повернулся к Румянцеву и снова весело прищелкнул пальцами:

— О да. Но авиационным полком?.. Для этого, как я понимаю, комиссар должен уметь летать.

— У нас комиссары летать умеют, — спокойно проговорил Румянцев и протянул руку женщине. Она брызнула в ответ белозубой улыбкой, запинаясь, с тем усилием, без которого ни одному человеку не удается произнести несколько слов на малознакомом языке, сказала:

— Я не понимай по-русски. Дженни Гретхем. Ассошиэйтед Пресс.

— Билл Фред, — отдуваясь, представился одутловатый пожилой американец в полосатом джемпере. Он снял шляпу и стоял, обмахиваясь ею. Светлые навыкате глаза торопливо скользили по лицам, и было трудно понять, с интересом или безразлично оглядывают они летчиков.

Оттесненные, что называется, на второй план, Алеша Стрельцов и Воронов оказались за спинами летчиков и техников. Приподнявшись на цыпочки, из-за широкого плеча Боркуна Алеша видел гостей, синие глаза его ширились от любопытства. Никогда в жизни не приходилось ему встречаться с американцами. Как и многих других юношей его возраста, Алешу сильно интересовала чужая далекая страна Америка с ее небоскребами и водопадами, с приключениями золотоискателей и путешественников, с войной Севера против Юга. Америка для Алеши Стрельцова была маленькой бамбуковой этажеркой в его

квартире, где корешок к корешку стояли томики Марка Твена и Джека Лондона, Фенимора Купера и Генри... Теперь, когда фашистские бомбы падали на Вязьму, Ленинград и Москву, Алеша знал, что люди далекой большой страны объявили войну Гитлеру, и это усиливало его симпатии к Америке. Сейчас он с теплым чувством рассматривал журналистов. Они сильно отличались от летчиков девяносто пятого полка, измотанных напряженной боевой работой. Алеше не показалось — так было на самом деле, — все присутствующие, начиная от старшего политрука Румянцева, дружелюбно разглядывали гостей. Алеша прислушался к беседе.

— Мистер Румянцев, — проговорил Грей, — я беру на себя труд представить вам своих коллег. Это Дженни Гретхем из телеграфного агентства Ассошиэйтед Пресс. А это Билл Фред, старый газетный волк, исколесивший весь мир, автор статей, книг, памфлетов. Сейчас он работает на «Нью-Йорк таймс». Старик, несмотря на астму, рискнул пересечь по воздуху океан, чтобы побывать у храбрых солдат России. Поверьте, у нас на континенте все восхищаются вашим мужеством. Сердцем мы постоянно с вами.

— Сердцем — это маловато, — подал голос Боркун. — Надо бы и оружием быть вместе.

— О! — засмеялся Грей. — Русские летчики находчивые собеседники. Будет и это. Непременно будет и это. Наши солдаты станут вашими союзниками в боях.

— Мы рады приветствовать наших гостей, — сказал Румянцев, приглашая журналистов к столу. Американцы вежливо обошли всех летчиков, с каждым поздоровались за руку и уселись за штабной стол. «Какая у нее мягкая маленькая ладонь», — подумал Алеша про Дженни Гретхем, ощущая на своей руке тепло этого случайного рукопожатия. Смуглый худощавый Грей с любопытством осматривал подмокшие своды землянки.

— О! — воскликнул он. — Здесь у вас роман-тическая обстановка.

— Я бы предпочел менее романтическую крышу над головой, — невесело усмехнулся Румянцев.

Гости вынули блокноты и автоматические ручки. Толстый Фред оседлал нос роговыми очками и вполголоса заговорил с Греем. Торопливыми очередями прозвучала чужая речь. Грей вдруг смутился, с неудовольствием поджал губы и что-то резко возразил своему коллеге.

Но Фред отрицательно покачал головой и опять произнес несколько фраз. Грей вздохнул.

— Мистер Фред хочет задать один вопрос, — глядя на старшего политрука, начал он.

Румянцев медленно поднял широкую ладонь, словно собирался накрыть ею что-то лежащее на столе:

— Не надо переводить. Насколько я понял, мистер Фред желает спросить у комиссара Румянцева, когда падет Москва. Комиссар Румянцев отвечает одним ясным русским словом — никогда!

Грей добросовестно перевел. Лысоватая голова Фреда тяжело качнулась на толстой жилистой шее, и на его губах появилась ироническая усмешка. Он сказал еще несколько фраз Грею, и тот быстро обратил их в русскую речь, явно не желая, чтобы Румянцев, прислушивавшийся к хрипловатому гортанному голосу Фреда, его опередил:

— Мистер Фред удивляется оптимизму комиссара Румянцева. Он считает, что этот оптимизм ничем не оправдан. — Грей сделал паузу и заговорил уже от себя: — Мистер Румянцев, нам известно, что немцы перейдут на днях в генеральное наступление на Москву. Наши военные авторитеты полагают, что новое наступление Гитлера Красной Армии невозможно будет отразить. Вы не станете отрицать, мистер Румянцев, что такое наступление Гитлером готовится?

— К сожалению, не стану, — прозвучал спокойный голос комиссара. — Не далее как полчаса назад майор Хатнянский, заместитель командира нашего полка, вылетел на ответственную разведку. Нас действительно беспокоит перегруппировка у немцев. Но знаете, мистер Грей, есть мудрая русская поговорка: «Цыплят по осени считают».

Румянцев смолк и посмотрел на сгрудившихся вокруг стола летчиков. Увидел их удивленные, обиженные и даже возмущенные глаза, широкий, решительно выдвинутый вперед подбородок Боркуна. Подумал: «Этот еще, чего доброго, самовольно в разговор ввяжется», — и осадил его строгим кивком. Синие глаза Алеши Стрельцова наполнились острой болью: как же так, неужели они, назвавшиеся боевыми товарищами, не верят, что мы отстоим Москву? Искоса поглядывая на старшего политрука, писала американка. Билл Фред, которому Грей перевел последние слова комиссара, снова ухмыльнулся и

пробормотал что-то. Румянцев порывисто поднял голову.

— Да, да, мистер Фред, — запальчиво сказал он по-русски, — вы можете выражаться совершенно откровенно. На горькую правду мы не обидимся.

Смуглый Грей сузил глаза, отвел их в сторону и, царапая ногтем раскрытый блокнот, продолжал:

— Поверьте, нам больно об этом говорить, но долг журналиста — всегда добиваться истины. Видите ли, мистер Румянцев, вы умный человек и не можете не понимать всей трагичности сложившейся ситуации. Падение Москвы неизбежно. Немецкие фашисты у стен Ленинграда, сданы Смоленск, Киев. Наш общий враг в Новгороде. Красная Армия серьезно надломлена. В строю треть самолетов. Да, да, не отрицайте. Час назад мы сами проезжали город под бомбежкой. Сколько самолетов поднялось навстречу «юнкерсам»?

— Ни один не поднялся, — мрачно сказал Румянцев. — Наш полк не ведет сейчас воздушных боев, у него другая задача — фронтовая разведка.

— О! Но кто же должен был прикрывать город? — пылко воскликнул Грей.

— Наши соседи.

— А их мы увидели в воздухе, когда «юнкерсы» уже отбомбились. Вы привели прекрасную русскую поговорку насчет цыплят и осени, но я позволю себе привести и другую. Про ваших истребителей нужно сказать: «На охоту ехать — собак кормить».

Мешковатый капитан Боркун тяжело засопел.

— Это смотря как ехать, господин мистер, — не выдержав, брякнул он. — Мы, русские, долго запрягаем, да зато быстро ездим.

Замолчал американец, молчали и летчики, настороженно глядя на гостей. Тикали на столе самолетные часы. Румянцев посмотрел на их стрелки, подумал: «Через девятнадцать минут вернется Хатнянский. Уже проходит линию фронта». Вслух произнес:

— На войне бывают ошибки, мистер Грей.

— Ошибки! Да, ошибки это очень печально! — подхватил американец. — Не думаете ли вы, мистер Румянцев, что некоторые ошибки первых дней войны, допущенные вами, гораздо больше помогли противнику, чем его танки и самолеты?

— Я — солдат, мистер Грей, — ответил Румянцев, — мое дело воевать и готовить к боям людей. Убьют меня

или останусь жив, сказать трудно, но я твердо верю, что после нашей победы над фашистами историки разберутся в наших подвигах и ошибках. А мое дело воевать как можно лучше.

Грей перевел ответ комиссара своим коллегам. Автоматическая ручка в пальцах американки быстрее забегала по листу бумаги, крякнул Билл Фред.

— Я не хочу умалять мужества русских! — запротестовал Грей. — Мы, американцы, этим мужеством восторгаемся. Но русская душа для меня и моих соотечественников, как это у вас говорится... темно, нет, не темно... потьомки. Вот именно, потьомки. Гитлер стоит почти у стен Москвы, а вы убеждены, что битву за нее выиграете. Это непостижимо. Вы меня извините, мистер Румянцев, но когда вы говорите: Гитлер не возьмет Москву, — то это звучит... м-м... ээ... несколько фанатично.

— Мы уже это слышали, — вздохнул Румянцев.

— От кого? От нас, американцев? — быстро спросил журналист.

— Нет, от Гитлера и Геббельса.

— О! — Грей обиженно поднял руки. — О, я понимаю, то, что я говорю, это не есть приятно. Однако я говорю как друг, мистер Румянцев: Гитлер и Геббельс — ваши враги, а мы — друзья. Для нас падение Москвы — это тоже трагедия.

— Охотно верю, мистер Грей. Только бывает, что в оценке военного положения друзья и враги ошибаются одинаково.

— То, что я говорю, не ошибка. О нет! — горестно возразил американец, избегая устремленного на него хмурого взгляда Василия Боркуна. — Мы к истине ближе, чем вы. Но, возможно, — он ласково улыбнулся, как улыбаются детям, заранее прощая им какую-нибудь нелепость, — возможно, мы чего-нибудь не понимаем. Я повторяю, нам совершенно непонятно, на что вы надеетесь, утверждая, что не сдадите Москвы?

— На что мы надеемся? — переспросил комиссар, размышляя над ответом. — И вам неясно на что...

Румянцев замолчал и, слегка склонив набок голову, чутко прислушался. С шорохом падали капли где-то в самом углу землянки. Неожиданно к этому монотонному звуку примешался далекий, едва проникающий в землянку гул мотора. Комиссар быстро посмотрел на часы и встал:

— Прошу прощения, мистер Грей. Объясните своим коллегам, что я вынужден вас ненадолго покинуть. Из разведки возвращается майор Хатнянский.

— Мистер Румянцев, — учтиво улыбнулся Грей, — если позволите, мы будем вас сопровождать. Мы, журналисты, любопытный народ, и нам весьма хотелось бы поговорить с русским летчиком, только что прилетевшим из боя.

— Пожалуйста, — неохотно согласился Румянцев и надвинул на глаза пилотку. Грей бросил своим коллегам несколько торопливых слов. Женщина сказала «йес», захватив блокнот, быстро пошла к выходу вслед за старшим политруком. Фред пожал плечами. На его невозмутимом кирпичного цвета лице промелькнула усмешка. Он тяжело задышал, для чего-то взглянул в окно и с явной неохотой последовал за своими коллегами. Алеша Стрельцов, внимательно наблюдавший за ним, подтолкнул Воронова локтем:

— Сдрейфил, что ли, этот старикан в джемпере? Под бомбежку, наверное, боится попасть.

— Так в нем целых сто кило, — разъяснил Воронов.— Разве их легко от скамейки оторвать?

— Давай и мы посмотрим, что привез из разведки майор Хатнянский, — сказал капитан Боркун, поднимаясь с табуретки. За ним повалили все летчики, кроме молоденького лейтенанта Ипатьева, оставшегося у телефонов. Стрельцов выжидающе посмотрел на Воронова. Это означало: «Идем?» Воронов ответил кивком головы.

На западе в редком березняке догорал огненный край солнца, обдавая стволы малиновым светом. Стрельцов глянул в сторону города. Контуры церквей и высоких зданий уже расплывались, обволакиваясь синими сумерками. Под легкими перистыми облаками, такими же малиновыми, как и стволы березок, появился истребитель. Силуэт его обозначился четко. Тупоносый короткокрылый И-16 с пятиконечной звездой на фюзеляже приближался к аэродрому.

Цепочкой шли к старту Румянцев, американские журналисты, такие необычные здесь в своей гражданской одежде, и летчики в легких комбинезонах. Стрельцов услышал, как Боркун, широко шагавший впереди, сказал:

— Хорошо, что возвращается. Из самого пекла, поди, пришел.

— Там одних зениток туча, — прибавил мрачноватый

старший лейтенант, тот, что первым повстречал на аэродроме Воронова и Стрельцова.

Самолет снижался. Он заходил на посадку, не делая обычного круга, с прямой. Когда тупоносая машина была уже на высоте трехсот или двухсот метров, из-под брюха у нее вышли два черных колеса. Треск мотора прервался. Румянцев и капитан Петельников испуганно переглянулись. Но мотор заработал снова с короткими перебоями. Из патрубков с искрами выпорхнули черные дымки. И вдруг самолет, зачерпнув крылом синеватый воздух, начал валиться набок, быстро теряя высоту. Боркун до боли сдавил локоть шагавшему рядом с ним старшему лейтенанту. Почти у земли самолет вновь выровнялся и продолжал полет по прямой. Только перед самым приземлением, когда два передних колеса и спрятанный под хвостом маленький «дутик» готовы были коснуться земли, машина задергалась снова. Она, как живая, качнулась сначала влево, потом вправо и, толкнувшись колесами о грунт, подскочила метра на полтора вверх. Еще секунда — и, подчиняясь руке летчика, истребитель вторично коснулся колесами земли. Левая консоль крыла с сухим треском ударила по твердому грунту посадочной полосы. Обшивка вздыбилась на крыле, оголив его ребро. Самолет пробежал по аэродрому небольшое расстояние и бессильно остановился. Двухлопастный винт несколько раз полоснул воздух и застыл без движения. Румянцев и капитан Боркун, обогнавшие в несколько прыжков всех остальных, первыми подбежали к остановившемуся далеко за посадочным «Т» истребителю.

— Хатнянский никогда не сажал так машину! — выпалил шедший позади Боркуна летчик, но осекся под свирепым взглядом капитана. Румянцев и Боркун были уже у крыла с оборванной обшивкой. В центре зияла огромная дыра с зазубренными краями. Беспомощно висели раздробленные куски элерона. Высокий киль истребителя был пробит в нескольких местах. Боркун толкнул ногой руль глубины. На землю упали тяжелые черные осколки. Капитан нагнулся, подобрал один, подбросил на ладони:

— Горячий еще!

И со страхом перевел взгляд на пилотскую кабину. Почти одновременно посмотрел туда и Румянцев.

Навалившись грудью на черную с утолщением на конце ручку управления, сидел в тесной кабине летчик. Го-

лова его вяло завалилась вправо и лежала на борту кабины. Левая часть лица была густо залита кровью. Летчик был привязан к сиденью ремнем. Из-под брезентовых парашютных лямок, перехватывающих его на животе, тоже растекалась кровь. Секундное оцепенение прошло, и Румянцев уже расстегивал непослушными пальцами шлемофон на подбородке летчика.

— Саша... Хатнянский... — позвал он.

— А-а-а! — чуть слышно простонал летчик.

Встав на пробитое зенитными снарядами крыло, Румянцев осторожно обеими руками стянул с головы Хатнянского шлемофон. Увядающее солнце скользнуло по стеклам пилотских очков. Рассыпались в беспорядке густые длинные волосы, и одна прядка прилипла к залитому кровью лбу. Лицо его не было исковеркано болью. Оно было спокойным, немножко усталым, и только. Румянцев расстегнул «молнию» комбинезона в надежде, что от этого летчику станет легче.

— Саша! — еще раз позвал старший политрук.

— Товарищ майор! — пробасил с другой стороны кабины Боркун.

Хатнянский вдруг пошевелился и неуверенными, слепыми движениями обеих рук нащупал борт кабины. Ухватившись за него, он старался приподнять свое отяжелевшее тело. Правое веко летчика дрогнуло, и большой светлый глаз совершенно осознанно посмотрел на все окружающее. Вероятно, увидел он в это мгновение и багровую полосу заката, и сбившихся возле самолета людей, и близкое лицо Румянцева. Летчик медленно, с усилием поднял окровавленную голову.

— Комиссар... — хрипло прошептал он, — между Арбузово и Ботово немецкий штаб. Шоссе забито танками... двести... не меньше. — Он запнулся, тяжело и хрипло дыша... — В Ново-Дугино до сотни «юнкерсов» и «хейнкелей»... На всех дорогах мотопехота... Снижался до бреющего. Кажется, сбил «мессера». Их было восемь. — В горле у Хатнянского снова захрипело, сквозь стиснутые зубы хлынула кровь. Голова его опять откинулась на борт кабины. Только веки не опустились, и глаза голубели, как две холодные, стынущие на ветру льдинки.

— Саша! Хатнянский! Саша! — задохнувшись, выкрикнул комиссар.

Подошли сестры и развернули брезентовые носилки. Поджарый высокий капитан с новыми медицинскими

эмблемами на гимнастерке взял холодную руку летчика, нетерпеливо мотнул головой медсестрам и отошел от кабины.

Глядя куда-то в сторону, несмело, но так, что все слышали, произнес:

— Совсем, товарищ комиссар.

По лицу старшего политрука бежали крупные слезы. Не смахивая их, Румянцев обернулся к окружавшим самолет людям. Он кого-то искал среди них и, найдя, громко сказал:

— Капитан Петельников, немедленно доложите генералу разведданные майора Хатнянского.

— Есть! — отозвался Петельников.

В тишине с легким акцентом прозвучал голос американского журналиста Грея:

— Это потрясающе! Он докладывал мертвым!

— Что вы сказали? — оборачиваясь к нему, переспросил Румянцев. — Мертвым? Да. Верно. Он привел машину на аэродром мертвым, мертвым ее сажал, мертвым докладывал.

☆☆☆☆

Впервые за свои двадцать лет Алексей Стрельцов увидел так близко человеческую смерть. И оттого, что эта смерть была такой необычной, пронизанной до самого последнего мгновения борьбой за жизнь, оттого, что незнакомый ему майор Хатнянский умер, едва успев доложить о боевом вылете на разведку, — она показалась ему особенно страшной и значительной. Стрельцов впервые ощутил со всей непримиримой остротой рубеж, пролегший между его вчерашней спокойной жизнью инструктора авиационного училища и жизнью летчиков девяносто пятого истребительного полка, тех, кто сейчас молча и угрюмо шагали к землянке командного пункта от места гибели майора Хатнянского.

Стрельцов все еще видел перед собой белокурую, залитую кровью голову майора, его пересохшие, с трудом шевелящиеся губы, слышал его срывающийся шепот. С тревогой и робостью в душе он спрашивал себя: «А ты так сможешь? Сможешь, а?» И чувствовал, что не в силах ответить на этот вопрос. Воронов, шагавший рядом, спросил:

— Ты о нем думаешь, Леша, о майоре?

— О нем.

— Да-а, смерть... — неопределенно протянул Воронов.

По тому угрюмому молчанию, с каким летчики приближались к КП, Стрельцов решил, что комиссару Румянцеву, который, видимо, с особенной болью воспринял гибель Хатнянского, будет в этот вечер не до них. Но, дойдя до командного пункта, старший политрук словно обрел дар речи. Он разговаривал с американцами, улыбался, обмениваясь рукопожатиями при прощании, махал рукой им вслед, когда видавшая виды «эмка», скрипя и тарахтя, повезла гостей с аэродрома. Потом он спокойно и деловито отдавал распоряжения о похоронах и, наконец, когда Алеша окончательно решил, что до них с Вороновым дело в этот вечер не дойдет, сказал начальнику штаба:

— Вот еще о чем не позабудьте, Петельников. К нам прислали двух новичков. Кажется, Воронов и Стрельцов их фамилии. Надо устроить.

— Куда же я их, право, — вздохнул было Петельников, но Румянцев сухо повторил: «Устройте» — и спустился в землянку.

— Вы, что ли, новички? — щуря темные глаза, не то насмешливо, не то сердито спросил Петельников.

— Так точно, товарищ капитан, — ответил за двоих Воронов. — Мы. Я и лейтенант Стрельцов.

— В армии каждый отвечает за себя, — хмуро поправил Петельников. — Коллективок не положено. У Стрельцова тоже, надеюсь, есть дар речи.

— А мы так всегда, — бойко пояснил Воронов, — один за двоих отвечает. Нас за это все училище неразлучниками звало.

— Ишь ты, — потеплевшим голосом проговорил Петельников, — бойки вы, гляжу. А продаттестаты на руках?

— На руках.

— Тогда марш в летную столовую на ужин, а я обмозгую, куда вас поместить.

Поздно вечером, когда лейтенанты уже подремывали, сидя на табуретках в жилой половине землянки, и Воронов с завистью поглядывал на двухэтажные нары — на них спали в промасленных комбинезонах техники, с зарею начинавшие рабочий день, — к ним подошел оперативный дежурный, тот самый молоденький лейтенант, что

докладывал Румянцеву и Петельникову обстановку, и дружелюбно улыбнулся:

— Я за вами. Начштаба приказал разместить. Идемте. Только придется вас по разным эскадрильям развести.

Воронов и Стрельцов встали зевая, взяли свои дорожные чемоданчики. Над аэродромом стлались густые сумерки. Их не пробивал ни один огонек. Ветер дул с запада пресный, несильный, путался в листве. Слышался в этом ветре легкий запах выгоревшей за лето лебеды. На западе глухо охали орудия. Иногда их стрельба сливалась в погромыхивание. Над далекой зубчаткой леса внезапно встал блеклый столб света. Не потухая, колыхался он в воздухе.

— Это он осветительную подвесил, — негромко пояснил лейтенант Ипатьев.

— Кто «он»? — не понял Воронов.

— Фашист. Сейчас бомбить будет.

Действительно, не успели они отойти от землянки, как в той стороне, где только что погас свет, раздалось несколько гулких ударов. Казалось, кто-то невидимый бьет по земле огромным молотом, и она, потревоженная, возмущенная, отзывается под ногами глухим гулом.

Утихли взрывы, и вскоре где-то совсем близко от аэродрома, в звездной тишине, послышалось вибрирующее завывание моторов. Был этот угрюмый, прерывистый, хрипловатый вой таким особенным, что, даже однажды его услышав, нельзя спутать ни с чем иным.

— «Юнкерсы», — тихо проговорил Стрельцов.

Лейтенант Ипатьев в темноте улыбнулся.

— Быстро научились различать. Да, «юнкерсы». На Москву рвутся. Они всегда по этому маршруту ходят,— сказал он, видимо довольный тем, что может помочь своим ровесникам и новым однополчанам постигнуть фронтовую обстановку. — А знаете, — продолжал он, — фашисты все-таки твердолобые. У них везде одни и те же приемы. В воздушных боях атаки строят по трафарету, на Москву ходят по одному и тому же маршруту. Я раньше думал, это только в авиации так. А поездил в штаб фронта за оперативными данными и убедился, что они везде воюют по схеме. И пехота, и танки. Клещи, охваты. Троекратное и пятикратное преимущество — вот их козыри.

За околицей их остановил часовой. Коротко прозвучал в ночной тишине оклик:

— Стой, кто идет? Пропуск.

— Это я, Ипатьев.

— Вы, товарищ лейтенант? — уточнил часовой.

От крайней избы отделилась темная фигура. С винтовкой наперевес к ним приблизился часовой. Воронову и Стрельцову, привыкшим к точному выполнению всех правил караульной службы, сразу бросилась в глаза его необычная вольность. Он и винтовку держал совсем не так, как положено по уставу, и с лейтенантом Ипатьевым разговаривал свободно, словно было это не на посту.

— Ну, как в нашей деревушке? Все спокойно? — тихо спросил лейтенант.

— Да уж спокойно! — покашляв в кулак, ответил часовой. — Вечером около Мотылихи мотористы соседнего полка двух парашютистов нащупали.

— Взяли?

— Нет. В перестрелке положили обоих. А вы в нашу эскадрилью?

— Да. Нового летчика привел.

— Что ж, одна коечка свободная.

Лейтенант Ипатьев взял Воронова за локоть и поднялся на крыльцо.

— Спокойной ночи, Коля! — крикнул ему на прощание Стрельцов.

Потом лейтенант Ипатьев привел Стрельцова на самую середину деревни и громко постучал в избу с резными наличниками. Ему молча открыла закутанная в шаль старушка. Ипатьев вынул из кармана фонарик с разноцветными стеклышками, какие обычно носили на фронте разведчики. В сенях зеленое пятно легло на ноги Стрельцову, скользнуло по бревенчатым стенам, увешанным пустыми ведрами, коромыслами, граблями, косами.

— Вот сюда, — позвал из мрака Ипатьев и со скрипом отворил неподатливую дверь.

Очутившись в просторной комнате, он прибавил в лампе огня. Стрельцов увидел пять коек, тесно приставленных одна к другой, сваленные на подоконнике планшеты и шлемофоны, табуретки с разложенными на них гимнастерками и бриджами, ремни со свисающими кобурами. Три койки были заняты. Из-под одеяла высунулась лохматая голова, хозяин ее сонно спросил:

— Ты, что ли, Ипатьев?

— Я, Сережа, — отозвался лейтенант, — новенького вам привел. Прошу любить и жаловать. Какая у вас койка свободная?

— Вот эта, в центре. А ту, что у окна, пусть не занимает. На ней наш комэск спит.

— А он где?

— Где? — усмехнулся говоривший. — К чему, Ипатьев, ненужные расспросы? Ты должен давным-давно усвоить, что комэск наш может быть в двух местах: или на аэродроме, или у Дуси. Они туда час назад с капитаном Боркуном пошли. Хатнянского помянуть. Смотри комиссару не проговорись.

— Ладно, ладно, — сердито оборвал лейтенант, — лучше скажи: табуретка или стул лейтенанту Стрельцову найдется?

— Под столом табуретка.

Летчик ткнулся головой в подушку и тотчас захрапел. Ипатьев простился со Стрельцовым. Алексей затворил дверь, вытащил из-под стола поцарапанную табуретку и стал раздеваться. Стащив тесноватые сапоги, поскрипывающие новым хромом, он с наслаждением пошевелил пальцами ног. Нет, тонкие фланелевые портянки не спасли — пальцы ныли, на пятках горели белые волдыри. Все-таки много километров пришлось отмахать за день. Алексей свернул приятно пахнущий кожей поясной ремень, сложил аккуратно гимнастерку, как делал это на протяжении двух с лишним лет в авиационном училище, и забрался на койку. От жестковатого матраца отдавало свежим сеном, а подушка была самая настоящая, пуховая. Стойкий запах тройного одеколона, хорошего туалетного мыла и чужих волос исходил от наволочки. Алексей лег на затылок, закрыл отяжелевшие веки. Он хотел бы сразу уснуть, но не смог. Подошел к окошку, приподнял штору. За окном мерцало небо. Время от времени среди неподвижных матовых звезд появлялись синие и красные огоньки тяжелых бомбардировщиков, возвращающихся с задания. Они то зажигались, то потухали, и это означало на фронтовом языке «я свой». Так говорили сигнальные бортовые огни самолета и зенитчикам, не смыкавшим глаз у орудий, и постам ВНОС [1], и командным пунктам ночных истребительных полков, прикрывающих подступы к Москве. Иногда в окне взметывались всполохи далекого зарева, возникавшего на месте бомбежек. Где-то в десятках километров отсюда ухали тяжелые фугаски, и в домике тоненько позвякивали стекла.

---

[1] ВНОС — Воздушное наблюдение, оповещение, связь.

Недалеко от деревни пролегало рокадное шоссе. Оттуда доносились непрерывные гудки автомобилей, едущих к фронту и от фронта с погашенными фарами, лязганье танков и тягачей, чьи-то выкрики «Давай, давай, дружней!». Все эти шумы и шорохи были такими необычными для Алексея Стрельцова, привыкшего к ночной тишине сибирских городков, не вспугнутых войной.

Алексей услышал, как мимо окон кто-то протопал, и тотчас же прозвучал сердитый басок:

— Гасите свет. Вам тут что, война или забава одна?

Вероятно, где-то в соседнем доме неосторожно зажгли лампу, и огонек ее был замечен часовым.

Алексей прислушивался ко всему со жгучим любопытством. Фронтовая действительность с каждым часом, прожитым на полевом аэродроме, окутывала его все больше и больше. Теперь она властвовала над ним так же прочно, как властвовала над комиссаром Румянцевым и лейтенантом Ипатьевым, над летчиками, похрапывающими по соседству, и над всеми теми, кто сейчас дрался с фашистами на земле и в воздухе или ожидал своей очереди вступить в бой.

ГЛАВА ВТОРАЯ

У двадцатилетнего большелобого Алеши Стрельцова за плечами уже была своя особенная, не похожая на все другие, жизнь. По глубокому убеждению самого Алеши, привыкшего все делить на хорошее и плохое, она все же была хорошей. Правда, она могла быть еще лучше, да что поделаешь, если не получилось? Человеку приятно, когда он смотрится в ясное, чистое зеркало. Но если даже это зеркало вдруг разобьется, от него останется большой осколок, в который по-прежнему можно будет смотреться. А мелкие, ненужные можно завернуть в бумажку, пожалеть о них и выбросить.

Так и в Алешиной жизни. Сначала она была похожа на ясное и чистое зеркало. А потом зеркало дало трещину, разломилось, но остался большой, ничьими грязными пальцами не тронутый кусок.

Были в этой жизни и коротенькие штанишки, и нарядные матросские бескозырки с позолоченной надписью: «Балтика», и сказки про добрых волшебников — их только мама умела рассказывать таким ласковым голосом,— и папа, приносивший забавные заводные игрушки, умев-

ший рычать, как настоящий волк, и шевелить ушами, как настоящий заяц. Он часто уезжал в командировки, и мама всякий раз ждала его со счастливым нетерпением.

Потом, когда Алеша уже носил пионерский галстук и с тощим портфеликом ходил в третий класс, папа стал все реже и реже приходить домой. Заводные игрушки он уже не приносил, волка и зайца не изображал, а на беспокойные Алешины вопросы отвечал как-то скучно и вяло.

— Мама, — сказал однажды Алеша, — меня в школе мальчишки спрашивают, почему наш папа так редко бывает дома.

У мамы странно покраснели глаза, она прижала к груди вихрастую голову сына, поперхнулась сдавленным шепотом:

— А ты им скажи... скажи, Алешенька... папа твой в экспедиции, долгой-долгой. Он на юге. Там идет борьба с саранчой. Саранча — это такое насекомое, Алешенька, посевы портит. Она тучами летает, и папа твой с ней борется.

Он заснул в ту ночь успокоенный. Снилось огромное пшеничное поле. Стоит пшеница в человеческий рост, качает тяжелыми колосками, а на нее черным облаком налетает саранча. «Саранча, она на манер Змея Горыныча», — думал Алеша, и ему мерещилось, как летят злые насекомые целой стаей, хвостатые, двухголовые, а папа стоит с тяжелой волшебной дубинкой в руке и бьет наотмашь то одну, то другую, защищая хлеба.

На другой же день в школе Алеша с гордостью заявил ребятам:

— Вы про папу моего хотели знать, да? Ну так знайте. Мой папа по борьбе с саранчой, вот он кто!

Но прошел еще день, и его встретил на улице шестиклассник Витька Рябов: с младшим братом этого Витьки Алеша сидел на одной парте.

— Эй, Алешка-длинноножка! — закричал Витька Рябов издали. — Ты что там про своего отца наврал? Он по борьбе с саранчой? Так и держи! Он от вас уехал с рыжей Альбиной, с артисточкой... фьюить!

Алеша остановился в оцепенении. Всем своим маленьким существом он вдруг понял, что стоит за этими словами нехорошее, гадкое, о чем даже у мамы не нужно спрашивать. Он долго не мог заснуть в тот вечер. А наутро, проснувшись, услышал, как на кухне всхлипывает

мама, а их соседка Дарья Дмитриевна — ее за необыкновенную полноту и гвардейский рост звали Ильей Муромцем — громко, рассерженно говорит:

— Ну и наплевать! И без него проживем. Одна Алешку с Наташкой воспитаешь. И я тебе помогу, и другие добрые люди найдутся... Только не раскисай, Марийка. Слезами теперь не поможешь. Сама ты на свою голову привела в дом эту рыжую беду!

Алеша слушал и ничего не понимал. Он вскочил с постели, босиком прошлепал на кухню, со смехом спросил:

— Тетя Даша, а разве беда рыжая бывает?

Обычно «Илья Муромец» благодушно улыбалась Алешиным выдумкам. Но в этот раз сердито одернула фартук и замахнулась веником.

— Кыш, постреленок, чего суешься не в свое дело!

Мама отняла руки от вспухших глаз, спокойно сказала:

— Не надо, Дарья Дмитриевна. Алешенька уже большой. Он должен знать правду. — Она притянула его к себе, прижала к высокой мягкой груди, ласкаясь мокрой щекой о большой Алешин лоб, тихо закончила: — Папа от нас ушел, сынок. С тетей Альбиной уехал от нас. Может, еще одумается, вернется.

Алеша мучительно наморщил лоб. Ему вспомнилась рыжеватая, с короткой прической тетя Альбина, часто навещавшая их дом. Она была веселой, легко танцевала и часто читала стихи высоким, звенящим голосом. Особенно хорошо у нее получалось из Маяковского:

В сто сорок солнц закат пылал,
в июль катилось лето,
была жара,
жара плыла —
на даче было это...

Тетя Альбина запрокидывала голову, ослепляя всех улыбкой. А вот когда она читала «Сергею Есенину», то сразу становилась суровой и хмурой и говорила строго, совсем как прокурор из кинофильма «Процесс о трех миллионах». Алеша сидел в углу, исподлобья наблюдал за тетей Альбиной. Ее голос гремел:

Нет, Есенин,
                    это не насмешка, —
в горле
          горе комом
                    не смешок.

Вижу —
взрезанной рукой помешкав,
собственных
костей
качаете мешок.

Ей аплодировали, кричали «браво», «бис» и мама, и папа, и другие гости. А потом все пели песни, откупоривали бутылки. Было хорошо, весело.

Так вот она какая, тетя Альбина! Она только прикидывалась хорошей. И в маленьком теле Алеши вдруг закипела такая ярость, что он даже не заплакал, только весь сжался и, не поднимая глаз, строго сказал:

— Ты, мама, говоришь — он вернется. А я его не пущу. Да, стану взрослым и не пущу!

Бежали годы. Подрастала сестренка Наташа, мама работала бухгалтером на городской автобусной станции, приходила домой поздно вечером. Она похудела, осунулась, в мягких ее волосах пробились седые паутинки, но большие глубокие глаза смотрели на мир все еще с непогасшим огнем молодости. Алеша не чаял в ней души. Если маме бывало весело, он готов был ходить вверх ногами от радости, если мама грустила, он бродил из угла в угол, не находя себе места. Он успевал и уроки приготовить, и подмести комнату, и помыть посуду, и обстирать маленькую Наташку. Над этим часто подсмеивались в классе, но Алеша только краснел и отвечал прощающей улыбкой.

После семилетки он пошел в строительный техникум и был уже на втором курсе, когда в стране прозвучал короткий клич: «Комсомольцы, на самолет!»

Представители горкома комсомола беседовали почти со всеми его однокурсниками. Дошла очередь и до Стрельцова. Кто-то незлобно пошутил:

— Нашего Алеху, наверно, сразу пошлют по маршруту Москва — Северный полюс. В самый что ни на есть беспосадочный.

Алексей рассмеялся вместе со всеми. Его не тянуло в авиацию. К тому же вряд ли кто мог предположить, что из застенчивого, аккуратного Алексея выйдет летчик. На курсе были свои задиры и свои смельчаки, в число которых Алеша вовсе не входил. Поэтому, когда представитель горкома в конце беседы сказал: «Приходите и вы на медкомиссию», Алеша пожал плечами. Он был уверен, что его «отсеют» после первого же врачебного осмотра.

Но оказалось наоборот. Друг за другом отсеивались смельчаки и спортсмены. У одного не все безупречно со зрением, второго подвели ушные раковины, третий не выдержал вращающегося кресла и, встав с него, как пьяный, повалился на ковер. А Стрельцова просвечивали, щупали, мяли, вертели на кресле, и отовсюду он выходил все такой же: спокойный, застенчивый, улыбающийся.

Из четырнадцати студентов-комсомольцев только трое были рекомендованы медицинской комиссией в летные школы, и в их числе Алексей. Оставалось пройти мандатную комиссию. И вот на ней-то и случился казус, едва не погубивший Алешу.

Возглавлял комиссию член бюро горкома — бритоголовый, чуть обрюзгший мужчина лет сорока пяти в полувоенном костюме. Был он предельно строг, каждому из отбираемых задавал бесконечные вопросы о близких и дальних родственниках, наложенных взысканиях, участии в комсомольской работе. Если отвечающий говорил: «не был», «не состоял», «не подвергался», он искоса поглядывал на него цепкими зеленоватыми глазами. Можно было подумать, председателю не по душе, что в анкете у отбираемого все в порядке: ни бабушка, ни дедушка не были за границей и не воевали против Советской власти, ни папа, ни мама не лишались избирательных прав, а сам не состоял ни в каких других организациях, кроме комсомола.

Алеша Стрельцов спокойно отвечал на вопросы. И все бы, наверное, обошлось как нельзя лучше, если бы в эту минуту не всплыл у него в памяти рассказ мамы про ее старшего брата, которого он никогда и в глаза не видел. Этот дядя отбился от семьи земского врача и назло отцу, ненавидевшему поповщину, стал псаломщиком. Однако часто во время светлых престольных праздников запой мешал ему как следует справлять свои обязанности.

Алеша так и буркнул:

— Лишенцев у нас в роду не было. Вот только если дядя.

— А кто такой был дядя? — насторожился председатель.

— Он псаломщиком был до самой смерти. Я его, правда, ни разу в жизни не видел, но знаю точно, что до попа он не смог дослужиться.

— Гм... надо разобраться с этим, товарищ Стрельцов. Значит, служитель церкви? — Председатель постучал ка-

рандашом по стеклу письменного стола и заглянул в анкету, чтобы убедиться, что он не перепутал Алешину фамилию. — Плохо, товарищ Стрельцов. Служитель церкви — это тот же классово чуждый элемент. Прискорбно, но мы не можем рекомендовать вас в авиацию.

И после этих веских слов пришлось бы Алеше снова возвратиться в строительный техникум, если бы не случай. На том заседании в качестве члена мандатной комиссии присутствовал совсем молодой с виду военный летчик. В его голубых петлицах, расшитых золотым кантом, виднелись вишневые ромбики. Над загорелым лбом в беспорядке разметались короткие курчавые волосы, а в дерзких калмыковатых глазах бились буйные искры. На гимнастерке блестели три ордена Красного Знамени. Это был комбриг Комаров, начальник местной школы военных летчиков. Он только что возвратился из Испании, где дрался против фашистов в составе знаменитой Интернациональной бригады. Когда Стрельцов рассказал о своем дяде, «не доросшем до попа», тонкие губы Комарова сложились в усмешку, взгляд остановился на Алеше.

— Постой, постой, товарищ Родионов, — прервал он председателя мандатной комиссии, — так что же, собственно говоря, ты предлагаешь?

— Отказать Стрельцову в рекомендации.

— И только на том основании, что запойный псаломщик, которого Стрельцов никогда не видел, был его дядей? Да разве это довод?

— Конечно, довод, — последовал невозмутимый ответ. — Самый неоспоримый довод!

— Ну, Родионов, не ожидал я от тебя такого, — вскипел комбриг, — этак мы всех ребят под подозрение можем взять. А ты знаешь, что сын за отца не отвечает?

— Я и другое знаю, — усмехнулся Родионов, — кто старое помянет, тому глаз вон, а кто забудет, тому два из орбит. Так что и о бдительности нельзя забывать.

Комбриг вскочил, в его глазах сверкнуло бешенство.

— Значит, на весьма шатком основании ты закрываешь дорогу в нашу авиацию честному пареньку? Я голосую против твоего предложения.

— Прекрасно! Ставлю вопрос на голосование! — вспылил и председатель. — Кто за то, чтобы отказать Стрельцову в рекомендации?

Алеша боязливо поднял голову. Только одна рука возвышалась над столом. Но когда Родионов спросил, кто

против, члены мандатной комиссии все до единого проголосовали вместе с комбригом Комаровым.

Растерянный, вышел Алеша из зала заседаний, не зная, радоваться или печалиться такому решению своей судьбы. Медленно, очень медленно спускался по лестнице вниз, долго смотрел за перила. Когда он вышел из райкома, солнечный день брызнул ему в глаза. Алеша услышал позади себя торопливые шаги и почувствовал, как чья-то рука придавила ему плечо.

— Ну что, Стрельцов, рад? Держи голову выше! Авиацию любишь?

Алеша обернулся и увидел бронзовое от загара, смеющееся лицо Комарова.

— Еще не знаю, — протянул он смущенно.

— Вот как! Ничего, полюбишь! — уверенно возразил комбриг. — Знаешь, дружище, ребят ваших разошлют по разным городам, а тебя и еще двоих хлопцев я к себе заберу. Так что музыку мотора будешь над родной крышей слушать.

Получив справку об окончании второго курса строительного техникума, Алеша был зачислен в местное авиационное училище. Нельзя сказать, чтобы легко и быстро давалось ему летное дело. На первых порах были у него и неудачные взлеты, и плохие посадки. Не считался он ни отличником, ни отстающим. Ровный, всегда аккуратный, немного равнодушный к профессии, не им избранной, а, вернее, навязанной ему самой жизнью, он ничем не выделялся среди курсантов. Но случай, какие часто бывают в тревожной, полной неожиданностей жизни военных летчиков, вскоре все перевернул, заставил его по-иному взглянуть и на себя и на авиацию.

Шли самые обыкновенные курсантские полеты. После полудня Алеша поднялся с аэродрома на истребителе И-16. Ему предстояло набрать высоту и сделать в пилотажной зоне несколько фигур. Все шло, как обычно. Ровно гудел выносливый мотор самолета, чуть подрагивали стрелки приборов под гладкими стеклами, ноги уверенно ощущали педали. Машина чутко отзывалась на каждое движение, когда он выполнял в зоне пилотаж. Минутная стрелка подсказывала, что пора возвращаться. Стрельцов начал снижаться, подводя машину к аэродрому. Еще пять-шесть минут — и посадка. Но когда он попытался выпустить шасси, одна из лампочек на доске приборов не зажглась спокойным зеленым светом. Посмотрев в левую

форточку на землю, Алеша увидел столпившихся у столика курсантов и инструкторов. Они делали ему отчаянные знаки, предупреждая об опасности, а начальник школы Комаров — он был уже переаттестован из комбрига в генерал-майора авиации, — согнув в колене ногу, ожесточенно бил по голенищу сапога рукой и, очевидно, кричал: «Левая, левая!»

Алеша знал и сам, что левая «нога» не вышла. Об этом говорил темный зрачок электрической лампочки. Он ушел на второй круг, снова начал набирать высоту. Покатые красные крыши ангаров, аэродромные постройки и кварталы родного города уплыли под крыло, опять быстро уменьшились в объеме. Радиосвязи в ту пору не было, и никто с земли не мог подсказать ему, как себя вести. Их было только двое: он и машина. Машина гудела мотором, уносясь ввысь, а он думал. Думал напряженно, упорно. Ему казалось, прошла целая вечность, но стрелка на самолетных часах отсчитала всего две минуты с секундами. Неожиданно Алеша вспомнил большой экран кинозала гарнизонного ДКА[1], фильм о Валерии Чкалове. Вот что, оказывается, можно сделать! Не садиться на поле школьного аэродрома с убранным шасси, ломая фюзеляж и винт, а это... Алеша еще думал, а рука его сама бросила маленький верткий И-16 в крутую спираль. Целый каскад фигур проделывал он над летным полем: бочки, мертвые петли, иммельманы. Земля то удалялась, то мчалась навстречу, с полями и перелесками, с крышами и трубами родного города. Мотор то стихал, то трубил басом, когда Алеша давал ему самый большой газ и разгонял скорость перед очередной сложной фигурой. В глазах мельтешили искорки, звенело в ушах.

И все-таки он победил. Зеленая лампочка вспыхнула на щитке приборов. Он сажал машину весь взмокший, расслабленный после большого напряжения, но счастливый, впервые счастливый за все время учебы в авиашколе. Пожалуй, впервые почувствовал он, как хорошо, когда упругая земля гудит под колесами самолета на пробеге, после того как опасность, настоящая опасность, осталась уже за плечами.

Генерал Комаров сам встретил его на стоянке и крепко, будто раздавить хотел, сжал в объятиях.

— Ай да чертенок, ай да племянник служителя куль-

---

[1] ДКА — Дом Красной Армии.

та! — в буйном восторге выкрикивал он совсем не те слова, какими полагалось начальнику авиашколы встречать вернувшегося из учебного полета курсанта. — Молодец! Талант! Черт меня побери, если из тебя не выйдет настоящий истребитель. Старик Комаров знает толк в людях. Получай благодарность и денежную премию! Еще плюс к тому пять суток отпуска. Молодчина! И сам орлом смотришь, и машину спас. Ну, что? Любишь теперь нашу матушку-авиацию, а?

Алеша посмотрел в наполненные буйным восторгом глаза генерала и вспомнил, как несколько минут назад, когда вышло из-под фюзеляжа злополучное колесо, он чуть не задохнулся от голубизны уже не страшного неба, а потом от радостного гула нагретой солнцем бетонированной полосы под колесами истребителя, от своей собственной силы, победившей опасность.

— Люблю! — громко ответил Алеша и, оглянувшись на товарищей и инструкторов, еще раз повторил: — Люблю!

И снова хлопнул его по плечу генерал, видавший и более трудные переделки, и гибель товарищей, и горящие самолеты.

— Вот видишь. Я говорил — полюбишь!

Алеше жали руки инструкторы, друзья-курсанты. Только одного не было среди них — лучшего друга, насмешливого рыжеватого Коли Воронова. Стрельцов отвечал на поздравления и рукопожатия, но глаза его скользили по лицам столпившихся курсантов, по самолетным стоянкам, бетонным дорожкам.

— Ребята, Колю Воронова никто не видел?

— Убежал он, Стрельцов. Заплакал и убежал, — ответил один техник.

Стрельцов недоуменно пожал плечами. А поздним вечером, когда крепким сном спала курсантская казарма и только Воронов ворочался на соседней койке, Алеша вполголоса спросил:

— Колька... ты чего заплакал?

— За тебя стало страшно, дурак, — донесся быстрый шепот.

— Чудила, — неловко ответил Алеша, постеснявшийся выразить по-иному чувство признательности. А Воронов, всегда грубоватый, насмешливый, прошептал из-под одеяла, которым был закрыт чуть ли не до самых ушей:

— Ты, Лешка, как хочешь меня называй. Только об

одном помни: если когда-нибудь в бой настоящий попадем, я тебя и самолетом, и грудью всегда прикрою.

Перед выпуском из авиашколы, весной 1941 года, Воронов и Алексей Стрельцов считались лучшими курсантами. Генерал Комаров сам несколько раз поднимался с ними в зону и учил хитрым приемам одиночного воздушного боя.

Ярким человеком был Комаров. В гарнизоне генерала любили. Курсанты ему явно во всем подражали. И походку комаровскую копировали, и фуражку носили с шиком, низко надвинув на глаза.

Общественное мнение даже небольшие грешки легко Комарову прощало. Ходили слухи, что генерал, остававшийся холостяком в свои тридцать пять лет, был не прочь приволокнуться за понравившейся ему женщиной. Говорили, будто однажды в третьем часу ночи начстрой капитан Фомин позвонил Комарову на квартиру, робея и заикаясь, спросил:

— Я, конечно, извиняюсь, товарищ генерал... моей жены у вас нет?

Спросонья Комаров даже не сразу сообразил, в чем дело, а сообразив, тотчас же взъярился:

— Послушайте, Фомин, вы там до зеленых чертей нахлебались, что ли?

Утром он встал в плохом настроении, даже порезался несколько раз, бреясь своей любимой мадридской бритвой. Думал: «Вот же, черт, слава какая пошла!» А приехав в штаб, вызвал начстроя, не глядя ему в лицо, сказал:

— Вот что, Фомин. На гауптвахту бы вас посадить суток на пять за вчерашнюю выходку.

У начстроя дрожали колени, и он сконфуженно пробормотал:

— Виноват, товарищ генерал, мне бы и больше стоило: жена ведь у тещи заночевала.

— Ну, а я-то здесь при чем! — рявкнул Комаров.

— Так она же, моя жена, каждый день только и делает, что вас хвалит, — совсем запутался Фомин, — только и фраз о том, какой вы красивый да мужественный. Извините, одним словом. Бес ревности попутал.

— Идите вы к черту! — подобрев, заключил Комаров.

Позже, в кругу друзей, не упоминая Фомина, он и сам несколько раз рассказывал эту историю. Все-таки это не так уж плохо, если приволокнулась за тобой смазливая

молодая замужняя бабенка. Значит, чего-то ты да стоишь.

Интересный человек был Комаров. Горячий, но покладистый на земле, в воздухе он становился неумолимым в своей требовательности к подчиненным. Он никогда не поддавался неопытному курсанту, не делал ни малейшей попытки щадить его самолюбие. Двадцать минут на виражах и вертикалях дрался он с Алешей Стрельцовым и все эти двадцать минут висел у него в хвосте. Когда усталый, словно загнанный заяц, Алеша вылез из кабины своего истребителя, он кисло улыбнулся:

— Нет, товарищ генерал. Не быть мне истребителем. Никогда не быть.

— Это почему же?! — загремел Комаров.

— Изо всех сил я старался и за двадцать минут воздушного боя ни разу не побывал у вас в хвосте. А меня вы могли раз десять сбить.

— Мог бы и пятнадцать, — добродушно засмеялся генерал, — на то я все-таки и Комаров. А летчик из тебя, Стрельцов, выйдет, прямо скажу. Теперь давайте с вами поднимемся в зону воздушного боя, курсант Воронов.

Снова ревели моторы двух истребителей высоко над аэродромом, снова десятки летчиков и техников из-под ладоней, приставленных козырьком к глазам, всматривались в голубое безоблачное небо. Комаров бил Воронова, бил так же беспощадно, как перед этим Алешу Стрельцова. Самолет генерала с красной стрелкой на фюзеляже то камнем падал вниз, то взлетал вверх и внезапно, на самой большой скорости атаковал машину курсанта. Инструктор, у которого обучался Воронов, маленький, щуплый лейтенант с редкими черными усиками, остолбенело повторял:

— Сбит Воронов. Снова сбит. Еще раз сбит. Сбит. Ну и дает сегодня генерал. Театр!

Но вдруг он осекся. Что-то необычное произошло в воздухе. Самолет с красной стрелкой на фюзеляже оказался внезапно внизу, а вторая машина — у него в хвосте. «Стрела» попыталась уйти пикированием, затем переворотом, но, какую бы сложную фигуру ни выполнял Комаров, Воронов неотрывно следовал за ним, висел в хвосте, наседал.

Когда обе машины были уже на земле, курсант подошел к медленно выбиравшемуся из кабины И-16 генералу и лихо отчеканил:

— Товарищ генерал, курсант Воронов совершал полет с выполнением одиночного учебного воздушного боя. В бою одержал победу над противником. То есть над вами.— И улыбнулся.

Эти последние слова и улыбка вывели Комарова из себя. Загорелое лицо генерала полыхнуло бешенством.

— Ты — смеяться! Надо мной, над Комаровым! — закричал он.— Вон с аэродрома, чтоб и ноги твоей здесь не было!

Но вечером, после отбоя, пришел в казарму и, присев на табуретку рядом с кроватью Воронова, сердито и смущенно покашлял:

— Ты вот что, Воронов. Не сердись. Старики, они бывают вспыльчивы. Солнца я в бою не учел. Кинулся за тобой на солнце, оно и ослепило. И проиграл считанные секунды.

— Я у вас этому приему научился, товарищ генерал,— признался Коля.

— Знаю, что у меня, дружище. У старика Комарова тоже можно кое-чему поучиться. Но использовал ты солнце гораздо лучше меня. Да, да, не возражай.— Генерал встал и скупым движением расправил складки под поясным ремнем своей гимнастерки.— Вот что, Воронов. Завтра в шесть ноль-ноль быть у нашего школьного Ли-2. С продаттестатом и командировочным. Лечу в Москву и беру тебя с собой. Важное задание предстоит выполнить.

Воронов возвратился через две недели и на все вопросы товарищей отвечал уклончиво:

— Так. Ничего особенного. С работой летчиков-испытателей знакомился. Даже надоело по чужим аэродромам скитаться.

— Интересно было?

— Да вообще-то ничего.

Но как-то майским теплым вечером сидели они с Алешей в маленьком гарнизонном скверике на скамейке, мокрой от недавно прошедшего дождя, и Воронов просматривал в газете статью о переговорах советской делегации с правительством Германии. На первой странице чернела полученная по бильду фотография: группа людей в темных костюмах и слева невысокий человек в военном френче, с косой прядкой жиденьких волос на лбу, придающей лицу вызывающее выражение.

— Гитлер,— ткнул в газету указательным пальцем

Воронов.— Как ты думаешь, Леша, наши с ним о чем-нибудь договорятся?

— О товарообороте, наверное.

— А о мире и безопасности?

— Не думаю.

— Я тоже не думаю,— вздохнул Воронов.— Политики мы с тобой, конечно, фиговые, но поверить Гитлеру трудно.

Высокий, он сидел чуть ссутулившись, носком сапога чертил песок. Синяя габардиновая гимнастерка плотно облегала сильные его лопатки.

— Слушай, Леша,— продолжал он,— давно хочу рассказать тебе одну вещь. Но под самым строгим что ни на есть секретом.

— Тайна, скрепленная кровью,— улыбнулся Стрельцов.

— Не кровью, но тайна,— Воронов серьезно поглядел на него.— Дело государственной важности, тут надо быть очень осторожным. Ребятам я об этом ни гугу. Знаешь, зачем генерал взял меня с собой? Куда летали, сказать я тебе не могу.

— Наверное, с правительственной делегацией на переговоры в Берлин?

— Не остри. Нам немецкий «мессершмитт» последней конструкции показывали.

— Да ну! — Стрельцов весь насторожился, и лобастое его лицо замерло от внимания.— Силен истребитель?

— Силен. Мы его сначала три дня по чертежам и модели изучали, а потом генерал на нем в воздух поднимался. Оказывается, умеет он и на «мессершмитте» пилотировать.

— Откуда же?

— Он рассказывал. Под Гвадалахарой захватили у фашистских мятежников аэродром, и он выучился. Там, в Испании. Так вот, Леша, мы с ним несколько учебных боев провели. Я на «ишачке», а он против меня на «мессершмитте». Хорошая машина «мессершмитт», прямо тебе скажу. На вертикалях генерал меня постоянно побивал, только на горизонталях иногда удавалось на «ишачке» огрызаться.

— А скорость?

— У «мессершмитта» больше.

— А тебе пришлось в кабине «мессершмитта» посидеть?

— Пришлось. Даже мотор один раз запустить разрешили. Только не это самое главное. Меня, Леша, другое удивило. Почему немецкий самолет нам демонстрировали с такими предосторожностями? Чуть ли не подписку о неразглашении брали. Почему мне, военному человеку, даже силуэты и чертежи «мессершмитта» показывали с такой таинственностью? Ну зачем все это?

— Так ведь договор о дружбе у нас с немцами,— предположительно протянул Стрельцов.

— До-го-вор! — усмехнулся Воронов.— Ну и что же? А по-моему, если ты наш доброжелатель, то и нет ничего страшного, если мы ознакомили своих летчиков с основными типами твоих самолетов. Если же ты скрытый враг, значит, тем более нас, летунов, надо об этом осведомить. А тут все за шторками, за чугунными замками, в сейфах да папках с грифом «Совершенно секретно» или «Только для маршалов и генералов». Случись воевать с Гитлером, драться-то будут не одни маршалы и генералы. А мы даже контуров их самолетов не знаем. Ну почему так? А?

— Ты бы и спросил Комарова об этом,— тихо посоветовал Стрельцов.

Воронов выпрямился, и гимнастерка на его спине собралась складками.

— Спрашивал.

— Ну и что же?

— Странно он как-то ответил. Посмотрел на меня серьезно и улыбаться перестал. «Эх ты, говорит, молодо-зелено, неужели думаешь, одному тебе такие думки пришли?» Тогда я взял и брякнул: «Так ведь вы же генерал. Вот и поставили бы вопрос об этом на попа».

— А он что? Небось рассвирепел, как тогда на аэродроме?

— Нет, не рассвирепел. Посмеялся. Грустно как-то посмеялся. «Ставил, говорит, да что-то безрезультатно. Сказал об этом генералу чином повыше, тот другому, еще выше, а там говорят: «Не существенно». Нельзя, мол, международную обстановку напрягать. Изучение немецкой военной техники в широких масштабах может привести к обострению». Вот и весь сказ.— Воронов снова стал чертить на песке острым носком сапога.— Маленькие мы, разумеется, люди. Только мне кажется — зря мы этому

Гитлеру доверяем. Вот и батька мой так говорил, когда был я у него в отпуске.

— Слушай, Коля,— оглянувшись по сторонам, беспокойно прервал его Стрельцов,— ты уже в далекие дебри залез. Ты это брось, такие разговоры!

— Да я понимаю, это же я только тебе.— Воронов встал со скамейки, поскреб рыжий загривок.— А вообще-то: солдат спит — служба идет, так оно спокойнее.

И они пошли по усыпанной гравием дорожке.

Меньше чем через месяц грянула война.

Еще шли на запад поезда, занаряженные по мирному договору, а уже пылали Брест, Кишинев и Гродно, в знойном небе «чайки» и И-16 дрались с теми самыми «мессершмиттами», конструкцию которых незадачливые штабные командиры предпочитали не показывать летчикам, опасаясь «осложнений». Выли сирены, оповещая о воздушных тревогах, мылись новобранцы в городских и гарнизонных банях перед тем, как надеть на себя неизвестно на какой срок воинское обмундирование, плакали первые вдовы и первые сироты громадной войны.

Она наступала неумолимо, эта война. С каждым часом ее дыхание безжалостно опаляло землю. И не только ту, что лежала вдоль границы, ту, что стонала от бомбовых и артиллерийских разрывов, плакала навзрыд под запыленными сапогами солдат, отступающих на восток. Дыхание войны жгло и глубокий тыл. Оно проникало в города и села, где работники военкоматов заполняли мобилизационные повестки, а женщины, мешая улыбки и слезы, собирали в дорогу нехитрые пожитки своим братьям, мужьям и сыновьям, уже принадлежавшим иной жизни, уже, казалось, впитавшим в себя и солоноватую горечь слез, и дым фронтовых предстоящих дорог, неизвестно какой протяженности.

Действительность большой, суровой войны вырвала из состояния размеренной курсантской жизни Алешу Стрельцова и Колю Воронова. На следующий же день оба они, немножко торжественные и важные, пришли к генералу Комарову с рапортами, содержащими просьбу об отправке в действующую армию. Они положили их на гладко отполированное стекло письменного стола в полной уверенности, что отправка на фронт последует тотчас же. Комаров сосредоточенно перелистывал какие-то мобилизационные списки и не сразу обратил на них внимание.

— Что у вас, орелики? — спросил он суховатым, усталым голосом, но, пробежав рапорты, побагровел.— Что такое? На фронт захотели? — произнес он с холодной яростью.— А у меня для вас что? Кружок художественной самодеятельности? Инструкторами еще поработаете. Крр-угом, марш!

Сводки Совинформбюро были короткими и безрадостными. С газетных полос смотрели фотографии убитых, растерзанных, изнасилованных. Городской вокзал был забит отъезжающими на фронт, и солдатские песни переплетались с медью духовых оркестров.

А Коля Воронов и Алеша Стрельцов летали по кругу и в зону, стреляли из пушек ШВАК по мишеням на полигоне и по вечерам, перед отбоем, все говорили, говорили о фронте.

— Ты думаешь, он какой? Такой, как в кино? — спрашивал полунасмешливо Воронов.— Все в дыму, зги не видно, огонь да разрывы?

— По-моему, нет,— неуверенно отвечал Стрельцов.— По-моему, он тише.

— Тише. Ясное дело, что тише. От этого и страшнее.

Так они рассуждали в большой светлой казарме, где все соответствовало нормам мирного времени: и проходы меж коек, и тумбочки, покрытые белоснежными скатерками, и стопка неотправленных писем, дожидающаяся утра на столике у дневального, и зычная команда «Отбой», замиравшая не сразу под высокими сводчатыми потолками...

Как недавно все это было! А теперь фронтовая неизвестность караулит его, двадцатилетнего Алешу Стрельцова, за стенами крестьянского домика. Ни одного огонька за окнами. Гудят на шоссе машины с потушенными фарами, в небе, невидимый, подвывает «юнкерс», ему навстречу встают лучи прожекторов, на западе погромыхивает артиллерийская канонада, и мгновениями оживают зарницы.

Алеша прислушался к далекому бормотанию орудий и провалился в сон.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Время близилось к полуночи, а на КП истребительного полка и не думали гасить свет. Старший политрук, держа в руках телефонную трубку, энергично возражал

против требования начальника оперативного отдела послать с рассветом шестерку «яков» на прикрытие переправы.

— Товарищ полковник,— повторял он настойчиво.— Поймите, товарищ полковник, у нас их осталось всего двенадцать. Сегодня летчики совершили по три вылета, провели больше десяти воздушных боев.

— На то и война, товарищ комиссар полка,— рокотал далекий баритон.

— Очень справедливо сказано,— мягко согласился Румянцев и тотчас перешел в наступление: — Даже не просто война, а война моторов. Но моторами управляют люди, а они сегодня устали как черти. А потом,— голос старшего политрука стал суше,— сегодня мы потеряли одного из лучших летчиков полка — майора Хатнянского. Наутро похороны. Не могу же я послать его самых близких друзей в воздух и быть на похоронах с одними мотористами.

— Во сколько хороните? — послышалось в трубке.

— В восемь утра.

— Где? На сельском кладбище?

— Нет, в черте аэродрома.

— Ясно. На похороны приеду.

— А как же все-таки с вылетом?

— Что ж, придется пойти на уступки. Утром полетят «миги» соседнего полка. Свою шестерку планируйте на час дня. Маршрут и задача те же.

— Есть, товарищ полковник.

Румянцев положил трубку, устало кивнул головой капитану Петельникову:

— Все в порядке. Боевой расчет готовьте на тринадцать ноль-ноль. Идемте, капитан! Постоим в карауле у гроба.

Румянцев надел реглан, затянул пояс и, не оглядываясь, вышел из землянки. В старой «эмке», рессоры которой дребезжали даже на ровной дороге, доехали они до окраины деревни. Взошли на крыльцо чистенького, крытого железом домика, где размещалось хирургическое отделение санчасти. В просторной комнате на пол были набросаны веточки горько-душистой полыни. Тускло горели фитили в помятых гильзах из-под артиллерийских снарядов. В углу, откликаясь на этот свет, поблескивали медные оправы икон. В полумраке фигуры летчиков, стоявших у гроба, выглядели неестественно большими. Вслед за Петельниковым Румянцев взял винтовку и стро-

евым шагом подошел к изголовью гроба. Стоявшие в карауле бесшумно отступили к стенам; комиссар узнал в одном из них капитана Боркуна, в другом командира первой эскадрильи капитана Султан-хана. Вздрогнули желтые блики светильников, когда за ушедшими захлопнулась дверь. Румянцев искоса посмотрел на гроб. Именно на гроб, а не на покойника: не хотел он сразу увидеть недвижимым того, кто был ему, пожалуй, ближе всех в полку.

Гроб был сколочен из наспех нарезанных досок, но пармовские[1] мотористы заботливо окрасили его в красный цвет, и тонкий запах нитролака смешивался с идущим от пола душным запахом трав. Они все могли делать, эти пармовские мотористы, как шутил, бывало, Хатнянский: и портсигар смастерить своему начальнику ко дню рождения, если этот начальник был у них в почете, и нарядную рамку выпилить для фотографии, и часы пустить в ход самые древние, изготовленные еще поставщиком двора его императорского величества Павлом Буре и не ходившие бог знает с какого времени, и даже блоху подковать не хуже героев Лескова — тульских оружейников, доведись получить такой приказ. «Об одном только не подумал Саша,— горько вздохнул про себя Румянцев,— что и последнее его жилище будут готовить эти же пармовцы».

Комиссар посмотрел на покойника. Майор Хатнянский по самую грудь утопал в полевых цветах. Светлые волосы, обрамлявшие чистый лоб, были аккуратно расчесаны, лицо казалось живым и спокойным. Только широкие ладони, которыми еще несколько часов назад он держал ручку управления истребителя, подводя его к земле последний раз в своей жизни, теперь выглядели чересчур тяжелыми.

Румянцев неожиданно вспомнил о самом первом и, как ему до сих пор казалось, самом страшном дне этой войны. На рассвете они прибежали на аэродром. Все три ангара были охвачены пламенем, а несколько «ишачков» выведены из строя осколками немецких бомб. Машины Румянцева и Хатнянского были целы, они стояли рядом на «красной линейке», и в первый раз в жизни им обоим пришлось взлетать без выруливания и стартовых сигна-

---

[1] ПАРМ — полевые авиаремонтные мастерские.

лов. Машина Хатнянского стояла ближе. Саша задержал около нее Румянцева, обдал его горячим шепотом:

— Лишь бы взлететь, лишь бы под бомбы не попасть на взлете. В воздухе не так страшно.— Он стиснул ему локоть.— Борька, обещай: если ранят так, что калекой останусь на всю жизнь,— добей из своего ТТ.

— Ерунда, взлетай! — крикнул ему со злостью Румянцев.

В том, первом бою Хатнянский сбил на маршруте одного «юнкерса» и после возвращения смущенно говорил Румянцеву:

— О нашем разговоре перед вылетом смотри никому ни ползвука! Не может быть у нас, летунов, такого слова «добей»! Понял?

Комиссар полка подумал о жене Хатнянского Лене. Как теперь встретится с ней? Как он расскажет об этом?

Румянцев был большим другом Хатнянского. Связывало их и то, что оба в тридцать девятом году женились на сестрах: Саша — на старшей, Елене, Румянцев — на младшей, Софье. На второй день войны Лена с сынишкой вместе с другими семьями летчиков эвакуировалась в Москву. Туда же несколько позднее уехала и Софа. Там она должна была встретиться с Леной Хатнянской. А сам Хатнянский теперь здесь, в гробу. Завтра на крышку гроба посыплется сухая земля...

Кто-то тронул Румянцева за плечо. Задумавшийся комиссар вздрогнул и отошел в сторону. Выходя из дома, он в последний раз посмотрел на спокойное лицо своего друга, уже начинавшее желтеть. На улице капитан Петельников мрачно сказал:

— Да. Живые остаются живыми, и Саше Хатнянскому нас теперь не понять. Мне нужно завернуть к зенитчикам, договориться о взаимодействии. Вы со мной не поедете?

— Не поеду, начальник штаба. Надо пойти по домам посмотреть, как наш летный состав отдыхает. Чувствую, день предстоит тяжелый.

☆☆☆☆

Алеша Стрельцов спал в эту ночь безмятежно. Даже когда стекла в домике звякнули от недалекого бомбового разрыва, он не поднял головы и только почмокал во сне губами. Под утро крылечко застонало под чьими-то тяже-

лыми неверными шагами, и резкий голос с заметным акцентом крикнул часовому:

— Ну, чего не спрашиваешь, милый душа, кто идет? А я вот и забыл, какой сегодня пропуск: «Мушка» или «Пушка». А ты словно воды в рот набрал, хранитель спокойствия. С такими, как ты, действительно «любимый город может спать спокойно и видеть сны...».

— Да чего же вас окликать, товарищ капитан? — ответил со скрытым смехом часовой.— Я же мотористом на вашем «ишаке» работаю. Левчуков моя фамилия. Зачем же мне от вас «Мушку» требовать?

— Ты... моторист Лэвчуков? Так я тебя знаю и помню.

— Вот и прекрасно, товарищ капитан, проходите. Спать пора. Война еще не кончилась, может, и лететь на боевое задание с утра придется, а вы...

— «Война не кончилась, лететь на боевое задание...» — передразнил его первый голос,— ты мне что, Лэвчуков, шайтан тебя забери, политинформацию читаешь? Тоже мне комиссар! Кто на посту разрешил разговаривать? А я спать пойду. Не будь я Султан-хан, если завтра за майора Хатнянского не пошлю на землю одного, а то и парочку фрицев.

В коридоре послышалось громкое топанье и сопение. Чьи-то руки искали задвижку и никак не могли ее найти. Наконец она с грохотом упала, в темную комнату кто-то вошел и долго чиркал спичками. Бледный кружок от зажженной лампы замигал над кроватями, осветил лицо вошедшего. Он стоял, засунув руки глубоко в карманы, и покачивался, отталкиваясь от половиц каблуками легких, в обтяжку сшитых хромовых сапог. Кобура с пистолетом болталась у него, как кортик у моряков, намного ниже новенького пояса, перехватывающего синюю гимнастерку, узкое смуглое лицо с горбатым заостренным носом было покрыто багровыми пятнами, глаза под смолью бровей, будто налитые ртутью, перебегали с предмета на предмет и вдруг, задержавшись на кровати, занятой Алешей Стрельцовым, стали широкими, возбужденными. С гортанным восклицанием бросился летчик к укутанному с головой Алеше:

— Ай, шайтан меня забери! Ведомый, Алешка, Спильчиков! Значит, живой! Через линию фронта пришел! Эх, и повоюем мы с тобой теперь, милый человек! Вставай, вся моя эскадрилья! Я сейчас Алешку Спильчикова целовать буду. Подъем!

Капитан так оглушительно кричал в самое ухо Стрельцову и так тряс его за плечи, что тот нехотя проснулся. Султан-хан рывком стащил с него одеяло. Стрельцов ощутил ударивший в нос кисловатый запах хмельного перегара, увидел горбоносое лицо со сверкающими белками глаз, кожаную, тонкую, совсем не летнюю, перчатку на правой руке и сразу проникся глухой неприязнью к этому человеку.

— Ну, я Алеша. А зачем разбудили?

Капитан, наполнявший комнату своим резким, гортанным голосом, замер и поднес к губам руку в перчатке, будто хотел куснуть ее. Стрельцов увидел, как лицо незнакомца исказилось от ярости. Глаза под тонкими бровями сузились и метнули в него недобрый огонь.

— Ты — Алешка! — вскричал капитан и рванул на шее крючок гимнастерки так, что зазвенели два ордена Красного Знамени. Стрельцов про себя тотчас же отметил: «Смотри ты, война идет третий месяц, а у этого уже два боевика. Видно, лихой рубака». Незнакомый капитан, обращаясь уже не к нему, а к другим, разбуженным его криком летчикам, говорил зло и быстро: — Нет, вы поглядите! Он — Алешка. Да знаешь ли ты, кто был Алешка Спильчиков, мой ведомый? Горный орел! Баец! Он со мной в паре четыре «юнкерса» к земле отправил. А ты кто? Отвечай, кто и откуда взялся? Кто тебе разрешил занять кровать Алешки Спильчикова? Его два дня назад сбили. А люди из-за линии фронта и на десятый день приходят. А раз ты его место занял, он уже не придет. Примета у нас в полку такая. Отвечай, кто тебе разрешил ложиться на кровать лейтенанта Спильчикова? Ну!

Лобастое лицо Стрельцова тоже потемнело от злости:

— Завтра отвечу, товарищ капитан. Боюсь, вы сейчас не поймете, кто я и почему тут очутился.

— Я нэ пойму! — взревел Султан-хан.— Ты еще, может, скажешь, что я пьян? — Капитан собирался прибавить что-то еще, но в эту минуту рывком отворилась входная дверь и в блеклом свете «летучей мыши» появилась фигура старшего политрука Румянцева. Взгляд его остановился на капитане:

— Что здесь происходит, товарищи? Капитан Султан-хан, вы чего расшумелись?

Капитан попятился и сразу весь подобрался, даже

гимнастерку оправил. Стараясь дышать в сторону, ответил:

— Султан-хан ничего. Султан-хан не расшумелся.

Ломаная складка пересекла лоб старшего политрука.

— А ну, подойдите ближе. Да от вас сивухой разит. Снова пили. А клятвенное обещание исправиться? Слова на ветер бросаете! Смотрите, этак и до партбюро дойдет.

— Товарищ комиссар, я немного, немного. Душа болит. За майора Хатнянского выпили.

— Завтра после похорон будем об этом говорить,— сухо ответил Румянцев.— А сейчас — почему всех летчиков разбудили? На кого кричали?

— Товарищ комиссар,— уже совсем по-иному, просительно, с некоторым испугом произнес капитан,— сердце у меня не из чугуна. Жду лейтенанта Спильчикова, никому не разрешал его койку занимать, она так и стояла, как он ее перед последним вылетом заправил, а тут прихожу и на ней какого-то человека застаю.

Румянцев качнул головой, и строгость в его глазах погасла.

— Ждать Спильчикова не надо, товарищ Султан-хан. Его медальон лежит у меня в штабе, вечером прислали. Спильчиков сгорел вместе с машиной. Пехотинцы похоронили его на передовой. Деревня Подсосонье. Церковное кладбище. А вот это возьмите.

Комиссар полез в глубокий карман реглана, что-то достал оттуда и протянул летчику. На ладони у Султан-хана блеснули маленькие ручные часы в золотой оправе с оборванным обгоревшим ремешком. Летчики, приподнявшиеся на своих койках, затаили дыхание, и, казалось, каждый услышал, как чудом уцелевший после катастрофы механизм отбивал свое несложное, обязательное «тик-так». Плечи Султан-хана покосились. Он дико выкрикнул какое-то ругательство на своем горском языке и прижал к щеке часы друга:

— Ах, Алешка, Алешка, ах, душа человек!

Румянцев положил руку ему на плечо:

— Не надо, Султан-хан, не надо. А нового товарища не обижай. Лейтенанта Стрельцова я направил служить в твою эскадрилью...— запнулся и договорил: — На место Алеши Спильчикова, твоего Алеши.

Рано утром Стрельцова разбудил гортанный голос, выкрикнувший: «Эскадрилья, подъем!» Он раскрыл глаза и, увидев стоящего в дверях смуглого капитана с оси-

ной талией, сразу вспомнил ночное происшествие. Это был тот самый капитан, что ночью жестоко обругал его. «Может, и в самом деле не нужно было ложиться на кровать погибшего. Кто же знал?» — подумал Алеша.

Натягивая на ногу тесноватый сапог, он искоса разглядывал грозного капитана. Султан-хан был сейчас бодрым, подтянутым. Вчерашняя гулянка не оставила на его лице никаких следов. Повелительным тенорком он покрикивал:

— Поторапливайся, поторапливайся!

На Алешу Султан-хан не обратил никакого внимания, а когда тот подошел и четко доложил о своем назначении, лишь досадливо отмахнулся:

— Знаю. Еще вчера мне вас представили. Прибыл служить, так и служи, новенький.— И вздохнул: — Только старого не заменишь...

Стрельцов обиженно отошел.

Когда солнце было уже высоко, весь полк выстроился около их дома. Алеша издали увидел в шеренге Колю Воронова и незаметно для других кивнул ему головой. Обычная, тысячу раз слышанная и исполненная, прозвучала команда «Смирно», и строй замер. Перед эскадрильями стояли те двое, ради кого эта команда подавалась: начальник штаба капитан Петельников и комиссар Румянцев. Посеревшее, осунувшееся за ночь лицо комиссара было строгим и печальным.

— Товарищи красноармейцы, сержанты и командиры,— проговорил он тихо,— до посадочной полосы гроб будет нести первая эскадрилья, от посадочной до могилы — вторая. А теперь слушай мою команду!

Подъехала полуторка, из кузова выпрыгнули люди в рабочих спецовках с геликонами, валторнами, кларнетами — железнодорожники прислали свой духовой оркестр. Гроб несли на высоко поднятых руках: это Султан-хан сказал, что так хоронят самых почетных людей на Кавказе.

— Пускай Хатнянский в последний раз на самолетные стоянки и посадочное «Т» посмотрит, — прибавил горец.

Духовой оркестр играл нестройно, звуки его вплетались в пальбу зениток по немецкому разведчику, появившемуся над городом. Ветер шевелил белокурые волосы майора Хатнянского, и Алеше казалось, что лицо его оживает.

Кончилась сельская улица. Миновав мирно зеленевшую рощицу, медленная процессия вступила на аэродром. Гроб с телом Хатнянского несли вдоль самолетных стоянок, мимо нахохлившихся приземистых «ишачков» и остроносых, недавно появившихся в полку «яковлевых» с новенькими трехлопастными винтами. Звуки траурного марша временами заглушал рев опробуемых моторов. И как будто салютуя тому, кто сам еще недавно поднимался в высокое голубое небо, уходя на задание, рванулись со взлетной полосы два истребителя.

В самом конце аэродрома, там, где уже не было ни рулежных дорожек, ни землянок технического состава, высился одинокий бугор. Вершина его была разворошена лопатами. Гроб опустили на землю, и комиссар полка, без пилотки, с растрепанными ветром волосами, вышел на середину, рукой сделал знак, чтобы все остальные окружили его. Неожиданная гулкая тишина повисла над бугром, над могилой, над головами людей. Только жаворонки, то взлетавшие ввысь, то стремительно припадавшие к земле, не хотели смолкать, считаться с щемящей торжественностью похоронной процессии. Комиссар обвел глазами людей, окруживших могилу. Он хорошо знал их, трудившихся и на земле и в воздухе, умевших без дрожи встречать любую опасность и даже смерть.

— Товарищи,— начал он тихим, бесстрастным голосом, — мы сегодня хороним лучшего летчика нашего полка майора Сашу Хатнянского. Да, Сашу, так можно называть человека, не дожившего до тридцати. Он привез вчера особо важные разведданные, доложил о них и умер. Сегодня эти данные помогли всей нашей Красной Армии выправить критическое положение на Западном фронте, спасти два стрелковых корпуса от окружения, перегруппировать их. Вчера американские репортеры не совсем скромно спрашивали нас, когда, мол, падет Москва. А мы им ответили так,— голос Румянцева прыгнул на самую высокую ноту, и глаза сузились, силясь сдержать вспыхнувший гнев,— мы ответили, что, пока есть в строю хоть один наш самолет и хоть один летчик, мы ее не сдадим. Наш полк всегда будет гордиться тобой, Саша Хатнянский. После победы мы поставим тебе на этом месте памятник из мрамора. Но лучший тебе памятник — это твое мужество и жизнь, которую отдал ты за Родину.

Алеша стоял, упруго упираясь в землю, и каждое слово комиссара обжигало ему лицо.

Потом на груду выброшенной из могилы уже высохшей земли поднялся техник в синем комбинезоне и, не утирая набежавшей слезы, рассказал о том, как спас его недавно Хатнянский, вывез на своем истребителе из-под самого носа у фашистов. Место техника занял красноармеец, вероятно моторист. Застенчивые глаза его прицелились куда-то высоко, голос, ровный, негромкий, прошелестел над головами:

— Вечная память герою.

Стрельцов вслушался: молоденький красноармеец читал стихи, наверное, свои стихи, сочиненные ночью.

Приказ получен. Летчик у руля,
На запад самолет ведет послушный,
Внизу огнем сожженная земля,
Там слышен гром фашистских пушек.

«Кажется, ничего, гладко,— подумал Алеша, всегда любивший стихи и никогда не пробовавший писать сам.— С чувством сочинил солдатик». Красноармеец читал все тверже и смелее, потому что он, видимо, понял: его слушают. И вдруг голос надломился, зазвучал мальчишеским дискантом:

Я знаю, будут новые бои,
Я знаю, путь пройдем мы с ними длинный.
Майор Хатнянский, с мужеством твоим
Дойдет наш полк до самого Берлина.

— Правильные стихи,— услышал Алеша у себя за спиной и обернулся. Это сказал плечистый здоровяк Боркун, комэск второй.

Речи сменились ударами молотков о крышку гроба. Потом вчетвером — впереди комиссар Румянцев и капитан Петельников, сзади Султан-хан и Боркун — опустили гроб в могилу. Комья сухой земли застучали по нему. Алеша Стрельцов тоже бросил несколько горстей и стоял до тех пор, пока на взметнувшийся холмик не поставили красный столб с пропеллером и фотографией майора Хатнянского.

— А теперь по рабочим местам,— распорядился Румянцев и первым быстрыми шагами пошел от могилы навстречу душному аэродромному ветру.

Алешу Стрельцова нагнал Воронов, не глядя сунул руку, кратко буркнул: «Здорово». Алеша посмотрел на

него и понял: его друг не меньше, чем он сам, потрясен простотой и суровостью той первой смерти, которую оба они увидели на войне.

Шагали молча. Высохшая аэродромная травка доверчиво ложилась под ноги. У входа в землянку командного пункта остановились, и Алеша нерешительно предложил:

— Пойдем на боевое задание попросимся.

Воронов невесело покачал головой.

— Комик, да кто же тебя пустит?

— Как кто? Комэск.

— В первый день службы?

— А что? Мы же сюда не в дом отдыха приехали.

— Оно так,— раздумчиво протянул Воронов,— но мой комэск капитан Боркун в готовности номер один сидит в кабине «яка». К нему сейчас не подступись.

— Он тебе как, понравился? — быстро спросил Стрельцов.

— Вроде ничего, Леша,— ответил Воронов. Сорвал травинку, сунул ее в рот и раздавил зубами. Стрельцов улыбнулся, вспомнив, что Коля вот так же, с травинкой в зубах, расхаживал на курсантском аэродроме, подражая генералу Комарову, перекатывая ее из одного угла рта в другой, как папиросу.

— Ко мне комэск довольно дружелюбно отнесся,— говорил Воронов.— «Прибыл, спрашивает, аттестат продовольственный сдал? Ну, значит, живи, сухари грызи, лишних вопросов не задавай, жди, когда тебя в бой позовут, сам не просись!» А твой как?

— Скаженный какой-то,— вздохнул Алеша и торопливо рассказал другу о вчерашней выходке Султан-хана.

Воронов с усмешкой пожал плечами:

— Да, темпераментный у тебя комэск. Мне и в нашей эскадрилье про этого Султан-хана говорили. Страшнее, чем он, в бою никто себя не ведет. Тринадцать уже уложил, недаром два боевика носит!

— Мне от этого не легче, — вздохнул Стрельцов. Он хотел что-то прибавить, но в эту минуту из землянки выбежал оперативный дежурный лейтенант Ипатьев с черной ракетницей в руке и три раза выстрелил в небо. Три зеленых огня взвились над летным полем. И тотчас же по взлетной полосе побежали раскоряченные лобастые «ишачки», за ними два осанистых «яка». Ипатьев лихо заткнул ракетницу за голенище сапога, подбадривающе

посмотрел на молодых летчиков. Он еще вчера решил взять их под свое попечение.

— Ну как, ребята?

— Куда это они помчались? — вместо ответа спросил Воронов.

— Переправу на Днепре прикрывать,— охотно пояснил Ипатьев.— Знаете, что на фронте? Ой, де-ла! — Схватился он за голову.— Целая армия наша на восточный берег отходит. Там, говорят, такая каша, а немцы девятку за девяткой посылают, и все «лаптежников». Это у нас так Ю-87 прозвали. Их бить даже «ишачками» хорошо. Скоростенка у них слабая, шасси не убирается. Сейчас туда еще и семерка «яков» полетит.

Из землянки с планшетом на боку, в незастегнутом шлеме выскочил Румянцев, за ним начштаба Петельников и капитан Султан-хан.

— Петельников, держите связь с «яками»! У меня на машине и приемник, и передатчик работают отлично! — крикнул Румянцев на ходу.— В штаб доложите, если не хватит горючего, сядем в Луговцах. На свою посадочную полосу тянуть не будем. Вы, кажется, что-то хотели сказать? — торопливо обратился он к Султанхану.

— Так точно, товарищ старший политрук,— откликнулся капитан,— пристегните меня к вашей семерке.

Румянцев досадливо махнул рукой:

— А вы подумали, капитан, что нельзя уходить в бой сразу и комиссару полка, и двум командирам эскадрилий? Остаетесь с Петельниковым на земле. Ясно?

— Ясно, товарищ комиссар,— ответил Султан-хан и вдруг обозленно посмотрел на Стрельцова.— Что вы тут торчите, лейтенант? Делать вам нечего, я гляжу. Совсем как тому бесенку, что со скуки камни с Казбека-горы на Арарат перетаскивал. А ну, марш в землянку изучать силуэты иностранных самолетов. Да и вы тоже,— указал он на Воронова,— поскольку капитан Боркун, ваш начальник, сейчас на задании.

И они, растерянно переглянувшись, побрели по аэродрому подальше от неприветливого комэска.

☆☆☆☆

Ночью в дом к Алеше Стрельцову прибежал запыхавшийся посыльный из штаба. Алеша узнал в нем того

самого красноармейца, который читал свои стихи на могиле майора Хатнянского.

— Вас, товарищ лейтенант, немедленно на КП, — выпалил он и уставился на Алешу застенчивыми глазами. — Лейтенанту Воронову я уже передал приказание. Теперь вам.

Алеша торопливо оделся. Шли по заспанной сельской улице, мимо нахохлившихся темных домиков. Небо было притихшим, звездным. Ни один прожекторный луч его не рассекал. Алеша уже успел к этому привыкнуть. Выдавались все-таки иногда и днем, и особенно ночью, минуты, когда затихала перестрелка и на земле и в воздухе, не гудели моторы и не щупали небо прожектористы. И тогда в такие минуты древняя русская земля дышала уходящим теплом, шумела листвою берез и осин, плескала в лицо запахи полевых цветов, едва уловимые и от этого еще более приятные. В такие минуты как-то дороже становилась жизнь, думалось о далеком сибирском городе, тоскливо посасывало где-то под ложечкой, а может, это сжималось сердце. Хотелось увидеть маму, поцеловать сестренку. Тишина будила самые лучшие воспоминания. Но стоило ей расколоться от далеких артиллерийских залпов или взрывов бомб, и все тихое, мирное тут же выключалось из сознания.

Алеша опять думал о фронте, мечтал о первом вылете на задание, о первой встрече в воздухе с чужими людьми, сидящими в пилотских кабинах чужих машин. Да, мечтал. Он же был летчиком-истребителем, кадровым военным. Он готовился всегда к этому — к защите родной земли, и, если это время настало и его позвали, мог ли он не рваться теперь в бой. Однако сейчас было спокойно. Даже на юго-западе, где каждые полчаса вспыхивали зарницы артиллерийских залпов.

— Если бы не затемнение, совсем бы сегодня не было похоже на войну, — сказал шагавший рядом красноармеец. — Правда, товарищ лейтенант?

— Правда, — поспешно согласился Алеша. — А здорово, когда такая тишина!

— Нет, плохо, — послышался в ответ серьезный голос. — Тишина на фронте — вещь обманчивая. Я уже третий раз в этом убеждаюсь. Как затишье, так чего-нибудь и жди. Тихо всегда перед наступлением. Опять небось немцы к прорыву готовятся.

— А может быть, мы будем на этот раз наступать. Опрокинем их — и до Берлина, — веско заявил Алеша.

— Вы в это верите, товарищ лейтенант? — донесся грустный смешок.

— Я? Конечно, — просто ответил Алеша. — Я сюда, на фронт, за тем и приехал. А вы — разве нет?

— Во что, в нашу победу? — переспросил спутник. — В нашу победу — да. И по-моему, не может найтись честного человека, который в нее не верит. Пусть у меня хоть каждый нерв по ниточке вырвут из тела — верю. А то, что завтра сможем наступать, — нет.

— А мне кажется, очень плохо, когда человек не верит в завтрашнюю победу, — строго сказал Алеша. — Значит, вы маловер и нытик.

— Ни то и ни другое, — спокойно ответил красноармеец. — Вы меня извините, товарищ лейтенант, просто я лучше вас знаю оперативную обстановку, поэтому и говорю. Вы посмотрите, как измучен полк. Исправные самолеты и летчиков, которые в строю, по пальцам можно пересчитать. А другие полки, думаете, не так потрепаны? И мы держим фронт из последних сил. Что, неправда?

— Вздор! — грубо бросил Стрельцов. — Как же мы будем наступать, если держим фронт из последних сил. А?!

Его спутник усмехнулся. Они уже огибали рощицу, чтобы выйти на аэродром. Серпастый месяц выплыл из-за туч. Роща шелестела под ветром, как тугой парус. Гнулись верхушки деревьев, шептались листья.

— Тут, в центре рощицы, есть дуб, — не спеша заговорил посыльный, — среди деревьев он как старший брат среди братьев. Даже в непогоду все деревья качаются, а он — нет. Внизу его вдвоем не обхватишь. Вот так и мы. Из последних сил держим фронт, чтобы выиграть время.

Стрельцов насмешливо присвистнул:

— Слыхал я уже такие речи. Нам с Колькой Вороновым в пути один инженер трепался. «Города берут — пускай. Области завоевывают — стерпим». Наш лозунг сегодня таков: «Заманим противника поглубже в свою страну и уничтожим». Так и вы что-то на манер этого инженера философствуете.

Алеша ожидал, что его спутник смутится, но тот как ни в чем не бывало поддержал его коротким смешком, словно оба они были сейчас одного и того же мнения.

— Вы меня, пожалуй, извините, — просительно сказал посыльный, — но он абсолютный дурак, этот ваш инже-

нер. И дурак опасный. Такой деморализовать подчиненных может. А я совсем о другом, о том, что сейчас наша задача короткими словами определяется так: стоять насмерть, и точка.

— Позвольте, — прервал Алеша, — ваша фамилия Челноков? Вы стихи читали на могиле майора Хатнянского?

— А вам они понравились? — быстро спросил красноармеец.

— Понравились.

— Ну и спасибо на добром слове. А вот комиссар меня за них опять ругал. Он у нас критик грозный.

Около землянки командного пункта часовой окликнул их коротко и сердито, но, распознав в темноте Челнокова, добродушно сказал, не дожидаясь, когда ему назовут пароль:

— Это ты, поэт? Проходи.

Свет, горевший в землянке, после темноты показался слишком ярким, так что Стрельцов даже зажмурился. Рядом с комиссаром и начальником штаба Петельниковым сидели оба комэска — Боркун и Султан-хан, а напротив них — Коля Воронов. Предупреждая уставной доклад, Румянцев жестом указал Алеше на табуретку.

— Сидай, — добрыми, потеплевшими глазами посмотрел сначала на одного молодого летчика, затем на другого. — Как настроение, новички?

— Хорошее. Спасибо, — сдержанно ответил Воронов.

— Вы не обессудьте, — мягко продолжал Румянцев, — время вон, видите, какое. Не удалось уделить вам побольше внимания. Жалобы на размещение или питание есть?

— Что вы, товарищ комиссар, — с грубоватой прямотой ответил Воронов. — Спим на мягких перинах, носим летную форму. Стыдно только пятую норму в столовой получать. Официантки, чего доброго, кормить скоро откажутся.

— Это отчего же? — прищурился Румянцев.

— Так ведь все воюют, а мы...

Комиссар обменялся короткими взглядами с Боркуном и Султан-ханом. Те ответили сдержанными улыбками.

— Затем вас и пригласил, — сказал Румянцев строго, и улыбка сбежала с его лица. — С завтрашнего дня конец вашему «санаторному» режиму. Раз осмотрелись, к фронтовой полосе и аэродрому привыкли — значит, несколько

ознакомительных полетов — и в дело. Время нас подстегивает, товарищи лейтенанты. Не хотел бы я с вами торопиться, да что поделаешь — обстоятельства!

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

В первые дни Алеша просыпался на рассвете от рева опробуемых техниками моторов. Словно петушиное пение, рев этот начинался в одном конце летного поля, подхватывался в другом, потом в него вплетались голоса всех остальных моторов, и Алеше, не привыкшему, чтобы так рано просыпался аэродром, было уже не до сна. Он ворочался с боку на бок, часто открывал глаза, смотрел в окно, откуда сквозь шторы вползали узкие полосы рассвета. Но однажды, очнувшись от крепкого сна в тот же час, он удивился необычной тишине. Алеше стало не по себе. Он прислушался, потом облегченно вздохнул. Нет! Моторы опробуемых самолетов гудели все так же. Просто он привык к этому гулу.

Ежедневно с утра до ночи, поднимая кудлатые облака пыли, взлетали и садились истребители. Слушая доклады возвращающихся из боя летчиков, их рассказы в столовой за поздним ужином, когда каждому летавшему на задание выдавалась стограммовая порция водки, Алеша Стрельцов все с бо́льшими подробностями представлял себе картину боевых действий. Он понимал, что далеко не в каждом полете происходят те молниеносные воздушные бои с каскадом сложнейших фигур и заходами противнику в хвост, к которым он готовил себя всю жизнь. Теперь он знал, что бывают случаи, когда ввязываться в бой — преступление, потому что этим можно поставить в тяжелое положение и товарищей в воздухе, и тех, кто ведет бои на земле. Если, например, летчика послали в разведку, тот, собрав сведения, должен стремиться только на аэродром, ускользая от любой попытки противника навязать воздушный бой. А если в воздухе, наполняя его переливчатым гулом, летит косяк наших бомбардировщиков, красавцев ли «Петляковых-2», прозванных на фронте «пешками», или старушек СБ, ты, истребитель, должен их охранять, как пастух стадо овец от волков. Именно так говорил об этом капитан Султан-хан, Алеша собственными ушами слышал! Однажды, вернувшись из полета, капитан ответил на вопрос оперативного дежурного Ипатьева, сбил ли он кого-нибудь из гитлеровцев:.

— Не до драки было, Ипатьев. Я сегодня «пешек» охранял. Совсем как дагестанский пастух отару от волков.

Но были у истребителей и другие виды боевых действий, когда главной задачей становилось искать и бить противника — над облаками или под облаками, над городом или над переправой, где бы он ни был. Находить и точными очередями уничтожать. Именно тогда-то и отличались нынешние Алешины однополчане: и Боркун, и Султан-хан, и старший лейтенант Красильников, тот неразговорчивый летчик, что первым встретил их на аэродроме и показался обоим таким недружелюбным.

Султан-хан учил Алешу распознавать силуэты фашистских истребителей и бомбардировщиков, на какой бы высоте они ни появлялись. И не просто различать по очертаниям и по звуку моторов, а знать и устройство этих моторов, и расположение бронированных частей, и секторы обстрела.

— Заходишь справа со стороны солнца на «Юнкерс-88». Ракурс две четверти. Стрелок-радист фашистского самолета достанет тебя пулеметным огнем или нет?

— Достанет, товарищ капитан, — неуверенно отвечал Алеша.

— Чушь! — вскрикивал Султан-хан. — Когда заходишь снизу, не только радист, но и штурман не берет. Одна, вторая очередь — и ты делаешь ему маленький пожарчик. Веселый такой пожарчик, от которого он уже не кричит «хайль Гитлер!». Понятно?

— Понятно, — отвечал Стрельцов, и ему начинало казаться, что черные глаза Султан-хана загораются плохо скрываемой неприязнью.

— А где «мертвый конус» у «Юнкерса-88»?

Алеша на чертеже показывал пространство, в котором огонь с бомбардировщика не в состоянии поразить истребитель. Капитан скупо произносил:

— Угадал.

И занятия продолжались. С тоской и досадой Алеша думал: «Ну, когда же им придет конец, когда же разрешат в кабину, закрепят самолет?» Он считал, что у Коли Воронова дела идут куда лучше. Однажды за обедом, когда в прохладной горнице крестьянского дома, где размещалась летная столовая, они остались вдвоем — все улетели на задание, — он спросил у товарища:

— Ты небось завтра или послезавтра в бой полетишь? А меня мой капитан все иностранными силуэтами мучит,

будто я на завод к Мессершмитту ведущим конструктором должен пойти.

Он ожидал, что Коля отшутится, но тот мрачно тряхнул рыжими вихрами:

— У меня и того хуже. Думал, покладистый мужик этот Боркун, а заикнулся раз — возьмите на задание, он глазами как зыркнет: «Мне летающих гробов не надо!» Это я-то летающий гроб! Училище по первому разряду окончил!

Воронов засопел и сердито отодвинул от себя стакан компоту. Оба становились угрюмыми, неразговорчивыми. И не знали они, что неумолимая фронтовая действительность брала свое и решительно ломала план комиссара Румянцева, заключавшийся в том, чтобы дать молодым летчикам хотя бы две недели осмотреться, привыкнуть к боевой жизни.

В пятницу вечером вместо двенадцати самолетов из боя возвратились десять. Комиссар стоял у порога землянки и мрачно смотрел, как, пересекая летное поле, к нему подходил чуть сутуловатый плечистый Боркун, водивший в бой эту группу. Комкая в руках шлем, опустив низко голову, встал он в трех шагах от комиссара и готовился, очевидно, произнести слова рапорта о выполнении задания, но Румянцев шагнул навстречу и остановил его одним коротким словом:

— Кто?

— Старший лейтенант Кручинин и лейтенант Глебов, — медленно выговорил Боркун.

— Как?

Боркун поднял голову, и Алешу удивили его глаза. Расширившиеся, с красными прожилками, они были такими усталыми и такая в них горела горечь, что он вздрогнул.

— Нас было двенадцать, — тихо заговорил Боркун, — их больше пятидесяти. Когда мы набирали высоту, одних Ю-88 насчитали четыре девятки. Моя группа навалилась на «юнкерсов», Султан-хан сковал «мессеров». Я зажег головного, ведомые — еще двух. Султан-хан со своей четверкой сбил три «мессера», но вернулся вдвоем. Кручинин и Глебов загорелись на наших глазах.

— Выпрыгнули? — быстро спросил комиссар, вкладывая в этот вопрос последнюю надежду.

Боркун молча опустил глаза, посмотрел на носки са-

пог, будто самое главное было осмотреть сапоги. Глухо прибавил:

— И еще двое ранены. Это уже из моей шестерки.

— А самолеты?

— Незначительные повреждения. К утру восстановим.

— Дожили! — заключил комиссар. — Самолетов теперь больше, чем летчиков.

На следующий день Воронов и Стрельцов получили планшетки с картами района боевых действий, пистолеты, кожаные шлемы и комбинезоны — все то немногое, что необходимо летчику в пилотской кабине. На двухместном истребителе капитан Боркун два раза провез Колю Воронова по кругу и в зону, а в инструкторскую кабину Алешиного самолета забрался худой и ловкий Султан-хан. В шлеме лицо его показалось Стрельцову хищным и насмешливым. Алеша услышал, как летчик их эскадрильи, курчавый золотозубый лейтенант Барыбин, сказал:

— Вот пошли кругляши.

— Почему «кругляши»? — поинтересовался кто-то.

— Да как же, — отозвался Барыбин, — я вчера Воронова спрашиваю: «Ты как училище окончил?» А он мне: «С одними кругляшами». — «А Стрельцов?» — «И Стрельцов с одними кругляшами». — «А что такое кругляши»? — «Да пятерки».

Алешу эти пересмешки не смутили. Истосковавшийся по самолету, он жадно впился глазами в приборную доску, был предельно внимательным, когда запускал мотор, выруливал, отрывался от земли и водил свою машину над аэродромом по кругу.

— Шайтан меня забери, ты кое-что умеешь, — проворчал по переговорному устройству Султан-хан. — В зону! Два виража, боевой разворот, бочка и пикирование.

Алеша стал набирать высоту. В зоне истребитель одну за другой проделывал фигуры пилотажа. Пожалуй, никогда еще Стрельцов не выполнял их с такой лихостью. Самолет находился в стороне от города. Справа под крылом золотились острые городские колокольни. Султан-хан приказал пикировать, и Алеша, отжав от себя ручку управления, заставил самолет падать до тех пор, пока яростный голос капитана не наполнил наушники:

— Ты что, убить меня хочешь? Вывод!

Алеша выровнял машину и завел ее на посадку. Когда учебно-тренировочный истребитель был уже на стоянке и Алеша, отстегнув парашют, выбрался из кабины, он

приготовился услышать новые замечания от своего комэска. Вытянув руки по швам, наблюдал он за тем, как его командир, медленно пятясь, дошел до самого обреза крыла и вдруг легко и проворно спрыгнул. Рукой в кожаной перчатке Султан-хан хлопнул его по плечу, восторженно закричал:

— Ай, кунак, ай, молодец! Не зря тебя с одними кругляшами выпустили из школы. — Умерив радость, Султан-хан сорвал с головы белый шелковый подшлемник, вытер им смуглые щеки. — Только, знаешь, милый лейтенант, чтобы в настоящий бой идти, одной ручкой управления работать мало.

Комэск сел под крыло самолета, в прохладную утреннюю тень, поджал под себя ноги. Уголки его рта дрогнули, и было трудно понять, серьезен он или только сдерживает усмешку, не дает ей пробиться сквозь внешнюю озабоченность.

— Был один такой летчик, забыл фамилию. Тоже с кругляшами на фронт приехал. И бочки делал смело, и петли. А из первого боя вернулся, упал на землю да как закричит, совсем будто мулла на минарете: «Родная моя, никуда я от тебя не уйду!» И давай ее целовать. — Капитан уколол Алешу острым взглядом. — Ты как, нэ закричишь, Стрельцов, а?

— Не закричу, товарищ капитан, — насупившись, сказал Алеша.

— Посмотрим, — самодовольно рассмеялся Султан-хан, — не потому рассказал я тебе эту присказку, что трусость в тебе заподозрил. Просто она о том, что обычный полет — дело одно, а боевой — совсем другое. В обычном полете летчик-истребитель только мастером должен быть: ручкой ворочать, тумблеры переключать, за приборами следить. А в боевом мастером быть мало, там ты прежде всего человеком должен быть, умным человеком, с горячим сердцем и холодной головой. Бойцом. Понял?

Стрельцов молча кивнул.

— Вот и отлично, — одобрил Султан-хан, — теперь мы снова поднимемся в воздух, и я тебе ставлю такую задачу: лети и наблюдай. Вернемся, спрошу, что видел, как после фронтового полета.

Алеша давно заметил: его командир эскадрильи в тех случаях, когда волновался, начинал говорить с заметным акцентом. Когда же успокаивался, этот акцент совершен-

но исчезал, только слова Султан-хан выговаривал медленнее.

— Идет, товарищ капитан, — радостно отозвался Стрельцов.

Через несколько минут белый флажок стартера снова открыл Алеше дорогу в небо. На этот раз Султан-хан заставил его дважды пройти над самым центром города, сделать круг над железнодорожным узлом и московским шоссе. Склоняя машину то на правое, то на левое крыло, Алеша видел внизу приветливые домишки с зелеными и красными крышами, позолоченные купола церквей, черные, обгоревшие после бомбардировок кварталы, кирпичную водокачку на железнодорожном узле, вереницу груженых автомашин, мчавшихся по шоссе к фронту.

— Идем на посадку! — неожиданно скомандовал капитан.

Стрельцов быстро подвел машину к земле. Как всегда, стало радостно, когда легкими толчками застучали колеса на пробеге. Зарулив на стоянку, он вышел из кабины.

— Разрешите получить замечания? — обратился он к Султан-хану с беззаботностью курсанта, уверенного, что взлетел, пилотировал и садился он непогрешимо.

— Замечания? — переспросил серьезно Султан-хан и загадочно прибавил: — С замечаниями придется повременить.

На командном пункте их уже ждали и начштаба Петельников, и комиссар Румянцев, и капитан Боркун с Колей Вороновым, вернувшиеся из полета раньше. Боркун локтем в бок весело подтолкнул Султан-хана:

— Ого, кунак, ты своему птенцу уже дал программу-максимум, а мы до нее не дошли.

Алеша насторожился. Румянцев отвинтил крышку своего термоса и налил холодного лимонада.

— Нате-ка, дебютант, — протянул он Стрельцову стаканчик. Алеша выпил с жадностью: после двух полетов было сухо во рту.

— Вот спасибо, товарищ комиссар.

— Вам налить, Султан-хан, глоточек?

— Можно и два глоточка. За каждый полет по глоточку, — засмеялся горец.

— А теперь к делу, — сказал Румянцев. — С лейтенантом Вороновым все ясно. Два поверочных полета он выполнил на «отлично». Лейтенанту Стрельцову был дан

усложненный полет — тактический. Вот об этом пусть нам и доложит его командир.

Султан-хан покачал головой.

— Собственно говоря, доложит лейтенант Стрельцов,— уточнил он. — Я задам ему несколько вопросов.

Алеша напряженно ждал, догадываясь, что сейчас ему устроят экзамен. Чуть-чуть усмехнулись тонкие губы Султан-хана.

— Лейтенант Стрельцов, сколько церквей в центральной части города?

Алеша в удивлении раскрыл рот.

— Церк-вей? — вырвалось у него.

— Да, да, именно этих памятников старины, в недалеком прошлом мест отправления культа.

— Почему в недалеком прошлом? — засмеялся Боркун. — В одной служба и до сих пор идет. Сам видел бородатого батюшку в рясе...

Султан-хан остановил его поднятой рукой:

— Не мешай, Василий Николаевич. Отвечайте, лейтенант Стрельцов.

— Ну, кажется, четыре, — пробормотал Алеша.— Я их не считал.

— Ай как плохо. — Султан-хан неодобрительно покачал черной головой. — Во-первых, докладывая старшему, не говорят «ну». Так ишаку говорят, когда заставляют его везти на базар бурдюк с кислым молоком. Во-вторых, докладывают без «кажется», и, в-третьих, церквей всетаки шесть, а не четыре.

Алеша беспокойно заерзал на скамье и ладонями сжал коленки, обтянутые синими габардиновыми бриджами. Капитан самодовольно ухмыльнулся, будто замешательство молодого летчика доставило ему большое удовольствие.

— Пойдем дальше. Что видели на шоссе?

— Колонну автомашин.

— А точнее, сколько?

— Штук тридцать — сорок.

— Неверно. Более шестидесяти. А сколько труб в районе вокзала?

— Около десяти.

— Опять неверно. Всего пять. А сколько эшелонов стояло на узле?

— Один эшелон под парами, другой головой на север,

паровоза нет, — бойко доложил Алеша и густо покраснел, потому что его слова покрыл дружный взрыв хохота.

— Сами вы паровоз, — добродушно похлопал его по плечу Боркун. — Как же можно определить, где голова эшелона, если нет паровоза?

Румянцев платком отер набежавшие от смеха слезы.

— Хватит, товарищи, этак вы совсем смутите человека. У меня к вам, товарищ лейтенант, последний вопрос. Скажите, сколько вы видели в воздухе самолетов и что это были за машины.

— Ни одного не видел, — с пылающим лицом потупился Алеша.

— Это правда, товарищ капитан?

— Ко всеобщему огорчению, ошибка, товарищ старший политрук, — окончательно добил Алешу его командир. — В воздухе самолеты встречались нам трижды. Над городом мы держали восемьсот метров, а на встречном курсе с превышением в двести — триста метров прошла семерка «пешек». Стоило поднять голову — и можно было их увидеть, как собственное отражение в зеркале. При подходе к аэродрому ниже нас пролетела пара «яков» с курсом сто — сто двадцать градусов, и, когда мы стали на круг, в хвосте у нас шел один самолет нашего полка. Хвостовой номер пять.

Алеша слушал и удивлялся способности Султан-хана так много увидеть за какие-то двадцать минут полета!

— Теперь давайте суммируем, — уже без улыбки произнес Румянцев. — Не сердитесь, Стрельцов, за этот маленький экзамен. Ему подвергается каждый перед первым боевым вылетом.

Черные глаза Султан-хана, таившие секунду назад насмешку, стали холодными. Он вытянул руку ладонью вверх.

— Поле боя летчик-истребитель должен знать как свою собственную ладонь, — пояснил он неторопливо. — А это значит — все видеть, все запоминать. Вы в полете ничего не видели и ничего не запомнили, а хотите, чтобы я послал вас за линию фронта. Да вас первый же «мессер» собьет. Подкрадется из-за тучки, чирк — и готово. А мне потом на родину вам пиши. А у вас там, наверное, мамаша и папаша, может, и красивая невеста.

— Это к делу не относится! — вспылил Алеша, но Султан-хан не обратил на его слова никакого внимания. Обращаясь уже к одному Румянцеву, коротко и решительно заключил:

— Одним словом, товарищ комиссар, пускать в бой лейтенанта Стрельцова рано. Дам еще два-три ознакомительных полета.

— Действуйте, — согласился Румянцев и встал, давая понять, что разговор закончен.

Султан-хан взял со стола шлем, оглянулся на Боркуна:

— Идем в столовую. Обед сегодня мы, кажется, заслужили.

— Похоже, — подтвердил Боркун, попыхивая зажатой в зубах трубкой.

Алеша, понурившись, поднимался по узким, пахнущим смолой ступенькам землянки. Какой же он летчик-истребитель, если его отчитали сейчас, как самого безнадежного первоклассника? Нет, никогда он не научится так быстро охватывать и запоминать все в полете, как это умеет делать его командир эскадрильи.

Наверху солнце обласкало лицо, день пахнул свежим ветерком, беззастенчиво коснувшимся его пылающих щек.

Султан-хан приблизился к нему, оскалив в улыбке белые зубы, толкнул в бок:

— О чем задумался, джигит? Держи голову выше! Сейчас обедать, потом два ознакомительных полета, и будет видно.

Ехала полуторка, поднимая душную сентябрьскую пыль, и одного кивка головы Султан-хана оказалось достаточно, чтобы надрывно застонали ее клепаные тормоза. Из окошечка высунулось широкое, в мелких веснушках лицо шофера:

— Капитан Султан-хан, садитесь рядом.

— Поехали, товарищи! — оглянулся горец на Боркуна и лейтенантов. — В обороне харч — первое дело. Еще Суворов об этом говорил.

☆☆☆☆

До захода солнца Султан-хан дважды поднимался в воздух на спарке с Алешей Стрельцовым и приказывал ему летать по разным маршрутам в зоне аэродрома. Алеша с удивлением заметил, что после «проборки» стал совершенно по-иному относиться ко всему, что встречал в полете. Раньше его внимание почти целиком было занято

доской приборов и основными ориентирами, по которым он сверял маршрут, теперь же он постоянно вглядывался в пестрые контуры земли, успевал осматривать голубое воздушное пространство и впереди, и над головой, и по сторонам. После посадок снова следовали придирчивые вопросы, но теперь Алеша отвечал на них спокойно, быстро и почти всегда точно. Несколько раз Султан-хан хлопал себя по жилистой загорелой шее и с удовольствием восклицал:

— А здесь наврал, определенно наврал!

У Алеши ёкало сердце: значит, опять не даст разрешения на боевой вылет. Он начинал ненавидеть комэска: его самодовольное горбоносое лицо казалось злым, голос заносчивым и оскорбительным. Получив ответ на последний вопрос, Султан-хан поднялся с земли, на которой сидел в своей любимой позе, поджав под себя ноги в щегольских мягких сапогах, и хлыстиком стегнул по одинокой поблекшей ромашке, неизвестно по какой прихоти судьбы не затоптанной до сих пор шинами руливших самолетов, сапогами бегавших по аэродрому людей.

— Зачем цветок обижаете, товарищ капитан? — не вытерпел Алеша.

Султан-хан криво улыбнулся, и на мгновение в его черных глазах отчетливо проступила тоска и боль.

— А не терплю я его, этот цветок, — резко ответил капитан. — Всегда врет — любишь, не любишь, а на поверку одно несчастье выходит. Впрочем, лейтенант, если он сослужил вам службу, угадал любовь вашей избранницы, я готов принести извинения, — закончил комэск со своей обычной усмешкой.

Алеша молчал, ожидая оценки полета. В душе он кипел оттого, что капитан умышленно испытывает его терпение. Но что мог сказать он, вчерашний курсант, командиру, все испытавшему в боях, носившему на гимнастерке два ордена? Слишком огромной была между ними дистанция, чтобы Алеша посмел роптать.

Султан-хан проводил глазами взлетевшую четверку «яковлевых» и, когда сникла к земле тучка пыли, повернулся к Стрельцову.

— Вы, конечно, ждете оценки, лейтенант?

— Жду.

— И разбора ошибок?

— И разбора ошибок.

— Ничего этого не будет. Просто сейчас мы пойдем

на КП и доложим комиссару, что вы подготовлены к боевому вылету.

Алеша вздрогнул от неожиданности. Хотелось броситься в объятия к этому странному капитану, которого еще минуту назад он ненавидел. Султан-хан сдержанно улыбнулся, угадывая его состояние:

— Предупреждаю, джигит, восторги разделим вместе после полета.

Вечером Алеша получил первое в своей жизни боевое задание. На рассвете в составе четверки самолетов И-16 ему предстояло вылететь на штурмовку фашистского аэродрома, недавно появившегося под Ржевом. В боевой расчет он был включен ведомым второй пары. Поведет ее старший лейтенант Красильников, опытный, побывавший во многих боях летчик, понюхавший досыта пороха. Алеша знал уже, что у старшего лейтенанта при эвакуации из Бреста под бомбами погибли в эшелоне жена и дочь. Красильников молча носил в себе свое горе. Просыпаясь среди ночи, Алеша не раз видел, как старший лейтенант зажигал папиросу и подолгу лежал с открытыми глазами, устремленными в закопченный потолок избы. С Алешей он обошелся перед вылетом неожиданно ласково.

— Так что, курсант, летим?—улыбнулся он и потрепал Стрельцова по плечу. — Как моральный дух? Присутствует? Смотри, а то зенитки и «мессершмитты» прижмут — придется туго. Имей в виду, дрейфить у меня запрещается. Сдрейфишь — больше не возьму! Где твоя карта?

Красильников подробно объяснил ему последовательность действий в полете, потом повел к стоянке. Раскоряченный на низком шасси «ишачок» с цифрой «семнадцать» на руле поворота был изрядно потрепан. На фюзеляже и плоскостях виднелись заплатки. Но мотор был надежным, не выработавшим и половины ресурса, и это успокоило Стрельцова.

После предварительной подготовки Алеша и Красильников отправились ужинать. В жизни часто бывает, что люди, идущие на большое и опасное дело, последние часы стараются провести вместе. Очевидно, жизнь сама установила эту закономерность. Алеша Стрельцов ощущал, как незримая нить прочно связывала его с этим малоразговорчивым старшим лейтенантом, грустное лицо которого оставалось почти непроницаемым даже в те мгновения, когда он чему-либо радовался или сдержанно улыбался. Еще

несколько часов назад был Красильников для него чужим и — чего скрывать? — не совсем приятным и понятным человеком. Если Алеша как-то сразу потянулся к доброму, общительному Боркуну, полюбил комиссара Румянцева и своего ровесника Ипатьева, то Красильникова он предпочитал обходить стороной, и даже в комнате, где их койки стояли рядом, чувствовал какую-то скованность, когда зеленоватые глаза соседа останавливались на нем.

И вдруг все изменилось. Красильников стал тем, кто увидит его в первом бою, кто сможет и ободрить и предостеречь от ошибки. И если нельзя сказать, что будут они завтра стоять плечом к плечу, то крыло в крыло они должны пролететь весь запланированный опасный час. А крыло в крыло это и есть плечом к плечу.

Поужинав, они вместе сходили в походный клуб и посмотрели веселый и бесхитростный кинофильм «Свинарка и пастух». Лента то и дело рвалась, в тесном амбаре, заменявшем кинозал, вспыхивал свет движка, остро резал глаза. Красильников часто вздыхал, один раз что-то вроде глухого стона вырвалось у него, и он боязливо оглянулся на своего соседа. «Может быть, — подумал Алеша, — совсем недавно смотрел Красильников эту картину где-нибудь в гарнизонном ДКА с женой или дочкой...»

После сеанса они вместе пришли домой, и Красильников, как показалось Алеше, недовольно нахмурился, увидев, что Стрельцова дожидается не кто иной, как сам комиссар полка.

— Вот, брат, дело какое, — обратился старший политрук к Алеше, — поговорить надо с глазу на глаз. Давай выйдем.

— Я готов, товарищ комиссар, — быстро сказал Алеша, но Красильников с настойчивостью попросил:

— Вы его долго не задерживайте, товарищ старший политрук. Парню отдохнуть надо. Первый же раз завтра в бой идет.

И к удивлению Стрельцова, комиссар не одернул старшего лейтенанта, напротив, ответил мягко и серьезно:

— Учту, Красильников.

Алеша постепенно постигал сложность, существовавшую в отношениях младших и старших на фронте. Попробуй-ка поговори этак вот со старшим командиром в тылу! Сразу получишь в ответ: «Знаю», «Мне это ясно», а то и самое обидное: «Прошу не забываться». Здесь этого не было. Усталые, опаленные постоянной близостью

смерти, летчики порой ходили вразвалку, козыряли с подчеркнутой небрежностью, не всегда отвечали по уставу, но вместе с тем жила в полку какая-то незримая субординация, незамедлительное повиновение приказу старшего, если он касался боевых действий.

Алеша и Румянцев не спеша шли по затихшей улице, словно в их планы входило подышать вечерним воздухом да звездами полюбоваться. Мимо них босоногий подросток, поднимая на дороге пыль, гнал упрямо мотавшего головой бычка. Румянцев невесело глянул на них.

— Никита, что же вы своего Нерона в совхоз не отправили? — спросил он у подростка, и тот деловито сказал:

— Председательша не позволила. Говорит: может, еще все обойдется, а это последний племенник на весь колхоз.

— Обойдется, обойдется, — проворчал Румянцев, — вам же ясно сказал секретарь райкома, что надо делать. Он-то знает.

Парнишка, ничего не ответив, хлопая бичом, погнал бычка дальше.

Около крайней избы, в которой еще недавно стоял гроб с телом майора Хатнянского, старший политрук задержал шаг:

— Слушай, Стрельцов, у тебя комсомольский билет с собой?

— С собой.

— Сдай его мне. После вылета получишь обратно.

Алеша расстегнул нагрудный карман гимнастерки, вытащил завернутый в целлофановую обложку билет. Взносы за последний месяц он платил еще в авиашколе — в билете стояла подпись Миши Селиванова, секретаря их комсомольского бюро. И веяло от этой подписи нерастраченным теплом мирной жизни, где не было ни воздушных тревог, ни затемнений.

— А вы всегда отбираете их перед вылетом? — спросил Алеша, чтобы хоть что-нибудь сказать.

Внимательными глазами комиссар заглянул ему в лицо:

— Нет, не всегда. Но завтра вы идете за линию фронта почти на полный радиус. — Он помолчал и неожиданно спросил: — Тебя как зовут?

— Алексеем.

— Так вот послушай, Алеша. Завтра ты первый раз в жизни идешь в бой. Тебе подробно разъяснили задание?

— Подробно.

— Но, очевидно, не сказали о главном, этого обычно не говорят рядовому летчику. Видишь ли, Алеша, немцы готовят новое наступление. Ты, наверное, заметил, что они в последние дни ни на город, ни на аэродром не налетают.

— Заметил, товарищ комиссар.

— Силы копят. Большие силы! Что такое твоя завтрашняя цель? Был совхоз. Наш, советский совхоз. Наши парни и девушки работали в нем, влюблялись, женились, растили детей. Словом, была настоящая жизнь. Пришли фашисты и пустили ее под откос. Теперь на полях совхоза аэродром, фашистский аэродром. Сейчас на нем три сотни самолетов. В основном «юнкерсы», «мессершмиттов» поменьше. Оттуда на Москву бомбы возят, гады. Вот, Алеша, твоя цель. Завтра этот узел будет штурмовать вся авиация фронта, но вы начинаете. С вас поэтому и спрос самый большой. Помни, вас не праздничным фейерверком встретят. Зениток будет туча, а ты иди. «Мессеры» появятся, а ты иди. Огрызайся, но иди. У тебя под крылышками эрэсы [1] — хорошие гостинцы. Выполните задание — пожары после себя оставите. Только, повторяю, Алеша, — дело опасное. Хорошо обойдется — с мелкими пробоинами вернетесь. Хуже — побитыми и ранеными придете. Плохо будет — кто-то и совсем не придет.

— На то и война, товарищ старший политрук! — тихо вставил Стрельцов.

Румянцев кивнул головой:

— Да. Но каждый из нас любит жизнь, она тянет к себе, Алеша. И мы не воспитываем каких-то отрешенных от жизни людей, вроде «сыновей священного ветра», как именуют в Японии самураев-смертников.

— А разве можно думать о жизни и смерти, если у тебя в планшете карта с маршрутом, а впереди — цель?! — пылко воскликнул Алеша.

Комиссар еще раз одобрительно кивнул, поправил пилотку, чуть пониже надвинув ее на брови. Густая прядь выбилась из-под нее и упала на глаза. Потом он неторопливо достал из кармана реглана серебряный портсигар, протянул своему собеседнику:

---

[1] РС — реактивные снаряды.

— Бери, закуривай.

— Так я же... — запнулся Алеша.

— Ах да, я и забыл, ты ж не дымишь. Это хорошо. А леденцов-то у меня и нет, — пошутил Румянцев и потрепал лейтенанта по плечу. — Марш отдыхать. И чтобы завтра живым вернулся. Понял?

Когда Алеша возвратился домой, Красильников сидел на койке, свесив на пол босые ноги. Ревниво осведомился:

— Ну, что он там тебе говорил, наш комиссар?

— Спрашивал, испугаюсь я или нет.

— Чудак Румянцев, — усмехнулся Красильников, — есть о чем спрашивать. По тебе сразу видно, парень, что не испугаешься. Я бы по-другому спросил: сумеешь или нет?

— Сумею, товарищ старший лейтенант, — подтвердил ободренный Алеша, забираясь на свою узкую койку.

— Когда мы не на аэродроме и не в полете, я для тебя Михаил Ильич, — глуховато, медленно произнес Красильников и дунул на керосиновую лампу. — А теперь «гуд бай», как говорят наши друзья американцы. Приятных сновидений.

Красильников на этот раз быстро заснул, словно успокоенный скорым возвращением Алеши. Стрельцов уже успел убедиться — бессонница нападала на старшего лейтенанта лишь в те дни, когда не предвиделось боевой работы. Если на утро был запланирован вылет, неразговорчивый беспокойный Красильников спал крепко и, как могло показаться, безмятежно.

Алеша тоже решил заснуть, однако из этого ничего не получилось. Он смотрел в темный, задернутый маскировочной шторой квадрат окна и вспоминал родной свой, такой далекий сибирский город, сестренку Наташу, маму, детские годы.

Если бы раньше у Алеши спросили, любит ли он жизнь, он, вероятно, растерялся и ответил бы: «Не знаю». Но сейчас, когда до первого боевого вылета, из которого можно возвратиться без единой царапинки, а можно и совсем не вернуться, осталось несколько часов, он отчетливо ощутил, как дорожит жизнью. Для него жизнь — это возможность подниматься в небо на крылатой машине, дружба с Колей Вороновым и сестренкой Наташей, судьба его доброй и милой, но такой несчастливой матери, тихая комната на Вятской улице, набитая книгами, с детства рождавшими мечту, высокий бугор наискосок от

дома, где из-под травы просвечивает жирная глина. С этого бугра хорошо видно могучую, широченную реку, воспетую не в одной песне, ажурный мост, опершийся на белые каменные быки, дымки пароходов, плывущих вниз по течению, а за рекой равнину и на самом горизонте подступившую к ней темную кромку тайги.

У Алеши был друг — веселый конопатый Мишка Смешливый, и они вдвоем часами просиживали на этом бугре. Здесь можно было не только тайком от матерей поиграть в орлянку или же обменяться разноцветными айданами, залитыми белым свинцом, — здесь можно было и помечтать о том далеком, что, по глубокому убеждению обоих, обязательно должно наступить в их жизни, стоит только немного повзрослеть.

Когда по мосту через реку вихрем проносился московский курьерский, оставляя в настоявшемся речном воздухе грохот чугунных колес, мальчикам грезились далекие города и просторы и новая жизнь, совсем иная, чем на их Вятской улице, где знакома каждая калитка, каждый куриный лаз в чужом заборе и подсчитано количество спелых яблок в соседских садах.

— Поезд, он что, — выплевывая изо рта семечную шелуху, разглагольствовал Мишка Смешливый. — Есть штука и побыстрее. Аэроплан называется. Видал, Леха? Только вблизи, а не в небе. В небе он вроде жучка-носорога, не боле.

Алеша с сожалением качал головой:

— Только на плакате видел.

— Тю, — презрительно косился на него Мишка. — Ты бы в натуре его посмотрел. С мост будет, не меньше. Вот тебе честное-пречестное.

Мишка клялся повторно, видя, что недоверчивые глаза товарища наполняются смехом.

— Ну не с мост, может, — сопя, отступал он, — чуть мене. С новый кинотеатр, что на Красном проспекте построили. Вот вырасту и летчиком стану — узнаешь.

— А я на завод куда-нибудь подамся, — вслух мечтал Алеша, — буду маме своей получки посылать. Встретимся: ты летчик, а я слесарь шестого разряда. Все равно дружки. Ты тогда покатай меня на своем самолете.

— Мне что, я человек не гордый. Слово залог — свидетель бог, — бахвалился Мишка, — всегда выручу кореша. С завода прямо к твоей мамане с получкой доставлю. Ж-ж-ж над крышей — и на дворе!

Но прошли годы, и судьба поставила все на дыбы, лишь бугор сохранился на старом месте, будил в сердце хорошие воспоминания. Мишка Смешливый стал монтажником на местном заводе, работал на сборке комбайнов, Алешу судьба забросила в небо, и он там прижился и даже полюбил суровую, полную романтики жизнь авиаторов. Дружба осталась прежней. Хотя Мишка Смешливый и поспешил жениться на своей подруге детства, их сверстнице Любе, был он все таким же малоповзрослевшим, незлобиво-веселым парнем, доверчивым и простодушным. Встречаясь, говорил:

— Видал, как оно получилось? Не по уговору. — И смеялся. Он явно гордился своим другом и, если Алеша во время городских увольнений заходил к нему в гости, кричал с напускной солидностью жене:

— Мать, закуску готовь! Не видишь, что ли, какой у нас гость? Поторапливайся, мать.

— Тоже мне отец нашелся, — смеялась Люба, радушно протягивая Алексею сразу обе руки.

Как все было свежо в памяти! А теперь один лишь Коля Воронов остался с ним из того, казалось, далекого, доброго и открытого юношеского мира, что кончился на аэродроме под Новосибирском в тот час, когда погрузили их в зеленый военно-транспортный Ли-2 и, взвихривая пыль, оторвался он от родной сибирской земли.

...Где сейчас Коля? Ему завтра не лететь на рассвете в бой. Вот бы с кем свидеться и поговорить! Но Коля, наверное, уже спит, и Алексею теперь до самого утра быть наедине с самим собой.

Алеша подумал, что всего несколько часов отделяют его от того нового, еще не изведанного состояния, имя которому «бой». «Полет завтра сложный. Сложный, — значит, опасный. А вдруг собьют?»

И Алеша представил себе, как в хвост его «ишачку» заходит тонкий, с осиным фюзеляжем «мессершмитт», дробной очередью прошивает его машину. Вспыхивает бензобак, рули заклинило. Педали не в состоянии приостановить падения подбитой машины, и она, крутясь, несется вниз. За кабиной то земля, то небо. Страшный удар, которого он уже не услышит, и вечные потемки. Был лейтенант Стрельцов — и нет лейтенанта Стрельцова. Алеша зябко поежился от неожиданной дрожи, строго спросил себя: «Боюсь?» И сам себе ответил: «А если все сложится не так?» Может, они пронесутся над вражеским летным

полем, он сбросит эрэсы, зажжет очередями несколько стоящих на земле «юнкерсов» и вернется домой без единой царапины.

«Смерть — вздор! Смерти нет, — весело подумал Алеша, — есть жизнь и еще есть победа жизни над смертью». — «А Хатнянский? — зло посмеиваясь, спросил его другой, чужой и несговорчивый голос. — Разве ему хотелось умирать, этому красивому молодому парню, любившему жену, детей, однополчан?» — «Врешь, — вскипел Алеша. — Хатнянский не умер. Почти перед каждым полетом о нем говорят и говорят, изучают его приемы воздушного боя, проводят во всех эскадрильях беседы о его подвиге. Его никогда не забудет полк! Значит, это уже бессмертие, и шагнуть в него может всякий. А я обязательно буду смелым!»

Ему со страшной силой захотелось быть таким, как генерал Комаров, который живым, с тремя боевыми орденами вернулся из Испании, или как капитан Боркун, или как насмешливый Султан-хан, успевший одержать в этой войне много побед и ни разу не раненный. Нет, страха не испытывал больше Алеша, и дыхание его во сне было спокойным.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Четыре тупоносых истребителя И-16 озверело рубили винтами прохладный сентябрьский воздух. Тонко высвистывали моторы однообразную песню, сливаясь в один мощный голос. Стартовали самолеты рано, когда едва рассвело и на востоке, за гребенкой леса, только-только обозначилась алая полоска зари. В этом и заключался замысел Султан-хана, разработавшего тактический план штурмовки вражеского аэродрома. Накануне полета он, водя пальцем по сгибу карты, горячо доказывал сдержанному начальнику штаба Петельникову:

— Немец педант. Мы уже на собственном горбу это проверили. В шесть ноль-ноль у них подъем и завтрак, потом они начинают много-много больших и малых неприятностей нам делать. Но без четверти шесть мои джигиты застигнут их врасплох. Я еще раз повторяю: немецкий летчик от своих правил не отступает. Завтра Султан-хан с вашего разрешения этим и воспользуется.

— Убедили, — согласился Петельников, умевший быстро оценивать обстановку.

...Сейчас самолеты шли клином. Несколько вырвавшись, летел впереди на своей «единице» Султан-хан; слева от него вел истребитель лейтенант Барыбин, веселый курчавый парень с раздвоенной от осколочного ранения губой; справа сквозь плексиглас козырька обозревал горизонт мрачноватыми, словно остановившимися, зелеными глазами старший лейтенант Красильников; и наконец, замыкающим в группе шел Алеша Стрельцов. Мотор его латаной машины работал бесперебойно, и стрелки на доске приборов подтверждали, что поношенный организм машины способен провести в воздухе еще немало часов.

Шли на бреющем почти над самой землей. Алеша любил такой полет: в нем особенно полно ощущаешь скорость и свою власть над машиной. Сейчас он косил глазами влево на хвост соседнего самолета, потом переводил взгляд вперед. Этот настороженный взгляд так и ощупывал землю: нет ли на маршруте опасного по высоте препятствия? Кто его знает, может ведь внезапно появиться высокая колокольня или какая-нибудь неожиданная горушка. Их четверка то взмывала над замаячившими впереди холмами, то припадала снова к земле, если под крылом была равнина.

В девяносто пятом истребительном полку, длительное время выполнявшем разведывательные задания, в отличие от других полков фронта на многих машинах уже были радиостанции. На Алешину машину почти перед самым вылетом тоже установили радиостанцию, но без передатчика. Передавать Алеша ничего не мог, зато каждую команду Султан-хана слышал сквозь треск эфира довольно сносно. Его растрогало, что в этом трудном даже для опытных летчиков полете капитан успел справиться чуть насмешливо, ласково и о нем:

— Ну как, самый маленький? Качни крыльями, если не устал.

И Алеша, выполняя команду, два раза с крыла на крыло наклонил свой «ишачок», давая понять: нет, не устал.

Давно уже растаяли в утренней дымке взбежавшие на холм позолоченные купола городских церквей.

Алешу удивило, что, насмешливый и вспыльчивый на земле, Султан-хан в полете становился добрее и спокойнее.

— Самый маленький! — вновь окликнул он Алешу. —

Не рви сильно ручку. Подходим к линии фронта. Зенитки ударят — не шарахаться. Внима-а-ние!

Алеша увидел под левой плоскостью своего истребителя шоссе, косо перечеркнувшее лес. Вблизи города оно было оживленным, забитым движущимися на фронт и в тыл автомашинами и повозками. Сейчас его необычная пустынность неприятно царапнула по сердцу. В редких лесочках по склонам балок, прикрытые маскировочными сетями, стояли артиллерийские орудия. На такой большой скорости Алеша их, может, и не рассмотрел бы, но суетившиеся на огневых позициях солдаты махали им пилотками. «Счастливого пути желают», — улыбнулся Алеша, и от этого ему стало и спокойнее и теплее.

Еще через две минуты, не более, он увидел на крутом откосе всю в желтых осыпях зигзагообразную траншею, и больше ничего. «А где же передовая, где войска?» — спросил он себя тревожно.

Скользнула под крылом узкая белобрысая речушка в зарослях ивняка, и Султан-хан прокричал:

— Прошли линию фронта! Не зевай!

Истребитель уносил Алешу все вперед и вперед, земля под крыльями казалась необжитой, словно вымершей. «Пугает, — подумал Алеша про Султан-хана, — какой же тут фронт!»

И вдруг из лесочка, что был впереди, дружно ударили дробные очереди спаренных крупнокалиберных пулеметов. Алеша глянул влево: оттуда тоже, как ему показалось — прямо в него, с гулким эхом палили зенитки. Это короткое, никогда не забываемое «пах, пах» он отчетливо расслышал даже за ревом моторов — до того оно было сильным, одновременно вырывающееся из многих стволов.

— Берем ниже! — приказал Султан-хан, и вся четверка припала к острым верхушкам елей. Теперь снаряды зениток рвались над кабинами. Султан-хан увел за собой группу вправо, и вспышки зениток остались позади. Прекрасно изучив оборону противника, он вел сейчас свою четверку по изломанным отрезкам маршрута, совсем не так, как это предусматривал предварительно составленный на земле расчет, над которым трудились и Петельников, и комиссар, да и сам Султан-хан. Он вел «ишачков», постоянно заметая следы, обходя дороги и населенные пункты. Когда Алеша успел взглянуть на

картушку компаса, то увидел, что летит не на запад, а на восток. «Что такое? — удивился он. — Или капитан сбился с маршрута, или ему отдали приказание возвращаться, отменили задание? А может, это и вообще тренировка, о которой меня не предупредили?»

Впереди на горизонте всплыл медный окаемок солнца, легкими парусами скользнули робкие перистые облачка. А земля, такая путаная и неясная оттого, что она была совсем близко под крылом, все продолжала мчаться и мчаться навстречу. И Алешу уже клонило в сон от этого непрерывного мелькания предметов, сливающихся в единый пестрый покров, от монотонного гудения моторов. «Где мы? Почему идем на восток?» — думал он, взглядывая на отсчет компаса.

Внезапно Алеша увидел впереди узкую строчку железнодорожного одноколейного пути, будочку обходчика, и голос Султан-хана, злой и веселый, раздался в ушах:

— Впереди цель. Атакуем. Все за мной, джигиты!

Самолет капитана стремительно взмыл вверх, делая крутую горку, Барыбин и Красильников, как привязанные, скопировали каждое его движение и одновременно с ним выскочили на высоту в пятьсот метров. Алеша замешкался и приотстал. Поднявшись, словно на гребень, на эту высоту, он успел все же оглядеться. Он увидел впереди себя ровную, хорошо утрамбованную поляну и в центре ее широкую бетонированную полосу. Вдоль рулежных дорожек, распластав белые крылья, стояли большие двухмоторные самолеты. С высоты казалось, что они влипли в землю. Чернели безмолвно винты. Возле самолетов виднелись горы красных и белых ящиков с бомбами.

От первых трех истребителей, летевших левее, отделились эрэсы, выплюнув желтые пучки огня. «Надо и мне», — сверкнуло в сознании Алеши. Впереди по аэродрому мчалась грузовая автомашина, забитая людьми. Алеша вдруг всем своим существом ощутил, что его правый эрэс угодит в нее или, по крайней мере, разорвется очень близко, и нисколько не удивился, что это случилось именно так. Столб огня и дыма окутал машину, и, перевернутая набок, она еще некоторое время ползла по летному полю. Куда угодил левый снаряд, Стрельцов не заметил, но, когда он, чтобы не врезаться в набегавшую землю, резко выхватил ручку управления и заставил свой «ишачок» снова набирать высоту, а потом опять зашел

по центру аэродрома, он увидел, как буйное пламя пожирало останки грузовика.

Хлыстом ожег его голос Султан-хана:

— Осторожнее, оглашенный! Пристройся!

Три машины, успев второй раз прочесать аэродром, ложились на обратный курс. Если бы Алеша, не атакуя цели, последовал за ними, он бы неминуемо их догнал и пристроился. Но он сгоряча спикировал на центр аэродрома еще раз, спикировал неудачно, потому что опоздал с открытием огня, и еле-еле вывел свою машину в горизонтальное положение. Белая полоса бетонки была под самым хвостом истребителя, когда он, задрав широкий капот, устремился вверх.

Машина уносила Алешу от аэродрома на большой высоте. Сзади ударили зенитки. Алеша посмотрел на пузырек компаса и вздрогнул. Он шел курсом на запад. Когда он развернулся на восток, ни справа, ни слева не было ни одного самолета.

«Где же капитан? Где Барыбин, Красильников?» — подумал Алеша. Ему стало жутко оттого, что он теперь совершенно один над землей, занятой врагом, где из каждого лесочка на него могут обрушиться зенитки.

Неожиданно Алеша вспомнил, как однажды в столовой добродушный огромный Боркун, прихлебывая горячий чай, поучал его и Колю Воронова:

— Здесь, ребятки, у нас фронт, а не университет. Всего рассказать вам не успеешь. Поэтому каждое слово у нас, стариков, ловите! Вот, например, заблудился ты над вражеской территорией. Что будешь делать? Первое дело — бери курс девяносто на восток и гони — всегда к линии фронта выйдешь. А там любой советский аэродром пригреет.

В кабине было душно. От разогревшегося мотора пахло бензиновыми парами. Стрельцов установил курс девяносто градусов и сразу почувствовал облегчение.

Вдруг правее, выше себя он увидел растянувшуюся в полете девятку боевых машин. Самолеты шли на юго-восток. Над фюзеляжами горбились кабины. Очертания самолетов показались ему странно знакомыми. «Батеньки! — обрадованно подумал он. — Да ведь это же «илы»! Пристроюсь, они и доведут меня поближе. Они же севернее города сидят, а наш полк южнее. От города сразу свой аэродром найду, лишь бы колокольни увидеть».

Разглядывать перемещающийся в воздухе косяк само-

летов не было времени. Все свое внимание Алеша сосредоточил на пилотировании и на приборной доске. Он прибавил газ и нагонял девятку. Ощущая сильную усталость, он иногда взглядывал на идущие впереди самолеты, но их силуэты двоились в глазах, поблескивая на солнце стеклом кабин.

Не приближаясь к ведущему (чего доброго, этим ведущим окажется какой-нибудь командир полка, майор, а то и подполковник), Алеша взял положенный интервал, уменьшил скорость и полетел в хвосте.

Усталость сделала его движения вялыми и неточными. Опасаясь столкновения, он беспрерывно следил за высотой и скоростью. Девятка стала набирать высоту. Стрельцов последовал за ней. Когда самолеты снова выровнялись, на высотомере было около двух тысяч метров. Алеша, оторвавшись от доски приборов, глянул на хвост впереди идущего самолета, и его прошиб холодный пот. На сером жестком киле он отчетливо разглядел черную фашистскую свастику. В ту же секунду Алеша перевел взгляд чуть повыше и увидел, что у всех остальных самолетов из-под брюха торчат колеса.

Теперь даже для него, неопытного, необстрелянного, позорно оторвавшегося от своей группы в первом боевом полете, все стало ясно. Он пристроился к группе летевших без прикрытия одномоторных бомбардировщиков-штурмовиков Ю-87, тех, что именовались «лаптежниками» за свое неубирающееся шасси и «музыкантами» за то, что с воем со страшного переворота довольно точно бомбили наши мосты, переправы, железнодорожные узлы. Все это произошло в какие-то три-четыре минуты. «Почему же они меня не обстреляли? — удивился Алексей, и ответ на этот раз пришел быстро: — Ясное дело, надеются, что наши зенитки не откроют огня, если в хвосте идет советский самолет. За моими красными звездами хотят спрятаться! Небось зенитчики ждут, что этот самолет вот-вот атакует «лаптежников». А я? Ну погодите же!» — Алеша нехорошо выругался и вдруг понял, что в его положении потерявшего группу, опозорившегося в первом же полете новичка единственное средство восстановить репутацию — сбить хотя бы один из этих тихоходных самолетов.

Он отдал от себя ручку, и его «ишачок» выпрямился на одной высоте с последним, замыкающим всю девятку «юнкерсом». Горбатая кабина щерилась на него чер-

ным стволом пулемета. Стрельцов изо всех сил нажал на гашетку. Его машина встрепенулась от дробного грохота пушек, трасса сверкнула впереди и оборвалась. Алеша смотрел и ждал. «Почему же не берут проклятого фашиста мои снаряды?»

«Юнкерс» шел и шел. Алеша еще раз нажал на гашетку и удивился, что новая трасса рассекла чистое небо. «Где же самолет?» — встревожился он. Когда движением ручки управления Стрельцов слегка наклонил истребитель, он увидел сквозь козырек кабины, что атакованный им «юнкерс» кособоко повалился на крыло и сделал какой-то немыслимый виток.

— Уходишь, гад! — с озлоблением выкрикнул Алеша.

Но пилотская кабина на «юнкерсе» внезапно подернулась дымом, и самолет, не выходя из крена, стал рушиться вниз.

Алеша заметил, как ведущий «юнкерсов», а следом за ним два ведомых отвалили от группы и, сделав полукруг, заходят на него для атаки. «Ерунда! У вас максимальная скорость двести восемьдесят», — подумал Алеша. Он дал сильный газ и скользнул вперед и в сторону, изменив прежний маршрут.

Дымка расступилась, и чудесный осенний день засиял над землей. Справа на горизонте блеснули позолотой верхушки церквей. Алеша рванулся к ним напрямую, твердо зная, что едва он успеет подлететь к высокому холму, густо усеянному светлыми городскими домиками, как сразу же увидит ровный ряд самолетных стоянок, знакомую рощицу и красный столб с деревянным пропеллером над могилой майора Хатнянского.

Обессиленный событиями последних минут, духотой пилотской кабины и страшным напряжением, Алеша с остатками горючего подводил свою машину к земле.

Он совершил посадку всего на одиннадцать минут позже расчетного времени, а на стоянке уже ждала его — на всякий случай — санитарная машина, и рыжая, с тонкими косами медсестра Лида смотрела с опаской на кабину. Но когда увидела, что Алеша поднялся во весь рост и, отстегнув парашютные лямки, живой, невредимый спрыгнул на землю, она стала безучастно разворачивать конфету, добытую из кармана белого халатика. К Алеше подошел высокий механик Левчуков:

— Как матчасть, товарищ лейтенант?

— В порядке, — буркнул Стрельцов и испытующе по-

смотрел ему в глаза: издевается небось, летчики уже успели осмеять, дошла очередь и до механиков. Нет, Левчуков смотрел на него серьезно, с уважением.

— Значит, можно поздравить с боевым крещением.

— Подожди поздравлять, сперва будем стружку снимать! — раздался гортанный насмешливый голос.

Алеша не заметил, как подошел к нему горец своей мягкой, кошачьей походкой.

— Идем на КП, блудный сын. Комиссар зовет.

— А зачем? — испуганно вырвалось у Алеши.

— Как «зачем»? — весело воскликнул капитан, словно только и дожидался этого вопроса. — Ругать будет. Не лавровый же венок на тебя вешать!

Стрельцов молча и хмуро шагал на командный пункт. На пути подбежал к нему Воронов, крепко сжал руку:

— Молодчина, Алексей. Раз живой вернулся — все приложится. А меня вечером выпускают в первый боевой.

До самого штаба шагали молча. Не снимая с головы шлема, Стрельцов спустился в землянку и сразу ослеп после веселого дневного света, после солнца и голубого неба, что стучалось в фонарь его кабины на всем протяжении полета. В полумраке, неестественные от колеблющихся теней, двигались фигуры Петельникова, Боркуна, Красильникова. В землянке собрались почти все летчики эскадрильи. Румянцев, разговаривая с кем-то по телефону, поднял руку и строго погрозил шумевшим.

— Да, да, слышу! — громко говорил он. — Значит, сначала ничего не понял, а потом сориентировался? Вот и молодец. Спасибо за информацию, товарищ полковник.

Комиссар бросил трубку, шагнул к Стрельцову, положил ему на плечи небольшие крепкие руки. Пристально заглянув в лицо, отошел и только головой покачал:

— Ай да лейтенант! Влепить бы тебе по первое число! Да что поделаешь, победителей не судят.

— Каких таких победителей, товарищ комиссар! — взорвался Султан-хан. — Он мне весь строй нарушил. Взял курс двести шестьдесят и дунул на запад. Можно подумать, я ему приказал имперскую канцелярию Гитлера штурмовать, а не совхоз в Ново-Дугино. Конечно, хорошо, что он машину с немецкими летчиками накрыл эрэсом. Но кто давал право бросать строй?

Комиссар весело рассмеялся:

— Смягчите свой темперамент, капитан Султан-хан. Пока вы ходили на стоянку за нашим питомцем, тут другая подробность выяснилась. Лейтенант Стрельцов сбил в воздухе свой первый вражеский самолет. Ю-87. Ясно?

Султан-хан в полном недоумении шлепнул себя по коленкам.

— Ничего не понимаю.

— Стрельцов, расскажите, как все произошло, — приказал комиссар.

Летчики с любопытством окружили Алешу, и он понял: надо говорить быстро и коротко, не утаивая ничего. Волнуясь и горячась, он стал рассказывать о том, как потерял ориентировку, как восстановил ее, воспользовавшись советом Боркуна, и как пристроился к самолетам, которые показались ему новыми штурмовиками «Ильюшин-2», недавно поступившими на Западный фронт.

— А они оказались «лаптежниками», — тихо закончил Алеша, и в землянке грянул такой неудержимый хохот, что один из светильников мгновенно погас.

— А ну расскажи поподробнее, — просил Румянцев, прижимая ладони к щекам, — как распознал-то все-таки их?

Даже сдержанный, суховатый начштаба Петельников и тот поперхнулся от смеха.

— Ладно! Кончено, — крикнул вдруг комиссар, и в землянке установилась тишина. — Встать, товарищи командиры! — Комиссар вытянул руки по швам и, стараясь придать голосу наибольшую торжественность, произнес: — Сегодня группа И-16 под руководством капитана Султан-хана без потерь выполнила ответственное задание. В результате штурмовки на аэродроме Ново-Дугино повреждено и выведено из строя до пятнадцати вражеских самолетов, взорваны ящики с боеприпасами и уничтожена автомашина с летно-техническим составом противника. Кроме того, лейтенантом Стрельцовым на обратном маршруте сбит один «юнкерс». — Румянцев перевел дыхание и бросил короткий взгляд на капитана Петельникова.

— Товарищ начальник штаба, отдайте приказом благодарность всем четырем летчикам.

Алеша первым выкрикнул:
— Служу Советскому Союзу!

В летной столовой всего четыре столика. Когда Стрельцов и Воронов вошли в нее, свободными оставались только два стула за столом, где сидели Боркун и Султан-хан, о чем-то оживленно разговаривая. Лейтенанты в нерешительности остановились. Обоим показалось фамильярным садиться рядом с командирами своих эскадрилий, но Султан-хан, сверкнув темными глазами, махнул Стрельцову:

— Садись-ка, Алексей, божий человек. И ты садись. Какой ты воронепок, мы еще посмотрим, а щи хлебать садись.

Он положил на стол обе ладони: одну — загорелую, сильную, с синими прожилками, другую — запрятанную в черную лайковую перчатку. Алеша ни разу не видел, чтобы капитан снимал эту перчатку, но о причинах, заставлявших горца ее носить, спрашивать стеснялся. Султан-хан взял горбушку ржаного хлеба и с наслаждением впился в нее ослепительно белыми зубами. Подмигивая Боркуну, сказал:

— Смотри, Василий, каким он джигитом оказался, а?

— Зна-а-тным, — протянул Боркун лениво.

— Ведомым сделаю, — прищелкнул языком Султан-хан, — хорошим будет ведомым. Хочешь быть ведомым, Алексей?

— Вашим? — неуверенно переспросил Стрельцов. — Шутите?

— Какие могут быть шутки? Всерьез говорю. Разве не хочешь?

— Да с вами же летать одно удовольствие! — восторженно воскликнул Алеша, принимая из рук официантки тарелку щей.

Горец насупился:

— Вай, зачем комплименты? По голенищу меня бить не надо, Алеша, оно у меня мягкое, в ауле эти сапоги лучший сапожник дед Исса шил. Лучше скажи, около хвоста держаться сумеешь?

— Сумею, товарищ капитан, — сияя, ответил лейтенант.

— Как сегодня, к «юнкерсам» не сбежишь?

— Не сбегу.

— Ну смотри, а то на шашлык отправлю.
— Я костистый, подавитесь.
— Ничего. Султан-хан жирных не любит, — засмеялся командир эскадрильи.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

В эту не по-фронтовому тихую ночь капитану Султан-хану снился далекий Дагестан, горы в весеннем цветении, какими они бывают у Касумкента в первых числах апреля. Он видел своего дедушку Расула и самого себя босоногим четырнадцатилетним подростком с длинным щелкающим бичом в правой руке. Короткое кнутовище нагрелось от солнца и стало влажным под ладонью Султана, той самой ладонью, что теперь вечно скрыта от всех тонкой перчаткой. Вместе с дедушкой Расулом шел он за стадом неповоротливых симменталок, лениво похлопывая бичом. Дедушка пел длинную монотонную песню об орлах, свивающих гнезда на высоких кручах, недоступных человеку. Эхо добросовестно повторяло его заунывный речитатив.

Незнакомый гул внезапно прервал песню. Низко над горами, весь освещенный солнцем, пронесся в сторону Нальчика ширококрылый аэроплан, мелькнув на пастбище косой легкой тенью. Султан сорвал с головы мохнатую шапку и долго подбрасывал ее вверх, бурно радуясь самолету. Дедушка Расул с достоинством покачивал головой и тоже провожал слезящимися воспаленными глазами чудесную птицу.

— Дедушка Расул! — звонко выкрикнул пастушонок. — Вот это птица! Всех орлов побьет, о каких ты поешь.

— Молчи, неверный, — насупился дедушка Расул, — никто не дал тебе права судить песни твоих предков.

— А я их и не сужу, — смиренно ответил мальчик. — Только надо теперь и про новых орлов петь. Как бы я хотел полетать на таких крыльях!

— Что ты, что ты! — испуганно заговорил дед и молитвенно сложил на груди руки. — Где же это видано, чтобы джигит летал на машине, которую движет неизвестно какая сила. Ты хорошо учишься, мой мальчик, вырастешь — большим умным человеком будешь, судьей или учителем. Не забывай, что твой отец, раненный проклятыми белыми шакалами, умер у меня на руках и

твой дед Расул был тем человеком, который закрыл ему глаза. Я дал ему тогда слово, мой мальчик, сделать тебя человеком. Клянусь седыми шапками наших гор, это слово я не нарушу.

— Я знаю, дедушка Расул, — вздохнул Султан, — ты добрый и хороший. Только на больших крыльях я все равно полетаю, ты не сердись.

— А, шайтан, — заворчал старик и сдвинул седые космы бровей, — можно подумать — горы падают на землю, до того все меняется на нашей земле.

Они шагали за стадом, подгоняя быков и коров бичами, а солнце уже терлось огненным своим краем о синий снежный хребет. С глухим мычанием, отмахиваясь от слепней, спускалось в лощину колхозное стадо. Султан обегал его и справа и слева, в то время как дедушка Расул шагал величественно сзади и думал о своем внуке, об опасных мыслях, засевших в его голове, да и вообще о новом времени, которому, по твердому убеждению старика, явно недоставало мудрой неторопливости предков.

...Султан-хан неожиданно проснулся и увидел перед собой бревенчатые стены подмосковной избы, спокойное лицо спящего рядом лейтенанта Стрельцова. Слабое пламя в лампе внезапно подпрыгнуло, а стекла, накрест заклеенные полосками газетной бумаги, — по наивности хозяин избы верил, что так они не разлетятся вдребезги при взрывной волне, — жалобно дзинькнули. Гулкие хлопки выстрелов раздались почти над самой крышей. «Небось зенитки по разведчику бьют», — лениво подумал Султан-хан и сомкнул веки, жалея о прерванном сне. Сон кончился, но лицо дедушки Расула так и стояло перед ним. Зеленые, по-старчески воспаленные глаза смотрели, казалось, в самую душу Султану. «Прости меня, дедушка Расул, — ласково улыбнулся командир эскадрильи, — прости, что не получилось из меня ни судьи, ни учителя».

Война быстро проверяет человека. Иного она сгибает, делает слабым и безвольным, а иного закаляют суровые испытания, и в минуты, самые жестокие для жизни, во всей щедрости и во всей полноте раскрывает он то хорошее, что было в нем заложено. Именно к этой второй человеческой категории и относился командир эскадрильи девяносто пятого истребительного полка.

Сейчас ему, двадцатичетырехлетнему капитану, уже далекой казалась та осень, когда, приехав в большой юж-

ный город, он сдал экзамены в институт. На своем курсе он был единственным юношей, носившим черкеску с газырями и маленький кинжал на пояске с серебряными тренчиками. Через месяц-другой Султан сменил эту одежду на простенькие брюки и рубашку апаш — такие носило тогда большинство однокурсников. Но после окончания каждого семестра, когда он ходил на базар, чтобы сфотографироваться и отослать фотокарточку в аул деду Расулу, он обязательно одевался как истинный горец, понимая, что в ином наряде не будет там признан.

Однажды Султан увидел в институтском коридоре большой нарядный плакат. Девушка и юноша, оба в кожаных шлемах, простертыми руками указывали на самолет, набирающий высоту. За словами «Комсомолец, в аэроклуб» стояли два восклицательных знака. Султан вспомнил детство, косую тень самолета над горами. «Пойду», — с горячностью решил он.

В аэроклубе не было более старательного ученика. Немногословный, упрямый и настойчивый Султан оказался скоро лучшим курсантом, и когда из Батайского авиационного училища к ним приехал майор, чтобы отобрать наиболее крепких ребят, Султан-хану он дал самую восторженную оценку.

— Хорош парень, хорош летчик, — говорил он, похлопывая юношу по плечу, — красив, силен. Да ты не смущайся. Откуда у тебя только фамилия ханская?

— Не виноват, — развел руками Султан, — говорят, прадед в поисках радости и счастья уехал из родного Дагестана в Крым и батрачил там у настоящего хана. Богатства он на родину не привез, но приставку «хан» к фамилии получил. С тех пор и повелось. В нашем ауле только одни мы «ханы».

— Так ты бы и выбросил к черту эту приставку, — посоветовал майор.

— Нельзя, — веско возразил Султан, — род свой надо любить. Мой отец Советскую власть на Кавказе завоевывал. Не имею я права фамилию его менять.

— Ну, как знаешь, — добродушно согласился майор. — Может, ты в воздухе настоящим ханом когда-нибудь станешь.

Окончив училище, Султан попал в ту самую авиационную бригаду, где служили Боркун, Хатнянский, Петельников. Полк стоял на западных рубежах, около маленького белорусского городка. Звено истребителей Сул-

тан-хана по слетанности и воздушному бою получило на инспекторском смотре первое место в военном округе, и Султан-хан был досрочно представлен к званию капитана.

Дедушка Расул, встретивший его переход в авиацию с большим огорчением, теперь примирился с судьбой и только в письмах, которые под его диктовку писал новый подпасок, решительно требовал от внука: «Помни, мальчик мой, что крылья машины — это не ноги. Они могут когда-нибудь сложиться. Прошу тебя поэтому, летай как можно ниже».

Султан-хан читал письмо и смеялся:

— Вай, дедушка Расул. У нас полк безаварийный, а ты на мою голову целую катастрофу накликаешь.

Был еще один человек, регулярно писавший Султану, — его однокурсница Лена Позднышева, кончавшая институт. Пожалуй, раньше никто так не подтрунивал над Султан-ханом, как эта зеленоглазая, острая на язык Лена. Но странное дело — она подсмеивалась всегда незлобиво, ласково, так что горячий Султан-хан ни разу не вспыхнул и не вспылил. На любого насмешника он готов был броситься с кулаками, а с ней тотчас же соглашался и начинал поддакивать. Он даже не запротестовал, когда Лена категорическим тоном однажды сказала:

— Вот что, товарищ Султан-хан. От твоего имени феодализмом отдает. Не буду я тебя звать Султаном. Ты для меня отныне Сергей. Да, да.

Ничего не было между ними, кроме этой легкой, покровительственной со стороны Леночки дружбы. Позднее, когда он был уже на западной границе, переписка с Леной вспыхнула и стала совсем иной. От нее теперь приходили серьезные, немножко грустные письма. В них сквозила тревога. Лена писала, что после института ее пошлют в какой-нибудь далекий уголок нашей страны, и она очень не скоро увидит своего крестника Сергея. Султан-хан сообщил намеками о своем отношении к Лене деду и получил от него короткое, строгое письмо с призывом быть решительным и мудрым. Дедушка Расул писал, что будет уважать «белую невесту» внука и что вдвоем они обязательно заставят Султана летать пониже.

Семнадцатого июня сорок первого года Султан-хан выехал в отпуск. За день перед этим был получен при-

каз о присвоении ему звания капитана. В поезде он ехал уже со шпалой в голубых петлицах синего выходного френча. На него, стройного, молодого, осанистого, поглядывали молодые пассажирки. Но Султан-хан, как подлинный горец, был верен только одной привязанности. Покачиваясь на мягкой верхней полке — он впервые ехал в мягком вагоне, — Султан-хан думал о том, как, пробыв два-три дня у своего деда Расула, он поедет в большой южный город, отыщет там Лену и в авиагарнизон возвратится вместе с ней.

Одно лишь немного беспокоило Султан-хана — его правая рука. На ладони несколько дней назад появилось бурое пятнышко величиной с гривенник. В суете учебных будней он не придал этому значения. Думал: пройдет. Но пятнышко разрослось, края его стали зазубренными, потемнели. Временами ладонь становилась вялой и рыхлой.

Как-то он схватился ею за горячий алюминиевый чайник и не ощутил боли. В другой раз, зажигая спичку, нечаянно подставил под огонь указательный палец правой руки и тоже не почувствовал боли. Словно костяной, лежал палец на желтом огоньке. Товарищи спрашивали:

— Султан-хан, что у тебя с рукой?

— Так. Обжегся, — неохотно отвечал он.

— Надо в санчасть сходить.

— Да. Надо.

В дорогу капитан перевязал руку свежей марлей, перевязал туго, и ему даже показалось, что ладонь приобрела прежнюю упругость.

Дома в ауле в первый же вечер, когда поугасли бурные восторги дедушки Расула и других стариков, прибывших, чтобы собственными глазами поглядеть на первого в ауле летчика-истребителя, когда гости разошлись, Султан развязал марлю и протянул старику ладонь.

— Вот какая-то чертовщина, — сказал он небрежно.

Он ожидал, что дедушка Расул, хорошо знавший многие болезни своего края и врачевавший травами, сразу же порекомендует ему какой-нибудь настой или мазь. Но старик с очень серьезным видом взял его руку в свои высохшие ладони.

— Покажи, мальчик, покажи! Сюда на свет.

Он подвел внука к столу, где среди тарелок с остатками соусов и шашлыка горела настольная электрическая лампа, и приблизил его ладонь к абажуру. Зеленоватые, угасающие глаза старика неожиданно расширились.

Султан-хан ясно прочитал на лице у дедушки Расула испуг. Тяжело дыша, старик опустил его руку.

— Скажи, мальчик, это у тебя давно?

— С неделю назад появилось, дедушка Расул. А что? — уже с тревогой откликнулся Султан-хан.

— Подожди-ка, мальчик, дай еще раз твою руку.

Старик достал складной нож, зажег спичку, подержал острие на огне и потом этим острием уколол внука в ладонь. Султан-хан почти не поморщился.

— Как, тебе не больно? — вскричал дед.

— Да. Почти нет.

Дедушка Расул схватился руками за свою лохматую седую голову и забормотал какую-то молитву.

— О, мальчик. Меня не на шутку тревожит твоя рука. Давай позовем старого Керима. Он на всю округу славен, наш старый Керим. Нет ни одной болезни, которая его не боялась бы.

Керим лет пятьдесят проработал врачом в местной больнице. Багровое пятно на ладони Султан-хана привело и его в такой же испуг, как дедушку Расула. Керим неожиданно перешел на малознакомый капитану лезгинский язык и долго говорил с Расулом. Часто повторялись в разговоре слова «лепра» и «ганзен». Все-таки по отдельным восклицаниям Султан-хан понял: Керим допытывался у его деда, болел ли кто-либо такой болезнью у них в роду. И дедушка Расул отвечал утвердительно, грустно склоняя седую голову: да, у них в роду от этой болезни ушел в горы и умер его сын Сулейман, родной дядя Султан-хана. Словно приговоренный к смерти, побледневший сидел перед ними капитан. Тягостность этих минут становилась невыносимой, и, сердито сверкнув глазами, он разрушил ее:

— Ну, вот что, старики. Довольно колдовать. Прекратите эти тайные переговоры при мне!

— Хорошо, — тихо сказал Керим, — ты садись, Султан-хан. Садись и слушай. Ты летчик, и у тебя всегда есть два больших крыла. Им любой орел позавидует. Ты летчик и джигит. Значит, сердце у тебя крепче скалы должно быть. А раз так — слушай правду!

Керим нагнул голову, подбирая слова. Его розоватая лысина была прикрыта на макушке прядками совершенно седых волос. Опустив глаза, не глядя на летчика, он продолжал:

— Наши высокие горы — гостеприимный край. Мно-

го хороших гостей заходит сюда. Но заходит иногда и плохой гость. Такой гость — это редкая и страшная болезнь. Никто не знает, как и откуда она приходит к людям. Я видел одного профессора, спутавшего ее с проказой. Это не проказа, Султан-хан, хотя по внешним признакам на нее очень похожа. Но такая болезнь, пусть она и не заразна, очень и очень тяжела.

— Значит, я... — не договорил капитан. Но доктор резко поднял голову:

— Нет! Будь сильным, джигит, и слушай меня до конца. Старый Керим не сказал, что у тебя именно эта болезнь. Старый Керим даст отрубить себе палец на любой руке, лишь бы у тебя не было этой болезни. Но если у тебя появится еще одно такое пятно, ты должен немедленно идти к врачам, чтобы еще раз себя проверить. Пусть даже в это время земля перестанет вращаться вокруг солнца — ты все равно должен идти к врачам!

Султан-хан, овладев собой, быстро поднялся со стула.

— Ну, спасибо за правду, — глухо поблагодарил он.

А на следующий день аул облетела тревожная весть: война!

Простившись с дедушкой Расулом, капитан на попутной колхозной машине уехал в Грозный. Он торопился в полк, оказавшийся теперь на самом ответственном направлении. Железнодорожный комендант, озабоченный отправкой воинских эшелонов, рассеянно читал его отпускной билет.

— На какой поезд я вас посажу? И зачем вам поезд, товарищ капитан? Завтра утром в Минск летит транспортный самолет. Я позвоню, и вас возьмут...

Самолет улетал на рассвете, у капитана оставались впереди почти сутки... Он медленно побрел по городу.

Колоннами проходили солдаты, в касках, со скатками, с противогазами за плечами. Вперемежку с ними мели сухую пыльную мостовую подошвы молодых парней и пожилых мужчин, спешивших на призывные пункты. Трактор протащил длинноствольную зенитную пушку. Прогромыхали две тридцатьчетверки и скрылись за углом, оставляя в жарком июньском воздухе густой запах солярки. То в одном, то в другом конце города вспыхивали песни. И все это были хорошие советские песни, которые пелись в дни самых тяжелых испытаний. Где-то звучало «По долинам и по взгорьям», другие задумчиво

выводили: «Вдруг вдали у реки засверкали штыки», а третьи дружно утверждали: «Никто пути пройденного у нас не отберет...»

Над всем этим шумом и грохотом в голубом чистом небе возникла тугая волна самолетного гуда, от которой дрогнуло сердце Султан-хана. Тремя звеньями пролетели на юго-запад огромные серые четырехмоторные ТБ-7...

Утром он улетел на транспортном самолете в Минск. Потом, голосуя на дорогах, за день примчался в свой истребительный полк, находившийся теперь под Оршей. И, не отдыхая, ринулся в бой. В первом же полете он сбил два «Юнкерса-87».

Султан-хан дрался с холодной, расчетливой жестокостью. Рука в тонкой лайковой перчатке, сжимавшая черное утолщение ручки управления, никогда не делала неверных движений. Спокойно и сосредоточенно, словно не в бой шел, а на какую-то обыденную работу, сближался он с вражеским самолетом и посылал в него очередь в те самые мгновения, когда ни один маневр не мог уже помочь немецкому летчику выскользнуть из прицела.

Он спустил их на землю ровно тринадцать, чужих, поблескивающих мелкими заклепками вражеских самолетов. Были среди них и машина какого-то аса с бубновым тузом на фюзеляже, и мощный, хорошо оснащенный оружием «Дорнье-217», и «Юнкерс-88», в котором в сумке убитого стрелка-радиста нашли гитлеровскую «Майн кампф» на русском языке, и военно-транспортный самолет, трехмоторный Ю-52, с целым авиадесантом, десятью рослыми белокурыми парнями, вооруженными до зубов для ведения боя на земле.

Два ордена и несколько статей в московских газетах не вскружили голову Султан-хану. Среди товарищей он оставался все таким же неровным: то сердечным и ласковым, то насмешливым, вспыльчивым и даже немножко злым, но всегда искренним и откровенным.

Лена Позднышева прислала свою последнюю фотографию и письмо. Ее, выпускницу института железнодорожного транспорта, направили в Ростов. С карточки на Султан-хана смотрели уже не озорные, а печальные глаза. Острая боль ожгла сердце. Султан-хан левой рукой схватился за черную перчатку. Под ней горела багровым цветом первая примета его тяжелой болезни. Значит, все. Никогда не станет Лена Позднышева его женой, никогда ему не суждено познать радость разделен-

ной любви. Так и придется жить с этого дня надвое: одна жизнь для всех — жизнь, в которой он должен и может быть прежним Султан-ханом, и вторая жизнь — для одного себя, скрытая от всех на свете, а имя ей — обреченность.

...Капитан беспокойно заворочался на койке и опять посмотрел на своего соседа. Алеша Стрельцов дышал с присвистом. Нижняя губа его была во сне по-детски оттопыренной, на наволочке темнело пятнышко слюны.

Султан-хан прищурил черные глаза. Они у него были тоскливыми, совсем как у подранка. Он выпростал из-под одеяла руку, воровато оглянувшись, снял перчатку. Багровое пятно на ладони еще больше разрослось, да и сама ладонь была по-прежнему вялой, бесчувственной. Султан-хан в последние дни смутно надеялся на какой-то счастливый исход, на ошибку доктора Керима, но вчера обнаружил на своем плече второе круглое пятнышко и бессильно опустился на кровать.

Кто-то из спящих заворочался, и горец поспешно спрятал руку. Надел на нее под одеялом перчатку, чувствуя на бровях неприятные капельки пота. И опять подумал о своей судьбе.

Несколько дней назад вместе с Васькой Боркуном пили они самогон у веселой грудастой Дуси, колхозной звеньевой. Она угощала огурцами, помидорами, тонко нарезанным холодным мясом, и Султан-хан все время чувствовал на себе горячие, чуть влажные ее глаза. Дрожали от смеха завиточки волос на ее белой шее, и понимал он, что только для него смеется она в эти минуты, только ему дарит зовущие взгляды. После третьего стакана им овладело какое-то буйное, бесшабашное состояние. «А вдруг убьют! — подумал он. — Ну и к черту, шайтан меня забери. Убьют так убьют. Жалко, что и губ таких, как у Дуси, больше не увидишь!»

Когда вышел захмелевший Боркун, Султан-хан кинулся к ней, обхватил покатые мягкие плечи. И почти не противилась Дуся, только крикнула разок: «Ну, не балуй!» — нестрого, неуверенно, а потом сама ткнулась головой ему в грудь. Но Султан-хан, едва привлекший ее к себе, тотчас же разомкнул руки. Перед хмельным его взглядом, двоясь, пробежали нехитрые предметы, населявшие Дусину горницу: простенький комод с зеркалом, флакончиками духов, глиняной, облупившейся курочкой-копилкой, и среди них вдруг увидел он то, о чем не хоте-

лось вспоминать, то, что тщательно прятал ото всех, — багровое пятно с зазубренными краями.

— Ладно, Дуся, нэ будем, — ломая русскую речь больше, чем обычно, зашептал он и отстранился.

«...Как же быть? — спрашивал себя Султан-хан. — Можно, конечно, сказать врачам, и они отправят тебя куда-нибудь в далекий тыл. Будешь торчать там в каком-нибудь санатории неизвестно какое время, человек без оружия, раз и навсегда исключенный из круга тех, кто с честью дерется в небе. Подлинный дезертир.

Нет, не устраивает меня такой финал, — решил Султан-хан, — поживу-ка еще в полку, с ребятами, собью пятнадцатого «фрица», а там видно будет».

Рассвет выбелил стены избы, скользнул по металлическому чайнику с кипяченой водой, позабытому на столе, выхватил из полумрака угол, где на скамье в кучу были свалены шлемы, планшетки и пояса с пистолетами.

«Непорядок, — подумал Султан-хан, глядя на эту кучу и совсем уже отключаясь от мрачных размышлений. — А если тревога, бомбежка? Надо, чтобы каждый летун все свое держал под руками. Сегодня же объявлю на построении замечание».

Где-то в рощице разноголосо защелкал соловей и тотчас же конфузливо умолк — показался, видно, самому себе неловким и ненужным в этой прифронтовой полосе. Зарычали на стоянках «ишачки» и «яки». Рассвет вставал над землей, смелея с каждой минутой, пробуждал людей, звал их к борьбе и к жизни.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Алеша Стрельцов после завтрака опоздал на дежурную машину и от самой столовой до аэродрома шел пешком. Около командного пункта он заметил незнакомого человека. В летной фуражке и курточке с «молнией», без петлиц и знаков различия, опираясь на палку с потускневшим серебряным набалдашником, человек, прихрамывая, подходил к штабной землянке. Увидев Алешу, поманил его указательным пальцем.

— Эй, орелик, ты из девяносто пятого аль нет?

Алеша посмотрел на него придирчиво: называет номер полка, а сам неизвестно кто. Говорить или нет? Решил сдипломатничать.

— Допустим.

— Новенький, значит. Фамилия?

Второй вопрос прозвучал гораздо строже. На широком, в крупных оспинах лице пожилого человека появилась усмешка. Она погнала лучики морщин к странно желтым глазам, бесцеремонно и чуть насмешливо его разглядывавшим. Эти глаза под клочкастыми бровями совсем превратились в щелки. Улыбка обнажила два золотых зуба, подняла вверх черные усы, пробитые сединой.

— Простите, я не знаю, с кем говорю, — нерешительно произнес Алеша.

— Спрашиваю, — значит, имею на то право, — проворчал незнакомец, не повышая голоса. — Демидов я. Слыхал про такого?

Стрельцов весь подобрался, оробело посмотрел по сторонам в надежде, что кто-нибудь выйдет из землянки и отвлечет внимание командира. Но у порога они были по-прежнему одни.

— Товарищ командир полка, — сбивчиво начал Алеша, — извините, если мой вопрос показался вам бестактным. Все-таки война, фронт, бдительность...

Рябинки задрожали от смеха на лице седоватого человека.

— Что? — громко захохотал он. — Ты, может, меня за гитлеровского парашютиста принял? Эх, молодо-зелено. Летун командира нюхом должен чуять, понял?

— Виноват, товарищ командир.

— Виновники все-таки тоже имеют фамилии.

— Лейтенант Стрельцов, товарищ подполковник.

— Ты! — Демидов отступил и одним цепким взглядом охватил Алешу с головы до ног. Удивительно привязчивыми были его большие, чуть навыкате глаза с ярко-желтыми зрачками. Смотрели на человека всегда прямо, словно вывернуть наизнанку хотели собеседника. От полковых «старичков» Алеша знал, что летчик, плохо выполнивший задание, подходил к Демидову с низко опущенной головой — до того боялся этих глаз, способных быть и добрыми и яростными.

Алеша недоумевал, чему приписать удивление Демидова.

— Так точно. Лейтенант Стрельцов, — повторил он неуверенно.

Демидов громко расхохотался.

— Слыхал про тебя, орелик. С костыликом по госпи-

тальной палате топал, а про тебя уже слыхал. Про то, как ты к «юнкерсам» пристроился и уложил одного. Хвалю за находчивость. Таких ореликов мне и надо. В полку без меня тебя не обижали?

— Нет, товарищ подполковник.

— Значит, прижился. А летаешь с кем?

— С капитаном Султан-ханом.

— Что ж, он мужик серьезный и поучить может. Ну ладно, веди на КП.

Алеша открыл дощатую дверь, пропустил подполковника вперед и нырнул следом за ним в привычный полумрак.

Подполковник спускался по лесенке медленно, с хозяйской уверенностью постукивая палкой по ступенькам, словно пересчитывая их.

Едва он шагнул в полосу света, как Румянцев и Петельников, колдовавшие над картой, бросились навстречу. Старший политрук крепко его обнял, но потом, видимо вспомнив, что в землянке слишком много свидетелей такого неуставного проявления чувств, покосившись на летчиков, доложил:

— Товарищ подполковник! Личный состав девяносто пятого истребительного полка на протяжении последних десяти дней вел работу по разведке боевых порядков противника и штурмовке его аэродромной сети.

Демидов тяжело опустился на скамью, снял с головы фуражку. Редкие черные волосы с нитями седины упали на лоб. Он отбросил их назад коротким быстрым движением, полез в карман. В огрубелой, со следами ожогов руке блеснул портсигар. Демидов неторопливо размял крупными пальцами папиросу, отрывисто осведомился:

— Потери?

Румянцев назвал погибших и раненых летчиков и количество самолетов, не возвратившихся на аэродром. Демидов покашлял, и ноздри его хрящеватого носа вздрогнули:

— Сашу Хатнянского не уберегли. Как же вы это, а?

Румянцев понурил голову:

— Он предотвратил прорыв линии фронта.

— Знаю, Борис, — вздохнув, сказал Демидов и поднялся. Прихрамывая, сделал несколько шагов по землянке. Зоркими глазами пробежал по лицам летчиков: — Видали, хлопцы, как меня почипили? Дня через три поведу вас.

— Отдохнули бы, товарищ командир, — послышался неуверенный голос лейтенанта Барыбина.

Алеша пожал плечами: «Вот те на, советы командиру полка дает». Но Демидов добродушно рассмеялся:

— Ишь какой прыткий, а госпиталь на что? На войне госпиталь — тот же дом отдыха, понял? Теорема, уже доказанная.

Демидов обошел летчиков, с каждым поздоровался за руку, каждому что-то сказал. Алеша видел, как посветлели у людей лица, а смуглый Султан-хан даже языком поцокал, когда Демидов сжал его руку в черной лайковой перчатке:

— Вай, нэ жмите так сильно.

— А что, еще побаливает ожог? — участливо осведомился Демидов.

— Нэмного.

Демидов снова проковылял к столу, потушил недокуренную папиросу в консервной банке, заменявшей пепельницу, и посмотрел на Петельникова:

— Что у вас сегодня по плану?

— Через час выпускаю восьмерку на Смоленский железнодорожный узел. Туда идет большая группа «петляковых», надо прикрыть.

— Добро, — отозвался Демидов. — Разводите людей по самолетам. А вам, друзья, счастливого возвращения.

Летчики в один голос ответили «спасибо» и затопали наверх по лестнице. Последним прошагал замешкавшийся Коля Воронов. Алеша сжал ему второпях руку, успел жарко шепнуть в самое ухо: «Ни пуха тебе ни пера, дружище» — и получить в ответ традиционное: «Пошел к черту».

Вскоре по сигналу зеленой ракеты группа «яков» Василия Боркуна поднялась и взяла курс к линии фронта. Алеша стоял у землянки, взглядом провожал взлетавшие самолеты.

Внезапно хлопнула дверь, с командного пункта выбежал капитан Петельников и стремглав бросился к стоянке Султан-хана. Комэск первой вместе с четырьмя летчиками своей эскадрильи находился в готовности номер один. Алеша увидел, как Петельников вскочил на крыло машины Султан-хана и что-то сказал ему. Минуты две спустя приземистые косолапые «ишачки» уже вздрагивали от рева запущенных моторов. Без ракеты и какой-либо дополнительной команды выруливали они на старт и,

круто оторвавшись от земли, скрывались за белыми зданиями города. Тяжело дыша, возвращался капитан Петельников к штабной землянке. Проходя мимо Алеши, остановился и, что-то взвешивая в уме, пристально посмотрел на него:

— Так-так-так... — пробормотал он. — Купцов и Жилкин в госпитале... Лейтенант Стрельцов, в кабину.

— Есть! — вытянулся Алеша и бегом бросился к своей машине. Все исправные самолеты были в воздухе. На стоянке сиротливо стоял его «ишачок» да машина звена управления; после гибели майора Хатпянского звено управления фактически перестало существовать. В строю оставалась одна исправная машина.

Алеша быстро вскочил в нее, защелкнул парашютные лямки и посмотрел вперед сквозь козырек кабины. Осень тронула аэродромную рощицу, и даже на листьях древнего дуба пожелтели прожилки. Непривычная пустота аэродрома поселила в душе тревогу. Алеша напряженно вслушался в тишину. Ветер дул с запада, но ни единого выстрела не доносил. Голубое сияющее небо было чистым.

Механик Левчуков, зевая, приблизился к самолету, встал на плоскость и, держась за борт кабины загорелыми руками, бойко сказал:

— Прибор скорости мы сегодня подрегулировали. А все остальное и так было в идеале. — Помедлил и спросил: — А что случилось, товарищ лейтенант? Вы не знаете, почему весь полк подняли в воздух?

Алеша сосредоточенно посмотрел на приборную доску:

— Не знаю, сержант, мне не докладывали.

☆☆☆☆

В штабной землянке кроме комиссара Румянцева, Демидова, Петельникова и оперативного дежурного Ипатьева оставался еще один человек, писарь Володя Рогов, хрупкий юноша с серьезным взглядом больших черных глаз, напоминающих глаза испуганного ребенка. Демидов подошел к нему и запросто, по-отечески, взъерошил волосы.

— Ну, как жизнь, вороненок? Пока я лежал в госпитале, вижу, ты шевелюру успел отпустить. Думаешь, на войне красноармейцу стричься под ноль не обязательно? А как штабное делопроизводство?

— Он молодчина, — ответил за писаря капитан Петельников, — оперативные сводки и разведданные в идеальном порядке содержит.

— Похвально, — одобрил Демидов и положил юноше руку на плечо. — Вот что, вороненок, пойди-ка погрейся на солнышке, нам посоветоваться надо.

Рогов аккуратно сложил папки с бумагами и покинул землянку. Петельников и Румянцев настороженно ждали. Демидов взглянул на разостланную во всю ширину стола карту с синими и красными стрелами и жестко сказал:

— Дело дрянь, товарищи командиры. Гитлер готовит новое наступление на Москву, и по силе оно будет вряд ли слабее, чем его рывок двадцать второго июня.

— А у нас пока все тихо, — сказал Румянцев. — Тягостная тишина, нехорошая, так и заползает в душу. Помните, как в Орше перед нашим отходом? Вот и сейчас... Вы в верхах были, товарищ командир?

— Смотря кого подразумевать под верхами, — невесело усмехнулся Демидов. — Был у командующего фронтом. Он и познакомил меня с назревающей обстановкой. На всех участках Западного фронта сплошные перегруппировки, накапливание сил. Командующий показал мне пачку фотоснимков. Аэродромы противника забиты авиацией, железнодорожные узлы — эшелонами. В прифронтовой полосе на дорогах у немцев как в пустыне: никакого движения, зато в тылу идет энергичная переброска резервов.

— Когда они начнут? — повернул лицо к Демидову Петельников.

Он произнес эти слова спокойно и тихо, как говорил всегда.

Бывают люди, о которых очень мало знают даже их близкие сослуживцы. Ходят они тихие, малоприметные, с головой ушедшие в свои дела. Но стоит такому человеку куда-либо отлучиться, и в жизни целого полка это сразу становится ощутимым, будто брешь образуется. Вот и седой, уставший от жизни Петельников был таким.

Что о нем знали однополчане?

Что был он раньше неплохим летчиком-истребителем, но по состоянию здоровья ушел с летной работы, да еще что выехавшая на лето в Пружаны его жена с тремя ребятишками оказалась в фашистском тылу. Вот и все, пожалуй.

— Когда начнут? — переспросил Демидов и устало

ответил: — Не знаю, дорогой. И не понимаю, за что мы только кормим нашу фронтовую разведку, если она тоже этого не знает. Ясно одно: наступление начнется вот-вот. Днями к нам на аэродром пригонят две новые эскадрильи. Двадцать новых летчиков вольются в полк. Сомневаюсь, останется ли время, чтобы с ними познакомиться как следует. Я на вас очень надеюсь, товарищи. Петельникова захлестывает штабная текучка. А ты, Борис, все свои силы отдай людям. В бой я тебя посылать не буду.

— Это почему же? — встрепенулся Румянцев.

— Ты мне на земле нужен, комиссар, — тихо проговорил Демидов. — Пойми, от Вязьмы дорога у немца одна — на Москву. Закрыть мы ее должны. И ты, Борис, так должен подготовить каждого летчика, такую в него ярость вселить, чтобы он за десятерых дрался.

— Это я сделаю, — глухо, как клятву, произнес Румянцев, и красивое лицо его побелело, — только летать я тоже буду, товарищ командир. Не летать мне нельзя. Что же я за комиссар полка, если буду всем говорить: «Деритесь, братцы, как львы», а сам, как мышь, забьюсь в землянку.

— Будешь, Борис, будешь, — отступил Демидов. Он поднялся, опираясь на тяжелый набалдашник трости. — А теперь давайте, товарищи, к карте. Покажу вам два аэродрома. На один из них мы перебазируемся в том случае, если...

— Если сломим противника и перейдем в наступление, — горячо перебил Румянцев.

— Если придется отступить и занять новый оборонительный рубеж, — поправил Демидов.

Румянцев вскочил с табуретки и кулаком ударил по пестрой карте района боевых действий. Его губы побледнели от гнева. В том месте, где опустился кулак, карта тотчас же покоробилась.

— Опять! — закричал он. — Противник еще не сделал ни одного выстрела, а мы... мы уже думаем об отступлении. На эту вот карту судьба всей нашей Родины поставлена! И с нас за эту судьбу жестоко спросят. Не только современники, но и потомки. Нельзя нам отступать дальше. Нельзя!

Демидов поднял на него тоскливые глаза, достал папиросу, но не зажег ее — сунул под два золотых зуба и чуть не перекусил.

— Все, что ли? Выговорился? Вот что я тебе скажу, товарищ комиссар. Не вздумай так агитировать наших хлопцев. Истерика плохой помощник, тем более когда речь идет об обороне Москвы. Ты не хочешь отступать, да? А что ты прикажешь делать, если на их стороне реальное превосходство? И в силах, и в технике, да и в опыте, который мы только стали приобретать, а они за два года войны в Европе достаточно поднакопили. Не отступать? Остаться на аэродроме и сдать гитлеровцам все свои самолеты, а заодно сдаться в плен и самим? Поступить так, как они нам рекомендуют в своих листовках? — У Демидова потемнели глаза. Он снова встал и заходил по землянке. — Я, конечно, перегнул. Я знаю, ты предложил бы иное. Ты предложил бы не отступать, а драться до последнего самолета, до последней отстреляннной гильзы. Так?

— Хотя бы и так, — обессиленно ответил Румянцев и ладонью провел по мягким волосам.

— А ты забыл, Борис, что есть еще Главное командование, партия, Советская власть? Что любой их приказ, в том числе и об отступлении, для тебя закон? Неужели об этом нужно напоминать? Если они тебе указали новый рубеж, ты этот рубеж должен занять. Сказали: стой насмерть — погибнуть, но не отступить.

Демидов зажег спичку. Робкий огонек осветил его хрящеватый нос, болью сведенные лохматые брови.

— Разве, комиссар, я о войне и о наших неудачах думаю меньше твоего? — продолжал он медленно. — Или все, что вижу, приемлю за правильное?.. Вот знал я одного командира. Такой неброский с виду был старичок. Щуплый, худенький. Аккуратист высшей статьи. А кроме этого аккуратизма да сухости к подчиненным, никаких талантов я за ним не примечал. Но подчиненные говорили: «Наш командир человек настойчивый — он далеко пойдет». И что же ты думаешь? Пошел! Так и зашагал по военной лестнице. На четвертый день войны одно из его подразделений выбило фашистов из какой-то деревушки. Не то чтобы выбило, а попросту в тактическом отношении она для гитлеровцев была невыгодной, вот они, желая избежать потерь, и потеснились. А командир отдал приказ идти вперед. Впереди — большой узел сопротивления. Немцы одну его группу растрепали. Он вторую посылает, третью. Почти полностью их уложил, но опорный пункт дня два продержал, а потом еле-еле свои

телеса из окружения вынес. Так кто-то расписал этот бой в донесениях и в центральной печати, назвал командира этого чуть ли не полководцем, ну и понеслось. Ему и орден, и очередное звание... Его бы за напрасно погубленные жизни в трибунал надо, а он повышение получил. Вот оно как бывает. Но отменять боевую задачу даже в таких диких случаях никто не давал права. А перед нами ситуация другая, продуманная. И прямо тебе скажу: в штабе фронта уже все взвешено. Понял, Борис?

— Понял, Сергей Мартынович, — мрачно согласился старший политрук, — все понял. Да только на душе легче не стало. С тяжелыми думами буду людям нашим об этом говорить.

Его перебил телефонный звонок. Петельников взял трубку.

— Да, да! — весь настораживаясь, крикнул он. — В каком направлении? Курс восемьдесят шесть? Это же к нашему аэродрому, к городу. Есть. — Он бросил трубку в руки оперативного дежурного Ипатьева.

— Товарищ командир. К аэродрому идет разведчик Ю-88. Приказано поднять пару на перехват. А у нас в готовности только один летчик — лейтенант Стрельцов.

— Я с ним полечу — на перехват разведчика, — сказал Румянцев и потянулся за шлемом.

Истребители со звоном набирали высоту. Алеша Стрельцов шел сзади, чуть приотстав от своего ведущего. Он никогда бы не подумал, что в своем втором боевом вылете поднимется в паре с самим комиссаром полка. Он еще не знал, что такова фронтовая действительность: порой за один полет человек способен завоевать доверие однополчан. Иногда за целое десятилетие обычной, размеренной, мирной жизни не раскроется человек так, как раскрывается он за день на войне.

Алеша пилотировал с особенной старательностью, желая порадовать комиссара. Земля была далеко внизу. Дымка висела над ней, и земля расплывалась темными пятнами лесов, зелеными пролысинами сенокосов, изгибами речушек. В воздухе, согретые полуденным жарким солнцем, желтели золоченые купола древних церквей Вязьмы.

— Внимание, он впереди под нами, — услышал в наушниках Алеша голос комиссара и не сразу понял, что речь идет о «юнкерсе».

Алеша крутил головой то вправо, то влево, стремясь

обнаружить силуэт фашистского разведчика, но все было тщетно — он не видел самолета. Сердце гулко колотилось под комбинезоном. «Опять зевну, — думал он с испугом, — опять сделаю что-нибудь не так».

Его «ишачок», поставленный в вираж, лег на крыло. В зияющей пропасти между кромкой крыла и капотом своей машины Алеша заметил серебристый сигарообразный силуэт двухмоторного бомбардировщика. «Этот», — подумал он и выкрикнул от радости что-то неразборчивое.

Сейчас Алешу совершенно не волновали ни предстоящее снижение, ни атака, ни опасность быть пораженным очередями стрелка-радиста с фашистской машины. Он боялся только одного: как бы не упустить цель.

В ушах прозвучал ободряющий голос комиссара:

— Прикройте хвост.

Румянцев и в воздухе говорил спокойно, даже обращался на «вы». Алеша увидел, что идущая впереди машина внезапно сделала горку и с высоты ринулась вниз. И он, как послушный ученик, повторил за комиссаром все его движения — вслед за ним спикировал на уходящий самолет. Он ожидал, что Румянцев откроет огонь прямо на пикировании, и был удивлен тем, что машина комиссара молча сближается с молочно-белым туловищем Ю-88. Из-под хвоста разведчика сверкнула трасса, но комиссар нырнул под нее, а потом, приподняв капот своего истребителя, стал догонять фашистскую машину. Он шел теперь в том самом «мертвом конусе», который Алеше столько раз рисовал на земле Султан-хан. «Нет, я так не могу», — с горечью подумал Алеша и почти тотчас же услышал в наушниках команду Румянцева:

— Ко мне не подстраивайтесь. Выше ходите.

Он понял и стал ходить на удалении, зорко осматривая небо: как бы откуда-нибудь не вынырнули «мессеры» и не пришли на помощь разведчику. А истребитель Румянцева все ближе и ближе подходил к хвосту «юнкерса». Трассы стрелка-радиста теперь проносились далеко в стороне от истребителя. Видимо, фашистский экипаж нервничал. Алеша увидел сверху, как нос машины Румянцева вдруг озарился яркими красными огоньками. Правый мотор на «юнкерсе» сразу же задымил. Но очаг пожара был, по-видимому, еще не сильным. Летчик в надежде сбить пламя послал штурвал вперед, и «юнкерс» с воем устремился к земле. Он пикировал под большим

углом прямо на лесок, начинавшийся в двух-трех километрах от города. Румянцев, не отрываясь от его хвоста, тоже бросил свою машину вниз. Теперь Алеша видел, как она сближалась с этим черным хвостом. Новая длинная трасса вырвалась из стволов крыльевых пулеметов и полоснула по тому же правому мотору. Румянцев вывел истребитель из пикирования прямо над лесом и помчался к аэродрому, коротко приказав ведомому:

— На посадку.

С высоты Алеша наблюдал то, чего не мог увидеть Румянцев. Густое пламя набросилось на широкое крыло немецкого разведчика, коверкая дюраль, побежало к пилотской кабине. Но, очевидно, опытным и смелым был командир фашистского экипажа, если сумел выровнять даже смертельно раненную, объятую огнем машину. От самолета отделились три черных комочка, над ними возникли белые купола. Ветер упрямо нес их в сторону летного поля. Алеша спохватился и повел свою машину за самолетом Румянцева.

Летное поле было покрыто густым слоем пыли. С боевого задания возвратились сразу две группы истребителей. Самолеты в затылок друг другу заходили на посадку. Комиссар дожидался над аэродромом, пока сядет последний из них.

Наконец в поредевшее облако пыли нырнула и машина Румянцева. Алеша собирался последовать за ним, но в это время, срезая ему на посадке круг, впереди стал снижаться еще один И-16. По хвостовому номеру Алеша определил, что это машина капитана Султан-хана. По каким-то причинам тот подошел к аэродрому позднее других и теперь спешил снизиться. Алеша взял превышение, чтобы не осложнить посадку своему командиру, и вдруг услышал в наушниках громкий повелительный голос:

— Стрельцов, Стрельцов, я Демидов, у Султан-хана в хвосте «мессер». Атакуй!

Алеша глянул вниз. На малой высоте, над самым гребнем приаэродромной рощицы, мчался тонкий немецкий истребитель с черными полосками на фюзеляже. Зловеще скользнула его тень по земле. Истребитель горкой взмыл вверх и зашел строго в хвост самолету Султан-хана в те секунды, когда горец готовился выпустить шасси. Не было сейчас силы, способной вывести самолет

комэска из железного кольца прицела, в который взял его гитлеровец. Только Алеша, имевший метров четыреста высоты, мог помешать, бросившись оттуда в лобовую. Еще в училище он слышал рассказы генерала Комарова о страшных лобовых атаках, применявшихся нашими летчиками в Испании. Не раздумывая ни секунды, ринулся он вниз и выровнял свой маневренный «ишачок» на одной высоте с «мессером». Навстречу, едва не зацепившись за фюзеляж И-16 кабиной, проскочил истребитель Султан-хана, теряющий высоту перед посадкой. «Мессершмитт», гнавшийся за ним, оказался теперь против Алеши. Острый нос немецкого истребителя с черным диском пропеллера стремительно надвигался. Алеша нажал на гашетку и, холодея, понял, что пушку заклинило — дробный привычный грохот не потряс самолет.

— Вырывай машину! — донесся с земли голос Демидова.

Все равно Алеша уже не смог бы этого сделать: слишком маленьким было оставшееся расстояние, слишком огромными скорости в этой лобовой атаке. «Погиб!» — пронеслась в голове отчаянная мысль. Но она не испугала, а только обозлила Алешу. Он крепче сжал ручку управления и не попытался отвести ее вправо или влево. Черная тень «мессершмитта» на мгновение заполнила ему глаза, закрыла небо и солнце.

И вдруг впереди, за козырьком кабины, снова все просветлело. Внизу Алеша увидел уплывающие под крыло домики деревни, изгиб рощицы. Услышал и звон крови в висках, и веселый, бесперебойный рев мотора. В наушниках потрескивал эфир. Значит, и радиосвязь была в порядке. Надо было возвращаться на аэродром. На какое-то мгновение нос истребителя оказался повернутым вниз. Далеко впереди — это ясно увидел Алеша, — у самой границы аэродрома, пылал огромный костер. Иссиня-черный дым вертикальным столбом поднимался в небо. От примеси бензиновых паров был этот столб настолько густым и тяжелым, что даже ветер не мог его растрепать. У Алеши от волнения пересохло в горле. «Сбили. Кого сбили? Неужели «мессер» успел выйти из лобовой и уже на земле, на пробеге после посадки, зажег самолет капитана?!»

В наушниках что-то затрещало, и ясный, спокойный голос Демидова, говорившего чуть врастяжку, ворвался в сознание:

— Стрельцов, на по-са-дочку, на по-са-дочку. Порядок!

У Алеши сразу отлегло от сердца: значит, все не так страшно, как он думал, иначе голос подполковника не был бы таким ровным.

Пыль, поднятая садившимися самолетами, давно улеглась над аэродромом. Он опускался один. Его «ишачок», подпрыгивая, добежал до стоянки. От волнения и сильной усталости руки Алеши дрожали, когда он освобождался от лямок. Наконец зеленый брезентовый мешок парашюта остался лежать на железном сиденье. Алеша перелез через борт кабины на крыло, тяжело спрыгнул на землю и почувствовал, как затекли ноги. Подняв голову, он чуть не вскрикнул от радостного изумления. Прямо на него целый и невредимый бежал Султан-хан, а за ним Коля Воронов и старший лейтенант Красильников. Сверкая черными глазами, капитан бросился на Алешу и сгреб его в охапку. Алеша ткнулся мокрым от пота лицом в его синий новенький комбинезон, приятно пахнущий свежим сукном. Рука Султан-хана в черной лайковой перчатке ласково гладила Алешу по спине, а гортанный голос не уставая выкрикивал:

— Ай джигит, ай кунак! Жизнь своему комэску спас. Будешь с этой минуты моим ведомым до самой смерти, если только она есть на земле. Хорошим будешь ведомым. Ну, кунак, бери! — Он выхватил из кармана тонкий, легкий, серебром отделанный кавказский поясок, на котором болтался маленький кинжальчик в серебряной оправе. — Выбирай любое, джигит. Или кинжал, или ножны. Любое, потому что это все равно. Ты — кинжал, я — ножны. Я — кинжал, ты — ножны! Во! Не возьмешь, на всю жизнь обижусь.

Алеша подумал и взял серебряные ножны. Он хорошо знал, что этот пояс и кинжал семейная реликвия Султан-хана, перешедшая к нему еще от прадеда. Коля Воронов обнял его сразу после того, как отошел Султан-хан, а Красильников с доброй сдержанной улыбкой похлопал по плечу.

Вчетвером пришли они на командный пункт. Демидов, Румянцев и Петельников стояли у входа в землянку. Алеша выпрямился, приложил ладонь к виску, хотел рапортовать, но Демидов не дал. Прихрамывая, подошел к нему и, весело улыбаясь, гаркнул:

— Ай да орелик! Видали такого! Смел и живуч. По-

тому и живуч, что смел. К ордену его, Петельников, к первому ордену, чертенка. А от меня благодарность. Ясно?

От Коли Воронова Алеша узнал во всех подробностях о том, что произошло за те минуты, пока он находился в полете. Обе группы истребителей, летавшие на задание, успешно прикрыли три девятки «петляковых», бомбивших железнодорожный узел в Смоленске и на обратном пути завернувших на аэродром Ново-Дугино. Над аэродромом завязался воздушный бой. Против группы Боркуна поднялось около двадцати «мессершмиттов». Боркун разбил свою группу на две. Пятерка «яков» ушла наверх и там сковывала боем основные силы «мессеров», а четверка защищала хвосты наших бомбардировщиков.

Бой был жестоким и долгим, и трудно сказать, как бы он кончился, если бы со стороны солнца с головокружительной высоты не бросилась внезапно в драку четверка Султан-хана. С первой же атаки комэск подбил «мессершмитт», а Красильников дал длинную очередь по кабине второго и, видимо, убил летчика, потому что этот «мессер» без дыма и пламени вошел в штопор и, делая виток за витком, врезался в землю. Сбил «мессершмитт» и Василий Боркун. Но в ту минуту, когда он выходил из атаки и потерял скорость, к нему в хвост пристроился фашистский самолет. Черной тенью подкрадывался он к самолету Василия. Коля Воронов сверху спикировал на немца.

— Сбил? — прервал его Алеша.

Воронов пальцами засунул под пилотку рыжий вихор.

— Одной очередью! Во как! — похвастался он.

— Ну а дальше?

— Дальше над аэродромом была целая карусель. Старший политрук загнал в землю «юнкерс», потом сел, а за ним к аэродрому подошел твой Султан-хан. У него мотор плохо тянул, скорость была неважнецкая, вот он и отстал. Хотел стать на круг, а его какой-то дикий «мессер» атаковал.

— Откуда же он взялся, проклятый?

— Знаешь, Алеха, — серьезно объяснил Воронов, — мы с тобой во многом еще профаны. Оказывается, фрицы не только большими группами воюют. Есть у них и такие асы, что действуют в одиночку или парами. Подойдут к

аэродрому, бац нашего на посадке или взлете по газам — и за линию фронта. Такой и на капитана бросился. Спасибо, ты своего лихого комэска спас.

Алеша смущенно покраснел и, не глядя на товарища, признался:

— А знаешь, Николка, я и сам не понимаю, как я его.

— Чудила! — фыркнул Воронов. — Откуда ж тебе понять? Тут и все мы рты пораскрывали, когда ты на него в лобовую пошел.

— Так что было делать? Это не от смелости. Просто я его иначе не смог бы атаковать.

— Я-то понимаю! А с земли лобовая страшно выглядит. Ух как страшно! Как в кино каком. Когда между вами метров с сотню осталось, немец не выдержал, решил тебе под брюхо скользнуть. И до земли. Так и сгорел за аэродромом. Сейчас десять автоматчиков на грузовой туда поехали.

— За кем?

— За экипажем с «юнкерса» и к «мессеру». Но туда, я думаю, бесполезно. Сгорел «мессер». А вот с «юнкерса» фрицев привезут. Операцию дядя Костя возглавляет. Знаешь его?

— Видел как-то, — сказал Алеша.

Он вспомнил пармовского старшину, обращавшегося однажды за помощью к Султан-хану. Дядя Костя просил тогда мотористов откатить в мастерские два поврежденных самолета. Фамилия его была Лаврухин, но все звали его либо «товарищ старшина», либо попросту дядя Костя, потому что ему было уже под пятьдесят. У него были удивительные ладони: огромные, с синими вздутыми венами и рубцами от мозолей — дядя Костя гнул на спор подковы. Низенький, кособокий, с тяжелыми, словно клешни, висящими вдоль туловища руками и грубо высеченным лицом, он мог показаться нелюдимым. Но на самом деле это было не так.

— Дядя Костя — это орелик, — ухмыльнулся Воронов. — Говорят, будто сам Демидов ему больше, чем какому адъютанту, доверяет. Гляди, вон уже и полуторка показалась.

За балочкой, что подходила почти вплотную к аэродрому, висело облако серой осенней пыли. Ветер медленно сносил его к серому бугру с красным деревянным столбом над могилой майора Хатнянского. Это серое, по-

хожее на конус облако волокла за собой старенькая полуторка аэродромного батальона. Вот она скрылась в балочке, вынырнула из нее и помчалась по летному полю, весело рокоча мотором. Можно было уже различить головы людей, сидевших на приделанных к бортам скамейках. Солдаты батальона аэродромного обслуживания держали короткоствольные автоматы, а в центре кузова стояли со связанными руками трое худощавых парней: двое в серых комбинезонах с многочисленными блестящими застежками.

Шофер лихо подкатил машину к самой землянке КП и затормозил. Скрипнула дверца кабины. Дядя Костя быстрым движением поправил ремень, уверенно шагнул к Демидову:

— Товарищ подполковник, старшина сверхсрочной службы Лаврухин провел операцию по захвату экипажа фашистского самолета, сбитого нашим комиссаром. Пленные в машине.

— Молодец, старшина, — скупо улыбнулся Демидов, — а ну, давай этих рихтгофеновских коршунов сюда.

Лаврухин подал знак, автоматчики молча откинули заднюю стенку кузова и жестами приказали пленным сойти. Один за другим немцы повыпрыгивали из машины.

Затаив дыхание, Алеша вглядывался в их лица. Враги! Он впервые видел их так близко живыми. Вот они стоят в трех шагах от него, эти люди, пришедшие на подмосковную землю издалека, посланные сюда Гитлером. Он переводил взгляд с одного немецкого летчика на другого. Старший, очевидно, командир экипажа. На грязно-зеленом френче его выше левого кармана холодно поблескивает черной эмалью Железный крест. У немца худое продолговатое лицо с довольно правильными чертами. На щеке огромный кровоподтек. Из бледного стиснутого рта сочится кровь.

Рядом с ним, в комбинезоне и шлемофоне, щуплый веснушчатый подросток беспокойно озирается синими испуганными глазами, часто подрагивает покрасневшими веками. Голенища его кожаных унтов разодраны. Вероятно, зацепился за ветку, когда приземлялся с парашютом. Чуть поодаль, вытянувшись в почтительном безмолвии, застыл третий член экипажа, по всей видимости штурман: белая счетная линейка торчит у него за голенищем унта.

Демидов нахмурился и бросил на дядю Костю суровый взгляд.

— Это ты, что ли, его так разделал? — кивнул он на первого немца.

Старшина воровато отвел глаза, нагнул голову, извиняющимся голосом пробормотал:

— Так я же его только маненько. Он, подлюга, кусался.

— Смотрите мне, — сердито сказал Демидов. — Охрану пленных возлагаю на вас, старшина Лаврухин. Только чтоб этого «маненько» больше не было.

Заложив руки за спину, Демидов неторопливо, с подчеркнутым достоинством зашагал вниз, в землянку. За ним Петельников и Румянцев, Боркун и Султан-хан.

— А мы как? — озадаченно посмотрел Алеша на Воронова.

— Что «как»? — насмешливо передернул плечами его друг. — Мы тоже с ними воюем. Можно, наверное, и нам присутствовать на допросе. Только, на всякий случай, забьемся в темный угол. Нечего Демидову глаза мозолить.

Летчики быстро сбежали в землянку, сели в самом темном углу.

В проеме двери показались немцы. Первым спустился командир экипажа сбитого «юнкерса», за ним штурман и стрелок-радист. Из соседней комнаты с блокнотом в руке вышел красноармеец Челноков. Демидов поманил его пальцем.

— Садись, Гомер.

— Почему Гомер? — улыбнулся Челноков.

— Потому что рано или поздно ты «Одиссею» нашего девяносто пятого полка напишешь. Только не гекзаметром, разумеется, а как-нибудь поновее. Лесенкой, как Маяковский, что ли. А пока — помогай командиру, когда начну запинаться, и пиши.

Демидов исподлобья посмотрел на пленных. Алеша с удивлением услышал, как он быстро спросил по-немецки летчика с подбитым глазом:

— Ваше имя?

Гитлеровец молчал. Нижняя губа, покрытая корочкой засохшей крови, презрительно дернулась.

Демидов задал тот же самый вопрос штурману и стрелку-радисту.

— Кранц Отто, — сиплым голосом ответил штурман.

— Густав Келлер, ефрейтор. Их кайн национал-социалистише. Их кайн «Гитлерюгенд», — торопливо, тонким мальчишеским голосом забормотал безусый стрелок-радист и с ужасом посмотрел на огромные кулаки стоявшего рядом с ним дяди Кости.

Летчик, молчавший до этой минуты, сделал резкое движение и плюнул Келлеру в лицо.

— Швайн! — рявкнул он в бешенстве.

— Ого! — воскликнул Румянцев.

Немец с яростью одну за другой бросил несколько коротких фраз членам своего экипажа.

— Что он им сказал? — наклонился к Челнокову Демидов.

Челноков поднял глаза:

— Ругается и угрожает им смертью. Говорит, что гитлеровские войска уже близко и скоро их всех освободят. Тогда и Кранца и Келлера вздернут по его приказу на первой осине. Запрещает им давать показания.

— Ясно, — кивнул седеющей головой Демидов. — А ну, старшина Лаврухин, уведите пока ефрейтора и штурмана. Они будут отвечать, это по всему видно. Я хочу поговорить с этим типом без них.

Алеша из своего темного угла еще раз посмотрел на немецкого летчика. Тот стоял, сомкнув каблуки, и свысока озирал окружающих зелеными холодными глазами.

— Будете говорить? — спросил Демидов.

— Да, — ответил немец, — я буду говорить. Но не о том, что вас интересует. И если вы хотите что-либо услышать, развяжите мне руки.

— Развязать ему руки! — приказал Демидов.

Дядя Костя неохотно выполнил эту команду. Немец с наслаждением расправил затекшие руки, усмехнувшись, посмотрел на следы от веревок на запястьях.

— Вы, разумеется, можете связать рядового летчика великой Германии, по недоразумению попавшего к вам в плен, — заговорил он быстро и сухо, — но я бы не советовал вам это делать в те дни, когда наша доблестная армия набросила смертельную петлю на ваше государство. Пора кончать комедию. Обещайте мне жизнь, и я позабочусь о том, чтобы всем вам было обеспечено гуманное обращение, когда вы попадете к нам в плен или будете интернированы.

— А вы в этом уверены? — коротко спросил Демидов.
— Как и в том, что в данную минуту беседую с вами.
— Ваша фамилия?
— Обер-лейтенант Якоб Редель. Кавалер Железного креста.
— За что получили крест?
— За Лондон и Ковентри.
— Хорошо над ними поработали на своем «юнкерсе»?
Нижняя губа фашиста дрогнула от ухмылки:
— Англичане не могут быть на меня в претензии. Но я и над Вязьмой неплохо поработал. Неделю назад от моих бомб сгорели два эшелона с боеприпасами на железнодорожном узле.
— И все-таки вы не слишком удачно поработали над Вязьмой.
— Почему? — с клекотом спросил немец, и нервно дрогнули мускулы на его каменном лице.
— Потому что над Вязьмой вас сбили.
— О да, — смутился обер-лейтенант. — Этот день стал для меня черной пятницей. Как рыцарь Железного креста, я обязан воздать должное вашему асу. Могу ли я его увидеть?
— Румянцев, представьтесь, — повеселел командир полка.
Старший политрук встал из-за стола и в упор посмотрел на Ределя. С минуту длился этот безмолвный поединок взглядов. Холодные зеленые глаза немца встретились со спокойными, подернутыми насмешкой глазами старшего политрука. Оба с интересом смотрели друг на друга.
— Я уверен, что ваш ас не принадлежит к числу коммунистов и комиссаров, — сказал наконец немец.
— Ошибаетесь, он комиссар полка, — заметил Демидов.
Гитлеровец схватился за голову.
— О доннер веттер! — вырвалось у него.
— Товарищ подполковник, разрешите задать ему три вопроса? — оживился Челноков.
Демидов закивал головой.
— Давай, Гомер!
— Обер-лейтенант Якоб Редель, откуда вы родом? — спросил Челноков довольно чисто по-немецки. Он успел до войны кончить первый курс института иностранных

языков и даже на фронте урывал часы для занятий.— Не пугайтесь, этот вопрос не нарушает военной тайны и вы, отвечая на него, не скомпрометируете себя перед вашим фюрером.

— Из Кенигсберга.

— Прекрасно. Вы знакомы с Кантом?

— Да, я знаю Канта,— насмешливо произнес немец.— Это офицер из штаба нашей воздушной эскадры. Во Франции мы пили с ним чудесный коньяк. Вы удовлетворены?

Челноков перевел, и все присутствующие рассмеялись.

— Нет, я имел в виду философа Канта.

Обер-лейтенант выждал, пока смех затих, и быстро, волнуясь, заговорил. У Демидова и Челнокова, знавших немецкий язык, лица сразу посерьезнели.

— Я должен вас разочаровать, господа советские офицеры. Мы знаем, что у вас любят изображать нацистов круглыми дураками. Они не знают ни Канта, ни Гегеля, ни Шиллера, ни Гете. Вздор! Вам что, рассказать о кантовской «вещи в себе»? Могу. Не зря я сидел в свое время на скамье Лейпцигского университета. Но Кант не наш философ. А наши философы — это Ницше, Розенберг, Адольф Гитлер. Вы теперь удовлетворены?

— Зачем вы к нам пришли, Редель? — строго спросил Демидов, возобновляя официальный допрос. — Вы знаете, что Советская Россия — это громадное государство с военными традициями, с огромными резервами, и вы неизбежно проиграете войну?

— Чепуха! Великая Германия фюрера завоюет весь мир! — сказал обер-лейтенант и, картинно выбросив вперед руку, выкрикнул: — Хайль Гитлер!

— Вы в этом уверены?

— Да. Уверен.

— А я уверен в обратном, — спокойно произнес Демидов, — в том, что на каждого такого ретивого, как вы, нациста у нас найдутся три аршина земли и осиновый кол в придачу.

Редель презрительно хмыкнул:

— Вы говорите это так, словно не немецкая армия стоит у стен Москвы, а Красная Армия стоит у стен Берлина.

Демидов ладонью провел по голове.

— Когда Красная Армия будет стоять у стен Бер-

лина, вам уже не придется защищать вашего бесноватого фюрера. Вы уже вышли из игры, Редель, кавалер Железного креста. Когда будет начато новое наступление? Отвечайте!

Гитлеровец поправил у себя над карманом френча орден и гордо поднял кверху узкий выбритый подбородок:

— Повторяю: я офицер великой германской армии и принимал присягу на верность Адольфу Гитлеру. На вопросы военного характера я отвечать не буду. У меня есть один практический совет. Рекомендую всем вам перелететь на нашу сторону и вернуть на наш аэродром мой экипаж. Только так вы избежите гибели при разгроме Москвы.

Он замолчал и нагловатыми зелеными глазами оглядел всех, чтобы убедиться, какое впечатление произвели эти его слова. Челноков медленно перевел. Румянцев и Петельников переглянулись. Боркун всей огромной пятерней поскреб у себя в затылке. А Демидов, ослепленный внезапной яростью, с силой хватил кулаком по столу.

— Что? — взревел он. — Ах ты змея паршивая! Стоишь на нашей земле с вырванным жалом и все еще хочешь кусаться, ультиматумы предлагаешь? Старшина Лаврухин, уведите этого гада. Давайте других.

Штурман со сбитого «юнкерса» и воздушный стрелок дали самые подробные показания. Их ответы несколько расширили ту небогатую информацию, которой вооружили штаб фронта наземные разведчики. У Демидова не оставалось никаких сомнений: немцы замышляли прорыв линии фронта не в одном, а во многих местах сразу, чтобы фланговыми маневрами, повторив свои излюбленные клещи и охваты, вырваться к самым ближним подступам Москвы. Сейчас ударная танковая армия Гудериана была сосредоточена в районе юго-западнее Брянска, а старый, опытный генерал-фельдмаршал Браухич принял командование войсками на Западном фронте.

Вся аэродромная сеть, какая только досталась фашистской армии, была срочно приведена в боевую готовность. Знаменитый воздушный корпус Рихтгофена грозил нашему фронту сотнями машин — ясно, что количественное соотношение самолетного парка в предстоящей операции будет снова на стороне противника. Поговаривали, что на днях в ставку фашистского фронта из Риги должен прибыть сам Гитлер. Пленный штурман показал,

что в их эскадре каждому флагманскому экипажу выдали карты с точным наименованием и распределением целей; насколько он знает, их эскадра будет наносить бомбовые удары по Гжатску, Можайску и подмосковной Кубинке. Офицеры сулили солдатам скорое окончание войны в случае падения Москвы. В гитлеровском стане никто не сомневался в победе.

После допроса Демидов по телефону связался с начальником штаба дивизии, намереваясь переслать ему протокол, но в трубке прозвучал раздраженный голос:

— Что тебе, Демидов? Хочешь информировать о пленных? Не надо. Твой полк передали в непосредственное подчинение командующего ВВС фронта. И от нашего штаба, и от нашего политотдела ты уже отключен. Не знаешь? Я сам узнал об этом десять минут назад. Что делать? Думаю, тебе стоит лично обратиться к командующему. А пленных с собой захватишь — еще лучше сделаешь.

Ранним утром, оставив Петельникову боевое распоряжение, подполковник на потрепанной серой полуторке выехал в штаб фронта. В кузове за его спиной, под охраной четырех автоматчиков и дяди Кости, тряслись фашистские летчики. Словно затравленные волки, озирались по сторонам штурман и воздушный стрелок. Лишь обер-лейтенант Редель сохранял мрачное высокомерие, всматриваясь в набегавшую полоску шоссе. Один раз он сквозь зубы сказал что-то своим вчерашним подчиненным, а на тщедушного ефрейтора даже замахнулся связанными руками, но, остановленный пинком дяди Кости, стих. Дядя Костя приподнялся на скамейке и азартно выкрикнул одно из немногих знакомых ему немецких слов:

— Ауфштейн!

Он был в полной уверенности, что это означает «молчать», и с победным видом посмотрел на приданных ему красноармейцев из батальона аэродромного обслуживания.

Урча мотором, бежала по шоссе полуторка. Демидов с тоской отметил, что к линии фронта не промчалось ни одной машины. Можно было подумать, что вовсе и не идет большая опустошительная война, будто и нет людей, изнемогающих сейчас в боях, нуждающихся в подмоге. Зато в тыл, в сторону Гжатска, повозки и автомашины следовали одна за другой. Груженные всевозможным штабным скарбом, надрывно гудели ЗИСы и ГАЗы,

встряхивая на колдобинах свои тела. В их кузовах, накрытые брезентом, виднелись несгораемые шкафы, ящики, мешки с сургучными наклейками. Реже проезжали белые бензоцистерны. Эти спешили куда-то недалеко, чтобы заправиться и возвратиться назад к летчикам или танкистам, испытывавшим постоянную нужду в горючем. Несколько новеньких «эмок», пыля, разминулись с полуторкой. В окнах легковых машин Демидов видел старших командиров со шпалами в петлицах. Замыкая эту процессию, проскользнул коричневый ЗИС-101. На заднем сиденье, откинувшись на подушки, весело улыбался тучный бритоголовый полковник, а рядом сидела беленькая девушка, с разметавшимися из-под пилотки кудряшками, неуместно гражданская в этой прифронтовой полосе. «Рано же ты обзавелся, орелик, — неприязненно подумал Демидов. — Воевать еще как следует не научился, а к этой мебели уже привык!»

Как многие твердые характером, цельные люди, Демидов ненавидел всевозможные флирты и измены. Незадолго до начала войны он даже выгнал из своего полка одного способного летчика, приволокнувшегося за женой товарища. Вызвал этого старшего лейтенанта в кабинет и, насупив брови, вручил копию приказа о переводе в другой гарнизон. Грубо и прямо сказал, не пряча суровых глаз с яркими огоньками:

— Так вот что, орелик. Поиграл и хватит. Короче говоря, вон из моего полка. Мне нарядные донжуаны не надобны. Я к Ромео и Джульеттам больше тяготею. Ясно?

И сейчас, неприязненно подумав о белокурой девушке в штабном ЗИСе, он вспомнил свою старшую дочь Нину. «Ох, и ей уже девятнадцать,— вздохнул подполковник, — чего доброго, тоже на фронт рвется в какие-нибудь медсестры, а то и в снайперы».

Демидов посмотрел на радиатор мотора. От него поднималась вверх струйка белесого пара.

— Воды подлей, — строго сказал он водителю.

— Да я и сам ищу, где бы взять, — оправдываясь, ответил сидевший за баранкой рослый, совсем молодой первогодок-красноармеец с редкими рыжими ресницами.

— В любой дом зайди. Чай, не по Сахаре едем.

— Не люблю я в домах просить, товарищ подполковник.

— Это почему же?

— Обидно насмешки слушать. В каждой избе кто-

нибудь да кольнет, как только петлицы голубые увидит. Недолюбливают сейчас нас, авиаторов. Не в моде мы. Плохо, говорят, небо бережете.

— Будут долюбливать, — резко и зло сказал Демидов. — Если бы знали, как погиб Хатнянский, как дерутся наши ребята, долюбливали бы. А ты не слушай, солдат, всякие пересуды. Иди за водой.

— Нет, я лучше в воронке наберу, товарищ подполковник. Вот она рядом.

Скрипнули тормоза, и машина замедлила ход. Справа, сразу же за кюветом, зияла огромная воронка, наполненная водой. Земля, безжалостно вырванная бомбой, гребнями лежала наверху. Гремя ведром, водитель спустился вниз. Пока он заливал воду в радиатор, Демидов приблизился к воронке. «Полтонны ухнуло, не меньше», — определил он наметанным глазом. На траве валялись бесформенные чугунные слитки, обгорелые зеленые доски и чуть подальше искореженный кузов автомашины, опрокинутой взрывной волной. Под своим сапогом Демидов увидел клок красноармейской гимнастерки в пятнах крови. Рядом валялась листовка. Подполковник поднял ее. Под снимком, точно воспроизводящим работу мирного населения, роющего противотанковый ров, стояли корявые стишки: «Советские дамочки, не ройте ваши ямочки, придут наши таночки, заровняют ямочки». И пониже: «Граждане города Вязьмы. Говорят, у вас есть закон, по которому можно судить всякого, кто опоздал на работу на пять минут. А что будет за опоздание нам, если мы не бомбили Вязьму уже двое суток. Сегодня, 1 октября, покидайте свои жилища на всю ночь — будем бомбить город до утра». Демидов с яростью втоптал листовку в землю.

— Сволочи! — пробормотал он и пошел к машине.

Потом подумал о солдате, чью окровавленную гимнастерку видел. Кто он? Молодой ли, старый? Успел ли доехать до фронта и побывать в боях, или же на пути к переднему краю настигла его смерть — и умер этот красноармеец, так и не успев на войну, так и не убив ни одного фашиста?..

Снова грохотала полуторка по утреннему шоссе. Демидов сидел, устало смежив веки. С часу на час враг начнет наступление, а туда, к месту боя, не движутся ни артиллерия, ни танки. А штабные обозы тащатся на восток к Гжатску, словно заранее, еще до артиллерийской

подготовки противника, мирясь с участью отступающих. Что происходит? Неужели принято решение об отходе к самой Москве?

Демидов был до корней волос русским человеком. Он родился и вырос в маленьком городке Обоянь. За свои сорок четыре года исходил немало жизненных троп. Был и грузчиком в годы нэпа, и с басмачами дрался во время срочной службы в Средней Азии, и в Испании побывал уже в качестве летчика в составе Интернациональной бригады. На таком же И-16 сбил там итальянский бомбардировщик «капрони», получил за Испанию первый орден. Жена его, Ольга Андреевна, сейчас находилась в эвакуации в Челябинске, работала технологом на военном заводе. Сыновья учились в школе, дочь недавно поступила в институт, прекративший теперь занятия. Для него слова «семья» и «Родина» сливались воедино. Воевал он честно. Никогда не прятался за спины других, не ждал легкого задания, чтобы, слетав на него, снова отсиживаться на КП. Никто не настаивал, чтобы командир полка летал много. Но Демидов не отставал в боевой работе от рядовых летчиков.

Правда, самому себе он не мог бы сказать, что рвется в бой с вдохновением и энтузиазмом. По его глубокому убеждению, это свойственно было пылкой молодости, в двадцать — двадцать пять лет. Он же шел в небо, как идут люди на тяжелую, грязную работу, без которой нельзя обойтись.

Первые месяцы войны больно надломили его душу.

— Неужели они сильнее? — спрашивал себя Демидов и не находил ответа.

Июньские дни сорок первого года в Минске вошли в его судьбу самыми страшными днями. Знойное летнее небо вдоль и поперек бороздили девятки двухмоторных, до отказа нагруженных бомбами немецких самолетов. С воем и треском пикировали вниз почти под отвесными девяностоградусными углами горбатые серые Ю-87, и выпущенное их шасси напоминало безобразные лапти. Самолеты заходили на город с разных направлений и разгружались на разных высотах. Ухали и ахали взрывы, поднимая султаны огня и дыма. Багровые столбы пламени плясали над крышами.

Демидов, прилетевший в Степянку на своем зеленом «ишачке» — связь с округом была прервана, а он должен был уточнить боевое задание и на всякий случай до-

говориться о том, куда нужно перебазироваться, если фашисты выведут аэродром из строя, — еле проехал к штабу по центральной Советской улице. Белые фасады каменных домов обуглились. Улица горела с обеих сторон, и в отдельных местах пламя смыкалось посредине мостовой, отрезая путь.

В большом затемненном кабинете штаба округа он застал командующего ВВС. Генерал-лейтенант безнадежно кричал в телефонную трубку. Несколько человек, окружавших его, стояло, нерешительно переминаясь. То и дело в кабинет входили командиры. Входили без стука, без старательного щелкания каблуками. Командующий выслушивал их рассеянно, отвечал односложно, словно все они ему предельно надоели и он хотел поскорее от них отделаться. Демидов знал командующего по Испании, не где-нибудь, а там, в воздушных боях заслужил он Золотую Звезду Героя. Сейчас эта звездочка бессильно болталась на его кителе, перевернутая тыльной стороной. Демидов не узнавал командующего. Серое осунувшееся лицо с провалами глазниц отражало нечеловеческое напряжение. Углы рта скорбно опустились к подбородку.

Выслушав рапорт какого-то грузного штабного полковника, командующий едва заметным кивком приветствовал Демидова.

— Вы все свободны, — сказал он столпившимся около стола командирам. Те выходили молча, неслышно печатая шаги на мягком ковре.

— Что, Демидов, — отрывисто спросил генерал-лейтенант, — плохо дело?

— Наш полк держится, — ответил Демидов.

— У вас нет такого, — мрачно возразил командующий и пальцем показал за окно. Демидов машинально перевел взгляд. Срезанные осколками, жалобно поскрипывали деревья. Отброшенная взрывной волной, валялась каменная афишная тумба. В груде обугленных кирпичей лицом вверх лежала молодая светловолосая девушка. Мгновенная смерть не успела еще сковать ее лицо, раскрытые глаза и сейчас казались живыми.

— Это страшно, — тихо сказал командующий.

Зазвонил один из четырех телефонов, стоявших на письменном столе. Генерал на ощупь схватил одну трубку — не та, вторую — не та, наконец, в третьей услышал прерывистый голос:

— Товарищ командующий, курсом девяносто на центр разворачиваются двадцать пикировщиков. Докладывает оперативный дежурный лейтенант Ткачев.

— Продолжайте наблюдение, — приказал генерал, но через минуту телефон затрезвонил снова.

— Курсом сто двадцать на центр — пятьдесят два Ю-88. Докладывает лейтенант Ткачев.

— Наблюдайте, — повторил командующий. — Ну, сейчас начнется.

Он подошел к окну. Бомбы уже свистели в воздухе, заставляя стекла вызванивать жалобную дробь. Косая тень самолета, выходящего из пике, перечеркнула окно, и тотчас же огромной силы взрыв оглушил их обоих, сбросил на дорогой ковер с потолка куски штукатурки.

— Этот прямо на вышку пикировал, ту, что на крыше нашего дома, — сказал генерал-лейтенант. И опять его серое, осунувшееся лицо отразило напряженную работу мысли. Сдавив ладонями седеющие виски, командующий стремительно заходил по кабинету, не обращая внимания на Демидова.

— Это стыдно, — заговорил он быстро, — да, стыдно... Утром я шел по улице, и меня остановила какая-то старуха: «Эх вы. Порасшили мы вас золотыми кантами, а как беда в дом, так ни одного самолета в небе не увидишь...» Понимаешь, Демидов, народ в нашу авиацию уже не верит... А что я могу... Что я могу с этим количеством «чаек» да И-16? Какой позор! Жить после этого не хочется.

— Что вы, товарищ генерал, — испуганно перебил Демидов. — Разве вы виноваты? Буря в страну ворвалась.

Командующий остановился.

— Буря, говоришь? Да, буря надвигалась, и кто-то проглядел эту бурю. А ведь было заметно, как собирались тучи. Впрочем, разве от этого легче? Какое мне может быть оправдание, если моя авиация не смогла прикрыть Минска, и он уничтожается на моих глазах. Нет! — Невидящим взглядом он посмотрел на Демидова, жестко сказал: — В полк. В полк, Демидов. Не хочу, чтобы ты здесь, под бомбежкой... Слишком позорная смерть для летчика. — Он криво усмехнулся. — Это только мне по рангу положено.

И Демидов по улицам пылающего Минска на штабной «эмке» вновь уехал в Степянку.

Через час после его отъезда командующий вспомнил,

что Георгий Ткачев, оставленный дежурить на наблюдательной вышке, находится там уже более двадцати четырех часов. Когда по его приказанию лейтенанта пришли сменить, он стоял у барьера, вцепившись руками в железные перила. «Юнкерсы» то и дело пикировали на вышку, а он стоял, безоружный, бессильный, способный лишь смотреть на них гневными глазами. От большого нервного напряжения Ткачев словно окаменел, и пришедшие с силой оторвали его руки от железных перил. Командующему доложили об этом. Он печально кивнул головой в знак одобрения.

— Так сейчас каждый должен, — проговорил он тихо.

А Демидов был уже на своем аэродроме и успел в этот день во главе девятки истребителей слетать на прикрытие Минска. Сражаясь с численно превосходящей группой «мессершмиттов», он видел под короткими плоскостями своего «ишачка» погибающие в дыму и пламени светлые здания, убитых на улицах и площадях города, успел даже рассмотреть окруженное со всех сторон пожарами здание штаба — в него никак не могли попасть немецкие летчики. И, возможно, в ту самую минуту, когда Демидов заходил в хвост нагруженному бомбами «юнкерсу», на первом этаже этого здания в кабинете командующего ВВС Белорусского военного округа раздался негромкий револьверный выстрел.

После возвращения из боевого полета Демидов услышал весть, быстро облетевшую все военные аэродромы: командующего, героя Испании, нашли мертвым за его рабочим столом, на котором бесконечно трезвонили телефоны, неся новые горькие вести. Сняв шлемофон, Демидов шагал тогда по огромному аэродрому, вспоминая желтое, изнуренное лицо, отражавшее непосильную работу мысли. «Эх, генерал, — сокрушенно рассуждал он про себя, — значит, под Гвадалахарой было тебе легче. За полк свой ты сумел быть в ответе. А за всю авиацию фронта — нет. Да, не смог. Совестливый. Застрелился, не выдержало сердце горящего Минска... Что же, всем совестливым теперь уходить из жизни? Кто же воевать-то будет?..»

И Демидов горько задумался о войне, о линии фронта, придвинувшегося к самому Минску. «Буря надвигалась, и кто-то проглядел эту бурю. А ведь было заметно, как собирались тучи», — припомнил он слова генерала. «Да, это верно. Но только ли потому терпим мы неудачи,

что ворвалась буря? А может, еще и потому, что для большой войны не были готовы по-настоящему, а эти прошли всю Европу? У них все геометрически расчерчено. Клещи, охваты, котлы, по минутам рассчитано взаимодействие. Наши штабы никогда еще не руководили операциями, требующими такой гибкости в маневре, им многое в диковинку. Ничего, попривыкнем, народ у нас мировой, — вдруг улыбнулся подполковник, — такой народ блицкригом не запугаешь. Подождите, господа фашисты, втянемся и мы в войну. Еще почувствуете!»

Вечером, слушая очередную сводку, он по-стариковски кряхтел, печально говорил Румянцеву:

— Снова отходим... А где же наш наступательный порыв, о котором поется в кинофильме «Если завтра война»? Помнишь, как там лихо? Не успел враг сунуться — и уже разбит, а в штабе у него все время наши разведчики сидят, каждый приказ, выходящий в войска, контролируют.

Румянцев сузил карие глаза.

— А ну его к черту, это шапкозакидательство. Ничего. Не все время нам с рубежа на рубеж прыгать. Когда-нибудь остановимся, а потом и до самого Берлина попрем.

И так уверенно произнес он эти слова, что и Демидов тоже проникся в них верой. Ему казалось: вот ушли из Минска — остановимся где-то под Смоленском. Выбил враг из Смоленска — станем намертво под Вязьмой. Будет скоро рубеж, откуда нанесем удар по фашистам и зашагаем на запад.

Так он думал. Но рубежи оборонительные сменялись, а идти приходилось все на восток и на восток. Командир полка вглядывался в осунувшиеся, посеревшие от усталости лица подчиненных и видел, что каждого из них терзают те же вопросы, что и его. И теперь, когда, по всей видимости, предстояло отступить к самым стенам Москвы, прежняя неуверенность и боль наполнили его душу.

С тяжелыми думами ехал Демидов в штаб фронта. Полуторка давно уже свернула с шоссе и, громыхая, петляла по хорошо наезженной, блестевшей от многочисленных колесных следов полевой дороге, направляясь к лесу. На опушке он предъявил часовому пропуск. Машину загнали в частый кустарник, накинули на нее маскировочную сеть. Демидов рассказал дяде Косте, ку-

да надо отвести пленных, а сам торопливо зашагал в чащу к землянкам, где располагались отделы штаба ВВС фронта. Вырезанные из свежеоструганных дощечек указатели, прибитые к пахнущим смолой сосновым стволам, вели в разные стороны. На них можно было прочесть: «Хозяйство Мокшанова», «Хозяйство Лебедева», «Хозяйство Миронова». В центре леска стоял хорошо замаскированный рубленый домик командующего фронтом. Обогнув его, Демидов по узенькой просеке свернул влево и без труда нашел добротные, в три и четыре наката блиндажи штаба ВВС.

Некоторое время обязанности командующего исполнял генерал-лейтенант Ольгин. Демидов не мог мириться с флегматичностью этого рыхлого сорокавосьмилетнего человека, его медлительность и нерешительность часто выводили Демидова из себя. Он не мог забыть, как однажды при отходе из Смоленска Ольгин приказал и без того обескровленному девяносто пятому полку штурмовать дорогу Красное — Смоленск непрерывными налетами пар истребителей.

— Товарищ командующий! — возражал Демидов в трубку полевого телефона. — Посылать пары при таком сильном противодействии зенитной артиллерии и истребителей, каким располагает противник, означает погубить весь полк. Поймите, пара И-16 против шестерки «мессершмиттов» совершенно беззащитна. Разрешите вести те же боевые действия бóльшими по численности группами.

Но Ольгин в ярости кричал:

— Не рассуждать! В трибунал пойдете. Выполнять приказ, и точка.

— Хорошо, я выполню, — побледнев, тихо сказал Демидов, — но я всю жизнь не забуду этой ошибки.

— За свои слова ответите, — послышался генеральский басок на другом конце провода.

Демидов в тот день потерял восемь летчиков сразу. Поздно вечером Ольгин разыскал его по телефону, смущенно покашливая, произнес:

— Боевое распоряжение на завтра отменяю. Пары посылать действительно не эффективно. Действуйте более крупными группами.

— Приказ выполню, но погибших я, к сожалению, не воскрешу, — смело ответил Демидов.

— Идет война, подполковник, и потери неизбежны, — прозвучал нравоучительный басок.

— Наша военная доктрина учит воевать малой кровью, товарищ генерал, — дерзко напомнил Демидов, ободренный кивком сидевшего напротив Румянцева.

Демидов вспомнил этот разговор, подходя к землянке штаба ВВС фронта. Часовой у входа встал ему навстречу. Демидов остановился, ожидая, когда тот вызовет для доклада адъютанта. Он знал адъютанта, но, вопреки ожиданиям, на пороге появился незнакомый чернявый юноша в курсантской форме, вопросительно посмотрел на него. «Сменился командующий, сменился и адъютант», — догадался Демидов и, поправив козырек фуражки, независимо бросил:

— Прошу доложить генералу. Командир девяносто пятого истребительного полка подполковник Демидов.

Через минуту юноша появился в дверях снова:

— Командующий сейчас примет вас. Прошу.

Подполковник следом за ним прошагал вниз по деревянной лесенке, устланной ковром. При Ольгине ковра не было, и Демидов недовольно подумал: «И впрямь новая метла чисто метет, даже ковриком подстилает». В просторном отсеке землянки размещалась приемная. Здесь стоял потертый кожаный диван, несколько обитых плюшем стульев, круглый столик с пепельницей, шахматной доской и набросанными на нее газетами. В углу висела большая фотография. Смеющийся Чкалов на аэродроме. За его спиной виднелся лобастый капот И-16. Внизу, под самым обрезом фотографии, Демидов прочел лаконичную подпись: «Другу Сережке. Центральный аэродром». Юноша в курсантской форме сказал: «Проходите», — и подполковник, не снимая фуражки, распахнул дверь во вторую половину вместительной землянки.

— Разрешите? — спросил он, перешагивая порог.

— Да, да, — ответил бодрый и, как ему показалось, даже веселый голос.

Из-за большого письменного стола навстречу ему поднялся моложавый, крепко сбитый генерал-майор авиации. Над загорелым лбом весело курчавились короткие волосы, раскосые глаза источали такую силу, что Демидову как-то сразу стало легче. Три ордена Красного Знамени на груди. Слишком большой контраст составлял новый командующий с тучным Ольгиным, на которого уже беспощадно наступали годы. Демидову все понравилось в облике нового командующего. И ладно пригнанный костюм, и франтоватые, со скрипом сапоги, тесно облегав-

шие сильные ноги, и вольно, по-домашнему расстегнутые верхние крючки кителя. Распахнутый ворот открывал красивую сильную шею. Генерал порывисто встряхнул Демидову руку, представился:

— Комаров. А что генерал-майор авиации — сам видишь.

— Подполковник Демидов.

Командующий задержался взглядом на его палке с серебряным набалдашником, о которую Демидов все еще опирался.

— Что? Латаный?

— Латаный, товарищ генерал, — весело отозвался подполковник. Ему все больше и больше нравился новый командующий.

— Ну садись, латаный, — засмеялся генерал, — чего на меня уставился?

Демидов остолбенело молчал. Он вдруг вспомнил, где слышал эту фамилию. В Испании о Комарове говорил весь фронт, там о нем слагались легенды.

— Был с вами одно время по соседству, товарищ генерал, — вырвалось у него.

— Где, в Новосибирске?

— Нет, под Гвадалахарой.

Комаров вытянул тонкие губы и весело свистнул:

— Вот как. Ты там что же, у Серова служил?

— У Серова.

— Видишь, в авиации все дорожки пересекутся. А чего из госпиталя выписался раньше времени? — спросил он вдруг строго.

— Совесть замучила.

— Совесть, совесть, — проворчал Комаров, — вот отправлю тебя этак месяца на два в Кисловодск или какое-нибудь Цхалтубо, узнаешь, что такое совесть. Чаю хочешь? — И, не дожидаясь ответа, крикнул: — Эй, Селиванов, два завтрака, срочно.

Девушка в белом халате поставила на широкий стол поднос с едой. Демидов и не собирался отказываться. Он жадно ел и короткими фразами рисовал обстановку, сложившуюся у него на аэродроме. Генерал постучал пальцем по синему фарфоровому графинчику, поставленному девушкой на стол.

— Может, хочешь?

— Нет, спасибо, — отрезал Демидов, — с утра не употребляю.

— Правильно делаешь, — одобрил Комаров, — летчики с утра к этаким сосудам не должны прикасаться. Вот за ужином, если нервы сдали, тогда да. Рюмка водки дороже всяких бальзамов. — Он разрезал аппетитно пахнущий кусок жареного мяса. — Значит, так, — сказал он отрывисто, откладывая в сторону нож и вилку, — обстановку на фронте я изучил. Успокаивающего в ней мало. Мы с тобой накануне нового наступления немцев. Снова перевес в авиации на их стороне. Тяжелые бои предстоят, Демидов. Надо держаться.

Подполковник поднял голову. Глаза его остановились, лицо сделалось усталым, бесцветным.

— Товарищ генерал, на этом рубеже их остановим?

Комаров строго прищурился и долго молчал, будто решая, говорить или не говорить подполковнику правду.

— Едва ли, Демидов.

— Плохо, — тихо вымолвил подполковник.

Командующий настороженно подался вперед.

— Плохо, — жестче повторил Демидов, — народ устал, товарищ генерал. Не физически устал, а душой. Это самая страшная усталость! Если мы еще и Москву...

— Москву не сдадим! — сердито выкрикнул Комаров и сдвинул выгоревшие на солнце брови. — Москва — это судьба страны. Как бы ни было трудно, отстоим. — Генерал поднялся из-за стола и быстро заходил. Ему было явно тесно в этой просторной землянке. — Не хочу судить своих предшественников, хотя и не оправдываю их, — продолжал он. — Да, были совершены ошибки. Были и тактические промахи, и грубые просчеты в маневре. Но мы не можем отбросить, подполковник, и другого. Люди наши советские воюют сейчас против лучшей в мире армии. Да, да, я не боюсь своих слов — лучшей в мире. Противник выбрал удачный момент для начала боевых действий. Даже для тех, кто стоял в приграничной полосе, и то война свалилась как снег на голову. Многие смутно предчувствовали, что она уже на носу, но никто не станет отрицать: простой солдат, командир да и генерал не знали, что именно двадцать второго июня в три часа посыплются на нас фашистские снаряды и бомбы. Это — внезапность. Но, я подчеркиваю, внезапность оперативная, а не стратегическая.

— Почему не стратегическая? — перебил Демидов.

Генерал опустился рядом с ним на стул.

— А потому, что в принципе наше государство знало,

что Гитлер вот-вот развяжет войну. Только кто-то упорно не хотел в это верить. Отсюда и все остальное. Неподготовленность тыла, нехватка на фронтах новейшего оружия. Вот ты, Демидов, до сих пор на «ишачках» воюешь?

— Наполовину.

— А их давно бы пора в архив. Еще до двадцать второго июня. А тебе бы «яков», да «мигов», да «лаггов».

Комаров встал и, стройный, прямой, снова прошелся вдоль стола, заложив за спину руки.

— Короче говоря, попали мы в переплет, — качнул он коротко остриженной головой, — только не так страшен черт, как его малюют, Демидов. Расправим плечи и тряхнем еще их, подлецов, со звоном, — генерал сжал обросшие рыжим пушком пальцы в кулак. — Так-то вот! А пока надо приглядываться и учиться тактике. У тех же немцев учиться.

Демидов недоверчиво усмехнулся, и рябинки вздрогнули на его лице.

— У немцев? — переспросил он с иронией. — Смелые вы речи говорите, товарищ командующий. Если бы их услышал майор Стукалов, следователь нашей военной прокуратуры, он бы вас неминуемо в пораженческих настроениях обвинил.

Комаров весело прищурил глаза и расхохотался:

— А ты чихай на подобных Стукаловых, Демидов. Войну ведь мы делаем, а не они. Пусть те, кому такие слова не нравятся, помнят, что преданность Родине мы ежедневно в воздухе жизнью своей доказываем. А полезному и у немцев учиться надо. Твои подчиненные как на задания летают? Звеньями или парами?

— Парами, товарищ генерал. Со второй недели войны парами.

— Ишь ты! Откуда же это пошло?

— Был у меня заместитель — майор Хатнянский, схоронили недавно. Он первым мысль подал, давайте, мол, попробуем, как «мессеры», парами вести атаки. С тех пор и пошло. Маневр легче, товарищ генерал, обзор лучше. Вот и стали применять эту тактику.

— И правильно сделали, — одобрил Комаров, — а то я в двух полках побывал и вижу: по старинке звеньями к фронту топают. Надо бы вообще узаконить пару во всей нашей авиации.

Генерал сел в кресло, быстро выпил стакан остывшего кофе.

— Возьмем и другой вопрос: количество групп. Надо людей беречь! Нельзя посылать по два самолета, если за линией фронта все небо кишит «мессерами», а земля зенитками. Это на верный убой посылка.

Демидов покашлял в кулак и сказал:

— Я по приказанию вашего предшественника генерала Ольгина подобным образом восемь человек убил.

Комаров сочувственно глянул на него, погасил в углах рта горькую усмешку, словно ожегся ею.

— На войне старших судить трудно, Демидов. Тем более непосредственному исполнителю, который знает в несколько раз меньше, чем тот, кто отдал приказ. Учти мою установку. Пары нужны. Но когда? В дождь, на рассвете, в сложных метеорологических условиях. Если же кто из моих командиров полков вздумает использовать пары для ведения основных боевых действий, шалишь, брат, шкуру спущу, не будь я Комаров!

Телефонный звонок прервал его. Генерал схватился за аппарат, на котором было написано «Москва». Лицо его мгновенно стало озабоченным.

— Да, я вас слушаю, товарищ главком. Как дела? Разворачиваюсь. Пока тихо. Здесь у меня Демидов. Беседуем. Нет, еще не допрашивал. Есть. Допрошу и отправлю к вам. Хорошо, объявлю. До свидания.

Он положил трубку, подмигнул Демидову:

— Вот и новость, подполковник. Пленных-то я сейчас допрошу и отправлю в главный штаб ВВС. Сложнее другое. Ваш девяносто пятый полк делается ударным. Сегодня в твое распоряжение прилетят на «яках» двадцать летчиков.

— Здорово, — просветлел Демидов, но Комаров его остановил:

— Не торопись радоваться. Из двадцати только пять с боевым опытом. Остальные, как говорится, без оного.

Демидов встал, опираясь на палку.

— Справимся, товарищ командующий. Я их вразбивочку буду пускать вместе со старичками. Постепенно войдут в строй.

— Ой, Демидов, обстановка не даст сейчас методикой ввода в строй заниматься.

— Даст, товарищ генерал, — упрямо тряхнул головой подполковник. — Вот у меня есть двое молодых из Сибири. Воронов и Стрельцов. Оба они сейчас асов перещеголяли.

Комаров громко рассмеялся:

— Воронов и Стрельцов. Так ведь это же мои воспитанники! Значит, научились кое-чему у старика Комарова. Отменно. Обязательно побываю у вас в полку и на них посмотрю... Ну, Демидов, до встречи. Езжай принимать новую авиацию. И главное, повеселее смотри в будущее. Запомни — Комаров пессимистов не любит.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Двадцать новых истребителей «Яковлев-1», прибывших на усиление демидовского полка, появились над аэродромом под вечер. В потемневшем воздухе они звеньями кружились над летным полем, построив своеобразную этажерку. Девятка ходила по кругу выше, остальные самолеты — ниже. Все новые «яки» были оборудованы радиосвязью. Демидов приказал выкатить на старт автомашину-радиостанцию и, стоя возле нее, держал в руках микрофон, корректировал посадку новых летчиков. То и дело слышался его осипший голос:

— Бери левее, выравнивай. Ручку на себя.

Чтобы садящиеся самолеты не были атакованы какой-нибудь залетной парой «мессершмиттов», он предусмотрительно поднял в воздух четверку «ишачков» во главе с капитаном Султан-ханом.

Посадка новой группы самолетов не радовала командира полка. То и дело летчики заходили на «Т» с большими погрешностями. Коснувшись колесами земли, далеко выкатывались за белые знаки ограничителей. Двоих пришлось угнать на второй круг. Какой-то лихач, решивший сесть точно на белое полотняное «Т», отколол такого «козла», что Румянцев нервно пробормотал:

— Ну, готово. Полный капот и траурный марш Шопена.

— Хладнокровнее, Борис Николаевич! Допрыгает! Благо, аэродром широкий.

— Так и до могилы допрыгать недолго,— вставил стоявший рядом Боркун, сосредоточенно жевавший травинку.— Ох, товарищ подполковник, ради бога не награждайте мою эскадрилью такими кадрами.

Потом к стартовой радиостанции подошел бравый коренастый летчик с щегольскими бакенбардами и синими с поволокой глазами, обрамленными длинными девичьими ресницами.

— Товарищ подполковник! — Он громко щелкнул каблуками.— Майор Жернаков прибыл в ваше распоряжение с группой в двадцать истребителей «Яковлев-1».

Демидов пожал ему руку, хмуро сказал:

— Плохо садились твои орелики, майор.

Он бы выразился и резче, но опрятный, подтянутый вид майора благоприятно подействовал на опытного строевого командира, подкупил его. В постоянной фронтовой сумятице было приятно увидеть такого чистого, с хорошей выправкой летчика. В ответ на замечание синие глаза майора не опустились, продолжали смотреть на подполковника.

— Они устали, товарищ командир,— спокойно ответил Жернаков,— перелет был трудным. От самого Свердловска до Москвы шли почти на бреющем. Облака к самой земле придавили.

— А что у вас за летчики? Вояки есть?

— Есть.

— И много ли?

— Я и еще четыре командира звена. Остальные войны не нюхали.

— Ну что же,— подытожил Демидов,— будем распределять.

Поздно вечером состоялся «дележ». Демидов сам назначил новичков в эскадрильи. Восемь летчиков он закрепил за майором Жернаковым, выделив их в новую третью эскадрилью, остальных передал Боркуну и Султан-хану. В этот же вечер, после поданного с запозданием ужина, он приказал командирам звеньев изучить район боевых действий.

— Не хотел бы я вас торопить, орелики,— произнес он при этом мрачно,— да Гитлер с Герингом, проклятые, подгоняют. Завтра все совершат по одному ознакомительному полету.

Была уже ночь, когда Демидов и Румянцев возвращались с аэродрома в деревню. Высоко в темном небе высвечивал Млечный Путь. Где-то медлительно и глухо провыл в чуткой тишине одинокий «юнкерс». Ему в хвост лениво метнулся луч прожектора и сразу погас. На западе не вспыхивало ни одной зарницы, будто вымерло все на фронте.

Открыв скрипучую дверь, Демидов прошел в горницу и зажег «летучую мышь». Оранжевым полукругом свет лег на стены, вырвал из темноты фотографии в доброт-

ных коричневых рамках. В те редкие часы, когда удавалось здесь отдыхать, Демидов любил рассматривать эти фотографии. Хозяином избы, где квартировали они вместе с Румянцевым, был почетный колхозник, бригадир полеводческой бригады Никитич, известный всей округе.

На одном из снимков он в группе делегатов 1-го съезда колхозников был сфотографирован рядом с Калининым. С других снимков улыбались вихрастые детские головки. Над старомодным комодом с широкими выдвижными ящиками висели два портрета: молодой парень в черной русской тройке и девушка в белом подвенечном платье, с пышными, уложенными короной косами. А пониже из-под бескозырки с надписью «Черноморский флот», прищурившись, глядел лихой парнишка, как две капли воды похожий на самого Никитича.

Веяло от этих фотографий устоявшимся покоем работящей, честной советской семьи, и, глядя на них, вспоминал Демидов свою семью, находившуюся теперь далеко от него.

Комиссар задержался на кухне. Звякая черпаком о ведро, достал воды, пил ее, жадно причмокивая.

— Где так запарился, Борис Николаевич?— окликнул его Демидов.

Румянцев вошел в горницу, неся в руках планшетку.

— Еще бы не запариться. С новичками беседу проводил. Рассказал им о боевом пути, о наших традициях. Слушали, хитрецы, — тишина мертвая. А потом сто вопросов сразу. Просят, чтобы перед ними выступили наши ветераны. Они уже прочитали в «Красной звезде» очерк о Султан-хане, откуда-то знают, как Стрельцов пристроился к «восемьдесят седьмым» и сбил одного.

Демидов повел верхней губой, прикрытой щеткой усов с поблескивающими искорками седины.

— Смотри-ка, комиссар! На всех аэродромах знают об этой истории. Прославились мы, выходит.

Зазвонил полевой телефон, такой ненужный в мирной этой комнате.

— Слушаю, товарищ командующий,— ответил Демидов.— Пока все спокойно. Над районом аэродрома противник не сделал ни одного пролета. Да я тоже не верю в эту тишину. Нет, мы на страже. Летчиков новых уже раскрепил по эскадрильям. — Командир полка положил трубку и улыбнулся.— Вежливый генерал. Ничего не

скажешь. Даже спокойной ночи пожелал. Давай, комиссар, спать.

Румянцев уже стаскивал с ноги сапог, сидя на кровати. Зевая, спросил:

— Будильник на сколько поставим?

— Давай на пять, Борис Николаевич. Чтобы после звонка еще минут двадцать добрать можно было. Дел у нас завтра по горло.— Демидов лег в постель и закурил папиросу.— Все забываю тебя спросить. От Софы давно не было писем?

— Давно,— неохотно ответил Румянцев,— только одно и пришло. Знаю, что до Москвы добралась благополучно. Живет у своей старой подруги Нелли Глуховой.

— Да и мои давно что-то не пишут,— сонно сказал Демидов. — Лампу гасить?

— Гасите, Сергей Мартынович, мне не нужна,— откликнулся Румянцев, закрывая отяжелевшие веки.

Демидов босыми ногами проковылял к столу, машинально глянул на раскладной календарь. Второе октября — вот и начался он, новый боевой день.

☆☆☆☆

На рассвете Демидов и Румянцев одновременно проснулись от сильного неожиданного гула. В избе жалко позванивали стекла. Румянцев сорвал с себя одеяло, рванулся к окошку, отдернул штору. Было еще темно, сумрак ночи только начинал редеть. Еле заметные, проступали над крышами купы деревьев.

— Бомбят? — стряхивая с себя остатки сна, спросил Демидов. Спросил без волнения, словно до этого не было ему никакого дела. Только что снился дом, жена, дочь, и так не хотелось возвращаться к действительности. Но когда новый оглушительный грохот потряс избу, движения подполковника сразу стали поспешными. Прихрамывая, он бросился в угол, торопливо натянул сапоги и в одной нижней рубашке выскочил на крыльцо. Румянцев за ним.

Земля вздрагивала и охала. Прожекторы шарили по небу. На западе, отрываясь от земли и разрастаясь до зенита, вспыхивали широкие ослепительные зарницы. Гул артиллерии стал теперь непрерывным. Демидов энергично тряхнул головой:

— Нет, это не бомбежка. Немцы наступают, комиссар. Беги, поднимай летный состав. Немедленно всех на аэродром. Всех до единого. Всем готовность номер один. Если не будем готовы взлететь через тридцать минут, сюда придут «юнкерсы» и сделают из наших самолетов кашу.

— Действую, Сергей Мартынович,— откликнулся Румянцев и, схватив реглан, бросился к двери.

Опираясь на палку, Демидов подошел к телефону, вызвал оперативного дежурного.

— Спишь, Ипатьев, что ли! — крикнул он зло, потому что в трубке долго не было никакого ответа.

— Никак нет, товарищ командир,— донесся громкий голос лейтенанта,— не то время, чтобы спать. По другому телефону отвечал.

— Мою машину ко мне немедленно. Техсоставу прогревать моторы.

Не успел он положить трубку, как раздался звонок. Командующий ВВС, видимо, обзванивал все аэродромы.

— Здравствуй, Демидов. Гитлер начал генеральное наступление на Москву. По радио одни победные марши передают, сволочи. Тебе на сегодня задача: двумя эскадрильями прикрой передний край нашей обороны в районе Юхнова. Одну держи в готовности для обороны аэродрома и города. Всех немедленно по кабинам, чтобы с рассветом поднялись, иначе немцы на земле накроют.

— Я уже отдал такое приказание.

— Молодец. Докладывай каждые два часа.

У дома затормозила штабная «эмка». Демидов вдруг почувствовал, что раненая нога не напоминает больше о себе. «Эк она вовремя утихомирилась»,— обрадовался он, выходя из дому.

Он прибыл на командный пункт, когда Петельников наносил на карту изменения в линии фронта. Демидов взглянул на его угрюмое лицо и все понял:

— Продвигаются?

— Под Юхновом на десять километров вклинились. Наши отходят.

За оконцем землянки ревели моторы истребителей, прогреваемые техниками и механиками. В динамике, что висел над головой оперативного дежурного Ипатьева, послышался голос с командного пункта штаба ВВС:

— Василек, вам цель. Западнее Юхнова наши «илы»

дивизией будут штурмовать фашистские танки. Прикройте поле боя.

Минут через пять во второй половине землянки Демидов диктовал расчет боевого полета, и летчики прочерчивали на своих личных картах красными карандашами жирные маршрутные линии.

— Вопросы будут? — наседал на них командир полка.— Нет? Запомните. Драться только парами. Ведущих своих не бросать. Кто увлечется погоней за чужим самолетом и бросит ведущего — того под трибунал. Это я, Демидов, вам обещаю. По самолетам, орелики, успеха вам в бою-сражении!

Одна за другой поднимались пары «яковлевых» в небо. С командного пункта передали:

— Курсом на город и аэродром тридцать шесть Ю-88.

И еще через две минуты:

— Курсом на город и аэродром двадцать четыре Ю-88. Прошли Ярцево.

Демидов вопросительно посмотрел на Румянцева:

— Что будем делать, комиссар?

— Всех, кто не нужен на КП,— в щели. Бомбежка будет сильной, надо избежать потерь.

— Командуйте,— согласился Демидов и метнул взгляд на сидевшего в затемненном углу нового командира эскадрильи.— Майор Жернаков, поднимайте свою девятку. Будете патрулировать над городом и аэродромом. На сто истребителей противника в лоб со своей девяткой не лезьте. Сто — это сто, а девять — это девять. Бейте из-под нижней кромки облаков или со стороны солнца самых неосмотрительных. Группу свою особенно не распыляй. Маневрируй, но всегда держи в кулаке. Ясно?

— Ясно, товарищ подполковник.

Демидов нахмурил клочковатые брови так, что они почти закрыли его глаза с желтыми зрачками. Тише, чтобы слышал только Жернаков, спросил:

— Самочувствие хорошее?

— Хорошее.

— В бой идешь без сомнений?

— С охотой, товарищ командир.

— Ну и желаю удачи, дружок,— закончил Демидов.

Схватив планшетку, Жернаков выскочил из землянки. Вскоре моторы «яковлевых» огласили басовитым ревом притихший по-утреннему аэродром. Сухая пыль облаком

затянула взлетную полосу. Со звоном один за другим ушли в воздух «яки» майора Жернакова. Демидов строго оглядел оставшихся в землянке:

— Кроме капитана Петельникова и лейтенанта Ипатьева, всем в дальние щели. По командному пункту будут бомбить прицельно. В горб не попадут, да и в дальние щели тоже.

Горбом Демидов называл землянку КП, возвышавшуюся над летным полем.

Несколько связистов и писарь Володя Рогов не заставили себя долго просить, горохом высыпались из землянки. Демидов, усмехаясь, вышел за ними наверх. В небе нарастал вой моторов. Подполковник осмотрелся и внезапно с яростью потряс кулаками. Возле командного пункта стояла передвижная автомашина-радиостанция. Из окошечка кабины высунулось курносое мальчишеское лицо водителя, низкорослого первогодка Орлова.

— Вон с аэродрома! — свирепо закричал на него Демидов. — Иначе я из тебя сию минуту воробья сделаю. И себя и нас демаскируешь. Немедленно в рощу!

Красноармеец поспешно включил мотор и чуть ли не на третьей скорости рванул с места. Демидов зорко осматривал аэродром. В нескольких местах над летным полем виднелись бугорки пустых землянок, замаскированные дерном. Еще три дня назад подполковник приказал на каждую поставить по шесту, чтобы враг с воздуха принимал их за антенны штаба. Только так можно было обеспечить безопасность командного пункта во время налетов вражеской авиации.

Появился Петельников, подслеповато щурясь, покачал головой:

— Обманул нас командный пункт.

— Это почему же?

— Говорил, «юнкерсы» идут двумя группами, а они сплошняком, девятка за девяткой.

Запрокинув голову, Демидов посмотрел в небо. На синем его глянце громоздились воздушно-белые силуэты вражеских бомбардировщиков. Они действительно шли волнами, группа за группой, с маленькими интервалами. Демидов увидел, как от общей колонны отделились четыре девятки и, снижаясь, повернули в сторону аэродрома. Переливчатый гул моторов наплывал, усиливался с каждой минутой. Грозное прерывистое «у-ух, у-ух» заполняло уши. На глазах у Демидова флагманский само-

лет, опустив нос, стал пикировать прямо на их землянку. Из-под крыла «юнкерса» оторвались черные комочки бомб.

— Вниз, Петельников, вниз,— приказал Демидов.

А в это время по самой середине аэродрома бежал изо всей мочи черноглазый писарь Володя Рогов. Следом за ним широко и быстро шагал комиссар Румянцев. Он проверил и убедился, что все техники и механики рассредоточены по щелям на случай воздушных налетов. Однако щели были в основном вырыты на окраинах аэродрома. В центре его, где постоянно рулили взлетающие и садящиеся самолеты, их было очень мало. Одна из таких щелей, точно такая же, как и все другие, была приспособлена под отхожее место. Легко подпрыгивая, совсем как тушканчик, писарь мчался вперед. Несмотря на опасность, Румянцев невольно наблюдал за его бегом.

— Ах ты чертенок! — выкрикнул он.— Да если бы ты так бегал на физзарядке, ты бы самого Серафима Знаменского обогнал.

Первая девятка «юнкерсов» была уже совсем близко от аэродрома. Над землей возникал слабый, но уже явственный ноющий свист оторвавшихся бомб. Вжав голову в плечи, Володя сделал огромный прыжок и бросился в щель. Ладони заскользили по осыпающимся, почти отвесным краям. Что-то шмякнуло под его ногами. «Спасен»,— подумал Рогов и нагнул голову, чтобы окончательно застраховать себя от рикошетирующих осколков. Острое зловоние ударило ему в лицо, лишило дыхания. Писарь открыл глаза и с ужасом увидел, что почти по колено стоит в клейкой жиже. «Ай, ай, как это плохо, — подумал он, — теперь весь полк будет смеяться и говорить, что Володя Рогов чуть не утонул в дерьме».

Стараясь вдохнуть как можно больше свежего воздуха, он высунулся из окопа и вдруг увидел близко от себя чьи-то запыленные сапоги, а потом красное от пота, но совершенно спокойное лицо старшего политрука Румянцева. «Вот идея»,— быстро решил Рогов и громко закричал:

— Товарищ комиссар! Сюда, сюда. Здесь безопасно! — «Все-таки если он ко мне впрыгнет, это будет лучше, — тотчас же решил писарь,—и смеяться не посмеют».

Бомбы со скрежетом раздирали воздух. Вместе с потоком взрывной волны Румянцев прыгнул в щель к писарю. Над ними пронеслась целая туча пыли, ослепитель-

ная вспышка огня резанула глаза. «Гах-гах-гах»,— прозвучали подряд раскалывающие уши удары. Румянцев отбросил назад прилипшие к вспотевшему лбу пряди густых волос и, глянув вниз, на дно окопчика, в ярости закричал:

— Ах ты, телепень окаянный. Куда меня заманил!

На сильных пружинистых руках комиссар выбросил свое тяжелое тело из окопа наверх и, стряхивая с сапог ошметки нечистот, под нарастающим визгом новой серии бомб бросился вперед. Добежать до новой щели он не успел.

Огромные невидимые бомбы были уже совсем близко над землей. Румянцев это почувствовал каждой клеткой своего существа. Бросаясь плашмя на чахлую осеннюю травку, подумал: «А, пронесет!»

Над головой просвистели раскаленные осколки, его слегка приподняло над землей близкой взрывной волной. Румянцев встал на колени, ощупал ноги, шею и голову — все в порядке. Он наискосок ринулся по аэродрому и вскочил в длинную щель, где находились несколько мотористов и техник Кокорев.

Две девятки, отбомбившиеся по летному полю, уже уходили прочь. Нигде ничто не горело. Гребешок штабной землянки, все такой же аккуратный, возвышался на своем месте. Но рядом, в нескольких метрах от него, землю беспощадно разверзла бомба большого калибра. «Все пока в порядке,— радостно подумал комиссар,— не такие уж они снайперы». В воздухе снова завыли бомбы, и секунды спустя надсадное «гах-гах» послышалось в стороне от аэродрома.

Высунувшись, комиссар увидел, что над деревней, где квартировал летный состав, взметнулись два черных фонтана. Что-то горело и на окраине рощицы. «Юнкерсы» с воем разворачивались на запад, свободно маневрируя в полосе не слишком густых зенитных разрывов. Вероятно, по этим группам стреляли только те батареи, которые охраняли аэродром. А зенитчики, прикрывавшие город, в обстрел не включались. Гул моторов становился глуше.

— Живы-здоровы? — улыбаясь, спросил комиссар у Кокорева.

— Порядок,— ответил техник,— рановато нам помирать.

Комиссар вылез из щели и зашагал на командный

пункт. Над городом и далеким массивом леса, где находился штаб фронта, тоже что-то горело. Один из дымных столбов был особенно черным; Румянцев безошибочно определил, что это горит самолет. Низко над аэродромом пронеслась восьмерка «яков», зашла на посадку. От командного пункта в сторону деревни, где разрастался пожар, умчались две полуторки с людьми.

Демидов стоял у входа в землянку, тер переносицу.

— Жив, комиссар?

— Как видите.

— Здорово они нас отмолотили. На взлетной полосе надо срочно заравнивать воронки. Уже послал туда инженера. Потерь нет, только в деревне два дома сгорели.

— Чьи?

— Санчасть и школа. Посмотрим, что майор Жернаков доложит.

Из редеющих облаков пыли, поднятых севшими самолетами, появилась коренастая фигура нового комэска. Шел он неровно, и походка эта сразу насторожила Демидова.

Шевеля пересохшими губами, майор вяло и коротко доложил:

— Девяткой «яковлевых» вел бой с противником. Против нас было двенадцать «мессершмиттов» и три девятки «юнкерсов». Сбили два «юнкерса» и один «Мессершмитт-109». Наши потери — один самолет.— Жернаков поперхнулся и судорожно глотнул пыльный воздух аэродрома.— Остапа потерял, товарищ командир,— прибавил он тише.

— Какого Остапа? — спросил нерешительно Демидов.

— Остапа Жернакова, младшего брата,— ответил майор и, ни на кого не глядя, пошел прочь. Около землянки остановился, тяжело сел на высохший дерн.

— Черт возьми,— раздраженно вырвалось у Демидова,— посылаем людей в бой, а сами даже элементарных вещей о них не знаем. Нечего сказать, хороши командиры. Тебе, комиссар, известно было, что в этой эскадрилье два брата?

— Откуда же, Сергей Мартынович,— ответил Румянцев, — они прибыли только вчера вечером и с рассветом в бой. Я не бог, в самом деле.

— Не бог, не бог,— проворчал в жесткие усы Деми-

дов,— ты — комиссар, Борис, а это куда больше, чем какой-то там бог!

— Я пойду к нему, командир,— проговорил Румянцев.

Он подошел к майору, опустился рядом на корточки. Жернаков сидел на земле, спрятав в коленях голову. Тело его вздрагивало. Можно было подумать — закашлялся. Румянцев осторожно положил руку ему на плечо:

— Послушай, майор, перестань! Это только девушке говорят — плачь, легче станет. А ты коммунист, Жернаков. Зубами скрипи, а крепись. Понял? Многих еще потеряем, прежде чем победим.

Майор поднял красное, мокрое лицо.

— Товарищ старший политрук, что я скажу матери? Остап — сын у нее любимый. Тайком уходил в летную школу. Только под мою ответственность могла пустить его наша старая мать в авиацию. И на первом боевом вылете...

Майор Жернаков торопливо рассказывал, и Румянцеву рисовалась картина воздушного боя.

Младший Жернаков вел последнюю пару в девятке «яковлевых». Когда «юнкерсы» легли над штабом фронта на боевой курс, он в лобовую пошел на флагмана. Флагман не стал маневрировать. Сдвинуть рули, изменить свое положение в воздухе означало внести сумбур в действия всех остальных экипажей, и флагман бомбардировщиков не свернул с курса. На огромной скорости врезался в него остроносый «як». Сплетаясь в один огненный клубок, оба самолета рухнули на подмосковную землю.

— Вечная память твоему Остапу,— сдержанно сказал комиссар.— Но что его заставило пойти на верную смерть?

Жернаков усталым движением стянул кожаный шлем. Мокрые от пота пышные волосы склеенными прядями упали ему на лицо. Он их поправил, вздохнул.

— Он был честным и глупым, мой Остап. С тех пор как узнал о подвиге Гастелло, каждый день только и было у него разговору, что о бессмертии. Дневник стал вести с эпиграфом «Безумству храбрых поем мы песню».

Лицо Румянцева помрачнело. Комиссар встал, под его подошвами сухо заворошилась испеченная солнцем земля.

— Нет, майор Жернаков. Нам такое бессмертие ни к чему,— проговорил он.— Мы против жертвенности. У

нас другой девиз: пусть погибает враг, но сам я не должен погибнуть. Ясно?

Румянцев выпрямился.

— Вставай, Жернаков,— требовательно заговорил он,— вставай и вытри слезы. Ты — командир эскадрильи. Сейчас ты должен разобрать с подчиненными свой сегодняшний вылет. Иди к ним с незаплаканными глазами.

...Осенний закат этого тяжелого дня медленно догорал. Городские пожары, вызванные бомбежками, были уже ликвидированы, и мягкий белый цвет кварталов снова навевал мирные представления о действительности. Канонада переместилась куда-то на юго-запад и не была такой отчаянной, как утром, а к заходу солнца и совсем смолкла. На взлетной полосе аэродрома мотористы засыпáли бомбовые воронки. Истребители были рассредоточены в разных концах летного поля, чтобы при новых налетах противника не попали под его бомбы одновременно...

Тридцать три летчика сидели на сухой пыльной траве возле штабной землянки. Осколки солнечных лучей вспыхивали на целлулоидной оправе планшеток. Перед летчиками стоял Демидов, опираясь на палку с серебряным набалдашником. Он подводил итоги боевой работы полка за этот день — первый день генерального наступления немецко-фашистских войск на Москву. По три раза поднимался каждый летчик полка в воздух. Если бы взять и расчертить небо на квадраты, со сторонами в пять километров, то оказалось бы, что почти в каждом из них кипели воздушные бои. Фашисты посылали свои бомбардировщики целыми косяками; многие из групп даже не были прикрыты истребителями — атаковать такие группы было гораздо легче.

Демидов был доволен исходом воздушных боев.

За день его летчики сбили восемь «юнкерсов» и три «мессершмитта». Полк же потерял двух человек. Один из них, молодой летчик Глебушкин, был сбит в первой же атаке огнем воздушных стрелков-радистов с девятки «юнкерсов», второй — лейтенант Жернаков, погиб над Вязьмой в столкновении с флагманским самолетом противника.

Поглаживая седоватые усы, Демидов, почти не хромая, подошел к летчикам, объявил:

— А теперь слово имеет комиссар полка.

И осторожно опустился на траву около сидевших ряд-

ком комэсков Боркуна и Султан-хана. Румянцев вышел вперед, сощурил глаза от багряных солнечных лучей и спокойно заговорил:

— Так вот, дорогие товарищи! Мы сегодня прожили трудный боевой день. «Старички» не дадут мне соврать: этот день был не легче, чем двадцать второе июня. Но я должен прямо сказать, что новое наступление фашистов мы встретили гораздо организованнее, чем первое. Значит, мы стали тверже и сильнее, товарищи. Хочется особенно отметить действия шестерки И-16, ведомой капитаном Султан-ханом. Она сбила сегодня шесть вражеских самолетов. Из них два зажег сам Султан-хан. Вы, кажется, довели до пятнадцати счет сбитых машин? — обратился комиссар к Султан-хану.

Горец обрадованно засмеялся:

— Шайтан меня забери, ровно пятнадцать. Только вы Герингу не говорите об этом, товарищ комиссар.

Усталые летчики ответили дружным смехом. Улыбнулся и Румянцев.

— Командование полка решило представить вас, товарищ Султан-хан, к званию Героя Советского Союза. Летной нашей молодежи советую брать пример с капитана,— продолжал комиссар.— А кто скажет что-нибудь худое про второго нашего комэска? Про капитана Боркуна. Он со своей девяткой троих пиратов послал сегодня к праотцам. Да и новый наш командир эскадрильи майор Жернаков лично сбил «юнкерс»... Но в этот день мы потеряли два самолета. Вечная память нашим геройски погибшим друзьям — их никогда не забудет Советская Родина.

Зашуршала сухая трава под ногами встающих людей. В молчании стояли летчики до тех пор, пока Румянцев не сказал: «Прошу садиться».

— Теперь я хочу сказать несколько слов о смерти лейтенанта Жернакова,— тихо продолжал комиссар.— Он погиб красиво и мужественно, как подлинный герой, и командование полка представляет его посмертно к самой высокой награде. Но, товарищи...— Комиссар посмотрел исподлобья на майора Жернакова, увидел, как опустились у того плечи, и сам себе приказал: «Говори».— Как погиб Остап Жернаков? Он бросился на флагмана «юнкерсов» и врезался в него своим самолетом. Обе машины сгорели. В своей записной книжке лейтенант Жернаков писал: «Безумству храбрых поем мы песню,

Если я попаду в жестокий бой — свою жизнь отдам не меньше чем за три фашистских...» — Комиссар помолчал.— Все мы очень любим Горького. Но я считаю, что для нашей борьбы, для жестокой борьбы не на жизнь, а на смерть брать эти слова эпиграфом мы не имеем права. Я против безумства храбрых. Я за такую храбрость, чтобы враг в пепел, а ты был жив! И чтобы его самолет горел, а твой благополучно приземлялся на все три точки. Своими жизнями мы должны очень и очень дорожить. Вот что хотел я сказать, товарищи,— закончил комиссар.

☆☆☆☆

За ужином летчикам дали по традиционной стограммовой стопке. Алеша Стрельцов, нанюхавшийся за день авиационного бензина, уставший от бешеной гонки за чужими самолетами и постоянного опасения столкнуться со своими, тупо смотрел на свою стопку. Султан-хан, перед которым стоял пустой стаканчик, хитровато подмигнул:

— Что, Алеша, помочь?

— Берите, командир,— лениво согласился Стрельцов,— все равно не осилю.

Капитан потянулся было за рюмкой, но передумал, строго сказал:

— Нэ пойдет, ведомый. Я уже две выпил перед этим. Три много. Сам выпей, Алешка, как ведомому тебе приказываю. Мнэ твой вид не нравится. Чего угрюмый, как дербентский мулла? Устал?

— Устал, командир.

— Тогда пей. Раз, два, три. Ну!

— Обязательно дерни, дружок,— добродушно посоветовал сидевший с ними за столом Боркун,— мускулы отойдут, нервы угомонятся, и разум чище станет. Знаешь, что один киевский князь по данному поводу говорил? Забыл его имя... Чару пити — здраву быти, другу пити — ум веселити, утроити — ум устроити. Много пити — без ума быти. Так давай, чтобы здраву быти! Или лучше, знаешь, за что? Чтобы у твоего ведущего на гимнастерке поскорее Золотая Звезда заблестела.

— За это я с удовольствием! — воскликнул Алеша и залпом выпил стопку.

Водка была теплой, противной. Он закашлялся и долго закусывал винегретом и селедкой. Когда после котлет подали чай и полагавшееся к нему печенье «ленч» с маленьким квадратиком масла, Боркун огромной ладонью сгреб все четыре порции в карман своего комбинезона и, не пускаясь в длинные объяснения, пробасил:

— Так надо, ребята. Если кто не наелся, просите у девушек добавок, а это я с собой заберу.

Выходя из столовой, Алеша шепнул Воронову:

— Кому это он потащил, Коля?

Воронов неопределенно покачал головой. Широкая спина Боркуна быстро растаяла в сумерках. Летчики шагали медленно, утомленно. Около крайней хаты, разбитой прямым попаданием бомбы, Султан-хан остановился, ногой поддел обгоревшую доску. Она перевернулась. «Санчасть» — было намалевано на ней суриком. От полуразвалившихся стен несло гарью. Седой, пышущий жаром пепел сыпался с них. Только печь, широкая, русская, добротно сложенная каким-то умельцем, осталась неповрежденной. Черным надгробием высилась она над пепелищем. Из-за печи показалась женская фигура. Султан-хан узнал рыжеволосую медсестру Лиду. Негромко окликнул:

— Лида? Что тут бродишь?

Она вздрогнула, шагнула навстречу. Была она принаряжена, от ее легкого в сиреневых разводах платья пахло пудрой и одеколоном. В платье Лида казалась красивее, чем в обычной своей гимнастерке и юбке.

— Это ты, Султанка,— насмешливо окликнула она,— чуть не напугал, сумасшедший. Видал, как нас фрицы разукрасили?

— А ты чего тут рыщешь, как тень отца Гамлета?

— Прибор для маникюра у меня в чемоданчике оставался. Может, найду,— беззаботно ответила медсестра.

Султан-хан присвистнул от удивления.

— Ай да Лидка,— поцокал он языком,— кругом смерть, разрушения, а она о своих маленьких пальчиках заботится. Какой хладнокровный человек. Вай! Убитые были?

— Ни убитых, ни раненых. Во время бомбежки медперсонала здесь не было.

— А где же изволили находиться наши помощники смерти?

— На аэродроме. Вас, шалопаев, из боя ждали,— огрызнулась беззлобно Лида.— Ну, чего злоязычишь?— заговорила она быстро, переходя на доверительный шепот.— Эх, Султанка. Вот мазанет когда-нибудь такая фугасочка, и поминай как звали. И подумать ни о чем не успеем.

— А о грехах своих? — усмехнулся горец.

— Так их у тебя еще не было,— хохотнула Лида,— давай заведем, а?

Горец покачал головой:

— Вай, не буду с тобой грехов заводить. У меня в Ростове невеста. И тоже по мне соскучилась. Как же я могу себя надвое поделить.

— Ну и дурак, — без смеха сказала ему вслед медсестра.— Смотри, как бы она себя на пятерых не поделила.

Лида проводила его грустными глазами и только сейчас заметила лейтенантов:

— А вы чего подслушиваете? Не стыдно?

— А мы ничего такого даже и не видели, Лидочка,— бойко ответил Воронов, усвоивший в обращении с медсестрой тот легкий, слегка развязный тон, каким с ней разговаривали почти все летчики. Но она внезапно вспылила:

— Пошли прочь. Какая я тебе Лидочка? Свою кралю будешь называть Лидочкой, если она у тебя, рыжего, когда-нибудь заведется.

Воронов опешил. Увлекая за собой Алексея, он громко, так, чтобы медсестра слышала каждое слово, проговорил:

— Смотри-ка, Леша. Не иначе она в твоего Султанку всерьез втрескалась. Пошли от греха.

У Алеши трещала голова. Рев мотора, дробное постукивание пушки и пулеметов, треск эфира в шлемофоне — все это до сих пор стояло в ушах. Он с наслаждением думал о том, как растянется сейчас на узкой, обжитой кровати и блаженно заснет, мысленно наплевав и на войну, и на возможные бомбежки, и на приблизившиеся артиллерийские раскаты. Но этому не суждено было осуществиться. У крыльца стояла полуторка. На груде чемоданов, теплых комбинезонов и разного другого имущества, вплоть до электрического утюга, который возил с собой хозяйственный лейтенант Барыбин, сидели летчики его эскадрильи.

— Залазь, Стрельцов,— услышал Алеша негромкий голос Красильникова,— твой чемодан здесь.

— А куда вы? — растерянно спросил Алексей.

— Командир полка приказал весь летный состав переселить в аэродромные землянки.

— Почему?

— Боится, как бы немцы ночью по селу не отбомбились. Садись, поедем располагаться. Там, говорят, сносно.

Алеша вздохнул и полез в кузов.

Примерно через час лейтенант Ипатьев, проверявший, все ли летчики переселились из села в аэродромные землянки, доложил Демидову:

— Всех упрятал под землю, товарищ подполковник. Только капитан Боркун отказался выехать из дому. Выкопал на огороде щель и говорит: «Меня и тут фрицы не возьмут. Сплю я чутко, успею до щели дотопать, если что».

Демидов, рассчитывавший по карте маршруты запланированных на утро боевых вылетов, поднял на оперативного дежурного усталые глаза:

— То есть как это отказался? Я ему кто: командир полка или балалайка! Приказ есть приказ. Он что, с молодой хозяйкой боится расстаться?

Румянцев, синим карандашом отчеркнув абзац из передовицы «Правды», поглядел на подполковника.

— Не надо трогать капитана Боркуна, товарищ командир,— сказал он решительно,— там сложная ситуация.

А Василий Боркун, ступая тяжелыми пыльными сапогами, входил в это время в дом. В маленькой комнатке он поправил на окне маскировочную штору и зажег свет. Выложил на стол печенье, масло, кусочки сахару и ломти белого свежевыпеченного хлеба. Потом постучался в соседнюю дверь.

— Войдите,— послышался усталый женский голос.

Капитан перешагнул порог.

— Добрый вечер, Алена Семеновна.

— Вечер добрый, Василий Николаевич.

Косяк тусклого света от лампы, подвешенной к потолку, падал на сидевшую за столом женщину. Было ей лет за сорок. В черных волосах уже мелькали холодные паутинки седины, худое лицо было пересечено морщинами, на заскорузлых руках набрякли синие вены. Она сидела в плетеном кресле, необычном в деревенской избе,

В руках у нее сновали тонкие вязальные спицы, волоча за собой белую шерстяную нитку.

— Что вяжете, Алена Семеновна? — спросил Боркун, чтобы хоть что-нибудь сказать.

— Варежки, Василий Николаевич.

— Варежки? — переспросил он удивленно.— Да рано же.

Она горько вздохнула и пожала плечами:

— Кто теперь разберет, что рано, а что поздно? Все перепуталось!

Боркун огляделся по сторонам.

— А где же мои сорванцы-побратимы Борька-наш и Борька-погорельский? — весело забасил он, и тотчас на лежанке послышалась возня. Один за другим соскочили оттуда два белобрысых мальчонка в одинаковых полосатых рубахах из дешевого полотна и синих трусиках. Немытые ноги с поцарапанными коленками зашлепали по дощатому полу.

Борька-наш, большеглазый мальчик с круглой головой на тонкой загорелой шее, был сыном хозяйки Алены Семеновны, а Борька-погорельский доводился ему двоюродным братом. «Погорельским» его назвали дальние родственницы хозяйки, которые с неделю назад привезли его из-подо Ржева, из деревни Погорелое Городище. Колхозный конюх вытащил оглушенного мальчика из горящей избы во время жестокой бомбежки. Мать, отец и годовалая сестренка погибли под рухнувшей кровлей.

Четырехлетнему Борьке сказали, что его родители уехали бить фашистов, а он должен пожить у тети Алены, и мальчик, похныкав, поверил этой нехитрой выдумке. К Борьке-нашему он стал относиться, как к родному брату. Был Борька-погорельский чуть повыше своего сверстника и чуть поозорнее. Глазенки у него отливали светло-голубым цветом, а на щеках все время вздрагивали веселые ямочки.

— Дядя Боркун, что будем делать? — первым бросился он к летчику и прильнул к его ноге, обхватив ее ручонками повыше колена.

— Чай пить! — весело отозвался Боркун.

— Стаканы подавать? — деловито осведомился Борька-наш.

— Конечно, и стаканы,— подтвердил Боркун.— А ну, марш рысью в мою комнату за бортпайком.

Вскоре над столом возвышались две белобрысые

мальчишеские головы и слышалось старательное прихлебывание. Оба Борьки очень любили печенье «ленч». Ели они его медленно, смакуя. Каждое печенье макали в горячий чай и с наслаждением откусывали по кусочку.

— У тебя вкусное? — осведомлялся Борька-погорельский у своего побратима.

— Как мороженое,— отвечал Борька-наш и тотчас же осаждал Василия градом вопросов.— Дядя Боркун, а у немцев тоже такое печенье?

— Нет, хлопцы, у них дрянное, эрзацем называется.

— А добрые немцы есть?

— Добрые? — переспрашивал Боркун, и нижняя его губа вздрагивала.— Задачку ты мне, брат, загадал... Гм... Пожалуй, все-таки есть и добрые, например Тельман. Он всегда против Гитлера и немецких буржуев шел. И товарищи у него хорошие. Только фашисты их всех пересажали по тюрьмам. А вот те немцы, которые на нашу землю пришли, это гадкие, злые. Их надо бить.

Сняв гимнастерку, он сидел с ребятишками за грубо сколоченным крестьянским столом по-домашнему, в одной тенниске. На оголенных руках перекатывались желваки мускулов.

— А ты их сегодня бил? — не отставал Борька-наш.

— Пришлось,— неторопливо отвечал Василий.

— Мой папка их тоже бьет.

— А у меня и папа и мама, — вставил Борька-погорельский.— А ты их бьешь зачем, дядя Боркун, чтобы они бомбы на меня не бросали?

— Да, сынок, чтобы они бомбы на тебя не бросали,— согласился Василий, гладя сиротскую голову тяжелой своей пятерней.

— Какая бо-ольшая рука! — восторженно воскликнул малыш.— Дядя Боркун, а ты своей рукой фашиста убьешь аль нет?

— Вот уж никогда не задумывался, Борька. По-моему, все-таки убил бы, если бы здорово разозлился.

— Дядя Боркун,— протянул Борька-погорельский,— а шлемом поиграться можно?

— Можно.

— И я хочу,— взвизгнул Борька-наш, но Боркун быстро уладил возникший конфликт.

— А ты планшеткой. А потом, чур, обменяться. Вы же у меня солдаты. Значит, приказ должны выполнять строго.

И через несколько минут он нараспев, как опытный старшина, подал команду:

— По-о-о-меняться игрушками!

Потом они втроем носились по избе друг за другом, весело хохоча. Сталкивались в один клубок где-нибудь в сенях, и Борька-погорельский радостно восклицал:

— Ну и шишку набил!

Наигравшись, оба Борьки залезли на лежанку, а Боркун сел на узкую жесткую скамью внизу и рассказывал все знакомые ему сызмальства сказки до той поры, пока шум и возня на лежанке не затихли.

Он поднялся, потягиваясь.

— Спокойной ночи, Алена Семеновна.

— Спокойной ночи, Василий Николаевич,— отозвалась она, глядя на летчика из-под стекол очков,— замотались вы с моей мошкарой. Липучие они.

— Что вы! — добродушно пробасил Боркун.— Только с ними сердце и отходит.

— Привыкли они к вам,— продолжала хозяйка, откладывая моток шерсти, который весь вечер сосредоточенно и огорченно пронизывала острыми длинными спицами.— Давеча вы к дому подходите, а Боренька, не мой, а Стеши покойной, ручонками замахал да как закричит: «Ой, папка мой идет!»

Боркун взялся было за дверную скобу и остановился.

— Алена Семеновна,— сказал он глухо и выжидательно,— а если я его к себе заберу?

— Куда к себе? — не поняла женщина.

— Совсем,— пояснил Боркун,— в сыновья. Пойду в сельсовет или куда там и все оформлю. Потом к жене отправлю,— неуверенно прибавил он,— в Волоколамск.

— Так и туда немцы подступают. Ох, господи,— она всплеснула натруженными руками и подошла к летчику, неся тревогу в увядших глазах.— Добрая вы душа, Василий Николаевич. Ну объясните мне, почему все так? Была граница аж под Брест-Литовском, а теперь до Москвы приблизилась, и за такой короткий срок. Ну почему нельзя их остановить? Разве мы, простые люди, мало делали для армии, чтоб она сильней была? Этими вот руками делали! — она подняла свои ладони, в горьком раздумье на них поглядела.— Недосыпали, недоедали, а все давали для армии. Почему же она отступает?

— Эх, Алена Семеновна! — сказал он тихо.— Да что

я, комиссар, что ли! Я сам это «почему» задаю себе по десять раз на день.

Женщина покачала головой, улыбнулась.

— Прямой вы человек, Василий Николаевич. Вот уж правду народ говорит, кто детей малых, неразумных любит, у того сердце доброе. Спокойной вам ночи. Если что, не откажите присмотреть за ребятами. Я до утра на станцию ухожу на погрузку. Эшелон заводской завтра отправляют. Знать, эвакуируется город-то.

Набросив теплый пуховый платок, Алена Семеновна вышла.

Боркун долго еще сидел в своей маленькой комнате, не гася лампы. Перед ним на столике стояла в картонной рамке фотография жены. Приблизив ее к глазам, он с тоской рассматривал такое знакомое и чем-то чужое на фотографии лицо. Нет, фотограф явно ошибся. Или щелкнул раньше времени, или передержал бумагу, когда печатал. Валя получилась на снимке старше и строже, чем была на самом деле. Все как будто на месте: и родинка на левой щеке возле носа, и широкие негустые брови, и не слишком высокий лоб с поперечной складочкой, и небрежный зачес светлых волос, сразу убеждающий, что сделан он рукой человека, не придающего большого значения внешности, и узкий мягкий подбородок, и полные губы, покрытые в уголках едва заметным пушком, чуть улыбающиеся. Да, все ее, Валино. А со снимка смотрела совсем не она. Взгляд чужой, сосредоточенно-холодный.

Боркун вспомнил, как они объяснились. Было это зимой, в январский мороз. Валя тогда кончала дорожно-строительный институт, сидела над дипломным проектом. Он знал ее с полгода. Их познакомили на студенческом вечере, куда Василий попал вместе с Султан-ханом и еще двумя летчиками их полка. Обратно шли далеко за полночь веселой гурьбой, провожая девушек по домам. Разглядев как следует Боркуна, стриженного под бокс, грузного, немного флегматичного, Валя Соловьева сказала:

— Ой, девчата, как я не люблю толстых.

А минутой спустя, бросив на него еще один пристальный, полный затаенного любопытства взгляд, прибавила:

— Ох, девочки, а как я не люблю летчиков. Они все такие самоуверенные.

Боркун снова поймал на себе ее взгляд. Ненаходчи-

вый от природы, он не сразу ответил. Для чего-то ладонью провел по жилистой шее, вздохнул:

— А я и не летчик вовсе.

— Кто же вы?

— Пожарник! — выпалил Боркун.— Да, да! Чего вы на меня такими квадратными глазами уставились. Начальник пожарной охраны авиагарнизона, можете у Султанхана спросить.

— Конечно,— гортанным веселым голосом поддакнул горец,— он настоящий пожарник. Медная каска, машина с колокольчиками и лозунг: спасайся, кто может. Словом, как Эдит Утесова поет: «Он готов погасить все пожары, но не хочет гасить только мой!» Вот он кто, наш Вася Боркун.

Валя улыбнулась и прибавила уже добрее, глядя Василию прямо в глаза:

— А лгунов еще больше не люблю.

Каждую субботу и воскресенье Боркун ездил к ней и так привязался, что ни дня не мог провести, чтобы не позвонить в студенческое общежитие. Любовь у них была какая-то тихая, ясная и очень спокойная. Ни одной ссоры, ни одного поцелуя. Встречались, говорили о жизни, о товарищах, о театре, читали друг другу стихи. Валя часто выступала в концертах самодеятельности, отлично читала Блока. Боркун рассказывал ей об аэродромной жизни и полетах. Иногда умолкали и подолгу смотрели друг на друга. Глаза Вали становились большими, светлели.

— Ну чего вы так смотрите? — тихо шептала она.

— А вы? — невпопад спрашивал Василий.

После Нового года в очередную получку он купил в оранжерее огромный букет хризантем, золотое колечко в маленьком футлярчике и один, без товарищей, приехал к Вале. Подруги были в театре. Он умышленно воспользовался этим. Ввалился в комнату в реглане и, несмотря на мороз, в щегольской фуражке, положил цветы на стол:

— Это я вам.

Валя смотрела на него смятенная, все сразу понявшая и не хотевшая понимать.

— Зачем, не нужно...

— Как не нужно? — пробасил Боркун.— Не могу я больше, Валя. Не могу дальше быть один. Давайте вдвоем, на всю жизнь, ладно?

Кажется, не было более счастливого дня, чем этот, у двадцатишестилетнего Боркуна.

Подполковник Демидов, поворчав, поздравил их с законным браком.

— Березовым веничком отодрать бы вашего жениха,— с деланной суровостью сказал он Вале,— хоть бы предупредил, а то как снег на голову. Где мне теперь для вас комнату искать?

— Да он и с предложением как снег на голову, — смеялась похорошевшая, сияющая Валя, — а с комнатой мы и до весны потерпим, не беспокойтесь!

— Нет, у меня в полку порядок, — заявил Демидов, — так не пойдет.

И комната, теплая, семнадцатиметровая, с большим окном на восток, нашлась для молодоженов.

Мягкая, сосредоточенно задумчивая и впечатлительная, Валя не сразу привыкла к судьбе жены летчика. Первый месяц она всякий раз с тревогой и волнением ждала мужа с полетов. А когда в гарнизоне случилась беда — разбился капитан Кошкин, опытный летчик, допустивший грубую ошибку при посадке с неработающим мотором, — Валя целую ночь проплакала и, обнимая Василия, громко шептала:

— Не пущу тебя больше. Честное слово, не пущу на аэродром, и все. И ни один маршал мне ничего не сделает. Уходи, Вася, с летной работы. Ты умный, начитанный, математику хорошо знаешь. Можешь преподавателем стать. Ненавижу твои самолеты, слышишь!

А он спокойно гладил огромной рукой ее волосы, разметавшиеся по белой подушке, и тихо говорил:

— Успокойся, Валюша. Привыкнешь. Не могу я их бросить, эти самолеты, — в них моя жизнь. Каждому свое: кому детишек учить, кому в небо подниматься.

Валя слушала и понимала, что нет в этих словах никакой рисовки, что идут они от самой души Василия. И странное дело, от этого становилось легче.

Не зря говорят, что время самый лучший исцелитель. Прошли месяцы, и Валентина отступила, приняла суровую жизнь мужа такой, какая она есть. Она работала инженером в местном горкоммунхозе, была своей работой довольна. В гарнизоне появились добрые товарищи. За неделю до начала войны Валя уехала в отпуск к старикам родителям в Волоколамск да так там и осталась. Василий получил несколько ее писем, коротких, ласковых

и тревожных. Он успокаивал ее в своих ответах, сообщал, что на боевые задания летает редко, а потом прочитал в очередном ее постскриптуме короткую фразу, остро напомнившую день их знакомства: «Ты же знаешь, что я не люблю лгунов, да еще неумелых». И он целовал тогда простой, вырванный из ученической тетради листок, перечитывая эту строчку.

Сейчас Волоколамск близко. Но разве можно думать о свидании с Валей в разгар таких жестоких непрерывных боев?

...Боркун с грустью поставил на стол фотографию жены. Прошел по сонному дому и заглянул на лежанку. Там, приткнувшись друг к другу, сладко похрапывали Борька-наш и Борька-погорельский. Василий поправил край пестрого стеганого одеяла и бесшумно вернулся к себе.

Боркун любил людей тихой совестливой любовью. Ему, большому, прямодушному, сильному, часто становилось стыдно за чужие пороки и ошибки. Если он видел плохое, ему казалось, что это плохое происходит именно с ним, а не с тем, в ком он его обнаружил. Вероятно, поэтому Боркун грубо и прямолинейно вмешивался в поведение своих друзей, если они, по его мнению, этого заслуживали. И его обычно слушали, ему повиновались. Трудно сказать, что производило впечатление: спокойная ли немногословная речь, внушительная, полная силы фигура или способность изредка приходить в страшную для других ярость. Но тот, кто, по мнению Боркуна, делал доброе, хорошее, мог рассчитывать на его поддержку и ласку.

Сейчас Боркун с болью думал о маленьком Борьке-погорельском, к которому так привязался за последние дни.

— Как же бросить мне его, паршивца. Взять надо — и баста! Валя небось рада будет! Все равно своих пока нет. А если и появятся, Борька-погорельский их не объест.

Василий снял только сапоги и одетым лег на кровать. Под тяжелое громыхание артиллерии, доносившееся с приблизившейся к аэродрому линии фронта, впал в зыбкий сон... Очнулся среди ночи от звона стекла. Со стен кусками падала известка. «Бомбят!» — ожгла мысль. Боркун мгновенно натянул без портянок сапоги. В соседней комнате хныкали дети. Он схватил их в охапку и бегом

бросился во двор. Там, в конце картофельных грядок, чернела вырытая им и Колей Вороновым щель. Над головой возник знакомый ноющий свист. Будто на тысячи хохочущих бесноватых голосов дробилась падающая бомба. Боркун едва успел вскочить в щель и пригнуть к земле ребячьи головы, закрывая их своей широкой грудью, как столб огня и земли возник в нескольких метрах от него. Ему даже показалось, что он увидел зловещее черное тело бомбы в ту минуту, когда оно соприкоснулось с землей. Оглушил грохот. Охнув, осела в окопчике холодная, росная земля. Секунду или две Боркун ничего не слышал. Он только чувствовал, как прижимаются к нему горячие детские тела, и, когда новая серия бомб заныла поблизости, снова прикрыл их собой.

Странное дело — новые взрывы возвратили ему слух. Осколки просвистели над головой, один из них беззвучно шлепнулся на бруствер. Рев удаляющихся самолетов проплыл над селом, и по этому реву Боркун определил, что бомбили их не тяжелые «Юнкерсы-88», а двухмоторные истребители «Мессершмитт-110». Он чуть высунулся из щели. Багровое пламя в окоёме дыма столбом валило в предутреннее небо. Горел дом, где еще вчера ночевали летчики из эскадрильи его друга Султан-хана. «Ай какой умница наш батя Демидов, — подумал Боркун. — Ну что, если б не вывез он летчиков на аэродром. Сколько гробов сейчас было бы!» Он легонько щелкнул по затылку притихшего Борьку-погорельского.

— Что? Испугался?

— А я не боюсь, дядя Боркун, — азартно крикнул мальчик, — ничего с тобой не боюсь. Хочешь — буду бомбы ловить?

— И я тоже, — нерешительно присоединился Борька-наш.

Боркун наклонился и шершавыми, обсыпанными землей губами поцеловал каждого.

— Ай да герои мои мальчишки, любо посмотреть.

Он сбегал в дом, принес тюфяк и уложил на него ребят на дне щели, прикрыв стеганым одеялом. Измученные дети заснули быстро. Боркун лег рядом в будыльях подсолнухов, подстелив под себя плащ-палатку. Слышно было, как около разбитого бомбой горящего дома суетились красноармейцы аэродромного батальона. По обрывкам их выкриков капитан понял, что хозяева избы успели уйти и никто не погиб. Сейчас красноармейцы пыта-

лись вытащить из-под обломков уцелевший хозяйский скарб. «Там я помочь уже ничем не могу»,— грустно подумал Боркун.

Он остался спать под открытым небом в твердой уверенности, что фашисты повторят налет. Потревоженный его сон то и дело прерывался. Сначала неприятно обдал лицо холодок рассвета. Потом резанули первые солнечные лучи, заставившие перевернуться на другой бок. Затем по иссохшему, почерневшему стеблю подсолнуха сполз на землю разбуженный солнцем серый кузнечик, удивленно пошевелил усиками и как ни в чем не бывало прыгнул на щеку Боркуну, жесткую и колючую. Боркун, не открывая глаз, смахнул его пальцами и опять задремал. Что-то хорошее и приятное, далекое от фронта и от смерти, пришло во сне. Большие губы Василия сложились в улыбку. Но пронзительная пулеметная очередь оборвала этот сон. Еще не очнувшись толком, Боркун пружинисто вскочил на ноги. Увидел низко над землей хвост выходившего из пике «Мессершмитта-110». Желтые консоли крыльев второй машины блеснули правее, и снова дробная очередь бичом полоснула по земле. На улице поднялись фонтанчики пыли. «Промазал, гад», — протирая глаза, определил Боркун. Два других «мессершмитта» сбрасывали мелкие осколочные и зажигательные бомбы на аэродром. Боркун поглядел в щель. На дне ее беззаботно посапывали Борька-наш и Борька-погорельский.

«Вот бедолаги, — подумал он. — Даже пулеметными очередями их не разбудишь». И снова завалился спать.

Солнце стало припекать сильнее. Боркун не услышал длинного гудка подъехавшей «эмки». Разбудил его громкий знакомый голос:

— Вот ты где, орелик. А мы-то ищем! — Он открыл глаза и увидел улыбающегося, доброго, свежевыбритого Демидова.

— Задремал маленько, товарищ командир, — сказал Боркун оправдываясь.

Но подполковник даже не взглянул на него. Он неотрывно смотрел на две белобрысые головы, на серьезные личики ребят во сне.

— Это, что ли, твои любимцы?

— Они, — застенчиво сознался Боркун. — А вы откуда знаете?

— Комиссар сказал. Которого же ты хочешь усыновить?

— Вон этого, с ямочками на щеках, Борьку-погорельского.

— Обожди, комэск, — серьезно сказал Демидов. — Не время сейчас. Вот отбросим немцев от Москвы, тогда и заберешь. А сейчас только парня замучишь.

От калитки спешила осунувшаяся за бессонную рабочую ночь Алена Семеновна. Убедившись, что ребята невредимы, благодарно взглянула на капитана.

— Спасибо, Василий Николаевич. — Она перевела нерешительный взгляд на Демидова. — Может, самовар поставить, чайку попьете, товарищ начальник?

— Благодарю, хозяюшка, — ласково отказался подполковник, — нам, как говорится, пора со двора.

Через минуту «эмка» лихо понесла их по улице обезлюдевшего села к аэродрому. На командном пункте Демидов коротко приказал Боркуну:

— Выспаться. Побриться. В полет пойдете во второй половине дня.

— Значит, эскадрилья наша с утра не полетит?

— Полетит.

— А кто поведет?

— Я, — ответил командир полка. — Надо нам силы беречь, Боркун. Опытных ведущих в полку осталось немного. Раз, два и обчелся. Ты, Султан-хан, комиссар и я. Будем чередоваться. Идите отдыхать.

День вставал над аэродромом, обогретый щедрым, но уже не палящим, а по-осеннему прохладным солнцем. В воздухе плавали тонкие нити паутины. Бабье лето коснулось подмосковной земли. Рощица заметно пожелтела, стала еще красивее. Пыль над дорогами не была уже густой и горькой, как неделю назад. На окрестных буграх золотились пустые сенокосы. А большой купол неба, подернутый редкими перистыми облаками, был все таким же ослепительно голубым и обманчиво мирным. Не верилось, что всего час назад его бороздили желтые двухмоторные «мессершмитты», сея смерть и разрушения.

Оперативный дежурный Ипатьев вторые сутки не спал. Щуря побаливающие, красные глаза, он держал телефонную трубку, ловко прижимая ее к щеке плечом и подбородком, и, повторяя вслух передаваемую из штаба фронта обстановку, делал на карте быстрые отметки синим карандашом.

— Да, да, понял, — говорил он, — танки прорвались южнее Мятлево. Головная колонна завернула на север

и прошла еще десять километров. Это значит, по направлению к нашему аэродрому. А западнее Сычевки? Наша артиллерия и штурмовики задержали танки. Пехота стоит на старом рубеже. Отлично! Простите, одну минуточку. Послушаю другой телефон.

Положив карандаш на карту, Ипатьев схватил трубку соседнего телефона, на котором было написано «Воздух», прижал к другому уху.

— Внимание, воздух! — выкрикнул он, обращаясь ко всем находящимся в землянке.

Смолкли голоса. Петельников склонился над другой картой, готовясь нанести на нее пометки. Ипатьев передавал:

— Воздух. Со стороны Сычевки курсом на Вязьму сорок «Юнкерсов-88». От Юхнова курсом на Вязьму без прикрытия истребителей пятьдесят «юнкерсов». — Он отложил трубку, коротко прибавил от себя: — Все, товарищи командиры.

Третий телефон, на нем было написано «Командующий ВВС», буквально оглушил всех.

— Лейтенант Ипатьев слушает, товарищ генерал.

Трубка обожгла ему ухо свирепым коротким окриком: «Командира!»

— Я вас слушаю, — включился в разговор Демидов. Он произнес эти слова спокойно, внятно, вовсе не подозревая, что на другом конце провода бушует гроза.

— Ты что спишь, Демидов! — яростно набросился на него Комаров. — Целый полк погрузил в летаргический сон и рад! Девяносто машин идут на город, а ты еще никого не поднял.

— Товарищ генерал, — потемнел от волнения подполковник, и на его оспинах появились крупные капли пота, — я по вашему приказанию подготовил все три эскадрильи действовать над линией фронта.

— Первое приказание отменяю! — загремел Комаров. — Выполнять последнее. Все самолеты на прикрытие города и района.

— Есть, — ответил Демидов и стал натягивать на голову плохо подогнанный шлем. — Румянцев, остаетесь за меня. Я поведу вторую эскадрилью.

...Тремя группами они поднялись в воздух. Демидов приказал двенадцати самолетам майора Жернакова идти в направлении Сычевки и встретить колонну фашистских бомбардировщиков на дальних подступах к цели. Шес-

терка Султан-хана была брошена на группу «юнкерсов», идущую со стороны Юхнова. Сам же Демидов с девяткой «яков» поднялся на четыре с половиной тысячи метров и барражировал над городом.

Тягостно тянулись минуты ожидания перед встречей с врагом, когда тело цепенеет от напряжения, шее становится больно от бесконечных поворотов головы и кровь неспокойно стучит в ушах.

После перерыва в летной работе, вызванного ранением, Демидов был предельно осторожен. Острый нос его «яковлева» то и дело поднимался и опускался, а крылья машины кренились то в одну, то в другую сторону. Спокойные зоркие глаза с острыми зрачками непрерывно обозревали небо. Опытный летчик, он редко взглядывал на доску приборов. Каждым твердым от напряжения мускулом, каждым нервом ощущал он машину. Ухо уловило бы малейшую неточную ноту в работе мотора.

Около десяти минут «яковлевы» находились в полете. Внизу смутными контурами расплескивалась земля. С высоты она казалась огромной топографической картой, на которую крупными условными знаками нанесли города, села, ленты дорог, озера и лесные массивы. Эти десять минут показались Демидову невыносимо долгими, и он обрадовался, когда услышал в наушниках знакомый голос Султан-хана, находившегося километрах в двадцати пяти от него.

— Командир! Атакую «юнкерса»!

Прошла минута, не больше, и радиостанция донесла отчаянные ругательства:

— Алешка, добивай его, дьявола, в хвост и гриву. Еще бэй! Дымит! Оч-чень порядок!

Но в тот же миг послышался полный тревоги голос Жернакова:

— Камаев, горишь, выпрыгивай. Камаев, выпрыгивай!

Демидов облизал пересохшие губы.

— Жернаков, что случилось? — запросил он требовательно.

Голос майора, уже уравновешенный и отчетливый, ответил:

— Сбили лейтенанта Камаева. Идем во вторую атаку.

И все смолкло. Демидов все так же напряженно осматривался. Он не вздрогнул и не заволновался, когда заметил наплывающие с юго-запада силуэты «юнкерсов»,

столько раз виденных им в воздухе. Три девятки шли одна за другой в кильватере, плотным парадным строем. Четвертая группа была растрепана. Демидов насчитал в ней только семь «юнкерсов». Последний самолет сильно отстал, и за ним по пятам неслась шестерка маленьких тупоголовых «ишачков» Султан-хана. Демидов моментально принял решение:

— Атакуем первую девятку!

Ведомые им «яки» вразброд стали переваливаться с крыла на крыло, подтверждая, что поняли приказ командира. Демидов точно рассчитал атаку. «Юнкерсы» шли не выше трех с половиной тысяч метров. У него был огромный запас высоты. И с этой высоты, сделав крутой вираж, «яки» все вместе, тремя группами обрушились вниз. Вплетаясь в тугой уверенный бас мотора, завыл ветер за светлым плексигласом кабины. Демидов взял в прицел флагманский самолет и коротко приказал ведомому:

— Тоже бей по флагману.

Росла, увеличивалась в тонком перекрестии цель. Под серебряным от солнца силуэтом «юнкерса» темнел лес, тот самый лес, где был расквартирован штаб фронта, откуда в сражающиеся дивизии и полки шли провода связи. Флагман уже лег на боевой курс. Его экипаж переживал те мгновения, когда, забыв о возможных опасностях, все свое внимание он должен сосредоточить на одном — как можно точнее поразить бомбами цель. Флагман не маневрировал, не менял высоты. Словно раз и навсегда привязанный к заданному курсу, шел он вперед, оставляя за собой взвихренный след инверсии.

На пути у Демидова вспыхнула трасса, выпущенная штурманом. Подполковник легонько качнул ручкой управления, удаляясь от нее, потом большим пальцем нажал на кнопку спуска. Весело застучала пушка. Снаряды впились в правую плоскость немецкого бомбардировщика. Выводя свой «як» из пикирования, Демидов успел заметить, как правый мотор «юнкерса» выбросил в октябрьское небо густой сноп огня. Срываясь с огромной высоты, дымом пятная воздух, флагман рушился вниз. Когда Демидов, набрав с полтысячи метров, посмотрел на землю, ему стало радостно и легко. Четырьмя кострами горели фашистские самолеты. От первой девятки уцелело только пять машин. Сбрасывая бомбы куда попало, не дойдя до цели, «юнкерсы» поспешно разворачивались на запад...

День прошел в томительном напряжении. Еще один раз всеми исправными самолетами летчики демидовского полка совершили вылет к линии фронта. Группы истребителей повели комиссар Румянцев, капитан Боркун и майор Жернаков. Едва успели растаять силуэты самолетов, как на скрытые в лесу блиндажи штаба фронта и замаскированные узлы связи обрушились новые группы «юнкерсов». На этот раз они пришли под усиленным прикрытием «Мессершмиттов-109». Часть вражеских истребителей несколько раз атаковала аэродром и всадила с полсотни очередей в пустые самолетные стоянки.

Двадцать минут висели «юнкерсы» над лесом, где располагался штаб фронта, и молотили землю тяжелыми фугасными бомбами. Когда они отошли от цели, над лесом стоял густой черный дым.

Из второго полета летчики демидовского полка возвратились без потерь. Они разогнали над переправой три группы одномоторных пикировщиков Ю-87 и сбили один из них таким плотным групповым огнем, что никто не хотел приписывать эту победу себе. Так и донесли в штаб фронта: «Группа старшего политрука Румянцева сбила один Ю-87», — и все этой формулировкой остались довольны.

Косые вечерние тени уже легли на стоянки и на летное поле, когда лейтенант Ипатьев принял по телефону новое сообщение об изменениях в наземной обстановке. Положив на колени отговорившую телефонную трубку, он, сникший и потускневший, сказал Демидову:

— Немцы прорвались, товарищ командир.

— Где? — отрывисто спросил подполковник.

— Везде, — вяло доложил лейтенант. — Линия фронта приблизилась к нам еще на десять километров со стороны юга. С севера — на восемь.

— А на западе?

— Отрезали наш отступающий корпус.

— Тихо, — сурово остановил его Демидов, — пока об этом никому ни слова.

К вечеру он приказал выставить на границах аэродрома посты, вооруженные ручными пулеметами и гранатами, а всех летчиков собрать на КП. Сердцем чуя недоброе, Боркун, улучив минуту, прямо из столовой зашел на квартиру. Он принес ребятам две пачки печенья, две банки мясных консервов и каравай белого хлеба. Заложил в планшетку Валину фотографию. Алена Семенов-

на с порога наблюдала за каждым его движением. Ее худенькие плечи зябко вздрагивали под старым ватником.

— Уходите, Василий Николаевич? — спросила она приглушенно.

Боркун порывисто обернулся, опустил бессильно руки.

Борька-погорельский доверчивыми светло-голубыми глазами смотрел на него, и ямочки вздрагивали на щеках.

— Куда уходишь, дядя Боркун? Фашиста бить? А завтра придешь? Ты смотри приходи, не обманывай, я тебя буду ждать.

Это было хуже пытки. Капитан взял его на руки, прижал к себе, долго целовал теплые, пахнущие парным молоком щеки.

— Приду, Борька, обязательно приду. Я тебя никогда не забуду!

Он стоял посредине комнаты, широко расставив ноги в пропыленных сапогах, и вдруг почувствовал, как по выбритой щеке поползла непрошеная солоноватая капля. Он, никогда не ронявший слез, ни в дни гибели лучших друзей, ни в дни больших радостей, едва не расплакался от одной мысли, что может не увидеть больше сиротского сына Борьку-погорельского.

— Не знаю, Алена Семеновна, — ответил он честно,— приказа еще нет. Но немцы близко. Не ночуйте сегодня в доме. Завтра, если мы улетим, — можно. Они не будут тогда бомбить аэродром и село. Адреса я вашего не забуду. Обратно вернемся, Борьку заберу. А пока прощайте.

Женщина подошла к летчику, грустно положила руки ему на плечи.

— Прощайте, Василий Николаевич, дай бог вам здоровья. Наведывайтесь на обратном пути.

Она поцеловала его в лоб холодными сухими губами и отвернулась. Боркун поправил на плече ремешок планшетки.

— Спасибо, Алена Семеновна, что верите в наше возвращение.

— А как же иначе, — вздохнула она, — зачем же тогда жить, если не верить.

Он поцеловал Борьку-нашего и Борьку-погорельского и, не оглядываясь, боясь, что навернется новая ненужная слеза, пошел к калитке, чувствуя, как сверлят его спину три пары глаз.

Глухо и коротко лязгнула захлопнувшаяся калитка.

У разбитого бомбой дома Боркун заметил темную фигуру.

— Ты чего? — спросил он удивленно, узнав Султан-хана.

— С пепелищем пришел проститься, — печально промолвил горец, — о жизни и смерти подумать. Вон видишь, — указал он на тонкие, скрюченные огнем прутья железной кровати, валявшейся среди почернелых бревен, — моя. По ножке узнал — проволокой была опутана. Если бы не уехал в ту ночь на аэродром, хоронил бы ты сейчас, Васька, своего кунака. Ты бы хороший гроб мне сделал, Вася? А?

— Да отстань ты! — зло бормотнул Боркун. — И без того кошки на сердце скребут.

— А ты залей малость, а? — ловким движением Султан-хан вытащил из кармана четвертинку, заткнутую пробкой. — Был у нашей Дуси, прощался. Поцелуй получил и четвертинку первача. Все, что полагается рыцарю. Совсем как коньяк. Пей.

— А вдруг батя заметит? Он приказал через час на КП быть.

— Не заметит, — убежденно возразил Султан-хан, — такому богатырю, как ты, эта доза что слону дробинка.

— А закусить дашь?

— Два черных сухаря и одна луковица. Закуска совсем как у лорда Черчилля, нашего союзника.

— Ну давай, что ли.

Боркун взболтнул бутылку и без всякого удовольствия вылил в себя половину ее содержимого.

На командный пункт они пришли, когда все уже были в сборе. Летчики, точно пчелы улей, облепили большой радиоприемник с батарейным питанием. Султан-хан, протиснувшись в дверь, тихонько толкнул Алешу Стрельцова:

— Что там за сенсация, ведомый?

— Сводку Совинформбюро сейчас передадут, товарищ капитан.

— Ну, будем слушать.

Султан-хан присел в темном углу на нары, покосился на широкую спину стоявшего впереди Боркуна. Чистый сильный голос диктора объявил:

— От Советского информбюро. Сегодня, второго октября, наши войска...

Сводка была короткой, тревожной. Несколько отданных врагу городов и ни одной победы. А что значат захваченные трофеи, если на всех фронтах никакого продвижения! Уже хлынула к выходу темная масса комбинезонов, как вдруг звонкий голос красноармейца Челнокова покрыл возникший от этого движения шум:

— Постойте, товарищи! Про нас говорят.

Диктор все так же громко чеканил каждую фразу, каждое слово:

— За два дня упорных боев с противником на дальних подступах к Москве летчики подполковника Демидова сбили двадцать вражеских бомбардировщиков, потеряв при этом четыре своих самолета. Смело сражался в неравных воздушных боях командир эскадрильи капитан Султан-хан, имеющий теперь на своем боевом счету шестнадцать сбитых самолетов противника. Мужество и отвагу проявили в воздухе старший политрук Румянцев, майор Жернаков, капитан Боркун, лейтенанты Воронов, Стрельцов и Барыбин. Только в одном бою старший лейтенант Красильников сбил два бомбардировщика «Юнкерс-88».

Диктор передавал уже вести с других фронтов, а летчики все не расходились, стояли в молчании, и каждый по-своему думал об услышанном. Спокойный и от этого немножко торжественный голос комиссара Румянцева взлетел над ними:

— Что же вы молчите, товарищи! Выше головы! По этому поводу и порадоваться можно. Митинга устраивать, разумеется, не будем, парадных речей не надо, а вот за то, что всему народу имена наши сообщили, — спасибо надо сказать. И в черные дни нашлось доброе слово для простых защитников Родины.

— Правильно, комиссар! — подал голос майор Жернаков. — Пусть знают наш девяносто пятый!

В дверь просунулось лицо лейтенанта Ипатьева. Он предостерегающе замахал руками:

— Тише, товарищи, подполковник с командующим ВВС говорит.

Дверь, ведущая в штабную половину землянки, плотно затворилась.

Посеревший от усталости Демидов вдавливал в ухо телефонную трубку, словно от этого было лучше слышно. Сквозь доносившуюся откуда-то песенку Паганеля «Капитан, капитан, улыбнитесь» прорывался голос командую-

щего, медленный и нетвердый, будто и его подточила смертельная усталость.

— Демидов? — едва слышный, спрашивал Комаров.— Как самочувствие? Устали небось как черти? Понимаю! — Генерала заглушили бодрые слова о том, что Паганель тонул, погибал среди акул, но ни разу даже глазом не моргнул. «Эка не вовремя привязался этот веселый капитан», — усмехнулся Демидов. А в трубке послышалось: — Так вот что я говорю. Трудную задачу ситуация нам подкинула. Решать надо!

— Когда, товарищ генерал? Завтра?

— Нет, сегодня.

— Я вас слушаю.

— Головные немецкие танки в восемнадцати километрах от вашего аэродрома. Нами брошен в бой свежий полк. Но и противник ввел дополнительные силы. Короче говоря, нет уверенности, что гитлеровцев удастся задержать до рассвета. Танки могут прорваться на аэродром. Штаб и весь личный состав надо без паники немедленно уводить на новую точку.

— А самолеты? — тихо спросил Демидов.

Генерал молчал несколько томительных секунд. Тощий Паганель успел за это время влюбиться, как простой мальчуган, и закончить свою бесхитростную исповедь. Наконец генерал спросил:

— В ночных условиях на истребителях, конечно, никто у вас не летал?

— Я летал, Султан-хан, Боркун.

— Вы не в счет. Я о массе спрашиваю.

— Масса ночным полетам не обучена.

— Значит, остальные самолеты надо сжечь и отходить, — жестко закончил командующий.

— Сжечь? — трудно выдавил из себя Демидов, и брови накрыли его гневные глаза. — Сжечь три десятка совершенно исправных советских самолетов?

— А ты что же, хочешь отдать их в таком состоянии противнику? — зло спросил Комаров. — Выходит, ты за Советскую власть, а твой командующий нет?

Демидов бессильно опустился на скамью. Холодный пот вязкой струйкой пополз по седому виску. Командир полка положил ладонь на лысеющую голову.

— Товарищ генерал, а если я сожгу самолеты, а утром фашисты не займут аэродром? Что тогда?

— Тогда, — невесело рассмеялся Комаров, — тогда и тебя и меня будет судить трибунал.

— Ясно, — ответил Демидов. — Позвольте сообщить решение через час.

— Не позднее, — предупредил Комаров, — в такой обстановке время работает не на нас, а на противника.

Подполковник отошел от телефона. В чертах его лица резко и неожиданно проглянула старческая расслабленность. Если бы видели летчики в это мгновение глаза своего командира, возможно, не раз потом усомнились бы они в его твердости. Но человек почти всегда старается победить свою слабость. Чувствуя полное изнеможение, Демидов спиной повернулся к Ипатьеву — единственному, кто мог видеть его в эти секунды. Высокий бугристый лоб Демидова покрылся глубокими морщинами. Он думал, боролся и с собой, и с решением, которое кто-то навязал Комарову, а Комаров, вероятно, в такой же, как и Демидов, неуверенности не смог передать это решение в форме приказа, не требующего ни обсуждения, ни одобрения со стороны того, кому он предназначен.

— Вызовите старшего политрука, — сказал Демидов Ипатьеву.

Комиссар вошел и настороженно вгляделся в лицо Демидова:

— Что случилось?

— Выйдем наверх. Посоветоваться надо, — ответил командир полка.

На аэродром опускалась ночь. Остывшие металлические тела остроносых «яков» чернели на стоянках. Неожиданно совсем близко от летного поля вспыхнула зарница, вторая, третья, а потом устойчивый мертвенно-желтый свет пролился на землю, выхватив из мрака бугор и могилу майора Хатнянского. Яростная стрельба вспорола тишину. Нет, это были не солидно погромыхивающие раскаты тяжелых орудий. Перестрелка велась длинными, тонко грохочущими очередями. В них вплетались выстрелы, короткие, скрежещущие.

— Что это такое? — обеспокоенно спросил Румянцев.

— Немцы.

— Но это очень близко.

— Танки в восемнадцати километрах от аэродрома, — тихо проговорил Демидов, — думаю, уже ближе.

— А мы?

— Получен приказ немедленно перебазироваться.

— Сейчас, ночью? А с самолетами как?

— Командующий предлагает сжечь.

— Сжечь столько исправных машин, когда на фронте на вес золота каждая?

Демидов рассказал ему о только что происшедшем разговоре. Румянцев достал из кармана портсигар, торопливым нервным движением сунул папиросу в рот, но вдруг вспомнил, что курить нельзя — нарушение светомаскировки, и выплюнул ее под ноги.

— Стало быть, Комаров ждет вашего решения. А что думаете вы, Сергей Мартынович?

Подполковник сердито спрятал руки в наброшенный на плечи реглан. Он постепенно успокаивался. Кровь уже не билась в висках сильными толчками, речь стала спокойной, даже медлительной.

— Думаю, Борис. Упорно думаю и никак не могу смириться с тем, что мы должны уничтожить столько человеческого труда. Стыдно взрывать машину, способную подняться с земли и долететь до места перебазирования. Сожгу только оставшееся горючее.

— А самолеты? — запальчиво спросил Румянцев, словно в этом разговоре он наступал, а подполковник оборонялся.

Демидов, будто ему стало зябко, рукой стянул под шершавым подбородком воротник реглана.

— Дерзкая мысль у меня шевелится, Борис. Устроить ночной перелет. Летчики не умеют летать ночью — есть риск, что два или три человека могут разбиться. Но я предложу: этот ночной перелет добровольный. А ты что посоветуешь?

Румянцев носком ковырнул сухую, охолонувшую в сумерках землю.

— Сергей Мартынович, — сказал он негромко. — Существует хорошее правило. Если трудно — иди к народу. Иди не как командир, а как старший товарищ. Тебя поймут.

Демидов тыльной стороной ладони провел по колючим седоватым усам, облегченно засмеялся.

— Золотой ты человек, Борис. Расцеловать бы тебя... Скликай, пожалуйста, летунов, а Петельникову скажи, пусть объявляет тревогу и дает команду на эвакуацию всему личному составу. Я попозже спущусь. Постою, подумаю.

Заложив руки за спину, Демидов прохаживался вдоль

землянки. Десять шагов вперед, крутой поворот, и десять шагов назад. Думал он уже не о предстоящем перелете. Когда он принимал какое-нибудь ответственное решение, то принимал твердо и безоговорочно, и тогда сразу становился уравновешенным и спокойным. Сейчас он думал о Румянцеве, чувствуя, как к сердцу подступает теплота. Хорошо, если рядом такой друг и помощник. Румянцев не слишком большой любитель частых собраний, заседаний партбюро, вызовов людей для разбора «персональных дел». Не любитель всего того, что в беспокойной жизни фронта осложняло бы боевую работу. Все у него делается тихо и незаметно. Но посмотришь — и боевые листки выходят, и беседы проводятся, и чуть ли не о каждом знает он буквально все. Нужно кого-нибудь одернуть — найдет острое слово, и, глядишь, призадумался человек. Нужно кого-нибудь похвалить — и это сделает. А главное, к его мнению прислушиваются, его уважают. И как этот добрый авторитет подкрепляется тем, что Румянцев сам отменно пилотирует и дерется в воздушных боях!

Демидов терпеть не мог тех иногда встречающихся на армейских стежках политработников, которые видели смысл своей работы в обильной переписке и целых каскадах всевозможных заседаний. У них и слова-то даже любимые отдавали канцелярией: «заострить», «поставить», «возбудить», «вызвать на партбюро». С такими Демидов был непримирим. Даже чуть не поплатился однажды за свою горячность.

Прислали как-то к нему комиссаром сухого, черствого человека. И взялся такой «наводить порядок». За один месяц человек этот, запугав парторга полка, сумел с его помощью «наградить» выговорами десять лучших летчиков и техников, пятнышка не имевших на своей совести. Демидов однажды не стерпел:

— Ты мне кадры не избивай! Не позволю!

И пошло гулять «дело Демидова». Дошло до партийной комиссии округа. Хорошо, что присутствовал на ее заседании сам начальник политуправления, старый коммунист, работавший еще с Лениным. Ознакомился он с «делом» и головой грустно покачал.

— Ну, Воловиков, — сказал он незадачливому политработнику, — тебе не с людьми, а с чурками работать надо. Поедешь комиссарить на окружной полигон. Там людей меньше, мишеней больше.

Тем и кончился «конфликт». А потом будто свежий

ветер прошелся по полку, когда назначили комиссаром Румянцева. «Золотой человек Борис», — подумал еще раз Демидов. Скрипнула дверь землянки, и лейтенант Ипатьев окликнул:

— Вы здесь, товарищ командир? Летный состав собран.

Демидов неторопливо спустился вниз. Летчики сидели в жилой половине землянки. Кто-то подал команду «Встать!», но Демидов медленно поднял руку.

— Не надо, — сказал он и опустился на табуретку, поставленную посередине. — Я к вам за советом пришел, друзья-однополчане. — Он снял фуражку, жесткой ладонью провел по волосам. — Бывают минуты, — продолжал он тихо, чувствуя, как смолкает все вокруг, — когда командиру хочется стать только вашим товарищем и спросить у вас совета.

Взгляд Демидова скользил с лица на лицо. Вот они, люди, с которыми его породнила навечно суровая солдатская доля, горькая пыль фронтовых дорог, победы и поражения в воздухе. Как они ему близки и понятны! Нетерпеливо вздрагивают крылья точеного, с горбинкой носа у смуглого Султан-хана, крупными пальцами смял папиросу Боркун. Вероятно, собрался закурить, но, узнав, что будет говорить командир, не стал доставать спички. «Сейчас и папиросу спрячет», — с усмешкой подумал Демидов. И действительно, Боркун неторопливо сунул папиросу в карман, поправил нависший на глаза черный чуб, сосредоточился. Майор Жернаков пощипывал франтоватые бакенбарды. В синих его глазах, кажется, так и застыла печаль по брату. Подпер ладонями подбородок молчаливый Красильников. Напряженно смотрит Воронов, морщит высокий лоб Алеша Стрельцов, будто решает трудную алгебраическую задачу. «Подожди, — улыбнулся Демидов, — сейчас получишь задачу посложнее какого-нибудь биквадратного уравнения».

Он потер жесткие ладони, уперся ими в колени.

— Давайте решать, товарищи. Час назад немецкие танки были в восемнадцати километрах от аэродрома. Сейчас бой приблизился. Мы должны немедленно перебазироваться — вот-вот аэродром накроет их артиллерия. — Демидов помедлил и быстро, коротко, решительно нанес удар: — Получен приказ сжечь самолеты.

Не то вздох, не то подавленный стон пронесся по землянке. Порывисто вскочил с нар Султан-хан, его смуглое

лицо сразу изменилось. Недоумением и гневом налились черные расширенные зрачки. Как два клинка, скрестились над переносьем острые брови.

— Командир... Как это сжечь самолеты? Султан-хан трижды зароет себя в землю, прежде чем сделает это!

— Лучше головы лишиться, чем верного «ишака» запалить, — заглушил всех своим басом Боркун.

— Позора потом не оберешься, — мрачно заметил Красильников. — На весь фронт ославимся.

Всегда выдержанный Алеша Стрельцов, словно ветром подброшенный, устремился в круг.

— А мне разрешите? Только два слова! — Он обвел затуманившимися от волнения глазами летчиков и остановил их на Демидове. — Как же это, товарищи, — заговорил он, все больше накаляясь, — все мы тут командиры Красной Армии, комсомольцы и члены ВКП(б). Кто же давал нам право сжигать свои самолеты... Да, по-моему, — он задохнулся и выкрикнул тонким сорвавшимся голосом, — сжечь самолеты своими руками на земле — это еще хуже, чем потерять полковое знамя. Полк за это расформировать надо!

— А что же вы предлагаете?

— Лететь, товарищ командир.

— А вы хоть раз ночью летали?

— Нет, но полечу, — твердо ответил Алеша.

— И я полечу, — поддержал его Воронов.

— И я, — сказал лейтенант Барыбин, высовывая из заднего ряда курчавую голову.

Демидов достал портсигар, зажег спичку и выжидающе посмотрел на лейтенантов из группы Жернакова.

— А что вы скажете? Наше пополнение.

— Нельзя сжигать самолеты! Улетим, — послышались голоса.

— Не все сразу, товарищи, — улыбаясь, остановил их командир полка. — Пусть один говорит.

С нар поднялся худой, по-мальчишески нескладный, угреватый парень. Демидов заприметил его еще в первый день: фамилия Бублейников, рост около двух метров, в столовой первый острослов, а вчера сбил один «юнкерс».

— Можно, товарищ командир?

— Давай, сынок, давай, орелик, — разрешил Демидов.

— Я за всех скажу, — медлительно и чуть гнусаво на-

чал Бублейников. — Вы, товарищ командир, конечно, считаете нас еще зеленью или желторотиками, как в авиации говорят. Оно конечно, для этого налицо все факторы. В летных книжках у всех нас графа «Ночные полеты» пустая. Там светло, как в божий день. Да и опыта у нас боевого — кот наплакал, всего по три вылета. — Он запнулся и глянул на своих однокашников. Те, одобрительно посмеиваясь, кивали головами.— Нас, конечно, не сравнить с капитаном Султан-ханом или капитаном Боркуном, для примера сказать. Только и наше твердое мнение: не станем мы жечь самолеты, товарищ командир. Да это же почти как предательство. Полетим.

— Полетим! — дружно всплеснулись голоса за его спиной.

— Постойте! — Демидов поднял руку. — Спасибо вам, друзья, за преданность Родине. Чую, вы настоящие советские солдаты. Значит, решили — летим. Но перед этим я хочу обратиться еще с одной просьбой. Не ко всем, а к вам, молодым летчикам. Перелетать ночью без опыта в технике пилотирования трудно. Сами знаете. Так что я прошу, — он помедлил и повторил еще раз, — очень прошу: кто в себе сомневается, подойти ко мне. Здесь нет ничего стыдного. Вы же помните — основной закон летчика: не уверен в себе — откажись от полета, не подводи ни себя, ни других.

Он замолчал и опять выжидающе переводил глаза с одного молодого лица на другое. Но, кроме решимости и азартного горения, ничего не увидел командир полка.

— Будут отказы? — спросил он в последний раз. — Нет? Считаю, с этим вопросом покончено. Вы что-нибудь скажете, комиссар?

Румянцев широко развел руками и улыбнулся:

— Зачем? Что я могу прибавить? Они все уже решили сами.

Летчиков разбили на три группы. Демидов, Султан-хан и Василий Боркун сели с ними за карты и быстро проложили маршрут к новому аэродрому. Лететь туда по расчету времени предстояло не более сорока минут. Перелет несколько облегчался тем, что новый аэродром был стационарный, с хорошей бетонированной полосой. Раньше на нем обитали дальние бомбардировщики, но близость линии фронта заставила их оттянуться в тыл. Перелет было решено производить парами. Первым посылать более опытного летчика с включенными аэронавига-

ционными огнями, сзади на удалении — молодого, так, чтобы по огням ведущего он рассчитывал свои действия при взлете и посадке. Кроме того, в конце взлетной полосы, у холма с могилой Хатнянского, будут зажжены две плошки с мазутом для выдерживания направления.

За какие-нибудь полтора часа Демидов, Султан-хан и Боркун попытались преподать летчикам то, на что в программе обучения отводилось несколько дней.

Аэродром в эту ночь жил необычной жизнью. Гудели, выбираясь на ближайший большак, полуторки и ЗИСы, нагруженные штабным имуществом и всевозможной интендантской утварью. Мрачные и молчаливые, покачивались в машинах люди, знавшие, что им предстоит еще один переход на восток. Где-то села в кювет громоздкая старая «санитарка». Она отчаянно буксовала, ее вытаскивали молча и зло, без обычного дружного выкрика: «Раз, два — взяли». Обвешанный гранатами старшина Лаврухин ходил по аэродрому, готовясь подорвать взлетную полосу, землянки и блиндажи.

А с юго-запада настойчиво и неумолчно приближалась стрельба орудий. Где-то близко с сухим покашливанием ложились тяжелые мины. Техники и механики бесшумно, как привидения, передвигались по летному полю, заканчивали последние приготовления к перелету.

Первым должен был стартовать Демидов вместе с моloденьким, напоминающим галчонка лейтенантом Стариковым. Был этот парнишка носат, зеленоглаз, покрыт мелкой сеткой веселых рыжих веснушек. Оканье сразу выдавало в нем волжанина. Демидов брал его с собой не случайно. По характеристике майора Жернакова, Стариков был самым слабым среди новичков.

— Если уж этот перелетит, — махнул рукой Жернаков, — тогда дело в шляпе. Все благополучно приземлятся.

Сейчас Стариков ходил вокруг своего «яка» и придирчиво допрашивал техника Кокорева о каждой детали. «Высотомер в порядке, прибор скорости в порядке, гидросистема в порядке», — доносилось до Демидова. Видавший виды техник Кокорев был ветераном полка, когда-то обслуживавшим самого Хатнянского. Придирчивость Старикова начинала его раздражать.

— Вы, как прокурор, товарищ лейтенант, о каждом шплинте спрашиваете. Раз доложил «матчасть к полету

готова», значит, все в порядке и есть. Еще ни разу никого не подводил.

— А много подводить нас и не нужно, — проворчал Стариков. — Раз подведете — вот и сыграю в ящик. Дело простое.

Одетая ночной темью фигура Демидова внезапно выросла перед ним. Тихо и ласково прозвучал чуть хрипловатый голос:

— Что, лейтенант, сомневаешься?

Стариков заученным курсантским движением вытянул руки по швам.

— Нет, товарищ командир. Как-нибудь долечу.

— Мне как-нибудь не надо, — возразил Демидов, — мне хорошо надо. Ты возьми себя в руки, сынок, и все получится. Ну! Мать ведь тебя с войны ждет, а ты сыграть в ящик собираешься. Благополучно должен долететь, понял? Повтори приказание.

— Есть, благополучно долететь, товарищ командир, — улыбнулся ободренный лейтенант.

— Вот это лучше, — Демидов потрепал его за мягкий, совсем мальчишеский подбородок, деловито прибавил: — Как только взлетим, скорость все время держи расчетную. И за моими огнями следи. Я тебе через каждые пять минут крен буду делать. Красный огонек будет уходить вниз, зеленый вверх. Это — чтобы ты мои огни со звездами или какими другими огнями не спутал. Ну, желаю удачи.

Так же внезапно, как и появился, Демидов растаял в потемках. Был — и не был. А на сердце у Старикова стало спокойнее, теплее. «Душевный, видать, мужик, — подумал лейтенант, — и батей его зовут не зря».

Подбежал запыхавшийся капитан Петельников. И даже у него, всегда сдержанного, педантичного, тревога прозвучала в голосе, когда он приказал:

— Вам запускать мотор, лейтенант Стариков. Ни пуха ни пера! Первым открываешь ночную навигацию. Гордись!

— На новом аэродроме встретимся, товарищ капитан, — бодро отчеканил летчик.

Звездный купол осенней ночи висел над аэродромом. В ожидании сигнальной ракеты на взлет Демидов смотрел ввысь сквозь прозрачный фонарь кабины. В чашечках приборов тускло мерцали стрелки, и одна из них, минутная, очень медленно, как ему казалось, отсчитывала

деления. В беспорядочной россыпи звезд глаза отыскали Млечный Путь, Большую Медведицу. Демидов улыбнулся в жесткие усы, вспомнив, что этим несложным астрономическим познаниям он обязан одной веснушчатой тихой сельской учительнице, с которой судьба свела его еще в первые годы Советской власти, когда он, молодой командир погранзаставы, с небольшим конным отрядом гонялся по жарким барханам за бандой басмачей Аслан-бека. «Чудная судьба, — подумал Демидов, — свела, и навсегда».

В черном проеме неба заблестел рогатый месяц, и полосы желтоватого света рассыпались по звездному полю. «Это нам на руку, — отметил Демидов, — хоть какая-то видимость в полете будет». И тотчас же ночной сумрак впереди рассекла красная сигнальная ракета. Демидов включил мотор. Корпус истребителя забился легкой дрожью. Толстыми огрубелыми пальцами подполковник поправил на шее шнур с ларингофонами, передал своему напарнику:

— Второй, второй, напоминаю: взлетаем и садимся с прямой. Я первым, вы за мной. Через семь минут контролируйте себя по земле: внизу — изгиб реки. Через двенадцать минут — станция, через двадцать — город Гжатск, через тридцать — электрическое «Т».

— Вас понял, — коротко отозвался Стариков.

— Ну, двинулись, — произнес Демидов.

Притормаживая, он вырулил на старт. Оглянувшись, увидел за собой черный силуэт другого истребителя и вырывающиеся из-под капота языки пламени. Сдвинув брови, командир полка следил за секундной стрелкой, подгонял ее бег лаконичными отсчетами по радио — до взлета сорок секунд... тридцать... десять... пошли!

Ручка управления и педали послушно отозвались на его движения. Набирая скорость, истребитель устремился вперед, загудел сильнее и оторвался от земли. Стрелка высотомера задвигалась: сто, двести, пятьсот метров. Демидов и его ведомый не видели столпившихся у землянки летчиков, следивших за их взлетом. Когда на высотомере было уже семьсот метров, Демидов запросил:

— Стариков, как идете?

— По вашим огням, командир, — послышался в ответ взволнованный голос ведомого.

— Через три минуты изгиб реки. Сообщите, когда увидите.

— Есть.

— Набрать высоту восемьсот.

— Есть.

— Бодрее держись. Понял? — сердито прикрикнул Демидов, хорошо зная: ничто так не мобилизует в воздухе неопытного летчика, как энергичный, сердитый окрик. И он не ошибся. Ровно через три минуты в наушниках возник голос ведомого, но уже не сдавленный и тугой от волнения, каким он только что был, а твердый, хотя и возбужденный:

— Командир! Прошел изгиб реки!

— Молодец! — одобрил Демидов. — Вот и научился ночью ориентироваться!

И совсем обрадованно, даже со смехом ответил лейтенант:

— Ага... научился!

Эфир потрескивал в наушниках, слегка искажая голоса. В воздухе, особенно в боевом полете, разговаривать полагалось как можно меньше. Этого Демидов строго требовал от подчиненных. Но сейчас, когда их обволакивала тревожная фронтовая ночь, а Старикову эту плотную темень приходилось на самолете преодолевать первый раз в жизни, разговор только ободрял, и Демидов не прекращал его ни на минуту:

— Что проходим?

— Станцию, командир... на путях эшелоны.

— Правильно. А сейчас?

— Под плоскостями лес.

— Верно, — отзывался Демидов и сваливал свою машину в крен. — Как я иду?

— С правым креном.

— А сейчас?

— В горизонтальном полете.

Демидов лишь изредка взглядывал вниз на землю. Для него, проведшего за штурвалом сотни часов, несложным был совершавшийся перелет, но каждую секунду беспокойно думалось о молодом лейтенанте. Такому неопытному юнцу стоило только на секунду ослабить осмотрительность, и могло произойти все. Потеряв пространственное положение, летчик мог с небольшим углом на огромной скорости мчаться вниз, оставаясь в твердой уверенности, что летит горизонтально, до той самой последней страшной секунды, когда машина, направленная его же собственной рукой, врежется в землю. Мог он и

свалить машину в большой крен, думая, что летит по прямой, и сорваться в штопор. Много опасностей подстерегало его в этом полете, и, думая о них, Демидов волновался больше своего подопечного.

По расчету времени впереди должен был показаться аэродром. Командир полка напряженно всматривался. Зоркие, острые его глаза все-таки отделяли землю от неба. Чуть освещенная месяцем, бежала она впереди, где-то совсем близко смыкаясь с падавшим на нее ночным небом и превращаясь в одно невообразимо черное месиво. Чуть-чуть светлели очертания дорог и озер. Пятнами обозначались лесные массивы. А дальше такая же темень, и невозможно ее пробить глазом. От напряженного ожидания начинали цепенеть руки и ноги. Демидов стал тревожиться, не сбились ли они с курса. Плохо, если сбились. Тогда ведомому нельзя уже следом за ним заходить на посадку с прямой. Придется маневрировать, доворачивать, а это сопряжено с новыми сложностями в пилотировании... Бежала секундная стрелка, исчерпывая последнюю минуту. Вот добежит она до цифры 60, и баста. Надо будет кружиться, всматриваться в темень. Демидов в бессильной ярости закусил губу. И вдруг обрадованно свистнул и чуть приподнялся на сиденье. Впереди внизу приветливо замигали зеленые огоньки электрического «Т», вспыхнули два ряда более крупных красных огней, ограничивающих бетонированную посадочную полосу.

— Сынок, выше голову! — весело закричал он по радио. — Пришли!

— Вижу «Т», — отозвался ведомый.

Демидов короткими командами напомнил о самом необходимом при посадке. Он подавал эти команды и на всем протяжении посадки: и пока они снижались, и когда колеса его машины весело застучали по гладким плитам бетона, и даже потом, когда, зарулив на стоянку, остановился и откинул фонарь. Убрав обороты мотора, подполковник следил за ведомым. Самолет Старикова коснулся земли и тотчас взмыл с большим «козлом».

— Ручку на себя, правую ногу чуть-чуть! — кричал Демидов по радио. — Вот так. Молодец!

Самолет, хоть и сильно «скозлил», не выкатился за ограничители. Мягко подпрыгивая, он подрулил к командирской машине и стал справа от нее, будто птенец под крылышко. Демидов видел, как в кабине черным силуэ-

том поднялся летчик, как он отстегнул лямки, освобождаясь от парашюта, и на цепких руках легко и красиво, не прикасаясь ногами к плоскости, выбросил свое тело на землю. «Гимнастом хорошим может стать, чертенок,— добродушно подумал Демидов. — Эх, если бы не война, заставил бы в спортсекции заниматься». Лейтенант подошел к его истребителю, вскочил на крыло. Винт истребителя вращался на малых оборотах. Теплый воздух подул Старикову в лицо. Он ухватился рукой за борт кабины и радостно доложил:

— Лейтенант Стариков произвел посадку, товарищ командир.

— И благополучно, — стараясь перекрыть шум мотора, прибавил Демидов. — Вот видишь, а ты в ящик сыграть собирался.

— Так это я так просто сказал, товарищ командир. Для эффекта, — смутился лейтенант. — Но если говорить правду, то и страху хватить пришлось...

— А я, думаешь, за тебя страху не хватил? — засмеялся Демидов. — Однако твой страх уже кончился, а мой только начинается. Ну ладно, отойди в сторонку, я сейчас полк принимать буду.

Над аэродромом нарастал раскатистый бас моторов. Заходила очередная пара истребителей.

Стоя на жестком пилотском сиденье, Демидов придирчиво следил за поведением машин, будто руководил самыми что ни на есть обычными учебно-тренировочными полетами. Всем своим коренастым, крепко сколоченным телом он то и дело подавался то вперед, то влево, то вправо, повторяя односложные, но так хорошо знакомые молодому летчику команды: «Выравнивай... добавь газок... подтяни, подтяни... направление...» А потом, когда уже рулили на стоянку оба истребителя, весело и бодро раскатывался командирский басок: «Молодцы, орелики, право, молодцы».

И снова поворачивал Демидов голову на запад. Настроившись на волну, связывался с очередной подходившей к аэродрому парой и сопровождал ее посадку своими наводящими командами.

Одна за другой садились пары истребителей. Первые из них привели сюда опытные летчики, уже летавшие ночью, — Боркун, Султан-хан, Жернаков. А потом пошел сплошной молодняк: за неопытным летел еще более неопытный. Наблюдая посадку Воронова и Стрельцова, Де-

мидов немало подивился их спокойной расчетливости. Нельзя сказать, чтобы тот или другой мастерски посадил свою машину. Наоборот, Стрельцову еле-еле хватило полосы, чтобы закончить пробег: еще сто метров — и он выкатился бы на кочковатое поле, а Воронов не обошелся без большого «козла». Но оба они проявили такое внимание к своим ведомым, так заботливо корректировали их полет на всем маршруте, что и новички из жернаковской группы, прикомандированные к ним, сели ничем не хуже своих ведущих.

Последними, завершая необычный перелет полка, садились старший лейтенант Красильников и лейтенант Бублейников, тот самый, что выступал на полковом собрании от имени молодых летчиков и ратовал не сжигать самолеты, а перегнать их на новую точку. Красильников лихо притер своего «ишачка» у самого «Т» и быстро освободил полосу. Заруливая на стоянку, он вдруг крикнул по радио Демидову:

— Командир, наблюдайте за Бублейниковым! — и смолк. Демидов недоуменно пожал плечами, вгляделся в насупившуюся ночь и тускло мерцавшие звезды. На их фоне замелькали, приближаясь, красный и зеленый крыльевые огни самолета.

— Бублейников, дружище, спокойнее, прибавьте газ, — медленно процеживая слова, заговорил подполковник, — учтите, садитесь с боковиком. Как меня слышите?

Внимательно наблюдая за вырастающим из мрака силуэтом истребителя, он ожидал обычных слов «вас слышу, вас понял» и удивился, что их не последовало. Машина лейтенанта, ревя мотором, снижалась с очень малым углом планирования.

— Газ... убирайте газ! — кричал Демидов, но Бублейников, будто не слыша, все так же полого подводил самолет к полосе. Он коснулся земли колесами далеко за «Т». На большой скорости промчалась машина за последний красный огонек ночного старта. Свет крыльевой фары рассек аэродром, и Демидов увидел уже не бетонку, а рыхлое неровное поле, куда нельзя было выкатываться ни одному самолету. Послышался треск, и мотор тотчас заглох. Демидов выскочил из кабины, спрыгнул на землю. Около его истребителя стоял потрепанный легковой «газик», присланный сюда предусмотрительным командиром батальона аэродромного обслуживания.

— Эй, кто там, машину! — рявкнул он.

Послышались неуверенные голоса:

— С Бублейниковым, кажется, авария.

— На слова речист, да на посадку не чист! — язвительно заметил остроносый окающий Стариков.

«Газик» запрыгал по целине, выехал на рулежную дорожку и помчался плавно. Румянцев, успевший вскочить в машину, шепнул Демидову:

— Досадно, если самолет он разложил!

— Подожди, Борис, — недовольно остановил его командир полка.

Машина приблизилась к месту приземления последнего истребителя. Самолет Бублейникова стоял, уткнувшись в землю правым крылом, осев на подломанное колесо. Из кабины никто не выходил.

— Лейтенант Бублейников! — окликнул Демидов летчика и, вскочив на плоскость, подошел к кабине.

Кто-то зажег электрический фонарик. Ровный луч нерешительно скользнул по фюзеляжу, вырвал из темноты остекленную часть самолета, и люди, обступившие кабину, увидели навалившееся на ручку управления неподвижное тело летчика.

— Бублейников!

Лейтенант слабо пошевелился, поднял голову, и на бледном угреватом лице мелькнула вялая улыбка:

— Я сел... дошел... товарищи, не ругайте за поломку, меня на взлете... осколком...

Летчики осторожно вытащили его из самолета, погрузили в подъехавшую «санитарку». Красильников, подбежавший к месту происшествия, жарко шептал над головой впадающего в забытье летчика:

— Ты, Вася, крепись, главное — крепись, оно с каждым может случиться... я о тебе всем расскажу.

— Командиру доложи, — простонал Бублейников.

«Санитарка» уехала, Красильников, покачивая головой, смотрел ей вслед.

— Что случилось? — придвинулся к нему Демидов.

— Вы его не ругайте, товарищ командир, он не виноват, — быстро заговорил Красильников, — он же весь в крови. Я сам не знал сначала. Мы взлетали последними. Все автомашины отъехали, одна только оставалась — с капитаном Петельниковым и техником Кокоревым: они нас в полет выпускали. Все было хорошо, мы в кабинах сидели, моторы запустили. А когда выруливали, немцы уже начали на аэродром тяжелые мины класть. У меня

на рулежке одна справа ухнула, потом оторвался — услышал сзади разрыв. Запросил Бублейникова по рации, он одно твердит: «Порядок, за хвостом была мина». И на маршруте что ни спрошу — в ответ одно и то же: «Вас понял, порядок». Только когда световое «Т» увидели, он успел мне радировать: «Командир, говорит, голова кружится, тошнит. Держусь из последних сил». Ранило его, товарищ подполковник. Здорово ранило. — Красильников опустил голову, неуверенно попросил: — В санчасть меня бы пустили. Повидать его.

— Поедете, — согласился Демидов.

Сняв шлем, он стоял на крепко расставленных ногах. Ветер шевелил жесткие седые волосы, плескался в изрезанное рябинками лицо. Летчики окружили подломанный самолет и Демидова. Он снова видел знакомые лица людей, бесконечно ему близких и дорогих, за судьбы которых отвечал своими сединами, своей совестью и умом, своим сердцем простого русского человека.

— Спасибо, друзья, — сказал он негромко. — Я сегодня доверился вам, а вы доверились мне. И, как видите, мы вывели полк из-под удара...

☆☆☆☆

Сорок первый! Ты войдешь в нашу память, и войдешь навечно. Может, появится когда-нибудь писатель или историк, который скажет, что был ты годом сплошных страданий и мук, черным от дыма и несчастий годом. Но если, вспоминая тебя, увидит он только обожженные стремительным ветром войны города и села, матерей, выплакавших свои глаза над детьми, погибшими от фашистских авиабомб, скорбную пыль фронтовых дорог отступления от Бреста до пригородов Москвы, людей, с муками и боями пробивающихся из окружения, беспощадную поступь танковых колонн Гудериана и холодную жестокую расчетливость воздушных пиратов Рихтгофена, неудачи отдельных наших штабов и генералов,— жестоко ошибется такой писатель. Лишь половину правды, горькую половину скажет он поколению.

Нет, не только таким был сорок первый!

Был он годом, разбудившим могучие народные силы, вызвавшим к жизни великое мужество и героизм. Да, из песни слова не выкинешь. Было все: и горькая пыль до-

рог отступления, и выход из окружения, и слезы матерей. Но кто мог не увидеть в том же сорок первом году, как бились на земле и в воздухе с численно превосходящим врагом еще не накопившие боевого опыта, не успевшие перевооружиться воины Красной Армии. И не выходцы из окружения, не страдальцы военнопленные были героями сорок первого. Нет, героями стали пограничники Бреста; пехотинцы и артиллеристы, бравшие Ельню в дни массового отступления; летчики с «чаек» да И-16, один против пяти дравшиеся с «мессершмиттами» и «хейнкелями»; панфиловцы, намертво ставшие под Дубосековом. Они гибли десятками и сотнями, эти порой безымянные герои, но место их в боевом строю немедленно заполнялось другими. Становились на их место те, кому суждено было потом бить врага под Москвой и на Волге, на Днепре и на Висле, штурмовать в Берлине рейхстаг.

Улыбаясь в подстриженные усы, вспоминал Демидов, как на седьмой день войны, получив приказание перебазироваться полком на восток, зашел он в казарму, где коротали беспокойные первые фронтовые ночи механики и техники. Ему навстречу в затемненном проходе поднялся Кокорев, смуглый, узколицый техник, обслуживавший самолет Саши Хатнянского:

— Стой, кто идет?

— Я, Демидов, — пробасил подполковник.

Глазок электрического фонарика тотчас же погас, и Кокорев попятился к стене, уступая дорогу в узком проходе. В полумраке Демидов оглядел казарму. На койках в сторожких, неспокойных позах, нераздетые и неразутые, спали техники и механики. Кто-то метался, бормотал неразборчивые слова, кто-то со свистом всхрапывал.

— Как настроение, Кокорев? — тихо спросил Демидов.

— Ничего настроение. Хорошее.

— С чего же это? — поинтересовался подполковник.

— Так ведь слух прошел, — улыбнулся Кокорев, — говорят, на минском направлении отступаем, а прибалтийцы Кенигсберг взяли... Это правда, товарищ командир?

— Правда, Кокорев, — не колеблясь ответил Демидов. — Не только Кенигсберг, Берлин возьмем.

А минуту спустя Демидов, гулко впечатывая шаги в твердый асфальт аэродромной дорожки, под небом, осве-

щенным зенитными трассами и прожекторами, думал о великой силе русского человека, который, и отступая к Москве, ни на минуту не терял веры в победу.

И много раз думал об этом Демидов.

Под Вязьмой, стоя у стартового «Т», он выпускал в полет очередную четверку истребителей, когда на запыленном «газике» подъехал к нему командир БАО с незнакомым капитаном, очень худым, небритым, в изодранной на локтях гимнастерке. Демидов с удивлением оглядел капитана и, обращаясь скорее не к нему, а к командиру БАО, гаркнул:

— В чем дело?

— Товарищ подполковник, капитан требует накормить его тридцать человек, а ни у кого нет аттестатов.

— Не кормить, — властно приказал Демидов, — у нас не заезжий двор. Где продаттестаты?

— Если бы вы побывали там, где я, их бы у вас тоже не было, — ледяным от бешенства голосом сказал незнакомый капитан.

— Где же это вы побывали? — иронически спросил подполковник. — И кто вы такой?

— Я капитан Бодров, — сдавленно выкрикнул незнакомец, — десять суток я выводил из окружения свой разбитый батальон. Мы не видели за это время ваших самолетов, травой питались, а вы распивали чаи с шоколадом. Мы... нам было в десять раз тяжелее.

— Капитан, вы считаете, что это дает вам право дерзить?

— Мои бойцы — это настоящие герои.

— Герои? — язвительно переспросил Демидов. — А что они сделали такого героического?

— Прорвались к своим.

— И только?

— Как! Разве этого мало! — вскричал Бодров, ошарашенный невозмутимостью этого властного рябоватого подполковника.

Демидов усмехнулся.

— Да, мало, — сказал он жестко. — Действительно, вы шли по лесам и болотам, но все это делали для того, чтобы занять свое место в строю... и только. За что же вас называть героями! Вы прятались эти десять дней от немцев, а мои летчики били их в открытых боях, причем били их основную силу. Ту, что вообще не считалась с вашей группой, оставшейся в окружении. Вели вы себя

достойно — оружия не сложили, но выполнили лишь свой долг. А герои... герои — это те, кто вражескую силу сейчас молотит.

Капитан устало опустил плечи.

— Это верно, товарищ подполковник... Только и мы себя не посрамили.

— Достойный ответ, — согласился Демидов и приказал немедленно накормить, помыть в бане и обмундировать всю группу капитана Бодрова. Потом смотрел вслед подымавшему аэродромную пыль «газику» и думал: «Не ошибся ли? Может, слишком круто с ним обошелся? Нет, не ошибся. Видно, хороший ты человек, капитан Бодров. Вот встанешь в строй, набьешь со своими ребятами морду фашистам и будешь настоящим героем».

☆☆☆☆

На новом аэродроме жизнь демидовского полка поначалу потекла гораздо спокойнее. Командующий авиацией фронта дал летчикам два свободных дня. За это время они успели разместиться в уютных землянках, обжитых экипажами дальних бомбардировщиков, ранее занимавших этот аэродром. Наведались в баню, сооруженную в небольшом лесочке, люто парились в тесной парилке, заменили старое обмундирование. Командир БАО майор Меньшиков сам разводил летчиков по землянкам, сам вместе с начальником вещевого отдела развез им пакеты с вещами.

Султан-хан старательно брился, когда в землянку пришел посыльный и объявил, что Демидов приказал всем явиться на совещание летного состава.

Алеше Стрельцову после ночного перелета хотелось скорее повидаться с Вороновым, и он обрадовался этому известию.

— Скоро побреетесь, командир? — окликнул он Султан-хана.

— Вай, — не отнимая от щеки тонкого лезвия бритвы, отозвался горец, — какой нетерпеливый! Самому брить нечего — на командира не кричи, как на ишака.— Султан-хан снял со своей щеки последнюю дорожку смолисто-черных волосков, посмотрел в зеркало: — Ай молодец Султанка, совсем помолодел. Какой жених!

И тотчас же погасли черные глаза, тенью легла на

лицо печаль. Маленькая ранка — снова встала она перед ним. Задумчиво и скорбно смотрел Султан-хан на свое отражение в зеркале. Тоска, дремавшая на самом дне души, пока он ходил, летал, что-то делал, не погружаясь в сокровенные свои мысли, вдруг всплыла и заслонила перед ним все окружающее, болью перекосила губы. Снова думал Султан о неотвратимых признаках своей болезни. На лопатке, уже третье по счету, росло круглое, с багровыми краями пятнышко. А на руке, под лайковой перчаткой, то, самое первое, теперь не просто шелушилось, а стало покрываться по утрам липким, влажным налетом. Тяжелая испарина выступила на щеках у горца. «Ой, дедушка Расул, сколько же еще мучиться твоему бесприютному Султанке?»

Султан-хан оттолкнулся ладонями от острого края стола, вскочил. Смахнул с лица своего угрюмость. Даже улыбнулся, повстречавшись глазами со взглядом Алеши:

— Ну что, ведомый, дождался? Пошли.

Новый аэродром выгодно отличался от старого. Здесь все было сделано прочно, капитально. От широкой бетонированной полосы расходились в разные стороны гладкие рулежные дорожки. В авиагородке после бомбежек уцелели многие здания. На асфальтированных дорожках авиагородка еще сохранились транспаранты с довоенными лозунгами. Идя в штаб полка на совещание, Алеша с любопытством прочитывал их: «Летчик! Помни, что высокая дисциплина — залог безаварийности полетов», «Будем образцово проводить предварительную и предполетную подготовку», «Женсовет — будь шефом зеленых насаждений».

Он с печальной улыбкой посмотрел вокруг. Сейчас эти зеленые насаждения — тоненькие березки и неокрепшие липы — выглядели более чем жалко. Осень сорвала с них листья, осколки от фугасных бомб оставили зазубрины на их телах, и стволы кровоточили смолой. В груде опавших желтых листьев там и тут виднелись обгорелые, срезанные осколками ветки.

В центре авиагородка глядели пустыми впадинами окон трехэтажные кирпичные здания. Стены их были выпачканы черными полосами пожарищ, острый запах гари — его трудно было спутать с каким-либо еще — пропитывал воздух. Алеша с грустью подумал, как жутко и беспощадно перечеркнули всю прежнюю жизнь — с призывами к женсовету беречь зеленые насаждения, а к ко-

мандирам изучать строевой устав — намалеванные на стенах буквы: «Бомбоубежище».

Султан-хан шагал впереди в своих щегольских, по-кавказски сшитых сапожках неслышной, кошачьей походкой, помахивая прутиком.

По ровным асфальтированным дорожкам дошли они до противоположного конца аэродрома. Там, на опушке редкого сосняка, основал осторожный Демидов штабной КП. Он был удален и от старта, и от жилых землянок, и от самолетных стоянок, так что ни одна самая яростная бомбежка не могла вывести из строя все управление полка одновременно.

— Мудрый старик наш батя, — пробасил вместо приветствия возникший откуда-то из-за кустов орешника Боркун, — всех по разным углам разбросал. Жернаковских ребят я еле-еле отыскал, а куда твою эскадрилью упрятали, так и не смог определить.

— Мы в тридевятом царстве, в тридесятом государстве, — улыбнулся Султан-хан, — а ты откуда, Вася?

— У Бублейникова был. В санчасти.

— Ну и как он?

— Дышит. Залатали его хирурги. Рана не такая уж серьезная, но крови много потерял. Батя его к ордену представил.

— Я бы свой ему за такое дело отдал, — сказал Султан-хан.

— Смотри ты, экий Суворов Александр Васильевич,— засмеялся безобидно Боркун.

— Ладно, Вася, нэ шуткуй, — нахмурился горец. — Скажи лучше, для чего нас собирают?

— Совещание какое-то. Говорят, новый командующий ВВС фронта прилетит.

— А где же старый?

— На повышение пошел.

Султан-хан прищурился, сверкнул черными глазами.

— Что бы нам такое сделать, чтоб в гору пойти, а? Эх, не та нам планида. Хоть бы в могилу зарыли после смерти, как майора Хатнянского, — зло закончил он. — Могилу да столб над ней с красным пропеллером. Был Султанка и нет Султанки, а земля по-прежнему вокруг солнца вертится.

Боркун сердито свел лохматые брови, нагнул голову с таким решительным видом, словно боднуть хотел Султан-хана:

— Ты мне эти загробные речи брось.

— Хорошо, Вася, нэ буду! — согласился Султан-хан.— А то еще узнают и в бой меня не станут пускать. А за фрицами у меня должок. Двадцать хочу срубить.

У штабной землянки они остановились. К ним торопливой озабоченной походкой подошел Демидов, небрежным кивком поздоровался. За Демидовым, в застегнутом на все пуговицы реглане, шел комиссар и, чуть приотстав, с ракетницей в руке Петельников. Боркун сочувственно поглядел на его запыленные сапоги и брюки:

— Вырвались из-под Вязьмы, товарищ капитан?

— Ох, и не говори, Боркун, — вздохнул Петельников, — еле ноги унесли. Мы на своей чахлой «эмке» по московскому шоссе гнали, а за железнодорожной насыпью их мотоциклисты мчались. Пока до разъезда не доехали, друг друга не видели и не трогали. Спасибо, на разъезде танк наш в засаде стоял — дал им жару.

Летчики подошли к высокому гребню штабной землянки, старательно выложенному свежим дерном. На покатой его спине сидело несколько человек: в центре — Воронов, в лихо сбитой на глаза пилотке, с гитарой в руках, и рядом — сияющий моторист Челноков. Все вскочили при появлении командиров эскадрилий.

— Сидайте, сидайте, хлопцы, — добродушно остановил их Боркун. — Чем тут занимаетесь?

— Песни слушаем, — ответил за всех явно приободрившийся после ночного перелета Стариков, — лейтенант Воронов соло дает на слова нашего полкового поэта Челнокова.

— Ну и спивайте ваше соло. — Боркун тяжело опустился на дерн, глазами показал Султан-хану место рядом с собой.

Алеша улыбнулся, глядя на своего друга. А тот убрал под пилотку рыжие вихры, кончиком языка облизал губы. Струны гитары брякнули с задором, и на манер лихих саратовских частушек Коля смело запел:

Самолеты шлет к нам Геринг,
Шлет и удивляется:
Самолеты улетают,
Но не возвращаются.

Длинные его пальцы небрежно пощипывали огненно-медные струны, извлекая из тела гитары все новые и новые звуки. Носок сапога так и буравил землю, словно Воронов хотел ринуться в отчаянный пляс:

Отвечают ему асы:
— Мы бомбили много стран,
Но ни разу не слыхали,
Что за штука есть таран.

И снова медные струны гитары задрожали под его пальцами.

От удара от такого
Вниз летим мы с высоты.
Догорают в Подмосковье
Наши крылья и хвосты. И-и-х!

Всей пятерней Воронов ударил по струнам, заглушая себя заключительным аккордом.

— Колька, да ты артист! — весело выкрикнул Стрельцов.

Воронов осадил его строгим взглядом и, не отвечая, обратился к Боркуну:

— Товарищ капитан, в заключение нашего концерта разрешите исполнить небольшую песенку о жизни и смерти.

— Слова, чьи слова? — спросил кто-то.

Воронов широким жестом указал на Челнокова.

— Опять же его, маэстро Челнокова. Только он щедро питает музой мой скромный репертуар. Слушайте все.

Медленный голос Воронова, уже не озорной, а чуть грустный и усмешливый, взлетел над землянкой в сыром утреннем осеннем воздухе.

Скажу я вам заранее,
Скажу я, не тая,
Что ждет давно в Германии
Старуха, смерть моя.

Грозит косой отточенной,
Зенитками грозит:
Мол, я уполномочена
Тебя похоронить.

Ох, милая старушечка,
Не к спеху умирать.
Прошу тебя, старушечка,
Лет сорок обождать.

— Браво, Коля! Ай да солист! — закричали со всех сторон летчики, покрывая припев дружными аплодисментами. — Давай еще!

— Постойте, — остановил их Боркун.

Тонкий, пронзительный свист раздался в стороне от аэродрома. Несколько человек шарахнулись поближе к

щели, узнав по этому свисту работающие на больших оборотах моторы «Мессершмиттов-109», но Воронов, вскочивший на гребень землянки, остановил всех выкриком:

— Товарищи, два «мессера» бьют «ишака»!

Приложив к глазам ладони, летчики вглядывались в высокое голубое небо, освещенное уже не греющими лучами осеннего солнца. В разводах редких крупных облаков промчались два остроносых истребителя. Их тонкие тела хищно сверкнули на солнце. Мелькнули черные кресты на крыльях.

Трассы, отрывистые и внезапные, вспороли тишину над аэродромом и повторились эхом где-то в ближайшем леске. И тотчас все увидели, как маленький туполобый истребитель И-16, в который была направлена пушечная очередь ведущего «мессершмитта», проворно нырнул в кудлатое облако.

— Ловок, чертенок! — восхищенно воскликнул Султан-хан. — Хорошо драпает от двоих.

«Мессершмитты» следом за «ишачком» вскочили в то же самое облако. Секунды показались долгими. Взгляды людей, наблюдающих с земли за неравным боем, перенеслись в голубое пространство, отделявшее одно облако от другого. Маленький «ишачок» внезапно взмыл вверх, ввинчиваясь в небо немыслимой отвесной свечой. В самой верхней точке он сделал неожиданный переворот, лег на спину, выбросив в небо свое короткое металлическое брюшко.

В то мгновение, когда ведущий «мессершмитт» поднял нос, чтобы скользнуть под углом вверх и дать по своему противнику очередь, маленький «ишачок» в перевернутом положении ринулся ему навстречу. Летчик, его пилотировавший, висел головой вниз, когда направлял капот своей машины прямо на «мессершмитта». Это был прием, по сложности пилотирования доступный очень немногим. Все, кто с земли наблюдал за молниеносной атакой, замерли от удивления. Один Боркун разжал тяжелые челюсти и охнул, не успев ничего сказать.

Громкий стук прервал тишину над аэродромом почти одновременно с треском «мессершмиттовской» пушки. Но трассы немца ушли в пустое одинокое небо, а две струи огненного пунктира, протянувшиеся от перевернутого вверх фюзеляжем И-16, оборвались у самой кабины фашистской машины. Темной молнией скользнул по небу

зеленый «ишачок», набирая высоту, и где-то вверху стремительно выровнялся.

— Влепил! Честное слово, влепил! — азартно выкрикнул Алеша.

— Я бы так нэ смог, — вместо похвалы выговорил Султан-хан.

Атакованный «мессершмитт» несколько секунд продолжал по инерции набирать высоту. Он попал в каскад солнечных лучей и заблестел горбатой остекленной кабиной. Но в следующее мгновение солнце почернело. Огромный пушистый хвост вырос у вражеской машины, она опрокинулась на спину и ринулась к земле. От правого крыла оторвались пылающие куски дюраля. Где-то гораздо выше сражавшихся самолетов скользнула вторая тень. Это ведомый «мессершмитт», не рискуя вступать в бой один на один, поспешил покинуть опасную зону.

— Ловко он вышел из игры! — проговорил Красильников. — Оказывается, один на один они не рыцари!

Весь бой занял меньше пяти минут. И снова безобидная тишина осеннего дня опустилась на землю. В стороне от аэродрома, над ближним лесом, поднялся душный черный столб, послышался взрыв. Потрескивая мотором, не делая круга, с прямой заходил на посадку И-16. На самолете не было видно номера, лишь белая полоса пересекала фюзеляж. Коснувшись колесами земли, истребитель очень быстро, как всем показалось, закончил пробег и, подпрыгивая, стал рулить к штабной землянке.

Демидов, Румянцев и Петельников стояли у входа.

— Пойдем посмотрим на пилотягу, — весело предложил Султан-хану Боркун. — Ей-богу, расцеловал бы такого бравого летуна!

Летчики поспели как раз в ту минуту, когда прилетевший, продолжая рулежку, выглянул из-за козырька, возвышавшегося над кабиной.

— Кто такой, не знаете? — осторожно спросил Боркун у Петельникова, но начальник штаба улыбнулся и промолчал.

Незнакомый летчик развернул истребитель хвостом к штабной землянке и перевел мотор на большие обороты, прежде чем его выключить. Корпус «ишачка» задрожал как в лихорадке, густая пыль облаком ударила в лица людей, окруживших машину, заставила их отвернуться. Когда пыль осела на чахлую травку, летчики увидели коренастого, плечистого человека с широким, скуластым

лицом. Зеленоватые, чуть сплюснутые надбровными дугами глаза смотрели требовательно и дерзко. Желтую кожаную курточку распирали плечи.

— А кто ему позволил сюда заруливать? — усмехнулся Султан-хан. — Сейчас батя даст ему выволочку за это!

Но, не успев договорить, горец оторопело отступил назад. Вопреки ожиданиям, Демидов не только не напустился на прилетевшего, а весь подобрался, улыбнулся и, шагнув навстречу, замер в положении «смирно».

— Товарищ генерал, — услышали все его громкий голос, — личный состав полка собран по вашему приказанию в расположении штаба.

«Генерал», — прошелестело недоверчиво вокруг, и лица летчиков, секунду назад беспечно-удивленные, сразу посерьезнели, насторожились.

— Вольно, вольно, — пробормотал Демидову прилетевший летчик, ловя на себе восхищенные взгляды. Потом, отнюдь не без рисовки, он снял с головы шлемофон и небрежно-точным движением забросил его в кабину. Свалявшиеся под меховой обшивкой шлемофона волосы, курчавые от природы, причудливыми вихрами разметались на голове.

— Эй, кто-нибудь... фуражку, она под сиденьем, — отрывисто, скороговоркой произнес генерал, и была в его голосе такая сдержанная властность, что выполнять эту не то просьбу, не то команду бросились сразу несколько летчиков. Зеленые его глаза насмешливо щурились. Сейчас генерал читал на лицах неподдельное восхищение и, конечно же, гордился собою. Вдруг его неподвижные глаза остановились, выхватив кого-то из группы летчиков.

— Алешка! Стрельцов! Крестник! — обрадованно закричал он и шагнул вперед.

Летчики, имевшие обыкновение подальше держаться от большого начальства, живо посторонились. Алеша остался лицом к лицу с генералом. Он-то давно узнал Комарова. Генерал сделал еще шаг, на секунду задержался, словно раздумывая, как же поступить дальше, и вдруг порывисто обхватил Алешу сильными руками и прижал к своей груди. «Молния» на его кожаной курточке была расстегнута. Бостоновый защитного цвета генеральский френч пахнул ветром, пылью и дорогими тонкими духами. Алеша услышал над головой веселый бас:

— А ведь подрос, постреленок, возмужал, — генерал оттолкнул его от себя, еще раз оценивающе оглядел, —

бриться надо, чертенок. Ишь подусники отпустил, совсем как семинарист. — Обернулся к летчикам и расплылся в улыбке. — А знаете, друзья-однополчане, что он дьяковский племянник? Как вы, не чувствуете в нем поповского душка? А? Что молчите?

— Ничего. Служит верой и правдой. Врагов свинцом жалует от души, — подал голос Красильников.

— Постойте, постойте, — не слушая его, закричал Комаров, — да здесь, оказывается, весь мой выводок. Вороненок, ты чего за чужие спины прячешься, а ну шагай вперед!

Комаров крепко обнял Воронова. Тот неловко высвободился и стоял, широко улыбаясь.

— Чего зубы скалишь? — смеясь, спросил Комаров.

— Да больно здорово вы его срубили, товарищ генерал, — весело отозвался Воронов. — Мы всем полком любовались.

Комаров улыбнулся и кокетливо, будто не о воздушном бое шла речь, а о туре вальса, передернул плечами.

— Ах, «мессер», — сказал он, как бы отмахиваясь от чего-то назойливого, — где он там завалился?

— Километрах в пятнадцати от аэродрома, не дальше, — наметанным глазом определил Султан-хан, еще раз посмотрев в ту сторону, где уже слабел и распадался рассеиваемый ветром столб дыма.

— Демидов, посмотрите потом документы убитого летчика, если они не сгорели, — деловито распорядился генерал, — фамилия, имя, из какой эскадры. — Комаров шумно вздохнул, и его энергичное подвижное лицо посуровело. — Так, говорите, здорово? — Он посмотрел на летчиков. — Нет, дорогие товарищи, вовсе не здорово. Восхищаться тут, прямо скажу, нечем. Чего же хорошего, если генерал, командующий военно-воздушными силами целого фронта, тихо и мирно летит в свой собственный авиационный тыл, а какой-то фашистский сопляк пытается его сбить, как обыкновенную куропатку. Впрочем, ладно, — оборвал он самого себя. — Демидов, собирайте народ.

☆☆☆☆

Алеша Стрельцов вместе с Вороновым спустился в штабную землянку, забитую летчиками. Сели в дальнем

углу у добротно сколоченных бревен, приятно пахнущих душистой смолой.

— Ну как? — тихо спросил Алеша, имея в виду генерала.

— Молодец старикан, — улыбнулся Воронов, — ничуть не сдал. Только под глазами мешочки. Достается, видать!

— А ты как думаешь? Разве авиацией такого фронта легко командовать?

Под потолком землянки висели четыре лампы. Свет, как на качелях, скользил по огромной карте Западного фронта, прибитой к стене лейтенантом Ипатьевым. От самого Бреста до Гжатска эта карта была заштрихована зловещим черным цветом. С юга и юго-запада широкие черные стрелы врезались в расположение советских войск.

Сдвинув белесые брови, генерал с минуту напряженно смотрел на стрелы. Видел не карту — землю, обожженную артиллерийским огнем, дороги, искромсанные гусеницами гудериановских танков, трупы беженцев в кюветах с непросохшей дождевой водой, пылающие избы в разрушенных деревнях. Широкими ладонями, охватывая сразу все свое лицо от висков до подбородка, провел по гладко выбритым щекам, словно желая поскорее освободиться от этого видения. Встал и резко, совсем не тем добродушным тоном, каким только что разговаривал на летном поле, окликнул командира полка:

— Демидов! Здесь только летчики?

— Да, товарищ генерал.

— Хорошо. Закройте дверь. Разговор у нас с глазу на глаз. Здесь он начнется, здесь должен и умереть.

Комаров прошелся вдоль стола. Три шага вперед, три назад — и все, дальше уже сидят летчики.

— Товарищи! — негромко произнес Комаров. — Враг для служебных совещаний установил нам жесткий регламент. Да и нет сейчас нужды в длинных речах. Прежде всего, от имени командующего фронтом великое вам спасибо за успешное перебазирование. Вы сберегли тридцать три самолета. А что стоит каждый из них сейчас, когда фашисты под Москвой, сами знаете. Я с вами откровенен. Когда стало известно, что нет сил удержать до утра район аэродрома, в штабе фронта не поверили, что вы, в подавляющем своем большинстве никогда не летавшие ночью, сумеете перебазироваться. Мы разрешили Демидову уничтожить часть самолетов, чтобы они не попали в руки врага. Думали, не перелетите вы, побьетесь,

и... приятно ошиблись. Утром я докладываю командующему фронтом, что демидовцы перелетели все до единого, а маршал не верит. Велел представить к ордену лейтенанта Бублейникова. Того, что раненым довел машину. И еще вот что, — Комаров достал из кармана небольшую коробочку, — это из личной аптеки начальника медслужбы фронта. Отдайте Бублейникову. Какое-то новое лекарство. — Он бережно передал коробочку в руки Демидову. — А теперь к делу. Вот что, товарищи летчики, — Комаров взял тонкую указку, подошел к карте, — после перебазирования даю вам двое суток на отдых. Отоспитесь, приведите в порядочек и себя, и свою боевую технику. Получше отдохните, потому что впереди бои, и более суровые, чем те, что остались у вас за плечами. Говорят, солдат должен знать лишь ту обстановку, какая сложилась на участке его роты или батальона. Может, здесь и есть своя логика, но я от такого правила хочу сейчас отступить. Вы — командиры нашей Красной Армии. Вы — особые солдаты, и знать должны куда больше. — Комаров положил на стол указку, сжал руку в кулак. — Вот так вот хотят нас зажать фашисты. Не буду скрывать — над нашей столицей нависла смертельная опасность. Отступать нам дальше некуда. За плечами Москва. Вот карта: танки Гудериана уже под Калугой. Пал Орел, о чем завтра вы узнаете из сводки Совинформбюро. Под угрозой Гжатск. Очевидно, и с этого аэродрома придется вас перебазировать.

— Куда же? — горько спросил Боркун.

— На один из подмосковных аэродромов. Будете сидеть в черте города.

— Что-о?! — вскочил, весь дрожа, Султан-хан. — И эту территорию оставим без боя?

— Спокойнее, капитан, — хмуро остановил его Комаров. — Каждый метр земли от Гжатска до Москвы будут защищать наша пехота, наши танкисты и артиллеристы до последней капли крови.

— А мы? Нас почему в тыл? — нестройно загудели летчики.

— Тихо! — уже строже перебил их Комаров. — Командующего все-таки дослушать надо. Вашему истребительному полку штаб фронта доверяет самую ответственную задачу. Вы будете защищать небо Москвы. Думаете, воздушные бои только здесь, на фронте, а небо Москвы тихое и спокойное? Нет, друзья. Кипит это небо. Каждую

минуту рвутся к столице «юнкерсы» и «хейнкели». Сложную задачу перед вами я ставлю. Вся юго-западная часть Подмосковья под вашу ответственность. Ясно?

— Ясно, товарищ генерал, — с места пробасил Боркун, — головой отвечаем, если враг прорвется.

— Будем драться, — яростно прибавил Султан-хан. — Самолетов не станет — пешими пойдем драться. Автоматами, саблями, кинжалами, но Москву отстоим.

— Спасибо, демидовцы, — усталым голосом спокойно сказал Комаров и опустился на грубо сколоченную табуретку.

...Вечерело, когда Алеша вышел из землянки и зашагал по усыпанной листьями дорожке. Ему хотелось побыть в одиночестве.

Небо, подернутое багряным закатом, постепенно тускнело. Над кромкой ближнего леса расцветало вечернее зарево. Влажный березовый листок упал на лицо Алеши, и он поднес его к глазам. Тонкие, нежные прожилки казались нарисованными. Чуть розоватые, влажные от росы, они четко делили листок на несколько неравных, неправильных частей. И в этой неправильности была своеобразная прелесть.

Алеше стало грустно от мысли, что ожесточенная война, подступившая к самой Москве, совпала с осенью, с этим хоть и временным, но все-таки умиранием чего-то живого в природе. Он вдруг ощутил во всем теле странную разбитость, почувствовал себя не летчиком-истребителем, а тем застенчивым пареньком, каким рос он в далеком Новосибирске. Подумалось о тесной, но такой уютной комнате, о маме, всегда тихой и ласковой, несчастливой маме... Он присел на зеленую скамейку, уцелевшую в пустынной аллее военного городка, достал из кармана бриджей аккуратно сложенный конверт. Мама, никогда не умевшая бороться с бедами, терпеливо принимавшая все, что ей приносила судьба, и в этом письме оставалась сама собой. Она писала, что живет в достатке, работает на ткацкой фабрике, а по вечерам дежурит в госпитале, убеждала сына не беспокоиться о них с Наташей, беречься в полетах. Но так и пробивалась сквозь утешительные строки правда, которую безошибочно угадывал Алеша, — правда о трудной жизни, о тяжелой работе, стоянии в очередях за скудным пайком и в поисках лишнего ведра угля, чтобы хоть раз в два дня протопить комнатенку.

Стрельцов задумался о будущем.

Будущее! Каким-то оно придет, какие ворота в жизнь откроет перед Алешей? Останется ли он летчиком или поступит в институт, окончит его и начнет строить? Строить будущее!.. Главное, остаться живым, и вовсе это не от трусости. Страшно и стыдно, если ты погибнешь, не нанеся врагу поражения, не успев зажечь в воздушном бою ни одного его самолета...

И Алеше представилось, что в бою под Москвой ему удается со своей группой разбить целый десяток «юнкерсов». Ему доверяют эскадрилью, вскоре она становится грозой всех немецких асов, одерживает победу за победой. Потом его вызывают в Главный штаб ВВС, сам главком говорит ему улыбаясь:

— Вы способный командир, лейтенант Стрельцов. Принимайте полк.

И вот молодым полковником идет он по Красной площади, лихо сдвинув на лоб синюю пилотку, и ордена тонко вызванивают на его груди. Да, он будет хорошим командиром! И если когда-нибудь враги вновь попытаются смять кордон, они не застигнут его летчиков врасплох, как в этом суровом и горьком сорок первом году.

«А почему, почему так было? — спросил он себя. — Неужели мы их слабее?»

Алеша вздохнул и самому себе ответил:

«Если бы все наши генералы и командиры были такими, как Комаров и Демидов, и самолеты были бы поновее да побыстрее «ишаков», не стоял бы фронт за Гжатском, не пугали бы никого немецкие клещи и охваты».

Алеша встал со скамейки и пошел дальше. Асфальт кончился, и он шагал по шоссе, усыпанному серым гравием. В кюветах зеленела дождевая вода. Тронутые закатом верхушки берез и елей, стоявших по обочинам шоссе, пламенели в синеющем воздухе. Алеша вдруг заметил, что идет в сторону санчасти.

«Может, Бублейникова навестить? — подумал он. — Хоть мы и мало знакомы, но не чужой ведь он мне. Парень геройский. Схожу».

Санчасть была расположена вдалеке от летного поля, чтобы во время воздушных налетов она не стала случайной мишенью.

На повороте шоссе Стрельцов увидел забрызганный грязью «газик». За баранкой сидел щуплый красноарме-

ец с маленькими щегольскими усиками. Алеша спросил у него дорогу и услышал ленивый голос:

— Идите по тропочке, товарищ лейтенант, тропка выведет. Только на майора моего не наткнитесь. Он тут операцию проводит. Спугнете!

Алеша пожал плечами и свернул на тропинку. Под ногами у него глухо зачавкала грязь. Он взял левее и углубился в перелесок. Здесь было сухо, листья едва слышно шуршали. Ступать по ним было мягко и приятно. Проходя мимо частых кустов орешника, он увидел небольшой ручеек, пробивавшийся из чащобы; остановился, прикидывая, где бы его получше перепрыгнуть, и вдруг услышал за кустами встревоженный женский голос:

— Оставьте меня, товарищ майор! Пустите, слышите! Как вам не стыдно!

— Варюша, ну какой ты дичок. Послушай меня, Варюша, — громко шептал второй голос, показавшийся Стрельцову смутно знакомым. — Тебе хорошо будет, милая девочка. Я заберу тебя из этой санчасти. Хватит возиться с ранеными. Будешь жить в штабе.

— Спасибо, — с издевкой ответила невидимая Алеше женщина. — Вы уже устраивали туда Руфину Светлову!

— О, да ты, оказывается, ревнуешь, — приглушенно засмеялся мужчина. — Молодец, Варюша, показываешь коготки. Но не бойся, я ведь тебя люблю. Будь умной, моя недотрога.

В кустах послышалась возня, и женский голос выкрикнул захлебываясь:

— Вы... вы... наглец!

Кусты затрещали от чьего-то падения. «Черт знает что! — возмутился Алеша. — Кому война, а кому забава одна», — и решительно раздвинул ветви. То, что он увидел, заставило его неудержимо расхохотаться. Следователь военной прокуратуры майор Стукалов, сердито сопя, поднимался из лужи. Потеки грязи стекали по его реглану, подбородок и щеки были заляпаны болотной тиной.

— Что?! — заревел Стукалов, непослушными пальцами застегивая пуговицы на новеньком, поскрипывающем реглане и не попадая в петли. — Смеяться?

— Ой, не могу, — весело бормотал Алеша, — ой, комедия, куда там твой Чарли Чаплин!

— Молчать! — багровея, крикнул Стукалов. — Встаньте как положено!

Алеша оборвал смех, понимая, что обозленный майор не простит ему неповиновения, но так и не смог согнать со своего лица улыбку.

— Вы еще меня запомните, лейтенант, — прошептал побелевшими губами Стукалов и, с хрустом давя на своем пути тонкие ветви орешника, зашагал к темневшей на шоссе машине.

— Ничего, ничего, — вслед ему крикнул Алеша, — я даже «мессерами» пуганный. Держите, товарищ майор, правее, не то опять в колдобину угодите.

Он обернулся и только теперь заметил белокурую девушку в солдатской форме. Высокая, с худенькими плечиками, в расстегнутой шинели, она стояла в двух шагах от Алексея и с удивлением смотрела на него. Острый ее подбородок вздрагивал, чуть раздувались ноздри тонкого носа. Обеими руками она поправляла коротко подстриженные волосы.

— Вот, даже пуговицу оторвал, — сказала она беззлобно.

— Испугались? — продолжая смотреть на нее, сочувственно спросил Алеша.

Девушка передернула плечами и промолчала.

— Куда идете, товарищ лейтенант? — спросила она.

— В санчасть.

— Значит, по пути! Я там сестрой.

Пока узкой сыроватой тропкой шли они к двум коричневым деревянным домикам, упрятанным в гуще леса, Алеша успел узнать, что девушку зовут Варей Рыжовой, что она из Москвы и на фронт попала со второго курса мединститута.

Она провела Алешу в маленькую угловую палату. Койка Бублейникова была приставлена к самому окну. Длинные ноги с голыми пятками высовывались за спинку кровати. Алеше Бублейников обрадовался, как родному, хотя знакомы они были совсем мало.

— Здорово, Стрельцов, — заговорил он, сипло дыша.— Что там у нас нового? Как ребята, как наш комэск, как батя Демидов?

— У нас все в порядке, — торопливо рассказывал Алеша. — Все хлопцы шлют тебе по привету. Тебя к ордену представили. Так что выздоравливай, обмывать будем.

Бублейников улыбнулся.

— Орден — это хорошо, — заговорил он деловито. —

Ты знаешь, я, когда на фронт уходил, слово такое жене своей дал. Если без ордена погибну, считай меня самым распоследним человеком.

— Да разве ты женат? — удивился Стрельцов и даже отодвинулся, чтобы получше его разглядеть. Бублейников закивал головой.

— Женат, Алексей, честное слово, женат! Хочешь, про нее расскажу? Она у меня маленькая, беленькая, черноглазая. Это редко бывает, чтобы беленькая и черноглазая. Я ее «паташонком» называл, когда ухаживал. Скоро родить должна. На крестины кликну, если живы останемся. Приедешь ко мне под Саратов, будем брагу с вареными раками лакать. А потом гармошку с колокольчиками возьмем да по селу как дунем! Здорово играет саратовская гармошка!

— А ты свою жену любишь? — тихо спросил Алеша.

— Нинку? «Паташонка»-то? Да как же ее не любить? Она одна такая! — Бублейников вздохнул. — Знаешь, когда я курсантом был, обо мне один корреспондент заметку в областной газете бахнул. И строчки там были такие: «И он, бывший слесарь металлургического завода, поднимаясь в родное небо, постоянно думает о своем гордом призвании» и так далее. Я это к чему вспомнил? Я тогда этого непутевого корреспондента последними словами клял и потешался: как это мол, можно пилотировать да при этом о чем-то постороннем думать. — Бублейников помолчал. — Оно, конечно, дело прошлое. Пилотировал я тогда, как желторотый галчонок, глаза боялся от земли и от приборной доски оторвать. Вот и уверовал, что летчик в полете ни о чем постороннем не должен думать.— Он неожиданно рассмеялся. — А вчера ночью, когда с аэродрома нашего сюда перелетали, о многом успел подумать. Меня-то ранило на взлете. Знаешь?

— Знаю, — подтвердил Алеша, ладонью гладя коленку.

— Так вот, — продолжал Бублейников, прижмурив глаза, — только я газ успел дать, как сзади — «дзинь!». Я сначала решил, что с мотором что-то, вгорячах не почувствовал боли. Ручку на себя потянул: порядок. «Як» набирает высоту. Ну, думаю, вынесет. Лег на курс вслед за Красильниковым и вдруг вижу, что огни АНО [1] на его плоскостях в глазах у меня двоятся. А на шее, на

[1] АНО — аэронавигационные огни.

спине, на боку что-то липкое, теплое. Только тогда и понял, что ранен. И веришь, Алексей, пока до новой точки дотопал, о чем только не успел подумать. И «паташонка» вспомнил, и первую нашу встречу, и как в любви объяснялся. И как до проходной она меня довела в тот последний день, когда на фронт улетал. Глаза ее, заплаканные, большие, кажется, так и вижу на приборной доске. — Он понизил голос, облизал языком сухие губы. — Может, и живым бы не остался, если бы в том полете о ней не думал...

В коридоре послышался громкий женский голос:

— Больной Сидоренко, здесь курить запрещено.

Дверь распахнулась, и девушка в белой накрахмаленной косынке заглянула в палату.

— Посетитель, прощайтесь с лейтенантом, — выпячивая в произношении «а», как это делают все москвичи, пропела девушка. — Через пять минут обход.

Стрельцов порывисто обернулся.

— Сейчас, сейчас, Варя.

Бублейников внимательно на него посмотрел.

— Откуда ты ее знаешь?

— Так... около санчасти повстречал, когда к тебе шел, — уклончиво ответил Алеша. Он вдруг почувствовал себя обязанным сохранить в тайне подробности своего знакомства с этой девушкой.

— А-а, — протянул Бублейников. — Приятная сестренка, уважительная. Ну, прощай, Стрельцов, не забывай жертву фашистского наступления. Извини, что не в состоянии пожать твою лапу.

— Ладно, не до церемоний! — сказал грубовато Алеша и потрепал короткие волосы Бублейникова.

☆☆☆☆

Землянка, где разместилась эскадрилья Султан-хана, была крепкая, солидная, в четыре наката. Летчики быстро обжились в ней. Курчавый Барыбин притащил откуда-то порыжевшую от времени репродукцию перовских «Охотников» и торжественно прибил ее на стену.

— Это я ваш быт украшаю!

Красильников ухмыльнулся:

— Стоящая вещица. Если кто будет завираться, пусть почаще на эту картину поглядывает.

Ночами, когда плотный туман укутывал аэродром так, что ни одной звезды не было видно, и о войне напоминали только далекие артиллерийские раскаты, в землянке обычно возникал разговор на тему, волновавшую всех фронтовиков.

Боркун и Коля Воронов, пришедшие в первую эскадрилью в гости, сидели на стульях около грубо сколоченного стола, так и не сняв с себя теплых курток. Неугомонный Барыбин бросал в железную печурку сырые сосновые чурки. Невысокая, продолговатая, на кривых ножках печурка напоминала таксу. Дрова чадили, наполняя землянку смолистым запахом. В углу на нижних нарах дремал намаявшийся за день Румянцев. Рядом с ним поместились Алеша Стрельцов и сам хозяин землянки капитан Султан-хан. На верхних нарах, обхватив руками колени, сидел инженер полка Стогов, пожилой и веселый мужчина, которого летчики добродушно называли «сто историй». Он и у Чкалова в свое время работал, и самого авиаконструктора Яковлева знал, и, как говорил, не однажды летал в далекие полярные дебри с Мазуруком. Дремотно прищурив острые серые глаза, Стогов философствовал:

— Лично я уважаю жен, у которых характер крупный. Жена с таким характером в любой беде или радости тебе верный спутник. Если даже разлюбит тебя и кто-то еще на пути у нее повстречается, будьте уверены, новое чувство у нее будет не дешевое, не копеечное. Такая всегда напрямик мужу выложит: дескать, дорогой Ваня или там Сережа, сгорела любовь, и баста. И все обойдется без лжи и притворства. Но зато если такая любит, так уж крепко, по-настоящему, и пусть хоть десять донжуанов вокруг нее увиваются, все равно бесполезно. Но есть и другая категория: мелкота, плотвички. Так эти — тьфу! — Стогов с присвистом чихнул, тыльной стороной ладони смахнул с глаз слезинку, потом достал из кармана пачку папирос, щедро предложил всем закуривать.

Курчавый Барыбин, захлопнув дверь «буржуйки», повернулся к летчикам.

— Вот у нас в Чкаловском училище был случай, — начал он. — Курсант учился, по фамилии Поцелуйко. Вот, скажу вам, донжуан. Даже к поповской дочке сумел подъехать! Дело у них далеко зашло, жениться надо. А как быть, если его за связь с дочерью служителя культа из комсомола шуганут? Так он что сделал. Кого-то как-то

уговорил, и в загсе ему штамп на продаттестате поставили. Во как расписался!

Алеша без особого интереса прослушал нехитрую историю обмана поповской дочери и вдруг почувствовал, что от всех этих рассказов ему становится не по себе. Почему-то всплыло в памяти лицо медсестры Вари, оттолкнувшей майора Стукалова, и стало еще обиднее оттого, что весь вечер друзья по землянке говорят только об изменах и обманах. Алеша не видел, что за ним внимательно, с грустью наблюдают черные глаза его комэска. Он вышел из землянки, не заметив, как следом неслышной, кошачьей походкой вышел и Султан-хан. Горец неожиданно вырос за спиной у Алеши — тот даже вздрогнул. Рука Султан-хана легла ему на плечо.

— Чего пугаешься, джигит? Чего ушел из землянки?

— Подышать захотелось, — ответил Алеша и действительно с наслаждением вдохнул клубящийся туманный воздух. Но Султан-хан рассмеялся.

— Врешь, Алешка. Я же за тобой наблюдал. Тебе мужицкий разговор не понравился.

— Не понравился, — признался Алеша. — Это ведь все неправда! Неужели мы, мужчины, не верим в женскую верность? Ну скажите мне, товарищ капитан.

Султан-хан медленно выбил из трубки пепел, снова набил ее табаком, зажег и сунул в рот, покривленный горькой улыбкой.

— Нет, Алешка, ты их не суди так строго. Это они от одиночества и от плохой погоды языки чешут. А на самом деле они не такие. Они умеют быть нежными. Почти у каждого из них есть женщина, за которую он в огонь и в воду готов, которой верит.

— А у вас такая есть, товарищ капитан?

Огонек разгоревшейся трубки вырвал из темноты тонкие ноздри и губы, улыбнувшиеся печальной улыбкой.

— Есть, Алешка...

— Значит, вы счастливый, — потеплевшим голосом сказал Стрельцов. — Война закончится, встретитесь.

Капитан вынул изо рта трубку, резко взмахнул рукой. Огонек описал полукруг.

— Нет, Алешка, не встречусь, — ответил он глухо.

— Почему?

— Убьют меня, дорогой Алешка. Вот увидишь, убьют, — зашептал горец, охваченный внезапным порывом, и Стрельцову стало страшно оттого, что это говорит чело-

век, в чью смелость и презрение к смерти так верит он сам и его друзья. — Ты не удивляйся, Алешка, — продолжал Султан-хан с той же мрачной решимостью. — Султанка, как собака, все чует. Я, когда на войну пошел, сразу себе сказал: один Султанка стоит двадцати фашистов. Шестнадцать я уже уложил. Буду и дальше бить. Но где-то живет проклятый Ганс или Фриц, который и меня уложит в воздушном бою.

Стрельцов с удивлением смотрел на капитана и обрадовался, когда Султан-хан попросил:

— Иди погрейся в землянку, Алешка. Иди, я один хочу остаться, подумать.

...Султан-хан сделал несколько шагов вперед, ошеломленно спросил самого себя: «Что я ему наговорил, зачем? Только испугал паренька. А он-то считал меня несгибаемым».

Обхватив руками плечи, стоял Султан-хан, вглядываясь в ночной аэродром. Тонкими пальцами он нащупывал на своих плечах уплотненные язвочки. Их было уже пять. «Если бы кто знал! — с тоской, едва сдерживая стон, шептал горец. — Если бы хоть кто-нибудь знал!»

Он был сейчас совершенно одинок в туманном месиве, опустившемся на землю, — один со своей тайной. Он твердо решил не сообщать ее ни одному человеку. Нет, ни Лена Позднышева, ни Боркун, ни Алеша Стрельцов — никто не должен знать, как жестоко наказала судьба Султан-хана. Быть на всю жизнь пораженным тяжелой малоизвестной болезнью, носить на своем теле ее следы и ждать появления новых — это выше его сил.

Еще в Вязьме — об этом никто не знал — Султан-хану удалось попасть к профессору, крупному специалисту. Профессор эвакуировался с запада и жил проездом у своих родственников. Вся квартира была заставлена чемоданами и узлами. Седой, среднего роста человек с мрачной складкой у рта, увидев его, не без иронии спросил:

— Вы что, капитан, решили облюбовать нашу квартиру под штаб? Хотя нет, я и забыл, что летчики отступают на новые аэродромы впереди мирного населения. — Рассмотрев на пыльной гимнастерке боевые ордена, он несколько смягчился. — Тэк-с... сколько же вы их сбили?

— Шестнадцать, — тихо ответил капитан.

— Тэк-с. Неплохо. Ну, а ко мне зачем пожаловали?

— Хочу, чтобы вы меня осмотрели.

— Ну, раздевайтесь, — безразлично пожал плечами профессор.

...Минут через десять Султан-хан вновь стоял перед ним одетый, а пожилой врач угрюмо смотрел на него.

— Сколько вам лет, капитан?

— Двадцать четыре.

— Двадцать четыре. Совсем еще юноша. — И жестко спросил: — Правду узнать хотите?

— Да, — ответил горец.

— Вы очень опасны.

— Для других?

— Нет, для себя. У вас тяжелая форма опасной болезни... Надо немедленно бросить летную работу и лечиться. Иначе болезнь приведет к полному нервному истощению, и даже сердце может сдать в полете.

— Сколько нужно лечиться? — глухо спросил горец.

— Годы.

— А воевать! Кто будет за меня воевать, я спрашиваю! — выкрикнул капитан. Потом сказал хриплым шепотом: — Значит, это неизлечимо.

— Иногда — да, — последовал ответ.

Султан-хан избегал мыслей о смерти. Всякий раз, когда они против воли возникали в сознании, он с жадностью обреченного цеплялся взглядом за все живое. Рыхлое поле аэродрома, самолеты, пахнущие нитролаком, землянка с тесноватыми нарами, голоса друзей — все это становилось необыкновенно родным.

— Ну что же, если откажет сердце, — сурово говорил себе Султан-хан, — здесь я бессилен. Но уходить от боевых друзей в тыл сейчас, когда полк, истекая кровью, ведет бои... Нет, дудки! Это позор и предательство! Уйти можно только так, чтобы фашисты вспоминали тебя не один день!

Капитан сдавил ладонями виски, пошатываясь добрел до землянки. Свет керосиновых ламп больно хлестнул по глазам. Плечистый Боркун поднялся навстречу, весело улыбнулся:

— Султан, где ты бродишь? У нас на четверых бутылка водки. Садись.

— Давай, кунак! — с наигранной веселостью воскликнул капитан, и рука его потянулась к налитой стопке. Коля Воронов перочинным ножом резал сыр. На верхних нарах уже похрапывали Стогов, Барыбин и другие летчики. Султан-хан посмотрел на нижние нары и обрадовал-

ся, увидев, что Алеша Стрельцов тоже задремал, подложив под пухлую щеку загорелый кулак.

— Давай, Вася, — воскликнул Султан-хан и, чокнувшись с Боркуном, Колей Вороновым и Красильниковым, выпил водку, горькую, ненужную, неуспокаивающую и невеселящую.

☆☆☆☆

Старший политрук Румянцев проснулся под утро. За маленьким слюдяным оконцем возникал серый рассвет. В лампе, горевшей всю ночь, чадил до предела закрученный фитиль, и воздух вокруг нее был синим. Кто-то надрывно храпел на верхних нарах. «Стогов, что ли? — досадливо подумал Румянцев. — Эк он рулады-то высвистывает».

Стенки железной печурки краснели в темноте. Из неплотно прикрытого поддувала выскакивали мелкие искорки. «О чем они тут говорили? — вспомнил Румянцев.— О женской верности?» Он вдруг болезненно поморщился. «Софа?» — подумал он и сразу почувствовал внутри себя необычайную пустоту.

Мало кто в полку догадывался о том, как протекала семейная жизнь комиссара. Да, пожалуй, никто, кроме Демидова, не мог и сомневаться в ее прочности. До войны Румянцев всегда был на людях. В ДКА на кинофильмы и концерты заезжих артистов он приходил вместе с Софой, на воскресных массовках тоже появлялся с нею, и не было случая, чтобы кто-нибудь слышал хотя бы легкую перебранку супругов. Да, собственно, и дома ее не было, этой перебранки.

Смежив глаза, Румянцев внезапно увидел свою прежнюю квартиру, мебель, расставленную Софой, наивные столетники на подоконниках.

Он возвращался домой очень поздно. Если были ночные полеты — только под утро. Приближаясь к дому, видел в угловом окне мягкий голубоватый свет. «Сонюшка небось читает», — ласково думал он о жене. Софа любила мягкие полутона. Она и абажур голубой выпросила у супруги инженера Стогова, приехавшего с Халхин-Гола.

Убыстряя шаги, Борис Алексеевич взбегал на второй этаж, нашарив в кармане комбинезона ключ, открывал английский замок. Софа лежала в постели, свесив голые

ноги с мягкой, розовой от загара кожей, и перелистывала страницы какого-нибудь романа.

— Ах, это ты! — говорила она, увидев мужа, и в негромком ее голосе, в ленивом потягивании так и сквозило равнодушие.

Борис Алексеевич ощущал, как на смену радости приходит огорчение, но старался отогнать его. Стаскивая с себя летное обмундирование, весело произносил:

— Чего ты не спишь, малыш? Неужели меня дожидалась?

— И тебя, и роман ерундовый дочитывала. Хочешь кофе?

Они наскоро ужинали и ложились спать. Борис Алексеевич забирался под одеяло быстро, а Софа еще долго шлепала по полу босыми ногами и шуршала халатом, словно никак не могла его снять. Наконец, протяжно зевнув, она укладывалась.

— Ой, как я устала, тебя ожидая!

Она поворачивала к нему свое лицо — в нем не было никакого волнения, в нем стыло то же ленивое, бесстрастное выражение. Борис Алексеевич жадно целовал ее губы, лоб, глаза.

— Ну хватит, хватит! — вяло улыбалась она. — Спокойной ночи, Боря!

Софа поворачивалась к нему спиной, взбивала подушку и по-кошачьи поджимала под себя ноги. Через минуту-другую до его слуха доносилось ровное легкое дыхание. А ему не спалось. Сцепив ладони на затылке — это была его любимая поза, — он смотрел в темный потолок и бессознательно прислушивался к гулким толчкам своего сердца. Он лежал неподвижно, затаив дыхание, надеясь, что вот-вот Софа откроет глаза, повернется к нему, обнимет. Каким бы счастливым стал он тогда. Но Софа спала, и, кроме постукивания будильника, в комнате ничего не было слышно. Борис Алексеевич засыпал не скоро, мутным, непрочным сном.

Наступало утро и приносило с собою обычный круговорот дел. Торопливое умывание, сборы на аэродром... Если он зажигал свет, чтобы разыскать штурманскую линейку или ветрочет, Софа на мгновение открывала глаза и сонно предлагала:

— Хочешь, я встану поджарю тебе яичницу? И кофе можно разогреть.

— Спасибо, Сонечка, я в столовой с ребятами позав-

тракаю, — отвечал Румянцев, стараясь подавить в себе глухое раздражение, но оно все же прорывалось, звучало в голосе помимо воли, и Софа его улавливала, тотчас же, отворачиваясь, говорила:

— Как знаешь, можешь завтракать где тебе угодно. Свет только не зажигай, пожалуйста.

И он уходил, всем своим существом понимая, до чего она сейчас к нему равнодушна.

Иногда случалось, что Румянцев возвращался домой под хмельком. Его усилий не показать этого жене хватало ровно на столько, чтобы вручить ей подарок: коробку дорогих духов или примятый сверток с пирожными. Первые же произнесенные слова выдавали его с головой, и чуть влажные глаза Софы становились неподвижно вопросительными, потом с явной брезгливостью и неприязнью задерживались на его виноватой фигуре.

— Ты с какой это радости напился, Боря? — сурово спрашивала жена. — Целый день тебя жди, а появишься — радуйся, что осчастливил своим пьяным ликом.

Борис Алексеевич делал к ней примирительный шаг.

— Да я ведь чуточку, Сонечка, с друзьями.

— Не приближайся, — с возмущением останавливала его Софа. — Нечего сказать, хорош! — И все наступала, наступала...

Безнадежно махнув рукой, Румянцев опускался на тахту, молча качал головой. Ему бы не молчать, а говорить. Говорить о том, какой пустой и неприютной становится их жизнь, каким ледяным равнодушием встречает и провожает его жена, ему бы проникнуть в ее замкнутый душевный мирок, и, может, все разрядилось бы, поправилось, стало на свое место. Но слова, горячие, искренние, которые мысленно столько раз произносил Борис Алексеевич, застывали где-то глубоко и умирали невысказанными. Он только сдавливал голову и, быстро трезвея, печально повторял:

— Да. Плохо. Очень плохо. Очень...

Борис Алексеевич не мог не чувствовать, что после замужества Софа быстро к нему охладела. Это особенно обострилось после ее неудачных родов. Ребенок умер, и Софа возвратилась из больницы неразговорчивой, отчужденной. Однако память Румянцева, до мелочей сохранившая так хорошо прожитый первый год их совместной жизни, заставляла искать в отношении к нему Софы осколки прежней нежности...

Когда на четвертый день войны был получен приказ эвакуировать семьи комсостава, Софа не могла уехать: она металась в малярии. Три раза в день Румянцев вырывался с изрытого бомбовыми воронками и щелями аэродрома на свою квартиру, приносил ей еду, порошки хинина.

В большом комсоставском доме только в его квартире теплилась жизнь. Все остальные жильцы уже уехали. Лишь сторожиха Катя, старуха белоруска, высокая и угрюмая, по-прежнему сидела в центральном подъезде.

— Не боишься? — окликнул ее Румянцев, пробегая вверх по лестнице с котелками в руках, и чувствовал на своем затылке угрюмый бесцветный взгляд.

— А чего бояться-то? Это ваши-то солдатики по щелям прядают, едва германа в небе завидят, а меня, что так что этак, бог скоро приберет.

— Шла бы в деревню, Катя, на родину, — советовал Румянцев. — Фронт подходит. Трудно сказать, удержим ли Оршу.

— То-то и видно, что не удержите, — отвечала она сердито.

Румянцев бежал дальше по лестнице, гремел ключом на площадке второго этажа и торопливо подходил к большой никелированной кровати. Софа лежала на ней разметавшись, с открытыми, воспаленными от сильного жара глазами.

— Пришел, Бориска? — спрашивала она, тяжело дыша.

Румянцев становился на колени, как был в пыльной гимнастерке и пыльных сапогах, целовал ее горячую голую руку, с надеждой спрашивал:

— Легче, Сонечка?

Потом подавал градусник, наливал компот, разрезал с трудом добытый лимон.

— Что нового? — спрашивала жена.

Он не умел скрывать своих горестей и радостей, не умел лгать, если даже ложь приносила облегчение, сглаживала все то страшное и тревожное, что было теперь за окном, за порогом дома, что проносилось над крышей вместе с воем немецких бомбардировщиков. И он не спеша говорил, что фашисты за день опять продвинулись, линия фронта неустойчива, а вражеская авиация превосходит нашу количеством...

— Ты береги себя, Боря, — тихо произносила жена. — Не лезь в самое пекло.

— Стараюсь, — отвечал он неуверенно и вскоре уходил снова, потому что или предстоял боевой вылет, или нужно было к такому вылету готовить других.

Дня через два Софе стало лучше. Температура спала, и она ходила по комнате похудевшая, с провалившимися большими глазами.

...В тот день Румянцев должен был вылететь на рекогносцировку нового аэродрома, куда намечалось перебазировать их истребительный полк. Демидов диктовал приказ о перебазировании, глядя куда-то в землю, и у Румянцева больно сжалось сердце, когда оперативный дежурный нанес на карту новые изменения в линии фронта. Две синие острые стрелы были уже восточнее их аэродрома — подвижные группы противника обошли и аэродром и город.

— Вот и все, Борис Алексеевич, — горько усмехнулся Демидов. — Финита. Клади карту в планшетку и топай определять нам новое пристанище. Не исключена возможность, что завтра здесь будут немцы.

— А Софа? — вырвалось тогда у Румянцева, и к горлу подступил такой тяжелый неповоротливый ком, что стало трудно дышать. Он вскинул на Демидова потемневшие глаза: — Командир, я полечу на рекогносцировку на спарке.

— Зачем?

— В курсантской кабине будет сидеть жена. Иначе я не могу. Не могу ее бросить, если завтра в городок ворвутся фашисты.

Демидов негнущимися пальцами открывал папиросную коробку.

— А ты подумал, что нам обоим впишут, когда узнают, что, выполняя боевой приказ, ты нарушил дисциплину?

— Подумал, — решительно ответил Румянцев. — У меня с вами не было об этом разговора. Так и будем считать. Прошу запланировать спарку.

Румянцев увез Софу в тыл на учебно-боевом самолете, а с нового аэродрома сумел переправить ее в Москву в санитарном поезде. И только тогда, при расставании, что-то снова изменилось в их отношениях. Он до сих пор не мог вспомнить без боли дрогнувший ее голос, когда в последнюю минуту, торопясь, она говорила:

— Война — это очень страшно, Боря. Если только пройдешь через нее, любой ко мне приезжай, здоровый ли, раненый. Это навечно, Боря!

...Совсем близко отсюда, притихшая, затемненная, грозная в своем молчании, притаилась Москва, и там, у своей институтской подруги Нелли Глуховой, живет Софа. Эх! Вырваться бы, посмотреть!..

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Все еще спали, когда в землянку первой эскадрильи в сопровождении посыльного вошел начальник штаба Петельников в плащ-палатке, забрызганной дождем и грязью. Осторожно откинув с головы капюшон, Петельников стряхнул на дощатый пол брызги, потом тихо разбудил Султан-хана.

— Товарищ капитан! Вставайте. Надо вылетать.

— Вот тебе и на, — потягиваясь, зевнул горец. — А где же обещанные два дня отдыха?

— Ничего не поделаешь,— вздохнул Петельников.— Человек предполагает, а судьба, как говорится, располагает...

Султан-хан, натягивая гимнастерку, осведомился:

— Какое задание?

— Ли-2 с ранеными идет под Москву. Командир полка приказал выделить машину для сопровождения.

— Дожили, — покачал головой Султан-хан, — в Москву и то не можем отпустить транспортный самолет без сопровождения.— Он с хрустом потянулся.— Значит, лететь. А погода?

Петельников сделал неопределенный жест в сторону окна.

— До девяти туман должен рассеяться, по маршруту будет ясно.

— Кого же послать? — Султан-хан потер переносицу.

— Подполковник Демидов рекомендует лейтенанта Стрельцова,— подсказал Петельников.

Султан-хан вопросительно посмотрел на разбуженного их голосами Алешу.

— Ведомый, ты как? Отдохнул?

— Надо — полечу,— с готовностью ответил Стрельцов.— Вам отдохнуть стоило бы, товарищ капитан.

Султан-хан нахмурился, подумав, что лейтенант намекает на вчерашний их разговор о жизни и смерти.

— Смотри ты, как о здоровье командира эскадрильи печется!

— По уставу положено,— отозвался Алеша.

— Ну, если такое дело, готовься,— сухо согласился Султан-хан и, глядя на влажные от дождя седые виски Петельникова, спросил: — А что там за раненые?

— Из нашего лазарета.

— Откуда же столько раненых летчиков, что целый «дуглас» ими загрузили?

Начальник штаба отрицательно покачал головой:

— Это не летчики. Танкисты из корпуса РГК. Этот корпус только вчера вышел из боя.

Ровно через час Алеша в летном обмундировании с планшетом в руках был у своего «ишачка». Механик Левчуков сбрасывал с капота и кабины отяжелевшие от дождя брезентовые чехлы. Помогать ему пришел техник Кокорев. Даже инженер Стогов заглянул на стоянку, осмотрел кабину, стойки шасси, узлы крепления. Султан-хан осклабился в белозубой улыбке:

— Какой тебе почет, Алешка. Вся инженерная мысль вокруг твоего «ишака» колдует.— И, переходя на деловой тон, отрывисто потребовал: — Планшетку дай.

Султан-хан внимательно рассмотрел красную изломанную линию маршрута, задал несколько обычных контрольных вопросов и, убедившись, что лейтенант достаточно хорошо продумал предстоящий полет над незнакомым районом, одобрительно сказал:

— Ладно, ведомый, идем командиру доложим.

Демидова они встретили около штабной землянки. Стоя в кругу летчиков и техников, он разговаривал с командиром аэродромного батальона майором Меньшиковым.

— Молодец комбат! — воскликнул Демидов, хлопая по плечу Меньшикова.— Честное слово, люблю таких. И на аэродроме у него порядок, и кормит хорошо, и землянки что надо. Ей-ей, буду просить генерала, чтобы закрепил за моим полком твой батальон. Согласен?

— А как же, Сергей Мартынович! — улыбнулся Меньшиков.

Выслушав доклады Султан-хана и лейтенанта Стрельцова, Демидов погасил улыбку.

— Задание не такое простое, каким может показаться,— напутствовал он Алексея.— На самолете двадцать три раненых. Среди них полковой комиссар и командир

танковой бригады. Его позавчера вытащили из горящего танка на поле боя. Помните, лейтенант, если включить в это число и экипаж с медсестрой, то получится, что вы за тридцать жизней отвечаете. А «мессеры», сам знаешь, любят такие машины исподтишка бить. Так что прикрывай поаккуратнее. В основном ходи сзади, но и переднюю сферу не забывай. Подойдешь к Москве, будь еще более осмотрительным, на маршруте могут встретиться аэростаты воздушного заграждения. Не столкнитесь с ними,— Демидов снова перешел на «вы».— И еще одно. Немедленно договоритесь о взаимодействии с командиром Ли-2. Взлет по зеленой ракете. Видите, как облачность растягивает. Не ошиблись сегодня синоптики. Спешите.

Зеленый пузатый Ли-2 с длинным рядом квадратных окошечек в фюзеляже был уже выведен из капонира и подготовлен для взлета. В раскрытый люк красноармейцы вносили носилки с ранеными. Две санитарные камуфлированные машины виднелись за широким крылом транспортника. Оба его мотора, только что прогретые борттехником, отфыркивались дымками. Не обращая внимания на сигналившую сзади третью санитарную машину, Алеша, придерживая планшет, по узкой стремянке забрался в самолет.

Ли-2 был специальный, санитарный. Под его потолком висели серые и зеленые носилки. Шагая по узкому проходу к пилотской кабине, Алеша вдохнул неприятный после свежего воздуха запах йодоформа. Увидел посеревшие от потери крови, сведенные болью лица. Лежавший в носовой части самолета пожилой человек с ампутированной рукой смотрел на дверцу пилотской кабины и тупо повторял:

— Куда же теперь, сатана его задери, а! В окопах засыпало, в танке чуть не сгорел, а теперь в небо. Я же никогда не летал. Почему же не поездом, сатана его задери?

За сравнительно короткий срок своего пребывания на фронте Алеша еще ни разу не видел столько страдающих людей: стонущих, взывающих о помощи, надеющихся или потерявших надежду.

— Вам кого, лейтенант? — услышал он хозяйский оклик.

В узкой прорези пилотской кабины стоял бледный капитан с копной светлых волос, ввалившимися щеками

и шрамом на левом виске. Если бы не черные, брызжущие энергией глаза, лицо его казалось бы смертельно усталым.

— Вы командир корабля? — догадался Алеша.

— Ну, я, капитан Лебедев,— снисходительно подтвердил незнакомец.— А вы?

— Лейтенант Стрельцов из первой эскадрильи девяносто пятого истребительного полка. Буду вас сопровождать,— пояснил Алеша. И, впервые почувствовав свое превосходство над этим транспортным, почти беззащитным от истребителей противника самолетом, заговорил строже, так что у капитана от неудовольствия сразу покривились уголки рта.— Давайте условимся, товарищ капитан. Скорость держите одинаковую: двести двадцать, буду к ней приноравливаться. Ветра нет. Высоту вам дали, насколько я знаю, четыреста.

— Вы действительно осведомлены, лейтенант,— иронически усмехнулся Лебедев.

— Осведомлен, товарищ капитан, будьте спокойны,— независимо произнес Алеша и продолжал: — А своему воздушному стрелку передайте: если появятся «мессеры» и я пойду в атаку, огня пусть не открывает. Свои в этом случае чаще сбивают, чем чужие.

У командира Ли-2 презрительно дернулась левая бровь:

— А вы, лейтенант, живыми их видели, эти «мессеры»?

— Думаю, побольше, чем вы,— оскорбился Алеша.

— Чем я! — вскипел капитан. — Да у меня от них отметина на виске! Я два раза горящую машину спасал. Школа!

— Так и у меня школа,— произнес Алеша, вновь ощущая свое превосходство.— Школа Султан-хана, если о таком слыхали. Я в этой школе пять фашистских машин на землю спустил.

Алеша с достоинством вскинул на капитана свои большие глаза и удивился неожиданной перемене. Еще минуту назад заносчивый, обиженный тем, что ему дает указания какой-то мальчишка в форме лейтенанта, Лебедев вдруг заулыбался, усталое лицо его просветлело, и он сразу сделался простым и добрым парнем.

— Что ты говоришь! — вскричал он, моментально переходя на «ты». — Султан-хан на этом аэродроме? Где, далеко?

— В столовую сейчас пошел.

— Вот жаль,— сказал Лебедев с искренним огорчением,— пятнадцать минут до запуска. Не успею. А повидать его крайне бы хотелось. Он моему экипажу жизнь спас под Смоленском. Вдвоем шестерку «мессершмиттов» от нас отогнал. Сила летчик! Я потом из газеты узнал, что это был он.

— Вот вам и школа! — весело подытожил Алеша.— А я его ведомый.

— Ведомый! — Лебедев обрадованно засмеялся.— Ну, лейтенант, твоя взяла. Диктуй условия — все принимаю. Только и ты послушай старого воздушного волка. Над Москвой когда-нибудь ходил?

— Ни разу,— сознался Алеша.

— Тогда вот что,— движения Лебедева стали быстрыми, расторопными, точными. Он вынес из пилотской кабины складную карту и начал водить по ней ногтем, поясняя, как лучше идти по этому маршруту и где надо быть особенно внимательным, чтобы не помешать посадке или взлету самолетов, поднимающихся с подмосковных аэродромов. Алеша поблагодарил капитана за советы, и они расстались почти друзьями. Шагая по узкому проходу к выходу, он опять вдохнул тяжелый запах йодоформа и бинтов. Раненые стонали, тоскливыми глазами глядели в металлический потолок самолета, испещренный мелкими строчками заклепок. Алеша сошел по стремянке на землю и вдруг услышал удивленное восклицание:

— Товарищ лейтенант! А вы здесь зачем?

Стрельцов порывисто поднял голову. На подножке санитарной машины стояла медицинская сестра в узкой юбке и заправленной под комсоставский ремень гимнастерке. Светлые, широко раскрытые глаза смотрели на него обрадованно и озадаченно.

— Варя, здравствуйте! — воскликнул Алеша, тоже обрадованный, но и смущенный этой неожиданной встречей.— Я-то по делу. А вы?

— А я раненых сопровождаю. После посадки сдам их на машины эвакогоспиталя и буду на попутных добираться обратно,— проговорила она звенящим, певучим голосом, выделяя все «а».— Вы, наверное, дружка в нашем экипаже нашли?

— Нет, не угадали,— улыбнулся Стрельцов.— Я со-

провождать вас буду. Чтобы «мессеры» не прилипли к вам.

— Вот как! Это интересно.— Варя пытливо посмотрела на него. Ее лицо было сейчас серьезным и ласковым.— Ой как здорово, что именно вы!

Алеша смутился, и его взгляд убежал от взгляда Вари.

— Разве вам не все равно, кто будет за вашим хвостом на «ишаке» болтаться? — небрежно возразил он.

Девушка замахала руками.

— Вы хотели сказать, за хвостом у «дугласа»? — смеясь, уточнила она.

— Ну да, конечно,— еще больше смешался Алеша.

Ямочки заиграли на Вариных щеках.

— Просто здорово, что вы прикрываете. С вами веселее,— прибавила она,— да, веселее, товарищ лейтенант. Вот и все.

В воздухе повис короткий зычный окрик:

— Лейтенант Стрельцов, на стоянку!

Алеша пожал плечами. Он даже рад был сейчас этому сигналу, рад поскорее отойти от девушки, ускользнуть от ее рассматривающих светло-серых глаз.

— Вот видите, меня уже потребовали,— развел он руками и, придерживая ладонью планшетку, побежал к своему самолету.

Стоя на подножке санитарной автомашины, Варя неотрывно смотрела вслед лейтенанту, и на ее губах не меркла удивленная улыбка. Прозрачным и опьяняющим показался ей в эту минуту сырой осенний воздух, окутавший аэродром. Она вскинула голову, увидела над собой тающие хлопья тумана, голубое небо в разрывах облаков и солнце, удивительно яркое в этот октябрьский день.

☆☆☆☆

Зеленый транспортный Ли-2 с четкими знаками Красного Креста на плоскостях и фюзеляже взлетал первым. Лебедев по всем правилам вырулил на широкую бетонированную полосу, поставил самолет носом против ветра и начал разбег. Алеша увидел, как заклубилась пыль за высоким хвостом транспортника, как темное туловище самолета отделилось от земли и поплыло над

высокими лохматыми соснами, окаймляющими аэродром. «Пора и мне»,— подумал он.

Винт безжалостно молотил воздух над козырьком кабины. Широкая без выбоин лежала впереди бетонка. Сигнальная ракета прочертила в воздухе зеленую дугу, это означало — взлет разрешен. Прижмурив глаза, Алеша подал вперед рукоятку сектора газа, увеличил обороты мотора. Ровное дыхание двигателя наполнило его привычной уверенностью.

— Пошел! — скомандовал он самому себе и начал разбег, нацелившись взглядом на рыжий ствол сосенки в самом конце аэродрома, чтобы получше выдержать направление. Руки заученными движениями перебегали с рычага на рычаг, с тумблера на тумблер, глаза так же автоматически скользили по приборам.

Набрав семьсот метров, он выровнял машину и осмотрелся. Солнце успело уже оторваться от земли. Было оно в этот день не по-осеннему ярким, сияло совсем как летом, и небо ослепительно голубело, лишь кое-где его пятнали кудлатые облака. Они не спеша передвигались по этому голубому пространству, распадаясь на части. Пестрая подмосковная равнина расстилалась внизу. Синели зубчатые соснячки, полыхали березовые рощицы в своем ярком осеннем наряде, горбами перекатывались высотки. Местами, разделанная под пар, чернела жирная земля. Реки и озера отсвечивали той безжизненной чистотой, какая свойственна им только осенью, когда уже кончились купания и не видно на желтых плесах и отмелях детворы, лишь кое-где в редких лодках темнеют фигуры рыбаков. Мелькнула впереди серая строчка автострады Москва — Минск. К ней нужно было «привязаться» и идти вдоль минуты четыре-пять. Алеша так и сделал. Поставив машину в крен, он посмотрел на шоссе. Нет, ничего нового не увидел он: все та же печальная картина отступления. Непрерывным потоком тянулись на восток, к пригородам Москвы, вереницы автомашин со штабным и интендантским имуществом, «санитарки», радиостанции, повозки. Кое-где он увидел прицепы с орудиями и танки. Весь этот поток откатывался от линии фронта, уступая дорогу редким встречным машинам, следующим к переднему краю в расположение сражающихся войск. «А где же новые части, резервы? — тоскливо подумал Алеша.— Опять отходим!»

Натужно гудя моторами, тяжело нагруженный Ли-2

шел внизу, прижимаясь к лесным массивам. Он держался в стороне от шоссейных дорог, всегда привлекающих внимание авиации противника. Чтобы уравнять скорость и все время идти в хвосте у тихоходного транспортника, Алеша непрерывно делал виражи, то заскакивая вперед, то оттягиваясь назад. Время от времени перед самым носом транспортника он лихо описывал полуокружности. Два раза Алеша набирал высоту, пикировал и выводил свою машину на одном уровне с Ли-2, мельком взглядывая на ровный ряд окошечек. Ему даже показалось, что в одном из них он увидел прильнувшее к плексигласу лицо Вари. Потом, снова набрав высоту, он пошел сзади. Теперь перед ним маячил высокий киль охраняемого самолета. Большие белые кресты отчетливо выделялись на широких крыльях транспортника. Когда Ли-2 шел над лесами, эти кресты казались вылепленными из снега.

Вскоре лесные массивы заметно поредели. Впереди обозначился широкий коридор. Земля здесь нахохлилась холмами. Скошенные поля неуютно желтели на солнце. Маршрут полета на этом участке снова выводил к серой линии шоссе.

Склонив истребитель на крыло, Алеша очередным виражом намеревался обогнуть транспортный самолет справа и вдруг заметил, как по пестрой выкошенной пашне скользнули две легкие тени. Оглянувшись, насколько это было возможно, Стрельцов увидел позади себя два самолета с тонкими осиными фюзеляжами. Мелькая в воздухе черными крестами, они заходили в хвост его машине. Первой мыслью Стрельцова было рвануться вперед с набором высоты. Он уже приготовился сильно потянуть на себя ручку, но, поглядев вперед, увидел, как с превышением в пятьсот — шестьсот метров над ним прошел еще один, холодно поблескивающий на солнце фашистский истребитель.

«Вот и попался!» — подумал Алеша и тут же удивился, что не ощутил ни растерянности, ни того неприятного оцепенения, которое в критические минуты боя обычно приходило от сознания смертельной опасности.

☆☆☆☆

За свою двадцатилетнюю жизнь Варе Рыжовой ни разу не приходилось подниматься в воздух. Лишь от

подруги Оленьки Симоновой Варя слышала о том, как трудно быть воздушным пассажиром, переносить болтанку, испытывать стремительные снижения при посадках, во время которых «лопаются уши», а сердце «выскакивает из пяток».

Болтанки Варя боялась гораздо больше, чем возможной встречи с «мессершмиттами», о которой накануне ей невнятно говорил Сафар, воздушный стрелок с Ли-2, смуглый молодой узбек с влажно поблескивающими черными глазами.

Увидев лейтенанта Стрельцова и узнав, что именно он будет сопровождать их самолет до самой Москвы, Варя очень обрадовалась. В сложном мире грубоватых, иногда откровенно циничных отношений, с которым ей иногда приходилось сталкиваться в госпитале, такой бесхитростный, неиспорченный и не пропитанный грубостью юноша, как Алексей, не мог ей не понравиться. Он и не знал, что, как только ушел из палаты от раненого Бублейникова, Варя трижды под разными предлогами наведывалась к нему и расспрашивала об Алеше.

Узнав, что Стрельцов будет их прикрывать, Варя садилась в Ли-2 ободренной. Как-то сразу отступили все ее опасения. Смуглый Сафар убрал стремянку, захлопнул дверь и удобно устроился на железном сиденье у турели с пулеметом ШКАС. Варя неторопливо передвигалась по узкому проходу между брезентовыми носилками. Когда самолет взлетел и слух постепенно привык к ровному рокоту мощных моторов, ей стало даже весело. «И все-то Ольга придумала,— решила она, глядя, как в небольшом окошке проплывает пестрая лента земли.— И вовсе не страшно лететь, и никаких тебе воздушных ям... Просто как в троллейбусе едешь».

Освоившись, Варя сразу взялась за свои дела. Придерживаясь за стальные тросы, на которых прочно покоились носилки, она переходила от раненого к раненому. Одному дала пить, другому сменила на голове компресс, третьему поправила кислородную подушку. Танкисту с ампутированной рукой, ни за что не желавшему лететь и на чем свет стоит клявшему авиацию, строго сказала:

— Ну как вам не стыдно, Гаврилов? Чего вы боитесь? Зачем ругаетесь? Я вам по секрету скажу, что тоже боюсь. Но я же не кричу!

Кому от сильной боли ничем нельзя было помочь, она шептала кротко, умоляюще:

— Ну потерпи, милый. Совсем немножечко потерпи. Ты уже много терпел. Осталось совсем немножечко.

Один раз, когда она проходила мимо турели, Сафар, обнажив в восторженной улыбке крепкие зубы, казавшиеся неестественно белыми на его смуглом лице, тронул ее за плечо:

— Сестренка, погляди, как нас с тобой «ишачок» прикрывает.

Варя прильнула к толстому плексигласу окна и увидела, что маленький широколобый И-16 проплыл совсем рядом с транспортником и, покачав крыльями, взмыл вверх. Варя, просияв, кивнула Сафару.

— Красиво как полетел! — воскликнула она, радуясь тому, что Сафар, которому не известно о ее знакомстве с Алешей, ничего не может заподозрить.— Отличный летчик, правда? И смелый.

— Еще бы,— рассмеялся Сафар.— Говорят, у самого Султан-хана ведомым ходит. С таким не страшно!

Прошло еще несколько минут. Варя вновь подошла к воздушному стрелку, чтобы еще раз увидеть скользящий за ними в солнечных лучах самолет. Сафар сидел, прильнув к черному телу пулеметной установки, с застывшим лицом и не спеша поворачивал турель то в одну, то в другую сторону. Варю он не заметил.

— Сафар! — окликнула его девушка с веселой беззаботностью.— Дай-ка я еще на «ишачка» посмотрю.

— Уйди, сестренка,— сквозь стиснутые зубы процедил стрелок,— уйди: «мессеры».— И стал что-то быстро говорить по самолетному переговорному устройству летчику.

И вдруг все затряслось, задребезжало, затренькало. Самолет резко качнулся влево, вправо, проваливаясь, помчался вниз, потом так, что сдавило уши и перед глазами Вари замелькали красные круги, ринулся вверх. Раненые заметались на носилках, а танкист противным пронзительным голосом закричал:

— Ой, что делаете, изверги! Ой, погиб!

С верхних носилок на зеленый пол самолета посыпались металлические чашки, упала красная резиновая грелка. Неприятная сосущая тошнота неожиданно подкатила к Варе. Она, побледневшая, кинулась к турели, но за широкой спиной Сафара ничего не увидела. Поняв, что началось что-то страшное, она отчаянно закричала:

— Стреляй же, Сафар, стреляй, чего молчишь!

Сафар, тронутый отчаянностью и решительностью этого выкрика, быстро ответил ей, как человеку, способному понимать и оценивать возникшую опасность:

— Да не могу же я, сестренка. В него попасть можно.

Внезапно стрелок отнял от черной пулеметной турели ладони и закрыл ими глаза, словно боясь увидеть то самое ужасное, что неминуемо надвигалось и должно было вот-вот свершиться.

— Ой, собьют! — жалобно выкрикнул он.

Вся в холодном поту, Варя придвинулась к нему, спросила:

— Кого?

— «Ишачка».

Она бессильно прислонилась к бронеспинке сиденья стрелка. Все окружающие предметы: носилки, санитарные сумки, упавшие на пол чашки — стали двоиться у нее в глазах. Самолет вздрогнул и, снова невероятно качнувшись, полез вверх. Варя насилу устояла на ногах и не выдержала, заплакала, когда воздушный стрелок громко воскликнул:

— Горит... честное слово, горит!

Она уже видела однажды под Смоленском, как падал на землю пылающий самолет, оставляя за собой страшный дымный след. И сейчас, парализованная этим воспоминанием, она боялась увидеть такой же след за самолетом Стрельцова. Все вокруг нее подернулось лиловым туманом.

Варя очнулась, оттого что Сафар сильно потряс ее за плечо.

— Чего плачешь, сестренка? Ох и дешевые же у тебя слезы, а еще солдат! У нас в Самарканде, в Старом городе, такие слезы ведрами можно продавать — и никто не купит. Ну, не реви, тебе говорю. Никогда еще не видел такого! Клянусь, не видел.

Сафар отошел от пулемета и с таким облегчением засмеялся, что его узкие глаза превратились в щелки. Размахивая руками, он сбивчиво говорил:

— Никогда такого не видел я, сестренка. Они шли у него в хвосте, как два голодных шакала, а третий сверху. Потом этот третий куда-то пропал. Должно быть, полез на высоту и там караулил, чтобы «ишачок» наверх из боя не выходил. И вдруг «ишачок» сделал вот так...— Левая ладонь Сафара поднялась вверх, затем перевернулась и в перевернутом положении настигла пра-

вую, успевшую отодвинуться вперед.— Так и было, сестренка. «Мессер» дал по нему очередь и проскочил, а он ему под брюхо и — зажег.

— А другой? — с трудом спросила Варя.

— А второй успел в это время зайти «ишачку» в хвост. Одну дал очередь, вторую, «ишачок» все ниже и ниже пикирует, будто удирает. «Мессер» за ним. Потом непонятное случилось. «Ишачок», видно, над самыми верхушками сосен выпорхнул, а «мессер» в землю врезался.

Из пилотской кабины вышел второй летчик, маленький круглолицый старший лейтенант, платком отер с лица обильный пот и, добродушно улыбаясь, протянул Варе коробку с леденцами.

— Зачем? — удивленно отодвинулась девушка.

— Эх, медицина,— осуждающе заметил лейтенант.— Да после такой болтанки, какую наш командир устроил, чтоб не идти у «мессеров» в прицеле, леденцы — первое дело.

Варя достала из санитарной сумки блюдечко, рассеянно отсыпала в него леденцов и, поблагодарив второго летчика, пошла к раненым. Она была сейчас в каком-то радостном возбуждении. Ей хотелось быть тихой и хотелось смеяться в одно и то же время. Значит, все кончилось. Значит, не вырос этот страшный след дыма за хвостом у маленького истребителя. И все вокруг нее казались сейчас такими хорошими! Проходя опять мимо Сафара, Варя на мгновение прижалась к его спине лицом и тотчас отпрянула.

— Ой, Сафар! Тебя не тошнит? А то возьми леденец, пососи,— смеясь, предложила она.

— Давай,— охотно согласился воздушный стрелок.

— А где же он? — певуче спросила Варя.

— Кто? «Ишачок»? — уточнил Сафар.— Вон порхает, сестренка. Я же тебе сразу сказал, что у капитана Султан-хана все летчики стоящие. Эх, если бы не он, не пришлось бы меня леденцами угощать.

Но Варя, не слушая его, приблизила лицо к холодному толстому плексигласу. Увидела, как, вырастая в объеме, надвинулась на них крылатая тень и закрыла на секунду солнце. Варя даже успела различить на крыльях красные четкие звезды. Победно гудя мотором, истребитель проскользнул над тяжелым транспортником и рванулся вверх, к солнцу, занимая обычное место воздушно-

го конвоя. А Варе подумалось, может быть, это ей покачал лейтенант Стрельцов короткими, словно обрубленными, крыльями своей машины.

☆☆☆☆

Алеша не сразу сумел восстановить в памяти все с ним происшедшее. В ушах слышался звон, голова гудела, во рту было сухо, но приборную доску он видел четко: стрелка высотомера, перейдя цифру шесть, тянулась вверх. «Достаточно»,— подумал он и отжал ручку управления. Истребитель, выравнивая полет, пошел по прямой. Алеша посмотрел вперед и облегченно вздохнул, хотя и почувствовал, как наваливается на плечи смертельная усталость. Внизу на фоне снова потянувшихся под крылом лесных массивов он увидел, как режут синеватый осенний воздух мощные винты обоих моторов санитарного Ли-2. Значит, транспортник невредим и благополучно несет свой груз дальше. «Мессершмитты», занятые воздушным боем, не успели дать по нему ни одной очереди. А что, если бы... Алешу всего передернуло, когда он представил себе, как рухнул бы на землю объятый пламенем самолет, наполненный стонами и криками беззащитных людей, как вместе с ними погиб бы, ни на секунду не бросая баранку штурвала, худой задиристый капитан Лебедев.

Пот лил по лицу Алексея, неприятной солоноватостью оставался на губах. Болела шея, натертая о воротник комбинезона: Султан-хан приучил Алексея непрерывно вращать головой не только в воздухе на всем протяжении полета, но даже и на земле.

— Голова у тебя должна быть как на шарнирах,— наставлял Султан-хан, щелчком по лбу награждая Алешу,— иначе ты не истребитель.

Даже в летной столовой не раз, отложив в сторону ложку или вилку и свирепо двигая сомкнувшимися бровями, Султан-хан спрашивал:

— Ведомый, кто сидит позади тебя справа? Ответь мгновенно.

И если Алексей ошибался, горец с беспощадностью заключал:

— Плохо, ведомый. Запомни, что осмотрительность — это тысячу раз спасенная жизнь.

Спасибо капитану! Если бы не его уроки, лежал бы Алеша сейчас обгорелый, окровавленный под обломками «ишачка», а где-нибудь неподалеку от него, под грудой искореженного огнем металла, нашли бы конец еще тридцать жизней, отстоять которые он не смог.

Стрельцов двинул вперед рычажок сектора газа и, догнав Ли-2, спикировал рядом с ним, качнул свою машину с крыла на крыло и снова взмыл. Уже прошли они Кунцево, и, хотя здесь появление вражеских истребителей было маловероятным, все равно он продолжал усиленно наблюдать за воздухом.

Постепенно рассеивалась усталость, и он вспомнил, как все произошло. Увидев «мессершмитты», он сразу понял, что преимущество на их стороне. В подобных случаях летчики на И-16 переходили в горизонтальную плоскость полета и вели бой на виражах. Алеша решил, что фашист, преследовавший его, именно этого и ждет. И тогда, ломая расчеты немца, он бросил свою машину вверх, заставляя мотор работать с предельной нагрузкой. «Мессершмитт» быстро его нагонял: первая очередь вспорола воздух почти над плоскостью. В самой верхней точке Алеша сманеврировал. Его машина, заметно потерявшая скорость, оказалась повернутой хвостом к солнцу, и немец, не ожидавший такого маневра, проскочил мимо. В то же мгновение ногой и слабым движением ручки Алеша поставил капот своей машины строго ему в хвост и дал длинную очередь. Он увидел, как полетели от правой плоскости «мессершмитта» куски обшивки, как вспыхнул бензобак и вражеский самолет беспорядочно обрушился вниз. Но пока он вел атаку, второй немец успел зайти ему в хвост. Каждым своим нервом ощущал Алексей нависшую опасность. Только одному был он рад: что и этого «мессера» увел от Ли-2.

Противник настигал «ишачка». Слегка маневрируя, чтобы не находиться все время у немца в прицеле, Алеша стал пикировать, решив уйти, если это удастся, на бреющем. Трассы одна за другой рвали воздух. Мгновенно Алексей вспомнил рассказ Султан-хана о том, как тот оторвался от шести «мессершмиттов». И он повторил прием командира. Увлекая за собой «мессершмитта», он бросил машину вниз с предельно крутым углом пикирования. Стрелка высотомера с безумной скоростью неслась к нулю. Навстречу бежала пестрая, пугающая стремительным приближением земля. За спиной нарастал

пронзительный вой фашистского мотора. Секунды превратились в вечность, так, по крайней мере, показалось Алеше. Верхушки разлапистых сосен едва не царапнули по фюзеляжу, когда его машина вышла из этого бешеного пикирования. И тотчас же сзади раздался огромной силы взрыв.

Поднимая свою машину на прежнюю высоту, Алеша оглянулся. То, что видел он одну эту секунду, запечатлелось на всю жизнь. Сосны шарахнулись в стороны от упавшего «мессершмитта», образовав просеку. Бесформенной грудой сплющенных, изломанных плоскостей, раздробленной пилотской кабины пылал немецкий истребитель. В мягком блеклом пламени чернело безжизненное тело немецкого летчика. Алеша ладонью смахнул с лица горячие капли пота.

Усталость постепенно проходила. Он видел под крылом и впереди себя четкие линии подмосковных пригородов, густые сплетения рельсов и столбы электричек, а левее — проступающие в дымке контуры огромного города и плавающие над зданиями, улицами и площадями серые аэростаты воздушного заграждения. Он хотел найти среди нагромождения крыш и куполов башни Кремля, но разве было сейчас на это время! Только Москву-реку, клинком прорезавшую город, успел он рассмотреть и тотчас же перевел свой взгляд вправо. Капитан Лебедев уже менял курс, подходя к аэродрому. Тяжелый зеленый транспортник полого забирал в сторону, чуть кренясь на одно крыло. Нос его с остекленной кабиной, похожей на большую рыбью голову, сверкал на солнце. Темная тень медленно скользила по земле. Под крыло уходили бежавшие навстречу покатые железные крыши приаэродромных построек. Все меньше и меньше становилось расстояние между выпущенным шасси и просторной бетонированной полосой. И вот уже взметнулось легкое облачко пыли при посадке.

Алеша приземлился следом за санитарным самолетом и зарулил на ту же стоянку. Выключив мотор и отстегнув парашютные лямки, успевшие изрядно надавить плечи, он выбрался из кабины и сел на деревянный, пахнущий ветошью ящик из-под инструмента, руками обхватил чугунную голову.

Когда к нему подбежал капитан Лебедев, второй летчик и воздушный стрелок Сафар, у ног его валялись от-

стегнутая планшетка и шлемофон, и ветерок шевелил его мокрые волосы.

— Лейтенант, чертенок, голуба ты моя! Никогда не забуду! — громко кричал Лебедев, хлопая его по плечам и спине.— Ох, если бы не ты, тлели бы наши косточки на Бородинском поле!

— Почему на Бородинском? — тупо спросил Алеша.

— Потому что с «мессерами» дрался ты в аккурат над Бородином. Я тут каждую кочку знаю! Помнишь, у Лермонтова: «Ребята, не Москва ль за нами!»

— Помню,— слабым голосом ответил Стрельцов.

Взгляд его бежал с лица на лицо и наконец остановился на Варе. Девушка стояла перед ним с непокрытой головой. Золотились на солнце прядки волос, упавших на глаза и лоб. С минуту Алеша с жадным любопытством разглядывал всю ее высокую, чуть сутулящуюся фигуру, потом слабо, совсем как больной, улыбнулся:

— Ну а вас, сестренка, как... не укачало?

Варя смотрела на него и ничего не говорила.

— Не укачало, а? — растерявшись от ее молчания, повторил Алеша все тем же тихим от усталости голосом.— А то вот возьмите конфетки,— и, порывшись в кармане синего комбинезона, он достал точно такую же коробочку с леденцами, какую недавно предлагал Варе второй летчик Ли-2.

Варя подошла и молча, продолжая смотреть на него, взяла несколько конфеток.

— Куда же мне теперь деваться? — растерянно произнес Алеша, оглядывая незнакомый аэродром, большие стеклянные ангары, стоянки с дремавшими на них новенькими «лаггами» и «мигами».

— Куда идти? — весело подхватил Лебедев. — Не бойся, голуба, это же моя база. Чувствуй себя здесь как дома.

Из транспортника санитары уже выгружали носилки с ранеными и переносили их в два больших голубых автобуса. Повернувшись к Алеше спиной, Варя сердито поторапливала санитаров. Голубые автобусы были такими мирными, далекими от фронтовой жизни, что казалось, стоит в один из них сесть, и он покатит тебя на безмятежную прогулку. Но вот погрузили раненых, и автобусы сразу утратили свою мирную привлекательность: наполнились стонами и сдавленными криками людей, которым каждое лишнее движение приносило муку.

Усталость сковывала тело, и Алеше хотелось единственного — как можно скорее улететь назад, добраться до своей землянки и завалиться на нижние нары.

Торопливой походкой к ним подошел средних лет младший лейтенант в новом, плохо пригнанном обмундировании, старательно откозырял Лебедеву:

— С благополучным возвращением, товарищ капитан.

Лебедев усмехнулся, и шрам на его левом виске вместе с жиденькой светлой бровью подпрыгнул вверх.

— А где здесь летчик от истребителей лейтенант Стрельцов? — спросил подошедший.

— Вот он, герой нашего времени,— улыбаясь, указал на Алешу Лебедев.— А что?

— Телеграмма на его имя получена.

Алеша прочел короткий текст. Демидов приказывал задержаться на сутки и ровно через день перелететь на новую точку, куда перебазируется полк. Новой точкой был аэродром, расположенный почти в самой Москве. Алеша опустил руку с телеграфным бланком, пахнущим свежим клеем, и угрюмо уткнулся глазами в землю. Знакомая горечь подступила к нему.

— Значит, все ясно, товарищ лейтенант? — повторил подошедший.— Перелетать завтра, семнадцатого октября. Туда по прямой всего восемьдесят километров.

— А я? — услышал Стрельцов за своей спиной знакомый голос с певучими «а» и, обернувшись, встретился с большими растерянными глазами Вари.

— Действительно, как же быть нашей медсестре? — озадаченно проговорил Алеша.

Младший лейтенант оказался всезнающим и вездесущим.

— Ваша девушка из батальона майора Меньшикова?

— Ну да.

— Тогда все решается просто. По приказанию генерала Комарова этот батальон тоже перебазируется. Он теперь закреплен за полком Демидова. Так что девушка может спокойно добираться на новую точку.

Алеша обрадованно посмотрел на Варю и сказал:

— А сумочку вашу санитарную я могу с собой прихватить в кабину.

— Ой, что вы,— вспыхнула медсестра,— она же совсем не тяжелая.

— Вот и выяснили отношения,— одобрительно за-

ключил Лебедев.— А теперь пошли к нам в летную столовую,— потянул он Стрельцова за локоть.— Нет-нет, и не думай отказываться.

Лебедев, второй пилот и штурман потащили заупрямившегося было Алешу к розоватому четырехэтажному зданию.

— Ты, голуба моя, не волнуйся,— гудел ему в самое ухо Лебедев,— «ишачок» твой будет и бензинчиком напоен, и маслом заправлен по самое не́куда, и опломбируют его мои мотористы по всем правилам. А ты от шкалика не улизнешь, голуба моя. Я тебе за воздушное братство не знаю что должен сделать!

— За что, за что? — изумился Алеша.

— За воздушное братство! — повторил Лебедев и рассмеялся.— Ну чего глаза выпучил? Воздушное братство это, как бы тебе объяснить... Вот спас меня от «мессеров» ваш Султан-хан, а в лицо до сих пор не видел, да, может, и не увижу. И я бы мог его так спасти. А кого спас — не все ли равно? Лишь бы это был летчик в наших советских голубых петлицах и на пилотке у него маленькая звездочка. Да еще были бы родные звезды на крыльях его самолета... Вот эти самые звезды, за которыми ой как много стоит. Так я говорю?

Алеша с удивлением смотрел на худое преобразившееся лицо капитана.

— Воздушное братство! — повторил он.— До чего же правильно вы это сказали, словно философ какой. Воздушное братство! — Он вспомнил тех с голубыми петлицами на гимнастерке, кто встречался ему на жизненном пути: и стремительного, вспыльчивого Султан-хана, и властного генерала Комарова, и покладистого, добродушного силача Боркуна, и рыжего, чуть флегматичного на земле дружка своего Воронова. При всей разности их возрастов, характеров, служебных должностей и званий в воздухе их объединяла одна большая судьба. Суровое небо, простреленное зенитными снарядами, разорванное пулеметными и пушечными трассами, рассеченное бомбами, небо, ясное или покрытое свинцовыми тучами, небо, теплое или сыпавшее на них холодной метелью,— вот где эта большая судьба совершалась. И в этом небе часто бывали равны все летчики, от лейтенанта до генерала, равны в своем стремлении побеждать врага, приходя друг другу на помощь в самые напряженные минуты боя и смертельной опасности.

Они прошли уже солидное расстояние по направлению к столовой, когда Стрельцов подумал о Варе. Он остановился как вкопанный и оглянулся. У ширококрылого Ли-2 — его уже зачехляли мотористы — он увидел девичью фигуру. Варя смотрела им вслед, придерживая на затылке волосы. Она стояла высокая, гибкая, одинокая на этом широком, незнакомом ей аэродроме.

— Товарищи, подождите,— смущенно сказал Алеша, стараясь вложить в свой голос как можно больше небрежности,— вот, шут бы его забрал. Сестренка медицинская... Ее тоже надо бы покормить.

— А продаттестат у нее с собой? — неуверенно спросил второй летчик и тотчас же понял всю неуместность своего вопроса, остановленный свирепым взглядом.

— Щелоков, вы что! — рявкнул на него Лебедев.— Или первый день со мной летаете! Разве нужен кому продаттестат, если его Лебедев в столовую привел? Где ваша медсестра, лейтенант, как ее зовут?

— Варей,— с готовностью ответил Стрельцов.

Лебедев рупором сложил руки у рта и зычно, неожиданно громким голосом, столь не идущим к его усталой худощавой фигуре, крикнул:

— Варя! Где вы? Скорее! Мы вас ждем!

Стрельцов испуганно смотрел на нее: «А что, как не пойдет?» — и успокоенно вздохнул, увидев, как она неуверенно сделала к ним несколько шагов, а потом смелее пошла на повторный зов капитана.

— Я вас слушаю,— козыряя, сказала она, когда поравнялась с ними.— Обедать? Спасибо, я не очень проголодалась.

— Что значит «не очень», если старшие приглашают,— с напускной суровостью обрушился на нее Лебедев, и Варя, к большому удовольствию Стрельцова, оказалась в столовой.

Все вместе они прошли в уютную, довольно вместительную комнату. Стол был уже накрыт, в тарелках дымился горячий борщ, под белоснежными салфетками высились горки нарезанного ломтями белого хлеба. В центре стояло блюдо с копченой селедкой. В углу комнаты сверкал никелированным краном умывальник, и каждый из них по очереди плескал на руки теплой водой. Потом сели за стол.

— Гостей в центр,— распорядился Лебедев, и Алеша очутился рядом с Варей.

За весь обед он ни разу не посмотрел на нее, хотя каждую секунду чувствовал ее близость: и острый локоть — к нему он несколько раз случайно прикоснулся,— и легкое теплое дыхание.

Штурман достал откуда-то из-под стола большую темную бутыль. Пили несколько тостов подряд. Алеша упорно отказывался, но хозяева были настойчивы и побеждали. Он выпил до дна первую стопку — за спасенные им тридцать жизней. Вторую — за своего всему фронту известного командира эскадрильи Султан-хана, третью — за воздушное братство. Чокаясь второй раз с Варей, он нечаянно толкнул ее коленку и покраснел до корней волос, заметив, что она отодвинулась. После третьей рюмки ему стало весело и жарко. Тяжелая голова быстро поддалась хмелю, и, глядя на своих новых знакомых, он уже фамильярно хлопал их по спинам, длинно говорил о своих однополчанах, о генерале Комарове, у которого учился в летной школе. Когда хлебосольный Лебедев наполнил граненые шкалики в четвертый раз, Варя наклонилась к Алеше, прядка ее волос коснулась разгоряченного Алешиного лица, и он услышал ее голос, упрашивающий и настойчивый:

— Товарищ лейтенант, не пейте больше.

Алеша посмотрел на нее отупевшими глазами, и вдруг пьяная улыбка сбежала с его лица, он залпом жадно осушил стакан холодного кваса, послушно кивнул головой:

— Вы правы. Не буду.

Сославшись на усталость и на то, что он хочет посмотреть Москву, в которой ни разу в жизни не был, Алеша решительно закрыл ладонью свою стопку. Варя, удержав в углах рта одобрительную улыбку, дружески кивнула ему головой. Алеша не мог знать, что в эту минуту она подумала: «Нравлюсь или нет? Если послушается — нравлюсь!»

— Подождите,— внезапно забеспокоился Лебедев,— ну, лейтенант Стрельцов — в Москву, а с вами что делать, сестренка?

— А я у Зубовской живу,— сказала Варя.— Там у меня мама.

— Так вы москвичка! — вскричал капитан.— Что же может быть лучше! Надеюсь, вы не откажетесь помочь лейтенанту сориентироваться в столице?

— Я? — дрогнувшим голосом переспросила девушка.— А что же, я могу.

— Ну вот и чудесно. Через четверть часа в Москву пойдет наша штабная «эмка». Готовьтесь. А вас, лейтенант, буду ждать на ужин. Впрочем,— Лебедев наморщил лоб и посмотрел в окно,— впрочем, вы можете в Москве и задержаться. Пожалуй, прикажу выдать вам ужин с собой.

Капитан, подозвав дежурного по столовой, что-то шепнул ему на ухо. Тот вернулся с объемистым пакетом и положил его перед Алексеем. Лебедев взглянул на часы.

— Машина уже должна подойти. До встречи, товарищ лейтенант,— сказал он приветливо, и Алеша с удивлением увидел, что жилистый, худощавый капитан совершенно трезв, несмотря на четыре добросовестно выпитые стограммовые стопки.

☆☆☆☆

«Эмка» была не новая, но очень опрятная, выкрашенная в голубой цвет. По одному этому можно было безошибочно заключить, что аэродром, где базировались транспортные самолеты, еще не бомбили, здесь даже не камуфлировали транспорт. За рулем сидел веселый краснощекий сержант, говоривший с мягким украинским акцентом. Стрельцов нерешительно потоптался около «эмки», не зная, посадить ли Варю впереди, рядом с шофером, или сесть там самому. Из затруднения вывел его сержант:

— А вы вместе сидайте назад, — посоветовал он. Это почему-то не пришло Алеше в голову. — У меня рессоры добрые, мягкие. Позади вам, товарищ лейтенант, будет не хуже, да и балакать сподручнее со спутницей.

Варя, ссутулившись, первая пролезла в угол, прижалась к самому окну, торопливым движением оправила на коленях узкую юбку. Алеша хлопнул дверцей. «Эмка» закачалась на аэродромной дороге и вскоре выехала на шоссе.

Обогретый щедрым полуденным солнцем, осенний воздух был душен. У Алеши кружилась голова. Он еще никогда не пил так много. Пересиливая себя, он наклонился к девушке, обдав ее спиртным запахом.

— Вот еду... Москву посмотреть. Всю жизнь мечтал, а сегодня еду, — забормотал он сбивчиво. — А почему наши перебазируются? Ничего не понимаю. Позавчера только перелетели под Гжатск и опять перебазируются, а?

— Пид Гжатском уже фашисты, — не оборачиваясь, произнес шофер.

— Что? И под Гжатском уже? — Алеша не к месту закивал головой и вне всякой связи с предыдущим разговором спросил: — Сержант, постой-ка. А почему у вас тут всем распоряжается капитан Лебедев, а?

— Так кому ж ще распоряжаться, як не ему, командиру полка? — обгоняя тарахтевшую полуторку с сеном, ответил сержант.

Стрельцов раскрыл рот, и его глаза остекленели от изумления.

— Он командир полка?

— Ну а як же? Вин, капитан Лебедев, — тоном, не допускающим возражения, повторил шофер, и в зеркальце, косо висевшем над ним, Алеша и Варя увидели, как расплылось в улыбке его лицо. — Хороший вин мужик. Трошечки строг, но зато и справедлив. А про вас, товарищ лейтенант, вин знаете, что казав: уважь наикраще, он от моей головы нынче смерть отвел. Двух «мессеров» сбил.

— Положим, не двух, а одного, — поправил Алеша.

— Капитан казав — двух, — стоял на своем сержант.

— Второй сам врезался, я только посторонился, дорожку ему дал, — хмыкнул Алеша.

Прильнув к окошку, он сосредоточенно наблюдал, как нарастали признаки большого города. Движение на шоссе регулировали уже не красноармейцы в замасленных, пропыленных пилотках, а щеголеватые милиционеры. Вдоль шоссе, прерываемая иногда перелесками и лужайками, бежала лента пригородных построек. Домики различной вышины, деревянные и кирпичные, серые, красные, зеленые, оранжевые, с крышами шиферными и железными мелькали в окне. Алеша читал вывески магазинов: «Сельпо», «Промтоварный», «Овощи и фрукты», видел очереди людей, стоящих за пайком. Гуси лениво пили воду из дождевых луж, мальчишки играли в лапту, во дворах сушилось выстиранное белье. Дымили заводские трубы, проплывали большие, с высокими окнами корпуса цехов, и, честное слово, если бы не серые

аэростаты воздушного заграждения, дремавшие кое-где на пригорках в это дневное время, не деревянные дощечки на столбах, показывающие путь к бомбоубежищам, не черные стволы зениток, мрачно устремленные в небо, — ничто бы не напоминало о жестокой войне, подкатывающейся к столице.

Но чем ближе подъезжали они к Москве, тем все резче и резче проступали тревожные приметы. Большой город был пронизан предчувствием надвигающейся опасности. На одном из перекрестков висел огромный плакат: женщина в черном развевающемся платке строго простирала вперед руку. «Родина-мать зовет!» — прочитал Алеша. С другого плаката боец в каске сурово смотрел на проезжающих; чернели слова: «Воин, ни шагу назад! За спиной у тебя Москва!»

Шофер, сигналя, притормозил «эмку».

— Ось, побачьте, товарищ лейтенант. Це ополчение.

По шоссе, по его проезжей части, медленной неровной поступью шла людская масса. Шагали по четыре в ряд пожилые мужчины и юноши в обмотках, подпоясанные брезентовыми ремнями. Серым слоем лежала на лицах пыль. Угрюмо звякали солдатские котелки. Прикрепленные к брезентовым ремням, они были пока единственным вооружением этого сформированного, видимо, совсем недавно батальона народного ополчения. Песня, взлетавшая над головами ополченцев (ее вел звонкий сильный тенор), была наполнена суровой силой.

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Священная война.

То в одном, то в другом месте близ шоссе блестели железные рогатки, приготовленные для уличных боев. Тысячи спин сгибались и разгибались на откосе противотанкового рва, лопаты выбрасывали наверх коричневую суглинистую землю. «Зачем? Разве это спасает от танков? — грустно подумал Алеша. — Под Вязьмой такие рвы немцев ни на минуту не задержали».

Москва началась как-то внезапно. Линия маленьких некрасивых домишек барачного типа резко оборвалась, «эмка» выскочила на широкий железный мост, опрокинувшийся над светлой речушкой, прогрохотала по его горбатой спине, и показались большие многоэтажные

дома. Широкой улицей машина въехала в столицу. Алеша увидел красивые светлые здания с лепными карнизами и барельефами. Ничем особенным они его не поразили. Москва здесь мало отличалась от любого другого города. Видел Алеша такие здания и в Новосибирске, и в Свердловске. Но его спутница с волнением приникла к окну и, встряхивая то и дело светлой головой, восклицала:

— Это Вторая Градская больница, а вот этот дом академик Щусев строил. А теперь мы по Калужской площади едем. Вон слева Институт цветных металлов.

— А где же Красная площадь?

— О! Это дальше, в самом центре, товарищ лейтенант.

Стрельцов увидел длинный забор, потом устремленные в небо тонкие столбы и высоченные фермы моста. Внизу блеснула река и маленький буксир, хлопавший плицами по мутноватой воде. Алеша вопросительно посмотрел на девушку.

— Парк культуры и отдыха, — пояснила она.

— Тот самый? — вырвалось у Стрельцова настолько разочарованно, что Варя не выдержала и засмеялась, и он впервые заметил, какие у нее белые зубы. Ровные и крепкие, похожие на зерна молодого початка.

Машина промчалась мимо станции метрополитена, облицованной серым мрамором, и остановилась.

— Тилько до сих пор могу довезть вас, товарищ лейтенант, — виновато улыбнулся сержант. — Мне сейчас на Пироговку, в Главный штаб ВВС.

Распростившись с сержантом, Алеша остановился на тротуаре, неловко прижимая к себе тяжелый пакет.

— Вот и в Москву-матушку прибыл, — растерянно посмотрел он на Варю. — Дальше-то теперь куда?

А Варя вдруг преобразилась. В ее движениях, в лице появилась хозяйская уверенность. С минуту она озабоченно думала, словно решая в уме какую-то трудную задачу. Потом порылась в своей санитарной сумке, достала оттуда простой железный ключ.

— Я живу здесь, в переулке. Нас только двое: мама и я. Пойдемте. Можете оставить сверток и погулять. А вечером я и сама с удовольствием повожу вас по центру.

Алеша шел за ней, размышляя, удобно ли им вместе появляться перед Вариной матерью. Варя без умолку говорила о каких-то пустяках, старалась придать своему

голосу беззаботность, но Алеша понимал, что и она чувствовала себя вовсе не так уверенно, как хотела казаться. Они свернули во дворик, и Алеша увидел старенький дом с резными наличниками и подслеповатыми окошками, ничем не напоминающий столичную постройку. Варя распахнула обшарпанную дверь парадного. Следом за ней Стрельцов поднимался на второй этаж по узкой, с грязными, исцарапанными ступенями лестнице. Прямо перед собой он видел тонкие стройные ноги в грубых чулках. На верхней ступеньке одиноко мяукал котенок. Варя нагнулась, ладонью погладила его голову с белым пятнышком, мягко окликнула:

— Барсик, Барсик!

Над дверью висела табличка: «Плужниковым — один звонок, Колесовым — два звонка, Рыжовым — три, Стебелевым — четыре». Варя вздохнула, оправила складки на гимнастерке, словно ей предстояло появиться не перед матерью, а перед самым что ни на есть строгим генералом, и решительно трижды нажала кнопку. На звонок долго никто не выходил. Наконец громко щелкнула цепочка и дверь распахнулась.

— Ой, Варечка! Живая, здоровая, с фронта? Заходи, заходи!

— Идемте, товарищ лейтенант, — сдержанно кивнула она Алеше.

В коридоре духота и синий от примусов воздух шибанул в лицо. Какая-то старушка, седая, в роговых очках и переднике с большой черной латкой, преградила им путь и что-то лопотала, беззастенчиво рассматривая Стрельцова.

— Ох, Варечка, — спохватилась она наконец, — самого важного-то тебе и не сказала. Нет твоей мамы! Неделю назад в эвакуацию уехала.... вместе с заводом.

Варя вздрогнула и молча прислонилась к дверному косяку. Но говорливая соседка и не собиралась униматься.

— Варюшенька, да ты не одна. Это ты с кем же? Никак, со своим командиром?

— Да, тетя Луша, да! — почти с раздражением ответила ей девушка и, открыв дверь, негромко позвала: — Проходите, товарищ лейтенант.

Алеша очутился в небольшой, плотно заставленной комнате. Он никогда еще не видел тесных московских квартир, таких, где до сорок первого года обитала зна-

чительная часть жителей столицы, квартир, где у хозяев был на учете не только каждый квадратный метр жилплощади, но и каждый зазор между вещами. Комната была узкая, с одним окном, выходящим во двор. Посередине ее перегораживал двустворчатый фанерный шкаф, у самой двери громоздились кровать, старомодный, окованный железом сундук и над ним вешалка. Алеша нерешительно положил сверток с пайком на стол, застеленный клеенкой. Между этим столом и шкафом стояли две одинаковые этажерки, сколоченные из круглых жердочек, раскрашенных под бамбук. На полках лепились один к одному разноцветные книжные корешки, навалом лежали тетради, портфель, свертки чертежей.

Варя прошла во вторую, светлую, половину комнаты и, казалось, совсем забыла о присутствии лейтенанта.

Сняв с головы пилотку, она внимательно перечитывала лежавшую на столе записку, шевеля тонкими губами. Потом опустилась на стул и заплакала. Алеша шагнул к девушке.

Здесь, в душной комнате, остатки хмеля с новой силой ударили ему в голову. Он ощутил в себе какой-то бурный прилив энергии и смелости и, наклонившись, обнял Варю за вздрагивающие, хрупкие, как у подростка, плечи.

— Варюша, не надо, — забормотал он и потянулся губами к розовой мочке ее уха.

Несколько мгновений Алеша ощущал под своими ладонями ее упругое теплое тело, но вдруг Варино плечо стремительно поднялось, он увидел разгневанные глаза, и на него обрушилась звонкая пощечина. От неожиданности и обиды Алеша сразу вскипел. Схватив неверным движением фуражку, он глубоко, по самые брови, насадил ее себе на голову и бросил:

— Ну и хорошо, подумаешь, какая недотрога. Бывайте здоровы!

Еще секунда — и дверь этой московской комнаты навсегда бы, пожалуй, закрылась за ним.

— Постойте! — громко окликнула его девушка. — Постойте. Куда вы? — На ее припухшем от слез лице отразились одновременно испуг, и напряжение, и раскаяние.— Куда же вы? — Варя снова заплакала, ладонями закрыв лицо, как это делают обиженные дети.

Алеша обескураженно развел руками:

— Ничего не понимаю, то прогоняете, то плачете.

— Да что вы за невозможный человек? — быстро заговорила она, утирая слезы. — Я о вас, как ни о ком, хорошо подумала, а вы!

— А я что... какой-то особенный, не от мира сего, что ли? — смутившись, произнес Алеша.

Но Варя топнула сапожком и, успокаиваясь, возразила:

— Неправда. Зачем вы наговариваете на себя? Вы не такой, как другие, совсем-совсем не такой. Вы мне жизнь сегодня спасли, вы и представить себе не можете, как я в вас поверила. А вы? Увидели, что девка одна, и... Эх, товарищ лейтенант!

Она говорила тихим, ровным голосом, и ее похорошевшее лицо, вся ее тонкая, чуть сутулящаяся фигурка выражали такую неподдельную горечь, что Алеше стало не по себе. Нагнув лобастую голову, он примирительно произнес:

— Ну ладно, Варя. Простите, и все тут... А почему вы расплакались?

Длинные ресницы взметнулись над Вариными глазами.

— Да как же не расплакаться? Рвалась, рвалась в Москву, с мамой мечтала повидаться, а она в Горький с заводом уехала, да еще больная. Воспаление легких. Они двое суток по колено в воде работали, трубы водопроводные укладывали в цехе. А для меня мама — это все. Отца я не помню. Шофером был, в катастрофе погиб.

— У меня тоже мама самый любимый человек, — признался Алеша.

— А папа? — пытливо спросила Варя.

— Отец! — сухо поправил Алеша, и складки взбороздили его широкий чистый лоб. — Отец от нас удрал с какой-то артисточкой. Ну и скатертью ему дорога. В дверь не пущу, если когда-нибудь вернется и ночлега попросит. Я ему за маму никогда не прощу.

— Еще пожалеете, — грустно сказала Варя, — придет старый, разбитый, усталый.

— Нет! — Алеша сдвинул брови. — Ни за что! Пусть ему отольются мамины слезы.

— И ваши тоже, товарищ лейтенант?

— Нас с сестренкой мама подняла. Я маме каждую мозоль готов целовать. Она всему меня научила. Людей любить, труд.

— А отец?

— Одному только. Ненавидеть тех, кто бросает своих детей. По-моему, это самое подлое в жизни, подлее не придумаешь.

— Я тоже так считаю, — согласилась Варя, и словно два маленьких костра зажглись в ее зрачках. Алеша почувствовал, что барьер, поставленный другой, строгой и нравоучительной Варей, только что отчитавшей его, разрушен.

— Да чего же вы стоите? — спохватилась она. — Садитесь, товарищ лейтенант. Давайте вашу фуражку. Знаете, какая у меня мысль появилась? Раз мамы нет, я могу вам сейчас Москву показать. Только подождите, пока переоденусь. Сидите за столом и смотрите в окошко!

Алеша сел за стол, поставил локти на клеенку и сквозь окно смотрел на тесный дворик с редким частоколом, окружавшим большую кучу песка, в которой беззаботно возились ребятишки.

— Ну вот и посадили меня по команде «Смирно», — сказал он.

— Затылочек, затылочек, — приказывала Варя. — И запомните, товарищ лейтенант, что в своей комнате начальник гарнизона — это я.

— Покоряюсь, — засмеялся Стрельцов.

Где-то за платяным шкафом, перегораживающим комнату надвое, она сбрасывала гимнастерку и юбку, с легким шелестом расчесывала светлые короткие волосы, и Алеша, краснея, старался представить, какая она сейчас перед зеркалом. «Да что я, люблю ее, что ли?» — остановил он самого себя. Но сейчас же вызывающий, незнакомый ему голос ответил: «Ну, а если?»

И внезапно Алеша почувствовал, что в его жизни может появиться человек, который станет ему всего дороже, человек, о котором он постоянно будет заботиться, чьи горести и радости будут и его горестями и радостями... Стало жутковато от мысли, что он, этот человек, может быть, сейчас совсем близко от него, спокойно расчесывает волосы, расстегивает пуговицу гимнастерки или надевает чулки.

— Товарищ лейтенант, вы что, окаменели? Поворачивайтесь сколько хотите. Теперь можно, — окликнула его Варя.

Алеша оторвал свои локти от клеенки, не спеша обернулся на ее голос и застыл. В тонком темно-красном платье, в лакированных лодочках Варя показалась ему и

выше и стройнее. Открытые гибкие руки, отливающие легким загаром, были сложены на груди, длинные пальцы касались шеи там, где едва заметно пульсировала жилка. А глаза были и смелыми и властными.

Варя весело рассмеялась, наблюдая его замешательство.

— Вот я и готова к прогулке, товарищ лейтенант.

— Варя! — с трудом подыскивая слова, вымолвил Стрельцов. — Просто как из сказки...

Лицо Вари так и полыхнуло румянцем.

— Да уж какая там сказка, — усмехнулась она, вздохнув. — Куда ни пойдешь — противотанковые ежи да мешки с песком. — Она качнулась на высоких каблучках. — Ой, подождите, товарищ лейтенант, в левом гвоздик оказался.

— Давайте молоток, я посапожничаю, — предложил Алеша, — я и маме, и сестренке Наташе сам всегда обувку подбивал.

— Нет, зачем же. Схожу на кухню газеткой его заложу.

Каблуки ее туфель простучали по полу. Минуту спустя Варя возвратилась, неся в руках свежий номер «Правды», восторженно воскликнула:

— Товарищ лейтенант! Посмотрите, здесь же про ваш полк напечатано.

— Где? Покажите!

— А вот.

Варя протянула ему газету, острым ногтем отчеркнув заголовок: «Слава крылатых». Под крупными черными буквами Алеша увидел ленточку фотоснимков. Лица были искажены, нечетки, но он мгновенно узнал и командира полка Демидова, и комиссара Румянцева, и Султан-хана, и Боркуна, и Колю Воронова, а в последнем маленьком квадратике самого себя. Глаза жадно вчитывались в газетные строчки. Варя, шевеля губами, читала полушепотом и первая воскликнула:

— Смотрите, про вас, товарищ лейтенант: «Суворовская заповедь: сам погибай, а товарища выручай — прочно вошла в быт летчиков этого героического полка».

Дальше со всеми подробностями описывался воздушный бой, в котором Алеша сбил «мессершмитт», собиравшийся зажечь на посадке самолет Султан-хана.

Варя прочитала заметку до конца.

— Ну как? Правильно? — спросила она.

Алеша отер влажный от волнения лоб, кивнул.

— Все правильно. Только откуда они это взяли? Со мной ни один корреспондент не говорил. — Он посмотрел на подпись под статьей: красноармеец Челноков. — Так это же наш моторист! — вскричал Алеша, и перед ним всплыло лицо застенчивого юноши, его нескладная фигура в плохо пригнанном обмундировании. — Наш полковой поэт!

Девушка посмотрела на свои маленькие ручные часики.

— Пойдемте, товарищ лейтенант.

На улице он решительно сказал:

— Послушайте, Варя, ну что вы все время «товарищ лейтенант» да «товарищ лейтенант»? Давайте бросим эти военные церемонии.

Серые глаза девушки серьезно посмотрели на Алешу, будто Варя хотела увидеть его в каком-то новом для себя качестве.

— Давайте. Я уже и сама об этом подумала, товарищ лейтенант.

— Опять!

— Фу! — засмеялась Варя. — Нет, вовсе не товарищ лейтенант, а Алеша, хороший, добрый Алеша, который сегодня спас мне жизнь.

— Ой, как вы торжественно, — замахал руками Стрельцов. — Я же вам сказал, что просто прикрывал транспортный самолет, и только. Я бы дрался за него и в том случае, если бы вез он одну картошку.

Варя обиженно поджала губы.

— Вот, значит, как. Стало быть, для вас что я, что картошка — одно и то же? — беспощадно рассмеялась она.

— Не разыгрывайте, — заговорил Алеша, притрагиваясь к ее теплому локтю, — это я просто так. Все ведь совсем наоборот. За вас бы я... еще раз готов подраться с «мессерами».

— Вот как! — Варя против своей воли сильнее прижала к себе горячие пальцы лейтенанта, державшие ее под локоть. И оба зашагали быстрее.

Серые большие дома показались Алеше нахохлившимися, выжидающе притихшими. У обоих выходов станции метрополитена Алешу и Варю останавливали милиционеры, лаконично предупреждали: метро не работает. Девушка забеспокоилась больше Алеши:

— Вот беда, самое интересное не удастся вам показать.

— Ничего. Переживем! — успокаивал ее лейтенант, которому на самом деле до смерти хотелось побывать внутри хотя бы одной станции, проехать хотя бы кусочек пути.

Они пошли по Садовому кольцу к площади Маяковского. На пути им попадалось все больше и больше москвичей. В этом потоке, который Алеша сначала принял за обычное ежедневное движение, он постепенно стал улавливать что-то неспокойное, тревожное, мятущееся. Московские улицы гудели, как потревоженный улей. До слуха долетали обрывки чужих разговоров, взволнованные восклицания, ругательства, всхлипывания. Немцы под Москвой, фашистские танки, артиллерия и пехота угрожают столице. Об этом говорили мужчины и женщины, старики, старухи, дети. Алеша и Варя вслушивались в этот разноречивый людской гомон и проникались все большей тревогой... На крыше восьмиэтажного дома, где помещался один из наркоматов, стояла малокалиберная зенитная установка. Красноармейцы-зенитчики, свесив ноги на карниз, руками держась за тонкие железные перила, которыми была обнесена крыша, курили, грызли пайковые сухари.

Неподалеку от площади Восстания на тротуаре стояла группа людей. Стрельцов и Варя протиснулись, привстали на цыпочки и увидели в центре женщину с мясистым лицом.

Ее крепко держали за руки пожилой усатый человек в спецовке и рабочий парень, к ним подходили два милиционера.

— В чем дело, граждане?

Пожилой рабочий коротко объяснил:

— Где-то самолет немецкий заурчал, так она идет по Садовой и радуется: драпаете, людишки... далеко не убежите...

Милиционеры посуровели, и один из них потребовал:

— Ну-ка, пройдемте в отделение, гражданка, там все выясним.

Варя посмотрела на Стрельцова грустными доверчивыми глазами:

— Вы видели, Алеша?

— Видел, — не сразу отозвался Стрельцов и гневно подумал о том, что вот жила в столице эта женщина,

жила при нашей власти и все эти годы притворялась советским человеком. И за наших кандидатов в Верховный Совет голосовала, и на октябрьские демонстрации выходила, и на собраниях выступала. Но все годы она была чужим человеком, нашим недругом, припрятавшим на дне своей мелкой душонки злость. Какой же черной была ее злость, если одного пролетевшего над центром столицы фашистского самолета оказалось достаточно, чтобы выплеснулась она с такой силой. Да, по-разному раскрывались люди в эти трудные дни.

Толпы людей на улицах и площадях так и бурлили смятением. Груженые полуторки и трехтонки непрерывными колоннами мчались по Садовому кольцу. У здания одного из наркоматов Стрельцов и Варя собственными глазами увидели, как грузятся машины. Алеша, не выдержав, спросил старика, торопившего рабочих:

— Это куда же вы?

Старик посмотрел на него грустно и ласково:

— С фронта, что ли, сынок?

— С фронта.

— У меня там трое собственных дерутся. Смута в Москве сегодня. В Куйбышев кое-какое начальство переезжает. А паникеры слух пустили, будто уже все правительство Москву покинуло. Вот и заварилась каша. На вокзалах такое творится! — махнул он рукой. — Малодушные на вагонные крыши с узлами лезут... Запомнится нам это шестнадцатое октября.

Подавленные, отошли они от здания наркомата. И совсем поблекла, потеряла для Алеши интерес эта прогулка. Больше не обращал он внимания ни на исторические особняки, ни на мемориальные доски. Не экскурсантом, любующимся столицей, был сейчас Алеша. Был он затерявшимся в сумбурном людском потоке пареньком, придавленным тяжестью всего увиденного. Они с Варей шагали понуро, отдалившись друг от друга, ловя чужие беспокойные голоса.

У входа в знаменитый Московский планетарий — его купол был знаком Алеше по рисункам в учебниках и киножурналам — у самой бровки тротуара стоял серый танк с цифрой «212» и большой вмятиной на борту. Прислонившись спиной к широкой железной ограде, обожженный, с забинтованным лицом младший лейтенант неторопливо разъяснял окружившим его плотной стеной москвичам:

— Все это вздор, товарищи. Говорю вам авторитетно. Какое там Можайское шоссе и Фили, немцам их как своих ушей не видать. За городом Можайском бой идет. Вот где. Сам с ними дерусь, потому и знаю. Круто нам приходится, но выстоим...

...Алеша и Варя в полупустом троллейбусе доехали по улице Горького до Охотного ряда. Запрокинув голову, Алеша смотрел на камуфлированный фасад Большого театра... Строго темнело массивное здание гостиницы «Москва». В эти горькие дни гостиница была переполнена военными, приезжавшими оформить назначение с фронта на фронт, добиться недостающих боеприпасов или людских резервов. К ее подъезду то и дело подкатывали «газики», бронетранспортеры и даже подъехала зеленая тридцатьчетверка. Из танка вышел полковник и быстро скрылся в вестибюле.

На Дзержинской площади движение транспорта было оживленнее. Трамвайные звонки сливались с троллейбусными гудками. Промчалась целая кавалькада легковых автомобилей: три впереди, один, с занавешенными оконцами, в середине и три сзади. Варя вдруг схватила Алешу за руку.

— Смотрите, смотрите, это правительственные машины! Значит, ничего не стоит болтовня о том, что Москву сдадут. Раз правительство в Москве, Москва выстоит.

— Я бы к стенке всех паникеров. Без них воевать легче, — убежденно заявил Алеша.

По узкой улице Куйбышева они вышли на Красную площадь.

— Это она и есть, — торжественно сказала Варя.

Красная площадь поначалу разочаровала Алешу. Он ожидал увидеть ее огромной, широченной, какой видел в киножурналах, посвященных парадам и демонстрациям. На самом деле это было не такое уж большое пространство, ограниченное с одной стороны зубчатой Кремлевской стеной, а с другой — ровной линией красивых зданий, среди которых выделялся фасад ГУМа. Но когда над площадью поплыл мелодичный, переливчатый перезвон Кремлевских курантов — они отбивали пять часов, — Алеша весь подтянулся и просветлел от волнения и гордости. Бой курантов был таким же величественным, полным глубокого значения, каким он всегда воспринимал его — и в далеком сибирском городе, и во фронтовой землянке.

А когда Алеша взглянул на мраморный Мавзолей и застывших у его входа часовых, он вдруг показался себе бесконечно маленьким по сравнению со всем, что видел теперь собственными глазами. Маленьким и полновластным в одно и то же время. Ему казалось теперь, что судьба всего, что предстало его глазам в неяркий осенний день сорок первого года, зависит от его мужества и упорства, от исхода каждого воздушного боя, который, может, уже с завтрашнего дня будет вести над полями, перелесками, лесами и городами Подмосковья их девяносто пятый истребительный полк.

— Красиво, Варюша, — прошептал он, — честное слово, красиво!

На Дзержинской площади их настигла воздушная тревога.

Сирены жестким воем разорвали хрупкий вечерний воздух, голос диктора настойчиво повторял:

— Граждане, объявлена воздушная тревога! Граждане, объявлена воздушная тревога!

Алеша видел, как жались к подъездам люди, как долгой цепочкой тянулись они к серой раковине метро. Он вопросительно посмотрел на Варю, но получил в ответ такой доверчивый взгляд, что смущенно опустил голову.

— С вами я ничего не боюсь! — воскликнула она горячо. — Решительно ничего!

И они продолжали путь. Над крышами высоких зданий забухали зенитки. Сначала разрозненно и нестройно, но вскоре стрельба слилась, приблизилась к центру. Сухие непрерывные «пах-пах» наполняли воздух, на мостовые со свистом шлепались горячие осколки. Потом зенитная стрельба ослабла, и над центральной частью Москвы со звоном промчались четыре звена «яковлевых». Встречный мужчина в фетровой шляпе и роговых очках брюзгливо сказал:

— Вот они, пошли, благодетели. Немцы улетели, так теперь они храбрые.

Алеша, побагровев, сделал движение к прохожему, Варя удержала его.

— Не надо. Зачем? — сказала она тихо.

И Алеша остыл. В самом деле, ну что он мог сказать этому брюзгливому москвичу? Что, сражаясь с превосходящими вчетверо и впятеро группами противника, гибнут его друзья? Что дерутся они храбрее и лучше фашистов, но те задавили их численностью? Изменит ли это

настроение человека, видящего, что господствует в небе фашистская авиация, вынужденного ежедневно прятаться в бомбоубежищах?

Вскоре тот же самый диктор произнес:

— Воздушная тревога миновала. Отбой!

Улицы быстро оживились. Но часть налетевших самолетов все же сумела пробиться к окраинам столицы и сбросить бомбы. На узкую Пушкинскую улицу вырвались три ярко-красные пожарные машины, с пронзительными гудками и звоном медных колоколов стремглав помчались вверх.

...Возвратились домой они, когда фронтовая Москва была погружена в сумерки и на ее окраинах почти вертикально вонзились в низкое небо острые столбы прожекторов.

— Чаю хотите? — рассеянно спросила Варя, продолжая думать о том, что она видела.

Алеша кивнул головой:

— Безусловно. — И спохватился: — Постойте, Варюша, нам же на дорогу гостеприимный капитан Лебедев целый пакет вручил. Посмотрим, что там. — Алеша быстро разорвал добротную оберточную бумагу. — Чудеса! — объявил он весело. — Целый продовольственный склад. Банка сгущенного молока, мясные консервы и печенье. Давайте, Варенька, какой-нибудь нож, и мы с вами сразу эти боеприпасы откроем.

Варя оживилась. Стуча каблуками, она сновала по комнате, накрывала на стол, мыла запыленные чашки и блюдца, распоряжалась.

— Вы тюлень, Алеша, — напускалась она на него. — Да кто же так вскрывает консервную банку? А колбасу кто режет такими толстыми кусками?

Потом с потускневшим от времени чайником в руке выбежала в коридор. Алеша слышал, как она быстро и сноровисто накачивала примус. Зашумела вода, хлестнувшая из крана в пустой чайник. И он тотчас представил, как Варя в своем дорогом, вероятно самом лучшем, платье держит чайник, стараясь, чтобы брызги не попали на нее.

Хрипловатый старушечий голос вдруг заглушил шум воды:

— И чтой-то ты, Варюшенька, так стараешься? И кто ж он такой, этот твой гость? Совсем перед ним как перед женихом каким.

— Да вам-то что за дело, тетя Луша? — спокойно ответила Варя. — Пусть хоть и жених!

— Ой, что ты, Варя! — так и всплеснула руками старуха. — Виданное ли дело, чтобы о таком в эти дни думать. Война!

— А что война, — печально возразила девушка. — На войне надо и жить и умирать с достоинством.

Она появилась в комнате с чайником в руке. Алеша услужливо пододвинул железную подставку. Варя вскочила на подоконник и опустила тяжелую непроницаемую штору, щелкнула выключателем. Лампочка накалялась медленно и неуверенно — целую минуту тлела красной нитью, потом осветила комнату слабым серым светом.

Когда они поужинали, было уже около одиннадцати. Алеша с тоской подумал: для того чтобы выбраться из города до наступления комендантского часа, он должен немедленно уходить отсюда, прыгая с трамвая на трамвай, добираться до окраины и там голосовать на шоссе.

И вдруг почудилось, что, если он возьмет и так вот уйдет, не сказав Варе каких-то больших и значительных слов, коротенькая ясная стежка, протянувшаяся между ними, мгновенно прервется. А этого он теперь боялся. Он и сам не ожидал, что так быстро войдет в его жизнь эта девчонка, повстречавшаяся при нелепых и случайных обстоятельствах.

Подняв лобастую голову, он сбивчиво проговорил:

— Я, разумеется, могу только просить... но если это не покажется вам неудобным, то разрешите мне остаться... Если вы, конечно, не опасаетесь, что соседки начнут болтать, и все такое прочее.

Варя встрепенулась.

— А наплевать мне на соседок, Алеша! — выпалила она решительно и покраснела.— Оставайтесь!

— Варюша! — обрадовался летчик.— Вот это здорово!

Алексей бегло взглянул на часы:

— Включите, пожалуйста, радио. Сейчас последние известия.

Варя потянулась к черному конусу громкоговорителя, повернула регулятор. Сильный мужской голос ворвался в комнату. Алеше представилось, что у этого диктора, должно быть, простое, по-солдатски суровое лицо с резкими морщинами, сведенные над переносьем жесткие брови. Громкие трудные слова падали одно за другим.

И даже Алеше, привыкшему к традиционному однообразию выражений в сводках, стало холодно и жутко, когда диктор сообщил:

— В течение шестнадцатого октября шли бои на всем фронте, особенно ожесточенные на западном направлении фронта. В ходе боев на западном направлении обе стороны несут тяжелые потери.

Потом пошли сообщения о боевых потерях и действиях партизан, и Варя решительно выключила репродуктор.

— Не надо, Алеша, так лучше,— она медленно опустилась на стул, поставила на клеенку острые локти.— Алеша,— она с надеждой заглянула ему в глаза и перешла на доверчивый шепот, — вот вы скажите... только не как командир рядовому, а просто как комсомолец комсомольцу, как самому себе: Москву немцы взять могут?

Стрельцов порывисто вскинул голову.

— Ни за что! Ни за что не могут, Варя! Потому что тогда...

— Что тогда? — спросила она с усилием.

— Тогда, по-моему, все... Как же можно жить после этого?!

Он закрыл ладонями лицо и несколько мгновений молчал.

Девушка видела, как вздрагивают его плечи, плотно обтянутые простенькой синей футболкой. Варя глядела на него с лаской и сожалением, и сейчас ей хотелось обхватить руками эту лобастую бесхитростную голову, по-матерински прижать к себе.

Где-то близко возник лопающийся звук зенитных выстрелов, по коридору зашаркали ноги — это жильцы уходили в бомбоубежище. Надрывно застонали сирены. В хаотической толчее звуков Алеша разобрал один, знакомый до боли в ушах, с протяжными переливами и уханьями. Этот звук он не мог спутать ни с каким другим. Отняв от лица ладони, он сказал:

— «Юнкерс» прорвался, Варя. Сейчас сбросит.

— Знаете что? Давайте погасим свет и откроем окно,— предложила она и сама удивилась этой сумасбродной выходке.

Но Алеша согласился.

— А чего же? Я от бомб и «мессеров» заколдован. Значит, и вам со мной никакая опасность не страшна.

— И отлично.— Варя погасила свет, дернула белый витой шнурок.

Маскировочная штора неохотно, со скрипом поползла вверх, и Алеша увидел в широком прямоугольнике окна небо Москвы. Оно было очень высоким в эту полночь и горело мелкими холодными огоньками звезд. Стылый месяц ненужно ярко светил на землю. При частых залпах зенитных батарей зарницы прорезывали сумрак ночи, и тогда становились отчетливо видны насупившиеся здания, покатые, ровные и островерхие крыши, с прильнувшими к ним черными призрачными фигурками дружинников МПВО. Огромные столбы прожекторов упирались в небо и причудливо колыхались. Свет падал на пустынные улицы, на ровные чистые площади. Московское небо, в лучах прожекторов, с пунктирами красных зенитных трасс и темнеющими аэростатами, могло бы показаться небом карнавальной ночи. Но сирены гудели все надрывнее и надрывнее, зенитки хлопали все чаще и чаще, с угрюмым воем катили по городу пожарные и санитарные машины, и тревога заползала в каждый подъезд, каждую комнату, каждый дом.

Свет прожекторов то падал на крыши, то взметывался над ними. То наклоняясь, то выпрямляясь, гуляли по небу огромные столбы. Два из них внезапно скрестились. К ним тотчас скользнул на помощь третий, потом четвертый, пятый. Светлая поляна возникла на небе, и Алеша увидел голубоватую мерцающую точку.

— Смотрите, Варюша, засекли!

Девушка приблизила к нему свою голову.

— О! Это не опасно, он далеко.

— К сожалению, наоборот, опасно,— возразил Алеша.— Если самолет бросает бомбы над твоей головой, они упадут черт знает где. Летят-то они с относом. Но если он идет курсом на тебя и сбрасывает бомбы вдали — опасайся.

И как бы подтверждая сказанное, в небе возник новый ноющий звук. Крепчая с каждым мгновением, он раскалывал воздух, зыбким неверным эхом скользил над московскими крышами. Потом он перешел в оглушительный рев, от которого некуда было деться. Варя почувствовала неприятную сухость во рту и, испуганно отшатнувшись от окна, натолкнулась на Стрельцова. Снова ему в лицо плеснулись ее волосы. И тогда Алексей сильным движением обнял ее сутуловатые хрупкие плечи,

привлек к себе. Вся она была холодная, несопротивляющаяся.

— Варя, я тебя люблю! Варя, родная, хорошая, не отталкивай,— прошептал он громко.

Мгновенная вспышка холодного пламени осветила прямоугольник окна, неказистую комнату, замершее от волнения лицо девушки. Взрыв рявкнул где-то совсем близко. Тонкие стекла зябко затренькали, охнул и покосился старенький московский домик. Им показалось, что обоих отбросило куда-то в сторону. Алексей еще сильнее сжал в объятиях Варю, тихо повторил:

— Навсегда! Понимаешь? Лучше тебя я никого не найду.

Вибрирующий свист отбомбившегося «юнкерса» уплывал вдаль, постепенно затихая. В московском небе вслед ему все так же остервенело били зенитки, и прожекторы, обозленные тем, что «юнкерсу» удалось нырнуть в звездный мрак, продолжали шарить над крышами, но прямоугольник окна уже не был таким карнавально ярким.

— Алеша... и мне,— слабо прошептала Варя,— мне тоже никого больше не надо. Слышите? Никого.— И она первая потянулась к нему губами, холодными после пережитого волнения. Они были тугими, жесткими и неумелыми, ее губы. Даже Алеша, никого еще не целовавший, заметил это.

— Ты еще никого не любила,— сказал он утвердительно.

— Нет. А ты?

— Тоже нет, Варя.

— Знаю, милый. Ты весь светлый, Алеша... Ты добрый и ласковый. Я хочу, чтобы ты оставался таким всегда. Говорят, чтобы полюбить, нужно долго знать человека. А я не верю. Я тебя один раз увидела. Помнишь, когда ты осадил этого приставалу? И сразу подумала: вот стоит парень, ему можно верить.

— Не надо, ничего больше не говори,— прошептал Алеша.— Как ты прикажешь, так и будет. Хочешь, я буду целый год тебя ждать? Хочешь, до конца войны?

— Ой, Алешка, хороший, любимый Алешка, ну зачем эти клятвы? — сдавленно засмеялась она. — Ты у меня один, один-единственный... Понимаешь?

Она положила ему на плечи тонкие обнаженные руки, и Алеша почувствовал на своей щеке их нежный пу-

шок. Показалось: стоит он у крутого обрыва и одна лишь мысль стучит в его мозгу: «Прыгай! Прыгай!» Но все же он колебался.

— Ну а если... если вдруг в воздухе меня...

Она не дала ему договорить и, трепетная, неуверенная еще в своем счастье, закрыла ему рот губами.

— Глупый, любимый, ты же сам сказал, что заколдован от зениток и «мессершмиттов».

— Так то я шуткой.

— Вот и пускай эта шутка до самого последнего дня войны остается правдой.

И снова пришла к Алеше мысль о том, что многое изменится в его судьбе, если он сделает еще один, самый последний, самый решительный шаг. «Может, воздержаться, может, не надо?» — спросил его кто-то неуверенный и расслабленный. Но тотчас же был заглушен горячим сильным голосом: «А если все поет в тебе от этой близости!»

От Вариных волос и от Вариного тела опьяняюще пахло солнцем и ветром.

— Люблю,— стихая, шептала она,— люблю... на всю жизнь.

☆☆☆☆

Алеша проснулся от мягкого прикосновения. Варя целовала его в щеку прохладными свежими губами. Рассветало. На голубых обоях ярче выступали фотографии в рамочках и большой портрет Льва Толстого. Алеша удивленно посмотрел на Варю. В первое мгновение ее осунувшееся лицо с синими кругами под глазами показалось менее привлекательным, чем всегда. Но память сразу же вернула ему вчерашний день, и Алеша почувствовал огромную нежность к этой первой в его жизни женщине. Зарываясь лицом в его плечо, не поднимая стыдливо-счастливых глаз, Варя шепнула:

— А я тебя не стыжусь... я тебя совсем не стыжусь... вот видишь.

— Вот что, Варя,— сказал он строго и веско,— как только возвратимся на аэродром, сразу поженимся. В загс — и точка. Словом, по всем правилам.

— Зачем? — счастливо спросила Варя.

— А не хочу я,— сердито объяснил Стрельцов,— не

хочу, чтобы кто-нибудь даже подумать посмел, что ты незаконная.

— Ой, Алеша,— улыбка сбежала с побледневших губ Вари,— а может, все-таки обождать? Чтоб люди не говорили, что мы почти не знакомы, а поженились. Пусть побольше пройдет времени. Хорошо, милый?

— А аттестат? — воскликнул он.

— Какой аттестат?

— Самый настоящий, денежный. Я поделю его на тебя и на маму.

— Зачем? Мы же оба на фронте. Помогай по-прежнему маме.

— Но я и тебе хочу помогать.

В комнате становилось все светлее и светлее. Новый фронтовой день возникал над Москвой. И вместе с ним в жизнь возвращалось то властное, что называлось службой, воинским долгом и не могло считаться ни с личным покоем, ни с личным счастьем, каким бы огромным и чистым оно ни было. Гладя растрепанную Варину голову, целуя ее в зажмуренные глаза, Алеша уже видел аэродром, обветренные лица друзей, думал о перелете на новую точку. Посмотрев на часы, он сказал об этом Варе.

— Мне тоже пора, — грустно улыбнулась она. — Ты не забыл, что нам теперь в один гарнизон?

— А как ты доберешься? Я слышал, что из-за этой вчерашней паники электрички не ходят.

— О, пустяки! На попутных доберусь.

— Я тебя провожу до шоссе.

— Хорошо, Алеша, а пока отвернись. Не могу же я одеваться на твоих глазах.

Через час они уже были на московской окраине. На контрольно-пропускном пункте пожилой сержант из числа ополченцев быстро остановил полуторку с продовольствием, направлявшуюся в сторону Раменского, и приказал шоферу посадить Варю в кузов. Устроившись на деревянном ящике с броской этикеткой «Папиросы», она кивнула Алексею, звонко выкрикнула: «До встречи!» — и махала вытянутой рукой до тех пор, пока машина не скрылась в облаке пыли за дальним пригорком.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Аэродром, куда передислоцировали демидовский полк, был огромен. Бескрайнее по своим размерам поле прию-

тило в эту грозную осень сразу несколько боевых полков. С бетонированных полос поднимались в воздух не только истребители. На боевые задания уходили отсюда и стройные двухкилевые красавцы «петляковы», и горбатые бронированные штурмовики «Ильюшин-2», получившие у немцев прозвище «шварце тод». Под остекленными крышами ангаров стояли длинные ширококрылые четырехмоторные «анты» и серые ТБ-3 — их плоскости издали напоминали шиферные крыши. Это были машины, на которых совершали дальние перелеты Чкалов, Громов, Осипенко. И на них — молчаливых свидетелей довоенной славы советской авиации — с уважением смотрели теперь фронтовые летчики, задубелые от ветров, спокойные, десятки раз побывавшие между жизнью и смертью.

Многоэтажные белые корпуса авиагородка прятались в редком сосняке. Деревья выбегали и на аэродром, растягиваясь ровным рядом вдоль его северной оконечности. Именно здесь, среди вечнозеленых сосен и пожелтевших хрупких берез, выбрал место для своего КП Демидов. Щуря цепкие глаза, он по-хозяйски осматривал подъездные пути и рулежные дорожки, когда на летное поле сел одинокий «ишачок».

— Глядите-ка, наш орелик притопал! Стрельцов.

На голос командира из землянки сбежались летчики. Когда Алеша подошел к командиру, их было уже около десяти.

— Ну что, сынок? — весело спросил его Демидов, улыбаясь в колкие усы с искорками седины.

Алеша вскинул ладонь к шлемофону, и Демидов мгновенно стал торжественно-серьезным, щелкнул каблуками.

— Товарищ командир, — доложил Алеша, — выполняя ваше задание, лейтенант Стрельцов сопровождал самолет Ли-2. Самолет Ли-2 благополучно совершил посадку. Во время сопровождения вел бои с тремя «мессершмиттами». Одного сбил.

— Двух, Стрельцов, — поправил Демидов.

— Одного, — упрямо повторил Алексей.

— Двух, — еще раз сказал подполковник.

Стрельцов ответил недоуменным взглядом.

— Так ведь второй, он сам, товарищ командир.

Демидов расхохотался, подмигнул Румянцеву:

— Видал, комиссар, что делается? Командир полка говорит двух, а он спорит. Если утверждаете, что сбили одного, объясните, почему сгорел второй «мессер»? Он

что, добровольно спикировал и врезался в матушку-землю?

— Нет, он гнался за мной.

— А вы?

— А я на пикировании чуть-чуть дал ногу, как это капитан Султан-хан делает. Дал, чтобы увернуться, а «мессер» — в землю, товарищ командир.

— Плохо, лейтенант! За тактику двойку вам надо поставить.

— Разве я неправильно применил маневр?

— Правильно. Только весьма смутно представляете себе, что такое победа в воздушном бою.

— Я вас не понимаю, товарищ командир.

Демидов похлопал его по спине.

— Эх вы, молодо-зелено. Да какое же вы имеете право утверждать, что не сбили самолет противника, если этот самолет врезался в землю в результате вашего маневра, а?

— Понятно, товарищ командир, — озадаченно проговорил Алеша под всеобщий смех.

Демидов широкой спиной повернулся к летчикам и громко крикнул, заглядывая в темную пасть землянки:

— Петельников! Распорядитесь, чтоб вечером в столовой именной торт был и лишний литр вина. В честь Стрельцова. Он позавчера над Бородинским полем уложил двух «мессеров», прибавил славы Бородину. И потом он совершенно забыл, что сегодня ему двадцать один год.

Султан-хан сорвался с места и, схватив Стрельцова, поцеловал его куда-то в плечо, гортанно воскликнув:

— Алешка, ведомый! Ай, молодец, именинник! Вот будет за что выпить сегодня!

— А ну, давай ухи, — грубовато пробасил Боркун и дернул его двумя пальцами за мочку правого уха.

Поздравив Алешу, летчики разбрелись, и только один майор Стукалов остался с ним рядом. Сняв роговые очки, он рассматривал Алешу подслеповатыми глазами.

— Здорово вы их шарахнули, лейтенант, — заговорил он, имея в виду сбитые Стрельцовым «мессершмитты». — Есть за что преподнести вам торт. Будьте спокойны. Свою двадцать первую годовщину вы запомните.

— Спасибо, — хмуро ответил Алеша.

— О, да вы не веселы, — посмеиваясь, продолжал Стукалов. — Уж не сердитесь ли вы на меня до сих пор?

Помнится, наша встреча у санчасти сложилась не слишком удачно.

Алеша рукой поправил на плече ремешок с планшеткой, сердито заметил:

— А у меня не было времени анализировать нашу встречу, товарищ майор.

— Ого, — улыбнулся Стукалов и, прищурившись, посмотрел на него. — Это что... ревность? Уж не влюбились ли вы в эту голенастую девчонку?

— Знаете что, майор, — нахохлился Алеша и, не договорив, повернулся к нему спиной, — не будем, одним словом, анализировать.

Но майор Стукалов сейчас склонен был шутить. Он сделал шаг следом за Стрельцовым и, стараясь придать своему голосу как можно больше искренности, произнес:

— Ну ладно, лейтенант. К чему ссориться? Я бы, конечно, мог эту девчонку приручить, но если она вам нравится, то занимайтесь ею в свое удовольствие. Переходить дорогу не буду.

Алеша обернулся. Синие его глаза метнули на Стукалова свирепый взгляд.

— Послушайте, товарищ майор, — с холодным бешенством заговорил он, — если вы еще хоть один раз прикоснетесь к этой девушке...

— Да ты что, лейтенант, втрескался в нее, что ли?! — театрально захохотал майор, но подслеповатые глаза его остались серьезными и внимательными. — Не советую, — прибавил он, — ты на войне, и сейчас не время для серьезных чувств.

— Это к делу не относится, — сухо заметил Стрельцов и пошел на КП.

☆☆☆☆

Человек, спустившийся под землю после солнечного дня, мгновение ничего не видит. Чтобы вернуть себе способность различать окружающие предметы, он должен на какое-то время зажмуриться. Так и поступил Алеша. Когда он открыл глаза и перед ним стали вырисовываться контуры, он увидел коптящую красную гильзу-светильник и кудлатую голову оперативного дежурного Ипатьева, склонившегося над картой. Алеша до того привык

к этой позе Ипатьева, что в другом положении и не мыслил его застать. Если бы когда-нибудь он встретил оперативного дежурного праздно гуляющим либо купающимся в реке, он попросту не поверил бы, что это их лейтенант Ипатьев... Сейчас лейтенант красным карандашом обводил на карте большой в сравнении со всеми условными обозначениями квадрат и бесстрастным голосом пояснял:

— Вот это Москва, товарищи. Вот это район аэродрома. Прошу вас внимательно его изучить. А задачу на боевую работу командир полка поставит, когда получит ее от генерала Комарова. Большего сообщить пока не могу.

Летчики молча обступили Ипатьева. Боркун крякнул и хмуро сказал:

— Вот и до Москвы-матушки дотопали. Может, ты, Ипатьев, сразу нам новые карты выдашь? Горьковского района?

Сидевший где-то позади в темном углу следователь военной прокуратуры майор Стукалов язвительно заметил:

— Вы, капитан Боркун, этак и Урал накличете. А знаете, кто нам дойти до Урала пророчит?

— Что! — разозлился Боркун. — Вы с кем меня сравниваете? Вот что, майор, у вас есть свои функции, так ими и заведуйте. А к боевой обстановке не прикасайтесь. Она дилетантов не терпит.

— Хорошо. Займусь, — с вызовом сказал Стукалов и нервным движением снял роговые очки.

Коля Воронов, увидев входящего в землянку Стрельцова, бросился к нему.

— Алеха, руку! Тебя, черта, и не поймаешь. Важный такой с тех пор, как у Султан-хана ведомым стал! Только и слышишь: Стрельцов вылетел, Стрельцов прикрывал, Стрельцов сбил.

— Брось, Никола, — рассмеялся Алеша. — Ты-то чем хуже? Не у кого-нибудь, а у капитана Боркуна в хвосте ходишь.

— Это тоже дело, — согласился Воронов.

— Ну, так расскажи полковые новости.

— Пойдем наверх.

Они выбежали из землянки, зашагали по ровной звонкой осенней земле.

— Знаешь, Лешка, — рассказывал Воронов, — все ды-

барем стало с той поры, как ты улетел. Получили мы команду перебазироваться сюда, под Москву, и, веришь, батя злой стал, замкнутый. Спрашиваем: «Почему под самую Москву, какая задача будет поставлена?», а он одно твердит: «Узнаете, когда перелетите». Вот и перелетели. А дальше? Ох, Лешка! Ты на ребят на наших посмотри. Мрачные какие! Даже Боркун. Да тут еще кто-то «липу» пустил, что соседнему полку «илов» карты Горьковской области выдали и аэродром восточнее Москвы указали. — Воронов снял с головы пилотку, пригладил ладонью рыжие вихры. Оба остановились у распахнутой двери ангара, и Воронов указал на белеющие в его глубине длинные фюзеляжи самолетов.

— Вон красавцы стоят. До войны мировые рекорды на них ставили!.. А теперь разве на них полетишь? Первая зенитка собьет. Эх, побольше бы нам скоростных истребителей да бомберов.

Воронов вздохнул, сорвал усохшую травинку и по привычке сунул ее стебельком в рот.

— Да, туго придется. Не знаю только, почему нашему полку такие привилегии — под Гжатском отдыхали, здесь пока тоже. Комиссар сегодня политинформацию проводил, так и сказал в заключение: «А нам, товарищи, надо пока отдохнуть, проверить и подготовить до малейшего шплинтика всю материальную часть, сил набраться». Небось потребуются от нас эти силы. Так тебе что, Москва понравилась?

— Громадная она, Николка, не расскажешь.

— Кремль, Мавзолей видел?

— Видел.

— Ну и достаточно. Остальное смотреть сейчас не обязательно. А где ночевал?

— Так. У знакомого одного, — уклончиво ответил Алеша и покраснел: — Слушай, старина, а что бы ты сказал, если б я влюбился? Понимаешь, по-настоящему.

Воронов посмотрел на него недоуменными глазами. Алеша знал, что за все время учебы в авиашколе Николай только однажды провожал официантку Любочку из курсантской столовой и вернулся в казарму за полночь, получив от строгого старшины наряд. Больше никогда никто не видел его с девушками.

— Да ты ошалел! — воскликнул Воронов. — Нашел о чем думать, когда за спиной Москва и фашист на нее прет.

Вечером Алеша осторожно задал тот же самый вопрос лейтенанту Барыбину. Мысли о Варе и обо всем, что со вчерашнего дня связывало их двоих, настолько переполняли его, что он каждую минуту испытывал острое желание поделиться с кем-нибудь своей радостью.

Курчавый Барыбин понимающе осклабился и одобрительно похлопал его по плечу.

— Ай да Стрелец! — засмеялся он. — Да ты, видать, парень не промах, если и на войне не теряешься! Правильно. Надо раз, два — и в дамки.

— Чудак ты, Барыбин! — отмахнулся Алеша. — Тебе серьезно, а ты!

— Так и я серьезно. Лучше не утаивай. Она блондиночка, шатенка, брюнетка? Познакомишь? Не побоишься?

Стрельцов махнул рукой и ушел от своего взбалмошного товарища.

За час до ужина, посвященного его дню рождения, Алеше неудержимо захотелось увидеть Варю... или хотя бы услышать ее голос в телефонной трубке. Но, как назло, возле всех ему известных полковых телефонов толпилось много народу. Поглядывая на разговаривающих однополчан, Алеша подавлял в себе завистливые вздохи. И вдруг его осенила спасительная мысль. Ведь почти все телефоны на этом аэродроме не полевые, а настоящие городские! Алеша незаметно приблизился к столику оперативного дежурного Ипатьева и увидел таблицу с позывными всего гарнизона, которую тот чуть-чуть закрывал локтем.

— Ипатьев, дай-ка папироску, — попросил Алеша, чтобы как-то заставить его сдвинуть локоть.

Оперативный дежурный удивленно пожал плечами:

— Да ты же не куришь.

— А если подымить захотелось?

— Ну дыми. — Оперативный полез в карман той самой рукой, которой только что закрывал таблицу.

Пока он доставал папиросу из никелированного портсигара с тремя богатырями на крышке, а потом шарил по карманам, искал спички, Алеша успел прочитать вверху таблицы: «Коммутатор «Ракета» — по городу Ж4-07-70, 71, 72, 73». Дальше шли кодированные наименования всех штабных телефонов. Были среди них и «ястребы», и «белки», и загадочный «сфинкс-1», и пресловутая «пальма» — без нее не обходился почти ни один гарнизон, — и даже «хорь-1». Алеша сверху вниз скользил по листку глазами и внезапно просиял от радости. В самом низу бы-

ло написано: «Санчасть хозяйства Меньшикова, гор. Ж4-81-97».

— Закуривай, Стрельцов, сколько же можно спички держать! — окликнул его Ипатьев.

Алеша будто очнулся:

— А?.. Что?.. Закуривать? Нет, знаешь, расхотелось.

— Чу-у-дак, — протянул оперативный, защелкивая портсигар.

Алеша вихрем вырвался из землянки. Не глядя ни на кого, быстро зашагал в сторону каменных зданий авиагородка.

— Куда, лейтенант? — окликнул его Султан-хан. — Подожди, машина скоро придет.

— Я на полевую почту, товарищ капитан.

— На ужин смотри не опоздай! Повар последний узор на твоем торте делает.

— Не опоздаю.

Алеша почти бежал по неширокой, уложенной ребристыми булыжниками аллее. Липы и березки глухо шумели над ним оголенными ветками. Их верхушки уже тонули в синих сумерках. Он торопливо вышел из проходной и у первого повстречавшегося пешехода спросил, где телефон-автомат. Оказалось, недалеко. На ближайшем перекрестке он увидел темную телефонную будку и бросился к ней, зажав в руке гривенник.

— Санчасть! — выкрикнул он, еще не веря, что так легко связался с нужным ему номером. — Мне медсестру Рыжову. Кто спрашивает? Лейтенант Стрельцов.

Алеша ждал и все же, когда в трубке возник певучий голос Вари, вздрогнул от неожиданности. Не сразу, а после паузы, глотнув сырой вечерний воздух, заговорил:

— Это я, Варенька. Понимаешь, я.

— Понимаю, — заволновалась и она. — Алешка, тебе решительно везет. Зоя Павловна, наш хирург, вышла из комнаты, и меня никто, никто не слушает.

— Мне и должно везти, Варенька. Мне сегодня двадцать один.

— Правда? Ну почему же не сказал вчера? Ой как хочется тебя поздравить и поцеловать!

— Не виноват, Варюша, сам об этом забыл. Неужели я бы от тебя утаил, если бы вспомнил? Прилетаю, а батя Демидов в столовую директиву дает: «Чтобы вечером был именной торт для лейтенанта Стрельцова, и точка».

— Значит, тебе сегодня устраивают именинный ужин?

— Похоже. А тебя не будет.

— Что поделать? — вздохнула Варя. — Когда скажут тост за тебя, помни, что я первая чокаюсь. Ты сейчас откуда говоришь?

— Из автоматной будки, у проходной.

— Это же совсем рядом! Наша санчасть во втором от нее переулке, налево угловой дом. Подойди, я к тебе выскочу.

Алеша без труда отыскал каменный двухэтажный особнячок санчасти. У парадного темнела дежурная машина с санитарными крестами на бортах. Хлопнула дверь, и, затянутая в белый халат, стройная и тоненькая, Варя скользнула ему навстречу.

— Алешка, милый! Ну какой же ты молодец, что пришел! А у меня всего пять минуток свободного времени. Обход начинается. Идем посидим в «санитарке», там пусто.

Алеша следом за Варей пролез в кузов «санитарки», цепляясь за сваленные на полу носилки. Оба сели на жесткую скамейку, и Варя приникла к нему.

— Не забывай меня, Алеша, ни на час не забывай. Даешь слово? — требовательно заговорила она, но сразу же рассмеялась. — Как хорошо, что ты рядом!

☆☆☆☆

Рано утром подполковник Демидов шифровкой был вызван в штаб фронта.

Перед отъездом он осушил почти целый графин квасу. За вчерашним ужином, на котором чествовали лейтенанта Стрельцова, предлагали тосты один другого заманчивее, и подполковник изрядно выпил. Утром настроение у него было скверное. Даже со своим шофером он не поздоровался, когда тот подогнал к землянке КП рыжую, выцветшую от ветров и солнца «эмку». Сел рядом с ним и припал широкой спиной к мягкой подушке сиденья. Скомандовал коротко:

— В штаб фронта.

До самого штаба «эмка» мчалась по хорошей шоссейной дороге, разрезающей пригороды Москвы, и Демидов с болью думал: «Вот куда фронт подобрался, даже и тропок-то полевых на переднем крае не сыщешь». Он молча курил, глядя, как на переднее стекло «эмки» ложится мелкая сетка нудного, бесконечного дождя.

Штаб фронта теперь размещался в одном из пригородов столицы, в стороне от большой автомагистрали. Сквозь толстоствольные ели и сосны проглядывали белые фасады зданий. У полосатых заградительных шлагбаумов зябли в плащ-палатках часовые. «Эмка» заехала на стоянку, расположенную в небольшом перелеске, и оттуда больше километра Демидов шагал по бездорожью, гадая, какую задачу поставит командующий перед полком.

Кабинет генерала помещался на втором этаже небольшого особняка. Демидова встретил тот же, что и в первый раз, адъютант, черноглазый парнишка с летной эмблемой, нашитой на рукаве гимнастерки. Только тогда, под Вязьмой, он был во всем курсантском, а сейчас на петлицах темнели два лейтенантских кубика. Он оглядел внушительную фигуру командира полка, вежливо поздоровался и, ни о чем не спрашивая, кивнул на обитую дерматином дверь. Демидов вошел в кабинет. Комаров стоял за столом, застланным широкой крупномасштабной картой Подмосковья, с циркулем и штурманской линейкой в руках. На карте белел листок разграфленной бумаги, и туда мелким четким почерком генерал заносил какие-то цифры. На той же карте, на самом уголке массивного письменного стола с фигурными ножками, стыл недопитый стакан круто заваренного чая и лежала наполовину пустая пачка дорогих папирос. Зато в мраморной пепельнице с разинутой рыбьей пастью высилась целая горка сплющенных окурков. Три из них были воткнуты в самый рот рыбы.

— Садись, Демидыч, — сухо кивнул Комаров и, не протягивая руки, углубился в расчеты.

Он заставил подполковника просидеть минут пять в кресле. Демидов осмотрел комнату и подивился скромной, на первый взгляд, роскоши ее меблировки. Стеллажи из карельской березы, красиво отделанные кресла. Массивный секретер поставлен у стены с явным расчетом, что свет, вливающийся в комнату сквозь два огромных сводчатых окна, будет оживлять его поверхность. И действительно, она так и переливалась, созданная художественным вымыслом краснодеревщика.

Комаров уперся локтями в стол, посмотрел на Демидова.

— Любуешься? Дивишься, что обстановка не совсем штабная? А знаешь ли, где сейчас находишься? Мы с тобой на даче у члена правительства, — генерал назвал фа-

милию, известную каждому человеку в стране. — Вот, брат, оно какое дело, если военный штаб на даче у члена правительства размещается. Неважнецкое, прямо скажем.

Был Комаров невыспавшийся и злой. Видно, всю ночь не ложился. Под зелеными живыми глазами легли тени, на щеках выступила черная жесткая щетина. Сцепив сильные ладони, он вытянул их перед собой, с хрустом потянулся и строго посмотрел на Демидова:

— Обстановку знаешь?

— Откуда же, товарищ генерал? Ведь полк в резерве.

— В резерве, в резерве, — проворчал Комаров. — Другой бы радовался, а ты вроде как с укоризной... Отдохнуть твоим людям надо. Хорошие они у тебя, Демидов.

— Не жалуюсь, товарищ генерал.

— Да-а-а, — неопределенно протянул Комаров. — Так вот, брат, какая обстановка. Волоколамск сдали, Калинин, Клин. Фашисты в Ясной Поляне, под самой Тулой. Вот, посмотри. — Демидов нагнулся над картой и увидел синее полукольцо, нависшее с запада, с юго-запада и северо-запада над столицей. Линия фронта разрезала железнодорожные и шоссейные магистрали. В тылу у противника оставались важные аэродромы, опорные пункты, коммуникации. Комаров, ожесточась, водил по карте остро заточенным чертежным карандашом и выкрикивал:

— Видишь, Демидов, видишь? Отсюда прут, здесь нависают. Есть сведения, что головные части подходят к каналу. Вот тебе обстановка.

Оглушенный, подавленный, Демидов на какие-то мгновения почувствовал себя не командиром сражающегося истребительного полка, а просто слабым пожилым человеком, с душой, дрогнувшей от горькой правды, от опасности, нависшей над ним и его землей. О себе самом, о семье, отдаленной от него сотнями километров, о ее несладкой жизни в эвакуации подумал он.

Проницательные глаза Комарова, казалось, заглянули в самую его душу и враз прочитали все это.

— Что? Страшно, Демидов? — понизил голос генерал.

— Страшно, — хрипло ответил тот.

— Вот и мне стало страшно, когда узнал, — признался Комаров, — такое в голову полезло, что вспоминать не хочется. — Он выпрямился, широкая атлетическая грудь расправила коверкотовую гимнастерку, натянув ее до предела. — Верно, страшно! Да только воевать за нас с гит-

леровцами никто не придет. Нам все равно придется. Мне — Комарову, тебе — Демидову. Всем твоим летчикам, всем бойцам. Понятно?

— Понятно, — повторил за ним Демидов, — никто не придет, товарищ генерал.

Комаров сел, и опять по его лицу скользнула тревога.

— Я тут маршруты рассчитывал. Что ни аэродром — до линии фронта двадцать — пятнадцать минут полета. А ведь многие-то из этих аэродромов, как и твой, почти в городской черте. Почти в самой Москве. — Он посмотрел на Демидова и сжал тонкие энергичные губы. — Зачем я тебя вызвал, Демидов, ты уже, наверно, догадался?

— Боевую задачу полку будете ставить, товарищ генерал.

— Да. Задачу, — растягивая слова и морща лоб, повторил Комаров. — Очень тяжелую задачу, Демидов.

Демидову показалось, что генерал посмотрел на него с болью и сожалением.

— Мы уже выполняли тяжелые задачи, товарищ генерал.

— Правильно, выполняли, — согласился Комаров, — но эта будет гораздо тяжелее. И если говорить по-честному, то вашему полку я бы не хотел ее поручать.

— Разве мы у вас ходим в любимчиках, товарищ генерал? — притаил Демидов насмешливые искорки в глазах.

— Именно в любимчиках, — отрезал Комаров. — А теперь пойдем к командующему фронтом. У него все и решится.

Движения Комарова стали точными и быстрыми. Он застегнул ворот гимнастерки, вышел из-за стола, взял с секретера свою фуражку с позолоченным витым кантом и низко на лоб насадил лакированный козырек.

— Пошли, Демидыч.

Захватив тонкую кожаную папку, генерал двинулся по коридору особняка, твердо отбивая шаг по скользкому навощенному паркету. Из особняка они вышли на узенькую, посыпанную мелким гравием дорожку. Над ней сплетались в висячую арку гибкие побеги дикого винограда. Летом здесь, очевидно, царил приятный, освежающий полумрак, но сейчас облетевшие листья грудами лежали на дорожке. Впереди между рыжими стволами сосен просвечивало светлое здание с ажурным порталом. Тонкие

колонны были красивыми и чистыми, приятно радовали глаз. Большой черный ЗИС-101 стоял у входа.

— Литвинов, — окликнул Комаров водителя, — маршал уезжает?

— Вызван, товарищ генерал. Сказал — в Кремль, — последовал ответ.

— Надо торопиться, — заметил Комаров, ускоряя шаг.

По лестнице, устланной коврами, они поднялись на второй этаж. На белой двери висела дощечка: «Приемная командующего фронтом», и Комаров толкнул эту дверь.

— Подожди меня здесь, — властно сказал он Демидову.

Подполковник присел на узкий диван, облокотился о жесткий пестрый валик. За двумя составленными вместе столами сидели друг против друга моложавый полковник и старший лейтенант. Комаров подошел к полковнику, наклонившись, что-то спросил вполголоса и, получив в ответ утвердительный кивок, направился к массивной двери.

Когда он вошел, маршал сидел за столом перед ровной стопкой шифровок. Исподлобья взглянул на Комарова отечными от усталости глазами.

— Садитесь, генерал. Собираюсь ехать к главнокомандующему. В нашем распоряжении только пятнадцать минут. — Он вдруг улыбнулся, глазами показывая на стопку боевых донесений и лежащую рядом с ними «Правду» с последней сводкой Совинформбюро: — Конфуз с нашим армейским начальством. Мне вчера командармы прислали сводки о боевых потерях противника. Оперативники подвели итог, и вышло, что на фронте уничтожено сто с лишним фашистских танков. Такую цифру мы передали в Генштаб. А утром читаю сводку и дивлюсь — черным по белому написано, что на нашем фронте уничтожено... четыре танка противника. Интересно, как теперь их командармы разделят? Придется к десятичным дробям обращаться. — Он невесело покачал головой. — Справедливо поправили. Надо строже и честнее относиться к учету вражеских боевых потерь. Вы тоже на это обратите внимание. Знаю я вашего брата летчика, доложит — цель перекрыта, уничтожено пять танков, шесть бронемашин, до ста человек живой силы. А станешь уточнять, и получается: цель перекрыта, да ничего не убито.

— Бывает и так, товарищ маршал, — без улыбки согласился Комаров. — Я сделаю выводы.

Командующий фронтом уперся руками в подлокотники кресла и приготовился слушать.

— Так какой у вас ко мне вопрос, товарищ генерал?

— Только один, товарищ маршал. О боевой задаче для девяносто пятого истребительного полка подполковника Демидова.

Лохматые брови командующего удивленно поползли вверх.

— Но этот вопрос ведь уже решен. Зачем же к нему возвращаться? Полк Демидова мы бросим на прикрытие юго-западных подступов к Москве — нужно срочно заполнить брешь в противовоздушной обороне.

— Товарищ маршал, — сдержанно, но решительно заговорил Комаров и вскинул голову, — противовоздушную оборону на этом участке держали три полка: Курбатова, Синева и Лебедева.

— Да. Но где они? — сухо спросил командующий.

— Растрепаны, товарищ маршал.

— Значит, нуждаются в замене, товарищ генерал, — сказал командующий.

— Но разве один полк в состоянии заменить целую дивизию?

— Бок о бок с полком Демидова будут драться другие полки. Наши фронтовые и истребительной авиации ПВО.

— И все-таки, товарищ маршал, — не уступал Комаров, — полк Демидова один должен прикрывать тот воздушный коридор, который еще сутки назад прикрывался тремя полками.

И командующий, видя совершенную бесполезность хоть каким-то образом смягчить и затушевать обстановку, качнул бритой головой:

— Будет прикрывать, товарищ Комаров.

— Три полка делали за сутки в среднем сто пятьдесят вылетов, — продолжал Комаров, облизывая пересохшие от волнения губы. Он понимал, что здесь, в этом просторном кабинете с телефонами, картами и коммутатором, алевшим за спиной у маршала рядами кнопок, решается судьба людей, которые в эти минуты завтракают, пишут письма, осматривают и ремонтируют самолеты и с нетерпением ждут возвращения своего командира из штаба. И он заговорил еще быстрее и решительнее: —

Чтобы прикрыть этот воздушный коридор, Демидов должен делать такое же количество вылетов тридцатью тремя исправными истребителями. Сто пятьдесят самолето-вылетов в сутки он, разумеется, не сделает. Сто десять — сто двадцать — вот максимальная цифра. Это предел технических и человеческих возможностей, товарищ маршал.

Командующий фронтом включил настольный вентилятор, хотя в этом сейчас не было никакой необходимости. Просто ему понадобилось лишнее движение, словно оно могло разрядить напряженность этого разговора, в котором Комаров должен был выпросить как можно больше послаблений для своих летчиков, а он, командующий фронтом, поставить перед ними непосильную, но уже запланированную задачу.

— Под Вязьмой Демидов делал по сто двадцать самолето-вылетов, — тихо сказал маршал.

— Всего лишь в течение двух суток, — уточнил Комаров.

— Пусть он и теперь делает по сто двадцать вылетов в течение трех-четырех суток, а потом будет делать по девяносто, — так же тихо продолжал маршал. — Вчера звонил главнокомандующий. Поставил задачу держаться, пока не будут готовы резервы для решительного контрудара. Кое-что он сейчас подбросит нашему фронту, чтобы стабилизировать положение. Ни шагу назад — были его последние слова. Авиация тоже будет подброшена. Восемь — десять дней — вот сколько нужно будет Демидову держать оборону доверенного ему воздушного коридора, воевать, как вы говорите, за целую дивизию. Это же крепкий, сколоченный полк, Комаров. Он должен выстоять.

— За десять дней его разобьют, товарищ маршал, — угрюмо заключил Комаров и сразу вспомнил всех демидовских летчиков, чьи лица он осязаемо хранил в памяти. И своих любимчиков — широколобого Алешу Стрельцова и вихрастого Воронова, — и комиссара Румянцева, и майора Жернакова с его «пушкинскими» бакенбардами, и стройного, с тонкой талией, капитана Султан-хана, и плечистого Боркуна, смахивающего на былинного Добрыню Никитича. Он их представил веселыми и задумчивыми, радостными и негодующими, но живыми, прочно шагающими по земле. Ему стало горько и обидно при мысли, что многие из них через три-четыре дня уйдут

в госпитали или будут похоронены вблизи своего аэродрома, и это в лучшем случае. А в худшем — они вместе с останками своих самолетов сгорят за линией фронта на земле, вытоптанной врагом, где даже и похоронить их по-человечески будет некому. И он снова повторил: — За десять дней полк будет разбит.

Оттолкнувшись от подлокотников кресла, маршал встал, давая понять, что беседа затянулась.

— Я вас выслушал, генерал Комаров. В своих рассуждениях вы вполне логичны. Но знаете, что я вспомнил? Как я недавно Панфилова в бой провожал. Талантливого, волевого генерала. На такой участок пришлось его отправлять, что заранее все мы знали, какими неравными будут там силы. А задачу свою он выполняет сейчас образцово. Задержал фашистские танки, помог вырвать время на перегруппировку. Одним словом, генерал Комаров, пожелайте от моего имени больших удач подполковнику Демидову и его летчикам.

Маршал протянул Комарову руку и вышел из кабинета не через приемную, а через узкую дверь, ведущую прямо в коридор. Комаров вздохнул и рассеянно взял со стола тонкую кожаную папку. В кабинете было бы совершенно тихо, если бы не легкий шелест вовсе не нужного в это прохладное утро вентилятора.

Комаров расправил над поясом гимнастерку и упругим солдатским шагом вышел в приемную.

— Маршал ушел? — спросил его полковник, сидевший за одним из столов.

— Да, ушел, — отрывисто сказал Комаров. Он бросил взгляд на широкое грубоватое лицо дремавшего в приемной Демидова и с наигранной бодростью воскликнул: — Ну что, Демидыч? Заждался? Идем, идем, сейчас все узнаешь.

И опять они пошли по лестнице, устланной коврами, скрадывающими шаги. Черного ЗИСа у подъезда уже не было. По узкой аллейке вернулись они в маленький особняк и прошли в кабинет Комарова. Генерал велел адъютанту никого не впускать и подать завтрак. Он ничего еще не сказал, но Демидов успел уловить атмосферу взволнованности, которая окружала его теперь. За завтраком он был тих, послушно поддакивал генералу, молча выпил предложенную к бифштексу рюмку английского виски, но, когда генерал бодро воскликнул: «Ну, а теперь к делу», весь обратился в слух и внимание.

Их разговор ничем не напоминал разговор командующего фронтом и Комарова. Там столкнулись требования одного и просьбы об уступках другого. А здесь они говорили просто, как два идущих в атаку солдата. Только один солдат был старшим, а другой младшим.

— Вот это твой пояс, Демидыч, — говорил старший солдат, водя тонким карандашом по карте. — Противник, конечно, отсюда на Москву поднапрет. На то он и противник. Но ты выстоишь. Первые три-четыре дня придется делать по сто двадцать вылетов. Ты поднатужься, Демидыч. Я помню, под Вязьмой ты выдерживал.

— Выдерживал, товарищ генерал, — говорил в ответ солдат-младший.

— Вот и отлично, — одобрительно поддакивал старший. — Значит, и тут выдержишь. Выстоишь!

А Демидов слушал его и дополнял все то, что Комаров сознательно опускал в своих лаконичных пояснениях. И слова солдата-старшего звучали для него так: «Ты, конечно, понимаешь, Демидов, против тебя стоит не кто-нибудь, а отборный корпус Рихтгофена со своими бомбардировщиками и истребителями. Понимаешь ты и другое: если раньше этот воздушный коридор защищали три боевых полка, а сейчас только один твой, легкой жизни не жди. Понимаешь и то, что за десять дней полк твой растрепят, что будут потери. Но главное — надо отстоять московское небо, сделать его если не совершенно неприступным, то по крайней мере труднопроходимым. А раз так, то к черту все мрачные мысли. Драться. Драться!»

Это Демидов прекрасно понимал. Стоять насмерть и даже погибать, но не открывать московского неба врагу. Москва недавнего прошлого и Москва сурового настоящего — вот что было ближе всего земного, дороже всего личного.

И подполковник, расправив крутые плечи, посмотрел в лицо генералу, посмотрел сурово, но ясно и первый, в нарушение всех уставных норм, протянул ему широкую узловатую ладонь.

— Будет выполнено, — сказал он тихо, сказал просто и твердо, и этого было достаточно.

Не замечая протянутой руки, Комаров шагнул ему навстречу, сильно притянул к себе, поцеловал в колючие седоватые усы.

— Спасибо, Демидыч, — проговорил он, — спасибо, старина!

☆☆☆☆

В штабной землянке над столом светила на этот раз не какая-нибудь потемочная «летучая мышь», а настоящая трехсотсвечовая электрическая лампа. Это лейтенант Ипатьев проявил завидную расторопность и к полковому совещанию летного состава успел подвести сюда провод от гарнизонной электростанции. Демидов, закончивший свое короткое сообщение о новой боевой задаче, поставленной перед полком штабом Западного фронта, отер ладонью вспотевший лоб.

— Вот и все, товарищи.

Пристальные, въедавшиеся в человека глаза Демидова всматривались в подчиненных. Его не удивил расстроенный вид начальника штаба Петельникова. Кто, как не он, во всей полноте представляет сложность и серьезность воздушной оборонительной операции, в которой их полку дали такую непосильную задачу. Подполковник с облегчением вздохнул, убедившись, что летчики смотрят гораздо бодрее и увереннее.

— Так что, товарищи летчики? Все ли понятно?

Боркун тяжелой ладонью похлопал себя по шее, будто хотел попробовать ее крепость. Усмехнулся, покосился на своего соседа Султан-хана, но коричневое лицо горца ни одним мускулом не ответило на его улыбку.

— Понятно, товарищ командир, — флегматично произнес Боркун, — только уточнить бы хотелось. Сто двадцать боевых вылетов в день — это, если разделить на брата, по четыре на каждого получится. Туговато. Нагрузочка, что называется, предельная.

— Боитесь, что это будет вам не по силам, Боркун? — холодно спросил Румянцев.

И Боркун моментально притих, улыбнулся извиняющейся улыбкой.

— Да не поняли вы меня, товарищ комиссар. Такому бугаю, как я, и шесть вылетов по силам. У меня же бицепсы, как у Ивана Поддубного. Я к другому клоню. Надо наш молодняк подготовить получше, чтобы осечек не вышло. Питание чтобы строгое было, по утрам физзарядка, никаких гулянок и спиртных излишеств.

— Дело говорит капитан, — сказал Петельников, — я за всем этим буду следить беспощадно.

Порывисто вскочил Султан-хан.

— Я не русский, я дагестанец, товарищ командир, —

воскликнул он, — но, когда разговор идет о Москве и защите московского неба от поганых фашистов, я трижды русский! Тут передо мной выступал капитан Боркун. Говорил о физзарядке, о бытовом режиме, арифметикой мало-мало занимался, вылеты на брата делил. Одно могу сказать: хороший ты ба-ец, Вася, а говорить не умеешь. С того ли надо начинать! Нам московское небо доверили. Кто доверил? Родина доверила, партия доверила, народ наш советский. Так разве тут может идти речь, сколько раз можно, а сколько нэ можно подниматься в небо за один день! Сколько командир прикажет — столько и поднимемся. Я так считаю, — твердо закончил Султан-хан, и вся землянка ему зааплодировала.

☆☆☆☆

После выздоровления лейтенант Бублейников стал несколько строже и суше в обращении с товарищами. Раньше он был говорливым пустословом, готовым угощать любого собеседника остротами, анекдотами, всевозможными новостями до полного одурения. Впрочем, такие, как он, часто встречались среди молодых летчиков, еще не побывавших в серьезных переделках. За ретивостью, а порой и заносчивостью они старательно прятали свою робость перед грядущими испытаниями. Но стоило молодому летчику побывать в жестоком бою, где лоб в лоб сталкивался он со смертельной опасностью, как на глазах у всего полка он превращался из лихого говоруна в совершенно иного человека. Он и по земле начинал ходить увереннее, и словом своим дорожить, не бросая его на ветер, и во взгляде, в движениях у него появлялась степенность. Все это произошло и с Бублейниковым. Но с Алешей Стрельцовым он был по-прежнему покровительственно шутливым: и уважал Алешу, и посмеивался над его житейской неопытностью.

На новом аэродроме эскадрилью майора Жернакова разместили в большой светлой комнате, где раньше помещалась аэродинамическая лаборатория: на стенах остались схемы действия сил на крыло самолета при взлете, наборе высоты, на предельных скоростях.

Бублейников занимал самую крайнюю койку. Когда Алеша зашел за ним по пути на ужин, он сидел за тумбочкой и химическим карандашом надписывал на кон-

верте адрес. Рядом лежала целая груда писем, и он, показывая на нее, счастливо жмурился:

— Видал?

Алеша вопросительно посмотрел на однополчанина.

— Эх ты, детеныш, — добродушно сказал Бублейников, — это все от нее. От «паташонка» моего. За неделю столько сочинила, а! Знать, не забывает.

— Неужели за неделю? — удивился Алеша.

— А думаешь, — хмыкнул Бублейников, — бывает, так распишется, что и больше пришлет. А получать их приятно, Алексей, ох и приятно.

Стрельцов улыбнулся.

— Чего зубы оскалил? — заворчал Бублейников. — Разве тебе понять! «Не доходчиво», как говорил у нас на занятиях один начхим. Эх, Леха, приятный ты парень и летчик что надо, а в личном вопросе отстаешь. Женить бы тебя, шельмеца. Ведь и рожа приличная, и башка на месте пристегнута, да и все остальное, наверное. И чего ты медлишь? Вон в госпитале медсестра Варя расспросами о тебе замучила. Спрашивает, а глаза — вот такие широкие, как фары на посадке.

— Неужели спрашивала? — улыбнулся Алеша.

Бублейников кивнул:

— Весь госпиталь говорит, какая она недотрога.

— Ладно, когда-нибудь и на ком-нибудь, может, и женюсь, — вздохнул Алеша. — Идем ужинать, что ли!

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

На новом аэродроме следователю военной прокуратуры майору Стукалову отвели изолированную комнату с отдельным входом. Черноволосый писарь Володя Рогов вместе с шофером дежурной автомашины внес небольшой, но и не маленький коричневый сейф Стукалова и выдал майору три ключа: от дверного замка, от английского и от навесного. Майор Стукалов довольно осмотрел свое новое жилище, подкинул на ладошке все три ключа и отпустил своих помощников. Потом снял очки в роговой оправе, старательно протер их запотевшие стекла.

Оставшись один, он запер дверь, попробовал, работает ли телефон, и, услышав протяжный гудок подмосковной АТС, удовлетворенно положил на рычаг трубку.

Так уж повелось, что майор Стукалов, прикомандированный к демидовскому полку, с самых первых дней

войны везде поселялся отдельно от всех. Так было удобнее работать, вести деловую переписку и переговоры в полной уверенности, что это никому не станет известным.

Стукалов снял гимнастерку и аккуратно сложил ее на табуретке тем самым конвертом, каким обычно складывают гимнастерки в солдатских казармах. Оставшись в клетчатом коричневом джемпере, из выреза которого выглядывали его тощие ключицы, он с удовольствием лег на свежезастеленную кровать. Переливчатый звон пружинного матраца и запах свежего постельного белья усилили и без того хорошее настроение. Сцепив руки за затылком, Стукалов смотрел на чистенький, с зеленой аккуратной каемочкой потолок и думал о том, что не столь уж плохо после землянок и фронтовой грязи провести день-другой в такой обстановке.

С детства Женя Стукалов привык вырывать у жизни все хорошее с бою. Он быстро усвоил немудреную истину, что без борьбы и настойчивости это хорошее не заполучишь. Нельзя грешить на Жениных родителей, утверждая, что это они привили ему такое качество. Его отец, директор гидростанции, взъерошенный, одутловатый человек, вечно куда-то торопившийся, ходивший, хотя у него был персональный автомобиль, в грубых, забрызганных водой и цементным раствором сапогах, на строительных точках бывал чаще, чем дома, и на формирование характера своего сына вряд ли оказывал какое-либо влияние. Энтузиаст многих хороших дел, человек, уважаемый всей округой, он незаметно сгорел, пораженный неотвратимо надвигавшейся сердечной болезнью.

После его смерти Женя остался на попечении у своей преждевременно поседевшей матери. Пенсии не хватало, и мать стала преподавать в школе. К сыну она относилась ровно: не баловала, но и не была излишне строгой. Однажды в период безденежья десятилетнему Жене захотелось иметь нарядный двухколесный велосипед, выставленный в местном универмаге. Мама отказала в покупке. Женя ревел целых два часа, но услышал короткий неутешительный ответ:

— Можешь и громче орать, все равно ничего не добьешься.

Тогда Женя стих, но стих, как стихает летний ливень, чтобы припустить сильнее.

— Не купишь? — без единой слезинки спросил он.

— Не куплю.

— Тогда я буду биться головой о стенку, пока не скажешь, что купишь.

Женя схватился цепкими руками за железную спинку кровати и, подпрыгнув на коленях, ударился с грохотом головой о стенку. В глазах запрыгали зеленые мячики, голове стало больно, но он ударился с новой силой и продолжал биться до тех пор, пока мать, удрученная его холодной решимостью, не сдалась.

— Ладно, Женечка, — махнула она рукой, — перестань. Куплю.

Так была одержана первая победа в жизни, и этот метод он взял на постоянное вооружение. Женя подрос и поступил в ветеринарный институт. Нельзя сказать, чтобы он был туг к наукам. Но, поучившись год, он разочаровался в избранной было профессии.

— Нет. Симменталки и голландки явно обойдутся без меня, — сказал он матери. — Пойду в юридический.

За два месяца до начала войны Женю направили в Белорусский Особый военный округ на должность военного следователя, а потом, в суматохе оборонительных боев, начальник прикомандировал его к демидовскому полку. Он этому очень обрадовался. Все-таки человеку нелетающему спокойней живется в авиационной дивизии, базирующейся на солидном расстоянии от линии фронта. Правда, тщеславие иной раз посасывало под ложечкой, когда Женя узнавал, что его коллеги, другие военные следователи, попавшие в пехоту и танковые войска, уже отличились в боях и получили правительственные награды, но он умел себя сдерживать и в минуты таких размышлений. «Ничего, — уверенно думал он, — не обязательно ползать по-пластунски и путешествовать на броне танков, чтобы зарекомендовать себя настоящим военным следователем. Моя первейшая обязанность оберегать государственную безопасность, и здесь-то я отличусь».

Евгений Семенович усмехнулся, подумав о том, что эта возможность наступила. У него в сейфе лежала случайно найденная записная книжка красноармейца Аркадия Челнокова. Каким важным был сейчас для него этот документ!

...Стукалов всегда считал себя человеком дела. Повалявшись на мягкой чистой кровати всего минут пятнадцать, не больше, он вскочил, открыл сейф и, достав от-

туда записную книжку в голубенькой обложке, начал задумчиво перелистывать ее страницы, заполненные округлыми буквами. Стукалов недолюбливал этого застенчивого мечтательного юношу с большими, спокойными глазами. Ему всегда казалось, что Челноков пользуется незаслуженной симпатией и комиссара Румянцева, и летчиков, и даже самого Демидова. Челнокова с теплой шутливостью именовали «полковым поэтом», его приглашали на самые ответственные штабные заседания и поручали вести протоколы. А ведь на эти совещания иной раз и Стукалова забывали приглашать, ссылаясь на то, что они носят сугубо производственный характер. И на допросе немецкого аса, сбитого комиссаром Румянцевым, Челнокову поручили быть переводчиком.

Евгений Семенович неоднократно прислушивался к частушкам и стихотворениям, которые декламировал моторист, но никакой крамолы обнаружить не мог. А теперь... теперь перед ним лежала подлинная исповедь этого юнца и много, ой как много давала она ему, военному следователю, призванному оберегать государственную безопасность полка. Стукалов улыбнулся тонкими губами: «Нет, шалишь, большую власть над людьми имеешь ты, Семеныч. Вот ходит себе спокойно этот рифмоплет и знать не знает, где он может очутиться через считанные денечки. И гордецу Демидову это будет хорошим уроком».

Евгений Семенович снял телефонную трубку, набрал городской номер коммутатора авиагарнизона и потребовал штаб Демидова. Ему повезло: трубку взял не кто-нибудь, а сам подполковник.

— Я вас слушаю, товарищ майор! — отозвался он.— Как новое жилище?

— Спасибо. Очень хорошее, — ответил Стукалов. — У меня к вам безотлагательное дело. Когда к вам можно зайти?

— В любое время, — ровным голосом произнес Демидов.— Сейчас, правда, мы готовимся к вылету на прикрытие переднего края обороны, так что лучше бы завтра.

— Я готов подождать до этого срока, — сдержанно согласился Стукалов. — Но, повторяю, товарищ командир, дело у меня безотлагательное.

— Вот и прекрасно, — заключил Демидов, — завтра и разберемся. — И в трубке запели короткие гудки.

☆☆☆☆

Демидов думал, что после разговора с командующим авиацией фронта его полк введут в бой сразу же, едва только запоздалый осенний рассвет зажелтит землю. Но обстоятельства сложились иначе. С утра заладил нудный промозглый дождик, и туман до того плотно упал на аэродром, что западной его окраины и стоящих на ней бомбардировщиков Пе-2 не было видно. Тридцать два летчика в готовности номер один битый час просидели в тесных кабинах истребителей. Затем готовность номер один заменили готовностью номер два. Летчики с наслаждением покинули тесные кабины и, разминая затекшие руки и ноги, ходили по летному полю, сбивались в веселые группки на стоянках своих эскадрилий, в технических каптерках резались в домино и шахматы. У машины Султан-хана, пестрой от нарисованных на ней техником Кокоревым красных звездочек, собралась почти вся эскадрилья. Очутившийся здесь же инженер Стогов, попыхивая папиросой, одну за другой рассказывал авиационные байки.

— Вот вы молодой, да ранний, — шутливо тыкал он пальцем в высокого угреватого лейтенанта Бублейникова: ему он едва-едва доставал до плеча, — скажите, какая разница между типами самолетов?

— Так это же целую лекцию надо читать, — замялся лейтенант.

— Лекцию, — презрительно протянул инженер. — А я, как по-писаному, в две минуты все преподам. Собрались однажды на аэродроме «дуглас», «пешка», «ил», а рядом «ишачок» стоит. Вот «ишачок» и спрашивает у «пешки»: «Ты чего такая худая?» — «Поневоле будешь худой, — отвечает «пешка», — если каждый божий день тебя «мессеры» и «хейнкели» от зари до зари гоняют». Спрашивает «ишачок» у «ильюшина»: «А ты чего сгорбился?» — «Как же не горбиться, если тебя каждый день зенитки лупят?» Тогда «ишачок» у «дугласа» спрашивает: «А ты чего такой толстый?» — «А я,— говорит «дуглас»,— продовольствие да интендантское имущество вожу, каким же мне быть еще».

Красная ракета, с треском разорвавшаяся в воздухе, прервала веселую болтовню. Это начштаба Петельников снова сигналил готовность номер один. От команд-

ного пункта, придерживая прыгающий планшет, бежал к ним сам Демидов.

— Батя рысит, как имеретинский иноходец, — заметил Султан-хан, — значит, на задание пойдем.

— А погода? — всколыхнулся неуверенный голос Барыбина.

Демидов приказал немедленно собраться всем летчикам на стоянке первой эскадрильи и, когда они кольцом расселись вокруг него, ткнул пальцем в карту.

— Все нашли Серпухов, никто не потерял? Теперь берите юго-западнее города восемь километров. Здесь наш аэродром подскока. Если кого подобьют или обрежет мотор — плюхайтесь на него. А сейчас взлетаем. Курсом на Серпухов идут шестьдесят Ю-88. Боевой порядок — фронт эскадрилий. Пойдем за облаками. Туман расходится. — Он выпрямился и, сверкнув глазами, зычно скомандовал: — По са-мо-летам!

И аэродром быстро опустел. Одна за другой уплыли к линии фронта девятка и три семерки истребителей. Демидов повел свою девятку «яковлевых».

Пробив почти двухкилометровый слой разорванной облачности, он взмыл к солнцу, занимая расчетную высоту. Остальные группы также стали эшелонироваться по высоте. Все вместе они создали одну громадную этажерку, верхней полкой которой была девятка Демидова, нижней — семерка вертлявых «ишачков», ведомая Султан-ханом. Под крыльями машин сквозь мутные серебристые облака виднелась подмосковная земля. Дымились кирпичные трубы заводов, холодными ледяшками мельтешили озера, в оправе белых березовых рощиц тянулись пригороды, разрезанные серыми линиями шоссейных дорог. Темными пятнами проплывали скошенные поля.

В одном месте Султан-хан, летевший чуть повыше тысячи метров, увидел футбольное поле с лысинами земли у деревянных ворот. На нем суетились маленькие фигурки. Кто-то и сейчас, в напряженные дни боев, играл в футбол. Может, это были ребятишки, а может, бойцы второй линии фронта или же призывники, ожидающие своих эшелонов. Это приятно поразило горца. «Жизнь не зажмешь!» — подумал он.

Чуть приотстав от самолета Султан-хана и его ведомого Стрельцова, шли Красильников и Барыбин. А всех выше, по-орлиному рывками вертя головой, осматривал небо Демидов. Еще на земле он решил встретить враже-

скую колонну как можно дальше от Москвы и свое намерение выполнил. На большой высоте ему и его ведомым удалось разогнать скорость. Впереди столбами дыма и артиллерийскими вспышками обозначилась линия фронта, когда в наушниках раздался голос комиссара:

— Командир, ниже нас колонна Ю-88.

Демидов глянул в указанном направлении и на мгновение замер от неожиданности. «Юнкерсы» шли сплошной стеной, девятка за девяткой, на одной высоте, не маневрируя и не перестраиваясь. Медленно плыли их серые цельнометаллические тела, тяжелые от подвешенных бомб. Демидов сверху уже различал черные диски вращающихся винтов. И он дал короткую команду: «В атаку!»

Бой начался точно так, как и предвидел Демидов. Всей своей группой он спикировал на головную девятку «юнкерсов», и его летчики дали несколько очередей по флагманскому звену. Левый ведомый «юнкерсов» завыл моторами, скользнул вниз, черня небо полосой дыма. Из второй семерки, которую вел капитан Боркун, отделился самолет и нырнул вслед за «юнкерсом», чтобы его добить. Оставшаяся шестерка со стороны солнца вторично атаковала первую группу «юнкерсов». Потом все перепуталось, боевые порядки истребителей расстроились; ревя моторами, истребители демидовского полка носились на вертикалях и горизонталях и били, били из пулеметов и пушек не уставая. С клекотом вспарывали осеннее небо разноцветные трассы.

Первая девятка «юнкерсов» была рассеяна гораздо быстрее, чем предполагал Демидов. Мимо него, сверкнув зеленым животом, пронесся на бешеной скорости чей-то «як» и ушел к солнцу. Только черный хвост, какие были на самолетах эскадрильи Жернакова, успел заметить Демидов.

— Скаженный! — закричал он. — Чуть не распорол, мать твою в душу!

Но эфир тотчас же принес извинения. Молодой дребезжащий голос послышался в наушниках командира полка:

— Батя, я — Бублейников. Сбил «юнкерс», атакую второй, больше не буду ходить так близко.

Минутой спустя эфир опять выплеснул торжествующий крик:

— Батя, я — Бублейников. Второй «юнкерс» горит. Ура!

И снова взлетающие вверх и головокружительно падающие вниз тени чертили воздушное пространство. Истребители резали винтами и капотами облака.

В разгаре боя Демидов услышал тот же восторженный голос:

— Батя, добил второй. Иду на третий. Я — Бублейников.

— Осторожнее, сынок, — предупредил Демидов, наблюдая с высоты за всеми сложными перемещениями самолетов.

Группа Боркуна расстроила вторую вражескую эскадрилью. «Юнкерсы» шли на восток уже не в прежнем безукоризненно четком строю, а разорванными звеньями. В это мгновение четвертая по счету девятка фашистских бомбардировщиков решила, видимо, стать флагманской и вести за собой на Москву вторую, еще не рассеянную часть колонны. Упрямо, на сомкнутых интервалах пошли «юнкерсы» прежним курсом.

— Борис, атакуй! — приказал Демидов Румянцеву, четверка которого пока что ходила следом за ним, не ввязываясь в бой.

Увлекая за собой ведомых, комиссар спикировал вниз. Он выровнял свою машину на одной высоте с «юнкерсами» и молча, не открывая огня, на предельной скорости пошел в страшную лобовую атаку.

Самолеты сближались стремительно. Румянцев видел сигарообразные носы бомбардировщиков. И вдруг, как ошалелое стадо, шарахнулись бомбардировщики, заковыляли в воздухе. Из-под их плоскостей оторвались бомбы и ушли вниз. Через минуту взрывы рвали черную пахотную пустошь в стороне от маленькой деревеньки с зеленым куполом церкви.

— Бей! — яростно закричал Румянцев и бросился на новую девятку.

А тем временем последняя семерка Султан-хана поливала огненными струями покидающие поле боя фашистские самолеты. Как пиявка, присосался Султан-хан к одному из них с черным драконом на фюзеляже. Сомкнув губы, горец шел в том самом воздушном мешке, который именуется «мертвым конусом». Отчаянно палили в него штурман и стрелок-радист, но капитан, словно издеваясь над экипажем, сближался, не открывая огня. Он видел,

как мечется в кабине штурман, как в паническом ужасе вертит головой летчик.

— Ага, попался, — разжав челюсти, зло выкрикнул горец и тотчас же обратился к Демидову: — Батя, бью семнадцатого.

Он не услышал дробного грохота пушки, но почувствовал, как встрепенулась его машина. Огромный взрыв потряс короткое туловище И-16, едва не опалив его тупой нос. Еле-еле удержал Султан-хан рулями свою машину. Фашистский бомбардировщик погибал у него на глазах. От очереди Султан-хана в правой моторной группе взорвался бензобак. Правая плоскость, искореженная огнем, жалко согнулась и отвалилась от фюзеляжа. Следом за ней отпало и другое крыло. Воздушный поток опрокинул тяжелый корпус «юнкерса», и огромной личинкой машина устремилась вниз...

А с высоты гремел бодрый голос Демидова:

— Назад, орелики! Домой! Бензин!

И летчики, послушно переведя глаза на бензочасы, увидели, что стрелки, колеблясь, движутся к нулю. Сбиваясь в группы, занимая прежний боевой порядок, истребители поворачивали назад. Садились с последними килограммами горючего в баках, и не было приятнее звука, чем грохот серых бетонных плит посадочной полосы под колесами на пробеге... А на земле начштаба Петельников, затаив дыхание, пересчитывал самолеты и, не веря своим глазам, строго спрашивал лейтенанта Ипатьева, прильнувшего к окулярам полевого бинокля:

— Девятка подполковника Демидова?

— Вся возвращается.

— Семерка капитана Боркуна?

— В полном составе.

— Семерка майора Жернакова?

— Вся.

— Семерка Султан-хана?

— Как штык, товарищ капитан.

После посадки Демидов молодо сбежал по ступенькам в землянку, в потемках схватился за прямой телефон, связывающий их полк со штабом фронта, но телефон этот зазвонил раньше, чем волосатая рука подполковника сняла трубку.

— Демидова! — весело потребовал генерал Комаров.

— У телефона, товарищ командующий.

— Ты, Демидыч? — переспросил Комаров. — И как ты только всюду поспеваешь? Уже на КП. Все сели?

— До единого, товарищ генерал.

— Спасибо, Демидыч. Спасибо, родной ты мой! Снова на уровне оказался. Ты еще сам не знаешь, что сделал, золотая твоя голова, — захлебывался скороговоркой генерал. — Гитлеровцы решили сегодня совершить звездный налет на Москву. Двести машин с трех направлений! На тебя шла их ударная колонна. И ни одна — слышишь, Демидыч? — ни одна машина не дошла даже до окраин. Твои летчики ухлопали семь «юнкерсов», остальные сбросили бомбы куда попало. Это победа, Демидыч, большая победа.

Подполковник шершавой ладонью смахнул с лица крупные капли пота.

— А две другие колонны?

— Спрашиваешь! — вскричал генерал. — С теми было легче. Против каждой по дивизии стояло. Всех окрестных пэвэошников мобилизовали. Но там мы потеряли шестерых сбитыми. А ты молодчина. Один выстоял без потерь. Суворов!

Демидов довольно рассмеялся:

— Нас, курских, голыми руками не возьмешь!

В их разговор ворвались помехи, и Комаров несколько раз крикнул: «Алло, алло!» Потом слышимость вновь стала устойчивой.

— Слушай, Демидов, — воодушевленно кричал генерал. — Приказом наркома обороны тебе присвоено очередное воинское звание «полковник». Румянцеву приказом главкома ВВС — «батальонный комиссар», Петельникову, Боркуну и Султан-хану — «майор». Завтра получишь приказ, а сейчас всех поздравляю.

— Служу Советскому Союзу! — сказал Демидов.

Он и не заметил, что позади него, привлеченные разговором, собрались летчики. Устало расчесывал голову Боркун, чему-то хмурился Султан-хан, на цыпочки приподнялся Алеша Стрельцов.

— Что? Благодарность? — весело спросил Румянцев.

Демидов рассмеялся в седоватые прокуренные усы.

— Берите выше, комиссар. С меня причитается. «Полковника» присвоили.

Румянцев, сбив по пути табуретку, бросился к командиру, обнял его.

— Хлопцы! — закричал взбудораженный Боркун. — Поздравляй батю!

И летчики затискали, затормошили его. А когда стало известно о присвоении званий Румянцеву, Петельникову, Боркуну и Султан-хану, шум еще больше усилился.

— Вай! — кричал Султан-хан. — Майор буду, старший комсостав. Война кончится, с тобой, Алешка, в одной очереди у железнодорожного коменданта стоять не буду. Пойдем: ты в одно окошечко, где длинная-длинная очередь, я — в другое, где пусто и только надпись: «Для старшего комсостава».

Летчики расшумелись, и Демидову стоило большого труда отправить их на обед. В опустевшей землянке он сел за стол, склонился над оперативной картой района боевых действий. Хотелось разобраться во всех особенностях сегодняшнего боя. В раздумье он не услышал ни скрипнувшей двери, ни вкрадчивых шагов. Поднял голову, лишь когда вошедший опустился рядом с ним на скамейку. Увидел холодно мерцающие за стеклами роговых очков глаза майора Стукалова.

Сдержанно улыбаясь, следователь сказал:

— Даже и не знаю, как теперь к вам обращаться, товарищ командир. То ли «подполковник», то ли «полковник».

— Пожалуй, можно и полковником называть, — улыбнулся довольный Демидов.

— От души поздравляю.

— Спасибо. У вас ко мне дело?

— Да, дело, — вздохнул Стукалов. — Неприятное и срочное дело.

— Я слушаю. — Демидов оперся подбородком о сцепленные ладони. — Говорите.

Стукалов помедлил, пальцами побарабанил по согнутой острой коленке, покосился на дремавшего в углу телефониста.

— Хотелось бы с глазу на глаз.

— Хорошо, — согласился Демидов. — А комиссару можно присутствовать?

— Безусловно.

— Маченков, — окликнул Демидов телефониста, — поищите-ка комиссара, он, кажется, на стоянке второй эскадрильи. А за телефонами сам пригляжу.

— Вот в чем дело, товарищ командир, — негромко заговорил Стукалов. — У меня на руках материалы, серьез-

но компрометирующие моториста звена управления красноармейца Челнокова. Если бы речь шла о ком другом, я бы не стал вам надоедать. Но Челноков имеет доступ ко многим особой важности документам. Такой человек должен обладать политической чистотой. А Челноков? Что мы о нем знаем? — прищурился Стукалов.

— Что знаем? — машинально переспросил Демидов, с трудом соображая, почему вдруг после воздушного боя, звонка генерала, поздравлений разговор ни с того ни с сего перешел на моториста Челнокова. — Что знаем? Знаем, что он сын учителя из Херсона; скромный, впечатлительный паренек. Мечтает стать поэтом. Работает мотористом, мы часто привлекаем его и к штабному делопроизводству. Но если на матчасти не хватает рабочих рук, его уговаривать не нужно. Одно слово — и всю ночь будет механикам или пармовцам помогать. Что еще можно прибавить? — Лоб Демидова покрылся глубокими складками. — Не разгильдяй, не пьяница.

Командир полка замолчал и вопросительно уставился на собеседника. Стукалов прощающе улыбнулся, снял роговые очки, протер их запотевшие стекла.

— О, товарищ полковник! К сожалению, мне придется дополнить эту характеристику с другой стороны. Челноков — человек, которому нельзя доверять. Сомнительный, политически неустойчивый человек, способный предать.

Демидов оторопел:

— Не может этого быть!

— Да, да, — загорячился Стукалов. — У меня веские основания для такого вывода. Вот. — Его рука с тонким запястьем нырнула в карман и вытащила оттуда записную книжку. — В этот блокнот Челноков заносил свои сокровенные мысли. Почитайте. Например, здесь.

Демидов взял раскрытую голубенькую книжку и прочел:

«А наши генералы, старшие командиры? Как им не стыдно сейчас возглавлять отступление! Разве они не повинны в том, что не смогли мы отбить натиск фашистов где-нибудь у Бреста или Барановичей?»

Демидов покачал головой.

— Подзагнул Челноков. Наши генералы и командиры — в гуще боя. Хотя в отдельных неудачах, может, кое-кто из них и виноват.

— Вот видите. И вы со мной согласны, — обрадованно

подхватил военный следователь. — Теперь дальше читайте. Здесь.

«Родина! Земля моя окровавленная. Вот и дошел по тебе серый твой сын Челноков до самых московских стен. А дальше? Что делать, если Москва падет так же, как пали Минск, Киев, Одесса? Идти за Урал и копать себе берлогу, чтобы укрыться в ней от кованого фашистского сапога?»

— Гм... — неопределенно бормотнул Демидов и перевернул страничку. — А ну-ка, что здесь. «Смерть! Не верю в ее значение и не боюсь. И если суждено мне умереть, хотел бы это сделать так же, как сделал это Гастелло или наш майор Александр Хатнянский. Ни минуты не раздумывая, кинусь в бой». А ведь неплохо. Смотрите, Стукалов, неплохо!

— Да. Но чем вы объясните первые высказывания, явно пораженческие? Или еще вот. — Торопливо, съедая окончания фраз, майор прочитал: — «Фашисты. Не было, наверное, сильнее и беспощаднее армии». Это как? Разве не восхваление врага?

— Гм... А каким образом она к вам попала, данная записная книжка?

— По служебным каналам.

— Послушайте, майор. А вам не кажется, что иной раз мы используем эти самые служебные каналы для того, чтобы копаться в душе советского человека?

— Может быть, антисоветского, товарищ полковник, — с вызовом произнес Стукалов.

— Ну вы уж слишком! — Демидов потемнел, но майор отрицательно покачал головой.

— В том-то и дело, что не слишком, — заторопился он. — Если бы речь шла только о пораженческих рассуждениях, я бы взял их на заметку, проинформировал вас, и баста. Было бы ясно, что мы имеем дело с хлюпиком в солдатской гимнастерке, не больше. Но товарищ полковник, одно обстоятельство меняет все коренным образом. — Стукалов медленно утвердил роговые очки на тонком своем носу, сделал паузу, прежде чем нанести решительный удар, в неотразимости которого он не сомневался. — Дело в том, что в записной книжке красноармейца Челнокова обнаружена листовка.

— Какая еще листовка? — не сразу понял Демидов.

— Фашистская. Самая настоящая фашистская листовка, какие противник разбрасывает, не скупясь. Челно-

ков хранит ее очень аккуратно. Она разглаженная, чистенькая.

Демидов растерянно молчал. Рябое лицо его было сковано недоумением.

— Листовка? На кой она ему черт?

— Там написано, что с этой листовкой можно сдаться в плен. Полагаю, что ваш моторист и отчасти писарь Челноков собирался перебежать к фашистам.

— К фашистам? — У Демидова беспомощно опустилась нижняя губа. — Но ведь от нашего аэродрома до линии фронта семьдесят с лишним километров?

— Это не имеет значения, если человек ищет удобного случая, — мягко, все с той же прощающей улыбкой заметил Стукалов. — Нам известны и не такие переходы. А чем вы гарантированы, что он не заберется в фюзеляж взлетающего истребителя и не подговорит кого-нибудь из летчиков перелететь? Если человек способен хранить фашистскую листовку, он и других разлагать может.

Демидов порывисто поднял голову.

— В моем полку таких быть не может, — глухо сказал он. — У меня все летчики в воздухе кровью и огнем проверены.

— Это я, конечно, предположительно, — тотчас же отступил Стукалов.

— Что вы предлагаете? — насупившись, спросил Демидов.

— Арестовать Челнокова и дело о нем передать в трибунал. Это было бы наиболее верным решением, поскольку доказательства налицо.

Демидов сдунул со стола сухую стружку кем-то очиненного карандаша.

— Ничего я вам сказать сейчас не могу. Надо посоветоваться с комиссаром, — угрюмо ответил он.

Стукалов поднялся и аккуратно оправил на себе гимнастерку.

— Я подожду, товарищ полковник. Когда вы примете окончательное решение?

— Завтра.

— Очень просил бы вас, товарищ полковник, принять решение не позднее этого срока.

Стукалов ушел, а Демидов горько задумался, не глядя больше в расстеленную перед собой карту. Из этого состояния его вывел веселый голос комиссара Румянцева.

— Командир, на обед поедем? — спросил он, потирая руки.

Но Демидов отрицательно покачал седоватой головой.

— Спасибо. Уже испортили аппетит.

— Кто и по какому поводу?

— Вот, почитай. Стукалов где-то подобрал.

Командир передал старшему политруку голубенькую записную книжку. Румянцев быстро пробежал исписанные округлым почерком страницы, раза два усмехнулся, потом недовольно поморщился и тоже помрачнел.

— Да, люди — это сложные агрегаты, Сергей Мартынович, — сказал он задумчиво. — Нет, вероятно, таких, которые как две капли воды были бы похожи один на другого. Ну разве можно сравнивать того же Челнокова с вами и со мной? У вас закалка с самой гражданской войны, огромный жизненный опыт, политическая зрелость. Я хотя и не видел гражданской, но принадлежу к тому поколению, которое строило Днепрогэс и Магнитку. А чего можно требовать от Челнокова? Впечатлительный, неопытный парнишка, которого надо еще воспитывать и воспитывать. Не всегда широко смотрит на вещи. Видит не мир, а только тот кусочек, что мельтешит у него перед глазами. Вот иногда и порет глупости. Но крамолы в его записях нет.

— В записях-то нет, — горько заметил Демидов, — зато в другом есть. В этой же записной книжке найдена фашистская листовка, которую Челноков хранил.

— Листовка? — расширил глаза Румянцев. — Не понимаю!

— Вот и я не понимаю. Давай вызовем самого Челнокова. Дело оборачивается очень и очень серьезно.

Демидов крутанул телефонную ручку, соединился с красноармейской столовой, где сейчас был в полном разгаре обед. Ему ответили, что Челноков отправился на командный пункт переписать в полковой журнал боевое донесение. А минут через десять он и сам появился в землянке.

Демидов молча протянул ему голубую книжечку. Застенчивое лицо Челнокова просияло от радости.

— Нашлась! Какое спасибо вам, товарищ полковник! Я два дня ее проискал. Это же мои рабочие записи. Я их только начинаю вести. Книгу после войны писать буду. Они мне очень понадобятся.

Демидов встретился хмурым взглядом с его больши-

ми серыми глазами и душой понял, сколько в них неподдельной искренности. Но сомнение, посеянное Стукаловым, еще жило в нем, сосало где-то под ложечкой. «Мальчишка! — думал он о Челнокове. — Ни дать ни взять интеллигентный нытик, и мыслишки вразброд, шатаются. Но, прав Борис, никакой он не антисоветчик, просто впечатлительный, растерявшийся перед суровыми событиями юнец».

— Послушайте, — грубо сказал Демидов, — а листовка?

— Какая, фашистская? — с живым интересом переспросил Челноков. — Так ведь это тоже рабочий материал.

— Такой уж обязательный, что ли? — вымолвил полковник, глядя на моториста из-под нависших бровей. — Обойтись без него нельзя?

— Конечно, нельзя, товарищ командир. — В глазах Челнокова стояло такое неподдельное изумление, что Румянцев невольно улыбнулся. Моторист с горячностью поднял руку вверх. — Кто же после войны будет такую гадость хранить, товарищ командир? А я в повести хочу одного труса показать, как он с такой листовкой свою шкуру пытается спасти.

Демидов, не поднимая головы, процедил:

— Черт знает что, Челноков, умный вы человек, а такую грязь взяли в руки. Как вам не стыдно!

— Так это же я не для себя... — сбивчиво ответил Челноков. — Вот напишу книгу, и все ее прочтут. Я сейчас пишу плохо, но я в себя верю... может быть...

— Что может быть? — раздраженно оборвал его Демидов. — Не может быть, а уже есть. К судебной ответственности вас хотят привлечь.

— Меня? — Челноков ясными глазами посмотрел в расстроенное лицо командира. — За что? Вы, наверное, шутите!

— Хороши шутки, если следователь вмешался.

— Следователь? — без какой-либо тени испуга переспросил Челноков. На лице его застыл отпечаток недоумения. Оно было по-детски чистым сейчас, это простое человеческое лицо с застенчивыми глазами. — Да зачем же следователь, если никто ничего не скрывает?

— Черт бы вас побрал! — выругался полковник. — Боком выходит ваша святая наивность. Зачем следователь, спрашиваете? Да знаете ли вы, что положено по за-

конам военного времени за хранение фашистской листовки? Трибунал.

Челноков сник, и глаза его сузились. Морщинки набежали на чистый мальчишеский лоб.

— Подождите, подождите. Трибунал... Следователь... Так неужели же кто-то может подумать, будто я взял листовку?.. — он не договорил.

— Да, кто-то, не зная вас, на основании фактов может сделать совершенно иные выводы, — жестко сказал Демидов.

Челноков побледнел, сразу стал будто меньше ростом, ссутулился. Взгляд его сделался неспокойным. Сначала остановился на широком строгом лице командира, потом, словно ища защиты, обратился к Румянцеву.

— Товарищ полковник... товарищ старший политрук, виноват, товарищ батальонный комиссар. Неужели вы, неужели и вы можете такое обо мне подумать?

Румянцев не выдержал этого взгляда. Печальные серые глаза моториста так и обжигали. И, прямой по натуре, комиссар полностью взял ответственность на себя, не думая в эту секунду о том, что своим решением может обидеть командира.

— Идите, Челноков. Идите, нам все ясно. Только глупости эти выкиньте из головы, и не дай бог, чтобы вы еще раз вздумали коллекционировать такую гадость.

— Я ничего... я уйду, — совсем растерявшись, произнес Челноков. — Но зачем же трибунал?

Он попятился к выходу. Потом все же повернулся спиной к Демидову и Румянцеву и быстро, будто стыдясь своей растерянности и малодушия, взбежал наверх по гладким, обструганным ступенькам.

Румянцев задумчиво перелистывал записную книжку. Улыбнулся, пожал плечами.

— Сергей Мартынович, хочешь из лирического раздумья будущего литератора Челнокова? Послушай.

Если сердце стучит, как мотор у подбитого
«ила»,
Обреченного в воздухе кончить короткий свой
путь,
Это значит, что милая вам изменила
И смеется теперь далеко где-нибудь...

Ну как?

На темном лице Демидова шевельнулись жесткие усы.

— Сердцещипательно. Небось свою однокурсницу вспомнил наш полковой Гомер. Но что ты думаешь, Борис, по поводу листовки?

Румянцев откинул назад волосы, спокойно ответил на испытующий тревожный взгляд командира.

— Проборку хорошую ему дать на комсомольском бюро за эту листовку. А вообще честен. Ну, сам посуди, Сергей Мартынович. Если у человека есть своя живая мысль, тяготение видеть мир по-своему, а главное, нити, связывающие его с Родиной, он все горячим сердцем воспринимает: и радости, и огорчения. Нет, не побежит такой к фашистам!

Демидов провел двумя пальцами по колким седеющим усам, нахмурил брови.

— Смотри, Борис, — сказал он с невеселой усмешкой, — ты комиссар, тебе виднее.

— А ты? — строго спросил Румянцев. — Разве ты не возьмешь на свою партийную совесть ответственность за Челнокова? Разве она дает тебе право сказать, что этого человека следует считать антисоветчиком?

— Я-то возьму, — медленно и трудно выговорил Демидов. — Да что толку, Борис. Есть номенклатура фактов, и листовка, сохраненная этим наивным мальчишкой, входит в нее.

— Знаю, — отозвался Румянцев.

Демидов встал и, заложив за спину руки, прошелся по землянке.

— То-то и оно, Борис. В руках у Стукалова голый факт. Но факт очень важный. Боюсь, выйдут неприятности. А не хотелось бы давать в обиду этого мальчика, — командир вздохнул и вынул пачку папирос. — Кури, комиссар.

Румянцев молча закурил. Над их головами распустились две струйки приятно-горького дыма. Демидов сбил со своей папиросы пепел.

— Смешное положение, если разобраться. Воевал в Испании, здесь почти каждый день под смертью ходишь. А Стукалова какого-то всегда остерегаешься. Вроде как в подследственных у него состоишь.

— Надо Челнокова защитить, командир, — убежденно сказал Румянцев.

— Попробую, — согласился Демидов. — Попробуем вместе с тобой, комиссар.

☆☆☆☆

Двое суток подряд над городами и селами Подмосковья шли ожесточенные воздушные бои. Серое осеннее небо, приютившее сотни самолетов, то и дело вздрагивало от клекота воздушной перестрелки, рассекалось красными и зелеными трассами пулеметных и пушечных очередей, повторяло надрывный рев моторов: то резкий, почти пронзительный, если шли истребители, то плавный, с тяжкими вздохами — бомбардировщиков. Потерпев неудачу со звездным налетом на столицу, гитлеровцы быстро изменили тактику. Теперь к Москве и ее пригородам пытались прорываться не большие массированные группы, а звенья и одиночные самолеты, чаще всего «юнкерсы» и «хейнкели». В соответствии с этим изменил многое в боевой работе полка и Демидов. Он перестал поднимать истребители десятками и девятками. Над полем боя его летчики ходили теперь четверками или разорванными парами.

Гитлеровские самолеты старались пройти к пригородам столицы с разных направлений, вводя в заблуждение истребителей прикрытия, и требовалось большое напряжение, чтобы их вовремя перехватывать.

В субботу летчики сделали по пять боевых вылетов. Уставшие, невеселые, за ужином они делились впечатлениями. В этот день не было сбито ни одного вражеского самолета, но зато ни один немецкий бомбардировщик на участке демидовского полка не прорвался к Москве.

Жизнь у летчиков шла своим чередом, тревожная, полная неожиданностей и горьких новостей. Гитлеровцам удалось продвинуться к столице еще на несколько километров, они сбрасывали листовки, в которых угрожали обстрелом Москвы. Сводки Совинформбюро были по-прежнему лаконичными, неутешительными. Ежедневно противник занимал все новые и новые города, появлялись новые направления, и голос диктора, передававший эти сводки, царапал сердце.

Но и в эти дни был у летчиков демидовского полка один светлый, можно сказать, радужный час — когда в землянку командного пункта по узкой деревянной лесенке спускался молоденький, с воробьиным пушком на губах красноармеец Садыков, разносчик полевой почты. Шаря по затемненным углам землянки узкими татарскими

глазами, он отыскивал тех, кого знал в лицо, и, улыбаясь, восклицал:

— Лейтенант Стрельцов, ай якши, два письма сразу! Майор Султан-хан, лезгинку надо, вам целый пакет из Дагестана. Инженер-майор Стогов, якши — Волга пишет.

И только мрачневшего в эти минуты Боркуна Садыков обходил как-то боком, боясь встретиться с ним взглядом, словно именно он, разносчик полевой почты, был главным виновником того, что майору нет писем. Не особенно ловко чувствовали себя и летчики, получившие письма, когда встречались с темными угрюмыми глазами комэска.

С тех пор как в одной из сводок Совинформбюро было объявлено, что немецко-фашистские войска захватили Волоколамск, Боркун лишился единственного географического пункта, откуда шли ему написанные аккуратным, ровным почерком Валины письма. Каждый в полку знал об этом. Но никто ни словом, ни жестом не пытался выразить своего сочувствия или сожаления.

Слишком большим было горе комэска, чтобы можно было утешить его даже самыми искренними словами. Внешне все такой же тяжелый и неповоротливый, флегматичный с виду, Боркун внутренне весь как-то сразу сник, ушел в себя, замкнулся в своем отчаянном одиночестве. Не было слышно его хрипловатого голоса в обычных вечерних спорах, даже суточную свою стограммовую дозу он выпивал за ужином молча, заранее зная, что и водка нисколько его не развеселит.

А потом он не спал почти до самого рассвета, тупо глядя на одиноко мерцавшую над входом электрическую лампочку. От слабого накала ее волоски едва-едва тлели. Однажды кто-то заворочался на одной из соседних коек, зашаркал по холодному полу босыми ногами. Сосредоточенное лицо лейтенанта Воронова склонилось над ним.

— Командир, вы опять всю ночь ворочаетесь. Кто же за вас спать-то будет? А если вылет с утра дадут?

— Спи, Коля, спи, — тихо зашептал Боркун, — я двужильный, я что угодно вынесу.

И когда все смолкало в этой просторной, с крашеными стенами комнате, ставшей случайным пристанищем для фронтовых летчиков-истребителей, он сжал тяжелые челюсти и думал, думал. И опять перед ним возникала Валя, протягивала к нему тонкие, смуглые от лет-

него загара руки — на безымянном пальце блестело колечко. Но видение исчезало, словно развеянное ветром. И уже другое видел Василий: тонули в пламени и чадном дыму кварталы маленького провинциального Волоколамска, тяжелые гусеницы фашистских танков высекали искры из булыжной мостовой, пришельцы стучали прикладами в двери и ставни, выводили на улицы сонных полураздетых людей. Василий ясно видел среди этих людей ее, Валю, и, едва удерживая глухой стон, в ярости рвал зубами наволочку подушки.

Так же было и в тот день, когда после трех утомительных боевых вылетов на прикрытие московских пригородов он лежал на нарах в землянке, ожидая команды снова подняться в воздух. Но погода испортилась, над дальней рощицей за аэродромом плотно уселся туман, промозглый дождичек посыпал на капониры, и полковник Демидов распорядился зачехлить половину машин.

В землянке было людно. Батальонный комиссар Румянцев читал сводку Совинформбюро и что-то говорил о вероятности открытия второго фронта. Воронов и майор Султан-хан, не слушая комиссара, доигрывали в углу партию в шахматы. Потом Румянцев закончил короткую, как обычно, беседу и ушел в другие землянки.

Угреватый лейтенант Бублейников подсел к радиоприемнику и стал неторопливо вращать регуляторы. Желтый свет залил шкалу, и целый хаос звуков ворвался в землянку. Сначала обрывками фраз вклинилась радиостанция имени Коминтерна, затем ее заглушил симфонический оркестр. Сквозь него пробился голос Утесова, певшего про сердце, которому не хочется покоя. Утесова оттеснила гортанная английская речь. Султан-хан под натиском Воронова потерял в эту минуту королеву и кулаком погрозил в сторону радиоприемника:

— Шайтан меня побери! Бублейников, выключи эту шарманку, сосредоточиться не даешь!

Неожиданно в этом хаосе звуков, высоких и низких, длинных и коротких, послышался сухой, неприятно четкий голос:

— Внимание, внимание! Господа радиослушатели! Говорит радиостанция Волоколамска. Начинаем передачу...

— Ах ты дрянь, — зло пробормотал Бублейников и сильно повернул регулятор громкости. Голос захлебнулся, но в ту же самую минуту сзади на нарах гулко и решительно заговорил Боркун:

— Постой, Бублейников, оставь-ка этого негодяя, пусть потреплется.

Недоуменно пожав плечами, молодой летчик настроил радиоприемник на прежнюю волну. Несколько человек удивленно оглянулись на майора. Боркун, сдвинув над переносьем брови, сбивчиво произнес:

— Да пусть... Жалко вам, что ли?

И летчики его поняли. Ему, потерявшему в Волоколамске единственного близкого человека — жену, хотелось хоть что-нибудь узнать о положении в этом городе, пусть даже из уст врага. Василий Боркун привстал. На загорелой шее замерла туго натянувшаяся жила. А чужой, режущий ухо голос старательно чеканил слоги в русских словах. Россыпь звуков бравурного марша покрывала слова, и от этого голос казался еще более чужим и враждебным.

Боркун с хрустом сдавил тяжелые ладони и тотчас же шумно вздохнул.

— Население Волоколамска, — продолжал диктор, — приветствует доблестную германскую армию. Оно становится в ряды тех, кто помогает немецкому командованию, комендатуре и бургомистру устанавливать новый, справедливый порядок. Сегодня мы передаем концерт, подготовленный силами местной интеллигенции. В исполнении струнного оркестра под управлением господина Сичкина слушайте марш «Великая Германия».

Медные дребезжащие звуки наполнили землянку.

— Ух ты! — зло заметил Боркун. — Уже и оркестрик из каких-то продажных дворняг смонтировали!

— Парочку бы эрэсов в ту радиостанцию, — прибавил Алеша Стрельцов.

Звуки марша оборвались, и несколько секунд эфир настороженно потрескивал. Затем тот же суховатый голос громко произнес:

— Стихи Александра Блока читает учительница первой Волоколамской женской гимназии госпожа Валентина Сергеевна Боркун.

Бублейников, прильнувший к шкале радиоприемника лицом, отпрянул от нее, словно ожегся, и оглянулся на майора. В одну и ту же минуту перевели свои взгляды на комэска и Воронов, и Стрельцов, и Султан-хан.

Боркун, собравшийся было подняться, вдруг медленно и тяжело осел на нары; его длинные большие руки бессильно и ненужно обвисли вдоль туловища, как у че-

ловека, на которого внезапно обрушили непосильную, придавившую его к земле ношу. Он сделал усилие — медленно встал на ноги и шагнул в освещенный круг, все еще надеясь, что ослышался, что это подумалось только ему одному, этого больше никто, никто не слышал. А из радиоприемника несся до боли знакомый голос, интонации и колебания которого он так хорошо знал.

Под насыпью, во рву некошеном,
Лежит и смотрит, как живая,
В цветном платке, на косы брошенном,
Красивая и молодая.

И он видел ее, Валю: и бледное продолговатое лицо с остреньким подбородком, и ямочки на щеках, и серые мечтательные глаза, чуть поднятые ввысь.

Да, это она читала там, в близком и безжалостно отдаленном Волоколамске, это о ней объявил страшный невидимый человек, говоривший на русском языке о «новом порядке». Да, это было так. И все-таки он еще оглядывался с последней надеждой, ловил удивленные взгляды товарищей.

— Ребята... — пересохшим голосом выдавил он, когда по радио уже кто-то с надрывом пел лещенковскую «Татьяну», — ребята, вы тоже слышали?.. А?

Воронов угрюмо отвел глаза в сторону, носком унта стал царапать дощатый пол землянки.

— Слышали, командир.

И эти два слова, как набат в темной ночи, нещадно стегнули Василия Боркуна. Схватив с нар шлемофон, с непокрытой головой бросился он прочь из землянки. Его тяжелые подкованные сапоги громко, с отчаянием простучали по ступенькам лестницы.

Когда он выбежал, гнетущая тишина установилась в землянке. Бублейников молча выключил радиоприемник, лейтенант Ипатьев чинил карандаш, и было слышно, как с шелестом срезает перочинный нож деревянную стружку. Внезапно Султан-хан ударом ноги опрокинул табуретку с шахматной доской, скверно выругался и выбежал из землянки вслед за Боркуном.

— Вася! Шайтан тебя забери, Вася! — услышали все его яростный голос, потом дверь захлопнулась, и вновь стало тихо.

Султан-хан бежал по осенней земле, схваченной первым вечерним заморозком. В угасающем свете короткого дня пламенели стволы редкого березняка, и черная фи-

гура Василия, метнувшаяся к ним, показалась горцу неестественно большой. Он увидел, как Боркун углубился в рощицу и там упал на землю, обхватив руками тонкий березовый ствол. Когда Султан-хан подбежал, тело Василия сотрясалось от глухих рыданий. Жесткой щекой он прижался к мокрой коре, будто ей, этой красивой, стройной березке, хотел выплакать свое огромное горе. Он слышал шаги, слышал шумное дыхание горца, опустившегося рядом на колени, он знал, что в минуту большой тоски и отчаяния только этот единственный человек мог оказаться рядом.

— Султан, меня сбили, — прошептал Василий, — сбили, Султан.

Горец нерешительно тронул его за широкое плечо, с мукой в голосе выдавил:

— Зачем так, Вася... Не надо так, Вася. Конь и тот может подвести в бою джигита.

— Ой, Султан, под корень меня срубили, — сдавленно выкрикнул Боркун, — как я ей верил, как верил! Да я бы за нее всю свою жизнь по кусочкам, без остатка... А она! Госпожа Боркун... госпожа! — выкрикнул он и поднял к осеннему низкому небу два огромных кулака, будто мог этим кого-то покарать.

☆☆☆☆

Утром Демидов вместе с Петельниковым составлял боевой расчет на очередные вылеты. На белом ватманском листе он рисовал жирными линиями знаки, напоминающие отчасти букву «Т», отчасти самолет, и писал над ними фамилии летчиков. Был он мрачным и малоразговорчивым в это солнечное утро, даже прихрамывал гораздо заметнее.

Его угнетали фронтовые новости: из штаба фронта только что позвонили и передали, что под Дмитровом противнику удалось несколько продвинуться, а его подвижные группы ведут бои почти под самой Яхромой, и, кроме того, Демидова сильно опечалило известие, что жена командира эскадрильи Боркуна оказалась предательницей и вчера выступала по фашистскому радио. Демидов вспоминал тихую беленькую Валю, ее неторопливую, всегда спокойную речь, внимательный, изучающий взгляд светло-серых глаз, которые она никогда не отво-

дила от собеседника. «Черт знает что! — думал Демидов. — Ведь комсомолкой была, до концов ногтей наша, советская, а вот... Запугали ее, что ли, немцы до такой степени?..»

Когда над одним из знаков, обозначающих на ватманском листе самолет, он выводил фамилию Боркуна, легкая тень легла на бумагу, и Демидов услышал ломкий испуганный голос:

— Товарищ полковник, неужели вы и его запланировали в полет?

— Кого «его»? — сердито переспросил Демидов и, подняв голову, увидел рядом с собой аккуратный пробор майора Стукалова.

— Боркуна, товарищ полковник.

— А почему бы и нет? — хмыкнул полковник. — На то Боркун и летчик, чтобы его в боевой полет планировать.

Стукалов сделал рукой вокруг своего гладко выбритого лица такое движение, словно хотел собрать в горсть несуществующую бороду.

— Но разве вы ничего не слышали?

— А что именно?

— Жена майора Боркуна — предательница. Она выступала вчера по одной из фашистских радиостанций, читала какие-то там куплеты.

— Не куплеты, а стихи Блока, хорошего поэта, — хмуро уточнил Демидов.

— Может, и Блока, — охотно согласился Стукалов, — какое это имеет значение. Важен сам по себе факт. Жена командира эскадрильи — предательница, а вы его планируете в полет. А что, если майор Боркун, как это любят говорить летчики, немножечко довернет и сядет на один из фашистских аэродромов в районе Волоколамска? Ведь он же безумно ее любит.

Демидов оглядел с ног до головы невысокую фигуру майора Стукалова, хотел заглянуть ему в глаза, но глаза следователя за выпуклыми стеклами роговых очков побежали куда-то в сторону. На рябоватом лице командира полка шевельнулась усмешка.

— Успокойтесь, товарищ майор. Действительно, Боркун любил ее. Что верно, то верно. Но едва ли на нашей советской земле найдется сейчас человек, который ненавидит эту предательницу больше, чем ее бывший муж летчик Боркун.

Стукалов с чувством превосходства передернул плечами.

— Вы думаете?

— Уверен, — сердито ответил Демидов.

— А я бы ему сейчас все-таки не доверил боевого задания, — настойчиво произнес Стукалов.

Демидов нахмурился.

— Надо смотреть в душу советскому человеку, решая вопрос о доверии, а у него, у Василия, душа чистая.

— Смотрите, товарищ полковник, — закончил Стукалов, — не получилось бы осечки. Мой долг вас предупредить.

— За предупреждение спасибо, — сухо поблагодарил Демидов и погрузился в расчеты.

После завтрака летчики набились в штабную землянку и наполнили ее веселым взбудораженным говорком, в котором под внешней беззаботностью шуток и взаимных пикировок всегда тлеет то тревожное и смутное, что закрадывается в сердца и души перед началом боевой работы. Демидов дважды взглянул на хмурое, осунувшееся за ночь лицо Боркуна, на его мускулистую фигуру. Тени под глазами и печальный сосредоточенный взгляд насторожили командира полка. До начала предполетной подготовки Демидов, улучив момент, вывел майора из землянки. Взяв его за локоть, он отошел от КП, на ходу козыряя проходящим мимо техникам и механикам. Боркун молча ждал.

— Василий Николаевич, — тихо заговорил Демидов, стараясь на него не глядеть, — ты не сердись на меня, пожалуйста, понимаю, как тебе тяжело. Но может быть, тебе не надо сегодня лететь? Нервы у тебя перенапряжены, вот и глаза от бессонницы покраснели.

Боркун осторожным движением освободил свой локоть от руки командира, обернулся. Холодно и решительно взглянул на собеседника:

— Добить хотите, товарищ командир? Не доверяете, значит? Раз жена на оккупированной территории, да еще по немецкому радио выступает, выходит, и тебе, Боркун, веры нет? Так получается?

Демидов печально посмотрел на летчика.

— Что ты, что ты, Боркун, — возразил он, — за кого ты меня...

— Вот и я думаю, за кого, — грустно и напряженно подхватил Боркун. — За кого же я вас могу принимать?

Вас весь полк батей зовет, товарищ полковник. Добровольно, не по какой-нибудь там статье устава. Вы везде с нами: и когда мы по колено в крови, и когда в славе. Так если вы батя, а мы вам сыны, то как же вы можете этим сынам не доверять?

Демидов видел перед собой ясные глаза, лицо страдающее, затуманенное усталостью.

— Тебе не верить? — строго перебил полковник. — Загибаешь, Василий Николаевич. Покажи мне среди наших летчиков человека, который бы тебе не верил.

Боркун вскинул голову.

— Таких нет, товарищ командир. Честное слово, нет!

— Зачем же тогда ты говоришь о недоверии? Но все же я советовал бы тебе денек переждать. Завтра бы и пошел в бой.

Запахнув теплую летную куртку, полковник уже спокойно улыбался, острыми глазами глядя на Василия. Но Боркун умоляюще сложил на груди обе руки.

— Да не могу я, товарищ полковник. Мне сегодня в бой надо. Не думайте, что я там зазеваюсь и хвост «мессеру» подставлю. У меня ярость каменная. А с врагами посчитаться надо без всяких отсрочек. За все, что в жизни теперь испоганено. — Он схватил Демидова за плечи широкими сильными ладонями, с надеждой и болью всмотрелся в его рябоватое лицо: — Командир, батя... в бой пустишь?

— Пущу, — неохотно согласился Демидов.

☆☆☆☆

Майор Стукалов на тряской полуторке мчался в штаб фронта. Эту полуторку он не без нажима сумел выпросить у командира технического батальона Меньшикова, взяв с него твердое обещание не проговориться о том, куда понадобилось ехать. Полуторка была старая, с расслабленными тормозами. На поворотах она вздрагивала и дребезжала. Но это сейчас не имело решительно никакого значения. В полевой сумке у майора Стукалова лежало короткое, но весьма внушительное по содержанию донесение. Мысленно полемизируя со своим начальником отдела, Стукалов говорил: «Нет, мы еще посмотрим, товарищ генерал. Вы говорите, что другие работники военной прокуратуры в пехотных и артиллерийских частях

делают гораздо больше моего. Ходят в атаки вместе с командирами батальонов, танки подрывают, парашютистов ловят. Но я не хуже их выполняю свой долг. Я везу вам весьма и весьма своевременный сигнал...»

Полуторка дребезжала, временами рявкала прерывистыми гудками, а широкая асфальтированная лента подмосковного шоссе все бежала и бежала навстречу.

☆☆☆☆

Четверка «яковлевых», которую повел к линии фронта майор Боркун, имела задание прикрыть поле боя в районе населенных пунктов Петушки — Плетнево — Васильевка, где целая стрелковая дивизия должна была контратаковать врага и захватить две господствующие высоты. Но в самую последнюю минуту, когда Боркун, Коля Воронов, старший лейтенант Красильников и его напарник Бублейников уже расходились по самолетам, Демидов получил из штаба фронта новую задачу. Генерал Комаров потребовал, чтобы полк всеми исправными самолетами прикрыл район Серпухов — Подольск от взявших туда курс бомбардировщиков противника.

Поэтому четверке Боркуна было приказано сорок минут висеть над окрестностями Подольска на высоте от двух до пяти тысяч метров, вступая в бой с любой группой «юнкерсов» или «хейнкелей». В правом пеленге повел Василий свою группу. Самолеты шли с небольшими интервалами, уступом назад. Их моторы гудели так слитно, что можно было подумать, будто их не четыре, а один. Под прозрачным колпаком соседней машины Боркун видел сосредоточенное лицо Коли Воронова, казавшееся в коричневом шлемофоне гораздо суровее и старше, чем было оно на самом деле. На щитке приборов высотомер показывал три тысячи метров. Боркун знал, что где-то прямо над ними, на километр выше, будет ходить четверка Султан-хана, и от этого ему становилось как-то теплее, он чувствовал себя еще увереннее. Внизу промелькнула узкая серая стрелка шоссейной дороги, ведущей в штаб фронта. Среди редких машин, мчавшихся по шоссе, увидел Василий и миниатюрную, не больше спичечного коробка, полуторку. Разумеется, он не мог и подумать, как, впрочем, не узнал и потом, что мчался на ней в штаб с «важным» донесением следователь военной прокуратуры майор Стукалов.

Чуть сузив под стеклами очков темные глаза, оглядывал Василий зыбкую линию горизонта. Серое небо, давившее на землю, было безрадостно холодным, и на мгновение Василий ощутил гнетущее одиночество. Он не почувствовал обычного азартного волнения, с каким всегда бросался на противника. Что-то мешало ему быть собранным и зорким. И, подумав, он тотчас же нашел ответ на это короткое вопросительное «что»?. «Валя», — сказал он самому себе, ощущая, как холодное бешенство приходит на смену устоявшемуся равнодушию. Валя у немцев. Валя сама, добровольно подходит к микрофону и читает Блока. Не кого-то иного, а именно ее холодный, чужой голос диктора назвал «госпожой Боркун». Ее, Валю, ту, что любил больше всего в жизни, чьи ямочки на щеках целовал с исступленной нежностью, называли теперь «госпожой», это о ней говорили как об интеллигентке, принявшей и одобрившей «новый порядок».

«Если бы ее встретить,— зашептал ему глухой яростный голос, — ты бы ее сам...» А другой, грустный и вселяющий сомнения, немедленно спросил: «Что? Убил бы?» И Боркун внезапно растерялся от мысли, что не знает, не в состоянии на этот вопрос ответить.

Да, она предательница, и он с гневом бросил бы это слово ей в лицо. Но убить, поднять руку на то живое и тихое, что всегда считал родным, чему отдал всю искренность своей души, нет, это было далеко не так просто! Скорее всего, он бы отвернулся от нее с тоской и яростью и, если бы его спросили, как с ней теперь поступить, произнес страшное слово «смерть». Но самому поднять руку?

Отогнав от себя тяжелую горестную думу, он глянул в смотровое стекло, разграфленное сеткой прицела. Горизонт с трех сторон стал менее смутным, небо пояснело, и холодное плоское солнце ослепительно заблестело вверху. Самолет Воронова, летевший сзади, внезапно провалился вниз, потом, словно подхваченный потоком воздуха, взмыл вверх и заблестел остекленной носовой частью. И тотчас же мысли о Вале, о нагрянувшей беде выветрились из сознания, и одно только небо, широкое и раздольное небо, по которому метались, гудя моторами, самолеты, расстилалось теперь перед ним, жило в его сознании.

— Воронов? Куда? — рявкнул Боркун, еще не поняв

маневра своего ведомого, но уже осматриваясь по сторонам. Радио донесло голос Воронова:

— Майор, впереди внизу «юнкерсы».

«Вот и встреча», — подумал Боркун и чуть-чуть отвел от себя вперед черную ручку управления. Истребитель опустил острый зеленый нос, и Боркун увидел вспененное кучевыми облаками небо. Вспарывая его стальными винтами, три тяжелых двухмоторных «юнкерса» уходили вверх, на солнце. Цель была заманчивой. Но спокойствие, с каким рвались к пригородам Москвы фашистские машины, встревожило Василия.

Еще ничего не видя, он чувствовал опасность, чувствовал ее остро, каждым нервом своего натренированного тела.

Движение ручки — и голубое небо, освещенное холодным солнцем, подставило его глазам ту свою часть, какую летчик секунду назад не видел. Лёгкие темные тени промчались над самолетом. Боркун моментально распознал знакомые очертания и по радио передал командиру второй пары «яковлевых» Красильникову:

— Старшой, старшой, над нами пара «худых». Атакуй! «Юнкерсов» беру на себя.

Самолеты Красильникова и Бублейникова стали набирать высоту. На зеленых крыльях осели мокрые невесомые облака. Пробив облака, машины вырвались к солнцу, и Боркун потерял их из виду. Он приказал Воронову идти за ним и прикрыть атаку «юнкерсов». Но в эту минуту в наушниках возник сдавленный голос Красильникова:

— Майор, «мессеров» четверо, они нас зажали.

Боркун колебался всего секунду. Он знал, что поступает неверно, нарушая самые элементарные тактические нормы, но слишком заманчивой была цель — звено «юнкерсов», рвавшихся на восток, чтобы связаться с прикрывающими их истребителями. Там, вверху, уже вертелся клубок дерущихся самолетов и воздух рвали огненные трассы. Видать, тяжело приходилось Красильникову, дравшемуся вместе со своим ведомым против четырех «мессершмиттов». Третий самолет мог бы все изменить. И Боркун твердо скомандовал:

— Воронов, иди на помощь Красильникову. «Юнкерсов» атакую один.

— Командир, не могу вас оставить, — донеслось неуверенное возражение ведомого.

— Немедленно вверх! — свирепо повторил Боркун.

Самолет Воронова свечой ввинтился в зыбкий осенний воздух. Боркун несколько изменил курс и движением рулей заставил свою машину зарыться в облака. Плотно прижались они к стеклам кабины, серые, набухшие от влаги. Резким боевым разворотом Боркун вышел из их беспросветной мути и, теряя высоту, помчался на восток. В переднем смотровом стекле Василий уже видел звено молочно-белых «юнкерсов». Он сделал небольшой доворот и сблизился с правым из них. Тотчас под животом его истребителя вспыхнула красная дорожка. В гул моторов ворвался частый грохот пулеметов. Его одинокую машину упорно обстреливали все три «юнкерса». Боркун заметил, как в правом крыле возникла рваная дыра с загнутыми краями. Осторожно он попробовал рули — нет, все в порядке. Истребитель так и режет винтом посветлевшее от солнца пространство. Мутная пестрая земля мелькает внизу в разрывах кучевки.

А контуры вражеского бомбардировщика становятся все более и более четкими. Под высоким хвостом с черной свастикой уже хорошо различим прозрачный шар кабины воздушного стрелка-радиста. Оттуда торчит черный ствол, оживающий огненными вспышками. Одна очередь, вторая, третья. Каждый снаряд может обернуться смертью. Но Боркун, сдавив челюсти, все сближается и сближается. Он видит склонившегося над турелью чужого стрелка в легком синем комбинезоне. У того продолговатое бескровное лицо.

Палец нажал кнопку электроспуска. Нос его истребителя засветился желтовато-красными огоньками. Это пушка дала первую очередь. Снаряды разворотили стеклянный сферический шар на вражеском бомбардировщике. Боркун видит, как в кабине стрелка-радиста появляется огромная дыра. Потоки воздуха хлещут в нее. Голова стрелка-радиста бессильно валится на вороненую сталь турели. Ветер сорвал с него шлемофон и шевелит белые волосы. Голубые глаза теперь стынут, и бурая полоска крови стекает по щеке.

Молод стрелок-радист с фашистского «юнкерса». Молод и красив. Ему бы учиться в каком-нибудь гамбургском колледже, или работать на цейсовском заводе, или письма штемпелевать на штеттинском почтамте нежными, почти девичьими руками. А он, наверное, выбрасывал вперед одну из этих рук на собраниях фашистской молодежи,

истошно кричал «хайль Гитлер», а потом этими холеными руками жал на гашетки, поливая свинцом колонны наших беженцев где-нибудь под Минском, Витебском, Оршей. Ему небось уже мерещился Железный крест за сброшенные на Москву бомбы.

И вот он убит.

Это сделал Боркун, добрый сильный Боркун, не способный на земле обидеть даже котенка. Он еще ни разу за все жестокие месяцы войны не видел убитого им человека, хотя такие, разумеется, были. Они рушились на землю вместе с уничтоженными им «юнкерсами» и «мессершмиттами». Процесс гибели этих самолетов, иногда взрывавшихся в воздухе от попаданий в бензобаки, иногда падавших на землю чадящими метеорами или срывающихся без огня и дыма в штопор, был ему хорошо известен. Но процесс гибели сидевших в них людей — это до сих пор было Боркуну неведомо. И вот впервые он видит смерть, вызванную его руками, такую страшную и такую простую.

«А Валя? Госпожа Боркун!»

Острый комок застрял в горле летчика, и ярость, дремавшая где-то далеко, рванулась наружу, застучала в виски. Нет, теперь не белокурого немецкого подростка, навеки уснувшего на турели, видел Василий. Снова черная свастика и черные ненавистные кресты заполнили ему глаза, так что даже неба за ними не видать. И он нащупал на гашетке кнопку.

Дрожал самолет от грохота пушки и пулеметов. Трассы вонзались в широкое крыло «юнкерса», в его мотор. Василию казалось, что фашистский бомбардировщик долго не загорается, и он давил на кнопку изо всех сил. Красный пунктир трассы обрывался, наталкиваясь на крыло «юнкерса», это означало, что снаряды ложатся без промаха. Но, не веря себе, Боркун все давил и давил на спуск.

Огонь ручейками бежал по обшивке немецкого бомбардировщика, подкрадывался к пилотской кабине. И вдруг «юнкерс», такой тяжелый и устойчивый в полете, стал медленно валиться на правое крыло. Несколько секунд он даже повисел животом вверх. Потом огонь огромным костром накинулся на кабины и центроплан, и машина, разламываясь на куски, рухнула вниз.

— За Валю! За жизнь мою исковерканную! — выкрикнул Боркун.

Он ожидал, что два других «юнкерса», видевшие гибель третьего экипажа, немедленно повернут назад или, по крайней мере, начнут поспешно сбрасывать бомбы. Но этого не случилось. Форсируя моторы на максимальных оборотах, фашисты упорно рвались на восток. Сличив карту с местностью, Боркун вдруг увидел, что через пять-шесть минут полета под крыльями у них будет штаб фронта, и похолодел от внезапной догадки.

Увеличив скорость, он стал приближаться ко второму ведомому «юнкерсу». По-прежнему воздушные стрелки вели огонь по его машине. Но теперь они стреляли без нервозности, короткими расчетливыми очередями. Гибель «юнкерса» подействовала на них, казалось, только отрезвляюще.

Боркун чутьем понял, что медлить с атакой опасно. Приближаясь, он шептал самому себе:

— Еще, еще, еще!

Он чувствовал на губах и на языке солоноватую горечь. Метров триста, не больше, отделяли его сейчас от белого высокого хвоста второго «юнкерса». Боркун не мог промахнуться и нажал на спуск. Его остроносый «як» продолжал идти по прямой. Он не вздрогнул, как это всегда бывает, когда летчик открывает огонь, в басовитый рев мотора не вклинился дробный грохот пушки и пулеметов. Привычные быстрые огоньки не блеснули из черных стволов. Боркун мгновенно похолодел: боеприпасы!

Да, он остался без них. Увлеченный первой атакой, он слишком нерасчетливо выпустил их по «юнкерсу». Тишина обожгла его нехорошим предчувствием. Уйдут!

Противник тоже, очевидно, понял положение советского летчика, потому что атакованный «юнкерс» дважды издевательски качнулся с крыла на крыло. Боркун почувствовал, что его покидают последние остатки осторожности и сдержанности. На его глазах два тяжело нагруженных вражеских бомбардировщика выходили на цель. Еще минуты — и они лягут на боевой курс, спокойно отбомбятся по штабу! Отчетливым видением встал аэродром, свирепое лицо Демидова, подавленные летчики, встречающие его после посадки.

— Нет, не будет этого! — крикнул Боркун самому себе, как команду, как последний приказ.

Острый киль бомбардировщика мельтешил перед глазами. И еще увидел Василий черный диск вращающегося

винта, окружающий нос его «яка». Он рывком распахнул ремень, привязывающий к сиденью, переместил на лоб очки, толкнул вперед почти до отказа рычажок сектора газа. Хвост вражеского бомбардировщика надвинулся на него. На чужом самолете заметалась за турелью фигура стрелка-радиста. Видно, понял немец, какое страшное решение принял преследующий его русский летчик. Легким аккуратным движением ручки Василий приподнял свою машину на какие-то четыре-пять метров и затем осторожно опустил нос с черным диском от вращающегося винта.

Он не услышал никакого треска. Просто его отбросило назад, больно стукнуло о жесткую бронированную спинку пилотского сиденья. Машина встрепенулась, как живая, когда острые лопасти винта ударили по тонкому килю чужого самолета. Василий успел заметить, как этот киль мгновенно раскололся и обломками упал вниз. Хвостовое оперение «юнкерса» с тягами рулей глубины было обрублено, и теперь ничто не в состоянии выровнять смертельно раненную машину. Опрокинувшись на левое крыло, она повернулась своим белым в мелких заклепках животом и провалилась вниз, а Боркуна подбросило вверх. Он почувствовал, что самолет наполнился необычной нервной дрожью. Его часто встряхивало, рули плохо повиновались. «Упаду!» — подумал Боркун. Сквозь плексиглас фонаря он увидел под собой белое крыло третьего бомбардировщика. Тот по-прежнему шел старым курсом. Струйки трассирующих пуль замелькали мимо кабины. Внизу уже обозначилось шоссе и окаймленные лесом светлые здания. «Штаб! — угадал Василий. — Сейчас сбросит бомбы».

И еще раз брызнула трасса из кабины вражеского бомбардировщика. Куски плексигласа посыпались Василию на колени и вместе с ними упал горячий осколок.

Нет, совсем не плохо стрелял этот немец, если сумел новой трассой попасть в фонарь кабины. В разбитый фонарь ворвался поток воздуха, освежающе ударил в лицо: Боркун сманеврировал и снова занял положение, выгодное для открытия огня. Очередная трасса с «юнкерса» сорвала обшивку правого крыла. Василий еще раз попробовал рули — в порядке.

Левое крыло «яка» было на полметра выше правого крыла «юнкерса». Жирный черный крест лез Василию в глаза, расплывчато подрагивал.

— За все... за Родину, за жизнь свою, за Валю! — свирепо зашептал Василий и, нажав на аварийную рукоятку, сбросил с кабины колпак. Ветер остервенело его подхватил, унес назад. Осеннее небо плыло над головой летчика. Боркун с усилием отвел от себя ручку управления...

Ему показалось, что долго и очень медленно снижается истребитель. Во рту пересохло от тягостного ожидания, пот ручьями побежал по лицу. Зачерпнув синеву воздуха, левое крыло «яковлева» резко накренилось и, словно сабля, ударило по широкой светлой плоскости «юнкерса». Страшный треск хлынул в уши. Истребитель вздрогнул и на какую-то секунду, как померещилось Василию, остановился в воздухе. Это обманчивое ощущение и спасло Василия. Он быстро поднялся на сиденье, дернул кольцо, высовывающееся из-под брезентовой лямки парашюта. Мгновенный динамический удар вырвал его из кабины. Белый купол полыхнул над головой, и для Василия, не особенно любившего парашютные прыжки, пришли секунды, когда мысль о собственной гибели отступила прочь.

Темной угрожающей массой промчалась мимо него машина с отломанным крылом. Боркун посмотрел вниз. Огромное тело тараненного им «юнкерса» было уже метров на пятьсот ниже его. «Юнкерс» причудливо переворачивался: то становился на нос стабилизатором вверх, то, попадая в струю вращательного падения, очерчивал вокруг себя полукружия единственным крылом. Под напором встречного потока и оно не выдержало. На глазах у Василия крыло отвалилось, и один только фюзеляж с воем устремился вниз.

Подтягивая стропы, Боркун пытливо рассматривал надвигающуюся землю. Ветер относил его к чахлому низкорослому кустарнику, темневшему в стороне от шоссе. Белые с ажурными колоннами здания штаба фронта оставались у него за спиной. От них по узкой строчке асфальтированного шоссе, к месту его вероятного приземления, мчалась грузовая машина, а за ней — продолговатый легковой «ЗИС».

Скорость, с которой снижался Боркун, оказалась слишком большой. Очевидно, он чересчур быстро стал гасить шелковый купол над головой. Острые вершины сосен мчались навстречу.

— Ноги еще поломаю, ч-черт! — пробормотал он.

Налетевший порыв ветра пронес его над опушкой леса. Впереди открылась поляна с мелким редким кустарником. Толкнувшись ногами о землю, Боркун упал на бок. Парашют проволок его несколько метров по земле. Сильными руками он быстро подтащил к себе угасающий шелковый купол, выдернул рычажок замка, освобождаясь от лямок. Парашют, сникший и покорный, обессиленно лег на сыроватую землю.

Боркун вскочил, испытывая боль в ступнях от толчка о землю. От шоссе с автоматами наперевес к нему бежали красноармейцы.

Он достал платок, отер с лица обильный пот и, размахивая руками, пошел им навстречу. Ноги ныли после этого напряженного боя, но осенний воздух показался необыкновенно чистым и почему-то слегка солоноватым.

Красноармейцы приблизились, он уже отчетливо различал их лица.

— Стой, руки вверх! — закричал один из них, вырываясь вперед.

Боркун насмешливо скользнул глазами по его худощавому лицу, с острыми, туго обтянутыми кожей скулами:

— Погодь, не шуми-ка, резвый. Я все-таки свой.

Красноармеец остановился, поднял автомат дулом кверху, успокоенным голосом крикнул своим товарищам:

— Ребята! Это наш. С «ястребка».

Они окружили его, и Боркун, увидев разгоряченные от бега и волнения юношеские лица, только теперь почувствовал, что он на земле, что он выстоял, остался живым после тяжелого, много раз сулившего смерть боя. И это ощущение жизни, победившей смерть, одарило его огромной радостью. Улыбка пробилась на посеревшем от усталости лице.

Василий чувствовал на себе восторженные взгляды.

— Воды бы, — попросил он хрипло.

И сейчас же отыскалась алюминиевая фляга. Вода звонко булькала внутри. Василий припал сухими жаркими губами к горловине. Жадно глотая холодную с привкусом хлора воду, он не заметил, как отскочили от него в стороны и враз подобрались красноармейцы.

— Эй, хлопцы, кто там, заберите посудину! Спасибо, — сказал он повеселевшим голосом и внезапно осекся.

Прямо перед ним стоял крепко сбитый человек, с зелеными глазами. Из-под лакированного козырька фураж-

ки с витым золоченым шнуром выбивались на лоб курчавые волосы. Боркун увидел на бархатных петлицах генеральские звездочки, и рука с флягой оторопело упала. Он узнал командующего авиацией фронта Комарова.

— Ты дрался? — тяжело дыша от быстрой ходьбы, выпалил генерал.

Боркун улыбнулся, и подброшенная порывистым движением ладонь застыла у его правого виска. Он возбужденно отрапортовал:

— Товарищ командующий! Командир второй эскадрильи девяносто пятого истребительного полка майор Боркун вел бой со звеном «юнкерсов». Одного сбил, второго таранил винтом, третьего плоскостью. В бою потерял самолет, сам жив.

— Из девяносто пятого! Демидовец! — громко выкрикнул генерал. — Сто лет будешь жить, раз из такого переплета выкрутился.

Крепкими руками генерал обхватил его, широкого и мешковатого, прижал к себе. Пахнущие одеколоном губы Комарова трижды коснулись его лица.

— Спасибо, майор. Ты герой, майор. Настоящий Герой Советского Союза!

☆☆☆☆

Майор Стукалов сидел в большом светлом кабинете начальника отдела фронта, положив ладони на острые коленки. На его носу, оседланном роговыми очками, блестели мелкие капельки пота. Стукалов давно уже доложил все свои соображения по поводу командира эскадрильи Боркуна, а генерал-майор Булатников продолжал молчать и, тяжело дыша, в четвертый, не то в пятый раз перечитывал его докладную.

Грубые короткие пальцы Булатникова, поросшие рыжими волосками, вдруг напомнили Стукалову чьи-то знакомые пальцы, и он мучительно долго ворошил свою память, стараясь уточнить чьи. «Вспомнил, — сказал он себе наконец. — Совсем как у старшины Лаврухина».

Прищуренными подслеповатыми глазами Стукалов продолжал смотреть на начальника, настороженно ждал. А Булатников медлил. Лист бумаги, исписанный каллиграфическим почерком, дрожал в его руке. Простое грубовато-красное лицо было непроницаемым, крупные

губы медленно шевелились. Щеки со склеротическими прожилками и гладко выбритый, будто отполированный, череп придавали Булатникову выражение строгости.

Все в генерале было массивно. И огромные тяжелые руки, и плечи, некрасивый хрящеватый нос. Со слов своих коллег Стукалов знал, что генерал прожил суровую молодость. В девятьсот пятом году мальчишкой дрался на питерских баррикадах, а с семнадцатого бессменно служил в органах госбезопасности. У него за плечами были и годы военного коммунизма, и погоня за бандами басмачей, и опасные поиски маститых бандитов в годы нэпа, и расследования темных кулацких дел во время коллективизации. Говорили, будто Булатников работал у самого Дзержинского. Но от него самого, немного сурового и замкнутого, мало кто слышал об этом.

Стукалов молчал, и Булатников медлил. Большие кабинетные часы, стоявшие в полутемном углу, гулко отбили полчаса. Генерал из-под очков посмотрел на них, будто только и ждал, когда они это сделают. Лист бумаги упал из его руки на полированную поверхность письменного стола.

— Я прочитал ваш рапорт, товарищ майор, — сказал он громко.

— Да, товарищ генерал, — откликнулся Стукалов и снял с коленок мокрые от пота ладони.

— У меня разные по своей подготовке и опыту подчиненные, и выполняют они разные задания, — продолжал генерал уже тише, голосом чуть хрипловатым и ровным. — Вот на прошлой неделе капитан Крупенников, это наш молодой оперативный работник, из морской пехоты пришел, так он прямехонько ко мне в кабинет приволок этакого тщедушного вида гражданина. С крыши снял, когда тот фашистским самолетам сигналы из ракетницы подавал. «Познакомились», и оказался этот тип гитлеровским шпионом с десятилетним стажем. К ордену я капитана Крупенникова представил. А позавчера два наших лейтенанта прилетели на самолете из-за линии фронта. Весьма опасного предателя в партизанском отряде обезвредили. Долго за ним охотились. И спасибо: если бы не они, целый партизанский отряд был бы выдан гитлеровцам. А еще есть такие работники у меня, — генерал снял очки и повертел их в руке. — Служат они в батальонах и полках, едят с бойцами и командирами один и тот же солдатский хлеб, в атаку на врага,

бывает, вместе с ними ходят. И, позволю себе заметить, командиры и политработники всегда у них первые друзья и советчики.

— У меня тоже так, — поспешил вставить Стукалов, — но крайние обстоятельства...

— Что «крайние обстоятельства»? — неожиданно грубо и требовательно остановил его Булатников. — Крайние обстоятельства заставили написать вот этот рапорт?

— Да, товарищ генерал.

— Взять под сомнение советского командира, лично сбившего свыше десяти вражеских самолетов?

— Но исключительные обстоятельства, товарищ генерал.

— Какие? Сформулируйте их.

Стукалов привскочил и тотчас схватился руками за подлокотники, словно силясь удержать себя в кресле.

— Жена за линией фронта, товарищ генерал. Выступала по фашистскому радио в концерте так называемой «местной интеллигенции». Сам видел, как майор Боркун, случайно поймав передачу, запретил летчикам выключать приемник, чем нарушил известный вам закон. А потом убежал и плакал. Понимаете: пла-кал!

— Что же ему, танцевать надо было, что ли? — хмыкнул Булатников. — Значит, любил ее, если плакал.

— Да, но плакал по женщине, продавшейся фашистам.

Булатников тряхнул большой лысой головой, будто хотел боднуть кого-то. Лоб его взбугрился от складок. Решительно, но негромко он хлопнул ладонью по столу.

— Хорошо. Предположим, что это так. Но значит ли это, что и майор Боркун предатель?

— Я этого не утверждаю, товарищ генерал, — поспешно закивал головой Стукалов и даже улыбнулся сдавленной напряженной улыбкой, — никак нет, товарищ генерал. Но осторожность... безопасность... Разве они нам не диктуют решение?

— Какое именно?

— Отстранить на время майора Боркуна от летной работы. — Стукалов вновь положил ладони на свои острые коленки и сощурился. — Сами понимаете, товарищ генерал, а вдруг он, как это у них, летчиков, принято говорить, «заложит вираж» да и окажется за линией фронта. Вот и подавай тогда Ляпкина-Тяпкина. Разве

можно полностью доверять человеку, если его жена за линией фронта служит у гитлеровцев...

— Человеку, сбившему одиннадцать вражеских самолетов, рисковавшему жизнью за Родину, — насмешливо подсказал Булатников и тоже прищурился.

— Человеку, у которого жена за линией фронта, — упрямо повторил Стукалов.

Генерал повернул к окну голову и к чему-то прислушался. Чуткое ухо его уловило клекот пулеметных очередей и размеренное гудение моторов. В этот тяжелый, медлительного ритма гул вплетался голос другого мотора, звонкий, временами даже пронзительный.

— Идут два-три «юнкерса», а между ними один «як», — уверенно сказал генерал, — как бы по штабу не отбомбились. — И спокойно провел рукой по выбритой голове.

В гул моторов внезапным диссонансом ворвался угрюмый, нарастающий звук, переходящий в вопль.

— Кого-то подбили, — проговорил Булатников. — Похоже, «юнкерса».

Он встал из-за широкого письменного стола и, неторопливо ступая по паркету легкими хромовыми сапогами, прошелся от двери до окна. Посредине комнаты остановился, круто, с хрустом повернулся на каблуках.

— Стало быть, вы, майор, полагаете, что нужно брать под сомнение каждого человека, у которого кто-то попал на временно оккупированную противником территорию? Нет, не согласен. Ваша доктрина опасная и неверная. Настолько же неверная, насколько и опасная. Я редко об этом говорю, но сейчас должен сказать: ваш покорный слуга много лет назад работал у Феликса Эдмундовича. Лучшего чекиста у нас не было и нет. А время тогда было ой какое горячее. Говоря словами Маяковского, «с пулей встань, с винтовкой ложись». Недобитые буржуи, жулики, бандиты, иностранные шпионы. Полный ассортимент преступников. Но и тогда учил нас Дзержинский мудрому правилу: доверяй и проверяй. И проверка не должна иметь ничего общего с подозрительностью. Кто видит в каждом гражданине молодой Советской республики потенциального преступника, того надо жестоко карать. А какой метод предложили вы? По-вашему, мы должны взять под сомнение всех советских людей, у которых за линией фронта мужья, братья, жены и сестры?

Да вы подумали, к какому чудовищному выводу можно этак прийти!

Булатников сцепил большие жилистые ладони, горько вздохнул и продолжал, глядя не на Стукалова, а куда-то поверх его головы:

— Вы еще сравнительно молодой человек, майор. Когда вы, что называется, под стол пешком ходили, я уже работал в ЧК. Голодные мы были, раздетые, да что греха таить, и малограмотные к тому же. А сердца горели великим пламенем. Вы не подумайте, что это из передовицы какой. Именно великим пламенем. За революцию каждый готов был любой океан перейти. А врагов сколько было вокруг! Ой как трудно порой друга от врага отличить, Стукалов! Но и тогда мы умели это делать. Ясно? А вы сейчас, на двадцать четвертом году существования нашей Советской страны, готовы подозревать каждого, у кого кто-то из родственников оказался в городе, временно захваченном фашистами... Вы еще анкету на каждого из них, чего доброго, заведете.

Стукалов нерешительно поднял на генерала глаза:

— А разве... разве это нецелесообразно?

Булатников снова тряхнул бритой головой, усмехнулся:

— Сколько лет вы работаете в военной прокуратуре?

— С тысяча девятьсот тридцать седьмого года.

— И все время так относитесь к людям?

— Я вас не понимаю, товарищ генерал.

— Вот так, с подозрением?

Стукалов сжал тонкие губы, веко его нервно дернулось.

— Я запомнил тезис, товарищ генерал, — «доверять и проверять».

— Проверять, но не подозревать, — еще раз уточнил Булатников, — и не заводить с такой поспешностью дела на людей, подобных майору Боркуну.

Стукалов ладонью ударил себя по коленке. «Все это стариковская наивность, — подумал он о Булатникове. — Сейчас надо не теми методами работать, что во времена ВЧК».

Он ехидно прищурил левый глаз.

— А если майор Боркун все-таки перелетит за линию фронта к своей жене? Что тогда, товарищ генерал?

— Перелетит? — басовито переспросил Булатников.

Он пошевелил полными красными губами, намереваясь что-то прибавить, но резкий телефонный звонок отвлек его внимание. Рука генерала потянулась к трубке.

— Да. Я. Слушаю. Это ты, Комаров? Чего хотел, старина? Вездеход? Бери, пожалуйста. А зачем? Обломки сбитого самолета посмотреть? Какого, нашего? Что ты говоришь! Один с тремя «юнкерсами» дрался? А как сам? Жив? Кто же это такой, разреши полюбопытствовать? Майор Боркун? Подожди, подожди. — Лохматые брови Булатникова слетелись над его рыхлым носом. — Боркун Василий Николаевич, командир второй эскадрильи девяносто пятого истребительного? Так, что ли? Откуда, спрашиваешь, знаю? Из одного документа знаю, Комаров. Скажем прямо, не из чистоплотного документа. Его на Героя? Правильно сделаешь, дорогой!

Булатников опустил трубку, и лицо его стало медленно наливаться кровью. Сильно оттолкнувшись от края стола ладонями, он встал и, как красноармеец перед вечерней поверкой, начал расправлять складки на гимнастерке. Стукалов понял — эта старательность понадобилась генералу, чтобы скрыть бешенство. Бледнея, поднялся и Стукалов. Каждым нервом чувствуя, что сейчас произойдет что-то непоправимое, страшное, чего еще никогда не случалось в его жизни, он вытянулся, омертвело стукнул каблуками. Свирепо набычив голову на короткой шее, Булатников шагнул к нему. Остановился, шагнул снова, сверля глазами сразу поблекшего и осунувшегося майора. Стукалову померещилось, что он чувствует на своей щеке дыхание генерала. Правая рука Булатникова сжалась в огромный кулак. В эту минуту совсем низко над зданием штаба воздух расколол оглушительный рев авиационного мотора. И сразу оборвалось напряжение. Генерал посмотрел в окно на удаляющийся силуэт истребителя, успокаиваясь, вздохнул.

— Только что майор Боркун сбил три «юнкерса». Что скажете вы на это, майор Стукалов? Отвечайте.

Стукалов чужими посиневшими губами глотнул напитанный табаком кабинетный воздух, попятился.

— Товарищ генерал... виноват... Я не умышленно. Ошибка... Но у меня есть и другое дело по девяносто пятому полку. Там все выверено и взвешено. Речь идет о потенциальном дезертире.

— Эх вы, потенциальный Шерлок Холмс! — оборвал его Булатников. — Человек трех «юнкерсов» сбил, жизни

не жалеет за Родину, а вы его в политически неблагонадежные...

— Ошибка, товарищ генерал, я учту, — залепетал Стукалов.

Но Булатников не дал ему договорить, шагнул навстречу, огромный, багровый, и сказал удивительно спокойным, ровным голосом:

— Вон! Убирайтесь немедленно вон!

☆☆☆☆

Полуторка тряско мчалась от штаба фронта к аэродрому. Ржаво скрипели тормоза. Временами в кабину врывались облака прогорклых бензиновых паров. Бледный, с закрытыми глазами сидел рядом с водителем майор Стукалов. Планшетка жалко подпрыгивала на его коленях. Никогда еще не чувствовал он себя так плохо. Кололо сердце, в ушах звенела кровь. Но, собирая последние силы, Стукалов напряженно думал:

«Нет, не сдаваться. Только не сдаваться. Старик отходчив. Еще смилуется. Надо ему поубедительнее подать дело с листовкой. В нем все неоспоримо! Эх, Челноков, Челноков, полковой рифмоплет! Только ты можешь меня спасти...» С трудом заставив себя успокоиться, он, наперекор всем предчувствиям, сказал себе: «Нет, Евгений Семенович, ты еще на коне. Только крепче держись за гриву, и все будет в порядке. Надо поскорее о нем справиться — о своем подопечном Челнокове. Как только приеду — позвоню Демидову».

☆☆☆☆

Демидов стоял за узким невзрачным штабным столом и с холодным бешенством в темных глазах смотрел на лейтенанта Воронова. Рябинки вздрагивали на выбритых до синевы щеках. Острый кадык распирал горло. Все, кто только находился в землянке: летчики, техники, Румянцев и Петельников, — стояли, как и командир полка, в положении «смирно». И лишь один из них, Воронов, жалкий, поникший, неловко двигал локтями, комкая с силой коричневый шлемофон. Рыжие вихры прилипали к усеянному веснушками лбу. Глаза его стыли

от ужаса. Он нерешительно вскидывал их на командира, Румянцева, товарищей и тотчас же опускал.

— Значит, ушел наверх, к Красильникову, на подмогу? — с издевкой спрашивал уже в третий раз Демидов.

Гибкие и сильные пальцы Воронова с таким остервенением вплетались в меховую обшивку шлемофона, словно разорвать ее хотели. Обороняясь, он с тоскливой неуверенностью повторял:

— Ушел, товарищ полковник. По приказанию командира ушел. Мы сбили двух «мессеров» из четверки прикрытия.

— А командир? — яростно прервал его Демидов. — Майор Боркун где?

— Погнался за «юнкерсами».

— Погнался! А кто его хвост должен был прикрыть?

— Его ведомый. Я, то есть.

Демидов кулаком стукнул по столу так, что все стоявшее на нем: чернильница, стаканчик с карандашами, стакан с недопитым чаем — запрыгало, зазвенело, задрожало.

— Что вы мне тут разъякались! Первоклассник и тот знает, что «я» — последняя буква в алфавите. А вы... вы последний летчик в моем полку, если посмели бросить в бою своего командира.

— Но ведь он же сам приказал, — Воронов поднял на Демидова растерянные глаза и, стараясь подавить рыдания, мелко-мелко заморгал. Острый его подбородок вздрагивал. — Я приказ выполнял, товарищ полковник.

— Приказ, приказ, — горько повторил за ним Демидов, — один для всех нас в воздухе есть приказ. Ведомый — это защита ведущего. Понятно? Мало ли что взбредет в голову вашему комэску. Ищите теперь его!

Демидов опустился на стул, подпер ладонями подбородок. Телефон, связывающий штаб с командующим авиацией фронта, настойчиво зазвонил. Демидов вяло потянулся за трубкой. В каждом его движении сквозила подавленность.

— Слушаю вас, товарищ генерал. Что у меня нового? Ничего отрадного. В полку большое несчастье. Из боя не возвратился командир второй эскадрильи майор Боркун. Да, да, Василий Боркун. Подождать у трубки? Подожду, — тем же бесцветным голосом продолжал Демидов.

В эфире чуть-чуть потрескивало, доносилось еле слышное радио. И вдруг оттуда, словно со дна морского, прозвучал радостный басовитый голос, знакомый всему полку:

— Батя, это я! Батя, у меня все в порядке. Сбил три «юнкерса», а сам жив и здрав. Завтра буду дома — ждите.

— Боркун, Вася! — не выдержал Демидов.

— Я самый, — прогудело в трубке. — Все в порядке, товарищ командир. Прошу, не ругайте сильно Воронова. Это я ему приказал идти на выручку Красильникову. Как там они? Все вернулись?

— Все, Боркун, — обрадованно ответил Демидов. — Все как один. А ты давай поскорее в полк!

— До свидания, товарищ командир, — донеслось из трубки. — Сейчас с вами генерал будет говорить.

Никто из летчиков не успел еще ни одним восклицанием откликнуться на радостную новость, как в трубке раздался веселый голос Комарова:

— Выше голову, Демидыч. Какого орла воспитал, а? Ты еще ничего не знаешь.

— Ровным счетом, — подтвердил Демидов.

— Боркун один атаковал целое звено «юнкерсов». Одного сбил. Двоих таранил. Это первый случай за всю войну, чтобы один летчик уничтожил целое звено. Командующий фронтом лично повез реляцию в Кремль. К Герою твоего орла представили. Вот как!

Демидов с минуту держал в руке умолкнувшую телефонную трубку, потом отбросил ее в сторону. Усмешливо посмотрел на приободрившегося Воронова.

— Что, разбойник, слышал? Счастье твое, что Боркун отыскался, не то получил бы у меня по первое число.

Полковник сияющими глазами обвел присутствующих. Хотел по установившейся традиции вызвать командира БАО Меньшикова и заказать торт к возвращению Боркуна, но внезапный треск выстрелов прервал всеобщую радость. Гул моторов и резкие, рвущие стылое вечернее небо выстрелы сразу же погасили улыбки.

Султан-хан первым взбежал по ступенькам землянки и осторожно приоткрыл дощатую дверь.

— Шайтан меня забери! — закричал он. — «Сто десятые» штурмуют аэродром. По самым стоянкам лупят.

Летчики и техники хлынули к выходу, но тотчас были остановлены грозным голосом Демидова.

— Смир-рно! Всем оставаться на месте, — свирепо выкрикнул он. — Вы что? Хотите, чтобы из нашей землянки братскую могилу сделали? Не демаскировать. Я сам погляжу.

Он быстро застегнул меховую куртку и пошел к выходу. Летчики и техники молча расступились. Командир полка оттеснил от выхода Султан-хана и в приоткрытую дверь выглянул на аэродром. Над далекой зыбкой линией леса синели сумерки. Разрезая их винтами, в крутом пикировании мчалась прямо к землянке пара молочно-белых «Мессершмиттов-110». Демидов увидел, как от плоскостей, перечеркнутых черными крестами, отделились черные точки бомб и заскользили к земле. Бомбы мелкого калибра, буравя землю, лопались с оглушающей силой. Над землянкой просвистели осколки. «Мессершмитты» вышли из пикирования и стали разворачиваться для повторного захода. Совсем близко от капонира, где под наброшенными сетями стоял «як» майора Жернакова, полыхнуло ярко-красное облако огня. Легкий треск сопровождал его появление.

— Зажигалок понабросал, сволочь! — догадался Демидов.

С тонким свистом оба «мессера» прошли второй раз над лесной опушкой, вдоль которой стояло семь машин, недавно вернувшихся из боя и еще не заведенных в капониры. И снова на стоянки полетели черные комочки зажигалок.

— Ах, подлецы, — заскрипел зубами Демидов, видя, что зажигалки упадут в непосредственной близости от самолетов, — пожгут... машины наши пожгут.

Кто-то оттолкнул полковника плечом. Демидов быстро оглянулся. Большие разгневанные глаза Султан-хана вперились в него:

— Товарищ командир, я сейчас!

— Куда?! — заревел Демидов.

— Тушить.

— На место, майор. Ты в воздухе мне нужнее! — Демидов широкой грудью заслонил просвет, оставив за собой Султан-хана. Увидел, как шмякнулись рядом с ближним истребителем две маленькие зажигалки. Зловеще попыхивая струйками дыма, темнели они на осенней земле. «Сейчас полыхнут, взорвутся!» — с ужасом подумал Демидов.

И вдруг он увидел, как из щели, что была вырыта

на опушке леса, выскочила невысокая черная фигура и метнулась к стоянке. Что-то знакомое сразу уловил он в узких сутулых плечах и откинутой назад голове бегущего моториста. В несколько прыжков моторист достиг стоянки и одну за другой откинул от самолета обе бомбы. Затем он пробежал еще несколько метров вдоль стоянки, откинул третью зажигалку от самого дальнего истребителя. И тотчас плашмя упал на землю. С сухим треском бомбы разорвались в стороне от машин. Огненные столбы заметались на ровной аэродромной земле.

— Ай, шайтан меня забери! — выкрикнул за спиной у Демидова Султан-хан. — Вот отчаянный хлопец, а? Командир, кто это?

Демидов не ответил. Черная фигурка моториста — он теперь отлично ее узнал — бежала от стоянок к опушке леса, в укрытие. Нарастающий свист моторов снова поплыл над аэродромом. Это «мессершмитты» делали еще один заход. Ведущий фашист спикировал. Сухая длинная очередь бичом ударила по земле. У самых ног бегущего забились султанчики пыли. И вдруг черная фигурка остановилась. Нелепо взмахнув руками, человек схватился за грудь и начал медленно оседать. Колени его подогнулись. Казалось, он вот-вот упадет. Но, пересилив боль, моторист внезапно выпрямился. Запрокинув голову в низкое предвечернее небо, он несколько секунд смотрел в сторону удалявшихся «мессершмиттов» и только потом молча, без стона, рухнул на землю. Демидов рывком отшвырнул от себя взвизгнувшую на железной пружине дверь и выскочил из землянки.

— Командир, куда? — вслед ему крикнул Султан-хан, но полковник даже не оглянулся. Он бежал к тому месту, где только что упал моторист. Ветер свистел в ушах, в остывшем осеннем воздухе, удаляясь, выли моторы «мессершмиттов» — видимо, фашистские самолеты легли на обратный курс. Но если бы они сейчас даже и возвратились и стали бы разворачиваться для нового захода, все равно Демидов бежал бы вперед, потрясенный тем, что увидел, позабыв о том, что он, командир полка, не мог, не имел права так безрассудно собою рисковать, бежал бы к тому, кто упал на прихваченную заморозком подмосковную землю...

Потом он остановился и посмотрел на скошенного пулеметной очередью человека. Тот лежал, свернувшись

калачиком, и от обгоревшей гимнастерки, забрызганной грязью и кровью, исходил запах чего-то жесткого, металлического. Демидов повернул упавшего навзничь, вгляделся в лицо с еще не закрывшимися глазами. Он увидел в этих глазах и низкое небо, подернутое проплывающими облаками, и березку, машущую голой верхушкой, словно подбитым крылом, и даже свое суровое лицо.

— Челноков... Челноков... Аркаша!

Посиневшие губы раненого слабо пошевелились.

— Товарищ командир... Не добежал... — хрипло произнес он.

Откинулся на сильные руки Демидова, тихо и спокойно вздохнул и вытянулся, стынущий, недвижимый. Демидов с минуту держал его на руках, потом опустил на холодную, примороженную землю.

— Прощай, мальчик, прощай,— сдавленно проговорил командир полка. — Хорошие ты стихи написал на могилу Саши Хатнянского... А вот на твою могилу никто уже не напишет.

Демидов добрел до землянки, спустился вниз. Ноги отчего-то стали тяжелыми, гудела голова. Он обхватил ее ладонями и сел за стол.

— Спас, — тихо произнес над его ухом комиссар Румянцев. — Шесть боевых машин спас. Не он — полыхать бы им одним костром.

Демидов не ответил. Молчал, продолжая оцепенело смотреть на бревенчатый сруб землянки. Он не сразу понял, что надо делать, когда лейтенант Ипатьев протянул телефонную трубку. Взяв ее в руки, он вдруг увидел, что глаза Румянцева покраснели от слез. Батальонный комиссар вынул из кармана широкий платок и стал гулко сморкаться. Отвернулся к окошку инженер Стогов, будто ему потребовалось срочно увидеть что-то на аэродроме.

— Да, слушаю, — безучастно сказал Демидов в черную трубку.— Что?

— Я по поводу красноармейца Челнокова, — отчеканил на другом конце провода майор Стукалов.

— Вы всегда как нельзя вовремя, — ответил Демидов без усмешки.

— Что поделать, — настойчиво продолжал Стукалов, — дело с фашистской листовкой, найденной у вашего моториста, надо доводить до конца. Я должен сегодня же поговорить с Челноковым.

— Нет... нельзя, — глухо ответил Демидов.

— Нельзя? Почему нельзя? — с неподдельным удивлением переспросил Стукалов.

— Нельзя с ним встретиться, — трудно выговорил полковник. — Его уже нет среди нас.

— Сбежал? — обрадованно вскричал Стукалов.

Демидов стиснул трубку.

— Нет, не сбежал. Тушил зажигалки, сброшенные «мессершмиттами» на стоянку, и погиб... Погиб как герой.

И телефонная трубка замолчала.

☆☆☆☆

Под утро сон летчиков был настолько крепким, что его не прервал ни легкий шум, возникший около столика дневального, ни голос самого дневального, изумленный и восторженный в одно и то же время.

— Товарищ майор, никак вы!

— Тише, тише, Левчуков, — послышался приглушенный ответ, — людей побудишь.

Вошедший разделся и бесшумно лег на пустую койку. А утром, едва только затрещал электрический звонок, сигналящий «Подъем», и в комнате вспыхнул свет, все вскочили от оглушительного веселого выкрика Коли Воронова:

— Ребята, майор Боркун вернулся!

Одеяла и простыни, как по команде, полетели вверх. С коек повскакали летчики, окружили комэска. Боркун, голый по пояс, только что пришел из умывальной и до красноты растирал полотенцем свое крепкое тело.

— Ну чего расшумелся, рыжий, — добродушно осадил он Воронова. — Доспать хлопцам не дал.

Одеваясь, он рассказывал однополчанам о вчерашнем воздушном бое. И здесь, и в столовой во время завтрака не было отбоя от расспросов. Василий отвечал, посасывая черную трубку с «чертом», и, когда не хватало слов, принимался жестикулировать, чтобы получше изобразить детали боя. Только на командном пункте, куда старая полуторка доставила их из столовой, невозмутимость покинула его. Едва он спустился вниз и попал в полосу блеклого электрического света, лейтенант Ипатьев, обращаясь ко всем, развернул свежую «Правду».

— Товарищи! Читайте! Василию Николаевичу присвоено звание Героя Советского Союза.

Боркун крякнул и растерянно опустился на табуретку. Он с недоумением разглядывал большой портрет, напечатанный на второй полосе, словно не узнавал себя. А Румянцев читал короткую корреспонденцию, помещенную под этим снимком. «Портрет? Откуда они взяли портрет?» — думал Боркун, как будто ответить на этот вопрос было сейчас самым главным. И когда все бросились его тискать и обнимать, он вспомнил, что в штабе фронта его щелкнул «лейкой» какой-то молоденький лейтенант. Боркун достал носовой платок и поднес к глазам, хотя в них не было ни единой слезинки, — просто ему понадобилось куда-то деть свои большие руки.

— Спасибо, братцы, спасибо! — прошептал он растроганно.

А уже трещали телефоны, и его поминутно вызывали из других полков и совершенно незнакомые летчики, и те, с кем когда-либо он или на аэродромной стоянке, или в столовой успел перебросится двумя-тремя словами. Султан-хан смотрел на него черными глазами, цокая языком:

— Ай, молодец джигит! Ай, душа человек. Тебе — слава, полку — слава!

Алеша Стрельцов, оттесненный другими, издали любовался комэском.

Побыв несколько минут в кругу этих близких ему, искренних людей, Боркун набил трубку и вместе со своим другом Султан-ханом вышел из землянки. Промозглый сизый туман стлался над летным полем. В полутьме сновали механики. Под коротенькими плоскостями истребителей шумели лампы подогрева. Взяв Султан-хана под локоть, Василий шагал с ним к редкому березнячку. На опушке глазами отыскал срубленное дерево, предложил:

— Сядем.

— Давай сядем, — охотно согласился Султан-хан.

Сероватая кора дерева была покрыта сырой пленкой. На торце виднелись годовые кольца. Видно, много прожило дерево, прежде чем коснулась его пила дровосека. Боркун достал спички, раскурил трубку. Горьковатый дымок приятно обогрел его.

— Ты как думаешь, — спросил он товарища, — это ведь здорово — получить Героя, а?

— Еще бы! — с заблестевшими глазами ответил горец и повторил: — Тебе — слава, полку — слава. Первый Герой полка!

— Положим, первый не я, — возразил Боркун.

— Вай! Зачем так говоришь? — воскликнул горец, предчувствуя, о чем пойдет речь.

Но Боркун вынул изо рта трубку, усмешливо повторил:

— Сказано, не я. Ты первый герой полка. Ты их уже двадцать нащелкал, а я только четырнадцать. Думаешь, почему мне первому дали звание? Потому что сбил я эту троицу в одном бою, под Москвой, когда фашисты у самой столицы и стойкость у наших людей надо поднимать. Думаешь, везде летуны так удачливо воюют, как у нашего бати Демидова? Какое там! Есть полки, где и потерь в три раза больше, и стойкости меньше. Так что звание я получил первым, но первый герой полка ты. Все летчики у тебя хитрости и тактике учатся.

— А ты совсем, совсем дагестанский барашек.. Вай! — ухмыльнулся горец. — Ну зачем чепуху говоришь? Троих в одном бою положить — это что?

Султан-хан хлопнул его по плечу рукой в черной перчатке и тотчас сморщился.

— Что? Болит? — неприязненно посмотрел на кожаную перчатку Боркун.

— Болит, — подтвердил Султан-хан.

— И черт тебя знает! — ругнулся Боркун. — Какой-то ожог паршивый, а ты с ним чуть ли не полгода цацкаешься. Москва же рядом. Попросился бы у бати, он бы тебя к какому-нибудь самому знаменитому профессору отпустил.

— Да был я уже у профессора... — вздохнул горец.

Они молчали, курили. Две струйки дыма растворялись в безветренном мглистом воздухе над их головами. Султан-хан вновь задумался о себе. Нет, не ошибся тогда старый профессор в Вязьме. С каждым днем все более грозно проявлялась эта тяжелая болезнь. По ночам Султан-хан просыпался от частых толчков сердца. Ощущал томительное головокружение и неотступную слабость. Однажды это вспыхнуло в полете, и Султан-хан внезапно почувствовал себя беспомощным и одиноким. Он уже подводил машину к земле, когда правая рука стала бессильной и омертвело толкала ручку управления под напором плеча. Он вылез тогда из кабины бледный, вспо-

тевший. Идя на командный пункт, думал: «Может, пойти в санчасть, показаться врачам, рассказать обо всем комиссару Румянцеву?» Но тотчас же оборвал себя другой мыслью: «Трус! Зачем тебе это надо? Чтобы тебя отослали в глубокий тыл и ты угасал там медленной смертью вдали от товарищей? Чтобы каждый из них мог подумать: а не дезертировал ли ты умышленно? Нет, ни за что! Надо быть здесь, в борьбе, бок о бок с товарищами, быть до последнего дыхания». И сейчас, докуривая папиросу, чувствуя рядом могучее плечо Василия, он говорил себе: «Ведь жизнь дана человеку, чтобы строить и украшать землю, чтобы делать радостнее бытие. Рано или поздно на смену жизни приходит смерть. Но разве способна она затоптать, навсегда похоронить все хорошее, что сделал человек? Вздор! Вот умрет, например, он, но никогда не забудут Боркун, товарищи и будущие летчики их девяносто пятого полка, что служил здесь майор Султан-хан, сбивший в горестном сорок первом году двадцать вражеских самолетов. А разве скоро забудут его в далеком родном ауле? Значит, никаких отступлений, только вперед!»

— Слушай, Вася,— сказал он Боркуну с усмешкой,— давай уговор иметь. Если меня фрицы на тот свет отправят, ты за гробом ордена понесешь.

— Да брось ты! — весело перебил Боркун. — И чего она тебе далась, эта смерть? Который уж раз о ней говоришь!

— Нет, я серьезно, — сказал горец. — Ордена понесешь и еще на поминках спиртяги граммов триста выпьешь. Чистого, неразбавленного. Вот Алешку, своего ведомого, об этом не попрошу. Он и от ста будет в стельку!

— Да пошел ты! — энергично отмахнулся Боркун. — Давай лучше я за тебя за живого пятьсот выпью. А сейчас поднимайся — пора на КП.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Румянцева сильно радовало, что их полк, прикрывая опасный воздушный коридор, выполняя задачу целой дивизии, пока что потерял только один самолет — Боркуна, да и то во время тарана. Батальонный комиссар даже собрал на специальный инструктаж агитаторов и посове-

товал им провести беседы на тему «Воюй не числом, а умением».

— Теперь это не только к Суворову относится, — весело говорил он. — Это и к нашим орлам применимо. Боркун, Султан-хан, Стрельцов — они поступают именно так.

Демидов, мозговавший над картой и одновременно слушавший комиссара, недоверчиво улыбнулся в усы, а после беседы, когда они остались вдвоем, горько сказал:

— Эх, Борис. Оптимист ты — это хорошо. Да только на одном оптимизме далеко не уедешь. Суворову проще было — ни тебе танков, ни авиации.

— Ты это о чем? — спросил Румянцев.

— О числе и умении.

— Так что же? Разве неправда? Только одну машину потеряли.

— Что правда, то правда. Но ты на людей посмотри. До предела измучены. Каждый нерв, как струна. На одной упругости воюют.

— Это верно, командир, — согласился Румянцев.

Они замолчали, и оба подумали, что отсутствием потерь полк обязан не только мужеству и мастерству, но и физической подготовке летчиков, позволяющей им делать по четыре-пять вылетов в день.

Генерал Комаров, поначалу требовавший, чтобы полк выстоял хотя бы десять дней, на вопрос Демидова, когда же ослабнет напряжение, ответил с грустью:

— Еще чуток подожди, Демидыч. Ты же можешь. Я знаю.

И Демидов ждал. Но прозорливыми глазами он видел, как сдают и слабеют люди, как отдуваются они после третьего вылета и какими вялыми становятся их движения, когда они снова забираются в кабину, чтобы совершить четвертый. Знал он и то, что в этом четвертом вылете у них уже не будет той безупречной осмотрительности и того расчетливого азарта, которые необходимы для очередной победы. А воздушный бой дело такое, что вести его с ослабленной осмотрительностью нельзя, никакая техника пилотирования и никакая меткая стрельба тебя не спасут. Зазевался — и получай «мессера» в хвосте, а следом и очередь... Да, устали, порядком устали ребята. Им бы недельку на отдых. Но штаб фронта требует летать, летать и летать.

Немцы продолжали наносить удары малыми и средними группами с разных направлений.

Целей становилось так много, что невозможно было на каждую из них находить противодействие. Линия фронта полукольцом окружила столицу. Были взяты Ясная Поляна, Калинин и Клин, гитлеровцы стояли под самым Химкинским водохранилищем. Но давно уже не было на Западном фронте тех быстрых удачных прорывов и охватов, которые так помогли Гитлеру в первые дни войны. С боями, с огромными потерями брали теперь фашисты каждую деревеньку на переднем крае и нередко сразу же оставляли ее, не выдержав контратаки, оставляли усеянную трупами, брошенными орудиями и танками. Линия фронта коробилась: то острыми уступами врезалась в подмосковную землю там, где противнику удавалось потеснить наши войска, то проваливалась там, где контратаковали части Красной Армии. Гитлер еще надеялся на блицкриг, а Геббельс кричал о том, что к рождеству Москва будет взята. Но солдаты, ночевавшие в сырых окопах переднего края, те солдаты, что, по словам Геббельса, первыми должны были пройти по Красной площади, все реже и реже говорили о взятии Москвы.

В конце октября замелькали в сизом воздухе первые снежинки, осыпали подмосковные леса, усеяли вспаханные под пар поля. Выпал снежок и на аэродроме, и, видя, как хрустко ложится он под ноги, Демидов знающе говорил:

— А что, хлопцы, крепкая идет зима. Чую, что крепкая.

Инженер Стогов недовольно ворчал: техникам достанется, а Румянцев его успокаивал — немцам больше. Рассветы стали длинными и поздними, сумерки ранними и торопливыми. Но и за короткий день летчики демидовского полка успевали по нескольку раз слетать за линию фронта.

В субботу 30 октября из штаба поступил приказ — выделить четверку для прикрытия группы «петляковых», идущей на бомбежку аэродрома Ватутинки.

Демидов наотрез отказался пустить в бой Василия Боркуна, решив дать ему после двойного тарана три дня отдыха; шестерка Жернакова, в которую входил теперь и Коля Воронов, должна была прикрыть на переднем крае атаку стрелкового полка. Поэтому сопровождать «петляковых» выпало Султан-хану, Алексею Стрельцову, Красильникову и Барыбину.

Как и всегда, едва лишь стали известны задания, штабная землянка превратилась в сплошной муравейник.

— Ватутинки! — кричал Воронов. — Алешка, ты идешь на Ватутинки! Да это же рукой подать до аэродрома, где мы с тобой войну начинали, где майор Хатнянский похоронен. А горючки хватит?

— Тише, Вороненок, — отвечал с ленивой неопределенной улыбкой Султан-хан, — о горючке у меня спрашивай. Начальство в бой ведет, начальство знает. На семь лишних минут горючки останется.

— А у нас дело попроще, — сказал Воронов, отмахивая со лба рыжую прядь, — до линии фронта и назад... поболтаемся над полем боя минут тридцать, и точка.

Получив последние указания, Алеша пошел на стоянку. Надо было осмотреть матчасть, принять от механика традиционный рапорт и потом сидеть в тесной кабине «ишачка» в ожидании той секунды, когда зеленая сигнальная ракета прочеркнет низкое, пепельно-серое небо над головой. Шагал он неторопливо — времени до вылета было в достатке. Подходя к самолету, услышал за спиной икающие гудки автомашины. Обернулся. Прямо на него, по траве, прихваченной слюдяной коркой утреннего заморозка, мчалась рыжая «санитарка». Он хотел было посторониться, но машина замедлила ход. Скрипнули тормоза, хлопнула дверца, из кабины выскочила медсестра с зеленой брезентовой сумкой за плечом. Варюша! Алексей остолбенел от удивления.

Растерянный, даже несколько испуганный, он не сразу бросился навстречу. А Варя торопливо, ничего не видя вокруг, бежала к нему. Преодолев смущение, он схватил ее протянутые руки в тонких трикотажных перчатках.

— Варюша, ты? Откуда?

— Вашу Лиду к танкистам перевели, — выпалила она, — муж за ней приезжал... веселый такой парень. Усач, полтовчанин...

— Значит, ты будешь нашей полковой медсестрой?

— Ну да же! А тебе не нравится?

— Да нет... что ты, — смущенно ответил Алеша. — Только расспросами теперь друзья замучат.

Варя обидчиво поджала губы.

Но он шагнул ближе и смело положил руки ей на плечи.

— Значит, вместе, Варюша, — проговорил он, — совсем мы теперь с тобой...

— Что совсем?

— Муж и жена, — счастливо засмеялся Стрельцов. — Давай всем, всем и объявим?

— Нет, подождем, — сказала она и засветилась улыбкой, — пускай лучше все знают, что ты за мной ухаживаешь и я, кроме тебя, никого, никого не признаю!.. А то начнут болтать больше, чем надо, еще тебя охладят.

Алексей молитвенно поднял руки:

— Варюша!

Она взглянула на тупоносый истребитель. Стоя на его плоскости, механик Левчуков осматривал кабину. Варины глаза стали большими и грустными.

— Летишь?

— Через полчаса, Варюша.

— Далеко? — спросила она и тотчас же устыдилась своего вопроса.

— На фронт, — беспечно ответил Стрельцов.

— Береги себя, — она опустила голову, налетевший ветерок колыхнул ее волосы, выбившиеся из-под новенькой меховой шапки. Сказала нерешительно, не поднимая глаз:

— Приходи сегодня ко мне... Я буду одна.

— Приду, Варюша. Обязательно приду, — откликнулся Алеша. — А про вылет не думай. Неопасный он!

Девушка недоверчиво покачала головой:

— Ой, Алешка, чепуху ты говоришь... Сейчас все опасно. Даже вот по аэродрому ходить и то... — Она хотела что-то прибавить, но за спиной Алексея раздался гортанный голос: «Вэдомый».

— Я пойду, — быстро сказала Варя и скользнула по нему счастливыми стыдящимися глазами.

Прерывисто гудя, рыжая «санитарка» помчалась по аэродрому к лесной опушке, где ей была приготовлена стоянка и маскировочная сеть. Алеша обернулся и встретился взглядом с Султан-ханом. В грустных темных глазах горца мелькнуло какое-то ласковое недоумение. Очертив вокруг себя дугу рукой в кожаной перчатке, Султан-хан озадаченно воскликнул:

— Нэт, ты подожди! Командир ничего не знает, а его ведомый девчонку на стоянке лапает, а? Ну и джигит!

— Я не лапал, — решительно возразил Алеша. — Такую лапать нельзя.

— Почэму же?

— Люблю я ее, — глухо сказал Стрельцов, — люблю, и точка. Это я только вам, товарищ командир, признаюсь.

Султан-хан поцокал языком и продолжал пристально рассматривать своего ведомого, словно впервые его увидел.

— Подожди, Алешка. Да ты, я гляжу, настоящим человеком становишься. Говоришь, любишь? А не брешешь? Может, тебя к ней просто на ночь под одеяло потянуло?

Стрельцов сердито тряхнул головой.

— Жив останусь — женюсь на ней.

— Вай, как решитэльно! — воскликнул Султан-хан и снова погрустнел.

Больно кольнула мысль: «Женится, ясно, что женится, если весь светится, когда о ней говорит. А вот тебе, Султан, никогда ни на ком не жениться».

— Молодец, Алешка. Только крепко люби, понял? — вдруг быстро и горячо проговорил он. — На войне грубости и жестокости досыта. Но если ты через войну любовь свою пронесешь, — лучше женщины и жены не сыщешь. Клянусь небесами Дагестана, настоящая будет у тебя жена!

— Товарищ командир, — тихо попросил Алеша, — только вы об этом никому.

— Могила! — ударил себя в грудь Султан-хан. — Еще раз клянусь небесами Дагестана, — он похлопал летчика по плечу и требовательно закончил: — А теперь в кабину!

Алеша быстро занял место в истребителе, пристегнул парашютные лямки. По взлетной полосе, взметая сухую редкую пыль, пробежали шесть истребителей: четыре «яка» и два И-16. Это шестерка майора Жернакова пошла прикрывать атаку стрелкового полка. Алеша глазами проводил «ишачок» своего друга Коли Воронова и мысленно пожелал ему доброго пути... Он счастливо думал о Варе, о предстоящей встрече с ней вечером. И от этого ему показалось, что сигнальную ракету дали гораздо раньше. Он посмотрел на самолетные часы — нет, прошло ровно тридцать минут после взлета жернаковской шестерки.

«Ишачок» послушно отвечал на движение рулей, пока, подпрыгивая, тащился на взлетную полосу, а потом становился правее самолета Султан-хана. Винт мель-

тешил перед глазами. Алеша увидел, как Султан-хан поднял над козырьком своей кабины руку в кожаной перчатке, это означало: пошли!

Машины быстро оторвались от земли и полезли вверх, в пасмурное небо. Майор повел четверку под самой кромкой серой непроницаемой облачности. На высотомере было около двух тысяч метров. В назначенном месте они встретили девятку «петляковых» и, покачав им приветственно плоскостями, пошли чуть повыше, в хвосте у них. Пара Султан-хана держалась левее, а Красильников прикрывал правый фланг. Временами обе пары сходились и расходились над строем бомбардировщиков, меняясь местами. В эти минуты летчики имели бо̀льшую возможность осматривать небо в районе полета. Оно было пустым и мрачным. Белесые тела «петляковых» плыли внизу. Султан-хану они казались тяжелыми и неповоротливыми. Да, впрочем, так и было. Бомбардировщики басовито выли моторами и шли по прямой. Девять самолетов: три звена, три острых клина. Над линией фронта их вяло обстреляли зенитки, и Султан-хан не удивился этому. «Прозевали немцы», — равнодушно подумал он.

В этот пасмурный день у горца было тоскливо на душе. Снова он почувствовал ненужную слабость и опасливо думал, как бы не повторилось то же, что было неделю назад при посадке. Что он сможет сделать тогда? Раза три Султан принимался сжимать и разжимать больную руку, сгибать ее в локте. «Нет, кажется, повинуется», — отвечал он на свои сомнения, но веселее от этого не становилось. Прищурив глаза, он с грустью вспоминал счастливое лицо своего ведомого Стрельцова, его восторженные, бессвязные восклицания о Варе. «Влюбился, чертенок, — думал он, — а я? А Лена?»

В последнее время Султан-хана стала тяготить переписка с далекой, судьбой отброшенной от него на сотни километров Леной Позднышевой. Ее письма были проникнуты неподдельной тоской. По газетной фотографии, опубликованной в «Правде», Лена нарисовала портрет Султан-хана и прислала ему. Майор смотрел на профиль молодого парня в летном шлеме и не узнавал себя. В заостренных решительных чертах худощавого лица сияла такая мужественная красота, что он не выдержал: «Нет, не похож. Милая Лена! Это твоя любовь меня рисовала, а не карандаш».

— Командир, впереди аэродром!

Султан-хан вздрогнул. «Черт возьми, чуть было не прозевал».

— Вижу, — ответил он недовольно, — будьте внимательны. Снимите пушки с предохранителей.

Внизу в окаймлении высоких зеленых сосен виднелось летное поле. Оно было густо усеяно самолетами. На опушках в капонирах стояли двухмоторные бомбардировщики. Капониров явно не хватало, и десятки «юнкерсов» и «хейнкелей» были выведены прямо на рулежные дорожки и на «красную линейку». В центре буквой «Т» сходились две широкие бетонированные полосы, и по ним рулили серые, похожие на саранчу «мессершмитты». Еще секунда, две — и они взлетят. Но «петляковы» были на боевом курсе. Их флагман, видимо, уже скомандовал бомбить, и черные бомбы, отвалившись от плоскостей, со свистом понеслись вниз. Султан-хан, шедший в хвосте колонны, видел, как две бомбы рухнули прямо на белый бетон взлетной полосы, высекли столб пламени и один из «мессершмиттов», начавший разбег перед взлетом, беспомощно опрокинулся на спину. Потом бомбардировщики зашли вторично и высыпали на самолетные стоянки все оставшиеся бомбы. На летном поле заполыхало несколько костров. В небо из средних и малокалиберных установок ожесточенно лупили опомнившиеся зенитчики. Черные разрывы и блестки пламени окружали самолеты, но отважным был ведущий у «петляковых». Когда двухмоторные машины сбросили на цель весь свой бомбовый груз, он приказал снизиться и штурмовать стоянки из пушек. Такой бешеной атаки Султан-хан еще никогда не наблюдал. Сразу воспламенившись от боевого азарта, он буйно крикнул по радио своим ведомым:

— Молодцы, бомберы! А мы что, хуже? Штурмуем!

Истребители тоже снизились и пронеслись над лесной опушкой, обливая свинцом пулеметных и пушечных очередей «юнкерсы», накрытые в капонирах маскировочными сетями.

И вдруг Алеша Стрельцов увидел, что машина его командира выходит из пикирования как-то боком и слишком тяжело набирает высоту. Нет, она не накренилась и не опустила нос, она тянулась вверх, но неестественно тяжело.

— Командир, как мотор? — взволнованно закричал Алеша. Ответ ему пришел не сразу. Глухим, чужим голосом майор приказал:

— Алешка, я подбит... Веди группу!

Алеша не сводил взгляда с маленького зеленого «ишачка». Истребитель продолжал лететь на одной с ним высоте, но в следующую секунду опустил нос, и сразу из патрубков выскочили желтые языки пламени, метнулись к кабине и побежали по плоскостям.

— А-а-а! — закричал Алеша, закричал с таким отчаянием, словно это не Султан-хана, а его самого опаляло пламя. На глазах у Стрельцова зеленый «ишачок» майора расцвел буйным красным цветком, и цветок этот, горевший теперь за пилотской кабиной, становился все ярче и ярче. Алеша не знал, что в ту минуту, задыхаясь от дыма, его командир сорвал со своей правой руки черную перчатку и сунул ее в рот, чтобы унять крик от нечеловеческой боли. Кровь текла у него из рукава, но Султан-хан все еще надеялся удержать машину. «Может быть, еще потяну, а там — выскочить из кабины, бежать, пробираться к своим через линию фронта...»

Сквозь лезущий в глаза въедливый дым он увидел внизу прямо перед собой выстроенные на линейке остекленные «юнкерсы». Самолетов было более десяти. И решение пришло мгновенно, простое и короткое.

— Алешка... В чемодане письма... — успел он крикнуть по радио. — Кинжал — тебе.

— Слышу, — сдавленным голосом отозвался невидимый за дымом и пламенем Стрельцов.

Дым снова лез в лицо, жирными горячими кляксами падало на колени масло. От слабости в глазах мелькали зеленые огоньки. Последним усилием Султан-хан отжал от себя ручку. Она показалась ему непомерно тяжелой, но все же подалась вперед, заставив опуститься нос истребителя. Со свистом пронесся ветер за пилотской кабиной и, кажется, крикнул «прощай» ему, летчику, сбившему двадцать вражеских самолетов, не терпевшему в жизни ни одного поражения. Впрочем, это крикнул Алеша. Да и откуда бы у ветра нашелся голос, способный перекрыть рев смертельно раненного мотора.

Султан-хан сжал тонкие, очень горячие губы и, собрав остаток сил, самому себе приказал:

— Впе-е-е-ред! За Родину! Врете, гады, Султан-хан не сдается смерти!

Остекленные кабины фашистских бомбардировщиков надвинулись на него, рванулись навстречу, увеличиваясь в объеме. Он видел их фюзеляжи и плоскости в закапан-

ном маслом лобовом стекле. Маленькие фигурки в ужасе шарахнулись от самолетной стоянки. На мгновение яркий белый свет встал перед ним, голова наполнилась звоном. Он еще успел подумать: «Почему огонь белый, а не красный?» Дышать стало невыносимо трудно, и голос дедушки Расула ласково произнес: «Спокойнее, мальчик!.. Тебе не будет страшно. Ты джигит, мальчик!»

☆☆☆☆

Алеша Стрельцов быстро освободился от парашюта дрожащими, непослушными руками. Еще никогда они не дрожали так сильно. Он видел, как техник Кокорев ощупывает на крыле его самолета рваные пробоины и качает головой. Алеша перекинул ногу за борт кабины, шагнул к обрезу крыла, спрыгнул. Онемевшие ступни коснулись земли. Он поднял голову и увидел напряженные, ожидающие лица Демидова, Румянцева, Боркуна. Его ни о чем не спрашивали, на него только смотрели. Смотрели со страшной догадкой. И он тоже ничего не сказал. Он вдруг почувствовал себя маленьким и страшно бессильным. Сделав несколько неверных шагов, он упал на деревянный ящик из-под снарядов и забился в глухом судорожном плаче.

☆☆☆☆

Первые дни после гибели Султан-хана Алеша Стрельцов не мог прийти в себя. И днем и ночью преследовало его видение горящего самолета, в ушах все время стоял последний прощальный крик командира. Но не только Стрельцов — весь полк хранил траур. В летном общежитии появился боевой листок с большой фотографией. Из черной рамки глядело худощавое лицо горца с дерзким прищуром глаз.

Как-то Алеша пришел на стоянку и увидел, что моторист Левчуков что-то выводит краской на фюзеляже красильниковского самолета.

— Что это ты рисуешь? — спросил он.

— Надписать Красильников приказал.

Алеша прочел броские слова: «Отомстим за нашего Султан-хана!» «Как же это так, — с досадой подумал

он, — я же первым это должен был сделать», — и, не говоря ни слова, бросился к своему самолету. Вскоре и на нем появилась похожая надпись. Одиночество давило, не давало покоя.

В субботу вечером, поборов тоску, Алеша отправился к Варе. Кто, как не она, мог понять и утешить!

В сумерках Алеша всего лишь раз стукнул в дверь комнаты, где жили медсестры, и в замке сразу нетерпеливо звякнул ключ. В белом халате выросла на пороге Варя, руками обхватила его за плечи. Он увидел похудевшее лицо, выпытывающие глаза.

— Алешка, милый, как я соскучилась!

— Ты какая-то официальная в этом халате, — без улыбки пошутил он.

— Да это я только из санчасти. Подожди, сниму.

— Лучше я, — тихо предложил Алеша.

— Ну, попробуй.

Он неуверенно развязал на ее спине тугой шнурок, потянул халат на себя, выворачивая его наизнанку. Опуская глаза, Варя прошептала:

— Помнишь, как у нас все было тогда... в Москве?

— Помню.

— Пусть у нас и сегодня все так будет. Хорошо?

Он благодарно прижал к себе ее голову. Потом осторожно отвел ее руки.

— Ты сегодня какой-то не такой, Алешка.

— Какой же я?

— Не мой, — сказала она жестко.

Алеша поднял голову и увидел ее серые грустные глаза. У них было замечательное свойство, у этих серых глаз: они никогда не лгали. Они веселились, если Варя была в хорошем настроении, они становились серьезными, когда ей предстояло какое-нибудь трудное дело, они тотчас же затуманивались, если их хозяйка грустила. Это их свойство Алеша заприметил еще тогда, в Москве.

— Прости меня, Варя! — сказал он с болью. — Тяжело мне! Так и стоит перед глазами его горящая машина...

— Не надо! — вскрикнула она. — Не надо об этом страшном ожидании, — и, словно защищаясь, подняла руки: — Вы тогда улетали четверкой, а вернулось вас только трое... Я верю, верю, что ты никогда не будешь тем четвертым! Слышишь, никогда! — Варя прижалась к нему. — И верю, и люблю! По-моему, если человек всего себя, без остатка, посвящает другому, то другой не может

этого не оценить. Вот и у нас — я тебя полюбила, а ты в ответ.

— Неправда! — возразил Алеша.

— Это почему же?

— А потому, что я полюбил первый.

— Отвечай, когда?

— Когда к тебе Стукалов приставать пытался. Ты с той минуты у меня в памяти стоишь. Решительная, смелая, сильная.

— И я тебя с этих минут. Только на одну минуту пораньше, чем ты.

— Варюша, жена моя! — жарко зашептал ей в самое лицо Стрельцов. — Ведь мы поженимся?

— Конечно, поженимся! — Она вдруг замолчала, облизнула сухие губы: — Знаешь, как это будет? — Варя положила голову ему на плечо и громко вздохнула: — Придет когда-нибудь день... Тихий солнечный день, когда людям скажут: слушайте, люди, снимите со своих окон маскировку, забудьте о бомбоубежищах и госпиталях, работайте, учитесь и отдыхайте. Красная Армия разбила врага! Вот тогда я надену свое самое лучшее платье и новые лакированные «лодочки». И голубую косынку... Она мне очень идет, Алеша. А потом мы поедем в Охотный ряд, там у метро всегда торгуют цветами. Мы с тобой всяких накупим: и гладиолусов, и роз, и гвоздики. Даже такси наймем. Обязательно такси! И поедем в загс.

— Чудная ты у меня, — проговорил Алеша, теребя ее светлые мягкие волосы.

— Чудна́я или чу́дная?

— Чу́дная, — поправился он.

— То-то же, — строго согласилась Варя. — И вот мы приедем домой, созовем гостей, я всех своих подруг разыщу.

— А я весь полк притащу, не меньше, — заметил Алеша.

— Ой, да куда же! — встрепенулась Варя. — Не поместимся. А хотя что ж, в тесноте, да не в обиде.

— А после мы с тобой в Сибирь к моей маме поедем. Она у меня добрая, ласковая. Вот увидишь, вы подружитесь. Она тебя выучит пельмени лепить по-нашему, по-сибирски.

— Обязательно поедем! — засмеялась Варя. — И будут у нас дети. Мальчик и девочка. Мальчик лобастый, славный.

— А девочка светловолосая, сероглазая... и ямочки на щеках, совсем как у тебя, Варюша, и длинноножкой она будет такой же. Только знаешь... — Он не договорил. Он снова увидел горящий самолет Султан-хана, увидел стадо «юнкерсов» на чужом аэродроме, взрыв от врезавшегося в них истребителя...

— Что... «знаешь»? — придвигаясь, заглядывая во тьме в его лицо, с тревогой спросила Варя.

— Будет, родная... Все будет, как ты говоришь... если, разумеется, ничего не случится.

— С тобой? — вскричала она. — С тобой ничего не должно случиться. Смерть не может к тебе прикоснуться. — Она вдруг заплакала.

— Эх, Варечек, Варечек! Мне и самому не всегда легко и приятно идти в бой. Иногда с таким оцепенением и усталостью в небо поднимаешься. Да что же поделать! Должен ведь кто-то и в воздухе драться. Иначе на земле никогда не будет так, как ты говоришь, и в загс мы никогда не пойдем, и затемнение в Москве не снимут, Варюша.

...Он заснул в эту ночь первым, а Варя долго сидела над ним, осторожно ворошила его волосы, вглядывалась в этого усталого, бесконечно дорогого ей человека, узнавая его и не узнавая.

☆☆☆☆

На КП было людно. Раскаленная добела «буржуйка» наполняла землянку приятным теплом. Обласканные им летчики сидели в расстегнутых комбинезонах. Демидов, Румянцев и Петельников колдовали над картой района боевых действий. Синий карандаш Петельникова увеличивал количество стрел, направленных на Москву. Над одной из них он написал: «Танковая ударная группировка».

Василий вытянулся, простуженно кашлянул.

— Товарищ полковник, майор Боркун по вашему вызову явился.

Демидов поднял озабоченное лицо.

— Василий Николаевич, нас с комиссаром вызывают в штаб фронта. Вы останетесь за меня руководить полетами. Задача поставлена: через каждые полтора часа посылать восьмерки на этот участок фронта, — ногтем Демидов отчеркнул на карте извилистую, как вопроси-

тельный знак, линию. — Наземные войска обороняют вот этот узел. Сдавать его мы не можем, а немцы прут. Учтите, что Геринг бросил сюда новые силы.

— Наши летчики зверски устали, товарищ командир, — заявил Боркун. — Нужна хотя бы двухдневная передышка.

Демидов строго свел брови:

— Ее пока не будет, Василий Николаевич. Генерал Комаров обещает нас вывести из боя через неделю, не раньше.

— Но мои подчиненные очень устали, — упрямо повторил Боркун.

Румянцев встал и, сузив глаза, посмотрел на комэска. В углах рта у комиссара резче обозначились складки.

— Да, устали, — сочувственно проговорил он. — Но не только наши летчики устали. Весь Западный фронт устал. Вся Родина устала, товарищ Боркун. А кто нам даст передышку? Враг?

Боркун подавленно молчал.

— Поймите, Василий Николаевич, — мягче и тише продолжал комиссар. — Не мне вас агитировать. Вас, героя Великой Отечественной войны. Агитировать, когда решается судьба Родины. Я не сомневаюсь, что у наших летчиков будет передышка. Но пока надо мобилизовать всю волю их и выносливость. Соберите-ка летный состав.

Через несколько минут перед штабной землянкой выстроились летчики. Румянцев знал их всех так хорошо, что, даже закрыв глаза, мог бы представить каждого. Разное успел он прочесть на их лицах за минуту молчания: усталость и грусть, приподнятую бодрость и спокойную уверенность, равнодушие и ожидание. Но ни в одном взгляде не увидел он нерешительности, испуга или отчаяния.

Комиссар поправил ремень и звонко выкрикнул, обращаясь к этим, многое повидавшим за войну людям:

— Демидовцы! Дорогие мои однополчане! Весь фронт говорит о вашей доблести, славе, ибо вы, демидовцы, не щадя жизни, защищаете небо Москвы. Вы защищаете воздушное пространство от врага, превосходящего вас втрое и вчетверо, — это суровая правда. Но разве иссякли ваша сила и ваша ненависть к врагу? А? — Комиссар остановился, перевел дыхание, посмотрел на летчиков. И как из единой груди, вырвалось ему в ответ:

— Не иссякли.

— Враг по-прежнему рвется к Москве, и по-прежнему наша задача — беречь московское небо. Будем стойкими, демидовцы! За плечами у нас Москва, и отступать нам нельзя. Отстоим столицу Родины нашей!

И снова единым дыханием вырвалось решительное:

— Отстоим!

Через полчаса три четверки поднялись с побелевшего летного поля и взяли курс на запад. Боркун проводил их взглядом, а потом сказал Румянцеву:

— Ну и хитрый же вы, товарищ батальонный комиссар. Так с народом поговорили, что даже и тот, кто на самом деле здорово устал, с новыми силами в бой ушел.

☆☆☆☆

Генерал Комаров встретил Демидова и Румянцева с обычным радушием. Но против обыкновения был он небритым, одеколоном от него не пахло и даже носовой платок у него был скомканный. Адъютант принес поднос с чаем и печеньем.

— Пить, и никаких, — распорядился Комаров. — А попутно рассказывайте, как в полку.

Говорил в основном один Демидов. Говорил отрывисто, хмуро. По его словам получалось, что дела в полку пошли гораздо хуже, и он опасается, что летчики станут сдавать, не выдержат.

— Значит, боишься? — угрюмо переспросил Комаров. — А думаешь, я не боюсь? Я знаю, что такое полк. Полк — это пружина, способная разжиматься и сжиматься. Но если пружину сжимать и разжимать до бесконечности, ее звенья в один прекрасный момент могут не выдержать. — Генерал вскочил и зашагал по кабинету, заложив руки за спину.

— Черт знает что, Демидыч! — сердито продолжал он. — Вот ты рассказываешь мне о своих ребятах, а я сам диву даюсь, как это они до сих пор держатся.

Демидов порывисто подался вперед, и глаза его заблестели.

— Товарищ командующий, значит, вы согласны? Дадите отдохнуть?

Комаров досадливо отмахнулся.

— Не перебивай начальство, Демидыч! Да, я с тобою согласен. Но помнишь, я просил — продержись хотя бы неделю, работая своим полком за целую дивизию.

— А разве мы не продержались?

— А ты превзошел все ожидания. Почти месяц держишься! И теперь, в присутствии твоего комиссара, я опять прошу: ребятки, продержитесь еще чуть-чуть. Ну совсем чуть-чуть. Честное слово, скоро выведу вас в резерв, и не на два дня — на два месяца. Дам вам роздых на формирование. А пока стоять. Насмерть стоять, товарищи.

Демидов смотрел на картины, развешанные по стенам генеральского кабинета, и упорно думал, как трудно будет в эти дни подбадривать людей, заставлять их быть безупречно собранными в бою.

Молча, расстроенные, вышли из генеральского кабинета Демидов и Румянцев. И лишь на улице Демидов внезапно сжал локоть комиссара и сказал:

— Послушай, Борис.

— Да, — отозвался Румянцев, удивленный тем, что командир полка обратился к нему по имени: это бывало в редких случаях.

— Хочу я спросить, Борис. Софа у тебя в Москве?

Кровь ударила в лицо Румянцеву.

— Да. В Москве.

Демидов достал папиросу, размял ее.

— А чего же ты не попросишься? Москва, она ведь рядом.

— Как-то неудобно, Сергей Мартынович. Война — и вдруг комиссар просится к жене. Люди что подумают...

— Люди все поймут правильно. На то они и люди.

Демидов выдохнул облако горького дыма.

— Вот что, Борис, — отрубил он грубовато, — на неделю отпустить тебя не могу, а на сегодня и на завтра езжай. Чтобы завтра к вечеру на аэродроме был. И харчишек возьми с собой, я об этом договорюсь в продотделе фронта. Москва сейчас в харчишках нуждается.

☆☆☆☆

Уже к вечеру с вещевым мешком за плечами вошел в притихшую столицу Румянцев. Помахав на прощание водителю попутного ЗИСа, любезно его подбросившего к самым Петровским воротам, комиссар зашагал вперед, сверяя с адресом таблички улиц и переулков.

Встревоженная и сумрачная, встречала его Москва,

Редкие трамваи с замороженными стеклами громыхали по улице. Солнце уже угасло, и зенитчики, готовясь к беспокойной ночи, катили по мостовой пузатый аэростат заграждения. Из дверей булочных тянулись на улицу длинные хвосты очередей. Прошел мальчик с тощим дерматиновым портфелем, из которого вместо корешков учебников торчала краюшка хлеба. Окна домов там и тут были заложены мешками с песком. Черные железные «ежи» маячили на углах.

Но не об осажденной Москве и страдающих в ней людях думал в эти минуты Румянцев. Думал он о своей жене, Соне, и только о ней.

Есть «переулки» в человеческом сердце, куда и в самую солнечную погоду нельзя пускать никого другого, даже лучшего друга. У Бориса Румянцева таким «переулком» были его отношения с Софой. Каждую ночь, как только сознание освобождалось от всех дневных забот, он думал о жене. Соня являлась ему такой, какой была она в минуту их расставания, когда он поцеловал ее в горячую от жара щеку, и Соня вдруг заплакала и поглядела на него горькими, тоскливыми глазами.

— Ой, Борька, как все это было не так! — с отчаянием воскликнула она. — Если только мы останемся живы!..

Она не договорила, потому что заскрипели колеса санитарного поезда и состав тронулся.

Потом он писал ей длинные горячие письма, но от нее приходили коротенькие ответы. В них Софа жаловалась на плохое снабжение, на очереди в столовых и магазинах, на сестру Лену, которая после смерти своего мужа Хатнянского стала к ней холодно относиться. А потом, примерно месяц назад, письма от жены вовсе перестали приходить. Борис нервничал, метался по ночам в раздумьях, утром вставал с припухшими от бессонницы глазами. В его душе, в том самом сокровенном «переулке», становилось пасмурно и пусто. Но он мужественно утешал себя, что, раз его письма не возвращаются назад с лаконичной пометкой «адресат выбыл», значит, Софе в руки они попали, значит, она живет там же, у своей подруги Нелли Глуховой. Скорее всего, одно из ее писем затерялось при пересылке, а другое она поленилась написать сразу же за первым. Да и в самом деле, чего он требует от нее? Ведь далеко не каждый человек умеет писать письма так быстро и легко, как это делает он.

Румянцев свернул в переулок и, увидев над аркой ворот нужный номер, вошел во двор. Во дворе было пусто, на скамейках и вокруг цементного фонтана лежал снег. Румянцев отыскал нужный подъезд и остановился у двери с табличкой: «П. И. Глухов». Это была фамилия мужа Нелли, находившегося на фронте. Темная кнопка электрического звонка гипнотизировала Румянцева. Часто дыша, он вдруг подумал о том, как выбежит сейчас же на его зов Софа. Румянцев снял с плеча тяжелый мешок с продуктами и внезапно прислушался. Оттуда, из-за двери, до него донесся веселый напевчик. Играл патефон. Он снял с рук черные кожаные перчатки, позвонил. На первый звонок, короткий и нерешительный, ему никто не ответил. Тогда он еще раз надавил на кнопку и долго-долго не отпускал пальца. В коридоре раздались шаги, веселый женский голос прозвучал почти у самой замочной скважины:

— Одну секундочку, дорогие гости. Это, вероятно, Кирилл.

Раздался шум сбрасываемой цепочки, и на пороге выросла женская фигура. В густеющих сумерках батальонный комиссар увидел красивое молодое лицо. Большие черные глаза незнакомки скользнули по нему удивленно и внезапно смущенно побежали в сторону. На женщине было темное узкое платье, очень короткое, едва прикрывавшее колени. Она настороженно улыбнулась:

— Простите, вы к кому?

Румянцев ногой придерживал вещевой мешок.

— Мне нужно видеть Софью Румянцеву.

— Вам нужна Софа? — медленно переспросила женщина. — Тогда проходите.

Румянцев стоял в полутемном коридоре, чувствуя, что женщина с каждой секундой все внимательнее и внимательнее рассматривает его.

— Простите, вы товарищ ее мужа?

Борису хотелось крикнуть радостно и торопливо: «Ну да, ну да, конечно же, муж!»

Но вдруг какой-то неожиданно осторожный голос, проснувшийся в том же далеком «переулке» его души, властно ему приказал: скажи, что ты его друг.

— Да... товарищ, — глухо проговорил Румянцев.

Женщина облегченно вздохнула.

— Фу, а я-то было подумала... Вы, наверное, начальник штаба?

— Да. Начальник штаба, — согласился он.

— Я по петлицам догадалась. Две шпалы, — отметила она, — у Софиного мужа одна. Он старший политрук.

«Как хорошо, что на моем реглане нет звездочек», — вздохнул Румянцев.

— Я Нелли Глухова, подруга жены Румянцева, — наконец представилась женщина и протянула ему мягкую, чуть влажную ладонь. — Видите ли, мне надо с вами серьезно поговорить. Пожалуйста, зайдемте. Правда, у меня гости... Это вас не смутит?

— Надеюсь, я не обременю их своим коротким присутствием, — произнес Румянцев, уже понявший, что его Софы сейчас нет в этом доме.

— О да, о да, — подхватила Нелли, — вы их нисколько не шокируете. — Легкой походкой она двинулась по узенькому коридорчику. В конце его дверь была приоткрыта, и оттуда ему навстречу вырвались звуки бойкой песенки:

Эх, Андрюша, нам ли быть в печали...

— Вы раздевайтесь, — указала Нелли на вешалку.

— Спасибо. Я ненадолго, — сухо отказался Румянцев.

— Тогда прошу.

Нелли широко распахнула дверь, и Румянцев увидел небольшой круглый столик, уставленный бутылками и закусками, бархатные диванчики, коврики на стенах, висевшую над всем этим лампу в шелковом абажуре, даже большую радиолу в углу. На диване сидел средних лет мужчина в коричневом дорогом костюме. Безукоризненно белый крахмальный воротничок упирался в его гладко выбритый подбородок. Темные волосы разделял аккуратный пробор. Мужчина что-то рассказывал блондинке в цветастом крепдешиновом платье, близко склонившись к ней. Та держала в руке стакан вина и неестественно громко смеялась. Двое танцевали под звуки радиолы. Женщину Румянцев не разглядел, зато ее партнер, лысый майор артиллерист, с белесыми бровями и красным полным лицом, на котором застыла довольная, беззаботная улыбка, запомнился сразу. Сделав отчаянное коленце, совсем не идущее к танцу, он хриповато подтянул радиоле:

Так затяни, чтоб горы заплясали,
Чтоб заплясали зеленые сады.

Он лихо топнул ногой и остановился, в удивлении глядя на Румянцева, такого неожиданного и ненужного в этой обстановке. Бесцветные глаза майора наполнились детским недоумением.

— Простите, дорогие гости, — сказала Нелли, — это товарищ мужа Софы. Знакомьтесь.

Румянцев молча пожал протянутые руки. Брюнет, сидевший на диване, назвался доцентом Рыбиным, а лысый, грузноватый и солидно подвыпивший артиллерист вдруг с разухабистостью рубахи-парня брякнул:

— А меня зови просто Пашкой. Пашкой Зотовым. Понял? Я в этой компании ученых мужей гость случайный и недолгий. Ты, майор, с фронта, и я с фронта. Понял? Завтра опять в бой. Давай тяпнем по стаканчику, они тут водку коньячными рюмочками сосут, совсем как младенцы. Разве это собутыльники?

— Спасибо, майор. Мне некогда, — отказался Румянцев.

Нелли провела его во вторую, смежную с первой комнату. Платяной зеркальный шкаф, двуспальная кровать с розовым покрывалом, диван с разбросанными на нем вышитыми подушками, густой запах пудры, смешанный с запахом духов, — все это как-то неприятно резануло Румянцева. Он вдруг почувствовал, как нарастает у него внутри глухое раздражение против всей этой будуарной обстановки, против накрашенной Нелли и доцента с аккуратным проборчиком, даже против подвыпившего артиллериста, самого простого и естественного в этой компании.

— Где же Софа? — спросил он сухо, всеми силами стараясь подавить в себе волнение. Нелли пристально посмотрела на него.

— Садитесь, — кивнула она на диван и, когда он выполнил ее просьбу, села сама напротив на мягкий стульчик без спинки. Ее тонкие руки с длинными красивыми пальцами нервно гладили гладкий крепдешин платья на коленях.

— Скажите,— заговорила она после паузы,— вы очень близкий друг Бориса Румянцева?

— Да, очень, — тихо подтвердил батальонный комиссар.

— Как ваша фамилия? Вы себя даже не назвали.

— Петельников, — соврал Румянцев, — майор Петельников.

— Да, Софа как-то называла эту фамилию, — рассеянно продолжала Нелли. — Это очень хорошо, что приехали именно вы, а не сам Румянцев.

— Почему?

— Потому что тогда мне было бы гораздо труднее выполнить свою миссию. — Нелли обвела неожиданно погрустневшими глазами спальню. В них сейчас пробудилось что-то страдающее, человеческое, вытеснив кокетливую развязность. Сейчас эта раскрашенная женщина была серьезной, но от этого Румянцеву стало еще более не по себе.

— Мы с ней были настоящими подругами, — вздохнула она. — Все тайны друг другу поверяли. А на этой кровати даже иногда вместе спали... как маленькие девочки. Она мне все, все рассказывала. Понимаете? Даже о том, чего не скажет женщина самому близкому мужчине. Странно устроена жизнь, — горько вздохнула Нелли, — ну, что бы, кажется, проще: раз тебя любят, — люби и ты. В сущности, они очень плохо жили и раньше. Ваш друг ее обожал, выполнял каждый ее каприз. И чем чаще он это делал, тем все больше и больше отдалялась от него Софа. Настоящей любви к мужу у нее никогда не было. Вы извините, что я так откровенна.

— А сейчас? — глухо спросил Румянцев, чувствуя, как душит его спазма и тяжелеют кулаки. Последние надежды на то, что он ошибся в своих догадках о Софе, рушились. Эта женщина безжалостно рубила их под самый корень.

— Что сейчас? — спросила она деловито.

— Где Софа? — повторил Румянцев.

— Она уехала в Свердловск с инженером Беловым, талантливым ученым. И, кажется, нашла свое большое чувство. Вот и все.

— Совсем немного, — деревянным голосом произнес Румянцев и поднялся: — Ну, до свидания.

Он пошел по коридору неестественно прямой походкой. У самых дверей его догнала Нелли, с заискивающей улыбкой выговорила:

— Простите. Я такая растеряха. Даже к чаю вас не пригласила. Может, останетесь?

— Спасибо. Сыт по горло, — зло ответил Румянцев, беря вещевой мешок.

Дверь с глухим щелчком захлопнулась за ним. И хотя он спускался всего со второго этажа, каменная лестни-

ца показалась ему необыкновенно длинной. На улице морозный ветер колко ударил в лицо. Румянцев постоял на тяжелых ногах и побрел к полузанесенному снегом фонтану, опустился на скамейку. Как многие люди, кому часто приходится попадать в опасные положения, он умел встречать беду стоя. Собрав всю выдержку, он сумел не обнаружить гнева перед этой бесконечно чужой ему женщиной. Но когда он остался наедине с собой, ярость, боль и смятение навалились на него. Сначала он был не в состоянии разобраться во всех своих ощущениях, а разобравшись, понял с отчаянием, что не злоба и не жажда мщения, а боль, острая, неизлечимая боль переполняет его. И опять вспомнилась Софа — той хорошей, какой он знал ее в лучшие минуты их короткой жизни.

Румянцев сидел, подперев ладонями подбородок, ничего перед собой не видя. Кто-то нерешительно опустился рядом на скамейку. Он услышал участливый детский голос:

— Ты чего, дяденька? Зубы у тебя болят?

Поднял голову: рядом с ним — мальчик лет девяти, остроносенький, худой, на ногах — валенки с нашитой резиной. Озябшими пальцами мальчик натягивал к подбородку уши теплой шапки, никак не мог стянуть их тесемкой.

— Да. Зубы, — ответил Румянцев, следя за тем, как покрасневшим пальцам малыша не удается затянуть петлю. — Давай помогу, — предложил он. Мальчик доверчиво придвинулся.

— Ой, да какой ты холодный, — сказал Румянцев, дотрагиваясь до его подбородка.

— Будешь холодным, если с двух часов по городу бегаешь,— рассудительно ответил тот.

— Тебя как звать-то?

— Миша.

— И какая же сила гоняет тебя по Москве?

Мальчик зябко передернул плечами.

— Карточку... — тихонько вздохнул он, — карточку мамка моя потеряла. Застудилась в цехе и пошла в булочную с температурой. Я ей говорил: «Не иди, сам схожу». Так она же упрямая. Вот пошла и потеряла. Теперь четыре дня голодными сидеть. Я три часа около булочной искал, думал, может, и валяется где, да куда там! Подобрали. — Он шмыгнул носом и опять вздох-

нул. — А мамка с температурой. Ей бы хоть чаю горячего с сахаром.

Румянцев потянулся к нему, обхватил рукой за плечи, прижал к кожанке.

— Ах ты, мой милый! И у тебя беда! — Стало еще грустнее от мысли, как много больших и малых несчастий ходит сейчас по родной земле, мешает жить людям. Вот и у этого озябшего человечка горе. Как можно измерить, чье горе больше, да и легче ли от этого? Румянцев достал носовой платок и вытер мальчонке заплаканные глаза.

— А батька где?

— Где же ему быть? На фронте. А ты кто? Летчик?

— Летчик, сынок.

— А фашистов сбивал?

— Сбивал, милый.

— А трудно их сбивать?

— Трудно, — Румянцев улыбнулся.

— Жалко, я маленький, — тихо произнес Миша,— был бы большой, всех бы их посбивал. Чтобы опять без карточек жить, чтобы папа вернулся и в школу ходить.

— Ишь ты, какой рассудительный, — ласково сказал комиссар. — Все будет, родной, как ты говоришь. И фашистов посбиваем, и хлеба с сахаром будет сколько хочешь, и папа к тебе вернется. А пока вот что, сынок.

Румянцев на секунду задумался: предстоит еще визит к Лене, Софиной сестре. Там, вероятно, тоже не густо в эту лихую годину. Ну да ладно. Не может же он просто так уйти от этого доверчивого существа!

— Слушай, Миша, — продолжал он серьезно. — Ты мужчина и должен меня понять. У меня в вещевом мешке есть хлеб.

— Хлеб! — радостно перебил Миша и вскочил было со скамейки, но глазенки его тут же потухли. — Так это твой. Ты небось сам голодный!

Мелкая пороша падала на их головы, ветер начинал пробирать тело.

— Подожди-ка, малыш, — сказал Румянцев, — хлеб действительно мой. Я его вез, — он тяжело вздохнул, подумав о Софе, — вез одному мальчику. Он еще меньше тебя, — стал он рассказывать о Лене и ее Витюше, — и у него тоже больная мама, которая много работает.

— А отец на фронте?

— Нет. Папы у него теперь нет. Папу у него убили фашисты.

Миша теснее прижался к Румянцеву; где-то брызнул слабый сноп прожектора, и остренький профиль мальчика на миг стал ясно виден.

— Ты и неси ему хлеб, этому мальчику, дядя! — мужественно проговорил Миша. Комиссар погладил его по щеке.

— Тот мальчик очень добрый. Он с тобой поделится. Вот, забирай, — торопливо развязав мешок, Румянцев сунул ему в руки трехкилограммовую буханку, кусок сала, пакет с сахаром и банку сгущенного молока.

Мальчик остолбенело смотрел на свалившееся к нему с неба богатство.

— Мне все это можно взять, дядя? — не сразу спросил он.

— Топай, топай, сынок! — обрадованно говорил комиссар.

Потом с улыбкой смотрел ему вслед. Миша, переваливаясь с ноги на ногу, прижимая к животу краюху хлеба, дошел до подъезда, обернулся и крикнул:

— Спасибо, дядя. Мы тут недалеко живем... Может, ты к нам зайдешь?

И комиссару стало легче оттого, что хоть одно доброе дело сделал он в этот тяжелый, мучительный день.

☆☆☆☆

Холодный пустой трамвай, грохоча на поворотах, медленно дотащился до Калужской заставы. Румянцев, основательно промерзший, но не замечавший этого в своем оцепенении, соскочил на тротуар. Разыскать дом Лены Хатнянской оказалось делом нетрудным. Дверь ему открыла сморщенная, седая старушка в замасленной, много раз штопанной кофте. В узком коридоре пахло кислыми щами, замоченным бельем, керосиновым чадом.

— Вы к Елене? — переспросила старушка. — Как же, дома. Она после работы всегда дома. Ейная дверь вон та, направо.

Румянцев давно не видел Лену. Она эвакуировалась в Москву на второй день войны вместе со своим трехлетним сынишкой Витей. После гибели Хатнянского, спустя некоторое время, Румянцев послал ей письмо и полу-

чил на него ответ, кончавшийся скорбной строчкой: «Все поняла, утешить меня больше ничто не сможет. Постараюсь пережить».

Румянцев постучал. За дверью тотчас же послышалось короткое негромкое «войдите». Он толкнул дверь и очутился в слабо освещенной, тесной комнате. Женщина в черном платье шагнула к нему.

— Боря! — Она выкрикнула это с надрывом и, как подкошенная, упала ему на грудь, огрубевшими, в цыпках руками крепко обхватила шею, повисла на нем. Он чувствовал, как вздрагивают ее плечи, слышал, как тяжело она дышит.

— Боря, зачем... Зачем ты пришел так рано! — простонала она. — Лучше бы ты совсем не приходил... Не могу я видеть никого из ваших. Стоит встретить любого из вас живым, и я уже не верю в Сашину смерть.

Она опустилась на какой-то древний, окованный железом сундук, стиснула ладонями виски. Светлые, с золотистым отливом волосы пробились сквозь растопыренные пальцы.

— Боря! Какая она жестокая, наша жизнь, если она лишает самого дорогого. Как тяжело мне, Боря. Первое время, если бы не Витюшка, руки бы на себя наложила. Днями и ночами только о нем, о Саше, думала. И всегда он мне живым представлялся. Иногда проснусь ночью и мерещится, что он ко мне подходит. Разговариваю с ним. Садись, говорю, отдохни, наверное, устал после полетов. — Она подняла на Румянцева скорбные, выплаканные глаза. — Кажется мне, что он рядом, близкий, большой, добрый. И самые, самые нежные слова вырываются. Не знаю, до чего бы дошла, если бы не Витюшка, родной мой. Только он и спас меня от сумасшествия. Помню, однажды среди ночи проснулась и глажу подушку, будто это Сашины мягкие волосы. Сашенька, шепчу, родной, единственный. Одного тебя люблю. А Витюшка вдруг как крикнет: «Мама, мамочка, мне страшно, ты меня не любишь!» И заплакал, так и залился слезами. Стоит голенький, в одной рубашке, ручонки ко мне тянет. Будто кто толкнул меня тогда, будто с глаз моих черную повязку снял. Схватила его, целую, тискаю. «Витюшка, ребеночек мой ненаглядный! Ты один теперь у меня. Один на всю жизнь мою вдовью, горькую, одинокую. Ты у меня вырастешь и будешь таким же добрым и сильным, как отец твой». Вот с той минуты я и взяла

себя в руки, Боря... Тебе тоже ведь нелегко. Я все знаю про Софу. Сломанные мы с тобой теперь.

Она еще раз взглянула на своего неожиданного гостя, и Румянцев, боявшийся в душе этой встречи, понял, что первые, самые трудные минуты прошли...

— Сломанные, говоришь? — переспросил он. — Нет, не сломанные! — Он ощутил, как на смену недавней растерянности приходит ожесточение. — Нет, не сломанные! — повторил он громче. — Слушай меня внимательно, Лена! Наш Саша не простил бы тебя за эти слова. Сколько тебе? Двадцать шесть, не больше. А ты чуть ли не отречься от мира хочешь. Да кто тебе дал такое право? Ты комсомолка, советская учительница, черт возьми! Нельзя же так распускаться, понимаешь? Я верю, что ты любишь Сашу, даже теперь, мертвого. А я, думаешь, Софу не люблю? — выкрикнул он с болью. — Твой Саша чист, как стекло, а Софа меня предала. Так что же мне, стреляться прикажешь? Нет, дудки!

Румянцев выпрямился и заходил по комнате, словно хотел растопить в движении свою накипевшую злость. Остановился у детской кроватки. Вдавившись в подушку, спал в ней маленький Витюшка. Светлые волосенки сбились на его лобике, он мирно посапывал, верхняя губа была чуть приподнята. Ярость иссякла у комиссара, и он добродушно сказал:

— Смотри, Лена, богатырь-то какой у тебя растет. Весь в Сашу! Вот для кого жить ты должна! Нет, не сломанные мы! Нам еще самим врага надо ломать — да как еще!

Потом они пили чай, и Лена уже спокойно рассказывала о своей жизни, о работе в школе, о том, как растет маленький Витюша.

Румянцев лег не раздеваясь на коротком сундуке. Долго не спал, ворочался с боку на бок и, как всегда бывает с людьми измученными и растревоженными, заснул под самое утро. Очнулся он от легкого прикосновения Лениной руки.

— Это я тебя разбудила, Боря. Ты же просил в семь,— сказала она тихо и виновато, потом провела пальцами по его вискам. — А ты уже седеть начал.

Он оставил ей все продукты и собрался уходить. Лена проводила его до трамвайной остановки и, когда он вскочил в заиндевелый вагон, долго еще махала ему вслед

рукой, маленькая и скорбная, в черной шубке и белой шали, небрежно завязанной на шее. Трамвай, дребезжа, несся по улицам просыпающейся Москвы, где-то отрывисто хлопали зенитки, широкие площади были неуютными, пустыми. Комиссар ехал и думал о том, какой большой и неподвластной бывает у человека любовь, если молодая, красивая Лена продолжает, словно живого, любить погибшего Хатнянского, а он изменившую, неверную Софу.

☆☆☆☆

Когда Румянцев возвратился на командный пункт полка, он застал в землянке только Петельникова и Ипатьева. Осунувшийся, усталый Петельников связывался по телефону со стартом:

— «Сирень-1», «Сирень-1», есть ли связь с группой Боркуна?

— Так точно, идут домой, — прозвучало в трубке. Петельников облегченно вздохнул: — Ну, слава богу, комиссар.

Он стоял в реглане, наброшенном на плечи: его знобило.

— Как дела? — отрывисто спросил Румянцев.

— Плохо, товарищ батальонный комиссар, — ответил Петельников. — Вчера эскадрилья Жернакова потеряла четыре самолета.

— Как? — переспросил ошеломленный Румянцев.

Петельников развел руками:

— Выдыхаются люди, ничего не поделаешь.

Румянцев резким движением бросил на стол черные краги.

— Начальник штаба, я вам запрещаю произносить эти слова! — закричал он. — Слышите? Ни при ком не произносить: ни при летчиках, ни при техниках, ни при лейтенанте Ипатьеве, ни даже при этих телефонах. Нам поставлена боевая задача, и мы должны выполнять ее ровно столько, сколько потребуется. Докладывайте, как потеряли самолеты.

Петельников обиженно поджал губы и начал рассказывать. Группа майора Жернакова, встретившись с двадцатью «мессершмиттами», смешала свои боевые порядки, вела бой разрозненно; в двух случаях ведущие были оторваны от ведомых и уничтожены.

— Безобразие! — заключил Румянцев. — Сегодня же соберем всех летчиков-коммунистов.

Вечером в штабной землянке он выступил перед летчиками полка, членами партии.

— Товарищи коммунисты! — заговорил он волнуясь. — В самые трудные, в самые опасные дни существования нашего первого в мире социалистического государства Центральный Комитет обращался к нам с горячим призывом: коммунисты, вперед! И ни разу еще члены партии его не подводили. Вы думаете, нашим отцам было легче идти через Сиваш на Врангеля? Или драться в знойной пустыне с басмачами? Нет, и еще раз нет. Так неужто мы, ссылаясь на физическую усталость, начнем сдавать инициативу в воздушных боях? Знаю, вам нелегко, — продолжал он. — Вчера наш полк потерял четыре машины. Четырех боевых товарищей нет в нашем строю.

Боркун, сидевший на нарах, шумно засопел.

— Это от тактической неграмотности, товарищ батальонный комиссар.

— Правильно, Василий Николаевич! — подхватил Румянцев. — Усталость здесь ни при чем. Ведь вот что произошло с группой майора Жернакова.

Комиссар подошел к доске, взял в руки хрустящий мелок и быстро набросал схему воздушного боя. Потом отрывисто рассказал об ошибках командира эскадрильи и его ведомых.

— Так точно, товарищ батальонный комиссар,— ответил майор Жернаков,— были ошибки в управлении группой.

— Какие выводы вы для себя сделали?

— Как летчик и как коммунист клянусь, что больше не повторю подобных ошибок.

— Смотрите, — строго заключил Румянцев, — в следующий раз не рассчитывайте ни на какое снисхождение.

☆☆☆☆

Утром седьмого ноября 1941 года пармовский старшина дядя Костя Лаврухин остановил у штабной землянки Румянцева и, вытягивая по швам, насколько это было возможно, свои клешневатые руки, сказал:

— С праздничком вас, товарищ батальонный комиссар. С годовщиной Великого Октября, стало быть!

— И вас с праздником, старшина Лаврухин,— улыбнулся Румянцев.

— Имею один вопрос, товарищ батальонный комиссар. Ребята наши, пармовские, интересуются, будет сегодня в Москве праздничный парад или нет?

Румянцев прищурился, в его карих глазах мелькнули веселые огоньки.

— Конечно, будет, Лаврухин. Как и всегда, будет.

— А это точно?

— Так же точно, как и то, что я тебя сейчас вижу. Ты учти, Лаврухин, что Советская власть самая точная и самая прочная.

— Ну, тогда скоро побьют фашиста,— заявил он.

— А ты откуда об этом знаешь? Уж не с верховным ли советовался?

— Нет, с ним не пришлось,— заулыбался Лаврухин,— но только я знаю: раз мы парад празднуем, когда враг у самой столицы, значит, мы хозяева положения.

А ровно через два часа после этого Румянцев в паре со старшим лейтенантом Барыбиным взлетел с аэродрома. Шесть пар истребителей должен был послать Демидов на прикрытие воздушных подступов к Москве. Шесть пар поднялись в серо-морозный воздух, чтобы на разных участках охранять столицу в те торжественные минуты, когда по Красной площади мимо Мавзолея Ленина пройдут парадным строем войска Красной Армии. Разве могло быть для летчиков демидовского полка задание более почетное и более ответственное! А батальонному комиссару Румянцеву — тому особенно повезло. Вместе со своим напарником Барыбиным ему разрешалось пересечь воздушное пространство над центром Москвы! Он должен был выйти в район Савеловской дороги. Оттуда, со стороны Дмитрова и Клина, могла появиться фашистская авиация.

Под пасмурным небом было неуютно в эти часы, но Румянцев чувствовал радостную приподнятость. Даже горькие складки разгладились в углах его рта, когда сквозь плексиглас кабины рассматривал он землю под крылом самолета.

Под нижней кромкой облаков два их «яка», окрашенных в грязно-зеленый цвет осени, проскользнули к са-

мой столице. Отлетели назад черные жгутики рельсов Казанской железной дороги, вдоль которых недолгое время они шли. Мелькнул купол Курского и площадь трех вокзалов.

— Пилотируй осторожнее,— успел предупредить своего ведомого Румянцев. Кварталы Москвы уже мчались навстречу. Кое-где на крышах Румянцев успел разглядеть торчащие в хмурое небо жерла зениток, увидел солдат возле них. А потом глазам предстало самое главное — кремлевские башни, черный комочек памятника Минину и Пожарскому и серый булыжник Красной площади. «Вот она, матушка!» — радостно подумал комиссар, и на мгновение она показалась ему такой же, какой запомнил ее однажды — в тот год, когда гостил вместе с покойным Хатнянским у родных Елены. Тогда они получили пропуска на Красную площадь. Стоя около ГУМа, видели они, как кипит и переливается расцвеченный флагами, плакатами и знаменами праздничный поток, слышали, как звенят над головами людей песни.

Нет, ошибся комиссар Румянцев: этого не было сейчас на Красной площади. Те, кто шел мимо Мавзолея, вовсе не походили на ликующий поток. Шаг их был грозен и тверд. Это шли люди, которых сплотил воинский долг, сделал несгибаемыми перед физической усталью, врагом, смертью. Это шли люди, которым предстояло творить в горьком 1941 году историю не только своего могучего государства, нет,— историю целого мира.

Возможно, некоторые из них успели увидеть, как промчалась над Красной площадью пара быстрых «яков». Но ни Румянцеву, ни Барыбину не суждено было разглядеть участников этого парада. Слишком быстро унеслись, гудя моторами, истребители. И вот уже мелькнул внизу зеленый Савеловский вокзал, сгрудившиеся на его путях пассажирские и товарные составы. Румянцеву показалось, что волна, установленная на шкале его приемника для радиообмена с аэродромом, нарушена, и он легонько повернул регулятор настройки. В наушники хлынул мелодичный звон часов и раскаты духового оркестра.

— Комиссар, «мессершмитты»,— послышалось в наушниках,— разворачивайтесь вправо!

Это Барыбин предупреждал об опасности. Сделав разворот, Румянцев вгляделся в тусклый горизонт и увидел

вдалеке четыре продолговатые тени. Да, это шли «мессершмитты».

— За мной,— приказал он Барыбину.

Было странным, что вдоволь нагруженные бомбами «мессершмитты» не пошли сразу к центру, а скользнули вправо, на юг. Увеличив скорость, Румянцев помчался за ними. Он догнал их между Курским вокзалом и своим аэродромом и тут-то понял, почему фашистские летчики сделали попытку совершить налет именно с этой стороны: облачность здесь была разорванной, и, маскируясь ею, им было легче подойти к центру. Румянцев и Барыбин атаковали флагмана, атаковали вместе и сразу его зажгли двумя очередями. Но машину Румянцева встряхнуло, он почувствовал, что она стала тяжелой в управлении.

— Комиссар, вас подбили! — крикнул Барыбин.— Выходите из боя! Мне на помощь идет пара «яков».

Румянцев, стиснув зубы, развернул самолет к аэродрому. Мотор слабел. Комиссар почувствовал, что машина начинает крениться вправо. Он едва-едва удержал ее рулями.

Навстречу его самолету темным месивом рванулся лес, за которым виднелась бетонка аэродрома с рыжей санитарной машиной и стоящими поблизости от «Т» людьми его родного полка.

«Только бы перетянуть лесок, только бы лесок!» — молил Румянцев свою машину, обращаясь к ней, словно к живой.— Да ну же, милый мой «яша», ну!»

И это ему удалось. Он все-таки выбрал штурвал. Кособоко помчался истребитель по широкой полосе, но вдруг съехал с нее и ткнулся левым крылом в землю со страшным треском. Румянцева сорвало с сиденья и ударило грудью о приборную доску. Теряя силы, он чувствовал, как в кабину проникает запах едкого дыма. Машина горела. Комиссар попытался дотянуться до верхнего замка, чтобы распахнуть фонарь, но рука беспомощно упала. Потом он слабо, словно сквозь сон, услышал треск открываемого фонаря. Чьи-то сильные руки выхватили его из кабины и понесли по летному полю. Комиссар на мгновение поднял тяжелые веки и увидел на фоне серого неба обветренное красноватое лицо, черную техническую куртку с рыжим воротником.

«Кажется, это инженер Стогов», — подумал он, проваливаясь в забытье.

☆☆☆☆

Полк Демидова терял силы, как теряет их тяжело больной человек, определенный судьбой метаться между жизнью и смертью. Ртутный столбик термометра катастрофически поднимается все выше и выше, а бледные, бескровные щеки, запавшие глаза и обметавшиеся от жара губы безмолвно говорят, как трудно такому человеку, как жестоко бьется его организм со смертью в надежде победить ее. И если силы жизни восторжествуют над смертью,— словно из легенды, встает, победив болезнь, такой человек, делается сильным и крепким, и говорят про него — «железа тверже».

Именно на такое превращение надеялся полковник Демидов. Поседевший, вконец измотанный неравными боями, он радовался теперь каждому нелетному дню, радовался, если мутные полосы снега с посвистом рушились на аэродром, ибо каждый день отдыха экономил силы, позволял пускать летчиков в очередное сражение хоть немного окрепшими. Личный состав полка заметно поредел. На Доске славы рядом с портретом Саши Хатнянского, первого их героя, в траурных рамках появились и другие фотографии. Но костяк полка существовал, и Демидов дрожал за жизнь каждого из ветеранов. Он пританцовывал, как ребенок, когда из боя живыми и невредимыми возвращались Алеша Стрельцов, Барыбин, Коля Воронов, Красильников, Жернаков. А что касается Боркуна и комиссара Румянцева, то их он сознательно придерживал и, если только можно было не посылать на боевое задание, приказывал оставаться на аэродроме.

Дни катились тяжелые и медленные, как последние дождевые капли из желоба. В затишье, наступившем на фронте, Демидов угадывал тревогу, смутно чувствовал, что весь наш Западный фронт накануне каких-то важных событий. Однажды позвонил генерал Комаров. Голос у командующего авиацией был веселый, зычный.

— Держишься, Демидыч?

— Держимся, товарищ генерал,— ответил полковник с усталым спокойствием.

— Вот и хорошо! Приказа держаться еще никто не отменял. Как твой комиссар?

— Уже вышел из госпиталя.

— Ты его в бой не гони, дай денек-два поосмотреться, да и силенок поднакопить.

— Слушаюсь,— охотно согласился полковник.

В тот же день начальник штаба Петельников передал ему целую пачку листовок, подобранных на аэродроме.

— Странное дело, товарищ командир,— сказал он,— вчера над нами ни одного фашистского самолета не пролетало, а мусора, смотрите, вон сколько.

Демидов взял в руки один из этих серых листков, под фашистским знаком прочел:

«Летчики демидовского полка, перелетайте все к нам. Мы вам обеспечим гуманное обращение и хорошую жизнь. Если вы этого не сделаете, обретете печальный конец. Всем вам уготована участь майора Хатнянского, майора Султан-хана и других ваших коллег. Решайтесь!»

Кончиком языка Демидов потрогал жесткие свои усы.

— Смотри, какие ловкачи?! А черта лысого не хотели! Все листовки немедленно сжечь!

...В длинном ряду коек Боркун перед сном строго оглядывал одну пустую — койку Султан-хана. Оглядывал, будто желая убедиться, что нет на ней ни единой морщинки. По молчаливому уговору, ее никто не занимал. Так и стояла она, убранная за час до гибели горца его собственными руками. Да, впрочем, и кому было ее занимать, если летный состав полка сильно поредел?

После гибели Султан-хана на КП было вскрыто его письмо, адресованное полковнику Демидову. «Эх, Султанка, Султанка,— в который уж раз думал Боркун.— Всех ты обидел. И меня, и батю Демидова, и ведомого своего Алешку Стрельцова. Ну почему не доверил, не рассказал о болезни поганой, что к тебе привязалась? Не лекарь тебе Боркун, конечно, но ведь порой и слово друга бывает лучше иного лекарства».

Потом он подумал о Вале. Вернее, не подумал, увидел ее — в летнем простеньком сарафанчике, именно такой, какой в один из майских дней встретила она его, пыльного, усталого. В звене Красильникова в этот день кто-то из молодых летчиков допустил поломку, и Василий возвращался домой рассерженный. Валя распахнула перед ним дверь, чуть пританцовывая и улыбаясь, попятилась назад.

— Боркунчик, а у меня есть новость. Угадай, какая?

— Какая? — озадаченно спросил все еще хмурый Василий.

— Кажется, он появился, Боркунчик,— весело воскликнула Валя. «Он» в их понимании был ребенок.

— Валюша, правда? — Василий бросил на пол планшет и кинулся к ней. Но Валя увернулась, и он поймал только воздух.

— Нет, ты сначала догони, тюлень,— поддразнивала она, и оба забегали по комнате, сбивая на пути стулья и табуретки. Василий поймал ее, поднял на руки.

— Валюша, спасибо! Ты чудесница!

И бережно целовал серые с лукавинкой глаза, такие чистые и добрые.

Потом, через неделю, она сказала:

— Боркунчик, извини, это был не он, я ошиблась.

— Ну и ничего. Будет еще и он. Не расстраивайся, Валюша,— отвечал Василий и снова кружил ее по комнате.

Какой ласковой и отзывчивой она была! А теперь? За линией фронта, у немцев, предательница!

— Нет! — с отчаянием воскликнул он.

Алеша Стрельцов сонно пробормотал:

— Товарищ командир, вы что-то сказали?

— Спи, Алексей, спи,— сконфуженно успокоил его Боркун и закрыл глаза.

На другой день истребители дважды поднимались на прикрытие переднего края, но, к удивлению летчиков, все вылеты обошлись, как принято было говорить в боевых донесениях, «без встреч с воздушным противником».

— Только под облаками зря наболтались! — раздосадованно заключил Алеша Стрельцов.

— Эка ты резвый какой,— оборвал его Боркун.— Себя береги, а войны на твой век, к сожалению, хватит.

Зимний день меркнул. Околыш багрового солнца, догоравший на западе, сулил крепкий мороз. Над притихшими пригородами столицы висела зыбкая тишина. Ее каждую минуту могли нарушить зенитки и гул авиационных моторов.

Боркун неторопливо шел вдоль самолетных стоянок, с наслаждением слушая, как похрустывает под ногами плотный наст. Он переходил от одной стоянки к другой, будоражил техников и механиков расспросами о материальной части. В крайнем капонире стояла его голубая «семерка», за которой теперь ухаживал техник Кокорев. Его, старательного до самозабвения, можно было и не проверять, но порядка ради Боркун решил наведаться и

к нему. «Спрошу только, все ли он закончил, да еще папиросой угощу. Он свой технический махряк давно небось выкурил».

Когда Василий был уже неподалеку от крайнего капонира, он услышал за спиной торопливые шаги.

— Боркун, подождите.

Василий обернулся:

— А, товарищ комиссар.

Рядом с Румянцевым шагал незнакомый Боркуну плотный кряжистый командир. Румянцев замедлил шаг и с минуту шумно переводил дыхание.

— Ну и ходишь же ты, Василий Николаевич! На паровозе тебя не догнать.— Он указал на командира.— Это майор Федотов из особого отдела. Ему поговорить с тобой надо. Серьезно поговорить, но так, чтобы ни одна живая душа не слышала. Я вас оставлю.

Федотов опасливо поглядел на чернеющий в сумерках капонир.

— Здесь нельзя, отойдем.

Они пошли к центру летного поля. Скованный морозом наст едва-едва продавливался под унтами.

— Достаточно,— сказал Федотов и еще раз оглянулся. Нет, никого не было в густеющих сумерках.

— Слушайте, Василий Николаевич,— быстро продолжал он,— я покажу вам один документ. Вы на него посмотрите и возвратите мне. Я посвечу вам под полой шинели фонариком.

Боркун стянул с руки черную крагу, услышал, как Федотов сказал: «Вот, держите», и в следующую секунду на широкую ладонь летчика легла небольшая фотокарточка. Вспыхнул внезапно электрический фонарик, Боркун увидел женское лицо и коротко, сдавленным голосом вскрикнул:

— Валя!

Фотография упала в снег, он бросился за ней, схватил снова.

— Экий вы медведь! — насмешливо произнес в темноте Федотов. Но Боркун не слышал этих слов. Онемевшими губами он спрашивал:

— Постойте... Постойте, майор. Объясните, как очутилась у вас эта фотография?.. Я знаю все ее фотографии... Эта новая. Значит, она снималась там... у немцев?

— Да. Там, у немцев,— спокойно подтвердил май-

ор. — Но вы не все видели. Переверните фотографию, придется еще раз нарушить светомаскировку.

Снова вспыхнул кружок света и лег на тыльную сторону фотографии. Боркун прочел: «Фотоателье господина Каминского». И вдруг на сантиметр ниже увидел короткую строчку, написанную безумно знакомым почерком: «Вася, родной, жди и верь». Фонарик потух. Боркун услышал ровный голос майора Федотова:

— Там, у немцев, она выполняет наше задание.

И большой, могучий, ни разу не устававший в бою Боркун не выдержал, заплакал по-мужски, откровенно.

☆☆☆☆

Эта ночь мало чем отличалась от других морозных ночей ранней зимы сорок первого года. Путаясь в тучах, кособокий месяц плавал над миром так же равнодушно, как и во все другие ночи. Какое дело было ему до людских страданий на большой исхлестанной свинцовыми дождями земле. Ему ли слушать людские стоны, всматриваться в пустые глазницы мертвых, упавших на поле боя и припорошенных декабрьским снегом? Ему ли волноваться за сложные запутанные судьбы страдающих в этот год людей? Нет, он себе плыл да плыл, ныряя в просветы меж облаками, которые у метеорологов и летчиков именуются окнами. А внизу лежала огромная Москва, и ни одного огонька, кроме редких отблесков пламени из стволов зениток да бледных столбов прожекторов, не было видно. Лучи прожекторов сновали по небу торопливо, будто хотели схватить равнодушный холодный месяц. Москва казалась мрачной и нелюдимой. Но это, если смотреть на нее с высоты. А тому, кто в ту ночь побывал бы на ее площадях и улицах, навек бы, наверное, запомнилось, как единым слитным потоком шли через нее от шоссе Энтузиастов до Волоколамского шоссе люди в серых шинелях. Шли за танками, за самоходными установками, за похожими на платформы «катюшами». Шли суровые и молчаливые, с автоматами, заботливо смазанными, чтобы не отказали в бою. Суровые, потому что горели их сердца и взгляды жаждой мщения, молчаливые, потому чтобы не дать обнаружить себя врагу. Шли молодые, крепкие, как таежные сосны, сыны Сибири, и смуглые дети далекого Казахстана, и горячие веселые парни из

Узбекистана. Шли через древнюю Красную площадь, мимо Мавзолея, где спал вечным сном тот, кто был отцом для всех них, тот, кто навечно сделал их всех единокровными братьями,— Ленин.

☆☆☆☆

Поздно ночью на КП затрещал телефон, связывавший штаб с командующим авиацией фронта. Демидов, оставшийся после проверки караулов ночевать в землянке, автоматическим движением снял трубку. В сонной дремоте щурил глаза, прижимая трубку к небритой (так и не успел побриться за весь день) щеке.

— Полковник Демидов у аппарата.

— Демидыч! — раздался бодрый голос генерала Комарова.— Вставай, Демидыч! Вставай, поднимайся, рабочий народ! Слышишь, что говорю? Если у тебя есть под боком фляжка со спиртом, налей, но не больше полсотни граммов. Понял, Демидыч? — голос генерала так и дрожал от буйного веселья. И Демидов, стряхнувший с себя остатки дремоты, улыбнулся в трубку.

— Загадками говорите, товарищ генерал. За что пить-то? Дела не такие уж густые, чтобы тосты поднимать.

— За что, спрашиваешь? — еще громче и веселее закричал Комаров.— А ты выпей за самую большую радость, какую только могли мы ждать в этом сорок первом году! За разгром немцев под Москвой! За наступление наше. Хватит тебе немецкие пушки слушать. Ровно через десять минут будешь слушать новую музыку. Нашу, советскую, понял? А теперь получай задание. С рассветом всеми исправными самолетами ударишь по южной опушке леса на участке Выселки — Карманово. Делай отметки по карте.

Демидов, не надевая унтов, в одних шерстяных носках подбежал к столу начальника штаба. Под диктовку Комарова он торопливо рисовал на разостланной карте скобки и стрелки, красную черту маршрута, записывал время и высоту эшелона, а сам чувствовал, как сильнее и сильнее пульсирует на левом виске жилка и отчего-то трудно становится читать названия населенных пунктов.

— Все, что ли? — резко спросил Комаров.— А теперь выходи из своей норы музыку слушать.

Полковник быстро оделся и, распахивая дверь во вто-

рую половину землянки, крикнул тем немногим, кто там спал,— Петельникову, инженеру Стогову, двум связным:

— Наступление! Созвать весь летный состав! Техники и механики — по машинам!

А потом выбежал наверх в расстегнутом шлемофоне и накинутом на плечи полушубке. Морозный ветер ожег лицо и грудь. Полковник только поглубже вдохнул его. Вокруг было еще темно, но над кромкой леса уже наметилась серая полоска.

И вдруг тишина раскололась по всему горизонту глухим слитным громыханием, и далекие зарницы осветили декабрьское подмосковное небо.

Артиллерия всех калибров грохотала непрерывно, без передышки, голоса наиболее мощных орудий лишь иногда пробивались в канонаде, словно солисты в хоре. Демидов стоял и слушал и не замечал, как по жестким его щекам текли слезы.

— Выстояли! — радостно повторял он, обращаясь неизвестно к кому.— Выстояли, родимые. Вот оно, началось!

☆☆☆☆

Когда поднятые по тревоге летчики прибыли на командный пункт, там только и слышалось радостное: «Наступление!», а Демидов невозмутимо сидел перед зеркалом и сбривал с подбородка остатки седоватой щетины.

— Собрались, дорогие товарищи! — весело приветствовал он летчиков.— Ну, чего этак смотрите? Удивились, что старик бреется? Так ведь наступление началось. Наступление! Понимаете, какой это праздник? Честное слово, ни одного небритого не выпущу в полет!

Он встал, застегнул на гимнастерке верхние пуговицы и сразу сделался торжественно-строгим.

— Товарищи командиры! Слушайте боевой приказ...

☆☆☆☆

Двумя группами взяли курс к линии фронта все оставшиеся в строю летчики девяносто пятого истребительного полка. Первую группу в десять машин вел полковник Демидов, вторую — комиссар Румянцев, нарушив закон, по

которому один из них оставался на земле, если другой был в воздухе. Истребители, ревя моторами, приближались в сомкнутом строю к линии фронта. Сколько раз под крылом самолета мелькал этот вот перекресток асфальтированных дорог, эти лохматые, осыпанные снегом сосны или вот эта чудом уцелевшая церквушка с высокой колокольней! Да, много раз проносились над этим районом демидовцы. Но проносились для того, чтобы пулеметными очередями и пушечными залпами сдержать противника, не пустить его дальше. А теперь летят, чтобы наступать и преследовать.

За Кармановом летчики увидели почерневший от снарядной копоти снег, разрушенные прямыми попаданиями снарядов немецкие доты, темнеющие на снегу трупы, огоньки, вспыхивающие на артиллерийских и минометных позициях. «Это наши орудия лупят»,— весело подумал Демидов.

Над маленькой станцией самолеты были встречены нестройным огнем, и тотчас полковник приказал группе Румянцева ударить по фашистским зениткам, а сам со своей десяткой спикировал на дорогу, забитую крытыми грузовиками и повозками. Демидов в веселом азарте кричал:

— Еще заход, орелики! Бей их, треклятых! Это вам за Москву, это за Минск, это за Брест и Оршу!

Треск пулеметных очередей резал эфир, заглушал его голос.

☆☆☆☆

Вечер первого дня наступления был тихим и ясным. Но к ночи в звездном небе вновь загудели моторы. Это тяжелые дальние бомбардировщики отправились в путь — бомбить вокзалы и склады, аэродромы и шоссейные дороги, прокладывать дорогу вперед тем, кто с оружием в руках шел по окровавленной русской земле и на плечах противника врывался в города и села, делая их снова советскими.

Было около девяти вечера, когда Демидов пригласил на командный пункт Румянцева, Боркуна, Воронова, Алешу Стрельцова, Красильникова, Стогова, Барыбина и Жернакова.

— Слушайте меня внимательно, товарищи,— сказал он.— Завтра утром мы делаем последний вылет.

— То есть как последний? — удивился Стрельцов.— Почему?

— Потому что есть приказ вывести наш полк в тыл и на базе его сформировать дивизию.

— Здорово, батя! — откровенно порадовался Боркун.— А кто ею будет командовать?

Демидов наклонил седеющую голову, улыбнулся:

— Ваш покорный слуга, товарищи командиры. Могу сказать по секрету, что есть проект приказа, по которому все вы назначаетесь на новые должности. Петельников — начальником штаба, Румянцев — начальником политотдела, Боркун — командиром полка, Стрельцов и Красильников получают эскадрильи. А теперь прошу всех следовать за мной.

Высокий, выпрямившийся, Демидов важно сделал два шага вперед и открыл дверь в другую половину землянки. Летчики вошли за ним и увидели сдвинутые столы, накрытые чистыми белыми скатертями, тарелки с закуской и наполненные рюмки. Майор Меньшиков и Ипатьев суетились, заканчивая последние приготовления.

— Каждому по сто граммов, не больше,— строго сказал Демидов и по-хозяйски оглядел стол. Потом первым взял рюмку: — Что я хочу сказать, товарищи? Давайте выпьем за победу под Москвой и за то, чтобы дожить до нашей самой большой победы над проклятым фашизмом. Мы многое вынесли, потеряли половину полка. Но согнуть нас было нельзя. Давайте же выпьем за то, чтобы и дальше быть такими...— он запнулся, подбирая слово,— крепкими, стойкими... В общем, как железо.

— Как сталь,— поправил Румянцев.

— Нет, как ртуть,— пробасил Боркун,— она вечно живая.

И они выпили.

☆☆☆☆

Румянцев стоит у порога землянки командного пункта, а мимо него пробегают летчики, придерживая на ходу планшетки. Они спешат к самолетам, чтобы по первой зеленой ракете вырулить на старт, а по второй включить полный газ, снять тормоза и улететь вперед на запад с курсом 270 градусов. Румянцев остается на земле, он и даст эти две ракеты. А пока что он стоит, широко расставив ноги, крепко упираясь ими в твердый, прибитый

подошвами унтов снег. Теплыми карими глазами провожает он летчиков, с радостным возбуждением думает о них:

«Демидовцы! Однополчане мои дорогие!.. Вот идете вы к своим самолетам, простые славные люди, спаянные воздушным братством. Суровое время опалило и ваши лица, и ваши сердца. Вот шагает Алеша Стрельцов. Три месяца назад пришел он в полк неоперившимся юнцом, а теперь под серыми глазами уже завязались узелки морщин. Он и голову держит сейчас по-другому, и вперед смотрит не робко и застенчиво, а смело и требовательно, как настоящий хозяин. С улыбкой, вразвалку бежит к своей голубой «семерке» повеселевший за последние дни Боркун. Подпрыгивает на ходу курчавый Леша Барыбин, ему не терпится скорее увидеть под крылом самолета линию фронта и пересечь ее. Уже сидит в кабине высокий сутуловатый Бублейников, шагает по хрустящему насту Николай Воронов. Идут в бой люди, бесконечно дорогие и близкие».

И, глядя на них, думает комиссар о том, что долог еще и труден их путь. Он только начинается здесь, под Москвой. Поведет их теперь этот путь дальше, на запад. Разные города и реки будут мелькать под металлическими плоскостями самолетов. Будут впереди и победы, отчаянные, гордые, будут и поражения, и не каждый летчик домчится на своих крыльях до скованного фашистской свастикой Берлина. Но твердо верит комиссар в горячее сердце каждого из своих однополчан, в их мужество, благородство и бесстрашие.

Зимний ветер шевелит над землянкой алое полковое знамя. Знамя вынесли на старт, чтобы каждый летчик, уходя в бой, видел его под своим крылом.

— Спасибо вам, демидовцы! — тихо говорит комиссар Румянцев.— Спасибо вам, сыны земли советской!

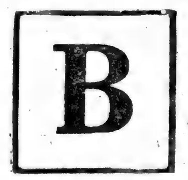
Рука с ракетницей тянется вверх. Хлопок — и зеленый огонь взмывает в низко нависшее небо, еще одна ракета — и уже отрываются с гулом от земли остроносые истребители, склонившись на крыло, проносятся над центром аэродрома, потом над горбатой штабной землянкой и, выстраиваясь, ложатся на курс. А знамя, багряное полковое знамя, колышется на ветру, и кажется, что и оно порывается взлететь вслед за ними.

Июль 1957 — март 1959 г.

☆

ПАНИ ИРЕНА

ПОВЕСТЬ



В древнем польском городе, раскинувшемся вдоль и вширь на многие километры, наполовину сожженном войной и теперь постепенно встающем из пепла, в городе островерхих кирх, длинных трамвайных маршрутов и старых мостов над светлыми водами Одры, на самой его окраине, у развилки дорог, есть скромное солдатское кладбище.

Лет двадцать назад, когда город носил немецкое название, этого кладбища не было. Оно появилось после войны как печальный памятник советским солдатам и офицерам, не дожившим до солнечного Дня Победы, сраженным в последних боях или умершим в полевых госпиталях от неизлечимых ран уже после этого дня.

Сначала это кладбище было скоплением одиноких разрозненных могил, наспех вырытых, иногда увенчанных деревянным столбиком с красной пятиконечной звездочкой и дощечкой, где написано, кто здесь похоронен, когда родился, до какого воинского звания дослужился в боях и походах и когда, в какой день победного сорок пятого года, настигла его смерть. С годами ласковые руки людей, получивших жизнь и свободу от тех, кто уже никогда не встанет из могил, превратили это маленькое солдатское кладбище в цветущий парк. Обнесенное серым решетчатым забором, оно теперь увенчано со всех четырех сторон высокими серобетонными башнями. На постаментах стоят танки и пушки с длинными стволами. Нет, это не декоративные украшения. Потрогайте их, и вы убедитесь, что эти пушки, так же

как и танки, из самого настоящего твердого сплава. Металл почернел от времени, но остался таким же прочным, каким и был в последних, нелегких боях. И стоят теперь эти орудия и танки как символы величия и бесстрашия русского солдата.

Большая арка украшает главный вход. Если войти в нее, увидишь в конце кладбища под пышными кленами одинокую голубую скамейку. Тот, кто сядет на эту скамейку, может хорошо обозревать ровные аккуратные ряды могил, симметрично разделенные асфальтовыми дорожками, прямоугольные плиты с врезанными в камень фамилиями погибших. Почти все плиты серые. Но местами темнеют на кладбище надгробия из черного мрамора, и по ним узнаешь могилы генералов и Героев Советского Союза, честно принявших в этих краях обидную солдатскую смерть за несколько дней, а то, может быть, и за несколько часов до окончания войны.

В майский полдень над кладбищем царит безмолвие. Легкие струйки пара поднимаются от влажной земли. Между могилами не колыхнется от ветерка пестрое поле цветов. В будние дни редко кто заходит сюда в полдень. И от этого безмолвия особенно величественной кажется каменная фигура солдата, высящаяся над кладбищем. Может быть, не все совершенно в этом памятнике, не все подчинено строгим законам искусства. Есть и излишняя грубоватость в очертаниях лица, и сразу бросающаяся в глаза громоздкость в позе солдата, но разве обращает на это внимание тот, кто приходит на кладбище, кого уже и так щемящей болью взяла за сердце тоскливая тишина могил, затененных подстриженными кустами? Этот молчаливый, высеченный из камня воин, одиноко возвышающийся над ними, лишь усиливает впечатление. И нет ничего удивительного в том, что советский полковник, появившийся в будничный полдень на этом кладбище, начал его осматривать именно с этой фигуры. Полковник подъехал к кладбищенским воротам на запыленном вездеходе ГАЗ-69, на котором долго носился по окраинам города, прежде чем нашел нужную развилку дорог. Его водитель, совсем молоденький курносый солдат-первогодок, несколько раз останавливал машину и, коверкая польскую речь, спрашивал прохожих, как проехать к кладбищу. Он и полковник, прислушивавшийся к ответам, понимали далеко не все, но переспрашивать считали неловким и поэтому, выслушав

ответ и поблагодарив прохожего коротким польским «дзенькую», поворачивали совсем не на тех городских перекрестках, где им советовали. Наконец рабочий, ковырявшийся с киркой на обочине шоссе, более седой от пыли, нежели от прожитых лет, указал рукой вперед:

— Теперь просто, пане пулковнику, совсем просто.

И они вскоре увидели кладбищенские ворота. ГАЗ-69 остановился, не доехав до них. Полковник грузно вылез из неудобной машины, водитель следом за ним соскочил на мягкую травку.

— Куда, Сидоров? — окликнул офицер.

— С вами, товарищ полковник.

— Не надо.

Солдат-первогодок обидчиво поджал пухлые губы и сердито поправил непокорную прядку. Сквозь мелкие веснушки на щеках пробился румянец смущения. И полковник, заметивший, что подчиненный обижен невольной резкостью его слов, сказал мягче, пряча в зеленоватых глазах усмешку:

— Не сердись, Олег. Так надо. Я один здесь побуду. А ты погуляй или почитай, что еще лучше...

И пошел к арке. Когда она осталась за его спиной, он остановился и огляделся. Каменный солдат смотрел на него из-под каски строго бесстрастным взглядом, словно говорил: «Иди дальше, иди».

И полковник пошел. Ровные ряды надгробий были перед его глазами. Полковник обходил их медленно, внимательно вглядываясь в надписи. Сойдя с центральной, разогретой солнцем асфальтовой дорожки, шел он замысловатыми петлями меж каменных плит так, чтобы не миновать ни одну из могил. Один раз он наклонился, чтобы получше рассмотреть какую-то стертую надпись. Светлые, уже порядком поредевшие волосы небрежными прядями упали на прорезанный морщинами лоб. Это несколько оживило лицо полковника, на котором своей обособленной жизнью жили зеленоватые глаза. Что-то переменчивое светилось в этих глазах: то притаенная усмешка, то твердость и сухость, когда зрачки замирали, устремившись в одну точку, то удивленность, почти детская, когда расширялись они, заставляя нервно взлетать вверх брови. На темных полевых его погонах блестели авиационные «птички», одна из которых была прикреплена неверно, крылышками в обратную сторону, а на груди, над тремя рядами планок,

нетускнеющим блеском золота сияла маленькая звездочка.

Возле одной из могил полковник остановился, слабая полуденная тень легла на клумбу, но тотчас же метнулась назад, потому что полковник резко выпрямился. Пальцы в черных волосках, сжимавшие козырек фуражки, стиснули его еще сильнее. Не то гравий захрустел под подошвами сапог, не то вздоха, тяжелого, шумного, не смог полковник подавить вовремя и, словно рассердившись на то, что этот вздох вырвался, плотно сжал губы. Зеленые глаза под выгоревшими от солнца ресницами стали горькими, и морщины пробежали по одутловатому лицу.

— Здесь,— самому себе сказал полковник и прочел на такой же, как и десятки других каменных плит: — «Гвардии капитан Виктор Федорович Большаков.

Июль 1920 — май 1945 год».

Прочел сначала про себя, а потом вслух тем же странным осипшим голосом, таким неуместным в устоявшейся кладбищенской тишине. Потом помолчал и совсем неожиданно, совсем уже не осипшим, а торжествующим голосом выкрикнул:

— Виктор Большаков, Вик-тор!

Над обнаженной головой полковника плыло ослепительно ясное майское небо. Рядом шумели клены, трелями захлебывались жаворонки, то припадая к земле, то мячиками отскакивая от нее. Со стороны города доносились приглушенные гудки паровозов, шум фабрик, звон трамваев. Прикованный к короткой надписи на могильной плите, полковник не обратил внимания на голубенькую скамейку, затерянную меж подстриженных кустов, не заметил, как отделилась от нее одинокая женская фигура. Гравий почти не скрипнул под легкими торопливыми шагами. Женщина шла напрямик к нему, минуя памятники и клумбы. Не шаги, а ее возбужденное дыхание услыхал он за своей спиной и стремительно обернулся, недовольный тем, что кто-то посягнул на его одиночество. Женщина явно была не русской. Об этом говорило и длинное белое, не по-нашему скроенное платье, и темный платок, простенький, с нерусскими орнаментами, и широкий черный пояс, плотно перехватывающий талию. В темных, коротко подстриженных волосах виднелись редкие нити седины. Худенькое бледное лицо с узким подбородком было суровым.

Вероятно, она ожидала увидеть кого угодно, но отнюдь не советского полковника: суровое выражение на ее лице сменилось беспокойной растерянностью.

— Пане пулковнику,— заговорила она недовольно,— так бардзо не добже. Здесь кладбище. Здесь не говорят громко.

Тонкие губы женщины оскорбленно подобрались. Он сначала смутился, но, овладев собою, беспечно возразил:

— А почему бы мне и не говорить громко, пани? Что я, рыжий, что ли?

— Рыжий,— повторила за ним женщина растерянно.— Пан полковник произнес слово «рыжий»... Товарищ полковник, товарищ полковник, вы... — Она еще раз взглянула в его зеленоватые глаза, щурившиеся от солнца,— Виктор!

Полковник вздрогнул, все уже поняв.

— Ирена...

— Неужели это ты! — тихо проговорила женщина.— Неужели ты стоишь рядом... живой?

— А что же я, рыжий, что ли, чтобы помирать! — взяв себя в руки, засмеялся полковник.

— Да, да,— глухо проговорила она.— Но как же это? — Женщина посмотрела растерянно на серое надгробие, у которого они стояли. Полковник тоже посмотрел на обелиск, еще раз прочитал все, что значилось на могильной плите:

«Гвардии капитан Виктор Федорович Большаков. Июль 1920 — май 1945 год»...

☆☆☆☆

Среди военных летчиков много зеленоглазых. Кто знает, почему. Может быть, оттого, что зеленый цвет глаз часто присущ людям порывистым и смелым, закалившим в себе волю. Или оттого, что глаза у летчиков, как ничьи другие, преломляют в себе самые различные небесные оттенки. Словом, среди тех, кто сделал своей профессией полеты в небо, много людей с зелеными глазами.

В человеческом обиходе употребляется выражение: прочитать в глазах. Им довольно часто пользуются и в устной и в письменной речи. И действительно, во многих

случаях по глазам сравнительно точно угадывается состояние людей: в горести они или в радости, в тоске или в тревоге. Но у летчиков, обладающих зелеными глазами, сделать это значительно труднее. При всей несовместимой разнообразности оттенков такие глаза часто имеют одну особенность. В нужную минуту они становятся непроницаемыми, словно покрываются заледенелой пленкой, и тогда невозможно узнать, что у человека на душе. Он может бороться с растерянностью, или же тосковать, или раздумывать над принятием важного решения, или быть совершенно спокойным, прогнав от себя робость и неуверенность,— об этом нельзя догадаться по глазам. Чуть насмешливый холодный зеленый блеск их ничего не выдаст тому, кто в эти глаза заглянул.

Попробуйте подойти к срубу и посмотреться в глубокий колодец. За темно-зеленоватой поверхностью вы никогда не увидите дна.

Именно такие глаза были у двадцатичетырехлетнего Виктора Большакова, гвардии капитана, командира корабля из полка тяжелых бомбардировщиков. Любые раздумья и переживания умел он прятать за внешней бесшабашностью и холодной насмешливостью зеленых глаз. Совершив сто тринадцать полетов на бомбометание по дальним объектам, попадал он в самые различные переделки. Не однажды отбивался со своим экипажем от истребителей противника и приводил на аэродром тяжело поврежденную машину. С большим трудом, вопреки всем правилам техники пилотирования, приземлив эту машину, он с удовольствием, прибегая, как и все летчики, к жестикуляции, рассказывал об этих переделках, но никогда его глаза при этом не изменяли спокойно-насмешливого выражения. А если ему было трудно или попросту не хотелось о чем-нибудь распространяться, он, как древний рыцарь за щит, прятался за одну и ту же фразу, которую повторял до надоедливости часто с нарочито дурашливой ухмылкой:

— Да что я, рыжий, что ли? — И умолкал.

Однажды беседовавший с ним по какому-то важному вопросу замполит полка, пожилой и всегда степенный подполковник Латышев, не выдержал и вспылил:

— Послушайте, капитан, мы разговариваем с вами какие-нибудь десять минут, а вы этого рыжего уже пять раз произнести удосужились.— Замполит снял очки в роговой оправе и рассерженно положил их на стол.—

Просто не понимаю. Смотрел на днях ваше личное дело, там черным по белому написано, что до авиационной школы вы в индустриальном институте учились. Ну должна же у вас быть какая-то элементарная интеллектуальность.

Но опять промолчали зеленоватые глаза летчика, лишь уголки рта не то насмешливо, не то обиженно покосились.

— Что касается интеллектуальности, об этом вы со мной после войны приходите рассуждать,— спокойно возразил он,— а сейчас штурвал, триммер, противозенитный маневр... да и вообще, рыжий я, что ли, чтобы об этой интеллектуальности распространяться.

Виктору вспомнилось детство, тесная, на пятнадцать человек, детдомовская комната и его сосед по койке — рыжеголовый слабосильный Валька, у которого петлюровцы заживо сожгли в хате отца и мать. Среди этих пятнадцати нечесаных и не всегда сытых ребят был несносный задира Славка-гусь, безжалостно помыкавший всеми. Только новенького — Виктора — он не трогал, остерегаясь его насмешливых зеленых глаз и жестких кулаков. Однажды Славка-гусь отобрал у рыжего Вальки плитку макухи и, бесстыдно болтая ногами, стал есть ее на глазах у потерпевшего. Было это вечером, перед сном. Виктор вошел в комнату, когда рыжий Валька, всхлипывая от обиды, клянчил:

— Отдай, Гусь... исты хочу... отдай!

Трудно сказать, что разжалобило сразу Виктора,— то ли сморщенное заплаканное личико мальчика, то ли наглая уверенность обидчика,— но только он шагнул к сидевшему на табуретке Славке и потребовал:

— Отдай сейчас же, Гусь... слышишь!

— Подумаешь, командир нашелся,— презрительно протянул Славка, с хрустом грызя макуху: — Вот надаю по шее, будешь знать.

Договорить он не успел. Ударом в подбородок Виктор сбил его с табуретки и навис над ним всей своей плотной фигурой. Плитка макухи полетела в сторону, и обрадованный Валька тотчас же ее схватил. Славка-гусь, сопя, поднялся и замахнулся было на Виктора, но на него посыпались новые удары. Под левым глазом у Гуся вспух красный рубец.

— Пусти, что ли...— запросил он пощады.

— То-то же,— переводя дыхание, смилостивился Виктор.— И запомни, что я тебе не рыжий.

И понес он с тех пор по жизни это грубоватое изречение. Словно куст крапивы в чистый огород, проникло оно в его речь да так и прижилось. Но не объяснять же все это замполиту. И Большаков ответил на его слова усмешкой, которую замполит истолковал совсем по-другому.

Таким же холодно-спокойным был Виктор и в те минуты, когда получал новое задание. Полковник Саврасов, командовавший гвардейской частью дальних стратегических бомбардировщиков, был хорошо известен на всех фронтах. Это он в жестоком сорок первом году, когда немцы были у Химкинского водохранилища и, как казалось почти всему миру, должны были захватить Москву, совершил со своим экипажем неслыханной дерзости налет на Берлин, чем и вошел в историю войны. Саврасову было на год больше, чем гвардии капитану Большакову, и был он для всех летчиков непререкаемым авторитетом, потому что летал наравне с ними и никогда не прятался за чужие спины, если выпадали трудные боевые задания. Появившись у командира полка в кабинете, Виктор небрежно откозырял и вместо уставного «гвардии капитан Большаков явился по вашему вызову» коротко спросил:

— Звали, товарищ полковник?

Саврасов вместе с начальником штаба сидел над картой фронта и дальних тылов противника, разостланной на добротном письменном столе с резными массивными ножками, но такой большой, что она падала со всех сторон на паркетный, давно не вощенный пол.

Штаб полка размещался в старинном фольварке с белыми ажурными колоннами, принадлежавшем Казимиру Пеньковскому, предусмотрительно сбежавшему с отступающими фашистами. В большом зале на стенах висели портреты. Саврасов, выбиравший помещение под штаб, войдя в нарядный зал, решительным жестом указал ординарцу на стены:

— Этих убрать в сарай.

Через минуту вбежал запыхавшийся замполит Латышев и сердито воскликнул:

— Ну не ожидал я от тебя, Александр Иванович! Ты же Шопена и Сенкевича выбросил. Да еще Огинского в придачу.

— А, черт,— выругался Саврасов,— они же без подписи были! Тогда всех назад, ординарец.

— Постой, командир,— засмеялся замполит,— всех назад тоже не надо. Там же Пилсудский и Мосьцицкий вместе с ними.

И остались в зале портреты всему миру известных поляков, о которых вчерашний молотобоец Сашка Саврасов, добродушно улыбаясь, сказал: «Вот черт, теперь я эти лица до самой смерти не спутаю».

...Услыхав спокойный, чуть глуховатый голос Большакова, Саврасов поднял голову. На кителе у него звякнули две золотые звездочки.

— Садись, Виктор, в ногах правды нет.

Большаков сел в большое мягкое кресло. Резные подлокотники щерились на него львиными зевами. Он положил планшетку ребром на колени, придавил ее тяжелыми ладонями.

— Ты как отдохнул? — поинтересовался Саврасов.

— Вполне удовлетворительно.

— Вот и хорошо. Пойдешь ночью на большой радиус. Очень сложное и опасное задание, не скрываю...

— Чего ж скрывать,— пожал плечами Большаков,— мы не в прятки играем, воюем. А я уже пережил свой сто тринадцатый вылет. Раз на сто тринадцатом не сбили, дальше жить будет легче.

— Вот и пойдешь в сто четырнадцатый,— подытожил полковник.— Смотри.— И он ткнул красным карандашом в карту. Между Брестом и Бяла Подляской маленьким кружком затерялся аэродром Малашевичи, что приютил дальние бомбардировщики полка. Острый карандаш провел от этого аэродрома длинную, в несколько изломов линию.— Пойдешь вот так,— озабоченно продолжал полковник Саврасов,— от Малашевичей до Минска-Мазовецкого на полторы тысячи метров. Дальше впереди линия фронта и Варшава. Варшава нам, конечно, ни к чему. Ее надо обойти. От Минска-Мазовецкого скользнешь на север и Вислу пересечешь южнее Вышкува. На этом отрезке наберешь пять тысяч метров. Зенитки тебя, разумеется, обнаружат и обстреляют. Уйдешь за облака и потом с курсом двести восемьдесят пять выйдешь за городом Коло. Отсюда, над этими вот лесными массивами, пройдешь до южной окраины Познани. Здесь их центральный аэродром. Он послужит тебе ориентиром. Видишь, как все сложно с маршрутом.

Большаков недоверчиво усмехнулся:

— В сорок первом из-под Орла на Констанцу и на Плоешти посложнее были маршруты.

— Подожди, не суйся поперед батьки в пекло,— сдержанно осадил его полковник,— самого главного не успел еще тебе сказать. Дело не только в маршруте. Очень трудна и опасна цель. Здесь, в районе познанского аэродромного узла, твой экипаж должен снизиться до четырехсот метров. Сам знаешь, что это такое, когда ПВО будет работать на полную катушку.

— А цель? — нетерпеливо перебил Большаков.

— Цель точечная,— медленно произнес Саврасов, и его смуглое лицо южанина стало еще более серьезным.

— Мост?

— Нет.

— Вокзал?

— Тоже нет. Казино. Казино, под которое они приспособили бывший кинотеатр. Сегодня там большое совещание фашистского командования. Будет весь цвет Варшавского фронта: и старшие офицеры, и генералы.

— А откуда вы с такими подробностями,— осклабился Большаков,— они вам что, пригласительный билет разве прислали?

Саврасов погасил улыбку в коротких густых усах.

— Вроде как да. Только не они, а наши разведчики. Теперь ты понимаешь, какое это облегчение для всего фронта, если ты накроешь всю эту сволочь серией бомб.

— По-ни-маю,— врастяжку ответил Виктор.

— Ну и отлично,— не глядя ему в глаза, продолжал командир.— На высоте четыреста метров подвесим над юго-восточной окраиной Познани САБ[1]. Бомбить будешь по данным нашей разведки. Наши разведчики дважды подадут сигнал: две зеленые и одну красную ракеты. Кинотеатр рядом с двумя костелами. Их постарайся пощадить. Нам сейчас с папой римским ссориться нечего. Вот, кажется, и все. Можешь идти и прокладывать со своим штурманом маршрут.

Но Большаков не уходил.

— Понятно,— медленно протянул он,— значит, будем бомбить, как «илы», почти с бреющего. Хорошенькая работа! Не каждый день бомберам такую задают.

— Если не уверен, что попадешь, откажись,— сухо

---

[1] САБ — светящаяся авиабомба.

предложил полковник, снова наклоняясь к карте и всем своим видом показывая, что разговор исчерпан.

— Зачем же,— усмехнулся Большаков,— что я, рыжий, что ли, чтобы не попасть, да еще с таким штурманом, как Алехин.

— Тогда прокладывайте маршрут. Вылет в двадцать один ноль-ноль.

Когда осенние сумерки плотно легли на землю, открытый, много раз чиненный «виллис» заехал за Виктором Большаковым. На заднем сиденье сидели штурман Алехин и два воздушных стрелка, неестественно громоздкие в мягких меховых комбинезонах. Летный состав носил их и в теплое время, потому что в дальних полетах приходилось подниматься на большие высоты. Эти трое плотно жались друг к другу, стараясь оставить для капитана побольше места. Рядом с водителем сидел полковник Саврасов, в шлемофоне, коричневой кожаной курточке и франтоватых хромовых сапогах, таких тесных, что было удивительно, как это он еще ухитрился засунуть в голенище ракетницу.

— Готов, что ли, Виктор?

— Готов.

— Ну, полезай, дружище. Назвался груздем — полезай в кузов.

— Я груздем не назывался,— с холодной усмешкой откликнулся гвардии капитан,— это вы меня в грузди определили...

— А что, уже не нравится? — подзадоривающе спросил Саврасов.— Могу Яровикову или Нечаеву поручить это задание, а тебе другое. К примеру, скажем, два отработанных мотора в Куйбышев на Безымянку переправить. До Волги лети себе полегоньку: ни тебе «мессеров», ни зениток, даже прожектора ни одного. Курорт!

— Висла — это тоже ничего,— огрызнулся лениво Большаков,— она при зенитках и прожекторах совсем как в карнавальную ночь. А на Волге затемнение от устья и до истоков. Обойдемся и без Яровикова с Нечаевым как-нибудь.

«Виллис», скрипя изношенными рессорами, подпрыгивал по кочкам и уже несся наискосок по летному полю к одной из самых дальних стоянок, где находилась «голубая девятка» гвардии капитана Большакова.

У полковника Саврасова была одна отличительная черта. Он становился особенно заботливым и внима-

тельным, когда речь шла об очень ответственном, сопряженном с огромным риском полете. В таких случаях он всегда до самой стоянки провожал экипаж и в зависимости от того, что за человек был командир экипажа, либо говорил ему дерзкие, подзадоривающие слова, как это он делал сейчас с Виктором Большаковым, которого втайне сильно любил, либо до надоедливости был ласковым и предупредительным, если имел дело с летчиком, по его мнению, немного колеблющимся, которого надо было подбодрить и упрочить в нем уверенность в успешном возвращении.

На этот раз боевое задание было не только весьма трудным и опасным. По мнению начальника штаба полка, экипаж, сумевший накрыть бомбами кинотеатр, где происходило совещание нацистов, должен был впоследствии попасть под губительный огонь зенитных батарей и быть неминуемо сбит. Саврасов этого мнения не разделял. Он даже прикрикнул на подчиненного, когда тот не совсем уверенно сформулировал эту свою точку зрения, но про себя подумал, неприязненно поглядев на седую голову пятидесятилетнего начальника штаба: «А ведь прав старый штабной волк». И у него самого, у бывшего кузнеца Сашки Саврасова, руководившего первым налетом на Берлин, горько и обидчиво застучало сердце оттого, что не мог он беспощадно опровергнуть эти такие неуместные слова о живом.

Вот почему, провожая гвардии капитана Виктора Большакова в полет, интуицией опытного летчика, побывавшего во всяких переплетах, понял он, что не может с безупречной точностью ожидать назад этот самолет и его приземление, которое было указано в таблице боевого расчета под цифрами «23.57». И от этой жестокой реальности тоской наполнилось сердце командира. Так они и ехали в одной машине к самолетной дальней капонирной стоянке: дважды Герой Советского Союза, молодой, дерзкий полковник, которого знала вся страна, и никому за пределами своей части не известный рядовой командир экипажа гвардии капитан Виктор Большаков. Они всю войну провели вместе, в одном полку, и были незримые нити, которые их прочно связывали, временами превращая отношения начальника и подчиненного в отношения ровесников.

Над аэродромом набухали плотные сентябрьские сумерки. Пожелтелые листья грустно шевелились на де-

ревьях. Их глухой и невнятный шелест наполнял тоской. Сквозь просветы между деревьями с опушки виднелось широкое, потонувшее в сумерках поле аэродрома. Ночью казалось, что нет ему ни конца, ни края. Высокие кили дальних бомбардировщиков сейчас почти не проглядывались даже на близком расстоянии. «Виллис», чихая мотором, домчал их до притаившейся под маскировочной сетью «голубой девятки». Приняв от техника рапорт о готовности материальной части, Виктор стал на земле надевать на себя парашют, затягивая на толстых ногах лямки. Один за другим защелкнулись замки. Фантастически толстый в вечернем мраке, Большаков похлопал себя по коленкам кожаными крагами, глуховато продекламировал:

Были сборы не долги,
От Кубани до Волги...

В потемках не различишь его глаз, но о самочувствии его гораздо точнее можно было судить по голосу: он явно подсмеивался над полковником, остающимся на земле, над его виноватой заботливостью. Саврасов подошел к капитану ближе, положив на плечо ему руку:

— Ты только не дури, Виктор. Риск, разумеется, риском, но не дури. Осторожность, она никогда не вредна. Я уважаю тебя, дружище, и ты это знаешь,— тепло признался полковник,— и если бы не мне, а тебе пришлось бомбить Берлин, ты бы это задание не хуже выполнил.

— Ну это вы уже зря, Александр Иванович,— перебил гвардии капитан.

Но полковник в знак возражения поднял правую руку, сжав ее в кулак, толкнул по-дружески капитана в спину.

— Ладно, ладно, старик, давай возвращайся благополучно.

А потом захлопнулись люки, и аэродром огласился гулом запущенных моторов.

☆☆☆☆

Рев моторов сплетался в тугую басовитую струю.

Уже несколько минут «голубая девятка» находилась в воздухе. Оба двигателя равномерно пожирали высоко-

октановое горючее. Правая рука Большакова очень легко лежала на штурвальной баранке, а ноги в тяжелых унтах время от времени утопляли то одну, то другую педаль. В кабине было выключено освещение, но приборная панель не стала от этого темней. Фосфоресцирующие стрелки матово отсвечивали. Свет этот напоминал мертвенное мерцание северного снега под стылой луной, но на Виктора удручающего впечатления не производил. Наоборот, он ему больше напоминал ровный, успокаивающий глаза кабинетный свет, при котором хорошо читать умные, интересные книги или готовиться к занятиям. Немного замкнутый по натуре, Виктор любил ночные полеты. Время в них тянулось медленнее, чем в дневных, опасности возникали только над линией фронта, большими городами и целью, а на остальных этапах маршрута, когда большая машина, растворившаяся в бескрайнем ночном мраке, становилась настоящей невидимкой, летчиком овладевало подкупающее спокойствие. Под ровный шум моторов, поставленных на большой шаг винтов, хотелось думать и думать.

И еще любил Виктор этот двухмоторный бомбардировщик за его приспособленность к дальним полетам, проходившим очень часто в облаках или за облаками, когда и земля-то не видна, да за уютность обжитой кабины. Раньше летал он и на Пе-2 и на СБ, но там приборная доска почему-то казалась ему сложнее и само расположение тумблеров, рычагов и кнопок не таким удобным, как здесь.

По глубокому убеждению Виктора Большакова, все летчики делились на три категории: на случайных, неприспособленных и прирожденных. Первая категория пояснений не требовала. Входили в нее люди, попавшие в авиацию по недоразумению. Чаще всего в пилотскую кабину их приводил юношеский порыв, а потом они уясняли, что авиация вовсе уж не такое романтическое занятие, каким казалось. Одни из этих случайных быстро выбывали: кто погибал в авиационных катастрофах, кто пользовался первым удобным случаем, чтобы списаться и как можно дальше оказаться от сложной, неподвластной ему машины, именуемой самолетом. Те же из них, кому не пришлось ни погибнуть, ни списаться, оставались в авиации тяжким грузом и составляли категорию неприспособленных, про которых инструкторы и командиры давным-давно сложили ходкую поговорку о том,

что медведя и того научить летать можно. И наконец, третья, наиболее многочисленная категория — к ней, несомненно, принадлежал и сам Виктор Большаков — состояла из летчиков по призванию, влюбленных в авиацию и преданных ей «от дна до покрышки», как об этом говорил тот же полковник Саврасов.

Возможно, поэтому, немногословный и замкнутый на земле, Виктор Большаков словно оттаивал в воздухе. Черты его лица становились мягче, нижняя челюсть не казалась тяжелой, а зеленые глаза излучали добрый и нежный свет, и не было в них обычного ледка. Голос его тоже был добрым и мягким, когда окликал он по переговорному устройству членов своего экипажа или подбадривал их в минуты опасности. В полете ему приходили самые неожиданные мысли, и он любил им предаваться в ночной тишине и одиночестве, когда затерянной песчинкой в синем от звезд пространстве шел бомбардировщик к цели, ровно, без толчков и побалтываний, отчего скорость почти не ощущалась.

Сейчас Виктор испытывал легкое давление на уши. Самолет шел с набором высоты. Под широкими плоскостями «голубой девятки» уже промелькнули темными, едва различимыми контурами и маленький зеленый городок Бяла Подляска, и железнодорожный узел Седлец, и, наконец, приблизился, наплывая на огромный остекленный нос бомбардировщика, беленький, провинциально уютный Минск-Мазовецкий. «Кто же это мне говорил,— усмехаясь, вспомнил Виктор,— будто, когда у Пилсудского сдохла любимая собака, он велел поставить ей в этом городе на собачьей могиле обелиск. Интересно, правда это или брехня?»

— Гейдаров! — окликнул он стрелка-радиста.

И мгновенно с легким кавказским акцентом отозвался из хвостовой рубки сержант:

— Слушаю, командир.

— Передай, что прошли Минск-Мазовецкий и меняем курс.

— Есть, командир.

— Штурман, меняем курс, как настроение?

— Гвардейское, командир, — засмеялся в наушниках Алехин.

От прибавленных оборотов оба мотора с натугой завыли, и носовая часть самолета приподнялась. Земля теперь удалялась от них, поглощенная сумерками фрон-

товой ночи. «А все-таки она тихая,— подумал Виктор,— вот что значит летать не в сорок первом, а в сорок четвертом». И ему вспомнилось, как, бывало, с этим же самым экипажем ходил он на боевые задания суровой зимой сорок первого. Он тогда взлетал с Раменского аэродрома, а дальними объектами считались цели под Киевом, Полтавой и Львовом. И пока шли до фронта, даже в самую темную ночь, напоминала о себе земля пожарами, густыми струями пламени, с высоты казавшимися каплями крови на теле родной земли. «А теперь уже мы вырвались из плена,— подумал он,— сами наступаем».

Капитан вспомнил об экипаже. Он к нему очень привязался. И к застенчивому белявому штурману старшему лейтенанту Алехину, и к стрелку-радисту, всегда шумному, жгуче-черному азербайджанцу Али Гейдарову. Вот Пашков, нижний люковой стрелок, у него сегодня новый, с этим он не летал. Но в воздухе с ним будет поддерживать связь только Гейдаров, а у самого командира корабля лишь два радиокорреспондента: штурман и стрелок-радист. Он их знал еще по сорок первому и доверял им беспредельно. Алехин увлекся математикой, а Гейдаров возил за собой с аэродрома на аэродром подаренную ему, как он говорил, еще дедом, зурну и на досуге пел то длинные, как ночь, то стремительные, как ветер, родные азербайджанские песни. Его поддразнивали, часто спрашивая, хорош ли город Баку, и Гейдаров, скаля от удовольствия большие белые зубы, хлопая себя по ляжкам, восклицал:

— Разве не знаешь, дорогой, разве не был у пас ни разу? Это такой город, такой город! Пальчики оближешь, когда попробуешь вино «кара-чанах», виноград «Шамхор», шашлык по-карски с гранатовым соусом. Всем угощу, когда приедешь.

А Большаков смотрел в такие минуты на Гейдарова и невесело думал: «Нет, не вернешься ты на родной Апшерон, дорогой Али, и угощать тебе никого не придется. Слишком легкая пожива для «мессершмиттов» и «хейнкелей» стрелок-радист тяжелого маломаневренного бомбардировщика».

Да, Большаков был прав в своих мрачных предположениях. Не проходило недели, чтобы кто-либо из командиров экипажей не сажал на летное поле самолет с убитым или тяжелораненым стрелком. И получалось

обыкновенно так, что машины эти возвращались домой с двумя—пятью пробоинами или другими повреждениями, легко поддающимися устранению, а в кабине стрелка, под выпуклым сферическим колпаком, безвольно качалось на привязных ремнях тяжелое стынущее тело. Потом в вышестоящий штаб посылалось лаконичное донесение: мол, в течение ночи с такого-то на такое-то полк уничтожал заданную цель. Совершено столько-то боевых вылетов, сброшено столько-то ФАБов[1] и ЗАБов, противнику причинен такой-то ущерб. Все самолеты возвратились на свой аэродром. Потери: один стрелок-радист.

А утром у входа в столовую вывешивался траурный боевой листок. Из угрюмой черной рамки глядело на проходящих чье-либо до боли знакомое мальчишечье лицо.

Но Гейдарову везло. Три раза повидал он на близком расстоянии черные кресты «мессершмитта», сбил одного, и даже пулей тронут не был.

— Подходим к линии фронта, — послышался в шлемофоне голос Алехина.

— Слышу, штурман,— ответил ему задумавшийся Большаков.

Плавными движениями рулевой он установил новый курс. Набирающий высоту бомбардировщик снова выровнялся в синем ночном пространстве. Под правой его плоскостью, где-то в стороне, лежал сейчас объятый сумерками городок Вышкув. Над линией фронта уже появились облака, но были они рваные, в их огромных разрывах зияла земля, но совсем уже не такая сонно спокойная, какой она была до сих пор на всем протяжении полета. Всполохи зеленых и белых ракет освещали прибрежные селения, и даже с высоты было заметно, что многие из них разрушены и мертвы, только у обгорелых каменных стен и в огородах прячутся танки и орудия да задымленные походные кухни. Виктор перевел медлительный взгляд налево и в разрывах облаков увидел желтые песчаные отмели. Нет, это можно было догадаться только, что они желтые. Сейчас при безжизненном ракетном свете войны было видно, как жадными острыми языками влизываются они в темную гладь реки. Висла, широкая и тихая, почти прямая в этом месте,

---

[1] ФАБ — фугасная, ЗАБ — зажигательная авиабомбы.

с высоты казалась недвижимой. Ни одного баркаса не было на ее поверхности. Лишь тонкие трассы фланкирующих пулеметов секли воздух над самой водой.

«Вислу воспевали, называли красавицей,— горько усмехнулся Виктор,— чего же тут красивого в этих желтых плесах и желтых пулях над ними». И ему вдруг стало горько и больно оттого, что он так долго воюет. Сто тринадцать раз пересекал он линию фронта, и какая разница, в каких широтах? Сто тринадцать раз имел дело с зенитками, а иногда и «мессершмиттами», сто тринадцать раз напрягал волю, а нервы заставлял становиться бесчувственными. Сколько же придется еще?!

У Большакова было свое собственное отношение к войне. Он прекрасно понимал, что в ее большом водовороте он всего лишь затерянная, маленькая песчинка, что сила каждой из воюющих сторон: с одной стороны — его Родины, а с другой — мрачной фашистской Германии — состоит из миллионов таких песчинок, но все-таки считал судьбу свою одной из самых трудных солдатских судеб.

Круглый сирота, Виктор за месяц до войны в одном из сочинских санаториев повстречал повзрослевшую школьную подругу Аллочку Щетинину и женился на ней. На рассвете 22 июня он был вызван в полк по тревоге и в тот же день уехал на фронт, провожаемый тихой, беленькой, заплаканной Аллочкой. Почти в беспамятстве целовала она его горькими, пахнущими мятой губами и жалобно шептала, закрывая глаза:

— Как все это страшно, Витюша, как страшно. А что будет, если я стану к тому же и матерью?

Его огорчила тогда эта новость. Он, постоянно мечтавший о ребенке, говоривший о нем в короткие ночи их жадной молодой любви десятки и сотни раз, вдруг расстроился от одной мысли, что Алла будет ожидать родов одна, что эти недолгие торопливые их ласки были, может, последними в его жизни. А потом, весной сорок второго года, он получил из далекого волжского города простенькую фотографию, где была похудевшая печальная Аллочка и двухмесячный их сын Сережка у нее на руках, с раскрытым, пухлым, как у всех младенцев, ртом и темными пуговичками удивленных глаз. Далеко не все однополчане знали о его женитьбе, и вряд ли кто мог предполагать, что этот немного хмурый с виду и малость заносчивый капитан едва не плачет по ночам, целуя фотографию и воскрешая в памяти короткие ночи своей первой большой

любви. И Виктору всегда казалось, что его солдатская судьба, пожалуй, одна из самых горьких.

— Душу мне война растоптала, — произнес он вполголоса, — по самому телу прошла.

Темная Висла, временами озаряемая вспышками орудий, бьющих с левого и правого берега, уплыла под крыло, и Володя Алехин скупо передал:

— Командир, нас обстреливают зенитки. Заткнуть им глотку ФАБом?

— Потерпи, штурман, не стоит размениваться на мелочи.

За толстым бронированным стеклом пилотской кабины ночь и линия фронта в огневых разрывах. Впереди и справа темень прорезали три яркие вспышки. Клубы огня на мгновение озадачили капитана, но он тотчас же заставил тяжелый корабль чуть снизиться и накрениться в сторону разрывов. Вероятно, он это сделал вовремя, потому что следующий черный клубок остался уже слева.

— Отличный маневр, командир! — восторженно воскликнул штурман.

— Крепись, Володя, — ободряюще отозвался Большаков и только сейчас понял, что весь этот сложный противозенитный маневр он выполнил гораздо раньше, чем успел его осмыслить. «Отчего бы это? — подумал он. — Неужели оттого, что в действиях летчика на самом деле есть тот самый автоматизм, о котором инструкторы нам продолбили уши в авиашколе? Глупости. Никакого автоматизма нет. Летчик такой же человек, как и все другие. Есть разум, и есть быстрота реакции, рождаемая этим разумом. И еще к тому же привычка. А все-таки чудесное вещество маленький комочек, именуемый человеческим мозгом, — усмехнулся про себя Виктор. — Вероятно, со временем люди научатся строить самолеты с огромными скоростями, может быть, на Луну и на Марс улетят, а вот такое вещество едва ли в какой лаборатории изобретешь».

— Ты как там, штурман? — спросил он по СПУ [1].

— В авиации порядок, — рассмеялся в наушниках Алехин. — Из одной зоны огня вышли, второй отрезок маршрута пройдем поспокойнее.

— Я наберу еще с полтысячи метров.

— Давайте, командир.

---

[1] СПУ — самолетное переговорное устройство.

И снова равномерный гул моторов и ночь за остекленной кабиной. Кто это сказал, будто бы летчик не думает, а только действует в полете, что в воздухе для посторонних размышлений у него не остается времени? А! Это о нем самом, о Викторе Большакове, так написали в сорок первом году в армейской газете. Приезжал смуглый молоденький лейтенант, страшно смущавшийся в разговоре оттого, что одним неосторожным вопросом может обнаружить свою авиационную неграмотность. А потом пришла газета, и Виктор в ней прочел: «Горластые моторы вынесли самолет на высоту в пять тысяч метров, и вот настали минуты, когда летчик не может думать ни о чем постороннем. Только приборы, только наблюдение, только штурвал». Шалишь, мальчик. Все ты наврал. Для чего же человеку дана такая чудесная машинка, как мозг, если он не будет ею пользоваться. Вот и сейчас, с противозенитным маневром. У него в сознании еще не успели сложиться слова об опасности, а этот комочек отдал приказ, и руки действовали и уносили прочь от разрывов пятнадцатитонную машину. И разве не он, этот удивительный комочек, привел людей к тому, что стали они поднимать в воздух такие пятнадцатитонные машины, водить их на больших высотах, где без кислородной маски много не надышишь?

А что такое самолет, летящий к заданной цели? По глубокому убеждению Большакова, самолет в воздухе — это соединение лязга металла, грохота моторов и огня. И в этой формуле главным элементом он считает огонь, потому что весь самолет от хвоста и до носа, увенчанного штурманской кабиной, наполнен огнем. Да, это так. Огонь врывается в ночь веселыми всполохами из-под капотов обоих моторов, он мерцает под стеклами приборов на приборной доске. Огнем заряжены пулеметы и пушки этой большой машины, гудящей сейчас над тревожно притихшей землей. Огонь в огромной концентрации дремлет в фугасных зарядах бомб, подвешенных под крыльями или наполняющих бомболюки, даже в ракетнице, что на всякий случай засунута за голенище сапога у него, командира экипажа, — и в той огонь.

«А в душе у тебя, Виктор, — вдруг спросил он себя самого, — у Алехина, у Али Гейдарова, может, одна усталость и никакого огня? Ведь четвертый год бороздишь ты фронтовое небо, ускользая от зениток и вражеских истребителей, с единственной задачей — дойти всякий раз

до указанной точки и сбросить бомбы именно туда, куда требует задание».

Он усмехнулся и передернул плечами, гоня прочь эти тяжелые мысли. «Да что я, рыжий, что ли, чтобы позволить усталости потушить огонь. Есть огонь!» И он подумал о своем заветном, да и не только его, но и всех летчиков, желании дожить до того дня, когда Саврасов развернет карту и скажет:

— А теперь, друзья мои, я вас прошу проложить маршрутную черту прямехонько на Берлин. — Прищурится и усмехнется: — Все ли нашли на карте Берлин?

И он, Виктор Большаков, обязательно тогда попросится повести первый эшелон дальних тяжелых бомбардировщиков на фашистскую столицу. Он ни за что не спутает район Силезского вокзала или Александерплац с Панковом или Карлсхорстом. Они с Алехиным прорвутся сквозь столбы прожекторов к самому центру, пронесутся над аркой Бранденбургских ворот и положат куда надо бомбы. А если Саврасов сам решит повести на цель бомбардировщики? Тогда Виктор, невзирая на разницу в чинах и званиях, положит ему руку на плечо — они же почти ровесники — и скажет:

— Слушай, Александр Иваныч, это уже эгоизм. Ты ходил на Берлин, когда это казалось невозможным всему миру, потому что наша армия отступала и фашисты стояли под Химками. Не зажимай же теперь подчиненного. Мне с двадцать второго июня снится этот налет. Мы хорошо с Алехиным ударим. За всех наших погибших товарищей, за всех солдатских вдов, за всех, кто томится в концлагерях или не дожил до этого дня.

И конечно же, тогда бывший луганский кузнец Сашка Саврасов не выдержит, потому что не из глухого железа у него сердце, и предоставит это право ему, Большакову.

...А сегодня как ты понимаешь этот свой полет, Виктор?

Большаков поджал губы... Самолет вошел в сплошную облачность, и его стало резко встряхивать. Машину било неровными тряскими толчками, и летчику приходилось теперь внимательно пилотировать, чаще дополнять движения штурвала движениями рулей глубины.

— Командир, до цели тридцать пять минут, — доложил Алехин.

— Знаю, — согласился Виктор, — через пять минут меняем высоту и курс.

Цель! Где-то она притаилась в ночном мраке и, вероятно, не ждет, совсем не ждет, что в эту темную осеннюю ночь, во всем похожую на все другие осенние ночи, четыре человека на высоте шести тысяч метров, такие неуклюжие в своих меховых комбинезонах и сковывающих движения кислородных масках, несут ей смерть. «Цель у меня сегодня веселая», — определил капитан и сразу представил оживление, царящее сейчас за шторами немецкого казино. Вероятно, деловое совещание фашистских штабистов давно завершилось и теперь они развлекаются. Под высоким сводчатым потолком в хрустальных люстрах сияет огонь, пожилые генералы гитлеровского вермахта, вытянув ноги, блаженно греются у камина, а в большом зале саксофоны, смычки и флейты захлебываются какой-нибудь по-немецки сентиментальной джазовой песенкой, скользят по навощенному паркету эсэсовцы и фронтовики с какими-нибудь раскрашенными артисточками или иными женщинами, случайно подаренными им войной.

А может, нет ни музыки, ни танцев, ни накрашенных девиц. Длинный стол с закусками и рядами бутылок, и за ним чисто мужской ужин и почти деловой разговор. Где-нибудь в центре стола генерал-полковник Ганзен, о котором шепнул ему перед вылетом Саврасов, командиры дивизий и корпусов, сдерживающих советские войска на Висле, — весь цвет фашистского фронта. «Рюмки две коньячку с того стола сейчас бы пропустить неплохо», — усмехнулся про себя Виктор.

— Цель хорошая, — произнес он вслух.

— Вы что-то сказали, командир?

— Ничего, Алехин, ровным счетом ничего.

— Мы прошли Коло.

— Очень хорошо.

И опять ревут моторы. Но странно, как разбегаются мысли. До цели остается двадцать минут, а ему ни о чем не хочется думать. Гул моторов сейчас не кажется убаюкивающим. И кабина, столь хорошо обжитая, тоже не кажется больше уютной. Вместе с приближением цели приходит к нему та тревожная возбужденность, которую уже переживал он в этой войне сто тринадцать раз. Нет, она — не страх. Она — это возбуждение перед неизвестностью, перед тем, что его ожидает над целью. Это те

минуты, когда любой летчик теряет последнее представление о боевой авиационной романтике, когда унылой, опасной и трудной кажется предстоящая работа, и только. Виктор знает и другое: стоит ему лишь успешно сбросить бомбы, вызвать огонь и взрывы во вражеском тылу, и на смену этой оцепененности мгновенно придет пьянящее чувство боевого азарта. Но сейчас... Он словно впервые замечает, что жестко сиденье, в котором утоплен парашют, что лямки застегнуты неудачно и жмут, что кислородная маска плохо пригнана, а ларингофоны на шее слишком холодны. Вдобавок ко всему раздражает свет, что заливает приборную доску, — он блеклый, безжизненный...

И капитану начинает казаться, что, отделенный от членов своего экипажа металлическими переборками кабин, он сейчас совсем одинок в черном массиве ночного неба, упрятавшего за ровным однообразно-непроницаемым слоем облаков польскую землю с ее городами и селами, обожженными войной.

«Это нервы, — шепчет про себя Виктор, — это надо прогнать».

Он знает по опыту, сколь тяжело переживать в дальнем бомбардировщике неизбежные ощущения, овладевающие при подходе к цели, когда тревожная неизвестность все активнее и активнее наступает на тебя. «Нет, ты меня не сломишь. Я не сдамся тебе на милость», — повторяет он. И странное дело: чем ближе цель и время нанесения по ней удара, тем спокойнее становится на душе, и в холодной металлической кабине четким и безошибочным кажется каждое сделанное движение.

Отдав от себя штурвал, он погружает нос бомбардировщика в черную кипень ночи. Клубятся за плексигласом облака, нос самолета бесшумно вспарывает их, а встревоженная стрелка высотомера, дрожа, как в ознобе, шарахается вправо. Нелюдимо-однотонный полог туч кончается на высоте двух тысяч метров. Если бы прочертить сейчас кривую снижения, она бы получилась замысловатой. Капитан утопил свой самолет в бездонной темноте и очутился гораздо западнее Познани. Он скорее почувствовал, нежели определил по темным контурам земли, что летит теперь под облаками и может наблюдать большие ориентиры.

Где-то близко притаилась в ночном хрупком молчании Познань. Огромный город, оккупированный фаши-

стами, сторожко спал, и ни одного огонька не было видно. Значит, и тут, в далеком сравнительно от линии фронта городе, не видят снов и умеют хорошо опускать маскировочные шторы.

— Командир, до цели восемь минут.

— Слышу, штурман. Стрелок, усилить наблюдение.

— Есть, командир. На земле темно, как на дне Каспийского моря.

— Скоро слишком светло станет, — мрачно замечает Большаков.

Машина снижается и снижается, идя с небольшим углом к земле. Глаза, привыкшие к темноте, уже в состоянии выделять густые массивы леса, контуры деревень и поселков, узкие наделы хуторов, которыми исполосована почти вся польская земля.

— Командир, курс восемьдесят шесть.

— Есть восемьдесят шесть!

— Доворот пять влево.

— Есть пять влево!

— Бросаю САБ! — кричит Алехин.

Бомба парашютирует над землей, и тотчас же при ее желтом неровном свете рождаются призрачные очертания города. Виктор увидел веером разбегающиеся улицы, трамвайные пути, фабричные трубы и купола церквей. Из пилотской кабины обзор был хуже, и он не удивился тому, что не заметил самого главного.

— Командир, нам сигналят, — торопливо передал Алехин, — вижу зеленые и красные ракеты. Доворот влево пятнадцать.

— Есть пятнадцать влево! — спокойно ответил Большаков и сам удивился этому спокойствию. Откуда оно берется, когда до самого опасного остаются эти последние пять-шесть минут. Вот и кровь, кажется, перестала стучать в висках, и пульс стал ровнее, лишь голос, каким отдавал он команды, носит следы только что пережитого нервного напряжения: он сдавленный и глуховатый. Зеленые и красные брызги сигнальных ракет всплеснулись над крышами Познани. Если соединить точки, из которых поданы эти сигналы, образуется правильный треугольник, и в центре его два костела и высокое здание кинотеатра. «Интересно, какую по счету рюмку поднимают сейчас за своего фюрера фрицы, — холодно усмех-

нулся Виктор, — не будь я Большаковым, если у некоторых из них она не окажется последней».

Он круто отдает от себя штурвал, убирает обороты обоих моторов. Думает: «Очень важно подойти на приглушенных моторах. На приглушенных».

Гулкий, басовитый рев становится тише, моторы шипят, словно два исполинских змея, изготовившихся к прыжку. Зеленые глаза Виктора сузились и точно заледенели. В них нет ни испуга, ни волнения, одно бесстрастное ожидание. По вздрагивающему голосу штурмана Большаков догадывается, что тем овладел сейчас необузданный азарт. Алехину не терпится обрушить на казино бомбы. На высотомере стрелка уперлась в цифру «3»: это уже не тысячи, а сотни метров отсчитывает она, словно подхлестывая экипаж. Тяжелый бомбардировщик будто застыл: до того он медленно приближается к цели.

— Боевой курс!

Это командует штурман, ему надо поточнее прицелиться.

— Есть боевой курс! — откликается Виктор серьезным, посуровевшим голосом. Наконец наступили те самые ответственные секунды, когда летчику надо провести машину без единого крена, строго по прямой до того мгновения, пока не вздрогнет она осчастливленно, освободившись от груза подвешенных к крыльям бомб.

Чуть ссутулившись, замер Большаков в жестком пилотском кресле и чем-то сейчас напоминает большую нахохлившуюся птицу, напряженно высматривающую добычу. Ненужная кислородная маска временно сброшена. В глазах застыли капельки влаги, и режет болью слизистая оболочка, но он еще яростнее всматривается вперед. Крыши большого города уплывают под широкое крыло «голубой девятки». Видит Виктор Большаков на них темные зенитные установки, видит на месте иных зданий груды кирпичей и оскалы стен с проваленными глазницами окон. Ночная Познань предстает перед ним фантастическим нагромождением крыш и развалин, но он сейчас выделяет среди всего этого лишь площадь с двумя костелами и кинотеатром. Три новых сильных огня: два зеленых и красный — освещают площадь. Там цель.

— Сброс! — кричит штурман.

— Али, наблюдать, — приказывает капитан стрелку-радисту, единственному, кто точнее всех в экипаже мо-

жет сейчас судить о разрывах. Правда, нижнему люковому воздушному стрелку видно еще лучше, но с ним прямой связи нет, а то, что будет знать он, будет знать и Гейдаров, потому что они обмениваются всем увиденным тотчас. Самолет вздрогнул, его будто подкинуло вверх. Это оттого, что бомбы оторвались от плоскостей и ушли вниз, к цели. Теперь самое тревожное и опасное наступает в жизни экипажа: отход от цели. О! Большаков достаточно хорошо знает, какой опасной и коварной становится в это время земля, занятая врагом. Он никогда не считал стволов, жадно устремленных на его самолет, карауливших момент выхода из атаки, но он прекрасно знал, что их бывает десятки, а то и сотни и что их огонь далеко не похож на безобидный фейерверк.

— Командир, площадь охвачена пламенем! — торжествующе кричит Али Гейдаров. — Над казино рухнула крыша.

— Идем домой, — нажимая на букву «м», объявляет своему экипажу Большаков.

Что-то мучило его сознание, терзало удивлением и тревогой. Что бы? Ах да! Он удивился тому, что при подходе к цели над городом не вспыхнул ни единый прожектор и ни одна зенитная установка не выплюнула в них огонь. Что бы это могло означать? Возможно, его самолет, подходивший на приглушенных моторах, был принят вражескими постами ВНОС за немецкий? Может, в это время, на их счастье, над городом действительно должен был пройти какой-нибудь фашистский транспортник? Как много этих «может быть» возникает в боевом полете! Но если фашисты прозевали, они ни за что так легко не смирятся с нанесенным ударом.

Резкий гул, поднявшийся от земли, прервал течение его мыслей. Виктор глянул сначала в левую форточку, затем в правую и все понял. Над крышами города взметнулись в небо десятки ослепительно-желтых столбов. Прожекторы настойчиво шарили в осеннем ночном небе, а зенитчики, не дожидаясь, пока они схватят самолет, били из сотен орудий и крупнокалиберных пулеметов. Трассы вспарывали небо, огненные клубы рождались на месте разорвавшихся снарядов. Виктор успел отметить, что большинство разрывов вспыхивает выше самолета, и он сразу понял: зенитчики не могли поверить, что советский летчик привел ночью тяжелую машину почти на бреющем. Эта их ошибка спасла бы его обязательно, если бы не

прожекторы. Их становилось с каждой секундой все больше и больше. Они шарили по небу, все приближаясь и приближаясь к нему. Сейчас он уже твердо знал, что не удастся их провести. Они его неминуемо настигнут: слишком мала у стратегического бомбардировщика скорость и слишком велик радиус разворота, чтобы вырваться из их жесткого плена.

— Командир, меня осветили, — передал из хвостовой кабины Али Гейдаров, — разрешите дать очередь.

— Отставить! — дико заорал Большаков. — Погубишь!

Он-то твердо усвоил, что, если проходишь сильный пояс заграждения, достаточно даже короткой трассы и тебя засекут, в твою кабину ворвется этот ледяной режущий свет, а весь твой самолет станет маленькой голубой звездочкой, хорошо просматриваемой зенитчиками с земли. Виктор делал маневр за маневром, меняя высоту и курс. Центр города уже остался позади, стрельба, как ему показалось, стала отдаляться.

«Кажется, пронесло», — подумал капитан, и как раз в это мгновение глаза ему больно резануло, все приборы и рычаги в кабине стали отчетливо видны. Планшетка с боевой картой, лежавшая у него на коленях, беспомощно вздрогнула.

— Командир, нас взяли в клещи, — доложил штурман.

— Трассу! — закричал Большаков Гейдарову.

Когда ожили задние пушки и брызнули огнем в зеркало прожектора, ему стало легче и вновь подумалось, что они уйдут. Но на помощь одному, неизвестно по какой причине погасшему прожектору пришли два новых и повели «голубую девятку» дальше. Впереди по курсу возникло целое сплетение разрывов. Снаряды ложились в шахматном порядке, точно по высоте.

— Штурман, снижаться некуда, попробуем перепрыгнуть, — точно советуясь, сказал он странно пересохшим голосом.

— Попробуйте, командир, — устало согласился Алехин.

В последней надежде Виктор задрал нос самолета и стал круто набирать высоту. Он отсчитывал холодными вспотевшими губами:

— Восемьсот, тысяча, тысяча двести, тысяча пятьсот, две, две сто...

— Разрыв под самым хвостом, — донесся голос Али Гейдарова, — нижний люковой Пашков прекратил огонь.

— Что с ним, ранен?

— Убит, товарищ командир.

— А че-ерт!

— Снова разрыв, второй, тре...

Голос стрелка-радиста захлебнулся на полуслове, и жуткая тишина хлынула из наушников.

— Гейдаров! — крикнул в отчаянии Большаков. — Говори, Гейдаров! Я тебя прошу — говори! Почему замолчал? Штурман, как ты?

— В порядке, — донесся горький вздох Алехина, — запросите еще раз стрелка.

— Али, отзовись, я приказываю! Али, ты слышишь?

Белое пламя встало широким столбом перед глазами капитана, и он даже не сразу понял, что это. «Голубую девятку» сильно встряхнуло, даже не встряхнуло, а подбросило, как щепку, и если бы это был не тяжелый двухмоторный самолет, а штурмовик или истребитель, его бы наверняка опрокинуло на спину. Но и у Виктора Большакова, этого сильного, жилистого парня, штурвал вырвало из рук. Бомбардировщик здорово накренило вправо. Большаков поймал штурвал, резко дал ногу, вернул машину в прежнее горизонтальное положение и только тогда опасливо посмотрел в правую форточку. Ему захотелось зажмурить глаза. Огромная дыра зияла в широком крыле. Металлическая обшивка, сорванная при прямом попадании снаряда, торчала над ней. Но рули управления повиновались, и Большаков с надеждой подумал о том, что за жизнь своей «девятки» он еще поборется. Нового близкого разрыва зенитного снаряда он почти не ощутил: до того твердо держал управление. Он только увидел сноп искр, разбежавшихся около правого мотора. Гул этого двигателя неожиданно оборвался. Он не ослабел, не стал давать перебои, как это иногда бывает, а затих сразу, словно наповал убитый воин, что падает без стона, но уже насовсем, так, что никогда не встанет больше. В кабине стало темно оттого, что прожекторы все-таки потеряли самолет, и, воспользовавшись этим, Виктор снова изменил курс, заставив тяжелую машину развернуться в сторону работающего мотора.

— Живем, голубушка, — с безотчетной злостью выкрикнул он, — что мы, рыжие, что ли, чтобы погибать!

Еще один блеск разрыва, и толчок в тот же подраненный правый мотор заставил его замолчать. Большаков увидел, как полетела с мотором обшивка капота и один за другим посыпались в беззвездную ночь цилиндры. Мотор разрушался у него на глазах. Это было похоже на то, будто у него у самого вырвали одно легкое и заставили дышать одним. «Долго так не надышишься, — заключил он про себя горько, — неужели это начало конца?»

А зенитки все били и били. Умолкали одни, но цель подхватывали другие, провожая ее свирепым огнем. На левом, работающем моторе Виктор набирал высоту. Он сейчас боролся за нее, как борется умирающий за каждый глоток кислорода. Высота — это единственное, что может продлить ему пребывание в воздухе, приблизить к линии фронта. Две тысячи триста, две пятьсот, две восемьсот... Кажется, никогда стрелка высотомера не ползла так предательски медленно. Зенитная пальба становится все слабее и слабее. Но это почему-то теперь не успокаивает его. В ноге, под коленкой, нестерпимая боль. Зеленые глаза Виктора в течение нескольких секунд с тупым упрямством обследуют испещренный мелкими строчками заклепок пол кабины и видят небольшую зигзагообразную щель.

— Понятно, осколок, — шепчет он вслух, — но почему молчит Алехин, черт побери. Штурман, штурман!

Резким простудным кашлем захлебывается левый мотор, его последняя надежда. Чадным дымом окутывается все левое крыло. Большаков, будто гончая на охоте, тянет носом и уже здесь, в кабине, отчетливо ощущает запах гари.

— Штурман, штурман, — голос кажется напряженным и слабым. В наушниках громкий стон и ругань. Но они сейчас звучат для Виктора самой радостной мелодией: ведь кто-то из экипажа жив, кто-то борется за себя и за жизнь их машины, получившей сильные повреждения. Значит, теплится еще жизнь в экипаже и в этой борьбе с огнем и дымом он не одинок.

— Где разрывы, штурман?

— Мы вышли из зоны огня, командир, — отчетливо доносится голос Алехина, — только я ранен.

— Что? Тебя немного задело?

— Кажется, сильно, командир.

Дымный хвост, волочащийся за ними, становится угрожающе черным. Если не выключить мотор, вспыхнет

пожар. А выключишь, так на чем же лететь? Перетянуть линию фронта нет никакой возможности.

— Штурман, посыпался правый мотор, — передает он по СПУ, — левый дымит. Мы не дотянем до дома.

В наушниках стон и никакого ответа. Большаков поворачивает машину на запад, в противоположную от линии фронта сторону. Нет, это не бессмысленное решение. Маленький комочек — мозг уже все успел взвесить и обсудить. Раз они накрыли бомбами казино с этим штабным сбродом, за «голубой девяткой» будут сейчас охотиться на всем протяжении ее обратного маршрута. Чем ближе к линии фронта, тем гуще зенитная сеть, тем больше вероятности, что подбитую машину скорее настигнут и уничтожат залпы новых батарей. И уж если неизбежна теперь посадка, то ее лучше совершить не вблизи, а подальше от линии фронта, ибо, если они сядут вблизи, место приземления быстро обнаружат и все сделают, чтобы взять их живыми для допросов и пыток. Итак, единственное спасение — запутать следы, отвернуть на запад. Вот что сказал мозг Виктору Большакову в ту минуту, когда на высоте две тысячи метров он в последний раз услыхал голос штурмана.

— Тебе плохо, Володя? — спросил Большаков.

— Да, кровь... Очень много крови... Тошнит, — донеслось из наушников.

— Я сейчас выключаю последний мотор, Володя. Больше нет мочи держаться... Прыгай, Володя.

— Уже не могу, командир. Прыгайте вы, я не в счет.

— Что ты, Володя, что ты, родной! — громко кричит Большаков, глотая едкий дым, наполняющий кабину. Его лицо изуродовано сейчас нехорошей гримасой. Ему хочется говорить как можно добрее, но голос не повинуется, голос сдавленный, хриплый:

— Что ты, родной. Я тебя ни за что, понимаешь... да и Али еще, может быть, жив. Будем пробовать, будем вместе садиться.

— Прощайте, командир, — доносится из кабины слабый голос, полный утомления и боли. Но Виктор его уже не слышит. Он выключил дымящийся мотор, и в кабине наступила жуткая тишина. С чем ее сравнишь? С той тишиной, что царит в операционной? Или с той тишиной, при которой пловец, нырнувший за утопающим, должен появиться на поверхности воды на глазах у столпившихся зевак? Но сейчас нет ни зевак, ни хирургов. Есть длин-

ная осенняя ночь, тугой ветер, смертельно раненная машина и три человека, борющихся за ее жизнь, да и за свои тоже, три окровавленных человека, выполнивших большое и трудное задание. Впрочем, может, уже не три, а два, потому что третий давно не отзывается по СПУ.

Облизав сухие губы, Виктор вдруг обнаруживает, что они горячи. Правая ступня у него отяжелела, и, когда он надавливает на педаль, перед глазами вспыхивают зеленые мячики и тело пронизывает боль. Чтобы не кричать, он сорвал с руки кожаную крагу и засунул ее в рот. Его челюсть окаменела. Ничем уже не спасти «голубую девятку». Видно, судьба у нее такая — избитой зенитками садиться далеко от родного аэродрома, где заботливые механики и техники встретили бы ее на стоянке, старательно заделали бы в ее могучем теле пробоины, залили огромные бензобаки горючим, а к широким крыльям подвесили новые фугасы. Теперь она не способна чутко, как это всегда бывало, перенимать движения летчика, выполняя его волю и мысли. Только в одном направлении — вниз — может она лететь с примолкшими моторами и садиться там, где иссякнет высота, где ее ожидает неизбежная встреча с землей. На языке летчиков такой полет называется планированием, и всем известно, что в жизни подбитого самолета он бывает часто последним.

Виктор Большаков с грустью подумал, что, если бы не замолк Али, а штурман Алехин не был бы тяжело ранен, он бы вместе с ними воспользовался парашютом. Все-таки была бы надежда, что они все трое успешно приземлятся, найдут друг друга, будут вместе пробираться к линии фронта по лесам и перелескам. А сейчас... Ветер свистел за кабиной и фюзеляжем. Машина окунулась в ночь, и ничто теперь не в состоянии изменить ее полет, потому что Виктор установил самый маленький угол планирования. Под ними густые массивы леса. Он знал, что в этом районе нет ни рокадных, ни магистральных шоссейных и железных дорог, что большие города отсюда находятся в стороне, и это наполняло его уверенностью. «Если бы полянку. Полянку или перелесок. Я бы на них как-нибудь плюхнулся».

Большаков напряженно покрутил головой и осмотрелся. И справа, и слева, и впереди, насколько хватало глаз, линия горизонта была темна, ее не пробивал ни один огонек. Ни один прожектор не колыхнулся над землей, ни одна трасса «эрликона» не ощупала небо, ни одна сиг-

нальная ракета не взвилась над лесом. Вероятно, фашистам и в голову не могло прийти, что советский самолет, обрушивший дерзкий удар по самому центру Познани, получив повреждения, повернет не на восток, а на запад. Теперь же в мрачной пучине неба обнаружить бомбардировщик с выключенными моторами было просто невозможно. Он снижался, нависая над землей большой горестной тенью. «Слишком быстро падает высота», — подумал Большаков и поймал себя на мысли, что ему очень хочется, чтобы это снижение продолжалось как можно дольше, отдаляя трагическую встречу с землей. «Отставить, — грубо оборвал он себя, — под тобою лес, а не река с кисельными берегами. Не до размышлений».

Он уже хорошо различал близкую колеблющуюся поверхность леса. На часах было 23.17. Именно в эти минуты, после прохода линии фронта, он должен был обнаружить себя в эфире и доложить на аэродром, что задание выполнено. А вместо этого...

Стрелка высотомера показывала уже восемьсот. Она была безжалостной, эта стрелка, все ползла и ползла к нулю. Боковой ветер чуть встряхнул самолет. Виктор утопил ногой правую педаль и едва не вскрикнул от боли. «Почему это болит ступня, если рана под коленкой?»

— Володя! — окликнул он штурмана. — Потуже привяжись, сажаю.

Лес шумел под крыльями снижающегося бомбардировщика. Большаков это скорее чувствовал, чем слышал. Пятьсот метров высоты, четыреста... двести... Будь сейчас день, он бы хоть видел землю и мог бы все же дотянуть до какой-нибудь полянки и опуститься там. Но сейчас темень скрывала все внизу, и от этого та самая земля, по которой он ходил около двадцати четырех лет, была ожидающе страшной. Он почувствовал неприятную сухость во рту и, уменьшая угол планирования, все отдалял и отдалял встречу с ней. Зоркие глаза искали площадку, пригодную для посадки, но на многие километры окрест тянулись верхушки деревьев, и ни одного гектара земли, свободного от леса, не было видно во мраке. А как он был нужен, этот гектар!

Виктор для чего-то расстегнул под своим крутым подбородком ремешок шлемофона. Казалось, именно из-за него было трудно дышать. Сто метров отделяли его от леса, и он только теперь, как воин, сражавшийся с окру-

жившими его врагами до последнего патрона, с безысходной тоской понял: придется сажать на лес, иного выхода нет. Он включил все пожарные краны, выпустил щитки, стараясь предельно погасить посадочную скорость, погасить ее так, чтобы тяжелая «голубая девятка» бессильно упала на верхушки деревьев и удар этот пришелся бы равномерно и на фюзеляж, и на широкие крылья, способные в какой-то мере его ослабить, самортизировать. Это уже было скорее не планирование, а парашютирование. Безжизненная «голубая девятка» падала на лес, как парашютист, над головой которого не раскрылся спасительный купол. Большаков все уже сделал, что мог и может на своем веку. Самые точные, самые филигранные движения педалей ничего не могли сейчас изменить. Но он все равно продолжал двумя руками держаться за баранку, чувствуя, что пальцы судорожно прикипают к ней. В страшном напряжении, полузакрыв глаза, он вел отсчет: раз, два, три, четыре, пять... десять... двадцать... А машину несло и несло вниз, и косо, угрюмой тенью приближалась она к верхушкам леса. Сухой треск Виктор услыхал при счете сто двадцать. Но это еще не было то самое страшное, чего он ожидал. Он еще успел досчитать до десяти, после того как щитки самолета первыми царапнули по острым елям.

Когда он произнес «сто тридцать», он увидел совсем близко от себя клонившиеся от ветра ветви и оглушительный грохот наполнил уши. Виктору показалось, будто это не самолет, а он сам переломился надвое. Его рвануло вперед, навстречу приборной доске и пушечному прицелу, но ремни удержали, он безвольно повис на них, а в следующую секунду спиной вдавился в жесткую бронированную спинку сиденья. Пол кабины с педалями, линиями заклепок, узлами крепления встал над его головой, заслоняя ночное осеннее небо. Второго удара и грохота отвалившихся крыльев он уже не слышал. Тишина придавила его к земле, наводняя холодной тоской меркнущее сознание.

«Земля, родная, принимай», — успел только подумать Виктор Большаков, и тишина, плотная, как покров этой опасной ночи, обволокла его тело, делая безвольным каждый мускул.

Вероятно, он пришел в сознание очень скоро. Это было странно, но он сидел в своей кабине, и над его головой, на положенной высоте, целым и неповрежденным был

все тот же стеклянный фонарь из толстого непробиваемого зенитными осколками плексигласа. На приборной доске были разбиты указатель скорости и бензочасы. Откуда-то сочилось масло. Стрелка высотомера стояла точно на нуле. Едва слышно шептали часы несложный мотивчик своей однообразной жизни. «Странная штука часы,— подумал Виктор, — самолет треснулся, что было силы, а они идут, как ни в чем не бывало. А вот мои, карманные, те, что дядя Леша привез в детдом, раз только на тротуар асфальтовый выпали и — вдребезги».

Он вдруг вспомнил дядю Лешу, младшего отцова брата. Когда Виктор учился в шестом классе, к ним в интернат приехал худощавый блондин в буденовке со споротой звездой, что было верным признаком недавнего ухода из армии в запас. Короткая кожаная курточка и новые сапоги заманчиво скрипели. Дядя Леша долго водил его в тот день по самым лучшим городским магазинам, но тогда все было по карточкам, и только в одном коммерческом кафе дяде удалось за дорогую цену накормить племянника галетами из кукурузной муки и напоить невкусным фруктовым чаем. Голодный, как волчонок, Виктор с жадностью истреблял галеты, так что у него беспрерывно двигались уши и острый кадык. Хлебая горячий чай, тонко тянул:

— Дядь Леш, ты теперь где?

— На Магнитке инженером-монтажником, — улыбаясь всем своим красным обветренным лицом, отвечал ему дядя. — Я туда прямо из армии, по путевке Цека. Там, брат ты мой, такое дело варганится. Вот подожди, обживусь немного, обязательно к себе заберу. Если даже и женюсь, все равно заберу.

В тот день он купил племяннику карманные часы с блестящей посеребренной крышкой. Усмехаясь, сказал:

— Ты смотри с ними поосторожнее. Все-таки лучшая швейцарская фирма — «Омега».

И уехал. А весной как-то Виктора вызвал к себе директор интерната, усатый, пахнущий махоркой, Иван Степанович, человек добрый, уважаемый всеми детдомовцами. Сворачивая из грубой оберточной бумаги козью ножку, негромким сиплым баском спросил:

— Большаков Алексей Павлович — твой, что ли, дядя?

— Мой, — весь встрепенулся Витя. — Он на Магнитке инженером. О нем даже в «Правде» один раз писали.

Только я об этом никому не стал рассказывать, Иван Степанович, чтобы за хвастуна не посчитали. Он меня летом к себе на житье заберет.

— Не заберет, — отрезал Иван Степанович. — Не заберет, не жди.

— Почему? — зябко передернув плечами, спросил тогда Виктор.

Директор положил ему на затылок тяжелую руку с толстыми, в желтых подпалинах от табака пальцами.

— Умер твой дядя...

Он вышел тогда от директора, словно чем-то придавленный, полез в карман за платком, чтобы высморкаться, и выронил часы. И они сразу разбились от одного удара об асфальт, часы швейцарской фирмы «Омега». А вот эти, самолетные, идут. На них уже 23.57. Это как раз та минута, когда «голубая девятка» должна заходить на родной аэродром. Вероятно, там ждут не дождутся зажечь электрическое посадочное «Т». Полковник Саврасов бегает с ракетницей по летному полю, срывая зло, кричит на всех попавшихся ему под руку, потому что уже угадал верным чутьем старого, видавшего виды воздушного волка, что не будет сегодня «голубой девятки». Ни сегодня, ни завтра, ни в другие дни.

Виктор попробовал привязные ремни — в порядке. Он поднял руку и отстегнул металлическую застежку. Затем также осторожно, все еще не веря, что жив, освободил на ногах и на груди парашютные лямки.

За кабиной темно. Глухо шумел потревоженный стылым ночным ветром лес. Ни одного огонька, и тысячи шорохов. Он осторожно попытался привстать: получилось. Чтобы открыть фонарь, не требовалось больших усилий — на «голубой девятке» был очень хорошо отлажен замок фонаря. Виктор дотянулся до него, но вдруг от правой ступни и до самого плеча обожгла острая боль, и он сильно сжал губы, едва удержавшись от стона, плюхнулся на сиденье. Холодные капли пота осыпали ему лоб, стало жарко. Он сорвал с головы шлемофон и снова убедился, что руки ему хорошо повинуются. Откинул голову, несколько минут, пока не утихла боль, глотал настой кабинного воздуха, пропитанного бензиновыми парами, запахами металла и нитролака. Душно было от этого воздуха, мутило. Нет, ему нельзя было бездействовать. Где он, что с экипажем? Закусив губы, чтобы не закричать от боли, он сделал новую попытку привстать, опираясь на этот

раз только на левую ступню, а правую держа на весу. Боль не возвратилась. Только тяжелела правая нога и горячо было в меховом унте, вероятно, рана продолжала понемногу кровоточить. Быстрый щелчок, и крышка фонаря с легким скрипом заскользила в пазах. Прохладный воздух ворвался в кабину, разогнал душный запах бензина, плеснулся в лицо. И как-то полегчало Большакову. Он опять привстал и осторожно выглянул за борт кабины. Первое, что он увидел, были белые даже в потемках сломы веток, душисто пахнущие смолой, несколько сваленных сосен и широкое изуродованное крыло самолета, валявшееся примерно в десяти метрах от кабины. «По частям падали», — вздохнул капитан.

Сама кабина, словно большая личинка, лежала прямо на земле, а позади от нее темнела отвалившаяся при падении хвостовая часть с кабинами стрелков. «Надо скорее к ним, к экипажу», — прошептал Виктор и лихорадочно забеспокоился. Первым делом он вытащил из специального гнезда в пилотском сиденье парашют и, поднатужившись, выбросил его за борт. Брезентовый мешок почти неслышно шмякнулся на мягкую землю. Затем он вывернул часы, спрятал их в карман комбинезона, а рукояткой пистолета выбил стекла на всех остальных приборах, безжалостно погнув при этом стрелки. Подтянувшись на мускулистых руках, он перенес здоровую ногу за борт кабины, затем вторую и постарался осторожно спрыгнуть вниз. Высота была небольшая, и он, расчетливо упав на левую сторону, сумел избежать боли. Он лежал на спине, устремив в небо широко раскрытые глаза, обдумывая, как ему лучше добраться до других кабин.

Может, ребята в лучшем состоянии, чем он, им только надо помочь вылезти?

Что-то изменилось в природе. Мягкий знобкий ветерок гулял над землей, наполняя осенний лес неразборчивыми шумами. Если бы не ветер, лес сейчас был бы тихим и сонным. Виктор хорошо знал, что такое притихший бор: наступи на сухую палку — на целый километр слышно. Глаза его привыкли к темноте, и он теперь видел гораздо больше, чем в первые минуты. Рядом лежала верхушка сосны, срубленная крылом при катастрофе. Он подполз и выломал большую палку. Подтесать ее снизу и подровнять сверху с помощью острой финки было делом недолгим. Получился приличный посох. Виктор медленно встал, опираясь на него, и сделал несколько неуверен-

ных шагов. Надо было не мешкать, и он торопился. Еще один шаг, и стеклянный колпак носовой кабины перед ним.

— Володя... Алехин, — негромко позвал капитан.

Никто не ответил, только лес зашумел сильнее. Большаков увидел в плексигласе огромную дыру, вырванную снарядом, и сквозь нее черный комок, навалившийся на прицел. Даже не поверилось сразу, что это человек.

Виктор вспомнил галчонка, что пригрели они однажды в курсантском общежитии. Долго жил галчонок. А раз проснулись по зычному крику дневального «Подъем!» и увидели: жалким мягким комком накрыл галчонок блюдце с невысохшей за ночь питьевой водой. Чем-то и Алехин напомнил ему этого галчонка, и с тоскою капитан подумал: «Нет, не лежат в такой позе живые». Он просунул руку в рваную дыру, нащупал изнутри замок и отстегнул крышку. Тело штурмана безвольно навалилось на него. Комбинезон Алехина набух от крови. Виктор расстегнул на нем «молнию», увидел разорванную на груди гимнастерку, залитую кровью грудь. Осененный внезапной мыслью, он нащупал на гимнастерке карман, достал из него завернутые в целлофан документы. Не вытирая от крови и не разглядывая, сунул себе в комбинезон, потом взял у мертвого пистолет. Бледное лицо Алехина провожало его застывшими в муке глазами.

— Прощай, Володя, — прошептал сдавленно Большаков, — прощай, родной, и прости, что не в силах тебя вытащить и похоронить.

Потом он, чувствуя с каждой минутой, как тяжелеет раненая нога, добрел до отлетевшего на несколько метров хвоста. Кабины стрелков были сплющены, на хвост пришлась основная сила удара. Под листами дюраля и обрывками пулеметных лент лежали изуродованные трупы Али Гейдарова и нижнего люкового стрелка Пашкова. Верхняя кабина, где всего час назад хозяйничал веселый Али, была, словно сито, изрешечена осколками.

— Сколько же ранений ты получил, — горько покачал головой капитан, — вот и не придется тебе, бедный мой Али, никого приглашать в Баку на шашлык по-карски, и старая Фатьма, твоя мать, выплачет под апшеронскими ветрами свои глаза.

Чувствуя глубокое изнеможение, Большаков опустился на влажную, покрытую мелким мохом землю и заплакал. Широкие плечи вздрагивали под комбинезоном. Вот

и конец сто четырнадцатого боевого. Он, командир, видит погибший экипаж и стоит сейчас над обломками «голубой девятки», словно над свежевырытой могилой.

Ветер перед рассветом начал стихать, но лес шумел по-прежнему. Тонко звенели корабельные сосны, будто струны пели в их рыжих стволах. Каждый куст рождал свои особенные шорохи, отвечая снизу шуму ветвей. Виктор вытер рукавом лицо и, стискивая зубы, злобно подумал: «А ты все-таки должен идти, идти на восток. Ты должен добраться до своих и рассказать Саврасову и всем твоим друзьям страшную правду о гибели этих молодых ребят, принести их залитые кровью документы, чтобы все знали, как трудно даются в этой войне победы. Ты не рыжий, чтобы впадать в отчаяние и безвольно погибать в этом лесу. Главное — это подальше уйти от самолета. Вполне возможно, что в окрестных деревнях слышали грохот падения и скоро сюда нахлынут любопытные, а то и гитлеровцы из ближайшей комендатуры».

На мгновение ему показалось, будто за передними кустами раздаются человеческие голоса. Он выхватил пистолет и снял предохранитель, удивляясь тому, с каким равнодушием это сделал. Несколько минут он напряженно вслушивался. Нет, это не голоса. Это кровь у него в ушах стучит. Потом он впервые подумал, как быть с раневой ногой. Она тяжелела, и, самое плохое, что кровь из раны продолжала сочиться. Если ее не унять, он не проковыляет и километра. Тогда он твердо решил заняться перевязкой. Испытывая адскую боль, он кое-как стащил с ноги унт, оголил колено. Марлевый индивидуальный пакет остался в аптечке, он забыл ее взять с собой, покидая кабину. Снова забраться туда у него не хватит сил. Тогда он вспомнил о парашюте, подполз к нему, финкой располосовал брезентовый мешок и отрезал кусок шелка. Колено сильно кровоточило. Виктор наложил повязку потуже, и, когда вновь натянул унт, ему показалось, будто ноге стало легче и он сможет идти.

«Главное — подальше от самолета», — повторил он про себя, доставая компас. Найти восток было легко, он сделал несколько шагов.

Планшетка с картой ударила о бедро, и рана сразу заныла. «Голова, как же это я позабыл перевесить планшетку на левую сторону». Он это сделал и снова пошел. Несколько раз осторожно ступил на носок правой ноги, обеими руками опираясь на палку. От нее приятно пах-

ло смолой. Виктор добрел до узкой лесной дороги, не оглядываясь на останки того, что совсем недавно называлось «голубой девяткой». Подавленный горем, теряющий силы, он находился теперь в состоянии странного оцепенения. Но если бы его спросили, куда он идет, он бы не колеблясь ответил: на восток. Потерпев аварию над занятой врагом территорией, Виктор теперь делал то, что делали все советские воины, попадавшие в его положение. Он определил восток и шел туда. Там была линия фронта, там был аэродром, там были свои.

Разбившийся самолет стал уже его прошлым. Чтобы остаться в живых и вернуться в полк, он должен был думать только о будущем и постараться уйти как можно дальше от этого опасного места. Виктор не оглядывался назад потому, что не хотел огорчить себя признанием, что идет слишком медленно и что по-прежнему от места катастрофы его отделяют лишь десятки метров. Шаги он тоже не стал считать, сознательно обманывая себя, и ему, теряющему последние силы, от такого обмана становилось легче и начинало казаться, что идет он в общем-то не так уж и медленно.

«Это плохо, что сразу попалась дорога, — подумал он с опаской, — значит, тут ездят и ходят и могут быстро найти место падения». Но когда он пригляделся получше, увидел на поросшей травой поверхности дороги лишь один заскорузлый от засохшей грязи след деревенской подводы, которому могло быть и два и четыре дня. Тяжело дыша и делая частые остановки, он уже перешел проезжую часть дороги, желая поскорее углубиться в чащу. Оставалось перешагнуть небольшую ложбинку. Почувствовав усталость, Виктор остановился перед ней и, запрокинув голову, посмотрел вверх. Уже близок рассвет, и верхушки елей, как нарисованные, стыли на фоне неба. Ветер утомленно сник, вверху пояснело, и звездная россыпь предвещала солнечный день. Его ладоням, опирающимся на плохо обструганную палку, стало почему-то очень больно. Лес снова зашумел так громко, что у Виктора заболели уши. В ту же минуту корабельные сосны, строгие и высокие, вдруг колыхнулись, зашатались до ряби в глазах и повалились на него вместе с осенним сентябрьским небом этого чужого края.

Виктор лежал на спине с полузакрытыми глазами и бредил. Палка валялась у его ног.

— Штурман, где разрывы... Гейдаров, ты почему мол-

чишь, почему не докладываешь о разрывах... Володя, крепись, мы дотянем... Я не рыжий, дотянем...

Потом в обволакивающем сознание тумане увидел он дядю Лешу. Тот улыбался всем своим красным лицом, поправлял на голове буденовку с отпоротой звездочкой и тянулся похлопать его по плечу:

— Что, паря, заждался? Вот я и приехал за тобой. Обещал забрать на Магнитку и заберу.

— Так я же теперь большой, дядя Леша, я уже не детдомовец.

— Ерунда, паря. Ты мне родной, будешь у меня за сына.

— Но ведь я уже летчик и вожу тяжелый бомбардировщик.

— Кому он нужен, паря? Войны больше не будет. Я на Магнитке сделаю из тебя хорошего горнового.

— Но у меня же Аллочка и Сережка.

— Ты их заберешь с собой. Ты больше не будешь сиротой, паря.

Потом явилась Аллочка. Поправляя белые локоны, она что-то горячо возражала и ни за что не соглашалась ехать на Магнитку.

И снова красный туман, и отчаянный звон в ушах, и боль во всем теле. Аллочка нагибается над ним, ласково спрашивает:

— Тебе что-нибудь надо, Витя?

— Пи-ии-ть, — отчаянно просит он.

— Пи-ии-ть, — хрипло разносится по лесу.

Сколько времени он пролежал, Виктор не смог бы определить. Но когда временами открывал глаза, понимал, что бредит, и от этого становилось уныло и горько. Однажды, с трудом разомкнув веки, увидел он обогретые солнцем красные стволы сосен и между ними белые тела берез. В теплом воздухе пахло диким медом, прелой листвой и хвоей. Легкий шепоток листвы спадал на землю с верхушек. Большаков локтями уперся в покрытую высохшими листьями землю, еще мокрую и холодную от росы, и, приподнявшись, тупо покачал головой. Розовый туман плыл перед ним, голова гудела, и тело не хотело повиноваться.

Среди этого розового тумана он вдруг отчетливо увидел ровный пенек на месте спиленной сосны и фигуру незнакомой женщины. Женщина сидела на этом пеньке, упираясь локтями в острые коленки, приоткрытые корот-

кой юбкой, и ладонями поддерживала подбородок. Голова у нее была непокрытая, и все, что успел запомнить Большаков, —пышные волосы, коротко, по-городскому подстриженные. Под теплым ветром, как ему показалось, они полыхали еще ярче сосновых стволов. Будто крылья, вырастали они за плечами у женщины. Виктор упал, обессиленный и пораженный. «Что за чушь, — подумал он недоуменно, — и чего только не представится во время бреда. Нужно себя перебороть».

Он опять приподнялся, открыл глаза. Женщина сидела на том же месте, хотя розового тумана как не бывало. Виктор испуганно отодвинулся. Было тяжело удерживать равновесие, но, собрав силы, он не упал на спину, остался сидеть, правой рукой опираясь о землю. Желтый пенек стоял метрах в четырех от того места, где он упал, и женщина сидела на нем все в той же позе глубоко задумавшегося и очень усталого человека. Теперь он разглядел ее отчетливо и понял, что это происходит наяву. На ней была короткая замшевая курточка с косо прорезанными карманами, поверх накинут дождевик, на ногах коричневые с высокими каблуками туфли, уместные где угодно, но только не здесь, в глухом и далеком от больших городов лесу. Бледное продолговатое лицо и большие синие глаза под темными бровями. Снизу он увидел на не тронутой загаром шее родинку. Растопыренные пальцы подпирали подбородок, и на одном поблескивало тонкое колечко с белым камнем. «Подосланная, — подумал Виктор, — не будь я рыжий, подосланная».

Почуяв опасность, он выхватил из кармана пистолет, не взводя курка, направил на нее:

— Руки вверх, слышишь!

Она не пошевелилась и продолжала смотреть в упор.

— Кому говорю! — злобно крикнул Большаков. — Или не понимаешь, ну!

Женщина медленно отвела ладони от лица, выработанным движением попыталась натянуть короткую юбку на колени. Движение оказалось бесполезным — колени не закрывались.

Синие глаза ее расширились, но не от испуга — от удивления. И в голосе, тихом и отчетливом, прозвучало то же удивление человека, не собиравшегося пугаться:

— Мам поднесць ренце до гуры? На цо пану мое ренце?

Виктор медленно опустил пистолет. Ему уже было

неловко, что прицелился в эту неизвестно как очутившуюся здесь женщину.

В тот год война согнала с насиженных мест тысячи людей. В поисках пищи и крова бродили они по омертвелым полям, полуразрушенным городам и селам. Крестьяне несли в город последний кусок хлеба и сала, чтобы обменять на потрепанные чеботы или поношенную одежду. Горожане с рюкзаками, набитыми последней одеждой, отправлялись в деревни и на хутора в надежде добыть пропитание. Стараясь избежать встречи с гитлеровцами в этих своих горемычных скитаниях, выбирали они темное время, шли, избегая больших дорог, забредая в глухие овраги и перелески. И не было ничего удивительного в том, что эта женщина, подстегнутая какой-то своей нуждой, очутилась в этом лесу, вблизи от места падения «голубой девятки».

Но обостренное сознание Большакова не хотело принимать этой простой версии. Как и всякий человек, оказавшийся в беде на оккупированной территории, он готов был видеть врага в каждом шевелившемся кустике и тем более в каждом повстречавшемся человеке.

— Вы полька? — спросил летчик.

— Так есть, проше пана.

Они помолчали. Жажда мучила Виктора, и он учащенно дышал, не сводя глаз с незнакомки. На вид ей было около тридцати.

— А вы совецкий летник? — спросила она тем же, то ли грустным, то ли усталым голосом.

— А зачем вам это знать? — насторожился капитан.

— Так вы же разговариваете по-русски, — улыбнулась она.

— Ах, да, — пробормотал он, — а вы разве понимаете по-нашему?

Женщина утвердительно кивнула головой.

— И даже очень хорошо. До войны я изучала в Варшаве русский.

— Как вы тут оказались?

— О! Это долго надо рассказывать. У пана совецкого летника катастрофа, я знаю. И у меня тоже катастрофа. Недавно я похоронила своего Янека. Ему было только три года. Только три... — Она закрыла лицо ладонями и помолчала. Потом, подавив глубокий вздох, добавила: — Вчера утром я вышла из Познани, и мне надо было попасть в веску Бронкув. Я шла по той стежке и наткну-

лась на ваш разбитый самолет. Там ваши мертвые товарищи и спадохрон.

— Что такое спадохрон? — спросил машинально Виктор.

— Как это объяснить? — она подняла вверх обе руки, и белый дождевик зашуршал: — Это есть то, на чем прыгают с самолета.

— Парашют, — подсказал капитан.

— Так есть, парашют, да, да, — закивала она быстро головой, и снова огненным облаком всколыхнулись ее волосы, освещенные утренним солнцем. — Я подошла к спадохрону и увидела, что от него отрезан кусок материи, а на футляре капли крови, и тогда я все поняла. Я сразу подумала, что не все летники погибли и что кто-то из них жив и пошел в густой лес. И я пошла по следу. Потом я наткнулась на вас. Вы лежали вот здесь, такой сильный, такой большой и совсем беспомощный. И мне стало пана очень, очень жалко. Я перевязала вас. Вы не ушли далеко от своего самолета, пан летник. И я искала вас очень быстро, искала предупредить. Здесь вам нельзя оставаться. Здесь бардзо опасно. Вы должны уходить.

Виктор покачал тяжелой головой и посмотрел на свою вытянутую на земле раненую ногу, на посох, валявшийся рядом. Присутствие незнакомой польки внесло какую-то разрядку в его настроение: тревога, вызванная ее появлением, стала постепенно проходить.

— Ох, пани, добрая пани. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Вы же видите, — промолвил он с усмешкой и указал взглядом на костыль. — Мне бы хоть денек отлежаться, может, полегчает.

Женщина жалостливо посмотрела на него. Ее рот болезненно покривился.

— Вам здесь оставаться нельзя, — проговорила она.— Это очень опасно. Вас схватят.

— Здесь рядом немцы? — встревожился Виктор.

— Рядом нет. Но близко есть комендатура, и еще в Бронкуве войсковой госпиталь.

— Меня там лечить не будут, если обнаружат, — усмехнулся он.

— Послушайте, — неожиданно предложила полька, — а вы можете идти, опираясь на меня? Я пану помогу. Добже?

Она старалась говорить по-русски, но, когда волнова-

лась или торопилась, ей не хватало русских слов, и она заменяла их польскими. Виктор многие из них знал, потому что полк Саврасова уже три месяца стоял на польской территории, и он, как и все другие летчики, часто встречался с местными жителями. Он критически оглядел ее худенькую фигуру:

— Прошу прощения, пани, но во мне почти девяносто кило.

— О, это совсем неважно, — сказала женщина, поднимаясь с пенька, — только надо спешить. Здесь поблизости должны быть старые блиндажи.

— Немецкие? — удивился Виктор, недоумевая, зачем фашистам копать здесь блиндажи, если они удерживают фронт на Висле.

— Польские, — уточнила женщина. — Они здесь с тех пор, как Гитлер напал на нашу родину. В этом лесу сражалась наша кавалерийская дивизия. Я не знаю номера. Но поляки сражались храбро, и не их вина, что у них не было танков и самолетов, а были одни тупые начальники, вроде президента Мосьцицкого и маршала Рыдз-Смиглы. Вставайте, пан летчик, нам нельзя медлить.

Виктор нашарил костыль и стал подниматься, чувствуя на себе напряженный взгляд женщины. Он очень боялся, что сразу повалится, так и не встав на ноги, потому что сильно кружилась голова и правая, раненая нога отдавала болью даже в плечо. Возникали тревожные мысли. Кто она, эта полька? Куда хочет его повести? Почему так хорошо говорит по-русски? Может, она попросту хочет привести его поближе к немцам, чтобы потом передать в их руки. Разве не могут лгать ее синие глаза? Но тогда у него хватит сил, чтобы наказать ее за коварство.

Поджав правую ногу, он стоял во весь рост. Солнце уже светило высоко над осенним лесом. В тугом настое воздуха млела дремотная тишина, и ему на мгновение показалось, будто ничего этого нет: ни бесформенной груды металла, оставшейся от «голубой девятки», ни трупов Алехина и стрелков, ни вчерашнего вылета и черного неба над Познанью, клокотавшего зенитным огнем.

— Надо идти, — произнесла в эту минуту женщина, разрушая иллюзию.

Виктор громко вздохнул и сделал несколько шагов. Земля под ним была мягкая, пряная. Кое-где торчали

из травы рыжие шляпки грибов, на кустах капельками крови пламенела калина. После первых двадцати — сорока шагов ему показалось, что сил прибавилось и он теперь уйдет далеко. Женщина шла рядом неслышной походкой, и, остановившись передохнуть, он встретился с ее тревожным взглядом. Казалось, она все время хочет что-то сказать, но сдерживается. Когда под ее ногою выстрелила сухая ветка, полька испуганно втянула голову в плечи и сердито прошептала:

— О, пся крев!

— Где вы так научились ругаться, пани?

— На войне.

— А разве пани воюет?

— О, пан летник, — покачала она головой печально.— Родина моя воюет, то верно, а я уже свою войну проиграла.

Он почувствовал — больше расспрашивать не нужно, и замолчал.

Лес местами был густой, и приходилось продираться сквозь сплетения ветвей. Большакову идти было легче, потому что он мог придерживаться руками за ветки. Он напряженно их ловил, пригибал к себе и шел вперед, а потом отпускал, и они за его спиной разгибались со свистом. Они уже прошли около километра, когда Виктор почувствовал неприятную солоноватость во рту и дальние ряды деревьев стали снова подергиваться розовым туманом. Предательская слабость охватывала его, но сказать об этом шагавшей рядом женщине он постеснялся. Нужно было перейти небольшую канаву. Он неосторожно ступил на раненую ногу и, как подрубленный, повалился.

Вероятно, на этот раз он находился в забытьи недолго. Он пришел в себя от приятной свежести и открыл глаза. Женщина плескала ему в лицо холодной водой из ржавой консервной банки.

— Откуда вы взяли воду?

— Рядом лужа.

— Зачерпните еще.

— Вода бардзо недобра.

— Все равно зачерпните.

Она исчезла. Он не услышал ее шагов, их поглотила мягкая лесная земля. Через минуту она возвратилась и поднесла к его губам жесткий край ржавой консервной банки. Виктор попытался сделать глоток, но полька с неожиданной поспешностью отняла банку.

— Так нельзя, — быстро ответила она на вопросительный взгляд Виктора, — можно порезаться. Если пан летник разрешит, я буду поить его из рук.

— Спасибо, — согласился Большаков, закрывая от усталости веки. Он почувствовал на горячих пересохших губах капли влаги. Вода была невкусная, отдавала гнилью.

— Еще? — спросила она.

— Еще, — ответил он утвердительно.

И новые капли горькой воды упали в раскрытый рот.

— Спасибо, — поблагодарил он женщину, — бардзо дзенькуе.

— О! — коротко усмехнулась она. — Вы учитесь говорить по-польски. Как чувствуете себя сейчас?

— Неважно, — сознался Виктор с неожиданной откровенностью.

— Что такое «неважно»?

— Неважно — это плохо, — мрачно пояснил Виктор.

— Но нам надо идти, — заговорила она требовательно, — мы больше не можем здесь оставаться. Понимаете, не можем!

— Дальше вы пойдете одна, — сказал он твердо, еле-еле поднимаясь на локтях.

— А вы?

— Я останусь.

— Нет! Этого не будет.

Виктор увидел, как сдвинулись над ее большими тревожными глазами густые брови. И почему-то подумал, не убежденно, но подумал: «Нет, такая не выдаст».

— Я останусь, — повторил он, ожесточаясь.

Но женщина его больше не слушала.

— Встаньте, пан летник! Если я уйду, вы в этом лесу умрете или придут немцы и возьмут вас в плен. Может, пану летнику хочется в плен? — спросила она зло. — Может, пан летник надеется на гуманное обращение в концлагере, так я скажу, что это только в листовках они так пишут... пана летника замучат на первом же допросе, клянусь маткой боской.

— Нет уж, пани, — усмехнулся он хрипло, — плен — это не про мою честь. У меня как-никак в кармане два пистолета и три обоймы. А самый последний патрон я на себя не опоздаю израсходовать.

— Но так не добже, так неправильно! — закричала она, и Виктор увидел, как в больших остановившихся

глазах женщины полыхнул гнев. — Себя убить — это тоже сдача в плен. Я хочу, чтобы вы жили. И вы будете жить.

Она сжала пальцы обеих рук в два маленьких кулачка, выпрямилась над ним и сунула эти кулачки в косые разрезы карманов своей короткой замшевой курточки.

— Встаньте! — приказала она.

— Я же не могу, поверьте, — вздохнул Виктор, — я и двух шагов не сделаю.

— Я понесу вас, — прикрикнула полька. — Слышите... и молчите!

Женщина опустилась на колени и попыталась приподнять его за плечи. Но он был настолько тяжел, что это ей не удалось. Она попыталась еще и еще раз, и опять у нее ничего не вышло. Тогда она опустилась рядом на корточки и горько, беззвучно заплакала. Виктору стало ее жалко:

— Послушайте... Ну зачем? Я попробую...

Он встал на ноги, ощущая озноб во всем теле, и растерянно огляделся.

— А дальше как? Как пойдем-то?

— Тише, тише, — сказала женщина и стала рядом. — Берите меня за шею и прыгайте на здоровой ноге.

— А если вы меня не удержите?

— Это моя забота, — ответила она резко.

Он обхватил ее за плечи, и они двинулись. Подпрыгивая на левой здоровой ноге, Большаков заковылял в чащу леса. Каждый шаг отдавался в его голове тупой болью. Странное состояние невесомости вдруг овладело им. Потом снова волнами расплылся розовый туман, и он впал в забытье.

Когда он очнулся, увидел, что солнце в зените, и ощутил на себе его теплые лучи. Ему показалось, что он медленно плывет по воздуху, а здоровая его левая нога лишь чуть-чуть соприкасается с землей. Спине его было неудобно, руки были странно вытянуты, и кто-то цепко удерживал его за запястья. Он понял, что его несет на себе женщина, несет, тяжело дыша, выбиваясь, очевидно, из последних сил. И на самом деле, через несколько минут она опустилась на землю. Виктор увидел ее усталое, в мелких капельках пота лицо.

— Что смотрите? — сказала она сердито и, отвернувшись, стала ладонями обтирать потный лоб.

Он озадаченно спросил:

— Вы меня несли?

— А кто же еще, не добрые же гномы.
— Какие тут, к черту, гномы, — с усилием улыбнулся Виктор, удивляясь тому, как оттаял и потеплел его голос: — Сколько же вы меня несли?
— Я не считала метры... Очень много было метров. Но теперь будет лучше. Блиндаж недалеко.
— Это хорошо, — прошептал Виктор.
Полька провела ладонью по его лбу:
— Очень плохо, что вы горонций. Бардзо горонций.
— Это от раны, — грустно признался Большаков.
— Так есть, от раны, — горестно покачала головой полька.— В блиндаже я перебинтую вашу рану. Я умею бинтовать.
— Как все-таки вы сумели протащить меня на плечах, — удивлялся капитан, — целых девяносто кило...
— Это страх меня сделал сильной.
— Почему страх?
— Мне почудилось, за кустами говорили по-немецки.
Они замолчали. В редких иглах сосен и сквозь пожелтевшую высушенную березовую листву виднелось небо, ровное и голубое, совсем не такое, каким было вчерашней ночью, когда Виктор вел на цель «голубую девятку».
Ему стало немного легче, и боль в ноге, как показалось, стихла.
— Мы должны идти дальше, — строго сказала женщина. — Здесь находиться опасно.
— Я теперь попробую самостоятельно, — откликнулся Виктор, — только обопрусь на вас немножко.
Когда он встал и положил ей на плечо руку, женщина спросила:
— Видите блиндаж?
Виктор сузил воспаленные глаза, всматриваясь вперед. Метрах в двухстах от него, там, где особенно густой была толпа низкорослых сосенок, он увидел земляное сооружение с торчащими ребрами бревен, облепленное дерном.
— Там не так опасно,— пояснила полька,— надо только поторопиться. Быстро надо, пан летник.
Лицо ее, минуту назад красное от напряжения, снова стало бледным. Синие глаза неподвижно смотрели вперед. По тому, как дрогнули ее тонкие, строго поджатые губы, Виктор понял, что женщина опять погрузилась в горестные воспоминания.
— Пойдем? — спросила она рассеянно.

Большаков утвердительно кивнул головой. Идти последние метры было еще труднее. Два раза он оступался и падал, судорожно впиваясь от злого бессилия скрюченными пальцами в мягкий безобидный мох. Женщина помогала ему встать на ноги, и они снова шли.

Блиндаж был старый, полуобвалившийся, поросший мохом. На его крыше росли две маленькие елочки с наивными пушистыми ветками. Женщина хотела сразу же спуститься вниз, но Виктор ее удержал:

— Постойте, пани. А если блиндаж заминирован?

Она впервые за весь их трудный, опасный путь улыбнулась и подзадоривающе спросила:

— А разве пан летник боится смерти?

— Глупой, да.

— Но ведь он же сам две годины назад хотел глупо застрелиться из пистолета и просил его покинуть.

— Пани, вы перестаете быть доброй, — усмехнулся Большаков и впервые встретился с ее глазами в упор. Они поглядели друг на друга удивленно, будто была повязка, мешавшая им друг друга рассмотреть, и они ее впервые сбросили.

«Ты добрая? Ты не предашь?» — пытали зеленые глаза Большакова. «Ты мне веришь? Ты знаешь, как мне тяжело?» — спрашивали вместо ответа синие глаза незнакомки. Потом они резко, как по команде, отвернулись друг от друга, и Виктор предложил:

— Пожалуй, я спущусь первым. Все ж таки я немного больше вашего разбираюсь в саперном деле и мину от еловой шишки как-нибудь отличу.

— Этого не потребуется, пан летник, — засмеялась полька, — кому надо минировать старые блиндажи!

— И все же я войду первым, — настоял он.

Опираясь на самодельный посох, Виктор по кривым жердевым ступенькам спустился вниз. Приглядевшись в полумраке, он достал из кармана электрический фонарик, чтобы обследовать вход и удостовериться, нет ли на поверхности земли проволоки от мин. Услышал за спиной взволнованное дыхание: женщина стояла рядом.

— Зачем вы здесь! — выкрикнул он.

— Я не могу, чтобы пан один. Вместе, — решительно сказала полька.

Виктор ничего не ответил. Он никогда не был сапером, но знал, как кладутся и маскируются мины. Сейчас это было как нельзя кстати. Блеклое пятно электриче-

ского фонаря шаг за шагом прощупывало внутренность блиндажа. На пороге не было никаких опасных примет, и Виктор, смелея, толкнул от себя посохом полусгнившую дверь. Она тоскливо застонала на петлях и подалась вперед. Косяк желтого света, вырвавшийся из его руки, заскользил по земляному полу и бревенчатым сводам, вырвал из мрака рассыпанные по земле патроны, порожние пулеметные ленты, два топчана, наскоро сбитые из березовых жердей. Пахло плесенью и прелой листвой.

— Поверим этой тишине, пани, — напряженно проговорил капитан.

— Поверим, — отозвалась женщина спокойно, и они вошли. Виктор опустился на топчан, устало вздохнул:

— А если прилечь?

— Можно прилечь, — улыбнулась женщина, — даже надо. Ложитесь, а я осмотрю рану.

Большаков осторожно лег на спину, с наслаждением вытянул одеревеневшую правую ногу. Все из того же вместительного кармана комбинезона достал он предусмотрительно захваченный на месте катастрофы кусок парашютного шелка.

— Прошу, пани, если сможете, поменяйте повязку.

Ни слова не говоря, женщина утвердительно кивнула головой. Он почувствовал, как бережно прикоснулись к нему ее холодные пальцы. Им вдруг овладело состояние безразличия. Сквозь обманчивый туман, снова к нему подкравшийся, видел он лохматую голову, иногда вздрагивал от боли и обреченно думал: «Ну, перевяжет, а дальше? А завтра и послезавтра? Разве в таком состоянии добрести до линии фронта, перейти к своим? Неужто придется погибать на захваченной врагом польской земле, вдали от своих, не рассказав им о той страшной ночи, не передав документов погибших героев, таких близких — Володи Алехина и Али Гейдарова и такого же отважного, хотя и малознакомого, нижнего люкового стрелка Пашкова?»

Женщина зубами надорвала лишний кусок материи, вздохнула:

— Рана не загноилась, но вы очень горонций. Нужен доктор.

— Где же его в лесу сыщешь? — пробормотал капитан. — Тут и волков с медведями война распугала. Вы есть хотите? — спросил внезапно.

— Еще как, — созналась она.

Виктор вспомнил, что перед вылетом за вечерним ужином он взял в карман комбинезона с полкилограмма хлеба, большой кусок колбасы и белые квадратики пиленого сахара. Он был расчетливым бойцом и всегда брал в дальний полет немного продуктов. Делал это вовсе не потому, что предвидел вынужденную посадку в тылу противника. Просто перед полетом ничего не хотелось есть, он ограничивался в столовой стаканом чаю, а наблюдательная официантка Надя напутственно говорила:

— Вот и опять вы сегодня без аппетита, товарищ капитан. Возьмите хоть что-нибудь с собой. Может, на стоянке захочется есть, а то и в кабине.

— В кабине не до этого, Надя, — отмахивался Виктор, но какой-нибудь сверточек из ее рук брал. Сто тринадцать раз эти свертки оказывались ненужными, а на сто четырнадцатый запас пригодился.

— Подождите-ка, пани. — Он запустил руку в карман комбинезона, но вместо колбасы и хлеба вытащил оттуда два черных пистолета. Посмотрел на них и, осененный внезапной мыслью, протянул один женщине. У польки встревоженно поднялись темные брови.

— Нацо мне?

— Берите, — настойчиво посоветовал Виктор, — вы же видите, какой я дохлый. Вдруг какая опасность. Ни вас, ни себя защитить не сумею. Берите. Мы теперь вроде как единомышленники.

— Что такое единомышленники? — печально улыбнулась полька. — Коллеги?

— Пусть будет коллеги.

Женщина быстро и решительно взяла пистолет и чему-то горько усмехнулась.

— Браунинг? — неуверенно спросила она.

— ТТ, — возразил Большаков.

— А что есть ТТ?

— Тульский Токарева... наш, советский.

— Тула? — высоко подняв брови, спросила полька. — Тульские ружья... тульские пряники и самовары?

— И еще тульские кузнецы, которые блоху подковали, —прибавил Большаков. — Давайте покажу, как им надо пользоваться, — сказал он.

— Не нужно. Я знаю.

Тонкими пальцами она сноровисто вынула магазин с патронами, густо смазанными ружейным маслом, потом сдвинула предохранитель и прицелилась в узкое окон-

це, чуть прижмурив один глаз. Щелкнул курок, и Виктор успел заметить, что в ее цепкой руке ствол пистолета почти не дрогнул.

— Откуда у вас такие навыки? — поинтересовался он. — Может, и стрелять приходилось?

— Приходилось, — погасив на лице улыбку, подтвердила полька. — Но только в тире.

Больше он ее не спрашивал. Молча погрузил обратно в карман свой пистолет, достал хлеб, колбасу и сахар.

— Давайте подкрепимся немного.

Женщина закивала головой. Взяв хлеб и колбасу, она отвернулась. «Изголодалась, бедняга, не хочет, чтобы я видел, как она жует», — догадался Виктор. Сам он съел мало. От пищи тошнило, она казалась удивительно горькой. Съев свою порцию, полька достала платочек, заученным движением вытерла рот. Обернувшись, тихо сказала:

— Спасибо.

— Если бы можно было достать воды,— промолвил Виктор. Он стеснялся обращаться к ней с прямыми просьбами, но на каждую из них, неопределенно высказанную, она мгновенно отзывалась.

— Я поищу, — сказала она, вставая, — здесь должен быть поблизости ручей.

— Откуда вы знаете? — покосился он недоверчиво.

— Знаю, — ответила она, и лицо ее мгновенно просветлело от каких-то ей одной доступных воспоминаний.— В этих местах я бывала до войны. В шести километрах отсюда веска Бронкув, куда я шла.

— Ну, а в чем вы принесете воду?

— Извините, не подумала, — тихо улыбнулась полька, и улыбка эта показалась Виктору такой домашней, располагающей, что и он улыбнулся. — Может, мне повезет и я найду банку получше той, первой.

— Это бы хорошо, — сказал он слабо.

Когда она ушла, Виктор закрыл глаза. Его снова клонило ко сну. В узкие разбитые оконца блиндажа вливались солнечные лучи, успевшие по-вечернему побагроветь. Они рассеивали прохладный полумрак землянки, слабо освещали ее дальние заплесневелые углы. Сквозь дрему Виктору почудилось, будто он слышит мягкие переливчатые звуки губной гармошки. Звуки то приближались, то удалялись и, казалось, все кружились и кружились около землянки. «Вот, черт, до чего доходят галлюцинации», — подумал он. Потом в зыбких мечтаниях перед ним пред-

стала беленькая улыбающаяся Аллочка в клетчатом платье с фартуком. Она протягивала ему мягкий сверток с незнакомым, туго спеленатым Сережкой. Почему-то у нее были очень широкие синие глаза, совсем такие, как у этой польки.

Видение растворилось, и вся голова Большакова от затылка до висков наполнилась тяжелым звоном. Его бесцеремонно трясли. Он подумал, что это возвратилась женщина, и удивился, почему она его будит так грубо. Он открыл тяжелые горячие веки и, несмотря на боль в ноге и на слабость во всем теле, едва не вскрикнул от ужаса. В двух шагах от него на скользком от плесени чурбаке, вероятно заменявшем в свое время стул обитателям блиндажа, сидел здоровый мордастый немец с рыжими ресницами и тонкими бровями, словно обмазанными сметаной. На мышиного цвета мундире темнели Железный крест и эмблемы танкиста. В руке он держал парабеллум и тыкал стволом в грудь и плечо Большакова.

— О, шен! — восклицал он, обнажая прокуренные зубы. — Какой прекрасный экспонат для господина коменданта!

За плечами у гитлеровца маячил ствол охотничьего ружья. Дерзкие водянистые глаза смотрели с издевательским бесстрашием.

— Дизер блиндаж ист айн шлехтер отель фюр зи, — возбужденно продолжал он, — для вас у господина коменданта найдется получше место. Вы пилот? Люфтваффе? Я? Руссише люфтваффе одер энглиш, одер полянд?

— Полянд, — прошептал Виктор побелевшими губами.

— Молшать! — заорал немец. — Ты есть руссише пилот, большевик. Хенде хох унд ауфштейн!

Виктор молча поднял руки и привстал на топчане, опуская ноги. Тоскливая мысль билась в мозгу: значит, предала синеглазая пани. Вот за какой водой она отлучалась. Он удивился тому, что при этом не ощутил ни злобы, ни ярости к ней. Одна только тоска и щемящее чувство одиночества проснулись в душе.

За все четыре года войны Виктор ни разу не видел живого немца в фашистской форме. Ему, летчику дальней авиации, за свои сто четырнадцать боевых вылетов, вероятно, пришлось уничтожить не одну сотню таких, как этот. Они погибали от бомб, которые сбрасывались с большой высоты на штабы, нефтехранилища, вокзалы

и эшелоны, аэродромы и морские порты. Но гитлеровцев он видел только в киножурналах да на страницах газет. Да еще раз, занимая во время наступления новый, только что разминированный аэродром, видел неубранные трупы. Их было около тридцати. Стояла суровая зима, и они не могли разложиться, а только закостенели. На некоторых лицах замерло выражение страдания или испуга, рожденное последними отблесками сознания, некоторые были бесстрастны. А один ефрейтор лежал в стороне от группы, стылыми руками сжимая и после смерти короткий ствол автомата. У него было строгое лицо с тонким профилем носа, надменными очертаниями небольшого рта и холодным презрением в остекленевших голубых глазах. Ветер трепал густые белые волосы. Стройный и высокий, весь устремленный вперед, — таким он был настигнут смертью в последней атаке. Большаков долго простоял над убитым, и у него в сознании именно тогда родился образ фашиста, против которого он воюет. Это был сильный и наглый воин, во всем похожий на замерзшего в наших снегах ефрейтора.

Немец, который сейчас сидел напротив, направив на него черный ствол парабеллума, всем своим видом разрушал этот образ. Он скорее напоминал карикатуры Кукрыниксов, чем того ефрейтора. Вдобавок от самодовольно ухмыляющегося немца пахло чесноком и самогонным перегаром.

Большаков глядел на немца и напряженно думал: «Один на один он не рискнет меня обыскивать. Но если я полезу за пистолетом, он пришьет меня, прежде чем я взведу курок. Не годится. Надо сделать вид, что я напуган и во всем ему повинуюсь. По дороге я раза два упаду, как бы в обморок, и постараюсь, поднимаясь, выхватить пистолет или хвачу его посохом по глазам. Нужно выиграть время. Ну, а если он не один? — спросил себя Виктор. — Нет, этого не может быть. Если бы он был не один, он бы и сюда пришел с другими».

— Нур хенде хох унд ауфштейн! — прокричал немец, поднося черное дуло к его лицу.

— Фриц, у меня нога кранк, не могу идти быстро, — попытался ему объяснить Большаков.

— Шнель, шнель! — заорал немец.

— Да что ты тычешь пистолетом, я и сам пойду. — Он нашарил палку и, вставая, нарочито громко застонал.

— Шнель, шнель! — повторил гитлеровец и парабеллумом указал ему на выход.

В узком прямоугольнике двери стояло багровое солнце, клонившееся к земле. «Неужели это мой последний закат, — с тоской подумал Виктор, — и придется погибнуть от этого провонявшего чесноком и водкой фрица?»

Гитлеровец стоял за его спиной, поторапливал.

— У тебя Железный крест, — сказал Виктор озлобленно, чтобы хоть как-нибудь растянуть время, — надеешься за меня получить от коменданта второй?

— Шнель, шнель! — повторил немец невозмутимо.

На мгновение Виктору показалось, что легкая тень промелькнула в проходе блиндажа. Он вздрогнул от смутного предчувствия.

— Ну, я пошел, — так же озлобленно крикнул он гитлеровцу, — можешь конвоировать.

Показалось, даже раненая нога оцепенела за эти страшные минуты и стала лучше повиноваться. Виктор, поднимаясь наверх, пересчитывал ступеньки, их оказалось тринадцать. «Хорошенькое число», — тупо подумал он.

Предвечерний ветер дохнул ему в лицо и немного взбодрил. Выйдя из блиндажа, Виктор повернул налево, чувствуя, как сзади, весь напружинившись, шагает его конвоир. Гитлеровец только поднялся на самую верхнюю ступеньку выходной лестницы, как Большаков явственно услыхал шорох осыпающейся земли. В следующую секунду за его затылком блеснуло пламя, и пистолетный выстрел расколол лесную тишину. Виктор стремительно обернулся. Грузная фигура фашиста беззвучно осела на землю. Выроненный им парабеллум валялся на траве. Большаков остолбенело поднял голову. От блиндажа к нему медленно приближалась полька. Было что-то подавленное в ее походке. Рука с пистолетом опустилась вниз, побелевшие губы вздрагивали, а синие неподвижные глаза стыли от ужаса.

— Я убила человека, — прошептала она едва слышно.

— Ты убила фашиста, — громко сказал Виктор.

Она покачала головой, и пышные волосы прядями хлестнули ее по лицу.

— Я убила человека, — повторила она, вся дрожа.

— Ты убила фашиста, — грубо оборвал ее Большаков. Он стоял рядом, высокий, выпрямившийся, с обветренным, румяным от жара лицом, — ты...

Она неожиданно бросилась к нему:

— О матка боска, матка боска, если бы вы только все знали, если бы знали...

— Да успокойтесь же, пани, — сказал он после небольшой паузы, видя, что она вся дрожит. — Скажите лучше, как вас зовут, я даже этого не знаю.

— Ирена, — ответила женщина едва слышно.

— Ирена, — повторил за нею капитан. — Ирена... А меня просто, по-российски, Виктором. Вы мне жизнь сейчас спасли, Ирена, а о себе говорить не хотите.

— Очень много надо говорить, Виктор. Я лучше потом. Вам тяжело стоять. Я вам помогу спуститься опять туда. Добже?

Когда он присел на нары, женщина доверчиво опустилась рядом, ее плечи продолжали вздрагивать.

— Я набрала воды в бутылку и возвращалась сюда, — зашептала она, — потом эта губная гармошка. Он играл на ней сладенькую немецкую песенку «Марихен». Я увидела его издали и спряталась за дерево, а он все шел и шел к землянке. А когда он спустился вниз, я поняла, что он вас ни за что не отпустит, а поведет в комендатуру. И тогда я решила, что только одна могу вас спасти. Я спряталась за насыпью блиндажа, а все остальное вы знаете.

— Какая вы смелая и добрая.

Она постепенно успокоилась и перестала вздрагивать. Виктор осторожно снял руку с ее плеча. Нога начинала ныть.

— Слушайте, пан Виктор, — встревоженно заговорила Ирена, поднимая не просохшие от слез глаза, — здесь нельзя дольше оставаться.

— Я и сам об этом думаю, — мрачно ответил он, — но видите, какой я нетранспортабельный. Только обуза для вас.

Ирена осуждающе подняла ладонь с заблестевшим колечком.

— Замолчите, все равно я не брошу вас. У вас тяжкая рана. В ноге осколок, и, если его не вытащить, может случиться все.

— Гангрена? — невесело вымолвил летчик.

— Да, и гангрена. Нужен врач.

— Так где же его взять, пани Ирена?

Она запахнула полы белого плаща, встала и тонкими нервными пальцами деловито застегнула пуговицы. Выражение человека, принявшего твердое решение и наме-

ревавшегося его как можно скорее осуществить, было на ее лице.

— Это уже моя забота. Вы раненый, вы должны быть терпеливым, и только. Я вернусь очень быстро, но сейчас вы меня ни о чем не пытайте.

— Хорошо, — согласился он тихо.

— Шесть километров не большая дорога, — проговорила она, стоя уже в дверях, — я сниму эти туфли и за час дойду до вески.

Она поднялась по лесенке ступеньки на две и остановилась, зябко передернув плечами:

— Я хотела вас попросить.

— О чем?

— Не можете ли вы проводить меня наверх. Очень тяжело пройти мимо него одной. Поверьте.

Большаков встал, нащупал посох, проковылял мимо нее и, отстранив ее руку, протянутую для поддержки, вышел из блиндажа первым.

— Вам и на самом деле лучше не смотреть, — проворчал он. — Сворачивайте сразу направо и шагайте себе на здоровье.

Она благодарно кивнула головой и, обогнув земляную насыпь с правой стороны, быстро пошла вперед. Опираясь на посох, капитан несколько минут простоял неподвижно. Увидел, как она остановилась, сняла туфли и почти побежала. Прежде чем спуститься в землянку, Виктор подошел к убитому фашисту. Тот лежал, зарывшись лицом в бледно-зеленый мох, неуклюже подвернув под себя левую ногу. Темная лужа крови натекла из раны. Большаков нагнулся и подобрал парабеллум.

Потом, тихо охая, спустился в землянку. Солнце уже догорело за дальней березовой рощицей, смутно белевшей на фоне сосняка. Прохладой веяло из лощин и буераков. Сколько в этот день ни грело солнце, но сентябрь оставался сентябрем, и тепло, отданное земле, было непрочным. Земля в вечерних сумерках быстро остывала.

Одиночество угнетало Большакова. С детства не боявшийся мертвецов, он с холодным презрением думал об убитом. За Володю Алехина и Али Гейдарова их надо было положить не столько. Какие ребята погибли! А что самое обидное, он был не в силах вырыть могилу, предать их земле. Он подумал о том, как странно складываются человеческие судьбы на войне. Вот лежат в трех или четырех километрах отсюда тела его товарищей: Володи

Алехина, Али Гейдарова, Пашкова. Лежат вдали от Родины, на польской земле. И на этой же земле лежит в мышином мундире толстомордый фашист, пытавшийся захватить его в плен. Четыре иностранца. Трое из них пришли с востока, проходили эту землю, чтобы поскорее ее освободить, а этот фельдфебель ступил на нее, чтобы жечь, покорять, резать.

Прошумят многие ветры и метели, и наконец придет мирная весна. И тогда тем троим его товарищам и побратимам — бакинцу Али Гейдарову, туляку Володе Алехину и малознакомому нижнему люковому стрелку Пашкову, пришедшим с востока, может быть, в этом же самом лесу поставят обелиск те же поляки, а мрачный пришелец с запада сгниет бесславно в этой земле.

«Вот в чем сила всех наших, живых и мертвых, — решил Виктор. Потом он подумал об Ирене. — Кто она, эта молодая полька, такая неожиданная и необычная в этом лесу? Впрочем, не все ли равно кто. Пусть она окажется графиней или варшавской парикмахершей, разве ему это не одинаково? Если бы не она, его бы уже мучили на допросе в комендатуре. Спасибо тебе, Ирена».

В наступивших сумерках он чутко прислушивался к шорохам. Сейчас он больше всего боялся впасть в забытье. Его горячая ладонь нервно сжимала холодную колодку ТТ. Ночь вползала в землянку. Ветер крепчал, и ближайшие кусты орешника уже наполнились шумами. Но обманчивый мир и покой стояли сейчас над лесом. Ни одного залпа, ни одного отголоска артиллерийской канонады. Да и откуда! Ведь фронт отсюда очень далеко. Только раз где-то в стороне прогудел тяжело и надрывисто самолет, и по шуму моторов Виктор безошибочно распознал, что летит бомбардировщик, но не наш, а немецкий: моторы работают с хриплым привыванием.

Прошло уже много времени, ночь полновластной хозяйкой опустилась на лес, осветив его желтой луной. Звезды холодными невеселыми табунками рассыпались по безоблачному небу. Сквозь ветер и шум недалеких кустов до капитана донеслось конское ржание. Он настороженно прислушался. «Померещилось», — успокоенно подумал он. Но прошло несколько минут, и порыв ветра донес до его обостренного слуха скрип колес. Он поднял руку с пистолетом и, отодвинувшись от двери, стал выжидать. Рядом с землянкой послышались быстрые шаги. Потом верхние

ступеньки заскрипели. Готовый к любой неожиданности, Виктор сжался и тут же облегченно вздохнул, когда знакомый голос негромко позвал:

— Пан Виктор, вы меня слышите?

— Слышу, Ирена.

— Вот я и вернулась.

Она вошла в блиндаж, нащупала рукой топчан, села рядом.

— Я очень волновалась. Здесь тихо?

— Пока да.

— О! Мы не будем дожидаться, когда станет шумно и немцы начнут искать пропавшего фельдфебеля. Слушайте меня внимательно, пан Виктор. Вы больше не совецкий летник. Все свои одежки вы оставите здесь, в блиндаже... Возьмите только оружие и документы.

— В чем же я поеду?

— Я привезла вам польское платье. Вы теперь просто пан Виктор, бывший российский солдат, отпущенный из концлагеря, и только. Почему я вас везу к доктору?.. Потому что вы мой монж, — договорила она смущенно.

— А что такое монж?

— Муж, муж, понимаете? — нервно повторила Ирена.— И давайте поскорее собираться.

В углу блиндажа было небольшое углубление. С помощью пани Ирены Большаков запрятал туда унты, комбинезон и свою офицерскую гимнастерку. Он не без труда надел на себя принесенную Иреной белую расшитую рубашку, юфтевые сапоги с короткими голенищами, оказавшиеся, к счастью, очень просторными, фуражку с узким лакированным козырьком, сделанную на манер конфедератки.

— Я готов, — сказал он негромко, — только куда вы теперь меня повезете, Ирена?

— На операцию, — ответила она кратко, — и больше ни о чем меня не спрашивайте. Скоро вы сами все поймете, а сейчас — вперед.

В двадцати метрах от блиндажа стояла запряженная двухместная бестарка. Ловко и быстро Ирена усадила в нее капитана, отвязала лошадь и легко впрыгнула на сиденье. Тихо чмокнув губами, она дернула поводья, бестарка бесшумно покатилась к дороге.

Громкий стук колес медленно замирал в воздухе. Виктору опять стало плохо. Сквозь надвигавшийся розовый туман он смутно слышал, как подскакивает на ухабах

бестарка, но почти не чувствовал, как прижимает его, большого, измученного и отяжелевшего, к себе Ирена, опасаясь, что он вывалится.

Глубокой ночью под редкий лай собак они въехали в небольшое село.

Низкий задымленный потолок был весь в царапинах. Штукатурка во многих местах осыпалась, но тонкий правильный круг с золотистой каймой остался на потолке целым. В центре этого круга бронзовела дряхлая, древняя люстра, и в ее старомодных подвесках желтели лампы. Виктор их пересчитал — шесть. Он лежал на жесткой, выкрашенной белой эмалью деревянной кушетке, какие стоят во всех госпиталях мира, с удивлением ощущая под головой твердоватую, не то резиновую, не то соломенную подушку. Предметы, населявшие незнакомую комнату, розовея, двоились у него в глазах. Видел он незатейливые переплеты двух небольших, плотно зашторенных окон и аляповатую репродукцию какой-то картины, изображающей на охоте всадников в нарядных доспехах. У одного окна белел небольшой столик, заставленный склянками и пузырьками, пинцетами, поблескивающими в стакане, пучками ваты и бинтов. Пахло от столика йодоформом и спиртом.

Виктор увидел, как мимо него прошагал высокий сутуловатый человек в пенсне и зеленом немецком френче без погон и знаков различия. Только на левом рукаве у него была пугающая повязка со свастикой. Но к нему подошла Ирена, и Виктор сразу успокоился.

— Пить, — прошептал он тихо.

— Сейчас, — сказала она и поднесла стакан. Виктор пил большими глотками и чувствовал, как холодеют губы, прикасаясь к стеклу. Предательская слабость опять подкатывалась, и он плохо понимал происходящее. Голоса Ирены и незнакомого человека плыли над его изголовьем, не западая в сознание. Он только понимал, что в комнате говорят по-польски, говорят очень быстро и, как ему померещилось в родившемся от жара полуобморочном состоянии, миролюбиво.

Но так ли это было на самом деле?

Пани Ирена стояла у стены, прислонившись лбом к холодному стеклу, и, не оборачиваясь, гневно и твердо говорила:

— Ты должен это сделать, Тадеуш, и ты это сделаешь.

Человек в зеленом френче стоял позади и, как будто его голове с залысинами и редеющим ежиком волос было больно, стискивал ладонями виски.

— Но по какому праву... по какому праву ты врываешься в мой дом и толкаешь меня на это! — возмущался он.

— По праву родной сестры, — сказала Ирена спокойно, — сознаюсь, что этим правом мне нечего гордиться. Очень невысока честь считаться твоей родной сестрой, Тадеуш. Но ты должен вспомнить, если ты еще не до конца растерял остатки человечности, что нас с тобой вскормила одна и та же мать. Ты и о том должен вспомнить, что по твоей вине погиб твой родной отец.

— Ирена! — вскричал Тадеуш. — Это неправда. Слышишь, Ирена, неправда!

— Замолчи!

— Так думают многие, кто знает нашу семью, но, клянусь, это неправда. К отцу давно подкрадывался паралич сердца, и я не виноват, что он сразил его именно в ту минуту.

— В какую? Когда старик узнал, что его единственный сын ушел добровольно служить нацистам, разрушившим нашу чудесную Варшаву? Ты забыл это прибавить к своим лживым словам, Тадеуш. Я тогда была молодой и глупой, но что-что, а это я прекрасно поняла. Думаешь, я забыла, как ты бегал на поклон к ним в комендатуру и как гордился, что они обещали тебе богатую практику, как потом хвалился, что тебя назначили ведущим хирургом полевого немецкого госпиталя.

— Ирена! — попытался он ее перебить упавшим голосом.

Но она стремительно обернулась:

— Что «Ирена»? Думаешь, я не знаю, как тебе далась твоя мышиная форма, против которой воюют сейчас все честные поляки, и сколько крови на этой твоей повязке! Ты знаешь, Тадеуш, мне часто кажется, что, когда мимо тебя проходит настоящий гитлеровец, эта твоя повязка ему кричит: «Не бойся его, этот человек сделает все, что ты пожелаешь, он продался».

Ирена приблизилась к брату, крылья ее тонкого прямого носа раздувались от ярости.

— В последний раз тебя спрашиваю: сделаешь ты это или нет?

Тадеуш невольно попятился и отнял руки от висков. Бледный его рот кривился.

— Ирена, ведь ты должна понимать, насколько это невозможно и невероятно. Я, главный хирург немецкого эвакуационного госпиталя, буду делать тайком от своего командования операцию...

— Перед тобою раненый, Тадеуш. Разве не взывает о помощи его рана? Вспомни святые медицинские принципы, существующие со времен Гиппократа.

— Я обязан поставить в известность свое командование, — упрямо твердил он.

— Предать? — жестко спросила женщина. — Отдать на пытки человека, которого я привезла сюда без сознания. Так, что ли, Тадеуш? В этом ты видишь свой долг? Хорошо, иди и зови сюда свое командование. Предавай его и меня. Только не позабудь прихватить с собой дюжину автоматчиков. Я буду защищаться до последнего патрона. Вы нас живыми не возьмете. Иди же...

Она показала ему на дверь.

— Чего же ты стоишь, Тадеуш? Или, может, тебе надо подать твою фашистскую фуражку и плащ. А?

Врач не отвечал. Он медленно опустился на красную тахту, ладонями взялся за голову. Ирена не видела его глаз, устремленных вниз.

— Ирена, сестра моя, — спросил он, затравленно пряча глаза, — кто он тебе, этот человек? Не пытай меня, скажи правду.

Женщина устало вздохнула. По этому последнему вопросу она безошибочно поняла: брат сдается.

— Я уже сказала, это человек, которого я люблю. Он бежал из концлагеря под Познанью. Его там продержали около года, а в Советской Армии он был всего только лейтенантом.

— И ты убеждена в этом? — настороженно спросил доктор.

— Да, твердо, — ответила она не колеблясь.

— Ты легковерная, Ирена, — грустно улыбнулся Тадеуш. — Ты всегда была рабой первого впечатления. Вспыхиваешь, как порох, а потом приходишь к выводу, что не все то золото, что блестит.

— Зато ты, Тадеуш, слишком долго тлел. Таким тлеющим они тебя и заманили и во френч этот впихнули.

— Ты легковерна, Ирена, — повторил хирург не слушая, — он тебе сказал, что лейтенант. А вот мне стало известно, что не далее как вчера ночью бомбардировщик русских сбросил в Познани бомбы на казино, где проходило совещание старших офицеров германской армии.

— Так ведь промахнулись, наверное? —беспечно перебила она брата.

— В том-то и дело, что не промахнулись. Пятьдесят три убитых и четверо скончавшихся от ран. Статистика точная и в поправках не нуждается.

— Ну и что же? Какое это может иметь отношение к раненому?

Тадеуш поднял на сестру глаза, сказал строго:

— А такое, что советский бомбардировщик был сильно подбит зенитными батареями и совершил, по-видимому, где-то вынужденную посадку. Может, этот твой лейтенант один из красных летчиков и есть?

Вся задохнувшись от гордой догадки, Ирена выдержала его испытующий взгляд.

— Ты гестаповец или хирург?

— К чему эта пытка? — почти простонал Тадеуш.

— Тогда я тебя в последний раз спрашиваю: будешь ты делать операцию или нет?

Тадеуш встал и вяло потянулся за халатом.

— Хорошо, Ирена, я сделаю операцию. Но дай мне слово, что, как только рана станет безопасной, ты увезешь его отсюда. Здесь ему оставаться нельзя. Немцы ко мне заходят почти ежедневно. Ни ты, ни я не заинтересованы теперь в огласке.

— Да, Тадеуш, я об этом подумала еще до того, как решила просить тебя об операции.

Он уже мыл руки с той старательностью, с какой их моют только хирурги. Тугие струйки воды падали в оцинкованный тазик. Высокий, ссутулившийся не по годам, Тадеуш казался сейчас угрюмым.

— И еще одна просьба, — сказал он, не глядя на сестру, — обещай, Ирена, что, если мне когда-нибудь понадобится, ты подтвердишь, что я делал ему эту тайную операцию. Не хочу, чтобы на моих руках была одна только грязь.

Ирена подалась вперед, почувствовав в его голосе боль и усталость.

— Тадек, ты не веришь в их победу?

Он обернулся, вытирая с той же старательностью руки, негромко подтвердил:

— Я скажу тебе со всей откровенностью, что верю в большее: в их неминуемое поражение.

— Зачем же тогда ты остаешься с ними, Тадек?

— А что же прикажешь мне делать? — пожал он плечами. — Пустить себе пулю в лоб, чтобы одним покойником стало больше? Ты думаешь, мне легко? Мне часто хочется положить руки на подоконник, глядеть на луну и выть как волку.

— Так беги от них, Тадек. Брось все и беги. Ищи партизан. Или тех, кто борется за свободную Польшу.

Тадеуш снова опустился на тахту, словно у него подгибались колени.

— Уже поздно, Ирена.

— Не понимаю...

— Я слишком далеко зашел. За доверие, которое гитлеровцы мне оказывают, они в свое время потребовали очень дорогую плату. — Он помедлил и тяжело спросил: — Ты знаешь о Майданеке, Ирена?

— Да, знаю.

— Там, в Майданеке, я был одним из лагерных врачей.

— Ты! — отшатнулась она, бледнея. — Ты истязал этих безоружных людей, делал им прививки, снимал скальпы!

— Ты очень пышно выражаешься, Ирена! — возразил Тадеуш, и она увидела, как дернулось нервным тиком его худощавое лицо. — Никаких скальпов я не снимал и ни в какие душегубки людей не запихивал. Но то, что я делал, было еще страшнее. Мы испытывали на пленных три сорта вакцины. Два сорта для заживления ран и один... смертоносный. Их подводили ко мне голых, изможденных. По сравнению с ними любой скелет выглядел бы куда красивее.

— И ты их колол?

— Да, Ирена, колол! — воскликнул он с ожесточением. — Все это происходило в ужасной угловой комнате с низкими средневековыми сводами. Она была известна в лагере под литером «тринадцать Г». Там все ходили в хрустящих белоснежных халатах: и врачи, и санитары, и даже два фельдфебеля из СД, посаженные по приказанию коменданта лагеря для порядка. Мне один из них особенно запомнился, Густав Стаковский. Он носил поль-

скую фамилию, но был, как они говорили, чистокровным арийцем. Настоящий зверь. Волосатые, как у гориллы, руки, низкий лоб и очень проницательные глаза. В лагере его звали «железный Густав». Они приходили в комнату и садились «на всякий случай» с расстегнутыми кобурами парабеллумов. Их лица я не забуду и на том свете. У меня кружилась голова и дрожали руки, но я колол. Понимаешь, Ирена, колол эту проклятую вакцину, от которой некоторые умерли, а некоторые остались инвалидами. Я уходил из этой комнаты шатающейся походкой, совсем уничтоженный как человек. Вечерами я напивался до потери сознания, стараясь забыть прожитый день, благо водки и вина выдавалось неограниченно, и лагерные офицеры снисходительно хлопали меня по плечу: «Ну вот, доктор, теперь вы и совсем уже наш. Потерпите немного и ко всему привыкнете. Главное, не нужно сентиментальности: запомните, что это такая же работа, как и любая другая». Понимаешь, они именовали это работой!

— И ты... ты убивал своими прививками даже поляков?

— Там были все, Ирена. Все в одну кучу: русские, евреи, поляки, французы и даже марроканец.

— И ты можешь после этого жить!

— Как видишь, даже слушаю тебя и исповедуюсь, — ответил он без усмешки. — И еще об одном хочу сказать, Ирена. Не подумай, что, делая эту тайную операцию, я дрожу за свою шкуру. Для меня страх — уже далекое прошлое. Очень хочу, чтобы хоть что-то светлое появилось у меня в жизни, прежде чем из нее уйти.

— Я тебя поняла, Тадек, — сказала в смятении Ирена. — Я тебя хорошо поняла.

Он решительным движением отбросил от себя вафельное полотенце:

— Ну, а теперь ближе к делу, сестра. Твоего подопечного я залатаю по первому списку. Ты заменишь мне ассистента. Помнишь, я тебя когда-то учил этому.

Удаление осколка оказалось более сложным делом, нежели предполагал Тадеуш. Он долго возился около бредившего летчика. Опытные смуглые руки сейчас не дрожали. В угрюмом молчании длилась операция. Изредка кивком головы и шепотом Тадеуш отдавал короткие распоряжения сестре:

— Иглу... пинцет... тампон... зажим.

Наконец он наложил повязку, накрыл простыней пра-

вую ногу Виктора и поднес на ладони к глазам сестры небольшой с зазубренными краями кусочек металла.

— Возьми на память, Ирена. Ты меня уверяла, что в него стреляли часовые, когда он бежал из концлагеря. Это не пуля, Ирена. Это осколок. — Помолчал и прибавил: — Зенитный.

Час спустя на старых брезентовых носилках, которые, как и многое другое медицинское оборудование, валялись в просторных комнатах дома, занятого главным хирургом эвакогоспиталя, Виктора отнесли на чердак и уложили на узкую лазаретную кровать. Он пришел в сознание, и взгляд его встретился с тяжелым взглядом хирурга. В больничном белом халате тот показался Виктору более приветливым, чем в серо-зеленом фашистском френче.

— Это вы меня отремонтировали? — прищурился Виктор. — Спасибо.

— Он муви бардзо дзенькуе, — перевела Ирена брату.

Тадеуш, не улыбнувшись, качнул головой и пробормотал:

— Порекомендуй ему больше не попадать под зенитки. Ты спустишься со мной или останешься с ним?

— Останусь с ним. Только одежду свою заберу.

— Да, это не помешает, — буркнул брат. — У майора Рихарда, начальника эвакогоспиталя, я пользуюсь неограниченным доверием, о чем тебе уже говорил, но все же лучше не лезть на рожон. Если он увидит женскую одежду, пойдут расспросы. До свидания, — кивнул он раненому.

Ирена минут через десять возвратилась, неся перекинутые на руке плащ и замшевую курточку. На чердаке под нагревшейся за день крышей было душновато. От разбросанного свежего сена исходил живительный запах. Рядом с его койкой, прямо на сене, она начала молча стелить себе нехитрую постель.

— Это вы, Ирена? — негромко осведомился Виктор.

— Я, — ответила женщина и, придвигаясь, спросила: — Ну, как теперь себя чувствует пан летник? Больше не думает о смерти?

— Нет, Ирена. Я не рыжий, чтобы так легко сдаваться костлявой. Она меня со своей косой еще наждется.

— Пан Виктор, — засмеялась она тихо, — если правда, что поляки несколько хвастливы, то вы похожи на поляка.

— Вот и хорошо. Особенно если все поляки похожи на вас и на этого доктора, что меня резал, — продолжал он восторженно, — это же отличный мужик.

— Вы хотите сказать, что он хорошо удалил осколок?

— Я говорю, он вообще чудесный парень, — повторил Виктор.

Она помолчала, подавив горестный вздох. Белый камешек на ее пальце поблескивал во тьме.

— Нет, Виктор. Нет и нет. Он вовсе не отличный. Он плохой и несчастный.

— А зачем он тут?

— Он главный хирург немецкого эвакогоспиталя.

— Значит, он может предать. Сделать операцию и предать.

— Нет, Виктор. Он исполнит все, что я захочу.

— Почему вы так уверены в этом, Ирена?

— Он мой брат, Виктор, родной брат.

Она уронила голову на колени и заплакала.

Было тихо. Где-то в дальнем углу, заставленном косами, граблями и лопатами, — видно, подлинный хозяин этого дома, прежде чем уступить его временным пришельцам, заранее стащил сюда всяческую утварь — робко затрещал сверчок. Лунный свет скупыми полосками проникал сюда через небольшое незамаскированное оконце и слегка освещал женщину. Она казалась Виктору печальной. Он постарался сейчас в потемках воскресить каждую черточку ее лица и вздрогнул, осененный внезапным открытием. «Да она же красивая, — сказал он себе,— она очень красивая». Внизу раздавались глухие быстрые шаги: это доктор расхаживал по комнате из угла в угол, почти не останавливаясь, потому что шаги не затихали. Потом послышался дребезжащий телефонный звонок, шаги оборвались, и нервным хрипловатым голосом курильщика доктор произнес несколько фраз по-немецки. Вскоре Большаков уловил скрип двери и щелканье ключа — доктор ушел.

— Пан Виктор, — заговорила Ирена тихо, — вы можете мне довериться, как другу?

— Разумеется, могу. Только не называйте меня паном. Я просто Виктор, и точка. Ладно?

— Ладно. И меня зовите только Иреной.

— Условились, — согласился он. — Так о чем вы хотели спросить меня?

— Виктор, — торжественно зашептала женщина, — вы

можете мне сказать правду. Эту правду будем знать только я и вы. Познань бомбили вы? Пятьдесят три убитых офицера и четверо скончавшихся от ран — ваша работа?

— А само казино? — Большаков приподнялся на постели.

— О! Казино стало для них добрым погребением. От него остались одни стены.

— Это точно? Откуда ты знаешь?

— Брат сказал, — пояснила она, — а брату — немцы. Значит, это ты?

Виктор выпростал из-под одеяла руки, глуховато рассмеялся:

— Какое тебе спасибо за это боевое донесение! Теперь все стало на свое место и мучиться от неизвестности не надо.

— А ты мучился?

— Еще бы! Даже в лесу сквозь бред думалось: а вдруг промахнулись? Если зря погибли твои боевые друзья — Володя Алехин, Али Гейдаров и стрелок Пашков, кто ты такой после этого, капитан Большаков?

Обхватив руками колени, Ирена жадно вслушивалась в его сбивчивую речь. При мягком свете луны видела она бледное от потери крови, одухотворенное лицо летчика, мягкие волосы, разметавшиеся по подушке. «Почему они побеждают, эти добрые и сильные парни из Советской России? — думала она восторженно. — Наверно, потому, что всегда идут в бой с таким порывом!»

— Ты — богатырь, Виктор, — с восхищением прошептала она, — настоящий богатырь!

— Нет, Ирена, — покачал он головой, — если кто и богатырь, так это ты. До сих пор не могу понять, откуда у тебя нашлось столько сил, чтобы дотащить меня до того блиндажа.

— Не надо, Виктор. Не надо так красиво говорить. Красиво скажешь — друга обкрадешь.

Они замолчали. Пахло кровельной краской, сухим деревом и сеном. Да еще от забинтованной раны исходил острый запах йодоформа.

Лежа на жесткой подушке, Виктор устало молчал, занятый своими размышлениями, и женщина интуитивно почувствовала, что это раздумье сейчас ему необходимо, и не нарушала установившейся тишины. А Виктору грезилось Канавино и коричневый деревянный домик, куда незадолго до двадцать второго июня перенес он свое не-

обременительное холостяцкое имущество, став мужем Аллочки Щетининой. Жили они в двух тесных комнатах этого домика, принадлежавшего Аллочкиному отцу. Этот богомольный старичок с розовой лысиной и сутулой спиной работал агентом Госстраха и мечтал об уходе на пенсию. Он не пил и не курил, любил копаться в огороде, а белая сирень, три куста которой вымахали в маленьком дворике, была его подлинной страстью. В домике с низкими потолками скрипели двери, скрипели половицы, скрипели и кашляли стенные часы, перед тем как отбить положенное количество ударов. Любовь у них была тихая и ровная, без единой размолвки. Да откуда им было и взяться, этим размолвкам, если они пожили так мало. Аллочка была опрятной и заботливой. Только однажды незадолго до войны она ему не угодила, когда ночью, лежа на его плече, тихо сказала:

— Вить, а Вить.

— Что, белочка? — отозвался он сонно.

— А может, ты бросил бы свою авиацию? Все-таки это опасно очень. Вот и папа так считают.— Она даже за глаза говорила о своем родителе уважительно: думают, работают, считают, пишут.

Он удивленно отодвинулся и даже засмеялся, полагая, что она шутит.

— Да не могу же я жить иначе, белочка. Не могу!

— А как же другие могут,— возразила она неодобрительно и не то обиженно, не то просто потому, что устала. Его это немножко покоробило, но он подумал: да можно ли это считать за размолвку? Вздор!

Позднее, когда их уже разлучила война, она писала ему очень часто, и письма ее всегда были заботливые и ласковые. Только в последних, очевидно не выдержав лишений и полуголодной жизни, длинных очередей за молоком и хлебом, она стала глухо упрекать Большакова за то, что тот ни разу не вырвался с фронта на побывку и не смог ни с кем передать хотя бы маленькой продовольственной посылки. А им трудно, им очень трудно, и денег, которые он посылает по аттестату, едва хватает.

Он читал это письмо на аэродроме в промозглый нелетный день, и косая недобрая складка западала у него на переносье. Ему было жаль Аллочку, и в то же время он не мог обнаружить своей вины и представить, как это он может ей что-либо послать, если съедает всю свою

пятую летную норму в столовой и сверх нее не может получить на руки ни одной консервной банки, ни одного килограмма масла, так же как и другие, летавшие с ним бок о бок летчики и штурманы, не говоря уже о техниках, питавшихся значительно хуже. Он поделился своими мыслями с полковником Саврасовым, с которым его связывала обоюдная симпатия. Саврасов нахмурился, подумал и безжалостно изрек:

— Конечно, все это трудно, но все ж таки ты дрянь, Виктор.

— Почему? — спросил он обиженно.

— Жрать в столовке поменьше надо. Попроси повара недодавать тебе немного продуктов, так и соберешь посылку. А потом при случае пошлешь с кем-либо. С одной стороны, как командир, такого совета я тебе давать не имею права. Мне важно, чтобы вы все сытые летали, без головокружения. Но, с другой стороны... — и, не договорив, полез в карман за папиросами.

Вспомнив об этом, Виктор погрустнел. Вздохнув, подумал, как-то они сейчас там, родные.

Черные в полумраке чердачные балки висели над ним. Виктор, глядя на них широко раскрытыми глазами, слушал гулкие толчки своего сердца. Неожиданно остро возник совершенно ненужный вопрос: «А ты бы, Аллочка, так смогла? Вот так бы тащить меня по чужому лесу, по топям. Так же спрятаться за блиндаж в минуту опасности и убить врага». Он разозлился, что не находит на этот вопрос ответа. Чтобы отвязаться от докучливых мыслей, нерешительно спросил сидевшую рядом польку:

— Ты не спишь, Ирена?

— Нет, Виктор.

— Послушай, Ирена, — взволнованно заговорил он. — Конечно, я не хочу разводить всякие там сентиментальности, но я-то вижу, до чего тебе не по себе. Ты какая-то странная, Ирена?

— Какая же, Виктор?

— Ты вся темная, Ирена. Темная оттого, что я о тебе ничего не знаю... и вся светлая оттого, что совершаешь одни хорошие поступки. Кто ты, Ирена?

Женщина сдавленно засмеялась:

— О, Виктор, я вовсе не добрая волшебница из хорошей сказки. Я простая полька, каких много. Я не беднячка и, как у вас говорят, не пролетарка. Моему прадеду принадлежал один из красивейших замков под Кра-

ковом... Говорят, вся округа трепетала, когда он выезжал на охоту. Дед не смог удержать этого богатства, а отец мой был большим демократом и тяготился положением среднего помещика. В первую мировую войну наше имение было разрушено, а то, что от него осталось, отец продал, и мы переехали в Варшаву. В Жолибоже отец купил большой особняк, и я бы не сказала, что дела у нас пошли плохо. Он работал в суде, был депутатом сейма... Он меня учил с детства: «Запомни, Ирена, что самое дорогое в жизни — это человек. Он все создал. Люби и уважай человека».

— Смотри ты, — рассмеялся Большаков, — твой батька мыслил марксистскими категориями.

— Подожди, Виктор, — остановила его полька, — не перебивай. Он, конечно, не был марксистом, но не был и тем сытым буржуйчиком, какими были многие чиновники при Пилсудском. И вот однажды, когда мне было пятнадцать и я уже заканчивала гимназию, отец принес домой папку с очередным судебным делом. Был он расстроенный и сердитый. «Паненка Иренка, — сказал он мне, — возьми-ка почитай, если хочешь». Это было дело о пятнадцати молодых рабочих, поднявших забастовку на ткацкой фабрике. Там приводились такие примеры нищеты рабочих и произвола фабрикантов, что я задрожала от возмущения.

«Отец, — сказала я, — неужели ты не откажешься от этого дела, неужели ты засудишь невинных и покроешь позором свою голову?» Помню, он посмотрел на меня своими черными глазами. Тоскливо так посмотрел. У моего отца глаза были черные, это только у нас, у мамы, меня и Тадека, синие. Посмотрел и улыбнулся: «Цурка моя кохана. Ты опоздала. Я уже отказался. Мундир государственного чиновника мне приказывал — суди, а совесть говорила — нет! И я послушался совести». Словом, мой отец подал в отставку. Мы с мамой его одобряли, Тадек, мой брат, нет. Он тогда учился на медицинском факультете, франтил и гордился нашим фамильным прошлым. «Что ты наделал, отец, — говорил он, — ты не прав. Идет сейчас на смену прошлому новый, железный век, нужно быть твердым и презирать филантропию». Отец выходил из себя, топал на него ногами, но к согласию они так и не приходили. В это время я поступила в университет, стала изучать русский. Родной брат отца Стефан Дембовский был полковником кавалерии в царской армии и по-

гиб во время Брусиловского прорыва. Отец его очень любил, а дядя Стефан был совершенно обрусевшим поляком, и поэтому отец одобрял мой выбор. Меня же другое увлекало, Виктор. У нас в Польше многие любили Пушкина, Лермонтова, Толстого, зачитывались и Маяковским. И у паненки Ирены была мечта стать переводчицей. Жили мы по-прежнему в Варшаве. Ты ее ни разу не видел?

Большаков, упираясь локтями в подушку, приподнялся на койке. Он вдруг вспомнил, как в Малашевичах среди всякого скарба, брошенного отступившими немцами, нашли они с Алехиным нарядный альбом с видами Варшавы. Вспомнил открытку, черный красивый собор, и у входа темный бронзовый Христос, придавленный крестом, гневно показывал рукой на противоположную сторону улицы. Он рассказал ей об этой открытке. Ирена встрепенулась:

— Виктор, так это же самый знаменитый костел на улице Новый свят, где похоронено сердце Шопена. А Христос, так о нем варшавские остряки целую присказку сочинили. Говорят, напротив храма какой-то торговец завел ресторацию и назвал ее «Бахус». Христос, у которого на спине крест, показывает на двери кабака и кричит: «Берегитесь Бахуса! Грешники, вы там все погибнете!» — Она поперхнулась сдавленным смешком, видимо обрадовавшись, что в грустный ее рассказ ворвалась эта неожиданная шутка.

— Что ж с тобой было дальше, Ирена? — тихо спросил Большаков.

— Жили мы по-прежнему в Варшаве. Года через два с отца моего сняли опалу. Снова стал он депутатом сейма. Время было тревожное: война подбиралась к нашей земле. Отец был следователем по особо важным делам. Судил он теперь валютчиков, изменников и шпионов германских. И, надо сказать, расправлялся с ними круто. Он всегда говорил, что самое большое зло принесет полякам Гитлер. Я однажды подслушала, как они шептались с мамой в спальне. «Не понимаю, — говорил отец,— на что наше правительство рассчитывает. Балы, приемы, неописуемая роскошь, а танков нет, авиации тоже, и вся оборона на песке...»

В это время я уже была замужем. Командир полкового эскадрона Анджей Стукоцкий стал моим мужем. А войной дуло на нас все сильнее и сильнее. Помню, было

у нас в доме какое-то семейное торжество. Собралось много гостей, а папа запаздывал. Он был на каком-то приеме в сейме и приехал оттуда не очень веселый. На него сразу же набросились: «Как вы полагаете, пан Дембовский, каково будущее Польши, что по этому поводу говорят в правительстве?» Папа отвечал на эти вопросы, острил, улыбался: «Я сейчас только от Мосьцицкого. Были там все министры, и маршал Рыдз-Смиглы заявил, что никогда польская армия не была такой сильной, как сейчас». Он улыбался, а черные глаза оставались печальными. Но кто-то, едва его дослушав, уже кричал:

— Панове, шампанского. Тост за здоровье храброго маршала Рыдз-Смиглы!

Дней через пять я сама видела большую толпу на площади у могилы Неизвестного солдата и толстого, упитанного человечка в военном френче на трибуне. Он кричал, что наша кавалерия самая лучшая в мире, что еще не родилась армия, способная нас победить. «Жители Варшавы могут спать и не думать ни о какой опасности!» — заверял он.

А потом началась бомбардировка Варшавы. Это не война была, Виктор, а убийство. Первые зловещие бомбежки. Если бы я была художником, я бы написала страшную картину и назвала бы ее «Сумерки большого города». Сердце болит, когда вспомнишь. Закрою глаза и кажется, до сих пор слышу, как воют над Варшавой их одномоторные пикировщики...

— «Юнкерсы-87», — вставил капитан.

— Так есть, — согласилась Ирена. — Они переворачивались в воздухе и бомбили очень точно. Никогда не забуду второе сентября. Трамваи не ходят, водопровод поврежден, и за водой везде целые толпы. Я шла по улице Краковское предместье, когда появились самолеты. Не знаю, сколько их было на самом деле, но мне показалось, что они закрыли все небо. Они пикировали на эту беззащитную толпу с ведрами, чайниками и котелками.

Помню, самолеты уже обстреливали улицу, когда толпа с криками разбежалась. Я глянула — у колонки на мокром асфальте мальчик лет семи. Белая рубашка, поясок с медной пряжкой, кудряшки, а на рубахе кровь. Рядом валяется перевернутый чайник. Я не выдержала, бросилась к мальчику, подняла на руки. Бегу по Краковскому предместью и кричу: «Где здесь «Красный Крест»? Кто-то меня остановил. Смотрю, сестра с красным крес-

том на рукаве: «Куда вы несете хлопчика, пани?» — «На перевязочную». Она головой покачала: «Не надо, пани, хлопчик юш не жие».

Вот так началась для меня война.

Потом пришли фашисты. А вскоре умерла мама от заражения крови во время операции, она тоже была хирургом. Муж оказался мелкой дрянью, и я с ним рассталась. Не повезло и нашему отцу. Самый тяжкий удар нанес ему Тадеуш. Когда папа узнал, что сын пошел на контакт с фашистами, он слег. Больное сердце не выдержало. Я похоронила его в Варшаве зимой сорок второго года и осталась с годовалым Янеком... Но не устерегла и его. Менингит. Я все, что могла, сделала, и все-таки теперь одна...

Большаков неловко заворочался, узкая лазаретная койка скрипнула под ним.

— Тебе нехорошо? — спросила она. — Рана заболела?

— Нет, Ирена, душа, — сказал летчик потеплевшим голосом. — Вот думаю о тебе, и досадно, что слов не могу найти хороших, чтобы тебя утешить.

Ирена вздохнула:

— Добрый ты, Виктор.

Ночи бывают всякие: длинные и короткие, душные и холодные. Одни из них тянутся долго, будто тлеют, не оставляя в памяти никакого следа. Другие, наоборот, сгорают, словно короткий запал перед взрывом, если люди проводят их без сна и что-то новое открывается перед ними. Эту ночь он не мог отнести ни к первым, ни ко вторым. К первым потому, что, избежав опасности на несколько последующих дней, был относительно спокоен, ко вторым потому, что как будто и открытий никаких он не сделал. Просто сидела перед ним женщина, ставшая вдруг понятной и близкой.

— А ты как жил, Виктор? — спросила Ирена.

— Я? Да, наверное, как все мои одногодки. Ты же знаешь, что у нас было после революции? Гражданская война, разруха, голод. Мать мою и отца убили в бою. Они сражались в Первой Конной. А младший отцов брат дядя Леша остался жив.

— Тебя воспитывал, — догадалась она.

— Нет, Ирена, я воспитывался в детдоме. Дядя Леша был тогда инженером и получил назначение на Магнитострой. Это большой у нас завод на Урале. Доменные печи, металл и сталь. Понимаешь? Он меня обещал забрать, но

не получилось. Мой дядя внезапно умер, прямо на работе. Он был хорошим человеком, Ирена. Лучший пулеметчик в одном из буденновских эскадронов. Секретарь партячейки.

— Да, да, — вдруг сказала Ирена, — я очень хорошо понимаю вас.

Она покачала головой и спросила:

— Виктор, ты, наверное, голодный? Я спущусь вниз, пока брат не возвращался, и поищу еды. Должна же быть какая-нибудь еда у главного хирурга фашистского госпиталя.

Скрипнув дверью, она тихонько спустилась по узкой лестнице. Шаги ее все же были слышны: пани на тонких каблуках не ходят бесшумно. Проходя мимо высокого трюмо, Ирена остановилась. Старомодное зеркало добросовестно ее отразило. Полька с удивлением отметила и возбужденный румянец на щеках, и блеск синих глаз и осталась явно довольна всей своей легкой, стройной фигурой. Она улыбнулась и опустила узкий подбородок в воротник синей шерстяной кофты, словно пристыженная этим неожиданным открытием. Потом она начала поиски еды, с легким шумом распахивая ящики и разрывая кульки. Ей попалась пустая коньячная бутылка, несколько пустых консервных банок.

Наконец Ирена обнаружила две булочки, начатую пачку печенья и кусок сыру. Она сделала три бутерброда, один тут же съела сама, а два торжественно понесла наверх. Когда она подошла к койке, раненый летчик крепко спал. Ирена положила бутерброды на разостланный свой плащ и долго всматривалась в его лицо, окутанное темнотой. Потом она наклонилась и осторожно погладила его волосы. Виктор не проснулся.

...Почему он так часто сравнивает Ирену и далекую беленькую Аллочку — ему и самому было непонятно. Тихая, рассудительная и такая незабываемая Аллочка белым облаком проносилась в его размышлениях. Но стоило лишь подумать о ней, как сразу же на ум приходила и Ирена. Эта, как порох. Она может быть гневной и вся пылать, а через мгновение становится кроткой и тихой. У Аллочки доводы и доказательства, а у нее чувство, и только чувство. Нет, не надо сравнивать добрую рассудительную Аллочку с этой, случайно ему повстречавшейся полькой, совершенно неожиданной в его жизни.

«Случайно! — оборвал себя Виктор. — А дорога в

чужом лесу от разбитого самолета к блиндажу. А ее твердый и расчетливый выстрел в фельдфебеля, собиравшегося отправить меня на расправу в фашистскую комендатуру. А ее отчаянный гнев, сломивший безвольного, запутавшегося в жизни Тадеуша, заставивший его взяться за скальпель и, по существу, спасти меня от неминуемого заражения крови! Если есть мера мужества и твердости,— подумал Виктор, — то эта мера щедро отпущена Ирене».

Несколько суток прожил он на чердаке. Врач приходил к нему по утрам, сдержанно говорил «добрый» — так сокращенно приветствовали друг друга поляки, опуская в обращении «день добрый» первое слово. Так же сдержанно Тадеуш осведомлялся о его самочувствии и угрюмо качал головой в знак того, что он действительно соглашается с тем, что у летчика на самом деле хорошее настроение и самочувствие. Рана быстро подживала, потому что была все-таки она неглубокой, и нерв, к счастью, оказался неповрежденным. Утром в субботний день Виктор на костылях рискнул подойти к слуховому окошку и оттуда долго смотрел на улицу, но так ничего и не увидел, кроме крыш, крытых шифером и жестью, да глубокого, согретого солнцем неба. Прислушался — тишина кругом. Он недоверчиво пожал плечами и отошел. Ему представилось, что сейчас на огромном протяжении советско-германского фронта тысячи орудий выплевывают на израненную войной землю тонны раскаленного металла, а в воздухе поют сотни боевых моторов. Может, и даже наверняка, на их аэродроме Саврасов готовит сейчас пять или шесть экипажей к ночному вылету и, давая последние советы, скажет напутственно: вы смотрите, если зенитки прижмут, все равно пробивайтесь к цели. Как Большаков и Алехин, пробивайтесь. А на боевой листок уже налеплены их фотографии в траурных рамках.

В полдень Ирена принесла ему рисовый суп в зеленом солдатском котелке. Была она на этот раз невеселая и встревоженная.

— Немножко плохое дело, Виктор. Больше нам нельзя здесь оставаться.

— Что случилось? — спросил Большаков, переламывая ломоть ржаного хлеба.

— Нем-нож-ко плохое дело, — повторила она нараспев. — Вчера фашисты обнаружили труп убитого фельдфебеля и обломки самолета. Они согнали крестьян и приказали зарыть в яму твоих товарищей. И очень удивляют-

ся, кто убил фельдфебеля. — Она посмотрела на капитана в упор: — Как твоя нога, Виктор?

Он отставил котелок, взял костыль и прошелся по комнате. Сначала тихо, потом быстрее.

— Это уже хорошо, — одобрила Ирена, — мы сегодня должны будем отсюда уехать.

— Если поближе к линии фронта, то я рад.

— Да, Виктор, поближе.

— Кто же нас отвезет?

— Тадеуш.

— Твой брат?

— Да, мы с ним уже обо всем договорились. У него свой «опель» с паролем. Ни один регулировщик до самой Варшавы не остановит. Он сам будет за рулем. Он, я и ты. Все.

— И мы поедем прямо к Варшаве?

— Нет, Виктор. Туда ехать — на верную смерть ехать. А я тебя, — она подумала и горячо прибавила, — на верную жизнь должна повезти.

— А где же она водится, эта верная жизнь? — ухмыльнулся капитан.

Ирена рассмеялась:

— Я знаю, где такая жизнь водится. У нашей бабушки Брони. Хочешь, скажу, чем хороша Польша? Тем, что она небольшая. У вас другое. Если ты родился в Сибири, а приедешь на Кавказ, ты не всегда найдешь родных или близких. А у нас страна маленькая, и, куда бы ни поехал, везде встретишь своих. Бабушка Броня моя няня. Мы поедем на Краков, в лесное местечко Ополе. Там ты поправишься, а перестанешь хромать, будем думать, как перебраться через Вислу.

— Спасибо, Ирена, — поблагодарил летчик.

— Тогда будем собираться, — сказала она, — не забудь документы.

Виктор сел на койку, из-под подушки с пожелтевшей наволочкой достал планшетку, раскрыл. Ему на колени выпали два целлофановых переплета, в них были сложены его собственные документы и тех, кого уже не было в живых: штурмана Алехина и стрелков. Комсомольский билет Али Гейдарова потемнел от засохшей крови. Затем он вынул карту, пересеченную красной маршрутной чертой. В ней лежала большая открытка со штампом фотоателье. Он грустно поднес ее к глазам. Белокурая Аллочка в своем любимом клетчатом платье с передником

держала на руках завернутого в пеленки малыша. Ирена искоса поглядела на снимок:

— Твоя жена, Виктор?

— Жена и сын.

— Можно взглянуть?

— Пожалуйста.

— Красивая женщина, — задумчиво произнесла Ирена, — очень красивая. А пистолет не забыл?

Большаков в ответ похлопал себя по карману. Ирена тоже стала укладывать в маленький черный чемоданчик свои вещи. Усмехнувшись, повертела в руках пистолет. Спросила, советуясь:

— В чемодан его или с собой?

— Лучше с собой, Ирена.

Уже смеркалось, и за окнами домика совсем посинело, когда во двор въехал на небольшом «опеле» доктор. Въехал он без сигнала, и только по скрипу тормозов Большаков догадался, что машина уже ждет. Надев планшетку под пиджак, Виктор заковылял к выходу. Ирена помогла ему спуститься по узкой винтовой лестнице. В машину садились молча. За рулем темнела фигура доктора. Был он в бежевом демисезонном пальто с поднятым воротником. Ирена села рядом с братом, а Виктор устроился на заднем сиденье и вытянул раненую ногу. Он с удовольствием ощутил, что даже во время ходьбы рана не отдает прежней режущей болью. «Еще бы дня четыре покоя, и через Вислу попробовать можно, — подумал он.— Только бы к берегу скрытно подойти, а уж там...» Большаков был хорошим пловцом. У Горького запросто перемахивал Волгу, спокойно справлялся с течением, умел нырять, если это было необходимо.

«Опель» тихо выехал из села. Пока до шоссейной магистрали пробирались замысловатыми лесными перепутками, Тадеуш на полную мощь включил фары, потом их почти полностью погасил, и по отсутствию толчков капитан понял, что едут они уже по асфальту. Все дальше и дальше удалялся «опель» от места падения «голубой девятки». Капитан подумал о своем погибшем экипаже: «Простите, ребята, что не предал земле ваши тела. Но что я тогда мог сделать, окровавленный, в горячем бреду? Останусь жив — всем полком поставим вам памятник. Из мрамора отгрохаем».

Путь им предстоял долгий. К поселку Ополе надо было ехать не менее шести часов. Прямо перед собой он ви-

дел сутуловатую спину Тадеуша. Одетая сумерками, она казалась окаменелой. О чем думал этот запутавшийся в жизни человек? Большаков понимал, что доктор сделал ему операцию, прятал его на чердаке, а теперь отправился с ним в этот опасный путь не только потому, что хотел поскорее освободиться от его присутствия. Видно, и чувство загубленной совести давило в эти дни Тадеуша. А может, при иных обстоятельствах он еще станет выдавать себя за героя, хвалиться спасением советского летчика. «А впрочем, черт с ним, — решил Большаков, — пускай довезет, и точка».

На шоссе их обогнало несколько военных машин, и он услыхал — в последней пели по-немецки. Видно, на фронт перебрасывались подкрепления. На каком-то перекрестке их остановили: немецкий солдат задал Тадеушу несколько вопросов. Большаков нервно прислушивался, а пальцы сами собой стискивали в кармане рукоятку пистолета. Но все обошлось, и «опель» покатился дальше. Свернув с магистрали, врач повел его по одной из рокадных дорог на юг. Яркая луна висела над миром, посылая желтый свет всем живым и всем мертвым, кто сражен был в эту ночь пулями и осколками на линии фронта и упал на прохладную, отдающую осенью и прелой листвой землю.

Тадеуш молчал, делая вид, что все его внимание сосредоточено исключительно на управлении машиной. Ирена иногда оборачивалась и бросала на Виктора короткие ободряющие взгляды. Они проехали добрую половину пути. Спина у капитана затекла. Он попробовал сесть по-другому и, чтобы было удобнее, вытянул левую руку на спинке переднего сиденья.

В полночь машина ворвалась на одинокую улицу небольшого села, придавленного сонной тишиной, потом выехала за околицу и, не сбавляя скорости, повернула в сторону густого леса. В зыбких отсветах фар Большаков увидел стволы берез и осин, толстые, в два обхвата, комели дубов. Дорога шла в гору, и четырехцилиндровый мотор «опеля» с натугой гудел на подъемах. Наконец Тадеуш затормозил и выключил мотор. Фары выхватили из ночного мрака торец бревенчатого сруба. Избенка с небольшим крылечком испуганно жалась к темным стволам.

— Приехали, — тусклым голосом произнес врач и распахнул дверку.

— Ты нас подожди, Виктор, здесь, — ободряюще по-

яснила Ирена и положила на его ладонь свою, — мы переговорим с бабушкой Броней и сразу вернемся.

И тотчас их поглотила темнота. Виктор дремотно смежил глаза, коротая ожидание. Тишина леса не рождала никаких звуков. Ветер погас, и деревья стояли унылые и молчаливые. Даже отдаленный крик птицы был сонным. Потом две смутные тени снова выросли около машины.

— Можно выходить, — объявила Ирена и помогла ему выйти.

Виктор стоял, опираясь на костыль, с жадностью вдыхая ночную прохладу.

— Мы все трое здесь останемся, Ирена?

— Нет. Тадеуш уедет. Утром он должен быть под Варшавой. У него там свои дела.

Врач приблизился к ним и что-то быстро сказал попольски.

— Он хочет знать, все ли хорошо сделал во время операции, — перевела женщина.

— Да, — сдержанно сказал Большаков.

Врач выслушал его ответ и заговорил снова.

— Он говорит, — перевела Ирена, — что, по его мнению, в ближайшие два-три месяца русские прорвут фронт на Висле и будут здесь.

— Скажи ему, Ирена, что он не глупый человек и умеет трезво мыслить.

— Он еще раз тебя благодарит и спрашивает, что, по твоему мнению, он должен будет сделать, когда придут советские войска.

— Отвечать за прошлое, — отрезал Большаков и сердито стукнул костылем по росной ночной земле. — Явиться в первую советскую комендатуру или к первому командиру польской Народной армии, в зависимости от того, кого он раньше встретит, и честно обо всем рассказать. А меру наказания для него, как мне кажется, определит польский народ. Так и переведи.

Тадеуш закивал головой, выслушав сестру, и сказал ей тихо еще несколько слов.

— Он говорит, что готов нести ответственность и благодарит тебя за прямоту. Сейчас он уедет.

Тадеуш сделал несколько шагов к Ирене, растопырил руки, намереваясь ее обнять, но она стояла не двигаясь. Он только поклонился ей, потом обернулся к летчику и приветственно поднял руку:

— До свидания, пан.

— До свидания, доктор, — сдержанно откликнулся Большаков.

«Опель» почти бесшумно скользнул в темень. Через секунду фары выхватили полоску проселочной дороги, спадающей с холма в туманную пену низины. Жалко помигал задний маленький огонек и скрылся. И они остались одни под звездным высоким небом.

— Пойдем, Виктор, — устало объявила Ирена, — бабушка Броня нас ждет.

Она взяла его под руку, помогла подняться на крылечко. Старые половицы запели под их ногами. В сенях их уже ждала ссутулившаяся старушка. С доброго морщинистого лица выцветшие глаза изучающе скользнули по фигуре летчика. Керосиновая лампа с жестяным кругом абажура вздрагивала в ее руке.

— Иренка, цурка моя кохана, — ласково выговорила она. Они долго о чем-то пререкались по-польски, прежде чем войти в избу. Потом старушка запричитала и толкнула дверь. Глазам Большакова предстала узкая комната, половину которой занимала печь с лежанкой. Дряхлая деревянная кровать стояла вдоль стены. Вокруг стола несколько табуреток да еще длинная лавка — вот, пожалуй, и вся обстановка. На столе глиняный кувшин, четверть краюхи хлеба, блюдо с черной смородиной. Старушка поставила лампу на скатерть из грубого холста с дешевыми цветочками и, улыбнувшись, пригласила их к столу.

— Сядем, Виктор, — тихо предложила Ирена и потянула его за локоть. Большаков опустился на табуретку. Стиснув коленками костыль, он с удовольствием пил парное козье молоко, закусывая его кислым хлебом из прогорклой муки, сильно разбавленной отрубями. Ирена и бабушка Броня все время оживленно беседовали, и по отдельным, знакомым ему польским словам и названиям Виктор понял, что они вспоминают Варшаву, довоенную жизнь, детство Ирены, ее отца и мать. Большаков в эти минуты сосредоточенно думал о своем ближайшем будущем, рассчитывая мысленно тот остаток пути, что отделяет теперь его от Вислы и линии фронта. «Она мне поможет, — размышлял он, поглядывая на Ирену, — она мне и этот путь обязательно пройти поможет. Честное слово, до чего же прекрасные люди живут на земле», — благодарно думал он. Потом из уст бабушки Брони он услышал фразу: «Ирена, пан Виктор очень утомился», кото-

рую понял как сигнал идти на отдых. Сказав эти слова, старушка взяла лампу и встала проводить их до крыльца. Ирена встала тоже.

— Мы не должны ночевать в доме, — пояснила она.— Бабушка Броня отведет нас в сарай, а утром вернется дедушка Збышек, и мы посоветуемся, как быть дальше.

— А ему довериться можно? — спросил Большаков.

— Вполне, — успокоила его Ирена, взяла чемоданчик и пошла вперед. Летчик заковылял следом. Они быстро пересекли подворье и остановились у черневшего сарая. Ржаво запела дверь, впуская полосу лунного света, и захлопнулась. Кромешная темнота окутала их. Виктор скорее почувствовал усталое учащенное дыхание Ирены, чем увидел ее. Он достал из кармана фонарь, включил батарею. Неяркий кружок света побежал по стенам, осветил низкий сеновал, заваленный сеном, и приставленную к нему короткую, в три ступеньки, лестницу.

— По этим ступенькам еще надо подняться, — сказал он.

— Я помогу, — отозвалась женщина и ловко забросила на сеновал чемодан.

— Так во мне же почти девяносто кило.

— А по лесу, думаешь, легче было тебя тащить?

— Сдаюсь, — тихо засмеялся летчик. Почти без помощи Ирены он взобрался на сеновал и обшарил его лучом фонарика. Вдалеке у стены валялись вилы. В центре сено было примято, и он разглядел две разостланные холстины, а на них подушки.

— Тут дедушка Збышек иногда ночует, — пояснила Ирена, — ложись на ближайшую подстилку, а я устроюсь на другой.

Фонарик погас. Ползком добравшись до первой постели, он разулся и, положив в изголовье костыль и планшетку, с удовольствием растянулся. На засохшей ране повязка ослабла. Ее бы следовало затянуть, но, блаженно вдыхая запах сена, он решил: ладно, завтра. Рядом раздавались легкие шорохи. Это Ирена укладывалась спать. Он вдруг представил, как она сбрасывает белый дождевик и неудобные городские туфли.

— Доброй ночи, Виктор, — донесся ее шепот.

— Доброй ночи, Ирена.

В его кармане тикали самолетные часы. Те самые, что снял он с приборной доски «голубой девятки». Почему-то ему показалось, что стучат они слишком громко, на весь

сарай. Он заворочался, и сено колко прикоснулось к лицу. Смутное волнение мешало спать. Он снова вспомнил о маленьком домике в Канавино, о далекой беленькой Аллочке, постарался ее представить и не смог. Вместо нее, словно нет темноты и сарай освещен ярким электрическим светом, он увидел Ирену, ее грустные синие глаза. Он обругал себя яростно: «А вот назло буду думать об одной Аллочке, и только о ней». И опять не мог ее представить и ловил глухие шорохи, раздававшиеся рядом, вслушивался жадно в чужое громкое дыхание и вздрогнул, когда знакомый голос ласково окликнул:

— Пан Виктор.

— Опять пан.

— Нет, не пан, а просто Виктор. Ты меня слышишь?

— Да, слышу, — ответил он, зная, что по неровному его голосу она тоже поняла, что он взволнован и этой кромешной темнотой, и ее близостью.

— Что я хотела спросить? Ты свою жену очень любишь?

— Очень, Ирена, — подтвердил он на этот раз сухо, будто сухостью голоса отбиться хотел, а про себя подумал: «Да тебе-то какое дело?»

В повисшей над ними тишине оба лежали с открытыми глазами. Ему уже стало казаться, что он вот-вот задремлет, но было это ощущение обманчивым, сон не шел. А часы, казалось, стучали все громче и громче. «Она красивая, — думал Виктор, — сильная, смелая и красивая. И тебе она нравится. По-настоящему нравится. Только ты не должен об этом думать, Большаков. Не должен. Не имеешь права». И когда зашуршало рядом с ним сено, он нисколько этому не удивился, потому что напряженно все время этого ждал, как неминуемого. Жаркое дыхание Ирены опалило лицо. Он ощутил на лбу ее легкую ладонь. Длинные пальцы, чуть вздрагивая, ласково перебирали спутанные волосы Большакова.

— Послушай, Виктор, — проплыл над ним ее знобкий шепот, — я должна тебе открыть правду.

— А разве до сих пор ты говорила мне неправду? — усмехнулся он.

— Нет, Виктор, я никогда тебя не обманывала. Но об этом ты меня не спрашивал, а сама я не сказала. Ты никогда не думал, почему я сразу пришла тебе на помощь там, в лесу, у разбитого самолета?

— Нет, Ирена.

— А тебе хочется об этом узнать?

— Да, Ирена.

— Я тогда увидела тебя в лесу, окровавленного, полумертвого, и как-то сразу жалость взяла за сердце. И я сказала себе: «Ты должна все сделать, Ирена, чтобы его спасти. Если надо, даже погибнуть». А сейчас... сейчас мне даже не верится, что мы так мало знакомы. Какое-то странное ощущение владеет мною, будто всю жизнь я тебя знаю. Скажи, Виктор, может, это и смешно, ты веришь в любовь с первого взгляда?

Виктор молчал.

— Верю, Ирена, — ответил он немного погодя и почувствовал, как она приблизилась и наклонилась к нему.

— Ты веришь? — проплыл над его головой взволнованный шепот женщины. — Слушай, Виктор, у меня ничего нет: ни дома, ни семьи, ни родных. Ты понимаешь? И я хочу отдать тебе самое дорогое, что у меня осталось, — свою любовь.

«Она красивая, — снова подумал Виктор, — сильная, смелая и красивая. Только ты не имеешь права!»

Большаков изловчился и правой раненой коленкой встал на разостланную по сену полость. Острая боль обожгла тело. Не в силах ее побороть, он сдавленно застонал: «У-уу» — и тут же себе и всему наперекор выдавил сквозь зубы:

— Уйди, Ирена!

Слова прозвучали зло, и он тотчас же подумал: «Зачем я так грубо?» Ирена резко от него отпрянула. Виктор видел, как она села на свою постель.

— Ирена, — позвал он.

Она не отозвалась.

Широко раскрытыми глазами он безотчетно смотрел вверх. Сквозь прорехи в крыше виднелись мелкие звезды, тихое ночное небо, не вспоротое ни трассами, ни сполохами прожекторов. Нога успокоилась, и он наконец задремал.

Когда он очнулся, было уже, вероятно, много времени, потому что солнце стояло довольно высоко. Он встревожился, увидев, что постель, на которой спала Ирена, пуста. Но черный ее чемодан был рядом, и это успокоило. От ночного кошмара голова трещала, и до боли было обидно за необузданную выходку. «А если она не придет, — вдруг задумался он, — обиделась, взяла да и уеха-

ла. Тогда?» И ему стало ясно, что он этого испугался. И вовсе не потому, что боится теперь, выздоравливая, остаться в одиночестве, без ее помощи и поддержки. Нет, ему надо обязательно увидеть эту высокую, стройную пани, чтобы перед ней извиниться и, по крайней мере, расстаться дружески. Беспокойные его мысли были прерваны скрипом двери. Легкие шуршащие шаги по разбросанному внизу сену, шорох приставной лесенки — и фигура пани Ирены по пояс вырастает над сеновалом. Она свежая, умытая, в волосах широкая белая пряжка, и они не развеваются, как обычно. Синей шерстяной кофточки на ней нет, она в легком коричневом платье с короткими рукавами.

— Доброе утро, Виктор.

Он пытливо вглядывается в ее глаза.

— Ты меня прости за вчерашнее, — говорит он.

— Это о чем? — переспрашивает Ирена. — Не надо, Виктор. Ночью человек всегда неправильные слова говорит... говорит, любит, а сам не любит. Говорит, не любит, а сам любит.

— Ты рассуждаешь, словно старый мудрец.

— Женщина всегда старше. — Ирена вдруг задумалась, и синие глаза ее остыли. Она вспомнила недавний гробик из неотесанных досок, кладбище за околицей, холодное маленькое тельце. Она подумала, что вместе с ним закопала в землю какую-то часть самой себя.

— Мне тебя очень жалко, Ирена, — сказал в эту минуту Большаков, — ты ведь недавно похоронила сына.

Ирена резко вздрогнула:

— Откуда ты узнал, что я об этом сейчас подумала?

— Не знаю, — пожал он плечами, — только мне тебя жалко. И очень хочется, чтобы ты не обижалась.

— А тебе от этого будет легче?

— Будет.

Он взял ее ладонь, сложенную в маленький кулачок. Холодная, твердая. А на губах у Ирены добрая и немножко грустная улыбка. Глаза упорны, смотрят не моргая.

— Как твоя нога, Виктор?

— Спасибо, Ирена. Уже прыгаю, как старый козел. Скоро смогу обходиться без палки.

— Без палки ты начнешь обходиться, когда будешь прыгать, как молодой олененок, — поправляет его весело Ирена, и он бесконечно рад этому ее беспечно игривому

тону. Он снова заглядывает ей в глаза, откровенно и доверчиво, будто говоря: «Слушай, ты меня простила. Правда, простила?» И они ему так же откровенно отвечают: «Ну конечно же». Но глазам суждено молчать, а улыбки у обоих такие приветливые, что им нельзя не понять друг друга. «Как с ней легко», — думает Большаков, подходя к самому краю сеновала, а снизу уже звучит заботливое:

— Тебе помочь?

— Нет, я сам. Ты только посмотри, чтобы на ступеньку попал, да лесенку придержи.

— Хорошо, пан капитан, — колокольчиком разносится ее смех. Потом во дворе она ловко достает из колодца ведро холодной воды, льет ему на руки и смеется, когда он, отфыркиваясь, умывается. Вскользь говорит:

— Пан капитан и на самом деле вышагивает довольно-таки хорошо. Между прочим, бабушка Броня велела мне после завтрака посмотреть в лесу грибы. На обед приедет дедушка Збышек. Не пойдешь со мной, Виктор? Если тебе станет тяжко — возвратишься. Ведь нужно готовиться когда-то к дальним переходам, иначе ты и до конца войны не выберешься из этого леса и не узнаешь, когда возьмут Берлин.

— Конечно пойду! — не колеблясь, решает Большаков.

— Вот и хорошо.

Они завтракают за тем же кривобоким столиком, но при солнечном свете дня Виктору кажется, что здесь все как-то повеселело: и сама изба не такая бедная, и на лице у бабушки Брони морщин гораздо меньше, чем было вчера, и белый кот, калачиком свернувшийся на узкой скамейке, как бы олицетворяет доброту и покой. А мягкая печеная картошка с солью и откуда-то взявшийся белый каравай выше всяких похвал. Во время завтрака он внимательно смотрит на руки Ирены, ловко очищающие горячие картофелины, и не видит на среднем пальце блестящего камешка.

— А колечко твое где, Ирена?

— Кольцо? — переспрашивает она и морщится. — Ах, есть о чем говорить, Виктор, ты же меня о нем ни разу не спрашивал, пока я его носила. Это дорогое кольцо. Его мне подарил Анджей, пустой и недобрый человек... я не хочу носить о нем память. Наша бабушка Броня, добрая фея, пока ты спал, обратила это кольцо в котелок картошки, белый каравай, кусок сала, десяток яиц и даже маленькую бутылочку бимбера, которую вечером вы осу-

шите вместе с дедушкой Збышеком. Ты знаешь, что такое бимбер? Есть такая польская песенка.

Ирена прищелкнула пальцами, лукаво прищурилась и напела:

Мы млоди, мы млоди, нам бимбер не зашкоди,
Стаканами, шклянками мы пьемы, пьемы, пьемы.
Вы стажы, вы стажы, вам бимбер не до тважы.

Бабушка Броня, улыбаясь беззубым ртом, с деланной сердитостью погрозила ей пальцем. А Ирена болтала под столом ногами, как расшалившаяся девочка, высунув пятки из туфель.

— О Виктор, это я для тебя сделала.

— Зачем?

— Скоро мы с тобой расстанемся, Виктор, — вздохнула она, — и хочется, чтобы у тебя остались хорошие воспоминания. Ну что такое кольцо и этот алмаз? Ценность, вещь. Кончится война, я стану работать в школе. У нас в Польше останется много сирот, много детей без ласки и заботы. Я буду учить их русскому языку. Я буду всегда им рассказывать о тех русских солдатах и офицерах, что похоронены на нашей земле до Вислы и за Вислой. И еще я буду всегда рассказывать про русского летчика, разбомбившего познанский штаб, горевшего в самолете, всегда такого честного и смелого.

— Ирена! — перебил ее Виктор. — Зачем ты обо мне так. Ну что я за герой! И потом, это же твои собственные слова: красиво скажешь — друга обкрадешь.

— Ладно, молчи, — нахмурилась полька, — ешь свою картошку и молчи. — И стала снова беспечно болтать ногой.

После завтрака Ирена взяла лукошко, белый свой дождевик и о чем-то пошепталась с бабушкой у окна.

— Бабушка Броня советует идти только прямо. Ни влево, ни вправо. Здесь нет дорог, и нас никто не встретит, а в балочках, всего шагов сто отсюда, много лисичек и даже белые грибы попадаются.

Большаков беспечно пожал плечами:

— С тобой, Ирена, — хоть на край света. — И они вышли из хатки.

Солнце было дымчатым от облаков, затягивавших его с запада. Но сильные, не по-осеннему яркие лучи проби-

вали их насквозь, обдавая землю благодатным теплом. Что может быть лучше такого тепла в это время года, когда никнут к земле пышные травы, вянут цветы и даже красавец лес из зеленого превращается в огненно-рыжий! Но здесь, южнее Познани и Варшавы, осень еще не сумела уверенно коснуться земли, и яркость лиственных лесов, обогретых солнцем, спорила и сражалась с ней. Лес, распростершийся на сотни километров окрест, дышал полной грудью. Багровые дубы и гордые кедры смешивались здесь в одну нарядную толпу. Еще пели в полдень птицы, и кукушка назойливо долбила одну и ту же нудную свою молитву...

Лес лежал далеко и от фронта, и от больших дорог, не было в округе никаких фашистских тылов, и о войне только на заре и на закате напоминали отдаленные раскаты канонады. Да еще иной раз злыми ночными совами низко над верхушками деревьев пролетали крестатые двухмоторные «юнкерсы», надсадно ухая. И от этой тишины избушка лесничего Збышека казалась безнадежно затерянной в мире.

«Просто курорт», — издеваясь над самим собой, думал Большаков, не поспевая за шагавшей впереди Иреной. Они уже отошли от избушки лесничего на такое расстояние, что стала она за деревьями едва приметной. Виктор подходил к осинам и березам, костылем расшвыривал зеленые побеги лесной травы, оголял грибные шляпки. Если попадались бледные, пряной плесенью отдающие поганки и мертво-красные прыщавые мухоморы, безжалостно их затаптывал. Когда же обнаруживал подберезовики и коварно маскировавшиеся под все коричневое лисички, звал негромко Ирену. Ее лукошко быстро наполнялось, и, когда они вышли к небольшой широкой балочке, грибов в нем было уже до краев.

— Бабушка Броня одобрит, — сказала Ирена, критически осматривая лукошко, — а ты, наверное, Виктор, устал?

— Признаться, да, — улыбнулся капитан. — Я, как видишь, с этой палкой все-таки прыгаю, как старый козел, а не молодой олененок.

Он тяжело опустился на землю и вытянул больную ногу. Ирена бросила на мшистую поляну белый водонепроницаемый плащик и опустилась на него. Сосредоточенно оглядев свои подогнутые ноги, она обнаружила на юбке небольшую дырку и сокрушенно покачала головой.

Пошарив в кармане плаща, достала иголку с ниткой и, отвернувшись от Большакова, стала штопать. Она сидела на пригорке, густо поросшем сухим мягким мхом, спиной прислонившись к белому березовому стволу. Солнце целовало ее голые розоватые колени. Откусывая нитку, Ирена обратилась к нему:

— О чем задумался, Виктор... победитель?

Он посмотрел на одежду с чужого плеча, которую носил, и горько махнул рукой:

— Да уж какой там победитель.

— А о чем ты думаешь?

— Так, ни о чем, — сбивчиво произнес он, продолжая на нее глядеть. До сих пор не мог он понять, как могла эта худенькая и хрупкая, созданная для домашнего уюта полька броситься его спасать, все позабыв, когда поблизости были немцы, как она сумела тащить его, тяжелого и бессильного, по лесу.

В синем теплом воздухе плавали тонкие паутинки бабьего лета. Как серпантином обвили они ее колени.

— Виктор, — позвала его Ирена, — у тебя руки твердые?

Он вытянул перед собой широкие ладони, озадаченно на них посмотрел.

— Да вроде.

— Так помоги мне, продень нитку в ушко иголки. Посмотрю, как это у тебя получится, — дразня, сказала она, и не было на ее лице усмешки, только лучики морщин в уголках рта дрогнули. Виктор придвинулся, взял у нее из рук иголку с ниткой. Днем он еще ни разу не видел Ирену так близко. Чуть побледневшее свежее лицо волновалось от ожидания. Испуганными и ласковыми были зовущие глаза. Он никогда не мог бы и подумать, что на ее щеках столько мелких добрых веснушек, почти незаметных издали.

— Ты чего так смотришь, Виктор? — пересохшим голосом спросила Ирена.

Лес шумел над их головами целым оркестром. Дубы били в литавры. Нежные березы пели, как флейты. Тонкими скрипками скрипели осины. Лес пел им гимн. Иголка и нитка выпали из рук обомлевшего Виктора. Золотистые от солнца волосы Ирены рассыпались по мягкой моховой подушке. Широко раскрытыми затуманенными глазами видела Ирена его, и яркий незабываемый лес, и

острое солнце в просветах меж березовыми и сосновыми ветвями, и шелковое небо, голубевшее сквозь листву, вызванивающую колокольчиками под ветром. Виктор склонился над нею и встретил зовущие, ожидающие глаза.

— Ирена, судьба моя, — прошептал Виктор.

...Потом они шли назад к избушке лесничего, но шли уже совсем не так, как сюда. Они поминутно останавливались, вглядывались друг в друга, словно впервые виделись и хотели навсегда запомнить каждую черточку на лицах. На глазах у Виктора она расцвела и ясной, доброй, необыкновенно счастливой улыбкой, и невесть откуда пробудившимся у нее грудным певучим голосом.

Что с ней произошло, с этой Иреной? Она попросила его присесть отдохнуть и сама села рядом, долго гладила его непокрытую голову. И Виктор тоже захмелел от этого неожиданного счастья. Лишь на мгновение в разгоряченном мозгу бледной тенью проплыла беленькая Аллочка. Он сразу же помрачнел, и это не укрылось от проницательной польки.

— Ты о жене вспомнил, Виктор? Жалкуешь? Не надо. Жена твоя далеко, она ничего не узнает.

— По-моему, я все должен буду ей рассказать, — вспыхнул он.

— Зачем? — покачала полька головой и жалостливо, как непонимающему, улыбнулась. Сняв белую пряжку, она расчесывала пышные волосы, и они опять становились похожими на крылья: — Иная честность в сто раз хуже жестокости. Ну чего ты добьешься, если расскажешь? Себе жизнь испортишь, жене испортишь. А жизнь у нас и без того не сладкая.

Обхватив Виктора за шею, она стыдливо прятала у него на груди свое лицо.

— Я рада, что ты со мной счастлив. Только счастье у нас с тобой больно коротенькое. Вот уйдешь за линию фронта и — прощай навсегда, Ирена. Ты же не можешь взять меня с собой на всю жизнь. Ты советский, Виктор, я — полька.

— После войны поляки и русские станут самыми большими друзьями, — горячо воскликнул Большаков, — разве ты этого не понимаешь? Придет время, когда мы станем ездить друг к другу в гости.

— И я в это верю, Виктор, — обрадованно закивала она, — но я — полька, и родина моя здесь. Земля моя под ногами моими, и по ней мне ходить.

Они возвратились к избушке лесничего уже под вечер. Издали до Большакова донеслось конское ржание, и на подворье он увидел распряженную пролетку.

— Там кто-то есть, — забеспокоился Виктор.

Ирена, стягивая на затылке волосы белой пряжкой, спокойно пояснила:

— Это дедушка Збышек.

— Ты уверена? А вдруг не он?

— Он, Виктор, — улыбнулась Ирена. — Когда мы уходили в лес, я с бабушкой Броней уговорилась. Если все хорошо и приехал дедушка Збышек, она вывешивает на подоконнике полотенце с красными петухами. Посмотри.

Большаков глянул на избу и действительно увидел раскрытое окошко и на подоконнике рушник с красной вышивкой.

— Ты находчивая, Ирена.

— Есть немножко, — закивала она головой. — По-иному нельзя, — и, лукаво засмеявшись, прибавила: — Не будешь находчивой, не будет счастья.

Вопреки ожиданиям Большакова, дедушка Збышек оказался мало похож на расслабленную поседевшую бабушку Броню. Виктор собирался увидеть дряхлеющего старца со слезящимися глазами и блеклым взглядом и был невероятно удивлен, когда из-за стола ему навстречу поднялся высокий, осанистый старик с бородой и белыми распушенными усами и протянул огромную ладонь для рукопожатия. Ирену он запросто расцеловал в обе щеки и той же ладонью, как маленькую, погладил по голове.

— Нельзя молодых посылать по грибы одних, — хитровато подмигнул он Виктору, произнося все это по-русски, — долго ходят, бардзо долго. Дай-ка лукошко, Ирена.

Он запустил в лукошко толстые, как разваренные сосиски, пальцы, быстро переворошил грибы, бормоча под нос:

— Лисички, подберезовики, белый. Да, могли бы и получше собрать, если бы не отвлекались.

Был он в высоких болотных сапогах с отвернутыми голенищами и в теплой суконной поддевке. Сапоги густо пахли дегтем. В углу стояла снятая с плеча трехлинейка.

— Вы по-русски можете? — сощурился Виктор. — Откуда же? Ну Ирена — та в Варшаве изучала наш язык, а вы?

— А я в лесу, — гулко расхохотался дедушка Збышек, — ведь с кем поведешься, от того и наберешься, — и, страшно довольный, похлопал летчика по спине. Очень сильная была у него рука. — Что, милый, съел? — сказал он, любуясь его замешательством. — Мы так зробимы: пока бабушка с Иреной будут готовить, выйдем на крылечко и потолкуем.

Под его сапогами ступеньки деревянного крыльца отчаянно взвыли. Большаков, ковыляя, сошел следом. На подворье пахло навозом. Распряженные лошади хрустко жевали сено. Были они гладкие и незаморенные, и Виктор подумал, как это старик сумел утаить их от немцев. Таких бы для армейских нужд гитлеровцы обязательно должны были забрать. Серые, не по годам зоркие глаза старика с пытливым вниманием рассматривали прихрамывающего капитана.

— А что, — спросил он с задором, — такая одевка похуже, чем комбинезон летчика?

— Вроде да, — уклончиво ответил Виктор.

— Ну вот что, гвардии капитан Большаков, — неожиданно выпалил дедушка Збышек, — так, кажется, ваша фамилия?

Виктор настороженно промолчал. Старик достал из кармана синий сатиновый платок, развернул его и гулко высморкался.

— Добже, — продолжал он, — не буду тебя, сынок, пытать неизвестностью. Я действительно из леса. Из какого — сказать пока не могу. Большое тебе от всех честных поляков спасибо за то, что не промахнулся в ту ночь над Познанью, — он торжественно поклонился. — Ты небось и не знаешь, что немцы по всей Познани расклеили листовки и в них за выдачу совецкого летника сулили пятьдесят тысенц злотых.

Виктор сощурил зеленые глаза:

— А что можно купить за пятьдесят тысяч злотых?

Дедушка Збышек озадаченно закряхтел:

— Что можно купить? Ну корову, скажем, можно.

— И только?

— Так ведь время-то военное, сынок.

— Дешево же тогда фашисты оценили пятьдесят своих офицеров и генералов.

— Ах, ты вот о чем, — засмеялся старик, — да зачем давать за них дроже. Они и этих пятидесяти тысенцев злотых не стоят. — Он согнал улыбку со своего лица, за-

говорил серьезнее: — В этом лесу тихо, пан капитан. Лесники знают, где селиться. Сегодня ты живешь здесь, еще два дня живешь здесь, а потом я приеду под вечер и отвезу тебя вместе с Иреной.

— Куда?

— К надежным людям, пан совецкий летник. До бардзо добрых людей, — прибавил он по-польски. — А там мы подумаем, как тебя переправить через линию фронта. Ты хорошо воевал, пан капитан, но война еще не закончена.

Виктор постучал костылем о голую землю. Лошади прянули ушами и опасливо покосились на него.

— Клянусь этим вот костыликом, для меня война — дело тоже не оконченное. Я за кровь своих ребят должен еще не одну бомбу положить. В том числе и Берлину коечто от меня причитается.

Старик взял его за локоть и повел в избу. Войдя, они удивились. Маленький столик был накрыт чистой скатертью, от тарелок с супом поднимался густой пар. Горками нарезанный белый хлеб и блюдо с тонкими, веером разложенными ломтиками сала венчали убранство этого стола. Солнце поблескивало на протертых граненых стаканчиках и бутылке с самогоном. «Вот во что превратился твой перстень, бедная Ирена», — подумал Виктор.

— У нас, як пши свенте, — пояснила бабушка Броня.

Ирена взяла бутылку и доверху наполнила стаканчики.

— Мы млоди, мы млоди, нам бимбер не зашкоди, — пропела она, а дедушка Збышек, грозя пальцем, немедленно подхватил:

— Вы стажы, вы стажы, вам бимбер не до тважы.

Виктора поразило, как повел себя дедушка Збышек. Старик подошел к столу в надвинутой на лоб фуражке с узким лакированным козырьком, щелкнул каблуками и выпил первую рюмку стоя. Потом, сказав «бардзо дзенькуе», снял с головы фуражку и присел.

— Отчего это вы так? — удивленно улыбнулся Виктор. — У нас по команде «Смирно» водку не пьют.

— А я с детства привык, сынок, — рассмеялся старик. — Помещик, у которого отец батрачил, приучил, сто чертей ему на том свете. Помещику нравилось, что я пью и не пьянею. А мне тогда всего девять лет было. Совсем маленький хлопчик. И когда у того пана собирались гости, он меня обязательно выкликал. Отец меня получше принарядит и скажет: «Иди, поздравь пана». Меня про-

пускали в гостиную, и сам помещик протягивал рюмку: «Выпей, Збышек». И я выпивал стоя, под хохот гостей, щелкал каблуками, а потом снимал конфедератку. Иногда мне давали злотый. Горькая то была водка.

Збышек помолчал и посмотрел на Большакова грустно-доверчивыми глазами:

— Такой жизни у нас больше не будет, пан летник. Когда разобьют проклятых фашистов, мы другую построим. И не останется в ней места помещикам. Напрасно Гитлер думал, что польский народ легко покорить. Дорого ему теперь это обходится. Ты знаешь, пан капитан, что бывает в лесу во время бури? Все деревья стонут: осина плачет и гнется, березка-красавица тоже гнется, а дуб стоит. Только позванивает немного. Так и народ наш, Виктор. Гордый люд в леса ушел, оружие взял. Борется и Советскую Армию ждет. Ты знаешь, какие теперь над Вислой слышатся песни? — Дедушка Збышек склонил седую голову на плечо, сдвинул лохматые брови и ясным сильным баритоном запел:

Мы зе спаленых вси,
Мы зе глодуенцых мяст.

И тотчас же его поддержала с загоревшимися глазами Ирена:

За боль, за крев, за наши лзы
Юш земсты — надшедл час [1].

Они выпили по второму и третьему стаканчику. И хотя уже сравнительно давно не прикасался Большаков к спиртному, все равно не почувствовал он крепости бимбера, только легко стало после скупой этой дозы. А что выпили горячительного, он в том нисколько не сомневался, потому что видел перед собой разрумянившееся лицо Ирены и слышал, как аппетитно хрустит огурец на зубах дедушки Збышека.

Шла босая Ирена по лесу, по росной земле, слушала пряную тишину осени и думала о себе, о счастье, опалившем ее так неожиданно. Может, не хорошо, что сразу призналась ему, что ни разу не остановила его женской хит-

[1] Мы из спаленных деревень,
Мы из голодных городов,
За боль, за кровь, за наши слезы
Уже час мести настал.

рой игрой, не заставила мучиться и страдать? Может, не хорошо, что, отмахнув веками слагавшиеся нормы в отношениях мужчины и женщины, первая пошла навстречу, первая открылась ему?

Но ведь не было ничего в твоей жизни, Ирена, похожего на это. И если пришло большое, обогревшее душу чувство, то почему надо прятаться, уходить от него? Быть может, в первый и последний раз дарит тебе судьба такое счастье.

«А какое счастье?» — остановилась она.

«Любить и быть любимой».

Помнишь, ты увидела его там, в лесу, окровавленного, неспособного двигаться, и была поражена. Нет, ты не влюбилась с первого взгляда. Чувство жалости обожгло тебя. Ты стояла тогда над этим обессиленным русским парнем, видела, как ветер слабо шевелит его белесые волосы, и думала, как мать, о жестокой войне и о таких, как этот зеленоглазый летчик, простых русских парнях, что дрались за тебя и за твой народ. Думала о том, что не для одного из них земля твоя станет могилой.

Ты тогда ощутила непреклонное желание спасти его во что бы то ни стало. А любовь пришла позже, как и сознание, что еще не встречала ты в жизни такого доброго и смелого парня.

Так почему же надо стыдиться этого чувства? Разве так уж забаловала тебя судьба, чтобы бояться этого первого в жизни счастья?

Иди навстречу ему, Ирена...

Три коротких дня и три ночи, были они или не были? Вероятно, за всю жизнь Виктор Большаков не сможет правильно на этот вопрос ответить, до того мечты на этот раз перепутались с явью. Три раза он приходил после ужина в сарай, взбирался по короткой лесенке на сеновал, все слабее и слабее ощущая боль в заживающей ноге. Батарея в электрическом фонарике садилась, и широкий круг, вырывающийся из него, становился вялым. Но все равно был он в состоянии вырвать из мрака примятое сено, широкую полость, разостланную по нему, и две подушки, положенные рядом.

Вероятно, под холодной осенней луной и тусклыми звездами сентября многое произошло за это время на огромном фронте, протянувшемся от севера до юга на мно-

гие сотни километров. Где-то бушевали артиллерийские дуэли, где-то, поднимаясь во весь рост, шли в контратаки батальоны и стрелковые полки, чтобы улучшить позиции, взять населенный пункт или высоту, которых никогда и в помине-то не было и не будет ни на одной географической карте. Шли и не все доходили. Пожилые и безусые, сродненные одной формой и одним порывом, падали они на заброшенную пахоту или на скат оврага, сраженные осколками и пулями, оставляя на великой русской земле новых вдов и осиротевших матерей.

Так на земле было.

А в воздухе, там тоже закипали жестокие схватки и огненные трассы рвали небо, иногда низкое и пасмурное, иногда высокое и чистое, в каком и погибать-то горько.

Но все это обходило стороной заброшенную усадьбу лесничего Збышека, гвардии капитана Большакова и пани Ирену. Часто в голове возникали такие мысли, но Виктор гнал их прочь и гневно успокаивал взбунтовавшуюся совесть: «Да что я, рыжий, что ли! Или это не я падал на горящем самолете, спасался от врагов при доброй поддержке этой женщины и залечил рану, чтобы вернуться в строй и бить, бить озлобленного, но уже надломленного врага. Так почему же я должен стыдиться этого короткого счастья?»

Три короткие ночи, были они или не были? А потом настал четвертый, условленный день, и вечером, час в час, на подворье въехала пароконная пролетка. Рядом с дедушкой Збышеком сидел молодой парень в фуражке с таким же узким, как и у Виктора, козырьком. У обоих трофейные немецкие автоматы. И понял Большаков: вот и настал конец их недолгому счастью. Дедушка Збышек достал фляжку, взболтнул ее:

— Может, по маленькой на дорожку? Посошок, так говорят по-русски, а?

— Я не буду, — отказался Виктор сухо, — мне надо собраться.

— За полгодины соберешься? — поинтересовался старик.

Парень усмехнулся, но дедушка Збышек так сурово на него посмотрел, что тот моментально опустил голову вниз. Виктор вошел в сарай, крикнул возившейся там Ирене:

— Нам пора...

Ласковая и заплаканная, прижалась она к Больша-

кову, тоска и тревога жили в больших глазах. А он повторял первые пришедшие на ум слова:

— Ты только там не заплачь, Ирена. Там нельзя, понимаешь. — И она послушно кивала головой.

...Четыре часа подряд несли сытые партизанские кони по лесным дорогам пролетку. Два раза люди с автоматами, словно призраки, вставали из-за кустов, строго спрашивали пароль и пропускали их дальше. Потом людей с автоматами стало попадаться все больше и больше, замелькали черные шапки землянок, в темноте Ирена и Виктор разглядели табунок лошадей у коновязи, распряженные брички, людей, возившихся у короткоствольной сорокапятки. Наконец Збышек осадил лошадей у одной из самых больших землянок, и Виктор понял: это партизанский штаб.

— Мы с Иреной останемся пока здесь, сынок, — негромко сказал ему дедушка Збышек, — тебя проводит Янек.

Молодой парень сделал летчику знак следовать за ним. Спускаясь вниз по ступенькам, обшитым свежеоструганными досками, Большаков подумал: хорошо обосновались польские товарищи. Капитально.

В просторной подземной комнате он увидел и мягкие кресла, и плюшевый зеленый диван, и даже письменный стол с резными ножками. Ярко горели подвешенные к потолку лампы. Ему навстречу поднялись двое: польский офицер, пожилой, лысоватый, и наш, советский подполковник, в гимнастерке без орденов, с полевыми погонами пехотинца. Виктор крепко пожал протянутые руки.

— Здравствуйте, гвардии капитан Виктор Федорович Большаков, — сказал подполковник отчетливо.

— Здравствуйте, товарищ подполковник, — вытянулся Виктор.

— Да, к сожалению, товарищ подполковник, и все, — улыбнулся тот, — до самого конца войны для многих я действительно только подполковник, человек без фамилии.

— Зачем же о себе так строго, товарищ Стефан, — с улыбкой поправил его польский офицер. И Виктор едва не расплакался, почувствовав, что наконец-таки он у своих, — так сдали нервы.

— Нам о вас все известно, — тем временем говорил подполковник. — За разгром немецкого штаба вы уже

представлены к ордену Красного Знамени. Это первое. А второе: не далее как позавчера я связался с вашим командованием. Вас ждут на родном аэродроме. Через два часа к нам придет Ли-2 с продуктами и боеприпасами, разгрузится и на обратном пути захватит вас. Вам все ясно, товарищ Большаков?

— Все, товарищ подполковник.

— А теперь я прошу пригласить сюда женщину, — кивнул офицер стоявшему у двери человеку. И Виктор услышал, как по дощатому настилу застучали ее каблучки. В ярком свете ламп появившаяся из мрака Ирена чувствовала себя явно смущенной и с надеждой поглядывала на Виктора. Он ее бодрил едва заметной улыбкой.

Ирена стояла посреди комнаты, засунув в карманы блестящего дождевика нервно сжатые кулачки. Польский офицер шагнул ей навстречу и протянул руку:

— Пани Ирена Дембовская?

— Так есть, пане пулковнику.

— Вы владеете русским, пани?

— Говорю совершенно свободно.

Тогда польский офицер перешел на русскую речь. Он торжественно произнес:

— Пани Ирена Дембовская, вы совершили мужественный поступок. В трудных условиях вы проявили отвагу и благородство, оказав помощь раненому советскому летчику гвардии капитану Большакову. Вы настоящая патриотка народной Польши. Польское командование никогда вашего подвига не забудет.

— И советское командование тоже, — прибавил подполковник. — Вы, конечно, теперь останетесь с нами?

— Да, с вами, — с внезапной решимостью согласилась Ирена, не задумываясь ни на секунду. — Только с вами.

А потом пошли расспросы за торжественным чаем и звонко хлопнувшей бутылкой шампанского, видно, самой большой драгоценностью у партизанского каптенармуса. А ночь за землянкой все сгущалась да сгущалась. На тех же дрожках Виктора и Ирену отвезли на маленькую, затерянную в лесах посадочную площадку, и все последующее произошло как по расписанию. В темном звездном небе послышался гул приглушенных моторов и замелькали бортовые огни транспортника. На земле вспыхнули мазутные плошки, составленные наподобие посадочного «Т». Гул снижающегося самолета нарастал. Ирена теснее прижалась к Виктору. Самолет уже рулил к ним по зем-

ле. При выхлопах моторов Виктор увидел ее страдающее, растерянное лицо и прошептал:

— Ты опять плачешь, Ирена? Ты же обещала!

— Я не буду, Виктор, — отозвалась она довольно твердым голосом, — это они сами... слезы.

Мимо то и дело пробегали люди с ящиками на плечах, то и дело раздавались поторапливающие голоса «быстрее», «прентко». Высокая фигура летчика в меховом комбинезоне выросла рядом.

— Товарищ командир, — доложил он подполковнику, — разгрузка закончена. — И негромко спросил в темноту: — А кто здесь гвардии капитан Большаков?

— Это я, — шагнул вперед Виктор.

— Вам записка от гвардии полковника Саврасова.

Кто-то услужливо присветил фонариком. На плотном листе бумаги, вырванном из блокнота, Виктор прочел написанное размашистым почерком: «Витька, черт! Тебя весь аэродром ждет не дождется. Мы выкинули к дьяволу из полкового альбома твою фотографию в траурной рамке. Живи сто лет! Обнимаю!»

— Нам пора, — сказал летчик, поглядев на светящийся циферблат часов.

Моторы транспортника работали на малом газе. Тонкие лопасти винтов хлопали по ночной тишине, не в силах ее взорвать. Раззявленной пастью чернел распахнутый люк. Большаков по очереди обнял подполковника, польского офицера и Збышека. Когда он подошел к Ирене, она отвернулась. Виктор стиснул ее плечи.

— Ты только не плачь, Ирена, — шепнул он дрогнувшим голосом.

— Я не буду, — всхлипнула она. — Разве этим поможешь? Я тебе положила записку. Там два моих адреса: варшавский и познанский. Может, после войны ты будешь в Польше?..

— Нам пора, — повторил летчик и зашагал к транспортнику.

— Прощай, — сухо сказала Ирена, — и ничего больше не говори. И не оборачивайся, когда пойдешь к самолету. Слышишь...

Виктор быстро зашагал от нее прочь. Он поглядел на провожающих только тогда, когда за ним наглухо захлопнулся люк, словно отделяя навсегда это короткое прошлое от близкого фронтового будущего, к которому теперь его уносили два ревущих мотора.

В маленьком иллюминаторе темная ссутулившаяся фигура Ирены показалась ему до того сиротливой, что заныло в груди. Летчик транспортника дал полный газ, и тяжелая машина, преодолев узкую площадку, быстро, с надрывом полезла в сумрачное небо. Минут через сорок на высоте четырех тысяч метров самолет прошел над широкой быстротечной Вислой. Его с опозданием лениво и нестройно обстреляли зенитки. Встали над Вислой два желтых прожекторных луча, наугад пошарили по звездному небу и, никого не найдя, конфузливо погасли. «Вперед, вперед!» — ревели моторы. Командир экипажа вышел из рубки и, подойдя к Большакову, с уважением сказал:

— Поздравляю, капитан. Прошли линию фронта. Значит, скоро будем дома.

Виктор не ответил. Он вдруг снова подумал об Ирене.

...И вот седоватый располневший полковник держит ее руку в своей. Шумят над ними кладбищенские деревья, и женщина грустно смотрит на серую плиту и высеченные на ней слова.

— Как же это, Виктор? Я десять лет уже считала тебя погибшим. В сорок пятом этот город освободили от фашистов, седьмого мая. Каждый год в этот день я прихожу сюда. Ты не забыл, какой это день?

Дрогнуло, просветлело его лицо.

— Нет, Ирена, не забыл. В этот день, если верить надгробной надписи, здесь в сорок пятом похоронили русского летчика Большакова. Того самого, которого на полгода раньше спасла ты.

— И которого вижу сейчас, — улыбнулась Ирена, — через столько лет. На родной моей польской земле. Ты оглянись получше, Виктор, и подумай. Наша земля сейчас совсем другая. Она не та, какой ты ее знал в дни горя. Здесь на кладбище тихо, а рядом полумиллионный город. Заводы новые на его окраинах поднялись, кварталы новых домов появились, люди новые выросли. Понимаешь, Виктор, новые! Каких никогда не было в старой Польше. В любой город, в любую веску загляни и поймешь, что совсем другой стала наша древняя земля.

— Я это понял, — мягко ответил Большаков, — понял, когда Вислу переезжал и мимо Варшавы ехал. Я военную Варшаву вспомнил, которая гитлеровцами была вы-

топтана. Улицы в развалинах, мосты разрушены, на путях паровозы со взорванными топками, и ни одного дымка из заводских труб. Ни одного. Рабочему человеку даже смотреть было жутко на такие трубы. Кладбище, а не город. А теперь даже ночью вся светится, как приодетая красавица. Набережная сверкает, улицы все в гирляндах огней, над заводскими корпусами пламя от плавок бушует. А небо чистое, ясное. На станции Варшава — Гданьск остановились. Напротив электричка: вагоны новенькие, свежеокрашенные. А главное — люди... Сколько молодых свежих лиц... Из одного окна песня на простор вырвалась:

Направо мост, налево мост...

Помнишь эту песню, Ирена? Голоса молодые, звонкие. А я глядел на хлопцев и на девчат и думал: «Счастливые, вы небось в люльках качались, когда я на Познань летел с Алехиным. Вот бы встали из могил мои боевые товарищи хотя бы на минуту да на эти огни посмотрели. Честное слово, сказали бы: нет, не даром мы отдали свои жизни — за людское счастье, за народ братский, за его молодое поколение...» Веришь, Ирена, пока ехал по Польше к новому месту службы, всю ночь глаз не сомкнул. Так волновался, что даже сердце покалывало. Так что я живой, Ирена. В полном смысле слова живой, и пусть эта черная плита тебя больше не пугает. Пусто под ней. Я сейчас все тебе объясню.

Большаков задумался и, помолчав немного, продолжал:

— Ведь что такое, на мой взгляд, война? Скопление закономерностей. Политических, исторических, экономических, психологических и всяких прочих. Эти закономерности уже заранее определяют финал. Например, мы отступали с болью, обидно отступали в сорок первом, но твердо знали, что будем штурмовать Берлин и победим. Это закономерность. Не могли мы, советские люди, проиграть войну. Но судьбы отдельных людей на войне дело другое. Они иной раз никакой логике неподвластны. В них столько случайного, что порой уму непостижимо, как они складываются. Вот и эта могила — один из военных парадоксов. Я тебе сейчас расскажу, как это случилось.

— Нет, — вдруг запротестовала Ирена, — давай лучше вспомним, как мы расставались. Партизанский лес под

Ополе, дедушка Збышек, темная ночь и пламя из моторов транспортного самолета. Помнишь?

— Помню, — повторил за нею полковник.

— Мы простились, и ты пошел к самолету. А я крикнула вдогонку: Виктор, я положила тебе в карман два своих адреса — варшавский и познанский. И ты не откликнулся... Почему ты не откликнулся? Я, как сейчас, помню. Самолет устремился в небо. И я потеряла тебя. А что было потом?

— Что было потом? — дрогнувшим голосом повторил за нею полковник. — В самом деле, что было потом?

Транспортный Ли-2 садился на аэродром Малышевичи под утро. Еще мерцали на небосводе созвездия Большой и Малой Медведицы и трепетал неяркий далекий, недосягаемый Марс, когда засветилось на летном поле электрическое «Т». В ту ночь не было боевой работы, но когда транспортник подрулил к штабной землянке и хвостом стал к ней, из темноты к люку устремились десятки однополчан. Они на руках вынесли Большакова и, подбрасывая, доставили до входа на КП, у которого стоял полковник Саврасов.

— А ну, расступись, гвардейцы! — прозвучал его властный басок. В образовавшемся пустом пространстве они один на один остались с командиром. Саврасов подошел, с усмешкой осмотрел его польский костюм. — Ну и пан. Хорош пан Большаков, ничего не скажешь.

Потом одернул на себе китель и расправил грудь, потому что Виктор начал рапортовать о своем возвращении.

— Товарищи офицеры, — зычно сказал Саврасов. — Ваш однополчанин, гвардии капитан Большаков, отлично выполнивший боевое задание, был сбит и раненым оказался на территории, захваченной противником. В тяжелой обстановке вел он себя как настоящий герой и, как видите, возвратился к нам, чтобы наносить новые удары по врагу. Ура Большакову!

Полковник обнял Виктора и, целуя, трижды уколол его в губы короткими усами, пахнущими табаком и одеколоном.

И пошли расспросы, рукопожатия, дружеские объятия. Весь день прихрамывающего капитана сопровождала толпа однополчан. Куда бы он ни пошел, веселый табунок летчиков и техников следовал за ним. Полковой врач

Волович к вечеру окончательно рассвирепел и пригрозил установить ему постельный режим, если он будет так много расхаживать, и пришлось Виктору покориться.

На следующий день он должен был на пять суток отправиться в ближайший госпиталь легкораненых для полного выздоровления. Утром его навестил Саврасов, справился о здоровье и улетел на По-2 в штаб фронта. Виктор спокойно позавтракал и стал собираться к отъезду. Выписав продовольственный аттестат, он возвращался в общежитие, когда был остановлен посыльным по штабу, румяным молоденьким механиком по вооружению Иванцовым.

— Товарищ гвардии капитан, вас какой-то майор дожидается.

— Где? — равнодушно спросил Большаков. В ту пору в полк довольно часто наезжали офицеры из высшего штаба, и не было ничего удивительного в том, что один из них по какому-то поводу поинтересовался им.

— В штабе. В кабинете у командира полка сидит, — доложил посыльный. — Просил, чтобы вы быстро.

— А он мне второго костылика не прислал? — ухмыльнулся капитан. — Я не рыжий, чтобы на одном через весь аэродром к фольварку скакать.

Но шел попутный «виллис» и очень быстро доставил Большакова в штаб. В просторной комнате, которая когда-то служила кабинетом сбежавшему с немцами Казимиру Пеньковскому, за столом Саврасова сидел пожилой майор в авиационной форме. Распахнутая шинель открывала перепоясанную портупеей гимнастерку. У майора было длинное узкое лицо с залысинами большого лба и усталые неяркие глаза. Перед ним на раскрытой тетради лежала вечная ручка. Большаков покосился на портрет Сенкевича, висевший на стене, и по-уставному доложил:

— Товарищ майор, гвардии капитан Большаков явился по вашему вызову.

Пожилой майор, не вставая, протянул ему длинную ладонь.

— Садитесь, товарищ капитан.

Виктор присел и, зажав коленками костыль, оперся на него руками. Зеленые глаза в ожидании уставились на майора. С легкой фамильярностью, какую только бывалый летчик мог себе позволить в обращении со старшим по званию, осведомился:

— Чем могу служить?

— Служить? — строго повторил незнакомый майор.— Служить вы должны Родине, товарищ гвардии капитан.— Он достал пачку «Беломора» и предложил закурить. Задетый его ледяным тоном, Виктор не произнес обычного в этих случаях «я не курю», а только отрицательно мотнул головой. В тонких пальцах майора заскрипело перо трофейной авторучки, и на белом листе тетради он крупным почерком вывел: «Гвардии капитан Виктор Федорович Большаков, 1920 года рождения, русский, командир корабля дальней авиации».

— Так, кажется?

— Так, — сухо согласился Виктор.

Майор закурил и потушил почерневшую спичку.

— Какого числа вы были сбиты над Познанью?

— Двадцать первого сентября ночью.

— Во время вынужденной посадки вы остались в живых только один?

— Да.

Майор положил на стол холодные ладони, налег на него узкой грудью и вдруг быстро спросил:

— Кто из немцев вас допрашивал? Звание допрашивающего, место допроса, характер вопросов?

Большаков удивленно поднял голову и не моргнул, встретившись с блеклыми непроницаемыми глазами.

— Позвольте, а кто вы такой?

— Майор Олежко. Следователь. Прошу отвечать коротко и точно.

— Меня никто из немцев не допрашивал, — растерянно возразил Виктор.

— Значит, никто? — Жесткая линия рта у майора насмешливо дрогнула: — Может, вы вообще там в тылу ни одного немца не видели?

— Нет, видел, — успокаиваясь и понимая, что этого допроса не избежать, спокойно произнес Виктор. — Фашистского фельдфебеля видел.

Перо трофейной авторучки зашуршало быстрее, и на бумаге родились слова: «Во время пребывания за линией фронта имел встречу с фашистским фельдфебелем».

— Что вы там пишете? — взорвался капитан. — Было совсем не так.

— Вас это не касается, — оборвал его грубо следователь. — Отвечайте на мои вопросы, и только. При каких обстоятельствах произошла эта встреча?

— Я был ранен. Нога воспалилась. Фашист взял меня в плен в заброшенном блиндаже. Повел к коменданту.

— Как звали коменданта, звание?

Большаков презрительно вздернул плечами. Развязность майора начинала его бесить.

— Если бы фельдфебель довел меня до коменданта, вам бы не пришлось мотать мне душу этим допросом.

— Почему же он вас не довел?

— Потому что был убит.

— Кем? Вами?

— Нет, не мною.

— Кем же?

— Это к делу не относится, — мрачно отрезал Виктор.

Над фольварком затарахтел мотор. Зеленый По-2 пронесся над самой крышей, косо снижаясь над летным полем. «Саврасов из штаба прилетел», — догадался капитан. Он подумал об Ирене и твердо решил: «Нет, я не буду впутывать ее в эту историю, — кому какое дело».

— Так кто же убил фашистского фельдфебеля?

— Один человек... хороший человек польского происхождения.

— Хорошие люди тоже имеют фамилии.

— Его фамилия к делу не относится. Но если она вас так интересует, советую обратиться к командиру того партизанского отряда, откуда меня вывезли. Короче, об этом я говорить не стану. Задавайте другие вопросы.

Трофейная авторучка снова забегала по бумаге, и Большаков, косивший за ней глазами, прочел:

«Утверждает, что был обнаружен немецким фельдфебелем и пленен. По его словам, фельдфебель был убит, и он ушел. Кто убил фельдфебеля, скрывает. Вся версия сомнительна».

— Значит, вы говорите, что фельдфебель, наткнувшийся на вас, бродил по лесу один? — Майор прищурился, и его водянистые глаза превратились в две маленькие щелочки. — А что ему одному было делать в лесу? Что?

— Не знаю... — устало промолвил Большаков. — За плечами у него было охотничье ружье. Возможно, куропаток искал.

— Да? Но фашисты никогда не ходят в лес в одиночку.

Большаков посмотрел в узкое лицо майора и презрительно усмехнулся.

— А вы их, этих фашистов, живыми при оружии когда-нибудь видели, товарищ майор? Или только на допросах?

— Капитан, не дерзите! — тонко выкрикнул следователь и ребром ладони ударил по столу. — Вы увиливаете от прямого объяснения. В вашу историю с фельдфебелем я не верю.

— Если не верите, зачем же спрашивать, — вспылил и Большаков. — И вообще я не понимаю, для чего вся эта процедура. Разве вам недостаточно, что я, советский летчик, раненным попавший за линию фронта, все сделал, чтобы вернуться в родной полк, и стою сейчас перед вами? Разве вам недостаточно, что я снова готов совершать боевые вылеты?

Следователь поджал тонкие губы и вставил:

— Если вас к ним, разумеется, допустят.

— А почему же нет! — простецки развел Большаков руками. — Мне же не вечно с этим костыликом шкандыбать. Вот заживет нога, и допустят. Ясно как божий день.

Докуренная папироса чадила в пепельнице.

— Дело не только в одной раненой ноге, — многозначительно сказал следователь. — Прежде всего мы должны выяснить, как вы провели все эти дни в тылу у противника, что делали, с кем встречались, какой характер носили эти встречи. Из ваших ответов пока что ясной картины не создается. Странная история с фашистским фельдфебелем, какой-то великодушный человек, убивающий фашиста. Имя этого человека вы почему-то назвать отказались...

В эту минуту рывком распахнулась дверь, и на пороге возникла плотная фигура полковника Саврасова.

— Что здесь происходит? — рявкнул он, с недоумением переводя тяжелый взгляд с капитана на следователя. — Вы кто такой, майор?

Усы у Саврасова стояли, что называется, дыбом, полные губы вздрагивали, и сквозь них проглядывали почерневшие от табака зубы. По всему было видно, что из штаба фронта командир полка возвратился разъяренным и сейчас не знал, на ком сорвать зло. Большаков обессиленно опустился на стул.

— Он меня сейчас назвал предателем, товарищ командир.

В желтых глазах Саврасова погас на мгновение гнев и появилось удивление.

— Тебя? Нет, подожди. Я чего-то не понимаю.

Следователь уже оправился от растерянности. Растягивая в улыбке побледневшие губы, сказал:

— Здесь и понимать-то нечего. Вот мое удостоверение. Я начал допрашивать вашего капитана Большакова, находившегося на вражеской территории.

— Подождите, — прервал его Саврасов, коротким и властным движением руки отводя в сторону протянутую коленкоровую книжечку. — Значит, вы допрашиваете моего летчика?

— К сожалению, вынужден, товарищ полковник.

— Значит, вы допрашиваете, — не слушая его, с нарастающим бешенством продолжал Саврасов, — а я, командир полка, ничего об этом не знаю. Значит, я для вас, выходит, что трын-трава? Так вы, может быть, с этим своим мандатом и полком вместо меня командовать станете? Матчасть контролировать, маршруты готовить, на цель аэропланы водить. А?!

Саврасов рванул «молнию» на теплой меховой куртке, и она с треском опустилась, открывая грудь в орденах и Золотых Звездах. Кусая губы, он шепотом спросил:

— Вы на чем сюда приехали?

— На «виллисе».

— Садитесь на него и сейчас же отправляйтесь назад.

Следователь деловито закрыл тетрадь, застегнул шинель вздрагивающими пальцами и потянулся за фуражкой.

— Вы сорвали мне работу, — произнес он с вызовом и вышел.

Саврасов сел за письменный стол, не снимая распахнутой куртки, исподлобья посмотрел на Большакова:

— Ну, а теперь рассказывай, что натворил?

За окном послышался шум отъезжающего «виллиса». Виктор рассказал ему все, как было. Саврасов слушал с большим интересом. Несколько раз дверь отворялась и с порога раздавалось нерешительно: «Можно, товарищ командир?» — но он досадливо поднимал руку, говорил: «Нельзя». Смотрел на капитана, с любопытством выставив подбородок, пощипывал короткие густые усы.

Вечером из штаба фронта пришла лаконичная шифровка. Гвардии капитана Большакова Виктора Федоровича доставить в распоряжение полковника Одинцова. Так

и значилось в ней — «доставить». Саврасов читал шифровку в присутствии начальника штаба. Он стоял посреди просторного кабинета, широко расставив ноги в лохматых унтах, твердо упираясь ими в дубовый паркет. Брови сердито ходили над переносьем.

— Нажаловался все-таки этот деятель. Вот и завертелось теперь. Подготовьте, майор, на утро «виллис». Большакова в отдел Одинцова я сам отвезу. — С хрустом сжал пальцы в кулаки и усмехнулся: — Он, видите ли, нажаловался. Ишь, страсть какая! Но ведь Саврасов в Советской Армии один? Так, что ли, начштаба?

Адъютант командующего фронтом встретил Саврасова доброй улыбкой и дружески протянул руку:

— Ну, как там поживают ваши мастера бомбовых ударов, Александр Иванович? В хвост и в гриву бьют дальние тылы противника, если верить нашей фронтовой газете?

— На сей раз нас бьют и в хвост и в гриву, — мрачно заявил полковник. — Маршал у себя? Принимает?

— В принципе нет. Но для вас постараюсь добиться исключения.

Адъютант скользнул за двойную, обитую кожей дверь и, возвратившись, ободряюще кивнул полковнику. Саврасов, успевший сбросить кожанку, порывистым, нетерпеливым движением расправил у пояса гимнастерку. Сдвинув черные брови, он решительно распахнул дверь и быстрыми смелыми шагами приблизился по длинной ковровой дорожке к столу. Ему навстречу из кресла поднялся высокий человек с красивым, скорее усталым, чем пожилым, лицом. Мягкий, добрый рот как-то не сочетался с внимательными, чуть строгими и озабоченными глазами. Густые волосы были разделены на его голове аккуратным пробором. Командующий был хорошим психологом. К нему в кабинет входили всякие люди: волевые и безвольные, правые и виноватые, боязливые и требовательные. Сейчас по нервной, взвинченной походке Саврасова он безошибочно понял, что тот взбешен до последней степени, и спросил тихим обезоруживающим голосом:

— Что у вас ко мне, Александр Иванович?

— Товарищ маршал, — задохнулся Саврасов от вновь подступающего бешенства, — да кто позволил глумиться над честным советским человеком и летчиком?

— Вы о гвардии капитане Большакове? — так же тихо осведомился командующий.

— О нем, товарищ маршал. Гвардии капитан Большаков совершил подвиг: накрыл бомбами весь цвет немецкого фронта, стоящего против Вислы. Был сбит, раненный, пробирался по лесам, наконец возвратился в полк... а тут в мое отсутствие приезжает какой-то майор и начинает снимать допрос. Да еще кулаком стучит по столу и спрашивает у моего летчика, кто его завербовал и когда.

— Я все знаю, Саврасов, — сказал командующий и опустился в кресло. — Дело приняло нежелательный оборот. Ваш Большаков оказался весьма невыдержанным. Что бы там ни было, но нельзя же грубить представителю госбезопасности, да еще старшему в звании.

— А если тот фашистским шпионом ни за что ни про что называет? Что же Большаков должен был делать, сидеть и улыбаться, как майская роза? Конечно, нервишки у парня сдали и нагрубил он зря. Но какой же честный человек простит, если его ни за что ни про что предателем называют!

Командующий рассеянным движением снял с чернильного прибора серебряную крышку, подержал в руке и положил на место. За большим окном в эту минуту на низкой высоте проплыл целый косяк «илов», и он проводил одобрительным взглядом три девятки горбатых самолетов, поблескивающих в солнечных лучах остеклением кабин.

— Ишь ты, как хорошо идут, как на параде, — не удержался командующий.

— Так ведь это ж домой, от цели, — засмеялся Саврасов. — Все напряжение и страхи уже позади. Чего ж домой весело не лететь?

— Осмотрительность только надо не терять, «мессера»-охотники подкрасться могут.

— Ничего, товарищ маршал. Они этой осмотрительности за четыре года как-нибудь выучились.

Командующий перевел взгляд на Саврасова:

— А вы знаете, что предлагает следователь?

— Нет, конечно, — мрачно ответил Саврасов.

— Гвардии капитана Большакова к полетам не допускать и вплоть до окончательной проверки всех обстоятельств, связанных с его пребыванием в тылу противника, направить в специальный лагерь.

Саврасов побледнел и, сжав кулаки, сделал шаг вперед.

— Что вы сказали, товарищ маршал? Моего Большакова в лагерь?

— У них это называется карантином,— каким-то скучным голосом поправил командующий фронтом.

— У кого у «них»? — не понял Саврасов.

— У Берия и его заместителей.

На лице командующего он увидел глубокие морщины и складки в углах доброго рта. И Саврасов подумал о том, что не мог командующий ответить по-другому, ибо он и сам испытал тупую жестокость лагерного режима, отсидев немало времени по ложному доносу. Не откуда-нибудь, а из места заключения был он вызван в суровом сорок первом году прямо в Кремль. Перед ним извинились, восстановили во всех правах, дали армию под командование. А потом его имя загремело на весь мир, как имя героя исторических сражений, его армия неоднократно упоминалась в приказах Верховного Главнокомандующего, и в честь его фронта прогремел над Москвой не один салют. Но осталась в душе тяжелая, незаживающая рана. Из-под воспаленных век горестно посмотрел он на Саврасова, думая, смирится тот или нет. Но полковник упрямо тряхнул черными кудрями, и Золотые Звезды тренькнули на его гимнастерке.

— Товарищ командующий, да неужто мы допустим, чтобы парню судьбу изломали? Да я все свои ордена и Золотые Звезды сниму с себя, если его в эти самые лагеря отправят, от полка откажусь. Пусть что угодно со мной делают.

Серые глаза маршала посуровели:

— Не то говорите, полковник. Я верю и вам, и Большакову. Вечером вернется полковник Одинцов. Он старый, опытный чекист. Мы разберемся. А гвардии капитана Большакова верните пока в часть.

— Спасибо, товарищ маршал, — поблагодарил ободрившийся Саврасов.

Саврасов очень уважал маршала. За простой и открытой манерой держаться перед воинами разных человеческих характеров и рангов всегда обнаруживалась мудрая доброта командующего. Саврасов не однажды наблюдал, как тот общается с подчиненными, бросались в глаза его предельная внимательность и вежливость, умение выслу-

шать и понять человека. Даже в тех случаях, когда приходилось отчитывать офицеров за серьезные ошибки, а то и проступки, маршал умел сдерживать любые вспышки гнева и нередко говорил тихим, удивительно спокойным голосом. Думая про командующего, полковник говорил сам себе: «Нет, я бы так не смог. Сколько в этом человеке заложено подлинного такта, а как этот такт сочетается с его полководческой мудростью».

Вечером командующий фронтом сам позвонил ему в кабинет. Саврасов проводил в это время совещание с командирами звеньев и строго потряс кулаком в воздухе, призывая присутствующих к могильной тишине.

— Да, да, товарищ маршал, я вас слушаю.

Голос на другом конце провода был добрым:

— Имел беседу с товарищем Одинцовым. Так называемое дело капитана Большакова прекращено. Отправляйте его подлечиться, а потом в бой.

— Спасибо, товарищ маршал, до самой души растрогали, — только и мог вымолвить полковник и, положив трубку, посмотрел на летчиков: — Ну, а вы что сияете, словно тульские самовары? Все уже поняли? Да, хлопцы. Дело Виктора Большакова прекращено... так называемое дело, — поправился он.

Закончив совещание, полковник вскочил в «виллис» и помчался на хутор, где в одной из хатенок квартировал Большаков. Только что прошел обильный короткий дождь. Осенняя хлябь расквасила дорогу. Затянутое тучами небо висело низко. В хуторке не было видно ни одного огонька: местное население строго выполняло правило светомаскировки. Саврасов с трудом распознал очертания домика, радостный взбежал на крыльцо. Большакова он застал в непредвиденном состоянии. В маленькой комнатке Виктор сидел за столом в одном исподнем белье. Рядом прислоненный к печке костыль. Перед ним на столе стакан остывшего кофе, половина огурца, горбушка черного хлеба и пустая пол-литровая бутылка.

— Ну вот что, Виктор, — с деланным пафосом воскликнул Саврасов, не заметив, что голос у него задрожал, — считай, что ты в рубашке родился, коль из такой беды удалось тебя выпутать! Никаких поездок к следователю и никаких допросов. Все прекращено.

Он ожидал, что слова эти мгновенно обрадуют под-

чиненного, заставят его облегченно вздохнуть. Большаков медленно поднял голову. Пьяным он не был, не брал, наверное, хмель. Но лицо было угрюмым, из зеленых остекленевших глаз текли тихие и безвольные слезы.

— Товарищ командир... Александр Иванович, да за что же все это? За что недоверие, если я через такие испытания прошел?

И Саврасов оторопело попятился, встретившись с тоскливым взглядом летчика.

— Ладно, Виктор, — сказал он просительно, — водкой обиду не зальешь. Оно бы пора тебе и спать. Завтра в госпиталь, а через недельку-другую в бой.

Саврасов сдержал свое слово. Ровно через пятнадцать дней в длинную октябрьскую ночь на тяжелом корабле с бортовым номером четырнадцать вылетел Виктор Большаков бомбить порт Пилау.

...Так оно было на самом деле. Так бы надо рассказать и ей, Ирене, об этом теперь, через много лет. Но Виктор подумал и решил: зачем, только разволную, и все. И он не проронил ни слова.

А Ирена, по-своему истолковавшая затянувшееся молчание, осторожно, стыдясь откровенной ласковости этого движения, погладила его руку.

— Ты запечалился, Виктор? Тебе, наверное, тяжко рассказывать об этой могиле. О! Я так рада, что под каменной этой плитой пусто и ты сидишь со мной рядом. Это такое счастье. Но как же все-таки это случилось?

— Очень просто, Ирена, — тихо заговорил полковник, поглядев на могилу, — ногу мою подлечили, и я снова сел за штурвал. Мне дали нового штурмана, Алешу Воронцова, и других стрелков. Так и стали мы летать на новом самолете под номером четырнадцать. «Голубая девятка» у меня была полегче, поманевреннее, но на «четырнадцатой» стояли новые двигатели, и я к ней скоро привык. Бывало, лечу в дальний тыл, моторы гудят так монотонно, что хоть засыпай под них. А я все стараюсь повернуть поближе к Познани или над Ополе пройти, и всегда в такие минуты, как живая, вставала перед глазами лесная избушка, бабушка Броня...

— Значит, вспоминал!

— А ты разве сомневалась? — хрипловато рассмеялся Большаков.

— Нет, — с горячностью возразила Ирена, — я знала, что ты помнишь... такое не забывается, Виктор. Но от

тебя самого это слышать так приятно. Даже теперь, когда мы уже не молодые.

— Ты права, Ирена. Ты была моей лесной песней, а ее не забыть.

Налетел майский ветерок, зашелестел листвой кладбищенских кленов, а Ирене показалось, что это Большаков вздохнул грустно. И опять она вслушивалась в его тихий голос.

— Да, я думал о тебе в каждом полете. Потом осень сменилась зимой, и наш фронт рванул. Освободили Варшаву, Быдгощь, Кутно, Познань. Мы стали летать на этот город. За него большое было сражение. Войска наши его окружили, а фашистский гарнизон не сдавался. Здесь недалеко от кладбища — товарная станция. Ты слышишь паровозные гудки, Ирена?

— Слышу, она и сейчас там же.

— А тогда здесь стояли под разгрузкой прибывшие из Берлина и Кюстрина эшелоны с танками. Если бы эти заправленные танки с ходу устремились в бой, тут на кладбище было бы побольше наших могил. Это так, Ирена. Что я, рыжий, что ли?

Она усмехнулась:

— Ты и до сих пор не отвык от своего присловья.

— Нет. Это как пластырь. А надо бы отвыкнуть... — покачал он головой. — Значит, разгружались три эшелона с танками... И шесть тяжелых кораблей с нашего аэродрома поднялись на эту цель. Я шел вторым, за Саврасовым. Мы бомбили днем, без прикрытия истребителей. Эшелоны мы раскрошили. Вся станция была в дыму, когда мы пошли на второй заход. И вот тут-то мне не повезло. Подбила меня зенитка. Высота полторы тысячи метров, а рули уже не действуют. Теряю метры сотнями. Командую экипажу прыгать, а они вопрос: «А вы?» Так часто спрашивают у командира экипажа, если самолет попал в переделку. А я подумал: выпрыгнешь, возьмут в плен и тут же расправятся. И решил я твердо: вместе с самолетом в танковую колонну, что по шоссе развернулась в районе леса. Штурман и стрелки закричали: «Мы с вами!» А дальше... штурвал от себя — и на цель. На земле взорвалась бензоцистерна. Когда я должен был врезаться в танки, самолет отбросило взрывной волной и разломило. Хвост с кабинами стрелков сгорел, а нос вместе с нашими телами метров на пятьдесят отлетел от дороги. До сих пор не могу понять, почему

немцы не бросились за нами. Видать, горели у них танки и не до этого было. Как потом мне рассказывали, все это произошло на глазах у наших пехотинцев и танкистов. Они пошли в атаку, чтобы нас отбить. Взяли район, и нас, полумертвых, из-под обломков самолета извлекли. Потом отступили. Фашистский гарнизон в этом городе долго еще сопротивлялся. Нас сразу в Москву на специальном самолете доставили. Штурман — тот остался на протезах. Ну, а мне повезло — сломанными ребрами и шрамами на бедрах отделался. Вот и все, Ирена. Случай этот расписали в газетах, узнали наши фамилии и во фронтовой неразберихе объявили нас погибшими и бессмертными и могилу мне сделали на этом кладбище.

— И ты об этом не знал?

— Знал, Ирена, — признался Большаков, — как же. Лет десять назад товарищи, побывавшие в Польше, рассказали. Сначала решил в Варшаву нашему послу написать, а потом рукой махнул. Пусть остается могила. Может, проживу от этого подольше. Ведь есть же какая-то народная примета, что тот, кого заживо похоронили, долго живет.

Полковник заглянул в синие глаза, окруженные морщинками. Эта запоздалая встреча будила нежность да еще далекие глухие воспоминания.

— Как ты живешь, Ирена?

— А ты, Виктор?

— Я сносно, Ирена.

Она высвободила свою руку и обеими ладонями взяла его за виски, чувствуя под кожей жесткость его волос:

— Седой ты стал, Виктор... совсем седой.

— Это годы, Ирена.

— Только ли годы, Виктор?

Кладбище окружало их тишиной, шелестом листьев и легкими нитями паутины, медленно никнущей к земле. Она опустила руки, и сидели они теперь молча, думая каждый о своем. Тихая худенькая полька вспомнила вдруг о том, как на следующий день после отлета Большакова из партизанского лагеря узнала она, что ее брат Тадеуш, высадив их у избушки лесничего, так и не попал в штаб фашистской армейской группировки, державшей оборону по Висле. Отъехав километров сто на север и запутав свои следы, в глухом лесу вышел он из «опеля» и выстрелил в себя из браунинга, подаренного

ему в концлагере Майданек. Верные люди доставили ей коротенькую записку Тадеуша: «Прости меня, Родина, прости, любимая сестра. Я сам себя осудил и вынес приговор. Приговор этот окончательный и обжалованию не подлежит».

Прожитая жизнь! Как часто при воспоминании оборачивается она какими-нибудь пятью-шестью видениями, стремительными, как кинокадры, но по ним можешь ты хорошо и безошибочно судить о пережитом, обо всех горестях и радостях, о счастье и о тоске. Так и она вспоминала эти годы. Смерть брата, партизанские костры, потом руины Варшавы и работа в неотапливаемой школе. Нет, она не ждала писем. Она знала, что у него своя жизнь, полная опасностей и военных гроз. А потом в пятьдесят втором году она случайно натолкнулась на эту могилу во время экскурсии во Вроцлав, выплакала ночью все свои слезы, и надежда на встречу сменилась прочной тоской.

Как-то в том же пятьдесят втором году на большой перемене ее окружили школьники и наперебой загалдели:

— Проше, пани, это правда, что в войну вы спасли радецкого летника? Это так?

И она тогда растерялась, покраснела, заплакала.

— Да, мои коханы, это так.

Слух об этом быстро распространился, и ее вызвали в отдел народного образования. Человек в роговых очках, бывший политрук Войска Польского, повторил тот же вопрос.

— Вы должны об этом подробно написать, товарищ Дембовская, — сказал он ей деловито, — и тогда мы возбудим ходатайство о представлении вас к ордену.

Но Ирена подумала и ничего не написала. Да и зачем был орден? Разве мог кусочек негреющего металла заменить ей человека, с гибелью которого она уже смирилась?

— Как твоя жена, Виктор? — спросила Ирена. Как семья?

Полковник горестно вздохнул. Морщинки прорезали обветренный лоб, и от этого лицо его посуровело. Могло показаться, он сразу состарился. Будто в каждой неожиданно возникшей морщине пробудилось трудно удерживаемое горе. Да так оно и было на самом деле. Большаков вспоминал, и эти воспоминания уводили его в уже пе-

режитое прошлое, в то прошлое, которого он даже мысленно старался обычно не касаться, зная, что если оно возникнет в памяти, то надолго завладеет его сознанием, вытеснит все иные мысли.

— Я один. Давно уже один, — ответил он тихо. — Глупый и жестокий случай. Жена и сын погибли в автомобильной катастрофе в сорок шестом году.

Ирена порывисто подняла обе руки к груди.

— О! Какое несчастье! — прошептала она.

— Вот с тех пор я и поседел, — покачал головой полковник. — Жизнь меня никогда не баловала, Ирена. Целый год я не мог прийти в себя после их гибели. Сам добровольно выпросился служить в дальний гарнизон. Думал, лучше будет в глуши. Года через три стало полегче вроде. И улыбаться заново научился. Очень много думал тогда о тебе. Даже с письмом обратился к одному из наших начальников. Просил командировку в Польшу. По старым местам захотелось поездить. Было это в пятидесятом, кажется. Не разрешили. Потом уже в пятьдесят пятом я снова задумался: а не поехать ли к ней, к Ирене. И останавливало что-то. Интуиция, что ли. Думаю, ведь уже больше десяти лет прошло. Замужем она давно. Зачем же мне появляться и старое травить. Пусть лучше останутся в памяти те десять дней, та лесная песня.

— И в моей тоже, Виктор.

Они помолчали. Каменный воин печально смотрел на них с пьедестала. Никли ромашки от теплого легкого ветерка. То затихал он, то вспыхивал, и от этого казалось, что прячется он в низкой кладбищенской траве и цветах. Полковник искоса посмотрел на польку, и следующий его вопрос прозвучал смущенно:

— Ты скажи, а сына или дочки у тебя не было?

Она уронила зардевшееся лицо на его плечо. Жесткий погон колол щеку, но женщина не замечала этого:

— Я почему-то ожидала, что ты обязательно этот вопрос задашь. Нет, Виктор. Ни дочки, ни сына. А как бы хотелось!

Большаков улыбнулся. Все-таки многое в ней осталось от прежней Ирены: и эта стыдливая нежность, и смелость признаний. Только прежняя порывистость и нетерпеливость сменились с годами пришедшим спокойствием.

— А ты еще раз женился, Виктор?
— Нет, Ирена.
— А я выходила замуж, Виктор, — вздохнула Ирена, — и тоже нема счастья. Ошиблась я в нем. Разошлись. Переехали мы с сыном Сташеком в Варшаву, там и живем.
— Сколько же сейчас твоему Сташеку, Ирена?
— Уже учится хлопчик.

Большаков в знак согласия покачал головой. Тихая и вся какая-то осенняя, сидела рядом Ирена.

И он впервые подумал о том, что сильно, очень сильно потрепала их обоих за эти годы жизнь. Так потрепала, что в грузном седом полковнике трудно было сразу признать прежнего лихого зеленоглазого капитана, а в этой женщине с приметами седины в волосах ту порывистую, то и дело вспыхивающую энергией и страстью Ирену.

И он, чувствуя, что не нужно было этого говорить, что получится не слишком-то искренне и душевно, но не в силах победить внутренний голос совести, все-таки произнес:
— Послушай, Ирена. А может, нам следует подумать... может, нам все-таки как-то все изменить, а?
Она привстала и улыбкой своей его извинила:
— Виктор, можно я тебя поцелую?
— Тебе все можно, Ирена.

Она придвинулась и легко, бережно, словно к чему-то самому святому, прикоснулась холодными губами к его щеке. И не было в этом поцелуе страсти, а была лишь тихая материнская грусть.
— Ты прекрасно сегодня сказал о наших тех днях: лесная песня. Мы тогда были молодыми и горячими, а сейчас другие. Не надо говорить об этом, Виктор. Это так тяжко. Лучше, будешь в Варшаве, заезжай в гости. Мы тебя с сыном всегда хорошо встретим. Как самого родного.

Ирена посмотрела на ручные часы: цифры и стрелки расплывались в глазах, но она все-таки разглядела — без десяти четыре.
— Мне уже пора, — сказала она волнуясь, — в гостинице меня ждут.
— Это где, в центре города? — спросил полковник.
— Да.

— Я тебя туда подброшу на машине, — предложил он.

Женщина кивнула головой.

...И они пошли к выходу, к массивным кладбищенским воротам. Каменный автоматчик грустно смотрел им вслед. Казалось, что он все понимает.

Мужчина и женщина покидали кладбище. Они шли молча и медленно. Между ними была прямая асфальтовая дорожка, а по сторонам от нее две жизни.

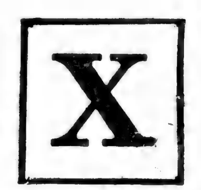
Две жизни, так и не слившиеся в одну.

1963 г.



ХМУРЫЙ ЛЕЙТЕНАНТ

РАССКАЗ



Хмурый лейтенант — так прозвали в нашем полку нового летчика Ярового, и прозвище это лучше всего соответствовало его характеру. Редко кто видел улыбку на его резко очерченных губах. Даже в минуты короткого отдыха, наступавшего после напряженного боевого дня, когда каждому хотелось как-то рассеяться, побренчать на гитаре или посидеть за домино, Яровой усаживался где-нибудь в дальнем углу землянки и, обхватив колени руками, медленно посасывал маленькую черную трубочку, безучастно наблюдая за происходящим.

— Почему он такой? — часто задавали себе вопрос летчики нашего полка и не находили ответа.

Да, он был очень странным, этот высокий, нескладный в движениях лейтенант Яровой. В свои неполные двадцать семь лет он казался многое повидавшим человеком. Узкое, всегда гладковыбритое лицо было прорезано глубокими морщинами, а глаза, спокойные, холодные, светло-голубые, смотрели так, как смотрят на мир глаза человека, прожившего долгую жизнь. Он появился в нашем полку совершенно неожиданно, в самый разгар тяжелых оборонительных боев на подмосковных полях. Каждый день полк нес потери. Часто бывало, что вместо четверки «ильюшиных» обратно возвращалась лишь пара, а два других самолета оставались на месте вынужденной посадки. Гибель каждой машины с болью переживал весь летный состав нашего полка. Но во сто крат было больнее, когда мы узнавали, что вместе с машиной, подожженной снарядом зенитки или пушечной очередью с «мессершмитта», за линией фронта погибали друзья. С утра и до ночи гудела земля от близкой артиллерийской канонады. Фашисты прорвали линию фронта и приблизились к аэродрому. Их

танки вели бои в пятнадцати километрах от него. И вот тогда-то последовал приказ перебазироваться на восток. Горбатые, окрашенные в грязно-зеленый цвет поздней осени «илы» уже были подготовлены техниками к взлету, когда над аэродромом появился незнакомый штурмовик, отличавшийся от наших самолетов красной окраской кока. Он выскочил как-то неожиданно из-за нахохлившихся пожухлых сосенок, столпившихся вокруг аэродрома, и, не делая круга, с прямой зашел на посадку.

— Узнайте, кто это?— сердито спросил командир полка майор Черемыш, приготовившийся отдать приказание на перелет всем исправным машинам.

Минуты три спустя перед ним уже стоял незнакомый летчик в помятом кожаном реглане и, вытянув вдоль туловища длинные руки, устало докладывал:

— Я из дивизии полковника Сухоряба. Был на вынужденной. «Мессеры» перебили гидросистему, до своих не дотянул. Пришлось у танкистов подремонтироваться.

Это и был лейтенант Яровой.

— Кто же вам ее восстановил? — не без удивления спросил Черемыш, твердо знавший, что без авиационных техников такая операция неосуществима.

— Сам, — односложно ответил Яровой.

Брови у командира полка удивленно поползли вверх.

— Вы?

— Да, — неохотно повторил лейтенант и, вероятно, не желая вновь подвергаться расспросам, прибавил: — Я в прошлом авиационный техник.

— Так, так, — протянул майор Черемыш, — а вы знаете, где сейчас дивизия полковника Сухоряба? Она направлена в глубокий тыл за новой материальной частью. Небось не обедали? Пообедайте, а я за это время свяжусь со штабом и узнаю, куда вам лететь, чтобы найти своих. Черемыш ожидал, что Яровой, как и каждый человек, потрепанный первыми жестокими месяцами войны, облегченно вздохнет, узнав о том, что впереди его ожидает кратковременная передышка, поездка в тыл, возможно, свидание с родными и близкими, но незнакомый летчик продолжал так же сосредоточенно смотреть мимо командира светлыми немигающими глазами. И только при упоминании о поездке в тыл на его лице нервно дернулся мускул.

— Товарищ командир, — произнес он, простуженно по-

кашляв, — разрешите остаться у вас, в тыл не лететь. «Ил» у меня в порядке, на нем еще можно повоевать.

Черемыш обескураженно пожал плечами: время было горячее, командир соединения требовал штурмовать, штурмовать и штурмовать.

— Хорошо, — неожиданно для всех прислушивавшихся к разговору согласился майор, — я вас зачисляю в первую эскадрилью, а в штаб сообщу, что впредь до уточнения будете воевать с нами.

Никакого уточнения не последовало, и Яровой остался в полку. Вместе с нами он перелетел на новый аэродром. Ему отвели место на нижних нарах землянки, в самом дальнем углу. Рассыльный принес из вещевого склада новый матрац, и Яровой стал устраиваться. В бревенчатую стену землянки он вбил гвоздь, повесил на него реглан и кожаный шлем — все свое имущество, и скорее себе, чем соседям, наблюдавшим, как он устраивается, сказал:

— Вот и все. Жить можно. А главное — нужно.

Так он начал жить с нами. Он летал много, больше других. Если майор Черемыш вместе с начальником штаба брался за составление боевого расчета и на листок бумаги заносил фамилии летчиков, включавшихся в очередную пару или четверку, Яровой первым просил разрешение на вылет. И только в те недолгие минуты, когда командир полка повторял боевой приказ да еще когда приходилось укладывать в планшет карту с прочерченным маршрутом, Яровой несколько оживлялся. Как-то по-особенному блестели тогда его глаза. Но не волнение и не испуг — злость появлялась в них. Лейтенант буквально выпрашивал у командира каждый лишний вылет, а когда возвращался на аэродром, снова становился мрачным и неразговорчивым.

— Задание выполнил, — докладывал он коротко.

Оружейники начинали производить послеполетный осмотр и не находили ни одного снаряда. Яровой старался расстрелять в полете весь боекомплект.

— Так нельзя, — сказал ему однажды майор Черемыш. — А если на обратном пути вас перехватят «мессеры», как будете отбиваться?

— Уйду на бреющем, сманеврирую.

— Я вам запрещаю расходовать весь боекомплект, — строго напомнил Черемыш.

— Есть, товарищ командир, — сухо согласился летчик.

Но летать продолжал с тем же холодным азартом. Даже в тех случаях, когда огонь фашистских зениток покры-

вал низкое октябрьское небо сплошной свинцовой завесой, он ухитрялся совершать по два, по три захода. Ил-2, на котором летал Яровой, почти ежедневно возвращался с пробоинами, и рыжий вскудлаченный механик Зайченко так к этому привык, что, завидев идущий на посадку самолет лейтенанта, с добродушной улыбкой говорил товарищам:

— А ну, хлопцы, готовьте побильше латок. Це ж командир вертается, и опять що тот гусак, якому вси перья повыщипывалы. Не разумею, чего вин хоче: смерти, чи що!

Так думал не один механик. Даже командир полка, летчик опытный, любивший риск и тех, кто рискует, недоумевал, почему Яровой такой отчаянный. Командир часто говорил ему:

— Вы устали, вам нужно отдохнуть.

А Яровой только молча шевелил сухими обветренными губами, словно силился улыбнуться и не мог.

— Я еще успею до темноты возвратиться, товарищ командир, разрешите еще один полет на «свободную охоту».

И улетал. И ему везло. Тридцать шесть штурмовок совершил лейтенант Яровой за какие-нибудь пятнадцать дней пребывания в нашем полку и ни разу не был сбит ни зенитками, ни «мессершмиттами». За это время он отыскал и взорвал два крупных нефтесклада, разбил эшелон.

Список подвигов Ярового рос быстро, и даже «старики» отдавали должное летному мастерству лейтенанта. Но для всех было неведомо, что носит в своем сердце этот мрачноватый, неразговорчивый человек. Многие думали, что он попросту гордится, заносится и поэтому избегает общения с окружающими летчиками, считая, что среди них не сможет найти себе равного. Может быть, поэтому к Яровому все относились с нескрываемым равнодушием, а если и хвалили его, то холодно и скупо, как мастера своего дела, но не как товарища, с которым приходится делить и место в землянке, и опасность в воздухе.

А Яровой продолжал летать и оставался все таким же замкнутым. После двадцатидневного пребывания Ярового в нашем полку командир решил его представить к ордену Красного Знамени. Но, как назло, сутки спустя после того, как штабной писарь Тесля заполнил наградной лист, Яровой не возвратился с задания.

Случилось это в холодный ветреный день, когда аэрод-

ром затягивала белесая пелена тумана. Погода стояла нелетная, но утром оперативный дежурный передал майору приказ командующего ВВС. Черемыш взял телефонограмму: «Цель восемь уничтожить к четырнадцати нольноль». Под целью восемь значился по коду штаб немецкого корпуса, расположенный в деревне Озерки. Черемыш посмотрел в окно. Дул сырой от дождя ветер, гнал черные тучи, и низкое небо, казалось, вот-вот должно рухнуть на землю.

— Не так легко уничтожить, — произнес майор, сердито кусая губы, — попробуй полетай в такую погоду.

В землянке было тихо, даже удары дождя о стекло отчетливо слышались. Черемыш думал о том, что летчик, которого он пошлет в такую погоду на штурмовку немецкого штаба, имеет мало шансов на то, чтобы вернуться. Трудно пробиваться к цели, когда впереди тебя горизонт каждую секунду грозит сомкнуться, сделать невидимой землю. Но еще труднее без прикрытия истребителей, одному атаковать цель с низкой высоты под огнем десятка зенитных батарей. В углу на деревянных нарах, тесно прижавшись друг к другу, спали летчики. Один из них зашевелился и медленно сполз на пол. Черемыш увидел холодные светлые глаза.

— Яровой?

— Разрешите полет, товарищ командир.

Майор посмотрел на лейтенанта и внезапно рассердился: «Ну почему он всегда выскакивает раньше других? Ведь есть же в нашем полку и более опытные штурмовики». Командир скомкал в руке телеграфный бланк, потом снова разгладил его, перечитал короткий текст: «Цель восемь уничтожить к четырнадцати ноль-ноль».

Над самым ухом он услышал глухой от скрытого волнения голос лейтенанта:

— Я еще вчера заметил признаки этого штаба под Озерками. Мне будет легче его разыскать.

— Хорошо, готовьтесь, — согласился Черемыш, затем недружелюбно и ворчливо прибавил: — Честное слово, если бы не простудился вчера капитан Веденеев, его бы послал, а не вас.

Через несколько минут Яровой был готов. На этот раз командир сам вышел проводить его. Майор, посылая в опасный полет даже такого летчика, к которому не питал особенной симпатии, как-то менялся, оттаивал, становился необычно ласковым. Так случилось и в этот раз. После

того как все приготовления были закончены и Яровой уже застегивал шлемофон, Черемыш подошел к лейтенанту и потрепал его по плечу.

— Значит, летишь, — сказал он, переходя на «ты»,— а погода, видишь, какая... высоту все время придется держать маленькую... ты к земле прижимайся, где можешь, а то зенитки у фашистов злые.

Слова «можешь и не вернуться» остались несказанными, но Яровой прочитал их в грустных глазах командира.

— Закурить разрешите? — спросил он.

— Покури, покури, — спохватился майор, — перед вылетом это полезно, в воздухе будешь спокойнее.

Командир протянул ему спичку и, обняв лейтенанта за плечи, вышел с ним из землянки.

— Ну ладно. Желаю удачи. Трогай.

Яровой ушел к машине. Черемыш стоял у входа без шлема, комкая в руках кожаные перчатки, смотрел вслед.

А вскоре майор увидел, как протащился по раскисшему полю аэродрома медлительный, тяжелый «ил», словно бы нехотя оторвался от взлетной полосы и скрылся в непроницаемом тумане. Командир стоял до тех пор, пока не смолк в небе шум самолета, а потом спустился в землянку.

Снова ветер гнал тяжелые тучи. Черемыш сел за стол и положил перед собой часы. По той сосредоточенности, какая была в его глазах, все поняли, как сильно волнуется командир за судьбу летчика.

Прошло два тягостных часа. Три раза за это время выходил майор из землянки и напряженно всматривался в низкое хмурое небо. Но все было напрасно. Чуткое ухо не могло уловить знакомого шума.

К вечеру туман рассеялся, и звено истребителей вылетело на разведку. Когда оно возвратилось, капитан Еремеев, водивший летчиков за линию фронта, сообщил, что санаторий, где расположился штаб немецкого корпуса, разрушен, а в десяти километрах от него, сбоку от шоссе, лежит сбитый штурмовик.

В долгом молчании выслушали летчики эти слова, а когда дверь тихо скрипнула за ушедшим Еремеевым, майор медленно встал, и все услышали его тихий голос:

— А какой храбрый был все-таки парень!

Но Яровой не погиб. Он пришел на тринадцатый день, худой, осунувшийся, с запавшими от бессонницы глазами.

Ему обрадовались, как родному. Летчики бросились тормошить лейтенанта, но Яровой лишь на секунду согрел лицо теплой улыбкой, а затем опять стал сдержанным и молчаливым. Освобождаясь от объятий, он нескладно объяснил:

— Зенитки сбили. Почти над самой целью. А штаб я все-таки зажег. Тринадцать дней скитался, пока удалось добраться. Спасибо, ягоды в лесах много... Вот видите. — Он показал глазами на изодранные сапоги с отвисшими подметками.

То самое, о чем другой рассказывал бы несколько вечеров, Яровой передал в трех-четырех фразах. Но сейчас на это никто не обратил внимания. Всем стало легче от того, что молчаливый лейтенант жив и невредим. Майор Черемыш, возбужденно размахивая руками, кричал:

— Вот молодец! Ей-богу молодец! — И вдруг не без досады хлопнул ладонью по затянутому целлулоидом планшету: — Кого же послать на задание с пятой машиной?

— Постойте, — вдруг сказал Яровой. — А какое задание?

Черемыш сердито махнул рукой:

— Да опять эти самые Озерки, около которых тебя сбили. Километром западнее бензосклад, надо поджечь.

— Бензосклад! — воскликнул Яровой. — Это тот, что на левом берегу речушки?

— Ну да.

— А зенитки стоят правее, в мелком кустарнике... заходить надо с юга, чтобы поменьше в зоне обстрела находиться. Там еще можно к лощинке прижаться, я знаю... А гореть-то они как будут, эти цистерны, батеньки вы мои, — продолжал Яровой, — ни один фриц не затушит. Разрешите вылет. — Он растерянно оглянулся на окруживших его летчиков, словно просил о поддержке.

Майор не выдержал и, в сердцах обругав назойливого лейтенанта, приказал идти к машине.

Когда пятерка «илов» улетела и шум моторов смолк где-то за синеющим лесом, начальник штаба, недоуменно пожав плечами, сказал командиру полка:

— Или это какой-то спортсмен, охотящийся за собственной смертью, или просто невменяемый человек. Мне упорно кажется, что в каждом полете Яровым руководит не столько ненависть к врагу, сколько летный азарт.

Черемыш нахмурился. Он сам не понимал лейтенанта,

но никогда не судил о людях поспешно. Поэтому сердито возразил начальнику штаба:

— Торопишься, Кондратьич! Разве можно торопиться, когда человека судишь!

Полтора часа блуждали в низком, затянутом облаками небе пять «ильюшиных». В полном составе возвратились они на аэродром, и командир пятерки Веденеев доложил, что задание выполнено.

— Это вот Яровому спасибо, — прибавил он, закончив официальный рапорт,—если б не он, проскочили бы цель.

Черемыш посмотрел на лейтенанта. Тот молча снимал меховые перчатки, его обветренное лицо, рассеченное на правой щеке глубокой морщиной, было, как всегда, угрюмым.

Вечером хлынул неожиданный для осени теплый проливной дождь с громом и яркими молниями, и летчики решили устроить «вечер отдыха». К потолку была подвешена еще одна «летучая мышь», свет от нее веселыми кругами побежал по стенам и ярче осветил жилище. А когда завели патефон, монотонный шум дождя не был уже слышен.

Около одиннадцати в землянке появился Яровой. Очевидно, после ужина он бродил где-то по лесным опушкам, потому что на голенища его сапог налипли осенние листья. Он молча сбросил мокрую шинель, прошел в самый дальний угол и сел на свою постель. На приход лейтенанта никто не обратил внимания. Но когда молодой летчик Левушкин посмотрел в угол, он увидел, что Яровой, подперев ладонями голову, сосредоточенно рассматривает большую фотографию. Левушкин, а за ним следом и еще двое подошли к нарам. Яровой никогда не показывал никому из нас ни своих фотографий, ни своих писем, и то, что сейчас он долго и пристально рассматривает какой-то снимок, заинтересовало всех.

— Это кто? Жена? — осторожно спросил Левушкин, не рискуя заглянуть через плечо Ярового на фотоснимок.

— Нет, сын, — тихо ответил Яровой и вздрогнул. Все мы ожидали, что лейтенант молча уберет снимок. Возможно, так бы и случилось, если бы не настойчивый Левушкин. Взъерошив и без того лохматую голову, он нерешительно попросил:

— А можно посмотреть?

Яровой, ни слова не говоря, протянул фотографию. С открытки глядело улыбающееся лицо двухлетнего мальчугана. Мальчик прижимал к себе плюшевого медведя. В больших глазах ребенка застыло удивление перед громадным, еще не понятным ему миром.

— Больно хорош! — обрадованно воскликнул капитан Веденеев, очевидно вспомнивший о своих ребятишках.

— Какой толстяк, — добродушно заметил Черемыш.

— И веселый, — прибавил кто-то третий.

— Он что у вас, в Ленинграде? — спросил Левушкин, откуда-то знавший, что Ленинград — родина Ярового.

— Был в Ленинграде, — ответил лейтенант и вдруг нервно забарабанил пальцами правой руки по коленке.

— Почему вы говорите — «был»?

Яровой притронулся к воротнику гимнастерки, но тотчас же отдернул руку.

— Потому, что его теперь нет, — ответил он тихо бесстрастным голосом, в котором не было ничего, кроме сильной усталости. — Вы помните сообщение о первом крупном налете «юнкерсов» на Ленинград? Фашистская фугаска попала тогда в дом. Сын и жена... — Голос его оборвался...

Яровой поднял голову, и летчики, обступившие нары, увидели его глаза... И каждый подумал в ту минуту, что, очевидно, такими они бывают, когда Яровой идет на цель на своем «иле» и жмет на гашетки, обрушивая на врага снаряды и бомбы...

ОГЛАВЛЕНИЕ

Геннадий Александрович Семенихин

ИЗБРАННОЕ

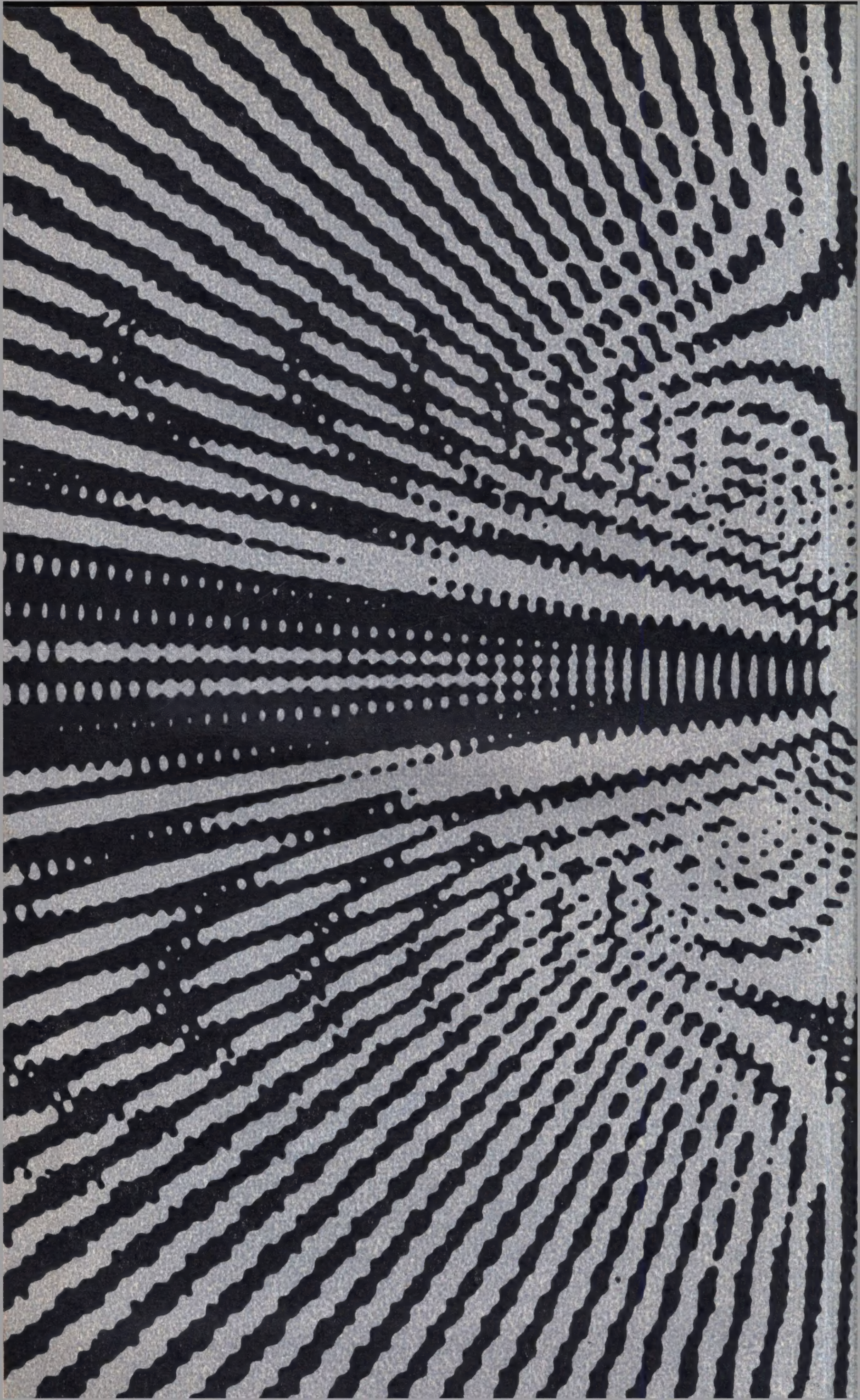
в трех томах

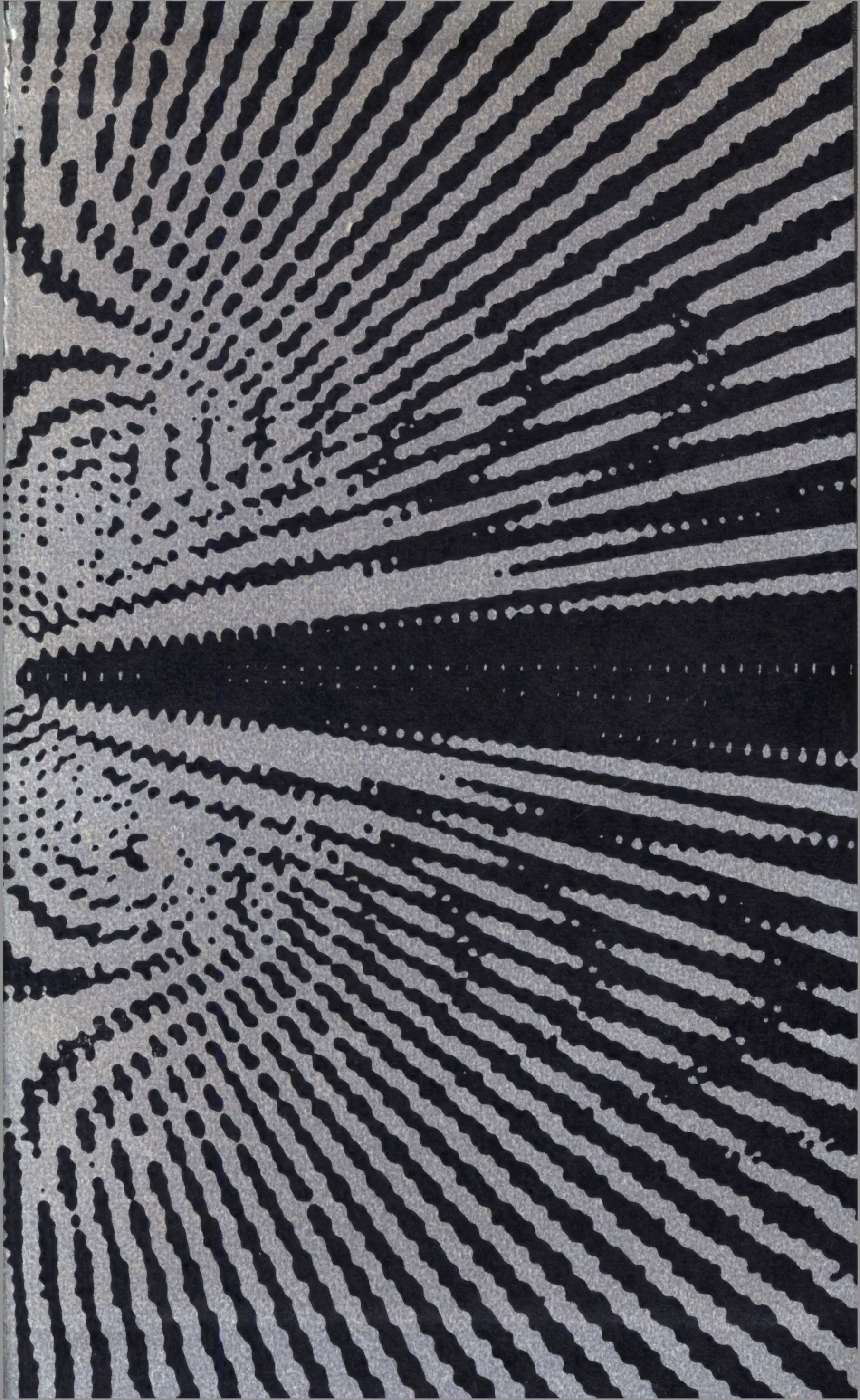
ТОМ ПЕРВЫЙ

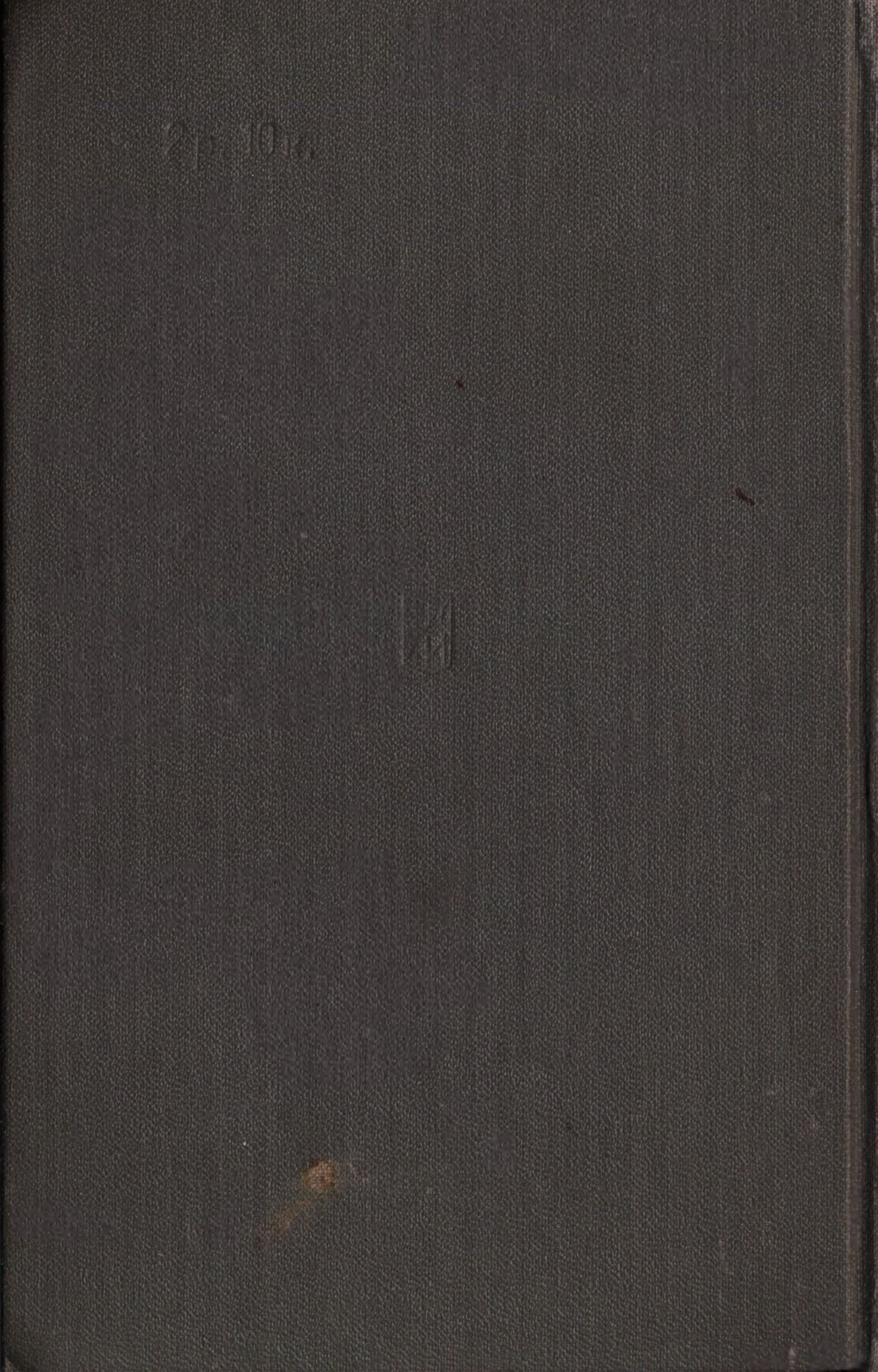
Редактор *М. И. Ильин*
Художественный редактор *Е. В. Поляков*
Художник *С. С. Федотов*
Технические редакторы *Н. В. Срибнис* и *Н. Я. Богданова*
Корректор *Т. П. Трухина*

ИБ № 1550
Сдано в набор 31.03.80. Подписано в печать 08.09.80. Г-32819.
Формат 84×108/32. Бумага тип. № 1. Обыкн. нов. гарн.
Высокая печать. Печ. л. 15 1/2. Усл. печ. л. 26,04+1 вкл. —
1/16 печ. л. — 0,105 усл. печ. л. Усл. кр.-отт. 26,09. Уч.-изд. л. 27,68.
Тираж 100 000 экз. Изд. № 4/5925. Зак. 1-129. Цена 2 р. 10 к.

Воениздат, 103160, Москва, К-160
Набрано в 1-й типографии Воениздата
103006, Москва, К-6, проезд Скворцова-Степанова, дом 3
Отпечатано с матриц на книжной ф-ке им. М. В. Фрунзе
РПО «Полиграфкнига» Госкомиздата УССР, Харьков,
Донец-Захаржевская, 6/8.






2 р. 10 к.


1
Г. Семенихин • Избранное